



ВОЛТЪР

избранные
произведения

Огиз
Гослитиздат
1947



ВОЛТЕР



избранные
произведения



О Г И З

Государственное Издательство
Художественной Литературы

МОСКВА

1 9 4 7

Вступительная статья
акад. В. П. ВОЛГИНА
Составление и редакция
Е. КНИПОВИЧ и Б. ПЕСИС



ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬТЕРА

I

Литературное наследие Вольтера чрезвычайно разнообразно. Трагедии и комедии, героическая поэма и поэма-пародия, повести и рассказы, исторические и философские труды, диалоги и памфлеты публицистического и популяризаторского характера — все эти виды литературных произведений представлены в его творчестве, и представлены первоклассными для своего времени образцами. Вольтера нельзя миновать ни в истории драмы, ни в истории романа, ни в истории философии.

Немного найдется западноевропейских писателей, литературная деятельность которых была бы подчинена общественным целям, общественному служению в такой мере, как то было у Вольтера. Почти каждое литературное произведение Вольтера — за весьма немногими исключениями — было актом общественной борьбы. Литературное творчество в руках Вольтера впервые получило значение крупной общественной силы. Вольтер занимал в Европе своего времени положение «некоронованного короля» новой державы — общественного мнения. Среди его предшественников и совре-

менников — писателей XVI—XVIII веков — было немало людей исключительного дарования. Многие из них как писатели стоят выше Вольтера. Но никто до него не мог претендовать на тот исключительный авторитет, который завоевал себе Вольтер своей общественной деятельностью.

Вольтер родился в царствование Людовика XIV. Это были годы, когда французский абсолютизм по внешним признакам достиг своего апогея; и вместе с тем годы, когда в недрах общества шел уже процесс распада тех сил, которые эту политическую форму создали и поддерживали. Вольтер умер за десять лет до французской буржуазной революции, когда многие прозорливые люди уже предчувствовали приближение небывалого социального катаклизма. Время его жизни — время разложения феодально-абсолютистского порядка, время формирования новой идеологии, время идейной подготовки революции.

Новая прогрессивная идеология выковывалась в напряженной борьбе со старыми идеологическими традициями — с учением о божественном происхождении королевской власти, об исторических правах дворянства, с освящающей эти традиции католической церковью, в течение ряда столетий прочно сросшейся с феодальным обществом и с его господствующим классом. Эта борьба французских просветителей XVIII века имела громадное историческое значение. Подрывая идеологические основы старого феодально-абсолютистского порядка, буржуазная общественная мысль готовила ликвидацию феодализма и становление буржуазного общества. Она делала великое прогрессивное дело, она расчищала путь для движения человечества вперед. Французская буржуазия выступала в XVIII в. как представитель всего «третьего сословия», под знаменем борьбы за интересы народа в целом. Это придавало исключительный размах и глубину общественной мысли XVIII в., с неповторимой для буржуазной идеологии смелостью рвавшей узы традиционных верований и предрассудков и провозглашавшей наступление царства разума, вечной справедливости и неотъемлемых прав человека. Конечно, это царство разума оказалось впоследствии «идеализированным царством буржуазии» (Э н г е л ь с). Тем не менее, разрабатывая основы гря-

душего «царства разума» и расчищая почву для его построения, лучшие представители французской мысли XVIII века установили ряд принципов, дальнейшее развитие и последовательное проведение которых далеко выходило за пределы классовых интересов буржуазии.

Вольтер родился в семье, принадлежавшей к третьему сословию. В семье его отца, Аруэ, были купцы, кожевники, суконщики; сам отец поднялся до положения нотариуса, имеющего весьма высокопоставленную клиентуру. Мать происходила из семьи мелких судебных служащих, лишь недавно получивших дворянство. Отец, заботясь о будущем сына, отдал его в пользовавшийся весьма высокой репутацией иезуитский коллеж Louis le Grand. Великосветские связи отца, знакомства, приобретенные в коллеже, рано проявившаяся исключительная одаренность обеспечили юному Аруэ право входа в аристократическое общество. Эта сомнительная честь демонстрировать свои таланты в великосветских салонах содействовала ранней популярности Вольтера как поэта и остролова. Но ранние лавры покупались дорогой ценой: молодому поэту, познавшему барскую любовь, пришлось вскоре познать и барский гнев. История молодых лет Вольтера — не только история успехов, но также история ряда болезненных ударов по самолюбию молодого мещанина, попавшего в среду знати и возмнившего себя равней своим любезным хозяевам. Так как поэтический талант Вольтера уже в эти годы носил ярко выраженный сатирический характер, то о его социально-политическом воспитании проявляли заботу не только чванливые вельможи, но и правительственная власть.

После ряда мелких неприятностей в 1717 году поэт постигла крупная: он был посажен в Бастилию, где провел одиннадцать месяцев. В 1725 году один знатный прохвост, обидевшись на остроловие Вольтера, приказал лакеям избить его палками. Оскорбленный Вольтер не нашел поддержки у своих знатных друзей. А правительство приняло самые решительные меры, чтобы защитить вельможу от гнева Вольтера. В 1727 году, после краткого на этот раз заточения в Бастилии, Вольтер был выслан в Англию.

Еще до высылки в Англию Вольтер познал ту истину, что «во Франции можно быть или молотом, или наковальней» и что он принадлежит по рождению к разряду людей, которые предназначены быть наковальней. Пребывание в Англии познакомило его непосредственно с социально-политическими порядками, совершенно непохожими на порядки Франции времени регентства. Из Англии Вольтер привез «Философские письма», которые французский историк литературы Лансон назвал «первой бомбой, брошенной в старый режим».

С точки зрения современной исторической науки, эти «Письма», при всем их значении для своего времени, страдают явной идеализацией английской конституции.

II

Если до «Философских писем» литературная деятельность Вольтера носила несколько разбросанный характер, то, начиная с этого произведения, она приобретает с каждым годом возрастающую целеустремленность. Творчество Вольтера подчиняется единой задаче — задаче распространения просвещения, освобождения человеческого разума от тяготеющих над ним предрассудков. Литература становится орудием борьбы за лучшее будущее человечества, ибо для Вольтера это лучшее будущее невозможно без просвещения; торжество справедливости имеет своей необходимой предпосылкой торжество разума и истины. Центральное место в этой просветительной пропаганде Вольтера занимает борьба против суеверий и предрассудков, связанных с религией и усиленно распространяемых церковью. Церковь для Вольтера — главный враг не только потому, что религиозные суеверия и предрассудки наиболее противоречат здравому человеческому разуму, не только потому, что они особенно широко распространены и особенно прочно укоренились, но также — и главным образом — потому, что они являются источником и оправданием величайших общественных зол. Освобождение разума от предрассудков важно для него не только потому, что оно дает правильное понимание мира, но главным образом потому, что оно обещает

перестройку общественных отношений на разумных основах.

В борьбе с католической церковью Вольтер не жалел ни времени, ни сил. Чтобы «сокрушить негодную», он использовал всю силу своего многостороннего таланта: он анализировал и сопоставлял исторические источники христианского учения, выявляя его внутренние логические противоречия; яркими, хотя подчас и грубыми мазками изображал преступления церкви — инквизицию, религиозные войны, судебные процессы против «еретиков»; с подлинным моральным пафосом громил в своих памфлетах ее нетерпимость и жестокость. Но излюбленным и наиболее действенным его орудием была насмешка, — тонкая, язвительная, уничтожающая насмешка, в которой Вольтер является непревзойденным мастером.

Вольтерская критика книг Ветхого и Нового Завета представляется нам теперь — после успехов в этой области исторической науки XIX—XX веков — чрезвычайно упрощенной. Но цель, которую ставил себе Вольтер, этой критикой достигалась. Тщательно выискивая и выставляя напоказ «нелепости» этих «священных» книг, Вольтер стремился доказать их земное происхождение, рассеять окружавший их и делавший их неприкосновенными для человеческого разума ореол «божественного откровения». Вольтер разъяснял своим читателям, что библия представляет собой смесь преданий, хроник, поучительных рассказов, принадлежавших маленькому невежественному и суеверному пастушескому племени. Признавая историческое существование Иисуса, Вольтер доказывал, что он был только человеком, что он не создал ни христианской догматики, ни христианской иерархии, что канонические евангелия возникли гораздо позднее, что дальнейшая история христианства изобилует измышлениями, основанными на подделках и фальсификациях. Христианство, утверждал он, добилось господствующего положения при помощи денег: разбогатевшие на торговых операциях христиане кредитовали императоров и тем поставили их от себя в зависимость.

Все это было ново для широкой читающей массы, все это преподносилось в ясной, подчас довольно грубой форме, вызывавшей и по сей день вызывающей возмущение

не только среди ревнителей веры, но и среди людей с высоко развитой «академической» терпимостью к суевериям и нетерпимостью к критике. Но для правильной оценки характерных особенностей вольтеровской полемики против церкви и «священного писания» надо иметь в виду, что большинство произведений Вольтера, посвященных критике «священных» книг, было написано в дни разгула религиозного фанатизма, когда ряд юридических убийств на религиозной почве до глубины души потряс великого французского мыслителя. Вольтер, по его собственным словам, считал неприличным допустить на свои уста улыбку, пока он не добьется реабилитации жертв этих «религиозных» процессов — Каласа, Сирвена, де ля Барра. Ему было не до деликатности в его рискованной борьбе с сильным и опасным врагом, на глазах у всего народа предававшим мучительной казни невинных людей по ложному обвинению в преступлениях «против веры».

Как бы то ни было, освобождающее действие критики Вольтера несомненно. Признание «священного писания» человеческим творением, подлежащим свободной научной критике, было крупным шагом вперед в борьбе за права разума. Но неувядающее значение произведениям Вольтера, направленным против католицизма, придают не рассуждения о возникновении и характере религиозной литературы, а проникающая их ненависть к злу и насилию, прикрываемым и освящаемым религиозными предрассудками. Когда мы читаем антирелигиозные рассказы и диалоги Вольтера, нам трудно полностью оценить — почти два столетия спустя — силу революционизирующего действия этих изящных образцов художественной прозы.

III

Отвергнув догму и культ церкви, осудив ее как социальную силу, Вольтер отнюдь не считал возможным оставить пустым то место, на котором стояло разрушенное им здание. Вряд ли можно найти хоть одно его произведение, в котором критика религии откровения не сопровождалась бы исповеданием веры в «верховное существо», в разумного творца мира. Критическая мысль Вольтера всегда с

почтением останавливалась перед этим понятием; атеизм он считал учением, логически невозможным и социально опасным. Систему взглядов, противопоставляемую им религии откровения, Вольтер обычно именуется философией. По существу именно она и есть настоящая религия, естественная, вечная, запечатленная в сердцах. Вольтер уверен, что распространение просвещения рассеет мрак суеверий и предрассудков, освободит религию от всех «сторонних примесей». «Поклонение высшему существу — вот в наши дни религия всех порядочных людей; скоро она спустится в здоровые слои народа».

Учение Вольтера о верховном существе и о его отношении к миру и к человеку имеет своеобразные черты, на которых следует остановиться: они еще раз показывают значение практических, социальных мотивов в просветительской работе Вольтера. Основным теоретическим аргументом в пользу существования бога является для Вольтера аргумент разумного устройства мира. Если мы видим прекрасную машину, говорит Вольтер, мы заключаем, что есть хороший машинист, ее создавший. Мир — изумительная машина, следовательно в нем есть изумительный разум, где бы таковой ни находился. Платон удачно назвал бога великим геометром. Однако, как нельзя представить себе мира без бога — нельзя представить себе существование бога без мира. Бог вечен; но и мир вечен. Они связаны, как солнце связано с его лучами. Божественный разум — сила, организующая материю. Творение не есть единовременный акт божества, которое, совершив этот акт, более ничего не делает. Вечный геометр вечно творит. Мир — это вечная эманация. Однако все явления в мире связаны причинной связью, и не следует думать, что, установив законы природы, божество повседневно вмешивается в ход событий, нарушая установленные связи, и как бы исправляет на ходу самого себя. Законы бытия, данные богом, незыблемы. Молитвы бессильны их изменить. Молиться — значит, подчиняться.

Пантеистические тенденции этой аргументации бесспорны, и Вольтер это, вероятно, и сам сознавал. Не случайно его упоминание о Спинозе как об авторитете, подтверждающем его ход мыслей. Но холодное, ни во что не вмешивающееся, безразличное к людям божество бесполезно в социальной жизни. Философ, говорит Вольтер, может быть спинозистом; для государственного

деятеля эта система не годится. Природа доказывает нам существование бога мудрого и могущественного. Но общество не может существовать без справедливости; поэтому мы веруем в бога справедливого. Так, социальные мотивы заставляют Вольтера внести в понятие бога новые черты или, вернее, восстановить те черты, которые свойственны ему во всех «позитивных» религиях: верховное существо становится существом, вознаграждающим добро и карающим зло.

Признание доброго и справедливого бога-судьи создает, однако, ряд новых логических затруднений. Основное затруднение, над которым Вольтер бьется на протяжении всей своей литературной деятельности, — как примирить доброго бога с царящим в мире злом. К этому вопросу Вольтер подходит в отдельных случаях по-разному. В ранних своих произведениях он разрешает этот вопрос в духе телеологического оптимизма, весьма характерного для учения о боге — идеальном машинисте: все в мире целесообразно, то, что представляется нам злом, в конечном счете служит добру. Но активная природа Вольтера-борца не могла мириться с этим решением, оправдывавшим пассивно-примиренческое отношение к действительности. Отход Вольтера от условного оптимизма, который нашел отражение в формуле: «надб предоставить миру итти, как он есть» («Бабук»), был для него психологически неизбежен. В более поздних работах Вольтера мы находим резкие сатирические выпады против попыток доказать, что «все к лучшему в этом лучшем из миров» («Кандид»). В ряде своих теоретических диалогов Вольтер разрешает противоречие в плоскости метафизической, наделяя божество благостью, так сказать, за счет всемогущества. В одном из «Диалогов Эвгемера» Эвгемер доказывает, что божество не может не быть благим, ибо у существа, которое является причиной всего, нет никаких причин творить зло. Идея бога, который творит, чтобы мучить свои создания, — идея ужасная и абсурдная. Как же объяснить физическое и моральное зло? — спрашивает его собеседник. Эвгемер сознается, что этот вопрос его самого очень волнует и что он не решил его до конца. Он предлагает лишь некоторую гипотезу. Бог — существо могущественное, но его могущество имеет пределы. Его природа ограничена, как природа всякого существа. Бог не может совершить невозможного. Он не

может сделать так, чтобы сумма углов треугольника не равнялась двум прямым. Очевидно, для него было невозможно устроить этот мир так, чтобы в нем не было зла. В других произведениях Вольтер уклоняется от теоретического решения вопроса по существу, перенося его в плоскость человеческой практики: не все хорошо в этом мире, но все с н о с н о; наша задача не в том, чтобы понять происхождение зла в мире, а в том, чтобы своим трудом этот мир улучшить. И это практическое решение, повидимому, в наибольшей степени удовлетворяет Вольтера.

Второе затруднение в системе вольтеровской философии состоит в невозможности определить место и время наказания зла и вознаграждения добра. Признать, что это происходит в земной жизни, Вольтер не может. Помимо того, что это никак не согласуется с фактами, это противоречит одному из основных принципов Вольтера: ведь божество не может нарушать вечные законы, вмешиваясь в жизнь людей, подчиненную естественным причинным связям. В религиях откровения проблема разрешается существованием загробной жизни, куда и относится суд божий над праведным и неправедным. Но для Вольтера и это решение невозможно. Дело в том, что Вольтер, отводя духовному началу почетное место в мире в качестве верховного существа — творца и геометра, — не склонен признавать самостоятельное духовное начало в отдельных творениях.

В своих наиболее зрелых философских работах Вольтер стоит в учении о душе на чисто материалистических позициях. В «Диалоге А, В и С» Вольтер заявляет, что доказать существование души невозможно. В древности слова, выражавшие свойства, почитали за обозначение самостоятельных существ. Так возникло множество воображаемых существ, не имеющих физического бытия. Так жизнь считали чем-то, делающим животное живым. В действительности жизнь — это живое животное, мысль — мыслящее животное и т. д. Так Вольтер подводит читателя к признанию того, что и душа — только слово, служащее для обозначения способности мыслить и чувствовать. То, что мы называем душой, есть свойство наших органов, один из атрибутов материи. При таком понимании души в философии Вольтера нет места ни для бессмертия, ни для загробной жизни.

Положение получается как будто безвыходное, Вольтер бессилён найти теоретическое решение проблемы «суда божия» и в конце концов от такого решения отказывается, довольствуясь аргументом чисто практического свойства. «Я знаю все, что говорилось об этом темном предмете, и это меня совсем не беспокоит. Я хочу, чтобы мой прокурор, мой портной, мои лакеи, моя жена верили в бога... Словом, все культурные нации допускали существование награждающих и карающих божеств, а я — гражданин мира». Где и как будет происходить суд, неизвестно. «Но, еще раз повторяю, не следует подрывать мнение, столь полезное для человеческого рода». Так практические потребности социальной жизни диктуют Вольтеру определенное решение теоретического вопроса о свойствах «верховного существа». Позволительно сомневаться, чтобы это решение совпадало полностью с подлинными внутренними убеждениями великого просветителя.

Понятие карающего и награждающего божества не только противоречит учению Вольтера о душе, оно по существу не соответствует внутренней логике моральной философии Вольтера. В религиях откровения бог дает людям обязательный для них нравственный закон — «заповеди» и судит за уклонение от своего закона, за нарушение своих «заповедей». «Естественная» или «философская» религия Вольтера не признает божественного происхождения нравственного закона. М о р а л ь В о л ь т е р а не имеет в себе ничего потустороннего; это явление естественного порядка, неизбежный продукт общественных отношений, служащий общественным потребностям. Как весь мир подчинен внутренним непреложным законам, так подчинено таким же законам и поведение человека. Нет морального зла по отношению к божеству. Добро и зло, добродетель и порок существуют лишь по отношению к человеку¹. Преступления людей имеют для «верховного существа», для души мира не большее значение, чем тот факт, что в мире животных представители одного вида пожирают представителей другого. «Для Всевышнего нет зла, для него существует лишь действие великого механизма, непрерывно движущегося в силу вечных законов».

¹ Voltaire. Dictionnaire philosophique, art. «Dieu».

«Естественная мораль» в своих основах, в отличие от религиозных догм, везде и всегда одна и та же. «Есть только одна мораль, — утверждает Вольтер, — так же как есть только одна геометрия». Законы морали, подобно закону тяготения, имеют всеобщее значение, они универсальны. Нет народов, которые считали бы справедливым пренебрежение к отцу и к матери, которые считали бы хорошим поступком клевету. Все философы, от Зороастра до лорда Шефтсбери, при всем различии их понятий, всегда были согласны в нравственном учении. Это единство морали, при чрезвычайном разнообразии нравов, обычаев, законов, является неизбежным результатом единства человеческой природы. Ибо «человек в общем был всегда тем, чем он является теперь».

Единая «естественная мораль» Вольтера составляет полную параллель «естественному праву» и по своей логической структуре и по своему социальному назначению. Подобно тому как «естественное право» XVIII века противопоставляет пестроте феодальных порядков единую, рационально обоснованную, идеализированную «вечную» систему правовых норм, соответствующих потребностям буржуазного общества, так «естественная мораль» Вольтера противопоставляет пестроте нравов, обычаев и моральных предрассудков единую, рационально обоснованную, идеализированную «вечную» систему норм буржуазной морали.

Природа человека неизбежно толкает его к общественной жизни. Люди созданы, чтобы жить в обществе. Мораль, вытекающая из общественной природы человека, естественно направлена к общественному благу. Добродетель и пороки, утверждает Вольтер, моральное добро и зло являются тем, что полезно или вредно обществу. Не идея личного совершенствования, а идея общественной пользы является направляющей идеей вольтеровской моральной философии. Мораль «личного совершенствования», будто бы «угодного богу», но не считающегося с общественными интересами, Вольтер едко высмеивает в новелле «Бабабек и факиры», где он сопоставляет отшельника-факира, голого, как обезьяна, с тяжелой цепью на шее, сидящего на стуле, утыканном мелкими гвоздями, впивающимися в его зад, с простым индусом Омри, который старается быть хорошим гражданином, хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим другом.

Когда Омри, рассказав о том, как он живет, спрашивает отшельника, удостоится ли его душа созерцать жилище Брамы, брамин в свою очередь задает вопрос: «А сидите ли вы когда-нибудь на гвоздях?» Беседа кончается негодующим заявлением Омри-Вольтера: «Я во сто раз более уважаю человека, который сеет овощи или сажает деревья, чем всех ваших товарищей, которые смотрят на кончик своего носа... Какое дело Бrame до того, что вы сидите целый день без одежды и с цепью на шее! Что за услугу вы оказываете этим вашему отечеству?»

Реабилитация чувственного человека, человеческой плоти, плотских наслаждений составляет характерную черту вольтеровской морали общественной пользы. Иные страницы Вольтера, особенно в его более ранних произведениях, звучат как подлинный гимн телесным удовольствиям. Этот гедонизм Вольтера следует рассматривать прежде всего как протест против средневековой церковной морали. Но он являлся также необходимым шагом на пути освобождения буржуазного морального сознания от свойственного ему на предыдущей ступени развития морального пуританизма, нашедшего свое выражение во Франции XVII—XVIII веков в форме янсенизма. Моральный пуританизм, кальвинизм и янсенизм представляли религиозное отражение буржуазной умеренности и буржуазного протеста против падения нравов в высших слоях феодального общества; это были необходимые элементы буржуазной идеологии того периода, когда этот класс в напряженной борьбе пробивал себе дорогу во враждебном ему феодальном окружении. Отказ от пуританизма, отмеченный моральной пропагандой Вольтера и материалистов XVIII века (Гельвеций, Гольбах и др.), знаменовал переход буржуазии на новую ступень ее социальной борьбы, завоевания ею узловых социальных и экономических позиций. Суровые и мрачные одежды янсенизма становятся стеснительными для буржуазии, стремящейся использовать все преимущества своего нового положения. На этом этапе борьбы буржуазия нуждается в новой, жизнеутверждающей морали. Так возникают отвечающие потребностям революционной буржуазии моральные принципы, резко отталкивающиеся от янсенистского аскетизма и заимствующие целый ряд черт у «философии наслаждения», характерной как раз для верхушки феодального общества. В произведениях

Вольтера, яростного противника янсенизма, без труда прослеживается стойкая традиция великосветского «либертинажа», сильнейшее влияние которого он испытал в дни своей юности. И все же моральная проповедь Вольтера служила интересам формирования буржуазной идеологии в той же мере, как служила этой задаче вся его разносторонняя деятельность. Янсенистский пуританизм отражал прошлое буржуазии; освобождающая человеческие потребности мораль Вольтера возвещала ее будущее.

IV

Борьба Вольтера против религиозных суеверий и предрассудков — борьба, к которой в течение десятилетий было приковано внимание всех передовых людей его времени, — имела большое значение для подготовки освобождения человечества от устарелого, но упорно отстаивавшего свое господство строя общественных отношений. Она разрушала идеологическую основу феодально-абсолютистского порядка — христианское вероучение, она расшатывала одну из самых мощных его организаций — католическую церковь. Но Вольтер вошел в историю освободительного идейного движения XVIII века не только как критик религии и церкви. Он принимал также активное участие в разработке политической идеологии приближающейся революции. И хотя в этой области влияние Вольтера никогда не было так велико, как влияние Монтескье и Руссо, однако его не следует и преуменьшать. Конечно, Вольтер не оставил нам ни одного труда, подобного «Духу законов» или «Общественному договору»; его замечания по социальным и политическим вопросам разбросаны в различных произведениях вперемежку с рассуждениями на другие темы; зачастую эти замечания, в силу тех или иных условий, отражают взгляды Вольтера лишь частично или в смягченном виде и нередко противоречивы. Тем не менее повести, памфлеты и диалоги Вольтера были немаловажным каналом распространения новых политических идей.

Наиболее характерной формой социально-политической критики и пропаганды новых идей являлась в XVIII веке теория естественного права. Вольтер также

пользуется этой формой для обоснования своих взглядов на общество и государство. «Естественными законами, — говорит он, — я называю такие законы, которые природа указывает людям во все времена для поддержания справедливости». Это в то же время законы, соответствующие человеческим интересам и разуму. В «Диалоге А, В и С» один из собеседников спрашивает: «Значит, естественного закона не существует?» И второй, выражающий обычно мысли автора, отвечает: «Несомненно, существует; это — интерес и разум». В другом месте того же диалога Вольтер называет естественным правом свободу; в «Республиканских идеях» он говорит о естественном равенстве. Не раз встречается у него упоминание о том, что законы природы установлены самим богом и потому непркосновенны. Они, подобно законам морали, имеют универсальное значение. Чем ближе к этим естественным законам условные законы, тем более сносна жизнь в государстве. «Быть свободным, иметь вокруг себя только равных — такова, — говорит Вольтер, — истинная жизнь, естественная жизнь человека; всякая другая жизнь — недостойное хитросплетение, плохая комедия, в которой один играет роль господина, другой раба...»

Мы находим у Вольтера одну из интереснейших характеристик, весьма сочувственную, — «естественного человека», получившего воспитание среди дикарей («Простодушный»). Тем не менее он решительно отвергает связанную с теорией естественного права идеализацию первобытного состояния. «Не верно, — утверждает он, — что дикари живут под властью естественного закона. Наоборот, дикари искажают природу, а культурные люди ей следуют. Прогресс — закон природы. Инстинкты и рассудок, данные природой, толкают нас вперед, научают искать благосостояния на путях взаимной помощи. Следовательно, чем больше развиты искусства, чем лучше законы, чем более обеспечена собственность, тем больше соблюдаются естественные законы. Пчела, которая не собирает меда, курица, которая не несет яиц, нарушают естественный закон. Точно так же нарушает естественный закон изолированный дикарь (если только он существует, в чем я сильно сомневаюсь, — добавляет Вольтер). Дикарь бразильянец — вовсе не естественный человек, это животное, которое еще не полностью развило свои

свойства, куколка, которая станет бабочкой лишь через несколько лет».

Вольтер склонен думать, что начальной формой государства является республика, возникающая из соединения семей. Это — естественный ход развития. Монархия возникает из насилия и грабежа (хотя, — оговаривается Вольтер, — республики тоже этим занимались). Представим себе два живущих рядом небольших народца. Пока они живут спокойно, в их среде царит равенство, данное природой. Но между соседями всегда есть основание для столкновений. Когда один народец нападает на другой, в нем обязательно выделяется в качестве руководителя более сильный и более ловкий. Покорение врага ведет в стане победителей к ссорам из-за добычи. Вождь на войне естественно становится также судьей между своими соплеменниками. Его начинают считать великим человеком и начинают ему повиноваться. Так вырастает монархическая власть.

Вольтер, таким образом, не разделяет теории общественного договора. Исторически общество возникло не из соглашения, а из силы. Но истинное право может основываться только на свободном соглашении. Основными законами в точном смысле являются законы природы, установленные самим богом. Но обычно основными законами называют старинные обычаи и предрассудки, которые никак нельзя считать неприкосновенными. Как и все условные законы, они созданы людьми, и другие люди вправе их изменить. История знает немало таких перемен.

Вольтер оспаривает учение Монтескье о движущих силах общества при разных формах правления (добродетель — в республике, честь — в монархии, страх — в деспотии). Эти силы действуют везде. Но основным двигателем человеческих действий при всех формах правления являются интересы. За исключением редких моментов энтузиазма, наше поведение определяется интересом нашего самосохранения, нашего благополучия, наших удовольствий, нашей репутации и т. д. Всякая власть стремится использовать интересы в своих целях. С другой стороны, интересы определяют отношение граждан к той или иной власти, их мнения. Так, министр всегда предпочтет абсолютизм, барон пожелает, чтобы бароны участвовали в законодательстве, земледelec захочет,

чтобы его тоже не забыли. Когда один из собеседников в «Диалоге А, В и С» заявляет, что он любит аристократию и что народ недостойн управлять, другой иронически ему отвечает: «Вы — богатый сеньер, и я одобряю ваш образ мыслей; вы были бы за турецкое правление, если бы были императором в Константинополе». Следует признать, что учение Вольтера об обществе выгодно отличается своими реалистическими чертами от большинства общественных теорий XVIII века.

Наиболее справедливым общественным порядком Вольтер считает такой, в основе которого лежат свобода и собственность. К этим двум принципам он присоединяет иногда третий — равенство.

В определении свободы Вольтер очень близок к Монтескье: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Свободу Вольтер неустанно проповедует и защищает во всех ее формах и проявлениях. Прежде всего это личная свобода. Рабство противно природе. Вольтер не может говорить без негодования о том, что в христианском государстве, каким является Франция, есть еще углы, где сохранился серваж. Он тратит немало энергии (впрочем, безрезультатно), чтобы добиться освобождения крепостных одного монастыря, расположенного недалеко от его местожительства. Затем следует свобода слова и печати, в которой Вольтер видит гарантию всех других свобод; это вид свободы, в котором Вольтер к тому же лично заинтересован. Далее — свобода совести, логическая антитеза католической нетерпимости, столь ненавистной Вольтеру. Наконец — свобода труда, право каждого «продавать свой труд» тому, кто дает за него наибольшую плату, ибо «труд есть собственность тех, кто не имеет собственности». Народ, утрачивая свободу, утрачивает и способность оказывать сопротивление врагу. Почему, спрашивает Вольтер, галлы, десять лет боровшиеся с Цезарем, не смогли ни на один день задержать вторгшихся в страну франков? Потому, отвечает он, что во времена Цезаря они были свободны, а ко времени нашествия франков они прожили уже 500 лет в рабстве.

Равенство в учении Вольтера — формальное гражданское равенство, а отнюдь не равенство имущественное. Лучшее правление, — говорит он, — есть то, в котором люди всех состояний находят равное покрови-

тельство в законах. «Естественные права принадлежат в равной степени султану и бостанджи; один и другой должны с равным правом располагать своей персоной, своими семьями, своим имуществом. Люди равны, следовательно, в существенном». Однако равенство не есть упразднение субординации. Мы все в равной степени люди, но мы не равны как члены общества, мы играем в обществе разную роль. Вольтер в своем толковании равенства не выходит за рамки буржуазного общества. «В нашем несчастном мире, — говорит он, — невозможно, чтобы люди, живя в обществе, не были разделены на два класса: один класс богатых, которые распоряжаются, другой класс бедных, которые служат». Это классовое деление общества вытекает, по мнению Вольтера, из природы вещей. «Если бы наша земля была такой, какой ей, как кажется, следовало бы быть, если бы человек находил на ней повсеместно с легкостью обеспеченные средства существования... ясно, что было бы невозможно одному человеку поработить другого, и, наоборот, при существующих на земле условиях, при существующей природе человека с его страстью к господству, к богатству и к удовольствиям совершенно невозможно установление фактического равенства». «Человеческий род, такой, каков он есть, не сможет существовать, если не будет бесконечного числа полезных людей, ничем не владеющих. Ибо человек зажиточный, конечно, не бросит своей земли, чтобы притти обрабатывать вашу, и если вам нужна пара ботинок, вам не станет их делать *à titre des requêtes*. Следовательно, равенство есть в одно и то же время и самая естественная и самая химерическая вещь».

Отрицая, таким образом, возможность имущественного равенства, Вольтер вместе с тем резко осуждает социальное неравенство феодального общества, привилегии дворянства и сеньериальные права. Он полемизирует с Монтескье, считающим, что монархия не может существовать без дворянства. «Зачем нужен, — спрашивает Вольтер, — этот корпус наследственно-привилегированных? Это — лишнее бремя для народа. Лучше выискивать способных людей во всех сословиях, чем поддерживать в знати остатки гордости, связанные с былой независимостью, поощрять воспоминания о

феодалной анархии. Монтескье сам признает естественную невежественность дворянства. Зачем же таких людей поднимать над прочими гражданами? Все остатки феодальных прав должны быть уничтожены. Не надо изъятий, привилегий, генеалогий.

Наконец собственность для Вольтера — необходимый признак полноправного гражданина. Только собственники имеют право голоса в вопросах общественного блага. Те, у кого нет дома и земли, не в большей степени имеют право голоса, чем приказчики в управлении торговыми делами их хозяев. Всякое покушение на авторитет права собственности вызывает в Вольтере настоящую ярость. В одном из своих диалогов он приводит цитату из одной «известной в свое время высокопарной речи». Речь эта — знаменитый отрывок из Руссо о первом, кто огородил участок земли и тем положил основание гражданскому обществу. Отрывок оканчивается словами: «Берегитесь, не слушайте этого обманщика; вы погибли, если вы забудете, что плоды принадлежат всем, а земля — никому». «Эту нелепость, — говорит один из собеседников, — написал, очевидно, какой-то вор с большой дороги, захотевший сострить». «Я подозреваю, — отвечает другой, — что это просто ленивый бездельник: вместо того чтобы позорить своего умного и трудолюбивого соседа, нужно было лишь подражать ему...» — «Автор этого отрывка мне представляется весьма необщественным животным».

В своем отношении к свободе, равенству и собственности Вольтер является бесспорным вдохновителем авторов Декларации прав 1789 года, деятелей Учредительного собрания, глашатаем идущей к власти буржуазии. Оценка этой части идейного наследия Вольтера не вызывает никаких разногласий. Как это ни странно, но до сих пор еще не вполне ясен другой, казалось бы, весьма простой вопрос: какое место занимают в политической философии Вольтера абсолютизм, конституционная монархия и республика.

Различные этапы в развитии буржуазной идеологии и его противоречия нашли свое отражение в возникновении во Франции XVIII века ряда существенно отличающихся друг от друга направлений социально-политической мысли. Вплоть до 70-х годов XVIII века значительным авторитетом и влиянием

пользовалось течение политической мысли, лозунгом которого был «просвещенный абсолютизм». Теоретики этого течения требовали «прогрессивных реформ», осуществления «естественных» законов, устранения «узурпаций» и «вольностей» феодального дворянства. Осуществление этих реформ они возлагали на «просвещенного монарха»; королевскую власть они считали издавна враждебной феодализму, издавна связанной с третьим сословием: ведь именно короли освободили сервов и отгеснили «чудовищный феодальный режим». Параллельно пропаганде «просвещенного абсолютизма», иногда своеобразно сплетаясь с ней, шла пропаганда ограничения королевской власти народным представительством, обеспечивающим гражданскую и политическую свободу, пропаганда «английских порядков», как наиболее желательного компромисса между старым феодально-абсолютистским строем и требованиями растущего в его недрах нового, буржуазного общества. Сторонники этого течения в своем отношении к старому господствующему классу были зачастую более умеренны и терпимы, чем иные защитники «просвещенного абсолютизма». В своем учении о народном «представительстве» они были в большинстве весьма далеки от демократии. Наконец во второй половине XVIII века крепнет влияние республиканских и демократических идей, но их пропаганда вплоть до самого начала революции проходит, за немногими исключениями, в тщательно завуалированной форме.

Не подлежит сомнению, что Вольтер, отрицая идею «божественного происхождения» монархии, считая первых монархов — в том числе первых франкских королей — жестокими вождями варварских народцев, тем не менее весьма высоко оценивал исторические заслуги монархии в деле борьбы с ненавистной ему «феодальной анархией». Его «Генриада» немало содействовала популяризации во французском буржуазном обществе имени Генриха IV, как короля, воплотившего в себелучшие черты просвещенного монарха. И в более поздние годы своей деятельности Вольтер не раз высказывал ту мысль, что необходимые для общества реформы осуществит государь, проникшийся философскими идеями. «Самое счастливое для людей, — заявил он, — когда государь — философ». «Добрый король есть лучший подарок, какой

небо может дать земле». От государя-философа Вольтер ожидал покровительства просвещению и просветителям, борьбы с суеверием и нетерпимостью, ликвидации серважа и других пережитков феодализма, содействия экономическому прогрессу. В течение некоторого времени таким государем-философом он считал Фридриха II. Он идеализировал внутреннюю политику Екатерины II, видя в ней образец просвещенного реформаторства. Он горячо и искренне восхвалял деятельность Тюрго и ожидал от нее значительно больших результатов, чем она могла дать в условиях абсолютизма. Все это — и многое другое — дает, казалось бы, достаточно оснований признать Вольтера сторонником «просвещенного абсолютизма».

С другой стороны, Вольтер уже в «Философских письмах» выражает величайшее уважение к английской конституции. Он сравнивает Англию с Римом: и тут, и там происходили гражданские войны; но результатом их в Риме было рабство, а в Англии — свобода. «Английская нация — единственная нация на земле, которой удалось, оказывая противодействие королям, урегулировать королевскую власть, которая путем ряда усилий установила, наконец, разумное правление, где у государя, всемогущего в добре, связаны руки, чтобы делать зло... и где народ участвует во власти без беспорядка». В борьбе за такое правление в Англии было пролито море крови. «Но англичане не считают, что они дорого заплатили за свои хорошие законы. Другие нации имели не меньше смут, пролили не меньше крови, чем англичане; но эта кровь, которую они проливали за дело свободы, только закрепила их рабство». Некоторые исследователи выражали удивление по поводу того, что Вольтер так мало говорит в «Философских письмах» об английской конституции, и видели в этом доказательство того, что он мало интересовался вопросом об ограничении королевской власти. Мне кажется, что в приведенном отрывке надо удивляться не тому, что в нем сказано будто бы так мало, а, напротив, тому, что вопрос поставлен здесь с такой рискованной для начала XVIII века остротой.

К английской конституции мысль Вольтера обращалась неоднократно. В «Диалоге А, В и С» англичанин говорит: «Наилучшие законы в Англии: правосу-

дие, отсутствие произвола, ответственность должностных лиц за нарушение свободы граждан, право каждого высказывать свое мнение устно и письменно. Две партии следят одна за другой и оспаривают честь охраны общественной свободы». На это другой собеседник отвечает: «Не давайте же разрушить этот памятник, который вам так дорого стоил. Человек рожден свободным. Лучшее правление то, которое по возможности сохраняет за каждым этот дар природы». В «Мыслях об общественной администрации» (1753) Вольтер выражает надежду, что в результате реформ, осуществленных добрым монархом, английская система распространится в других странах и «общины станут в них частью правительства». Реформы «просвещенного абсолютизма» являются здесь, таким образом, как бы мостом от неограниченной монархии к ограниченной. А если доброго монарха не найдется и мирный переход к ограниченной монархии не осуществится? «Следует думать, — отвечает Вольтер на этот вопрос в «Философском словаре», — что все государства, которые не основаны на этих принципах, испытают революции».

Идеализация английской конституции является законным логическим завершением всей системы социально-политических взглядов Вольтера, великолепно с ними гармонирует. Весьма возможно, что в первые годы своей деятельности Вольтер — в полном соответствии с настроениями своей социальной среды в начале XVIII века — считал монархию единственно возможной для Франции формой правления. Если он задумывался о реформах, то считал эти реформы вполне осуществимыми в рамках абсолютизма, его политическая мысль не шла дальше «доброе короля». Оформлению новой, подсказываемой событиями, политической концепции, концепции конституционной монархии, помогло его пребывание в Англии. Однако, перейдя на позиции конституционализма, Вольтер — опять-таки в полном соответствии со своей средой — никак не мог еще принять мысли о неизбежности революции. Он мечтал о мирной политической эволюции, вопреки известному ему опыту Англии. А для этого требовалось освоение новых идей представителями абсолютизма, нужен был «просвещенный абсолютизм». Так «добрый король» сохранил свое место в сознании Вольтера рядом с английской конституцией.

К шестидесятым годам, к периоду «Философского словаря», у Вольтера возникают уже некоторые сомнения в мирной политической эволюции европейских стран. Интересно, что к этому же времени в его произведениях, отнюдь не вытесняя полностью восхваления «английских порядков», все более определенно начинают звучать республиканские тона. Мы уже знаем, что республику Вольтер считает в эти годы первичной, естественно возникающей формой государства. Совершенных правлений, утверждает он, не существует, ибо у людей есть страсти. А если бы страстей не было, то не нужно было бы совсем правительств. Из всех форм правления наиболее терпимая — республика. Республиканский строй — строй естественный и разумный. В республике управление — воля всех, выполняемая одними или несколькими на основе законов, принятых всеми. Республика более всего приближает людей к естественному равенству. С другой стороны, республика лучше обеспечивает свободу. В республике люди чувствуют себя увереннее в своей собственности и в своих правах. Поэтому народ в ней богаче. Республиканец всегда больше привязан к своей родине: люди больше любят свое добро, чем добро своего хозяина. Нидерланды быстро разбогатели, прогнав испанского короля. Если Вольтер и теперь иногда повторяет старый лозунг «добрый король» (например, в 1777 году в «*Commentaire sur l'Esprit des lois*»), то, с другой стороны, у него можно найти резко противоречащее этой формуле заявление, что только короли предпочитают королевскую власть другим формам правления. Если недавно он утверждал, что естественно любить династию, которая правит около 800 лет, то теперь он с особым вкусом подчеркивает, что основатели династии — воры, которые, обманув народ, заставили воздвигнуть себе алтари и тем добились, чтобы поработанный народ видел в них и в их потомках расу богов. В «Философском словаре» он утверждает, что в монархиях люди почти всегда лишены своих естественных прав. Вряд ли следует придавать серьезное значение монархическим заявлениям Вольтера в этот период. Не надо забывать, что очень часто Вольтер считал нужным прикрывать лояльными фразами революционную сущность своей пропаганды. Он стремился «попадать в цель, но не выдавать себя». «Я горячий приверженец истины,—

говорил он, — но не приверженец мученичества». По-видимому, еще раз его монархические настроения временно оживились в связи с реформаторскими попытками Тюрго; падение Тюрго, глубоко потрясшее Вольтера, нанесло им последний удар.

V

Очень значительное место в литературном наследии Вольтера занимают исторические работы. Нет никакого сомнения в том, что для Вольтера и эта форма его деятельности была прежде всего общественным служением. В руках Вольтера историческое исследование было одним из орудий общественной борьбы, одним из орудий пропаганды идей просвещения и свободы. Историческая наука Вольтера отнюдь не беспартийна. Вольтера можно считать основоположником буржуазной историографии. Но именно потому, что его исторические работы служили передовому классу своего времени в период его борьбы с отжившими общественными формами, они составляют крупнейший шаг вперед в понимании процесса развития человеческого общества. «Если первенство чего-нибудь да стоит, — писал о Вольтере Пушкин, — то вспомните, что Вольтер первым пошел по новой дороге и внес светильник философии в темные архивы истории».

Довольтеровская историография или вовсе не ставила перед собою вопроса о движущих силах истории, или разрешала этот вопрос на почве религиозного мирозерцания: история — осуществление божественного плана, историей движет промысел божий. С этих позиций было написано крупнейшее историческое произведение XVII века — «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэ. Вольтер вместе с положительной религией отверг, как мы знаем, и учение о промысле божием, как о силе, вмешивающейся в действие естественных законов. Он неизбежно должен был отбросить и теологическое понимание истории. Его история — наука чисто светская. В ней действуют не божественные силы, а обыкновенные люди, повинующиеся в своей деятельности обыкновенным мотивам человеческих действий. Поскольку отдельные события не могут рассматриваться

как моменты в осуществлении божественного плана, Вольтер часто говорит об истории как о сцеплении случайностей. Но эти случайности связаны причинной связью и подчиняются естественным законам бытия.

В более ранних произведениях Вольтер — в борьбе против янсенистского учения о предопределении — допускает иногда выражения, дающие основания говорить о нем как о стороннике свободы воли. Божественное предопределение, утверждает Вольтер, не оказывает никакого влияния на то, что совершается. Люди и животные обладают способностью двигаться, куда они намерены, — следовательно, они свободны. Свобода состоит в способности желать чего-либо «не по какой-либо иной причине, кроме собственной воли». Однако подобные выражения встречаются у Вольтера редко. В большинстве случаев он толкует свободу и в этот период своей деятельности лишь как «свободу решиться делать то, что представляется хорошим», то есть свободу подчиняться своим собственным мотивам, из чего вовсе не вытекает, что единственным двигателем поступков служит сама воля.

Во всяком случае, в более поздних работах Вольтер выступает самым решительным и последовательным сторонником детерминизма. Ничто не происходит без причины. Говорить о следствии без причины — значит говорить вздор. Было бы странно, если бы вся природа повиновалась вечным законам, и лишь человек, «небольшое животное ростом в пять футов», мог бы действовать по своей прихоти. Когда я могу сделать то, что хочу, тогда я свободен; но я хочу того, чего я хочу, в силу необходимости, ибо иначе я хотел бы беспричинно, что невозможно. Законы мира нерушимы, все в мире необходимо: «Тела тяготеют к центру земли, не обладая способностью повиснуть в воздухе; грушевые деревья никак не могут приносить ананасы; все в мире согласовано, связано, ограничено». Из всех этих соображений Вольтер делал вывод, весьма важный для понимания человеческой истории: «Каждое событие в настоящем рождается из прошлого и является отцом будущего... вечная цепь не может быть ни порвана, ни запутана... — неизбежная судьба является законом всей природы».

В первых исторических трудах Вольтера среди «случайностей» особенное значение имеет случайное

появление в тот или иной момент великого человека. Великие люди дают мощный толчок развитию человечества, особенно когда в их руках оказывается верховная власть. В более позднем «Опыте о нравах» великим людям придется уже не столь исключительное значение. В известном смысле великий человек как бы растворяется в общем движении, которое происходит в массах под давлением обстоятельств и естественных свойств человеческой природы. Это характерное изменение в отношении Вольтера к «великому человеку» представляет, возможно, известную параллель к эволюции его политических взглядов, отражает разочарование в идее «добраго короля», рост симпатий к «республиканским идеям».

Мы уже знаем, что среди сил, действующих в человеческом обществе, Вольтер иногда выделяет как основную силу интересы. Но было бы совершенно неверно считать Вольтера-историка на этом основании материалистом. Он не дает в своих работах монистического толкования истории, хотя ему не чуждо понимание тесной связи и взаимозависимости различных сторон исторического процесса. Во всяком случае, в своих конкретно-исторических работах Вольтер не делает попытки построить свое изложение, исходя из теории «интересов». Не находим мы у него и анализа понятия «интересы». Он уделяет большое внимание экономической жизни общества, но не меньшее их умственному развитию. Нет оснований утверждать, что Вольтер считает тот или иной ряд этих явлений основным, дающим ключ к пониманию исторического процесса в целом. У него, несомненно, чувствуется иногда тенденция рассматривать умственное развитие, просвещение, «мнение» как основную движущую силу истории. Но эта тенденция не находит должного развития. В общем механика исторического процесса остается у него не вскрытой, как, впрочем, не вскрыта она и буржуазной историографией XIX—XX веков.

Классовая позиция, занимаемая Вольтером в общественной борьбе его времени, определяет круг интересующих его исторических явлений. Если историки предшествующего периода занимались по преимуществу политической и военной историей, то есть тем, что более всего интересовало высшие классы феодального

общества, то Вольтер стремится дать историю цивилизации, в которой факты политической жизни и военные действия занимают подчиненное положение. «Шлюз канала, соединяющий два моря, — пишет он, — картина Пуссена, прекрасная трагедия, открытие новой истины — в тысячу раз драгоценнее всяких придворных хроник, всяких военных реляций». В других местах Вольтер подчеркивает свой интерес к тому, как люди одевались и работали, каково было освещение и отопление, каков был характер торговых связей, какое было соотношение между классами общества, когда изобрели ветряные мельницы, и т. п. Мы видим, как у Вольтера в его представлениях о существовании истории сплетаются факты экономического и идеологического порядка. К «истории монархов, дипломатов и полководцев» он высказывает иногда пренебрежение, явно не соответствующее действительному ее значению. Эта несомненная крайность — оправданная, впрочем, условиями времени — может быть понята только как буржуазная реакция и против феодальной историографии, и против феодально-абсолютистского режима с его династическими войнами и придворными интригами.

Позиция Вольтера определила также значительное расширение исторического кругозора его работ по сравнению с работами его предшественников. Во «всемирной истории» довольтеровского периода большое внимание уделялось «священной» истории иудейского народа как исходному пункту «христианской цивилизации». В дальнейшем излагалась история Греции и Рима, и, наконец, история европейских народов. Такова была господствующая историческая схема, связанная с господствующей религиозной идеологией.

Два мотива отталкивали Вольтера от этой схемы. Первый мотив был связан с расширением отношений между Европой и самыми отдаленными странами мира. Естественно возникал интерес к их внутренней жизни и к их историческим судьбам. Этот интерес побуждал Вольтера отвести место в своем изложении народам стран Востока — халдеям, китайцам, индусам и т. д. «Когда Вольтер пьет кофе из Аравии в чашке из Китая, то он чувствует, как расширяется его исторический горизонт». Но, конечно, еще действеннее был второй мотив — идеологический. Старая схема была теснейшим образом свя-

зана со старой идеологией, с христианской традицией. Стремясь подрвать влияние этой традиции, Вольтер ревностно искал исторический материал, который лишил бы «священную» историю ее авторитета. Для него было чрезвычайно важно показать, что существовали цивилизации более древние, более распространенные, чем цивилизация небольшого народа, создавшего «священное писание». Этой цели прекрасно служило включение в сферу всемирной истории древних обществ Востока. Таким образом, «расширение исторического горизонта», с одной стороны, было весьма плодотворно для развития исторической науки, а с другой — оно наносило удар основам церковного учения, служило вольтеровской критике христианства и католической церкви.

Борьба с церковью, несомненно, содействовала развитию еще одной важной черты в деятельности Вольтера как историка. Способность к тонкой, ядовитой и уничтожающей критике составляла вообще одну из самых замечательных сторон вольтеровского таланта. Направить этот дар на дело критики и с т о р и ч е с к и х источников, выработать соответственные технические приемы побуждала Вольтера главным образом необходимость критического анализа источников, лежащих в основе христианского учения. Но орудие, оттачиваемое на критике «священного писания», применялось и к другим видам исторических источников. И если в приемах критики Вольтера кое-что устарело и он не всегда сам остается им верен, то все же они должны быть отмечены в истории науки как весьма значительное достижение.

Для характеристики тех высоких и строгих требований, которые предъявлял Вольтер к историческому исследованию и к лежащим в его основе источникам, независимо от их религиозного характера, стоит остановиться на его критических замечаниях по поводу книги Монтескье «Дух законов». Недостатки этой книги, повидимому, очень волновали Вольтера: он посвятил ей особый этюд «*Commentaire sur l'Esprit des lois*» и неоднократно возвращался к ней в других своих работах.

Самый большой упрек, какой Вольтер делает Монтескье как историку, — это упрек в некритическом отношении к тем произведениям, из которых он черпает

свой материал. Монтескье без всяких оговорок передает рассказы разных путешественников, вернее бродяг, которые распространяют самые невероятные басни о странах Востока. Возможно ли, спрашивает Вольтер, чтобы серьезный человек на основании таких басен говорил о законах Макассара, Бантама, Борнео? Ведь авторы этих басен побывали во дворцах всех государей Индии, не выходя из конторы голландского купца, в которой они служат. В отношении других, более известных стран Монтескье также полагается слепо на совершенно недостоверные рассказы миссионеров. В результате «Дух законов» переполнен множеством совершенно неправдоподобных сказок.

Но недостаточно отбросить недоброкачественные источники. Необходимо отнестись критически и к источникам в общем доброкачественным. Прекрасный пример такого критического анализа дают замечания Вольтера по поводу законодательства Ликурга. Мы знаем, с каким слепым доверием относилось большинство писателей XVIII века к легенде о Ликурге. На законы Ликурга опирались в своих рассуждениях, исходя из признания этих законов несомненным историческим фактом, и теоретики предреволюционной эпохи, и практические деятели эпохи революции. Вольтер идет в этом вопросе в разрез с господствующими взглядами, далеко опережая свое время. Он упрекает Монтескье в том, что последний, не колеблясь, повторяет рассказы о порядках Лакедемона, не подвергая тщательной проверке источники наших сведений о них. «Между тем, — говорит Вольтер, — мы ведь вовсе не имеем подлинных лакедемонских законов. Мы составили себе представление о них по нескольким отрывкам из Плутарха, который жил много столетий спустя после Ликурга. История лакедемонян становится более или менее достоверной лишь со времени войн с Ксерксом. Возможно, — заключает Вольтер, — что прекрасные времена (*des beaux siècles*) Лакедемона похожи на времена первоначальной церкви, на Золотой век и т. п. (т. е. относятся к числу легенд и выдумок)». Это рассуждение делает большую честь критической проницательности Вольтера.

Вольтер понимает также, что научное использование источника не допускает ни искажений его текста, ни неправильных и произвольных толкований: он знает,

сколько ложных предрассудков возникло именно в результате таких толкований. Он решительно осуждает Монтескье за его легкомысленное отношение к точности цитат и ссылок, за искажение смысла показаний того или иного автора путем приписывания ему того, что он вовсе не говорит. Так, Монтескье утверждает, что в Эпидамне во избежание порчи нравов назначили особое должностное лицо для торговли с варварами. Но, во-первых, возражает Вольтер, у Плутарха, на котором, очевидно, основывается этот рассказ Монтескье, нет речи о должностном лице («Хороша была бы торговля Парижа, — иронически замечает Вольтер, — если бы ее поручили вести советнику парламента!»); во-вторых, ни из чего не вытекает, что эта мера была принята во имя моральных целей: «Разве мы учредили индийскую компанию для улучшения наших нравов?»

История должна давать лишь точно установленные факты, отнюдь их не искажая. Но задача историка не сводится к установлению фактов. Их хаотическое, беспорядочное нагромождение только отягощает ум и несколько не способствует, по мнению Вольтера, его развитию. Историк должен уметь отделить важное от неважного, отбросить мелочи, место которым не в исторических трудах, а в летописях и справочниках. Такие летописи и справочники нужны, но Вольтер понимает, что для великого дела просвещения, которому он служит, нужны исторические труды иного рода, создание которых он и ставит себе целью. Мы уже видели, какие факты считает он важными для настоящей истории, какими социальными мотивами определяет их отбор. Но нужен не только правильный отбор фактов — этого недостаточно для решения задач, которые ставит перед историей век просвещения. Нужно правильное освещение фактов светом философской мысли, чтобы из хаоса получалась стройная и цельная картина.

Считая, таким образом, философское обобщение фактом необходимым, Вольтер, однако, решительно осуждает навязывание фактам предвзятых «метафизических теорий». Такой предвзятой метафизической теорией является для Вольтера уже упомянутое нами учение Монтескье о движущих силах общества при разных формах правления. Теория, не основанная на фактах, навязываемая

фактам, неизбежно искажает их или дает им ложное объяснение. Согласно Монтескье, республика основана на добродетели, а монархия — на чести. Но Женева прогнала своих епископов вовсе не из добродетели; Рагуза добилась свободы не добродетелью, а обязательством выплачивать Порте ежегодно двадцать пять тысяч экю. С другой стороны, можно не поверить, что монархии, созданные в свое время готами, гелидами, аланами, были основаны на чести. Такой же натянутой, не соответствующей фактам теорией является теория Монтескье о влиянии климата на общественные отношения. Конечно, верно — и это всегда было известно, — что почва, орошение и т. д. оказывают известное влияние на жизнь людей. Но невероятно, чтобы счастье и права граждан зависели от тепла и холода. Климат в Италии не переменялся со времен Ромула и Рема, а сколько перемен пережила она на протяжении этих веков. Неверно, что северяне всегда побеждали южан: завоевания арабов, завоевания римлян в Северной Европе показывают обратное. Климат может определять культовые обычаи (например, обычай омовения в водах Ганга вряд ли мог бы возникнуть на берегах Вислы), но не религию. Увлеченный ложной теорией, Монтескье утверждает, что обычаи, нравы и законы на Востоке сейчас таковы же, какими были тысячу лет назад. В действительности, обычаи и нравы христиан вытеснили там обычаи и нравы Сирии и Египта, обычаи магометанства — обычаи персов: А затем все было вновь опрокинуто турками.

Отрицательное отношение к теориям, привносимым в историческое исследование извне, — большое достижение исторической мысли Вольтера. И оно, несомненно, психологически связано с его борьбой против христианства: ведь именно христиански-телеологическая концепция была в его время наиболее авторитетной и распространенной исторической концепцией, навязанной истории как обязательный вывод из религиозных положений. С другой стороны, Вольтер убежден в том, что исторические факты, тщательно проверенные и исследованные, сами по себе дают достаточный материал для обобщений, и что философски осмысленная история может быть не только занимательна, но и поучительна в общественном отношении. Это убеждение несомненно психологически связано с оптимистическим мироощущением

того класса, представителем которого он являлся, с верой в то, что в конечном счете исторический процесс идет в направлении его идеалов.

Общие выводы, к которым приходит Вольтер в результате исследования исторических фактов, ярко отражают ту позицию, которую он занимает в идейной борьбе своего времени. История — процесс вечного изменения, в ней нет ничего неизблемого; меняются нравы, обычаи, формы правления. Эти изменения совершаются самими людьми под давлением естественных человеческих мотивов, без потустороннего вмешательства. Путь, который человечество совершает, изобилует страданиями. Историки, начиная с каролингских летописцев и до современных академиков, в своем раболепном преклонении перед силой прославляют обман, мошенничество, несправедливость, жестокость, царящие повсюду, поддерживая этим заблуждения, которые содействуют угнетению человечества, подавлению человеческого разума. Долг подлинного историка — не оправдывать мрачное прошлое и настоящее, а разоблачать все преступления властителей человечества — королей и духовенства, сделать историю орудием просвещения, способствовать осознанию царящего зла. «Человек со здравым смыслом, читая историю, занят главным образом ее опровержением». Прошлое нужно знать, чтобы вернее с ним покончить. Несмотря на все препятствия, человечество все же, хотя и очень медленно, прогрессирует, улучшает условия своего существования. Наибольшее число несчастий имеет своей причиной предрассудки и фанатизм. Просвещение мало-помалу распространяется, власть предрассудков ослабевает, улучшаются нравы, законы, растут наука и промышленность. Вольтер верит, что в будущем разум и искусство достигнут еще больших успехов, полезные ремесла еще больше разовьются, предрассудки понемногу рассеются, и просвещение получит значительно более широкое распространение. Этому развитию человечества способствуют все народы: в истории нет ни избранных народов, ни высших рас.

Прогрессивная роль этой общей исторической картины в условиях XVIII века совершенно ясна. Но не только общая концепция исторического процесса служит делу Вольтера. К какому бы частному историческому вопросу он ни подходил, вы всегда чувствуете в нем борца с цер-

ковью и деспотизмом, борца против религиозных предрассудков и фанатизма, против гнета, насилия и жестокостей феодального порядка. Лансон правильно характеризует «Опыт о нравах» Вольтера — как своеобразный исторический гимн просвещению и прогрессу. Мотивы общественной борьбы чувствуем мы и в той резкой критике, которой Вольтер подвергает нравы, идеи и порядки средних веков, их фанатизм, невежество, грубость, жестокость, «мошенничества» пап и духовенства, насилия и произвол королей и феодалов, бесконечные бессмысленные и разрушительные династические и религиозные войны. Все сочувствие Вольтера на стороне народа, который, несмотря на тяготеющий над ним гнет, творит материальные и духовные ценности, обрабатывает землю, создает ремесла и искусства. Понятие «народ» охватывает, очевидно, у Вольтера все «третье сословие» в целом. Что касается низших общественных слоев, плебса, то отношение к ним у Вольтера двойственное. Он сочувствует их страданиям, понимает неизбежность их социального протеста, их восстаний. Но он признает эти восстания бесплодными и вредными, считает радикальное изменение положения широких масс невозможным, их самостоятельные выступления опасными. В связи с этим он, как известно, высказывается иногда даже против их просвещения.

Характерно расхождение Вольтера с Монтескье по вопросу о значении германских элементов в образовании средневековых народов и учреждений, расхождение, в котором сказалось, несомненно, различие в их социальных позициях.

Монтескье — сторонник компромисса с феодализмом; некоторые элементы феодализма он считает вполне правомерными (сенъериальная юстиция, политические и налоговые привилегии). Это определяет его отношение к силе, создавшей, по его мнению, феодализм, — к варварским племенам, вторгшимся на территорию Римской империи, и к их вождям, — и толкает его к известной идеализации «германских» традиций. Вольтер, как последовательный враг феодализма, с большим раздражением критикует эти германистические, «готические» тенденции Монтескье. Ссылаясь на Тацита, Монтескье утверждает, что англичане унаследовали от германцев идею их политического управления. Эта система была будто бы

найдена в германских лесах. «Быть может, оттуда же, из лесов, — ядовито и с глубоким пониманием связи исторических явлений спрашивает Вольтер, — быть может, оттуда же происходят и английские суконные мануфактуры?» В другом месте Монтескье говорит о франках: «наши отцы». «Так, — говорит Вольтер, — называют их многие quasi-историки. Но, мой друг, откуда ты знаешь, — продолжает Вольтер, — откуда ты знаешь, что ты приходишь от франков, пришедших из зарейнских болот грабить галлов, а не из бедной галльской семьи? И что за честь происходить от франков?» У Вольтера имена всех этих «орд», как он выражается, — остготов, вестготов, гуннов, вандалов, франков, разрушивших Римскую империю и ее культуру, — вызывают отвращение и ужас. «Кто были эти франки, которых «Монтескье из Бордо» называет *popi reges*? Это были жестокие звери, искавшие пастбища и пищи». Хлодвиг, этот строитель церквей и монастырей, ознаменовал свое правление рядом ужасающих преступлений; таковы же были его преемники. Варварские законодатели, которых идеализирует Монтескье, были чудовищными злодеями. Очень интересно, что непримиримо отрицательное отношение к феодализму чрезвычайно обостряет историческое зрение Вольтера и позволяет ему различить черты ненавистного ему порядка там, где его мало кто видел не только в XVIII, но и в XIX веке. Он утверждает, что феодализм в различных формах существовал и в Римской империи, и при Лангобардских королях в Италии, в Оттоманской империи, в Персии, в Монголии, в Перу, в России.

Одним из недостатков исторических трудов Вольтера следует считать искажение исторической перспективы, перенесение оценок, правильных для современности, на отдаленное прошлое. Так, резко и справедливо критикуя феодализм, Вольтер, оказывается, не в состоянии понять, что переход к феодализму от рабовладельческого строя древности составлял прогресс в общем развитии человечества. Так, резко и справедливо критикуя христианство, Вольтер, оказывается, не в состоянии полностью раскрыть его историческое значение и его культурную роль в известные моменты европейской истории. Подлинно объективной, подлинно научной истории не мог создать в XVIII веке даже его наиболее всеобъемлющий и разносторонний мыслитель.

Научная история возникла значительно позже, на иной классовой основе. Для превращения истории в подлинную науку те методологические принципы, которые давала ученому историку буржуазная просветительная философия XVIII века, были недостаточны; для этого было необходимо применение к историческому процессу методологических принципов диалектического материализма. Тем не менее исторические труды Вольтера навсегда останутся памятниками весьма значительного момента не только в формировании буржуазной идеологии, но и в становлении исторической науки.

* * *

Литературная деятельность Вольтера во всех ее формах и проявлениях была теснейшим образом связана с общественной борьбой его времени. Его историческое значение определяется значением этой борьбы и той совершенно исключительной ролью, которую Вольтер в ней играл. Вольтер, несомненно, принадлежал к числу инициаторов великого просветительного движения XVIII века. Он был вплоть до самой смерти наиболее деятельным, наиболее неутомимым его борцом, борцом против всех видов суеверий и предрассудков, против всех форм духовного и физического гнета. Он был самым неутомимым пропагандистом новых идей. В известные периоды он был дирижером движения. Взятая в целом история жизни и деятельности Вольтера представляет как бы концентрированное отражение века французского просвещения со всеми его этапами, со всеми его противоречиями. Он, во всяком случае, является центральной фигурой этого замечательного периода человеческой истории.

В идейном наследии Вольтера немало черт, отражающих неизбежную ограниченность буржуазной идеологии: при всей своей исключительной одаренности Вольтер не был в состоянии выйти за пределы, которые ставила эпоха. Эти черты чужды нашему, социалистическому, мирозерцанию. Они представляют теперь интерес только для историка. Но борьба французской буржуазии против феодализма имела громадное значение для будущего всего человеческого общества. Вольтер

сознавал себя борцом за общечеловеческие интересы, за общечеловеческий прогресс. Человечество, говорил Вольтер, есть принцип всех моих мыслей. Активный воинствующий гуманизм Вольтера — при всем различии эпох и классовых позиций — делает его фигуру живой и привлекательной и для нашего времени. Характерно, что имя Вольтера не потеряло до сих пор своей способности вызывать самые ожесточенные споры. Оно дорого тем, кому дорого дело человеческого прогресса, оно ненавистно сторонникам реакции.

Акад. В. П. Волгин





философские
ПОВЕСТИ





КАНДИД

(Candide ou l'Optimisme)

(1767)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Как был воспитан в прекрасном замке Кандид,
и как он был оттуда изгнан*

В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-тронк, жил юноша, которому природа дала наиприятнейший нрав. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; потому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги этого дома подзревали, что он был сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта барышня ни за что не хотела выйти замуж, так как он не мог доказать более чем семьдесят одно поколение предков, а остальная часть его генеалогического древа была погублена разрушительною силою времени.

Барон был один из самых могущественных владельцев Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае надобности соединялись в своры; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли его монсиньором и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов, этим она внушала величайшее уважение к себе. Она принимала почетных гостей с достоинством,

которое увеличивало это уважение. Ее дочь Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос* был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всею чистосердечностью своего возраста и характера.

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причин, и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона был прекраснейшим из замков, и что госпожа баронесса была лучшею из возможных баронесс.

— Доказано, — говорил он, — что вещи не могут быть иными; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому у нас очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы быть обутыми, и мы их обуваем. Камни образовались для того, чтобы их тесать и чтобы из них строить замки, и вот владетельный барон имеет прекраснейший замок. Свиньи созданы, чтобы их ели, — мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, — следует говорить, что все к лучшему.

Кандид слушал внимательно и верил простодушно: он находил Кунигунду чрезвычайно прекрасною, хотя никогда не осмеливался говорить ей об этом. Он считал, после счастья родиться бароном Тундер-ген-тронком, второю степенью счастья быть Кунигундою, третьею — видеть ее каждый день и четвертою — слушать Панглоса, величайшего философа области и, следовательно, всей земли.

Однажды Кунигунда, гуляя поблизости замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень скромной. Так как Кунигунда имела большую склонность к знаниям, то она, затаив дыхание, принялась наблюдать все повторяемые опыты, которых она стала свидетельницею. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, вся полная стремления к знанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом

опыта, убедительного для юного Кандида, так же как и он для нее.

Она встретила Кандида, возвращаясь в замок, и покраснела; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним срывающимся от волнения голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, чего и сам не знал. На другой день, после обеда, когда вставали из-за стола; Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял, она с невинным видом пожала руку Кандида. Юноша с невинным видом поцеловал руку молодой баронессы с живостью, с чувством, с особенною нежностью; их губы встретились, и глаза их горели, и колена их были трепетны, и руки их блуждали. Барон Тундер-тен-тронк проходил близ ширм, и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась, баронесса надарала ей пощечин; и было смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Что произошло с Кандидом у болгар

Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, не зная куда, плача, поднимая взор к небу, часто обращая его к прекраснейшему из замков, в котором обитала прекраснейшая из юных баронесс. Он лег без ужина, посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергоф-трарбк-дикдорф, без денег, умирая от голода и усталости. Он печально остановился у двери кабачка. Два человека, одетые в голубое, заметили его*.

— Товарищ, — сказал один, — вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий.

Они приблизились к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.

— Господа, — сказал им Кандид с милою скромностью, — это для меня большая честь, но мне нечем заплатить за общий стол.

— Ну, — сказал ему один из голубых, — такой человек, как вы, ничего не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?

— Да, господа, таков мой рост, — сказал Кандид с поклоном.

— Садитесь за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и не позволим, чтобы вы нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.

— Верно, -- сказал Кандид, — это мне и Панглос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.

Ему предложили несколько монет. Он их взял и хотел заплатить свою долю, ему не позволили и сели за стол.

— Ведь вы, конечно, нежно любите...

— О да, — отвечал он, — я нежно люблю Кунигунду.

— Нет, — сказал один из этих господ, — мы вас спрашиваем, любите ли вы нежно болгарского короля?*

— Нисколько, — сказал Кандид, — я же его никогда не видал.

— Как! Это милейший из королей, и нужно выпить за его здоровье.

— Очень охотно, господа!

И он пьет.

— Довольно, — сказали ему, — вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена, и ваша слава обеспечена.

Тотчас на ноги ему надели кандалы и угнали в полк. Его заставили повертываться направо, налево, вынимать шомпол, вкладывать шомпол, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он делал упражнения немного лучше и получил только двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него как на чудо.

Кандид, совершенно ошеломленный, никак не мог взять в толк, как это он стал героем. Он вздумал в один прекрасный весенний день прогуляться, и пошел куда глаза глядят, думая, что неотъемлемое право людей, так же как и животных, пользоваться ногами в свое удовольствие. Не сделал он еще и двух миль, как вот четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали,

бросили в тюрьму. Его спросили судебным порядком, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз, или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не хотел бы ни того, ни другого, — пришлось сделать выбор. Он решил, в силу божьего дара, который называется свободою, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи ударов палками, которые от шеи до ног обнажили его мускулы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше раздробили ему голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза; его поставили на колени. В это время проезжал болгарский король; он справился о вине осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, то он понял из всего, что узнал о Кандиде, что это молодой метафизик, весьма не сведущий в мирских делах, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах и во все века. Искусный хирург вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом*. У него уже стала нарастать новая кожа, и уже он мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как спасся Кандид от болгар, и что вследствие этого произошло

Что может быть более прекрасно, более поворотливо, более блестяще, более согласованно, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали гармонию, какой не бывало и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров от девяти или десяти тысяч бездельников, которые заражали его поверхность. Штык также был достаточною причиною для смерти нескольких тысяч человек. Все вместе довело цифру примерно до тридцати тысяч душ. Кандид, дрожавший, как философ, прятался как мог лучше во время этой героической бойни.

Наконец, когда оба короля приказали пропеть Ге Деши, каждый в своем лагере, Кандид решил идти рассуждать в другое место о следствиях и причинах. Он прошел среди куч мертвых и умирающих и достиг сначала соседней деревни; она была сожжена; это была аварская деревня*, которую болгары сожгли согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимая своих детей к окровавленным грудям; там изрезанные девушки, насытившись естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные умоляли, чтобы их добились. Мозги были разбросаны по земле рядом с отрубленными руками и ногами.

Кандид убежал скорее в соседнюю деревню; она принадлежала болгарам, и герои авары поступили с нею также. Все время идя среди трепещущих тел или через развалины, Кандид оставил, наконец, театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и постоянно вспоминая Кунигунду.

Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли; но так как он слышал, что в этой земле все богаты и благочестивы, то он и не сомневался в том, что с ним будут обращаться так же хорошо, как в замке барона, перед тем как он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.

Он попросил милостыню у нескольких почтенных особ, которые все ему ответили, что если он будет продолжать это ремесло, то его запрут в исправительный дом, где научат жить.

Потом он обратился к человеку, который только что перед тем целый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот оратор*, посмотрев на него косо, сказал ему:

— Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?

— Нет следствия без причины, — скромно ответил Кандид. — Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтоб я был изгнан из общества Кунигунды, чтоб я прошел сквозь строй, и мне придется просить на хлеб, пока не смогу его заработать; все это не могло бы быть иначе.

— Мой друг, — сказал ему оратор, — верите ли вы, что папа — антихрист?

— Я еще ничего не слышал о нем, — ответил Кандид, — но антихрист он или нет, у меня нет хлеба.

— Ты недостойн есть его, — сказал тот. — Пошел, бездельник, пошел, несчастный, и никогда не приставай ко мне.

Жена оратора, высунув голову из окна и заметив человека, который сомневался в том, что папа — антихрист, вылила ему на голову полный... О, небо! к какой неводержанности приводит женщин религиозное рвение!

Человек, который не был крещен, добрый анабаптист, по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу; он привел его к себе, почистил его, дал ему хлеба и масла, подарил два флорина и хотел даже научить его работать на своих фабриках персидских материй, которые выделываются в Голландии.

Кандид, почти простершись перед ним, воскликнул:

— Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги.

На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с безжизненными глазами, с кривым ртом, изъязвленным носом, с черными зубами, с глухим голосом, измученного жестоким кашлем, от которого он каждый раз выплевывал по зубу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Как встретил Кандид своего прежнего
учителя философии, доктора Панглоса,
и что из этого вышло*

Кандид, чувствуя еще более сострадания, чем ужаса, дал этому страшному нищему те два флорина, которые получил от честного анабаптиста Якова. Призрак пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился ему на шею. Кандид в испуге отступил.

— Увы! — сказал несчастливец другому несчастливцу, — вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?

— Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в этом ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло?

Почему вы уже не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, образцовым произведением природы?

— У меня нет более сил, — сказал Панглос.

Тотчас же Кандид провел его в хлев анабаптиста, где дал ему поесть немного хлеба, и, когда Панглос подкрепился:

— Что же с Кунигундой? — спросил он.

— Она умерла, — ответил тот.

Кандид упал в обморок от этих слов, его друг привел его в чувство при помощи скверного уксуса, который он случайно нашел в хлеву. Кандид открыл глаза.

— Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что она видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?

— Нет, — сказал Панглос, — она была измучена до изнеможения, и ее зарезали болгарские солдаты. Они разбили голову барону, который хотел ее защитить; баронесса была изрезана в куски; с моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне, — ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы-таки были отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе.

Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств; но, придя в себя и высказавши все то, что ему надо было сказать, он исследовал причину и следствие и достаточное основание жалкого состояния Панглоса.

— Увы, — сказал тот, — это любовь: любовь, утешительница человеческого рода, хранительница мира, душа всех чувствующих существ, нежная любовь.

— Увы, — сказал Кандид, — я ее знал, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне один только поцелуй и двадцать пинков. Как эта прекрасная причина могла привести к следствию столь гнусному?

Панглос отвечал так:

— О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую служанку высокородной баронессы; я вкушал в ее объятиях райские наслаждения, и они причинили мне адские страдания, которыми, вы видите, я измучен. Она была заражена; от этого, может быть, она уже умерла.

Пакета получила этот подарок от одного очень ученого францисканского монаха, который доискался источника заразы: она у него была от старой графини, а та ее получила от кавалерийского капитана, который был обязан ею одной маркизе, та получила ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, получил ее по прямой линии от одного из сотоварищей Христофора Колумба*. Что касается меня, я ее не передам никому, так как я умираю.

— О Панглос! — воскликнул Кандид, — вот странная генеалогия! Не правда ли, что дьявол — ствол этого дерева?

— Нисколько, — возразил этот великий человек, — это была вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого; если б Колумб не схватил на одном из островов Америки болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему и, очевидно, противной великой цели природы, — мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили; надо еще заметить, что до сего дня на нашем материке эта болезнь имеет для нас особое свойство противоядия. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основание и им узнать ее в свою очередь через несколько веков. Пока она совершенно удивительно распространилась среди нас, и особенно в этих больших армиях, состоящих из честных, хорошо воспитанных наемников, которые решают судьбу государств; можно быть уверенным, что когда тридцать тысяч человек сражаются против войска, равного по количеству, то около двадцати тысяч с каждой стороны заражены сифилисом.

— Это удивительно, — сказал Кандид, — но надо вылечить вас.

— Но что я могу? — сказал Панглос. — У меня нет ни гроша, мой друг, а на всем пространстве этого земного шара нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатит кто-нибудь.

Услышав это, Кандид решил, что ему делать; он бросил в ноги своему доброму анабаптисту Якову и изобразил ему так трогательно состояние своего друга, что добрый человек не задумался принять доктора Панглоса; он его вылечил на свой счет. Панглос от этого

лечения потерял только глаз и ухо. Он хорошо писал и знал в совершенстве арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через два месяца ему пришлось ехать в Лиссабон по делам торговли, он взял на свой корабль обоих философов. Панглос объяснил ему, как все идет к лучшему. Яков не разделял этого мнения.

— Конечно, — говорил он, — люди отчасти извратили природу, ибо вовсе не рождаются волками, однако становятся волками. Господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых пушек, ни штыков, а они сделали себе и штыки, и пушки, чтобы истреблять друг друга. Я мог бы поставить в счет и банкротов и суд, который захватывает добро банкротов, чтобы обездолить кредиторов.

— Все это было неизбежно, — отвечал кривой философ, — отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем более частных несчастий, тем лучше все в целом.

Пока он рассуждал, воздух потемнел, ветры задули со всех четырех сторон, и корабль был застигнут ужаснейшею бурей в виду Лиссабонского порта.

ГЛАВА ПЯТАЯ

*Буря, кораблекрушение, землетрясение
и что случилось с доктором Панглосом,
Кандидом и анабаптистом Яковом*

Половина пассажиров, ослабевшие, задыхающиеся в той невыразимой тоске, которая давит на нервы и настроение людей, бросаемых качкою корабля во все стороны, не имела даже силы беспокоиться об опасности. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог — работали, никто не слушал друг друга, никто не распоряжался. Анабаптист немного помогал в работе; он был на палубе; какой-то разъяренный матрос жестоко ударил его и опрокинул; но от нанесенного удара матрос сам получил такой сильный толчок, что упал за борт вниз головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается на помощь, помогает ему подняться, но от усилий, которые он при этом делает, он сам низвергается в море, на глазах у матроса, который оставляет его на гибель, не удостоив даже взглядом.

Кандид приближается, видит, что его благодетель на одно мгновение показывается, и волны навсегда поглощают его. Кандид хочет броситься за ним в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал а priori, корабль раскололся, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста; негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.

Когда они пришли немного в себя, они отправились к Лиссабону; у них осталось немного денег, с помощью которых они надеялись спастись от голода, после того как избавились от бури.

Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг они почувствовали, что земля дрожит под их ногами*; море в порту поднимается, кипит, и разбивает корабли, которые стояли на якоре. Вихри огня и пепла покрывают улицы и площади; дома рушатся; крыши срываются со своих оснований, и стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей без различия возраста и пола погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:

— Надо будет здесь чем-нибудь поживиться.

— Какова могла бы быть достаточная причина этого явления? — говорил Панглос.

— Наступил конец света! — восклицал Кандид.

Матрос немедленно бежит к развалинам, бросает вызов смерти, чтобы найти деньги, находит их, овладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, которую находит в развалинах разрушенных домов посреди умирающих и мертвых. Тут Панглос потянул его за рукав:

— Друг мой, — сказал он ему, — это нехорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.

— Кровь и смерть! — отвечал тот. — Я матрос и родился в Батавии*; я четыре раза топтал распятие в четырех японских деревнях*, — так мне ли слушать о твоём всемирном разуме!

Несколько осколков камня ранили Кандида; он был простерт на улице и засыпан обломками. Он говорил Панглосу:

— Горе мне! Дай мне немного вина и масла, я умираю.

— Это землетрясение совсем не новость, — отвечал Панглос, — город Лима в Америке испытал такое же сотрясение в прошлом году; те же причины, те же следствия; несомненно, существует серная залежь под землею от Лимы до Лиссабона.

— Весьма вероятно, — сказал Кандид, — но, ради бога, — немного масла и вина.

— Как «вероятно»? Я утверждаю, что это доказано.

Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.

На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую пищу и подкрепили немного свои силы. Потом они работали, как и другие, помогая тем, кто избежал смерти. Несколько граждан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, сколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, пиршество было печально, гости орошали хлеб слезами; но Панглос их утешал, уверяя, что иначе не могло быть.

— Потому что, — говорил он, — если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозможно, чтоб вещи были не там, где должны быть, ибо все хорошо.

Маленький черный человек, близкий к инквизиции, который сидел рядом с Панглосом, вежливо сказал:

— Повидимому, вы милостивый государь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания.

— Я очень усердно прошу извинения у вашей милости, — отвечал Панглос еще более вежливо, — падение человека и проклятие должны были войти одно за другим в лучший из возможных миров.

— Вы не верите, следовательно, в свободу? — спросил черный человечек.

— Ваша милость, извините меня, — сказал Панглос, — свобода может сосуществовать абсолютной необходимости: ибо необходимо, чтобы мы были свободны: так как в конце концов обусловленная причинностью воля...

Панглос не успел кончить, как гость уже сделал знак головою слуге, который наливал ему портвейн.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Как было устроено прекрасное аутодафе,
чтобы избавиться от землетрясений,
и как был Кандид высечен*

После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не находили средства, более верного, чтоб предотвратить окончательную гибель, как дать народу прекрасное аутодафе. Университет в Коимбре постановил, что зрелище сожжения нескольких человек на малом огне с большою церемониею есть несомненное средство остановить дрожание земли.

Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на своей куме, и двух португальцев, которые сдирали сало с цыпленка, когда ели его. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал с видом одобрения. Оба были отведены отдельно в чрезвычайно холодные помещения, в которых никого не беспокоило солнце. Через неделю оба были одеты в санбенито и увенчаны бумажными митрами*. Митра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были с хвостами и с когтями, и огненные языки пылали прямо. Так одетые, они прошли в процессии и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасную музыку песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и не было в обычае. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова.

Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий, говорил себе:

— Если это лучший из возможных миров, то каковы другие? Пусть бы я еще был высечен, это было со мною и у болгар; но мой дорогой Панглос! величайший из философов, вас ли пришлось мне видеть повешенным, не знаю за что? О мой дорогой анабаптист, лучший из людей, вам ли было утонуть в этой гавани? О Кунигунда, перл среди девушек, ужели надо было, чтоб вам распероли живот?

Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему:

— Сын мой, ободрись, иди за мною.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Как старуха заботилась о Кандиде,
и как он нашел то, что любил*

Кандид не очень ободрился, но пошел за старухою в ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла ему есть и пить и уложила его на маленькую, довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье.

— Ешьте, пейте, спите, — сказала она ему, — да позаботятся о вас Атошская Божья Матерь, святые Антоний Падуанский и Иаков Компостельский. Я приду завтра.

Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.

— Не мою руку надо целовать, — сказала старуха, — завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.

Кандид, несмотря на столько несчастий, поел и уснул. На следующий день старуха приносит ему завтрак, осматривает его спину, натирает ее сама другою мазью; потом приносит ему обедать; снова приходит вечером и приносит ужинать. На другой день она продельывает опять те же самые церемонии.

— Кто вы? — все спрашивал ее Кандид. — Кто внушил вам столько доброты? Чем я могу вас отблагодарить?

Добрая женщина никогда ничего не отвечала. Вот возвращается она вечером и ничего не приносит ужинать.

— Идите со мной, — сказала она, — и не говорите ни слова.

Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит

в маленькую дверь. Открывают; она ведет Кандида потайною лестницею в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчевом диване, закрывает дверь и уходит. Кандид думал, что грезит; вся его жизнь казалась ему зловещим сном, а настоящая минута сном приятным.

Старуха скоро возвратилась. Она влекла за собою трепещущую женщину величественного роста, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.

— Сними это покрывало, — сказала старуха Кандиду.

Молодой человек приближается; он робкою рукою снимает покрывало. Какое мгновенье! Какая неожиданность! Ему кажется, что он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле, это она. Силы его оставляют, он не может произнести ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха sprыскивает их спиртом. Они приходят в чувство, они говорят. Вначале это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха предлагает им поменьше шуметь и оставляет их одних.

— Как, это вы? — говорил ей Кандид. — Вы живы, я нашел вас в Португалии! Значит, вы не были обещены? Вам не рассекли живот, как уверял меня философ Панглос?

— Так было, — сказала прекрасная Кунигунда, — но не всегда умирают от этих двух приключений.

— Но ваш отец и ваша мать, они убиты?

— Увы, это верно, — сказала Кунигунда плача.

— А ваш брат?

— Мой брат также убит.

— Но почему вы в Португалии? Как узнали вы, что я здесь? И по какой странной случайности меня привели в этот дом?

— Я вам расскажу все, — сказала она, — но сначала вы должны мне рассказать все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и после пинков, которые вы получили.

Кандид почтительно исполнил это желание; и хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя хребет у него еще ломило, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгно-

вения их разлуки. Кунигунда поднимала глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который не проронил ни слова и пожирал ее глазами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

История Кунигунды

Я лежала в своей постели и крепко спала, когда небу угодно было насрать болгар на наш прекрасный замок Тундер-тен-тронк. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили на куски. Один большой болгарин, шести футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня обесчестить. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза у этого огромного болгарина, не зная, что все, что случилось в замке моего отца, было делом обычным. Изверг нанес мне удар ножом в левый бок, отчего у меня еще сохранился шрам.

— Увы! Надеюсь, что увижу его, — сказал простодушный Кандид.

— Вы его увидите, — сказала Кунигунда, — но я продолжаю.

— Продолжайте, — сказал Кандид.

Она снова принялась рассказывать:

— Вошел болгарский капитан. Он заметил меня всю в крови. Солдат не смутился. Капитан пришел в ярость, видя неуважение, которое оказал ему этот изверг, и убил его на мне. Потом он перевязал мне рану и увел меня к себе пленницей. Я стирала его рубашки, которых у него было немного, и была его кухаркою. Он находил меня очень хорошенькой, — надо в этом признаться; и я не буду отрицать, что он был очень хорошо сложен и что у него была белая и нежная кожа; впрочем, мало остроумия, мало философии; видно было, что он не воспитан доктором Панглосом. К концу третьего месяца, прокутивши все свои деньги и получивши ко мне отвращение, он продал меня одному еврею, по имени Иссахар, который торговал в Голландии и Португалии и который страстно любил женщин. Этот еврей очень при-

вязался ко мне, но не мог меня победить; я ему противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Благородная особа может быть обесчещена один раз, но ее добродетель только укрепится от этого. Еврей, чтобы приручить меня, поместил меня в этот загородный дом, что вы видите. Раньше я думала, что ничего нет на земле столь прекрасного, как замок Тундер-тен-тронк; я ошибалась. Однажды заметил меня во время обедни великий инквизитор. Он долго смотрел на меня и велел сказать мне, что ему надо со мною поговорить о секретных делах. Я была приведена в его дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унижительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дом-Иссахару предложили уступить меня монсиньору. Дом-Иссахар, придворный банкир с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец мой испуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я принадлежали бы им обоим вместе так, что еврей будет иметь для себя понедельник, среды и субботы, а инквизитор остальные дни недели. Шесть месяцев уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор; частенько спорили из-за того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому завету или Новому. Что касается меня, я отказываю до настоящего времени им обоим и думаю, что потому-то они оба еще меня любят. Наконец, чтобы утишить ярость землетрясений и чтобы напугать Иссахара, вздумалось господину инквизитору совершить торжественное аутодафе. Он сделал мне честь — пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. После обедни, перед казнью, дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают двух евреев и того славного бискайца, который женился на своей куме; но каково было мое удивление, мое отчаяние, мое смятение, когда в санбенито и митре я увидела человека, лицо которого напоминало мне Панглоса! Я протирала себе глаза, я смотрела внимательно, я увидела, как его вешают, я упала в обморок. Едва пришла я в чувство, как увидела вас, раздетого донага; это зрелище наполнило меня трепетом, ужасом, скорбью, отчаяньем. Скажу вам по правде, что ваша кожа еще белее и розовее, чем кожа моего болгарского капитана, — и это удвоило те стра-

дания, которые я испытывала. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!», но голос мой замер, да и что же я могла сделать, когда вас так жестоко секли? Как могло случиться, спрашивала я себя, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лиссабоне — один, чтобы получить сто ударов розгами, другой, чтобы быть повешенным по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жестоко обманул меня, когда говорил, что все в мире идет к лучшему. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство, то почти умирая от слабости, я припомнила убийство моего отца, моей матери, моего брата, насилие мерзкого болгарского солдата, удар ножа, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого дом-Иссахара, моего гнусного инквизитора, повешение доктора Панглоса, громкое «Miserere», под звуки которого вас секли, и, наконец, поцелуй, который я дала вам за ширмой в тот день, когда я видела вас в последний раз. Я благодарила бога, который возвратил мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе заботиться о вас и привести вас сюда, как только она это сможет. Она отлично выполнила мое поручение. Я испытываю невыразимое удовольствие снова вас видеть, слушать вас, говорить с вами. Вы, должно быть, страшно голодны, у меня превосходный аппетит, сперва поужинаем.

Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже сказано. Вдруг пришел господин дом-Иссахар, один из хозяев дома. Этот был день субботний. Дом-Иссахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*О том, что случилось с Кунигундою,
с Кандидом, с великим инквизитором и
с евреем*

Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только были в Израиле со времени вавилонского пленения.

— Как, — сказал он, — галилейская собака, мало

тебе господина инквизитора? Надо еще, чтоб и с этим разбойником мне пришлось делиться?

Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда носил, и, не думая, чтоб у его противника было оружие, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хоть он и кроткого нрава, но он вытаскивает свою шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды.

— Святая Дева! — вскричала она. — Что нам делать? Человек убит у меня! Если придут, мы погибли.

— Если б Панглос не был сожжен, — сказал Кандид, — он дал бы нам хороший совет в этой беде, — ведь он был великий философ. За отсутствием его, посоветуемся со старухой.

Она оказалась очень благоразумною и начала высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая маленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагою в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду, и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида и как он решил:

«Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут; то же будет, пожалуй, и с Кунигундою. Он меня немилосердно высек; он мой соперник; раз я уже начал убивать, то нечего и колебаться».

Он рассудил точно и быстро; и, не давая инквизитору времени опомниться от удивления, он протыкает его насквозь и бросает его рядом с евреем.

— Вот и другой! — сказала Кунигунда. — Не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы, от природы такой кроткий, в две минуты убили еврея и прелата.

— Моя милая, — отвечал Кандид, — когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизициею, то он себя не помнит.

Старуха тогда вмешалась в разговор и сказала:

— В конюшне есть три андалузских лошади с седлами и сбруей. Пусть храбрый Кандид их седлает. Вы,

барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хоть у меня только ползада, а все-таки живее сядем на лошадей и поедем в Кадикс. Погода теперь прекрасная, и очень приятно путешествовать в ночной прохладе.

Тотчас Кандид седлает трех лошадей; Кунигунда, старуха и он скачут тридцать миль не отдыхая. В то время как они были в дороге, служители святой Германдады* пришли в дом. Инквизитора похоронили в прекрасной церкви, Иссахара бросили на свалку.

Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авачена посреди гор Сиерры-Морены; в одном кабачке у них произошел такой разговор.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Как несчастливо Кандид, Кунигунда
и старуха прибыли в Кадикс и как сели они
на корабль*

— Кто мог украсть мои деньги и мои бриллианты? — говорила, плача, Кунигунда. — Как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые мне дадут столько же?

— Увы! — сказала старуха. — Я сильно подозреваю одного преподобного отца кордельера, который ночевал вчера в той же самой бадахосской гостинице, где мы останавливались. Боже меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.

— Увы! — сказал Кандид. — Добрый Панглос мне всегда доказывал, что блага земные принадлежат всем людям и каждый на них имеет равное право. Кордельер, конечно, должен был бы, следуя этим правилам, оставить нам что-нибудь на дорогу. Однако у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?

— Ни одного мараведиса, — сказала она.

— Что же делать? — спросил Кандид.

— Продадим одну из лошадей, — сказала старуха, — хоть у меня и ползада, я усядусь как-нибудь сзади барышни, и мы доедем до Кадикса.

В той же самой гостинице остановился приор-бене-

диктинец, он купил лошадь за хорошую цену. Кандид, Кунигунда и старуха едут через Луцену, Хиллу, Лебриху и добираются, наконец, до Кадикса. Там снаряжали флот и собирали войска, чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае*, которых обвиняли в том, что они вооружили одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против испанского и португальского королей.

Кандид недаром служил у болгар, — он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему дали командовать ротой пехоты.

И вот он — капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, с двумя слугами и с двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали господину великому инквизитору Португалии.

Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Панглоса.

— Мы едем в другой мир, — говорил Кандид, — и в нем-то уж, без сомнения, все хорошо; ведь надо признаться, что привелось-таки пострадать и телом и душою из-за того, что происходит в нашем мире.

— Я люблю вас всем сердцем, — сказала Кунигунда, — но моя душа еще истомлена тем, что я видела, тем, что я испытала.

— Все будет хорошо, — возразил Кандид, — уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы: оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет — самый лучший из возможных миров.

— Дай-то бог, — сказала Кунигунда, — но я была так страшно несчастна в моем мире, что мое сердце почти закрыто для надежды.

— Вы жалуетсяе, — сказала ей старуха. — Увы! Не испытали вы таких несчастий, как я.

Кунигунда едва удерживалась от смеха, — ей казалось слишком забавным притязание этой доброй женщины считать себя несчастнее Кунигунды.

— Увы, — сказала она ей, — милая моя, если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если вы не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваши замка, если не были резаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы

не видели, как двух ваших любовников высекли при аутодафе, то я не вижу, чем вы могли бы заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессою в семьдесят втором поколении, а служила кухаркою.

— Барышня, — отвечала старуха, — вы не знаете моего происхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменяли бы ваше мнение.

Эта речь возбудила чрезвычайное любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

История старухи

Не всегда у меня были глаза с такими красными веками, мой нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была прислугою. Я дочь папы Урбана Десятого* и принцессы Палестрины. Я воспитывалась до четырнадцати лет во дворце, для которого замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшни. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, изящная, богато одаренная от природы, я росла среди удовольствий, уважения и надежд; уже я ввнушала любовь, моя грудь вырастала, и какая грудь! — белая, крепкая, такой формы, как у Венеры Медицейской. А какие глаза! Какие ресницы! Какие черные брови! Какой огонь блистал в моих зрачках, — затмевая мерцание звезд, как говорили мне поэты. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте. Я была обручена с владетельным князем Масса-Карара*; какой принц! Такой же прекрасный, как я, чрезвычайно нежный и приятный, блистающий умом и сжигаемый любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; начались дни торжества, неслыханного великолепия, — празднества, карусели, опера-буф, непрерывные увеселения; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был посредственным. Приближалось мгновение моего счастья, когда одна старая маркиза,

которая была любовницей моего принца, пригласила его выпить у нее шоколаду; он умер менее чем через два часа в страшных конвульсиях. Но это еще пустяки. Моя мать в отчаянии, — конечно, не сравнимом с моим, — захотела хотя бы на некоторое время оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты; мы сели на галеру, украшенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Салы настигает нас и берет нашу галеру на бордаж. Наши солдаты защищаются, как папские солдаты: все они падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущение грехов *in articulo mortis*.

Их тотчас же раздели догола, как обезьян, и мою мать, и женщин нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой поспешностью эти господа раздевают; но более всего меня удивило то, что они всем нам засовывали свои пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клистир. Эта церемония показалась мне очень странной: ведь всему дивишься, пока не побываешь за границую. Скоро я узнала, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллиантов; это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен турок и турчанок; это закон международного права, которого никто никогда не оспаривал. Я не буду говорить вам, сколь тяжело для молодой принцессы быть невольницею, увозимой в Марокко со своею матерью; вы сами поймете также, что мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще очень красива; дамы нашей свиты, даже наши служанки, обладали большими прелестями, чем можно было бы найти во всей Африке! Что касается меня, я была восхитительна, — сама красота, само очарование, и я была девственницей; не долго я оставалась ею; цветок, который сберегался для прекрасного принца Масса-Карара, был похищен капитаном корсаров. Это был отвратительный негр, который еще воображал, что оказывает мне большую честь. Конечно, принцесса Палестрина и я, мы оказались очень сильными, так как выдержали все, что испытали до нашего прибытия в Марокко. Но довольно об этом; это дела столь обычные, что можно и не говорить о них.

Марокко утопало в крови, когда мы приехали. Пятьдесят сыновей императора Мулей-Измаила* имели каждый свою партию; это было причиною пятидесяти гражданских войн черных против черных, черных против смуглых, смуглых против смуглых, мулатов против мулатов, — непрерывная резня на всем пространстве империи.

Лишь только высадились мы, как черные из партии, враждебной партии моего корсара, явились отнять его добычу. После бриллиантов и золота, самым драгоценным были мы. Я стала свидетельницею такого сражения, какого вы никогда не могли бы увидеть в ваших европейских странах. У северных народов не такая горячая кровь, у них нет той бешеной страсти к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, у ваших европейцев молоко в жилах; но купорос, огонь текут в жилах у жителей Атласских гор и соседних стран. Они дрались с яростью львов, тигров и змей, чтобы решить, чьими мы будем. Мавр схватил мою мать за правую руку, помощник моего капитана тянул ее за левую; мавританский солдат взял ее за ногу, один из наших пиратов тянул ее за другую. Почти всех наших девушек в эту минуту тащили в разные стороны четыре солдата. Мой капитан прикрывал меня собою; он размахивал ятаганом и убивал каждого, кто осмеливался противиться его ярости.

Наконец все наши итальянки и моя мать были ратерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, солдаты, матросы, черные, смуглые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан — все были убиты, и я лежала полумертвая на этой куче мертвецов. Подобные сцены происходили на пространстве более трехсот верст, но при этом никто не забывал пять раз в день помолиться, согласно установлению Магомета.

С большим трудом выбралась я из груды окровавленных трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева на берегу соседнего ручья. Я свалилась там от страха, усталости, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, чем отдыхом. Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственности, между жизнью и смертью, когда почувствовала себя сжатою чем-то, что двигалось на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого че-

ловека с добродушною физиономиею, который вздыхал и говорил сквозь зубы: «O che sciagura d'essere senza cogli!»¹

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Продолжение злоключений старухи

Удивленная и восхищенная тем, что слышу язык моего отечества, и не менее удивленная словами, которые произносил этот человек, я ответила ему, что бывают бóльшие несчастья, чем то, на которое он жаловался; я рассказала ему в кратких словах об ужасах, которые перенесла, и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, дал мне есть, ухаживал за мною, утешал меня, ласкал, говорил мне, что не видал никого прекраснее меня и что он никогда столько не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить.

— Я родился в Неаполе, — сказал он мне. — Там скопят каждый год две или три тысячи детей; одни из них умирают, другие приобретают голос, красивее женского; иные из них даже государствами правят*. Мне сделали эту операцию с большим успехом, и я стал певцом в капелле принцессы Палестрины.

— Моей матери! — воскликнула я.

— Вашей матери? — воскликнул он плача. — Значит, вы та молодая принцесса, которую я воспитывал до шести лет и которая обещала уже тогда быть такою прекрасною?

— Это я; моя мать находится в четырехстах шагах отсюда, изрубленная в куски, под кучею мертвых...

Я рассказала ему все, что случилось со мною; он мне также рассказал свои приключения. Я узнала, что он был послан к мароккскому королю одною христианскою державою, чтобы заключить с этим монархом договор, согласно которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли, чтобы помочь ему уничтожить торговлю других христиан.

— Моя миссия исполнена, — сказал этот честный евнух, — я отправляюсь в Цеуту и отвезу вас в Италию. «Ma che sciagure d'essere senza cogli!»¹

¹ «Какое несчастье, что меня оскостили» (итал.).

Я благодарила его со слезами умиления, но, вместо того чтобы отвезти меня в Италию, он отправил меня в Алжир и продал бею этой области. Едва я была продана, как чума, которая обошла Африку, Азию и Европу, разразилась в Алжире со всею яростью. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы.

— Никогда, — отвечала баронесса.

— Если б вы видели ее, — сказала старуха, — вы признали бы, что это не то, что какое-то землетрясение. Чума очень обычна в Африке. Я захворала ею. Представьте себе, какое положение для дочери папы, пятнадцати лет от роду, которая в течение трех месяцев испытала бедность, рабство, подвергалась насилию почти ежедневно, видела свою мать изрубленною на куски, испытала голод и войну и умирала от чумы в Алжире. Однако я не умерла, но мой евнух и бей и почти весь алжирский сераль погибли.

Когда первые приступы этой ужасной чумы прошли, невольниц бея продали. Купец купил меня и отвез в Тунис; он продал меня другому купцу, который перепродал меня в Триполи; из Триполи я была снова продана в Александрию; из Александрии в Смирну; из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге, который вскоре был послан защищать Азов* против осаждавших его русских.

Ага, который любил пожить, взял с собою весь свой сераль; он поместил нас в маленькую крепость на Азовском море, под стражей из двух черных евнухов и двадцати солдат. Убили русских страшно много, но они заплатили за это. Азов был предан огню и мечу; не щадили ни пола ни возраста; оставили только нашу маленькую крепость; неприятель хотел взять нас голодом. Двадцать янычар поклялись не сдаваться. Страдания голода довели их до того, что из страха нарушить свою клятву они принуждены были съесть двух евнухов. Наконец через несколько дней они решили есть женщин. С нами был один очень благочестивый и сострадательный имам, который сказал им прекрасную проповедь, убеждая их не убивать нас.

— Отрежьте, — сказал он, — только по половине зада у каждой из этих дам; у вас будет отличный стол; если положение не изменится, то у нас будет еще столь-

ко же через несколько дней; небо будет милостиво к вам за такой человеколюбивый поступок и пошлет вам помощь.

Он был очень красноречив; он убедил их; они продали над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми производят обряд обрезания; мы все были при смерти.

Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на то положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги; один из них, очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что когда мои раны зажили, он сделал мне предложение. Впрочем, это он говорил нам всем, чтобы нас утешить; он нас уверял, что подобные случаи уже происходили иногда при осадах и что таков закон войны.

Как только мои подруги смогли ходить, их отправили в Москву; я досталась одному боярину, который сделал меня своею садовницею и каждый день давал мне по двадцати ударов кнута; но через два года этот господин был колесован вместе с тридцатью боярами за какую-то придворную смуту. Я воспользовалась этим случаем — убежала; я прошла всю Россию; долгое время была служанкою в кабачке в Риге; потом в Ростове, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы; сто раз я хотела убить себя, но я еще люблю жизнь. Эта смешная слабость — быть может, один из самых роковых наших недостатков; ведь ничего не может быть более глупого, чем желание нести непрерывно ношу, которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего существования и влачить его; наконец ласкать пожирающую нас змею, пока она не съест нашего сердца.

Я видела в странах, по которым судьба заставляла меня проходить, и в кабачках, где я служила, ужасающее число людей, которые ненавидели свое существование; но из них я видела только двенадцать, которые добровольно положили конец своим бедствиям, — троих негров, четырех англичан, четырех женеvцев и одного

немецкого профессора, по имени Робек*. Я кончила тем, что была служанкою у еврея дом-Иссахара; он приставил меня к вам, моя прелестная барышня; я привязалась к вам и интересовалась более вашими приключениями, чем моими. Я никогда и не стала бы рассказывать вам о своих несчастиях, если б вы меня не задели за живое, если б не было обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы разогнать скуку. Да, барышня, я опытна, я знаю свет; доставьте себе удовольствие, убедите каждого пассажира рассказать вам свою историю; и если найдется из них один, который не проклинал бы частенько свою жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда бросьте меня в море головою вниз.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

*Как Кандид был принужден разлучиться
с Кунигундою и со старухою*

Прекрасная Кунигунда, выслушавши историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличны были в отношении особ такого высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и убедила всех пассажиров рассказать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Кунигунда увидели, что старуха была права.

— Очень жаль, — говорил Кандид, — что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен при аутодафе, он сказал бы нам удивительные слова о физическом и моральном зле, которые покрывают землю и море; и я бы чувствовал себя достаточно сильным, чтобы осмелиться почтительно сделать ему несколько возражений.

А тем временем, как каждый рассказывал свою историю, корабль подвигался вперед. Он подошел к Буэнос-Айресу. Кунигунда, капитан, Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суза. Это был гордый вельможа, как и подобало человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так надменно, так высоко задирая нос, так безжалостно повышая голос, принимая такой внушительный тон и такую высокомерную осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильное иску-

шение побить его. Женщин он любил яростно. Кунигунда ему показалась прекраснее всех, кого он видел раньше. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что на самом деле она не была ею ни в какой мере; но и назвать ее сестрою он тем более не смел, хотя эта условная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время может быть полезною, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.

— Девушка Кунигунда, — сказал он, — согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем, чтобы ваше превосходительство сооблаговолили дать на это разрешение.

Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суза, подняв свои усы, горько засмеялся и приказал капитану Кандиду сделать смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою... Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или иначе, так он очарован ее прелестями.

Кунигунда просила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухой и решиться.

Старуха сказала Кунигунде:

— Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша денег; ничто не мешает вам стать женою самого значительного человека в Южной Америке, у которого превосходные усы. С какой стати вам сохранять верность во всех испытаниях? Вы были изнасилованы болгарами; еврей и инквизитор пользовались вашими милостями. Несчастия дают права. Признаюсь, если б я была на вашем месте, я бы не задумалась выйти за губернатора и помочь карьере капитана Кандида.

Пока старуха говорила с благоразумием, которое дают года и опытность, при входе в гавань показался маленький корабль; на нем были алькад и альгвазилы, и вот что случилось.

Старуха верно угадала, что это кордельер с широкими рукавами украл деньги и бриллианты Кунигунды в городе Бадахосе, когда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько алмазов ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер под виселицею признался, что он

их украл; назвал и тех, у кого они были, и сказал, куда они поехали. Бегство Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что алькад скоро сойдет на берег и что гонятся за убийцами великого инквизитора. Благоразумная старуха в минуту поняла, что делать.

— Вы не можете бежать, — сказала она Кунигунде, — и вам нечего бояться; это не вы убили его преосвященство; кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтоб с вами обращались дурно. Оставайтесь.

Она бежит поспешно к Кандиду.

— Бегите, — сказала она, — или через час вы будете сожжены.

Нельзя было терять ни одной минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

*Как были приняты Кандид и Какамбо
парагвайскими иезуитами*

Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких много можно найти в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумана; он сам побывал мальчиком в хоре, пономарем, матросом, монахом, разносчиком, солдатом, лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских лошадей.

— Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки.

Кандид залился слезами.

— О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор должен был устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что с вами будет?

— Она как-нибудь устроится, — ответил Какамбо. — Женщина нигде не пропадет. Господь о ней позаботится. Бежим.

— Куда ты ведешь меня? Куда мы пойдем? — говорил Кандид.

— Святой Яков Компостельский нам поможет, — сказал Какамбо. — Вы собирались воевать с иезуитами — будем воевать за них; я примерно знаю дорогу, я проведу вас в их государство; они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете блестящую карьеру: если не добился своего в одном месте, то надо поискать в другом. Видеть и делать новое — очень большое удовольствие.

— Ты, значит, был уже в Парагвае? — спросил Кандид.

— А как же! — сказал Какамбо. — Я был уличным сторожем в Ассумпсионской коллегии, и я знаю государство *los padres*¹, как улицы Кадикса. Удивительное у них государство. Оно имеет более трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций. *Los padres* имеют там все, а народ ничего; это образец разума и справедливости. Что касается меня, я не знаю ничего более восхитительного, чем *los padres*, которые здесь ведут войну против испанского короля и против португальского, а в Европе исповедуют этих королей; которые убивают здесь испанцев, а в Мадриде посылают их на небо; это приводит меня в восторг. Вы увидите, что там вы будете счастливейшим из всех людей. Как обрадуются *los padres*, когда узнают, что у них в войске будет капитан, который знает болгарскую службу!

Когда они приехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту сообщить ему новость. Кандид и Какамбо были сначала обезоружены; у них отняли андалузских лошадей. Два иностранца были проведены посреди солдат, выстроенных в две шеренги; комендант ждал их; на нем была шапка с тремя рогами, ряса, подвязана шпага на боку, эспантон в руке. Он подал знак; тотчас же двадцать пять солдат окружают двухвновь прибывших. Сержант сказал им, что надо подождать, что комендант не может говорить с ними, что преподобный отец провинциал запрещает испанцам говорить иначе, как только в его при-

¹ Отцы; в данном случае — иезуиты.

сутствии, и не позволяет им оставаться более трех часов в стране.

— А где же преподобный отец провинциал? — спросил Какамбо.

— Он на параде после обедни, — отвечал сержант, — и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.

— Но, — сказал Какамбо, — господин капитан умирает от голода, да и я тоже; он вовсе не испанец, он немец; нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?

Сержант пошел сейчас же передать эти слова коменданту.

— Будь благословен господь! — сказал этот господин. — Если он немец, я могу говорить с ним; пусть проведут его в мой шалаш.

Тотчас же провели Кандида в беседку из зелени, украшенную очень красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых были попугаи, колибри, цесарки и все самые редкие птицы. Превосходный завтрак был приготовлен в золотых чашах; и когда парагвайцы сели есть маис из деревянных чашек, среди поля, на солнечном припеке, преподобный отец комендант вошел в беседку.

Это был очень красивый молодой человек, полный, белолицый, краснощекий, с высокими бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с румяными губами, с гордым видом, — но это не была гордость испанца или иезуита. Кандиду и Какамбо вернули их оружие, которое было у них отобрано, так же как и двух андалузских лошадей; Какамбо дал им овса у беседки и не спускал с них глаз — боялся подвоха.

Кандид сначала поцеловал край платья коменданта, потом они сели за стол.

— Итак, вы — немец? — спросил иезуит на этом языке.

— Да, преподобный отец, — сказал Кандид.

Оба, произнося эти слова, посмотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого они не могли скрыть.

— Вы из какой стороны Германии? — спросил иезуит.

— Из грязной Вестфалии, — сказал Кандид, — я родился в замке Тундер-тен-тронка.

- О небо! Возможно ли? — воскликнул комендант.
— Какое чудо! — воскликнул Кандид.
— Это вы? — спросил комендант.
— Это невозможно! — сказал Кандид.

Они бросаются один к другому, обнимаются, проливают ручьи слез.

— Как, это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, которого убили болгары! Вы, сын господина барона! Вы — парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир странно устроен. О Панглос, Панглос! Как вы были бы рады, если б вы не были повешены.

Комендант велел удалиться неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали пить в кубках из горного хрусталя. Он возблагодарил бога и св. Игнатия тысячу раз; он сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слезами.

— Вы будете гораздо более удивлены, более растроганы, — сказал Кандид, — если я вам скажу, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует.

— Где?

— Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я приехал, чтобы воевать.

Все, что они говорили в этой долгой беседе, несказанно дивило их. Их раскрывшиеся души летали на их языке, таились у них в ушах, блистали у них в глазах. Так как они были немцы, то они сидели за столом долго, дожидаясь преподобного отца провинциала; и комендант говорил так своему дорогому Кандиду:

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

*Как убил Кандид брата своей дорогой
Кунигунды*

— Я всю мою жизнь буду помнить ужасный день, когда я видел убитыми моего отца и мою мать, и обесчещенной мою сестру. Болгары ушли, и мою обожаемую сестру нигде не могли найти; положили на тележку мою мать, моего отца и меня, двух служанок и трех маленьких зарезанных мальчиков, чтобы отправить для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих отцов.

Иезуит окропил нас святою водою; она была страшно солонa; несколько капель ее попало мне в глаза; патер заметил, что мои веки дрогнули; он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется; мне помогли, и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, что я был очень красив; я сделался еще красивее; поэтому преподобный отец Круст, начальник дома, воспылал ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушником, и некоторое время спустя я был послан в Рим. Отцу генералу был нужен новый набор молодых иезуитов немцев. Правители Парагвая хотели иметь как можно меньше испанских иезуитов, они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покорнее. Преподобный отец генерал нашел, что я гожусь для работы в этом виноградунике. Мы отправились: один поляк, один тиролоец и я. По приезде я был удостоен сана поддиакона и лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретили войска испанского короля. Ручаюсь, что они будут отлучены и разбиты. Провидение посылает вас сюда, чтобы помочь нам. Но верно ли, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?

Кандид клятвенно уверил его, что ничего нет более верного. Оба они опять расплакались.

Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.

— Ах! Может быть, — сказал он ему, — мы вместе с вами, мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду.

— Это все, чего я желал бы, — сказал Кандид, — потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней.

— Вы наглец! — отвечал барон. — Вы будете иметь бесстыдство вступить в брак с моею сестрою, которая насчитывает семьдесят два поколения предков! Я считаю великой наглостью то, что вы посмели сказать мне о плане, столь дерзком.

Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:

— Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора; она многим мне обязана, и она хочет вступить со мной в брак. Учитель Панглос всегда мне говорил, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней.

— Это мы увидим, негодяй! — сказал иезуит барон

Тундер-тен-тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом вынимает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона иезуита; но, вынимая ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать.

— О боже мой! — сказал он. — Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата. Я лучший человек в свете, и вот я уже убил трех человек; из этих троих — двое священники.

Тут прибежал Какамбо, который был часовым у дверей беседки.

— Нам остается только дорого продать свою жизнь, — сказал ему его господин, — конечно, в беседку войдут. Надо умереть с оружием в руках.

Какамбо, который уже побывал в переделках, ни сколько не потерялся; он взял иезуитскую рясу, которая была на бароне, надел ее на Кандида, дал ему четырехугольную шапку умершего и посадил его на лошадь. Все это было сделано во мгновение ока.

— Живее, сударь, все вас примут за иезуита, который едет с приказами, и мы перейдем границу, прежде чем погонятся за нами.

С этими словами он помчался, крича по-испански:

— Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

*Что произошло у двух путешественников
с двумя девушками, двумя обезьянами и дикарями
по имени орельоны*

Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы наполнить чемодан хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и сосудами с вином. На своих андалузских лошадах они углубились в неизвестную страну, где перед ними не открылось никакой дороги. Наконец прекрасный луг, прорезанный ручейками, представился им. Наши два путешественника пустили на траву лошадей. Какамбо предлагает своему господину поесть и показывает ему в этом пример.

— Как ты хочешь, — сказал Кандид, — чтоб я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона и когда я чувствую себя осужденным не увидеть никогда прекрасной Кунигунды? К чему длить мне мои несчастные дни, когда я должен проводить их далеко от нее, в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет «Вестник Треву»?*

Плакать-то он плакал, а все-таки поел. Солнце садилось. Путники услышали далекий крик, — казалось, кричат женщины. Они не знали, были это крики скорби или радости, но оба вскочили стремительно, с тем беспокойством, с тою тревогою, которую внушает все в незнакомой стране. Эти вопли издавали две совершенно голые девушки, которые легко бежали по краю луга, меж тем как две обезьяны преследовали их, кусая сзади. Кандиду стало жаль девушек; у болгар он научился стрелять и мог сшибить орешек на кусте, не тронув листьев. Он берет свое испанское двухствольное ружье, стреляет и убивает двух обезьян.

— Слава богу, мой дорогой Какамбо, я избавил от большой опасности этих двух бедняжек; если я и согрешил, убивши инквизитора и иезуита, зато я загладил мой грех, — я спас жизнь двум девушкам. Они, может быть, барышни с положением, и такое приключение может нам доставить очень большие выгоды в этой стране.

Он хотел продолжать, но слова замерли на его языке, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обезьян, проливают слезы над их телами и наполняют воздух самыми горькими воплями.

— Я не ожидал, что у них такая добрая душа, — сказал он, наконец, Какамбо.

А тот возразил:

— Славное вы сделали дело, сударь, — вы убили двух любовников этих девиц.

— Их любовников! Возможно ли это? Вы смеетесь надо мной, Какамбо; с чего вы это взяли?

— Мой дорогой господин, — отвечал Какамбо, — вас постоянно все удивляет; что находите вы странного в том, что в некоторых странах бывают обезьяны, которые пользуются благосклонностью женщин? Обезьяна — четверть человека, как я — четверть испанца.

— Увы, — отвечал Кандид, — я вспоминаю, что слышал от Панглоса, будто бы некогда подобные случаи бывали. Он рассказывал, что так появились на свет еги-

паны, фавны, сатиры, которых видели своими собственными глазами некоторые великие люди в древности; но я считал все это баснями.

— Вы должны теперь убедиться, — сказал Какамбо, — что это правда. Вы видите, как этим занимаются особы, которым не внушили твердых правил; я боюсь, как бы эти дамы не наделали нам хлопот.

Эти основательные размышления побудили Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо; и оба они, проклиная португальского инквизитора, губернатора в Буэнос-Айресе и барона, уснули на мхе. При своем пробуждении они почувствовали, что не могут пошевелиться; причиной этого было то, что ночью орельоны, жители страны, которым две дамы на них донесли, связали их веревками из древесной коры. Они были окружены полсотней орельонов, совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами; одни из них кипятили воду в большом котле, другие приготавливали вертела, и все кричали:

— Это иезуит, это иезуит! Отомстим и, кстати, пообедаем. Поедим иезуита, поедем иезуита!

— Говорил я вам, мой дорогой господин, — печально вскричал Какамбо, — что эти две девушки сыграют с нами скверную шутку.

Кандид, заметив котел и вертела, вскричал:

— Нас, наверное, изжарят и сварят. Ах, что сказал бы учитель Панглос, если б он увидел, какова природа в естественном своем виде! Все хорошо, — пускай так, но я уверяю, что очень жестоко потерять Кунигунду и попасть на вертел орельонов.

Какамбо никогда не терял головы.

— Не отчаивайтесь, — сказал он огорченному Кандиду, — я понимаю немного язык этого народа и поговорю с ними.

— Не забудьте, — сказал Кандид, — доказать им, какая ужасная бесчеловечность варить людей и как это не по-христиански.

— Господа, — сказал Какамбо, — вы, конечно, надеетесь съесть сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего более справедливого, как поступать так со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и это делается по всей земле. Если мы не пользуемся правом их есть, — это потому, что у нас

найдется много другой пищи; но у вас нет таких возможностей. Без сомнения, лучше съесть врагов, чем отдать вóронам и ворóнам плоды своей победы. Но, господа, вы не захотите есть ваших друзей. Вы думаете вздеть на вертел иезуита, — но этот человек ваш защитник, враг ваших врагов, и его-то вы хотите зажарить. Что касается меня, я родился в вашей стране; господин, которого вы видите, мой хозяин, и вовсе не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру: отсюда ваша ошибка. Чтобы проверить то, что я говорю вам, возьмите платье, отнесите его на границу государства los padres; справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера; вы всегда успеете нас съесть, если вы найдете, что я вам солгал. Но если я сказал вам правду, вы достаточно знаете принципы общественного права, обычаи и законы и помилуйте нас.

Орельоны нашли, что его речь очень разумна; они послали двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. Два депутата исполнили их поручение точно и возвратились вскоре с добрыми вестями. Орельоны развязали своих пленников, стали с ними очень любезны, предложили им девушек, снабдили их свежими съестными припасами и проводили их до границы своего государства, весело крича:

— Он не иезуит, он не иезуит.

Кандид не переставал удивляться причине своего избавления.

— Какой народ, — говорил он, — какие люди, какие нравы! Если б я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без пощады. Но оказалось, что природа сама по себе вовсе не плоха, так как эти простые люди, вместо того чтобы меня съесть, оказали мне тысячу милостей, как только узнали, что я не иезуит.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

*Прибытие Кандида и его слуги в страну
Эльдорадо, и о том, что они там увидели*

Когда они были за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:

— Вы видите, что это полушарие не лучше нашего; послушайте меня, вернемся в Европу поскорее.

— Как вернуться туда, — сказал Кандид, — и куда итти? Если я поеду на родину, болгары и авары там всех режут; если я вернусь в Португалию, я буду там сожжен; если мы останемся в этой стране, мы рискуем каждую минуту попасть на вертел. Но как решиться оставить ту страну света, где живет Кунигунда?

— Поедьте через Каенну, — сказал Какамбо, — там мы найдем французов, которые бродят по всему свету; они могут нам помочь. Господь, может быть, сжалится над нами.

Не легко было добраться до Каенны. Они понимали, в каком примерно направлении надо ехать; но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари — такие ужасные препятствия ждали их повсюду. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц питались они дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, поддержавшими их жизнь и их надежды.

Какамбо, который всегда давал такие же добрые советы, как и старуха, сказал Кандиду:

— Мы не можем более итти, мы шли довольно, я вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосами, сядем в это суденышко и поплывем по течению. Река всегда приведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то найдем по крайней мере новое.

— Поедем, — сказал Кандид, — поручим себя провидению.

Они проплыли несколько миль между берегами то цветущими, то пустынными, то пологими, то крутыми. Река все расширялась; наконец она потерялась под сводом страшных скал, которые поднимались до неба. Два путешественника имели смелость, вверив себя волнам, спуститься под этот свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их быстро и с ужасным шумом. Через двадцать четыре часа они вновь увидели свет, но лодка разбилась о подводные камни; пришлось тащиться со скалы на скалу целую милю; наконец перед ними открылся необозримый горизонт, окруженный неприступными горами. Земля была обработана для удовольствия и для пользы; все полезное казалось и приятным; дороги были покрыты, или, скорее, украшены экипажами прекрасной формы, сделанными из чего-то блестящего; в них сидели мужчины

и женщины исключительной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такою прытью, которая превосходила скорость самых лучших лошадей Андалузии, Тетуана и Мекнеза.

— Вот, — сказал Кандид, — страна получше Вестфалии.

Он остановился с Какамбо у первой же деревни. Несколько деревенских детей, одетых в лохмотья из золотой парчи, кидали у околицы метательные диски. Два пришельца из другого света остановились поглядеть на них; метательные диски были довольно широкие, круглые кусочки, желтые, красные, зеленые, и они странно блестяли. Путешественникам захотелось поднять с земли несколько таких кусочков; это было золото, изумруды, рубины, из которых меньший был бы самым большим украшением трона Могола.

— Без сомнения, — сказал Какамбо, — эти дети — сыновья здешнего короля, играющие метательными дисками.

Сельский учитель показался в эту минуту, чтобы позвать их в школу.

— Вот, — сказал Кандид, — наставник королевской семьи.

Маленькие шалуны тотчас же прервали игру, оставив на земле свои диски и все, что служило им для забавы. Кандид их поднимает, бежит за наставником и почтительно подает их, объясняя ему знаками, что их королевские высочества забыли свое золото и каменья. Сельский учитель, улыбаясь, бросил их на землю, взглянул на Кандида с большим удивлением и продолжал свой путь.

Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.

— Где мы? — вскричал Кандид. — Должно быть, королевские дети этой страны хорошо воспитаны, потому что их научили презирать золото и драгоценные камни.

Какамбо был удивлен так же, как и Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому; он был построен, как дворец в Европе. Толпа людей суетилась в дверях, и еще более в доме; слышалась очень приятная музыка, и чувствовался тонкий запах кухни. Какамбо приблизился к двери и услышал, что говорят по-перувиан-

ски; это был его родной язык, так как известно, что Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где не знали другого языка.

— Я буду служить вам переводчиком, — сказал он Кандиду, — войдем, здесь кабачок.

Тотчас же двое юношей и две девушки, одетые в золотые платья, и с волосами, перевязанными лентами, пригласили их сесть за общий стол. Было подано четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попугаев, вареный ястреб, который весил двести фунтов, две зажаренные обезьяны превосходного вкуса, триста колибри на одном блюде, и шестьсот птиц-мух на другом; тонкие рагу, нежные пирожные; все подавалось на блюдах из горного хрусталя. Юноши и девушки подавали несколько сортов ликера из сахарного тростника.

Посетители были большею частью купцы и извозчики, все чрезвычайно вежливые; они задали Какамбо несколько вопросов со скромностью самой остроумною и отвечали на вопросы очень охотно.

Когда обед был окончен, Какамбо думал, как и Кандид, что они хорошо заплатят за свою долю, бросивши на стол хозяина два из тех широких кусочков золота, которые он поднял; хозяин и хозяйка гостиницы расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились.

— Господа, — сказал хозяин гостиницы, — мы понимаем, что вы иностранцы; мы не привыкли их видеть. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет здешних денег, но это не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для нужд торговли, содержатся государством. У вас был здесь дурной стол, потому что это бедная деревня; но в других местах вас примут как следует.

Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал его с тем же восхищением и с тем же недоумением, с какими его друг Какамбо их переводил.

— Что же, однако, это за страна, — говорили они один другому, — неизвестная всему остальному миру, и природа которой столь не похожа на природу наших стран? Это, вероятно, страна, где все идет хорошо, ибо

надо непременно, чтоб была такая страна. А что бы ни говорил учитель Панглос, я часто замечал, что все шло дурно в Вестфалии.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Что они видели в стране Эльдорадо

Какамбо засыпал расспросами хозяина гостиницы; хозяин ему сказал:

— Я ничего не знаю и рад этому; но у нас здесь есть старик, бывший придворный, самый знающий человек в государстве и очень общительный.

Тотчас же проводил он Какамбо к старику. Кандид же оказался на втором месте и сопровождал своего слугу. Они вошли в дом очень простой, так как дверь была только из серебра и обшивка комнат только из золота; но все это было сделано с таким вкусом, что не потеряло бы ничего и при сравнении с более богатыми чертогами. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал эту чрезвычайную простоту.

Старик принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах; потом он удовлетворил их любопытство в таких выражениях:

— Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюха, об удивительных переворотах в Перу, которых он был свидетелем. Королевство, где мы находимся, есть древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда вышли из него завоевывать другие земли, — они были, наконец, уничтожены испанцами. Те принцы из этой династии, которые остались в родной земле, были более благоразумны; они приказали, с согласия нации, чтобы каждый житель никогда не уходил из нашего маленького королевства; и этим мы сберегли нашу невинность и наше благоденствие. Испанцы имели смутные сведения об этой стране; они называли ее Эльдорадо, и один англичанин, по имени кавалер Рэлей*, побывал неподалеку от нее около ста лет тому назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то мы до настоящего времени можем не опасаться жадности народов Европы, которые

имеют непостижимую страсть к камням и грязи нашей земли и которые, чтобы иметь ее, убили бы нас всех до последнего.

Разговор длился долго: говорили о форме правления, о нравах, о женщинах, о публичных зрелищах, об искусствах. Наконец Кандид, который всегда имел склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия.

Старик немного покраснел.

— Неужели, — сказал он, — вы можете в этом сомневаться? Не принимаете ли вы нас за неблагородных людей?

Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старик опять покраснел.

— Разве могут быть две религии? — сказал он. — У нас, я думаю, та же религия, как и у вас; мы поклоняемся Богу неустанно.

— Вы поклоняетесь только одному Богу? — спросил Какамбо, который служил переводчиком сомнений Кандида.

— Конечно, — сказал старик, — их не два, не три, не четыре. Признаться, люди вашего мира задают вопросы очень странные.

Кандид не переставал спрашивать этого доброго старика; он хотел знать, как молятся Богу в Эльдорадо.

— Мы ничего не просим у него, — сказал добрый и почтенный мудрец, — нам нечего просить у него; он дал нам все, что нам нужно; мы благодарим его непрестанно.

Кандиду было любопытно видеть их священнослужителей, он велел спросить, где они. Добрый старик засмеялся.

— Мои друзья, — сказал он, — мы все священнослужители, и все отцы семейств торжественно поют благодарственные гимны каждое утро; им аккомпанируют пять или шесть тысяч музыкантов.

— Как! У вас нет монахов, которые поучают, соперничают, управляют, проклинаят и сжигают инакомыслящих?

— Мы здесь не сумасшедшие, — сказал старик, — все здесь одного мнения, и мы не понимаем, что такое ваши монахи.

Кандид при этих словах пришел в экстаз. Он говорил самому себе:

— Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Панглос видел Эльдorado, он не говорил бы более, что замок Тундер-тронк — это лучшее на земле. Вот как полезно путешествовать.

После длинного разговора добрый старик велел запрячь в карету шесть баранов и дал двум путешественникам двенадцать своих слуг, чтобы проводить их ко двору.

— Извините меня, — сказал он им, — что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Король примет вас так, что вы не останетесь недовольны, и вы извините, без сомнения, обычаи страны, если некоторые из них вам не понравятся.

Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят, и менее чем в четыре часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал был в двести двадцать пять футов высоты и в сто шириною; невозможно было определить, из чего он сделан; но сразу было видно, что дивный материал этого здания значительно превосходил те булыжники и тот песок, которые мы называем золотом и драгоценными камнями.

Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо при выходе из кареты, проводили их в баню, надели на них платья, ткань которых была из пуха колибри; после этого придворные кавалеры и дамы проводили их в покои его величества между двух рядов, — каждый из тысячи музыкантов, — согласно принятому обычаю. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь надо приветствовать его величество? Встать ли на колени или ползти по земле животом? Положить ли руки на голову или за спину? Лизать с пола пыль? Одним словом, в чем состоит церемония?

— Принято, — сказал камергер, — обнять короля и поцеловать его в обе щеки.

Кандид и Какамбо бросаются на шею его величества, который принимает их так мило, как только можно вообразить, и любезно приглашает их на ужин.

В ожидании ужина им показали город, общественные здания, поднимавшиеся до облаков, рынок, украшен-

ный тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые постоянно текли в большие водоемы, выложенные чем-то, похожим на драгоценные камни и издававшим запах вроде запаха гвоздики и корицы. Кандид просил, чтобы ему показали суд и парламент; ему сказали, что этого у них нет, что у них никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы; и ему сказали, что и этого у них нет. Более всего удивил Кандида и доставил ему самое большое удовольствие дворец наук, в котором он увидел галерею в две тысячи шагов, всю наполненную математическими и физическими инструментами.

Они успели осмотреть едва только тысячную часть города, как их уже проводили к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и никогда не слышал за столом такого остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил королевские словечки Кандиду, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное.

Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид не переставал говорить Какамбо:

— Вижу, мой друг, еще раз, что замок, где я родился, хуже страны, где мы находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, есть любовница в Европе. Если мы и останемся здесь, все же мы здесь не привыкнем. Если же вместо этого вернемся в наш мир только с двенадцатью баранами, нагруженными эльдорадским камнем, мы будем богаче, чем все короли вместе. Мы более не будем бояться инквизиторов и легко сможем освободить Кунигунду.

Эти рассуждения понравились Какамбо; люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками, похвалиться тем, что они видели в своих странствованиях, что двое счастливых решили отказаться от своего счастья и просить у его величества отпустить их.

— Вы делаете глупость, — сказал им король. — Я знаю, что страна моя не Бог вещь что; но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я не имею, конечно, права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; отправляйтесь, когда вы захотите, но

выход очень труден. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом прибыли и которая течет под сводом скал. Горная цепь, которая окружает все мое королевство, имеет десять тысяч футов в высоту и отвесна, как стена; она более десяти миль; за ней лежат пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уйти, я прикажу инженерам построить машину, чтобы можно было вас удобно переправить. Когда вас проведут через горы, никто не сможет вас сопровождать, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступить границы королевства, и они слишком благоразумны, чтобы нарушить свою клятву. Просите у меня, кроме того, все что вам угодно.

— Мы просим у вашего величества, — сказал Какамбо, — только несколько баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.

Король засмеялся.

— Я не понимаю, — сказал он, — что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи; но вывозите ее столько, сколько захотите, и пусть будет она вам на пользу.

Он немедленно дал приказание своим инженерам сделать машину, чтобы поднять этих двух необыкновенных людей за пределы королевства. Три тысячи знающих физиков работали над нею; через пятнадцать дней она была готова и стоила только двадцать миллионов фунтов стерлингов, в валюте страны. В машину усадили Кандида и Какамбо; у них были с собой два больших красных барана, оседланные и взнузданные, чтобы они могли ходить под седлом, когда путники будут переваливать горы; двадцать баранов вьючных, нагруженных съестными припасами, тридцать баранов, которые несли образцы того, что эта страна имела наиболее любопытного; пятьдесят нагруженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял обоих непосед.

Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и любопытно было смотреть, с каким искусством подняты были они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место, вернулись, — и у Кандида теперь уже не было иного желания и другой мысли, как подарить этих баранов Кунигунде.

— У нас есть, — говорил он, — чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если Кунигунда может быть выкуплена. Едем в Каенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

*Что произошло в Суринаме, и как Кандид
познакомился с Мартэном*

Первый день двух наших путешественников был довольно приятен. Их ободряла мысль, что они обладатели сокровищ, превосходящих богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана провалились в болотах и погибли там со своим грузом; два других барана околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь погибли затем от голода в пустыне; несколько баранов упали в пропасть. Наконец после ста дней пути у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо:

— Мой друг, вы видите, как преходящи богатства этого мира; нет ничего прочного, кроме добродетели и счастья увидеть снова Кунигунду.

— Согласен, — сказал Какамбо, — но у нас остается еще два барана с сокровищами, каких никогда не будет и у короля Испании, и вот я вижу вдали город, — думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды кончатся, и скоро начнется благоденствие.

Приближаясь к городу, они встретили негра, лежащего на земле, полуодетого, — на нем были только панталоны голубого полотна; у этого бедного человека не было левой ноги и правой руки.

— Ах, Боже мой! — сказал ему Кандид по-голландски. — Что с тобою, мой друг, и почему ты в таком ужасном состоянии?

— Я жду моего господина Вандердендура, известного негоцианта, — отвечал негр.

— Так это господин Вандердендур, — спросил Кандид, — так обошелся с тобою?

— Да, сударь, — сказал негр, — таков обычай. Нам дают только одни полотняные панталоны два раза

в год, и это вся наша одежда. Когда мы работаем на сахарном заводе и когда жернов оторвет нам палец, нам отрезают руку; если кто-нибудь вздумает убежать, ему отрезают ногу. Со мною случились обе эти беды. Вот цена, которою вам в Европе достается сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказала: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они сделают тебя счастливым; ты имеешь честь быть рабом наших белых господ, и этим ты составишь счастье твоего отца и твоей матери». Увы! Я не знаю, сделал ли я их счастливыми, но моего-то счастья я не вижу. Собаки, обезьяны, попугай в тысячу раз менее несчастливы, чем мы; голландские жрецы, которые меня обратили в их веру, говорят мне каждое воскресенье, что мы все дети Адама, белые и черные. Я не знаю генеалогии, но если проповедники говорят верно, то мы все сродни друг другу. Однако, согласитесь со мною, нельзя же так ужасно обращаться с родственниками.

— О Панглос! — воскликнул Кандид. — Ты не предвидел этих гнусностей. Конечно, — я, наконец, отказываюсь от твоего оптимизма.

— Что такое оптимизм? — спросил Какамбо.

— Увы! — сказал Кандид. — Это — страсть утверждать, что все хорошо, когда приходится плохо.

И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он вошел в Суринам.

Прежде всего они справились, не было ли в порте какого-нибудь корабля, который отправлялся бы в Буэнос-Айрес. Испанский судовладелец, к которому они обратились, согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабаке. Кандид и верный Какамбо отправились подождать его там со своими двумя баранами.

У Кандида всегда было, что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду.

— Ну, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес, — сказал купец, — я буду повешен, и вы также: прекрасная Кунигунда — любимая наложница губернатора.

Эти слова поразили Кандида, как удар грома! Он долго плакал; наконец он обратился к Какамбо:

— Вот, мой дорогой друг, — сказал он ему, — что

ты должен сделать. У нас у каждого в карманах на пять или на шесть миллионов бриллиантов. Ты искуснее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион; если он не сдастся, дай ему два. Ты не убивал инквизитора, тебе нечего бояться. Я снаряжу другой корабль и поеду ждать в Венецию. Это свободная страна, где нечего бояться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.

Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, сделавшимся его задушевым другом; но удовольствие быть ему полезным превозмогло его скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказывал ему, чтобы он не забыл доброй старухи. Какамбо отправился в тот же день; очень добрый человек был Какамбо.

Кандид остался еще несколько времени в Суринаме и ждал, когда другой купец захочет отвезти его в Италию, его и двух баранов, которые с ним остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия; наконец господин Вандердендур, хозяин большого корабля, пришел с ним познакомиться.

— Что вы возьмете, — спросил Кандид этого человека, — чтобы доставить меня прямым путем в Венецию — меня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов?

Купец назначил цену в десять тысяч пиастров.

Кандид согласился не раздумывая.

«Ого! — сказал про себя Вандердендур, — этот иностранец дает десять тысяч пиастров без торга, должно быть, он очень богат».

Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его дешевле чем за двадцать тысяч.

— Ну, хорошо! вы их получите, — сказал Кандид.

«Ба! — сказал себе купец. — Этот человек дает двадцать тысяч пиастров так же охотно, как и десять».

Он снова приходит и говорит, что не может везти Кандида дешевле чем за тридцать тысяч пиастров.

— Что ж, вы получите и тридцать тысяч, — отвечал Кандид.

«Ого, — сказал себе опять голландский купец, — тридцать тысяч пиастров ничего не стоят для этого человека; без сомнения, два барана навьючены несметными

сокровищами; не буду настаивать более, возьму пока тридцать тысяч пиастров, а потом увижу».

Кандид продал два маленьких алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Два барана были отправлены на судно. Кандид следовал за ними на маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.

— Увы, — воскликнул он, — вот поступок, достойный старого света!

Печально вернулся он на злополучный берег, — он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.

Он отправляется к голландскому судье. Так как он был немного взволнован, он сильно стучит в дверь; входит, излагает свое происшествие и кричит немного более громко, чем следовало бы. Судья начал с того, что приговорил его к штрафу в десять тысяч пиастров за произведенный им шум; потом он терпеливо выслушал Кандида, обещал ему заняться его делом тотчас же, как только купец возвратится, и заставил его заплатить другие десять тысяч пиастров судебных издержек.

Этот порядок судопроизводства привел в отчаяние Кандида; он испытывал, правда, несчастья в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Злоба людей представилась его уму во всем своем безобразии; только мрачные мысли приходили ему в голову. Наконец, когда французский корабль готовился отплыть в Бордо, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных бриллиантами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что он заплатит за проезд и пропитание и даст две тысячи пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, с условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей области.

К нему явилась толпа претендентов, которых едва ли мог бы вместить целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек двадцать, которые ему показались довольно обходительными и наиболее отвечающими его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином,

с условием, чтобы каждый дал клятву правдиво рассказать свою историю; он обещал им выбрать того, кто показался бы ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою; остальным же он хотел раздать подарки.

Собрание продолжалось до четырех часов утра. Кандид, слушая обо всех приключениях, вспоминал о том, что говорила ему старуха на пути в Буэнос-Айрес и о ее предложении побиться об заклад, что нет человека на корабле, который не перенес бы очень больших несчастий. Он думал о Панглосе при каждом приключении, о котором рассказывали.

«Панглосу, — думал он, — трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтоб он был здесь. Верно, что все идет хорошо, но только в стране Эльдорадо, а не на остальной земле».

Наконец он остановил свой выбор на одном бедном ученом, который десять лет работал для книгопродавцев в Амстердаме. Он решил, что нет такого ремесла в мире, которое могло бы довести до большего отвращения к жизни.

Этого ученого, который был сверх того добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, увезенная каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Надо признать, что другие были не менее несчастны, чем он; но Кандид надеялся, что ученый разгонит его скуку в путешествии. Все другие соперники нашли, что Кандид оказал им большую несправедливость, но он утешил их, дав каждому по сто пиастров.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Что было с Кандидом и Мартэном на море

Старый ученый, которого звали Мартэн, отправился с Кандидом в Бордо. Оба они многое видели и многое испытали; и пока плыл корабль от Суринама до Японии, кругом мыса Доброй Надежды, они наговорились о зле нравственном и зле физическом.

Кандид имел большое преимущество пред Мартэном:

он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартэну не на что было надеяться. Кроме того, у Кандида было золото и бриллианты, и хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими на земле сокровищами, хотя он не мог забыть мошенничество голландского купца, однако же, вспоминая, что у него осталось, и думая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Панглоса.

— А вы, господин Мартэн, — говорил он ученому, — что думаете вы обо всем этом? Скажите ваше мнение о эле нравственном и эле физическом.

— Меня обвинили в том, — отвечал Мартэн, — что я социаниин*, но, сказать по правде, я манихей*.

— Вы смеетесь надо мной, — сказал Кандид, — манихеев нет больше на свете.

— Остался я, — сказал Мартэн. — Я не знаю, что тут делать, но я не могу думать по-другому.

— Значит, в вас сидит дьявол? — спросил Кандид.

— Он вмешивается во все дела этого мира, — сказал Мартэн, — так что он может быть и в моем сердце, как и повсюду; но я вам признаюсь, что, бросив взгляд на этот шар или, вернее, на этот шарик, я думаю, что Господь отдал его какому-то зловредному существу; я исключаяю, впрочем, Эльдорадо. Мне не случалось видеть города, который не желал бы погибели соседнего города, ни семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, и сильные обходятся с ними, как со стадами, от которых продают шерсть и мясо. Миллион убийц, разбитых на полки, бегают с одного конца Европы на другой, приносят всюду убийство и разбой, чтобы добыть свой хлеб, потому что у этих людей нет более честного ремесла. В городах, которые, кажется, наслаждаются благами мира, расцветом искусства, столько людей гибнет от зависти, забот, беспокойства, что, пожалуй, и в осажденном городе не хуже. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные несчастья. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей.

— Есть, однако, добро, — возразил Кандид.

— Может быть, — сказал Мартэн, — но я с ним незнаком.

Во время этого разговора раздался выстрел из пушки. Шум возрастал с минуты на минуту. Каждый берет свою зрительную трубу. На расстоянии около трех миль видны два корабля, которые сражаются. Ветер подвинул их так близко к французскому кораблю, что можно было с удобством наблюдать все сражение. Наконец один из этих кораблей дал по другому такой удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартэн видели ясно сотню человек на палубе корабля, которая погружалась в воду; они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; в одну минуту все исчезло в волнах.

— Ну что ж?.. — сказал Мартэн. — Вот как люди обращаются друг с другом.

— Верно, — сказал Кандид, — что есть что-то дьявольское в этих делах.

Говоря так, он заметил что-то красное и блестящее, что плавало подле корабля. Отвязали шлюпку, чтобы увидеть, что бы это могло быть. Оказалось, что это один из его баранов. Радость, испытанная Кандидом при возвращении этого барана, во много раз превзошла те огорчения, которые он пережил, теряя сто нагруженных эльдорадскими бриллиантами баранов.

Французский капитан понял вскоре, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля — голландский пират; это был тот самый, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, которыми этот негодяй овладел, были погребены с ним в море; и был спасен только один баран.

— Вы видите, — сказал Кандид Мартэну, — что преступление иногда бывает наказано; этот негодяй, голландский купец, понес кару, которую он заслуживает.

— Да, — сказал Мартэн, — но разве надо было, чтобы и пассажиры на его корабле также погибли? Бог наказал этого плута, диавол потопил других.

Между тем французский корабль и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал разговоры с Мартэном. Они спорили пятнадцать дней, и в пятнадцатый день рассуждали так же, как и в первый. Но что ж из этого! Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.

— Как я снова нашел тебя, — сказал он, — так я смогу, конечно, опять найти Кунигунду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
*Кандид и Мартэн приближаются к
берегам Франции и рассуждают*

Наконец стали видны берега Франции.

— Были ли вы когда-нибудь во Франции, господин Мартэн? — спросил Кандид.

— Да, — сказал Мартэн, — я объехал несколько провинций. Есть такие, где половина жителей безумны; в иных слишком много лукавых; в других — люди добродушны, но тупы; кое-где любят они прикинуться умниками. А во всех провинциях главное занятие — любовь, второе — злословие и третье — болтовня.

— Но, господин Мартэн, видели вы Париж?

— Да, я видел Париж. Он соединяет все эти качества; это хаос, в котором всякий ищет удовольствий, и почти никто их не находит, — так по крайней мере мне показалось. Там я пробыл недолго; едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. Меня самого приняли за вора, и я пробыл восемь дней в тюрьме; потом я поступил корректором в типографию, чтоб было с чем вернуться в Голландию, хоть пешком. Навидался я всякой сволочи: писак, проныр и конвульсионеров*. Говорят, что есть очень вежливые люди в этом городе; я хочу этому верить.

— Что касается меня, то мне совсем не любопытна Франция, — сказал Кандид. — Вы легко поймете, что, проведя месяц в Эльдорадо, не захочешь ничего более видеть на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?

— Очень охотно, — сказал Мартэн, — говорят, что в Венеции хорошо только венецианским нобилям, но что, несмотря на это, там принимают очень хорошо и иностранцев, когда у них много денег. У меня нет ничего, зато у вас много. Я последую за вами повсюду.

— Кстати, — сказал Кандид, — думаете ли вы, что земля была первоначально морем, как это утверждают в большой книге*, которая принадлежит капитану корабля.

— Я этому совсем не верю, — сказал Мартэн, — да не больше верю и всем фантазиям, которые нам рассказывают с некоторых пор.

— А все же, с какою целью этот мир создан? — спросил Кандид.

— Чтобы бесить нас, — отвечал Мартэн.

— Но разве не удивила вас, — продолжал Кандид, — любовь этих двух девушек орельонской земли к двум обезьянам, о которых я вам рассказывал.

— Нисколько, — сказал Мартэн, — я не вижу в этой страсти ничего странного; я столько видел удивительного, что меня уже ничто не удивляет.

— Вы думаете, — спросил Кандид, — что люди всегда избивали друг друга, как они это делают сейчас? Что они всегда были лжецами, лукавыми, вероломными, неблагодарными, разбойниками, слабыми, непостоянными, робкими, завистливыми, обжорами, пьяницами, скупыми, честолюбивыми, кровожадными, клеветниками, развратниками, фанатиками, лицемерными и глупыми?

— А вы как думаете, — спросил Мартэн, — ястребы всегда ели голубей, когда ловили их?

— Да, без сомнения, — сказал Кандид.

— Хорошо, — сказал Мартэн, — если ястребы всегда имели такой же точно характер, почему вы хотите, чтобы люди изменились?

— О, — сказал Кандид, — есть большое различие, ибо свободная воля...

Рассуждая так, они прибыли в Бордо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Что случилось с Кандидом и Мартэном во Франции

Кандид остановился в Бордо на такое время, которое нужно было, чтобы продать несколько эльдорадских бриллиантов и чтобы приготовить хорошую двухместную коляску, — ибо уже он не мог обходиться без своего философа Мартэна и его огорчила только разлука с бараном, которого он оставил в Академии наук в Бордо. Академия предложила на соискание премии в этом году найти, почему шерсть этого барана красная; и премия была присуждена одному ученому с севера, который доказал посредством формул A плюс B минус C , деленное

на X, что баран должен быть красным и умереть от овечьей оспы.

Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в кабаках на дороге, ему говорили:

— Мы едем в Париж.

Всеобщее стремление возбудило в нем, наконец, охоту видеть эту столицу; она же была почти по дороге в Венецию.

Он въехал в предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в самую скверную деревню Вест-Фалии.

Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое нездоровье от усталости. Так как у него на пальце был огромный бриллиант и в его экипаже заметили чрезвычайно тяжелую шкатулку, то к нему сейчас же пришли два врача, которых он не требовал, несколько близких друзей, которые его не оставляли, и две ханжи, которые разогревали ему бульон. Мартэн сказал:

— Я вспоминаю, что я был болен в Париже в мое первое путешествие. Я был очень беден, и у меня не было ни друзей, ни сиделок, ни докторов, и я выздоровел.

Между тем усилия врачей и кровопускания сделали болезнь Кандида серьезною. Один завсегда гостиницы очень любезно попросил у него в долг подвексель с уплатою в будущей жизни. Кандид отказался; ханжи уверяли его, что это новая мода. Кандид отвечал, что он совсем не модник. Мартэн хотел выбросить просителя в окно. Клирик поклялся, что Кандида не похоронят. Мартэн поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Спор разгорелся. Мартэн взял клирика за плечи и грубо его выгнал. Произошел большой скандал, и был составлен протокол.

Кандид выздоровел; пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Шла крупная игра. Кандида очень удивляло, что тузы никогда не шли к нему, но Мартэн не удивлялся этому, а среди его гостей был маленький аббат из Перигора, один из тех хлопотливых людей, веселых, всегда услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые бросаются на иностранцев при их проезде, рассказывают им скандальную хронику города и предлагают им удовольствия на все цены. Этот прежде всего повел Кандида и Мартэна

в театр. Там играли новую трагедию. Кандид сидел подле нескольких остроумцев. Это не помешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:

— Вы напрасно плачете: эта актриса очень плоха, актер, который играет с нею, еще хуже; а пьеса еще хуже актеров. Автор не знает ни одного слова по-арабски, а между тем действие происходит в Аравии*; и, кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи*. Я принесу вам завтра несколько брошюр против него.

— Сколько всего пьес во французском театре? — спросил Кандид аббата; и тот ответил:

— Пять или шесть тысяч.

— Это много, — сказал Кандид. — А сколько из них хороших?

— Пятнадцать или шестнадцать, — отвечал тот.

— Это много, — сказал Мартэн.

Кандид остался очень доволен актрисою, которая играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии*, еще удержавшейся в репертуаре.

— Эта актриса, — сказал он Мартэну, — мне очень нравится. Я был бы рад познакомиться с нею.

Аббат из Перигора предложил проводить его к ней. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обращаются во Франции с английскими королевами.

— Это как где, — сказал аббат. — В провинции их водят в кабачок, в Париже их почитают, пока они прекрасны, а когда они умирают, их везут на свалку*.

— Королев на свалку? — спросил Кандид.

— Да, — сказал Мартэн, — господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Моним* ушла, как говорят, из этой жизни в другую; ей отказали в том, что эти люди называют посмертными почестями, и в праве тлеть со всеми плутами квартала на скверном кладбище! Она была погребена отдельно своими товарищами по сцене на углу Бургонской улицы. Это должно было причинить ей чрезвычайное страдание, — у нее были такие возвышенные чувства.

— Это очень нелюбезно, — сказал Кандид.

— Чего вы хотите? — сказал Мартэн. — Эти люди так созданы. Представьте все возможные противоречия

и нелогичности, — и вы их найдете в управлении, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации.

— Правда ли, что в Париже всегда смеются? — спросил Кандид.

— Да, — сказал аббат, — но это нервное. Здесь жалуются на все с хохотом и, смеясь, совершают гнусные поступки.

— Кто, — спросил Кандид, — эта жирная свинья, которая говорила мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез, и об актерах, доставивших мне столько удовольствия?

— Это дурной человек, — отвечал аббат, — он только то и делает, что бранит все пьесы, все книги. Он ненавидит чужой успех, как евнухи ненавидят наслаждения; это один из тех писаек, которые питаются ядом и грязью; это газетный пасквильант.

— Кого вы называете газетным пасквильантом? — спросил Кандид.

— Это, — сказал аббат, — бумагомарака, некий Фрерон*.

Так Кандид, Мартэн и перигорец рассуждали на лестнице во время театрального разъезда.

— Хотя мне очень хочется вернуть Кунигунду, — сказал Кандид, — я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон*; я нахожу ее восхитительною.

Аббат не мог быть близок с госпожою Клерон, которая принимала только избранное общество.

— Она сегодня приглашена, — сказал он, — но я буду иметь счастье провести вас к одной знатной даме, и там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре года.

Кандид, который был от природы любопытен, согласился идти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фараон: двенадцать печальных понтеров держали каждый в руке по колоде карт, — скорбный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, лица понтеров были бледны, и озабоченным было лицо банкмета. Хозяйка дома сидела подле этого неумолимого банкмета и следила рысьими глазами за тем, как гнут параллели; все попытки сплутовать она останавливала решительно, но вежливо и без раздражения, чтобы не лишиться своих завсегдаев. Эта дама звалась маркизою де Паролиньяк. Ее дочь, лет пятнадцати, была в числе пон-

теров и взглядом указывала матери на мошенничества бедных, пытавшихся исправить жестокость судьбы.

Аббат перигориец, Кандид и Мартэн вошли; никто не поднялся, не приветствовал их, не посмотрел на них; все были поглощены своими картами.

— Госпожа баронесса Тундер-тен-тронк была вежлива, — сказал Кандид.

Между тем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, которая приподнялась и приветствовала Кандида любовною улыбкою и Мартэна величественным кивком. Она дала место и колоду карт Кандиду, который проиграл пятьдесят тысяч франков в две тальи. Потом весело поужинали, и все были удивлены, что Кандид не опечален своим проигрышем; лакеи говорили между собою на своем лакейском жаргоне:

— Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.

Ужин был похож на всякий ужин в Париже; сначала молчание, потом поток слов, которых никто не слушает, потом шутки, большая часть которых нелепы, — лживые новости, глупые рассуждения, немного политики и много злословия; говорили даже о новых книгах.

— Вы читали, — спросил аббат перигориец, — роман господина Гоша*, доктора теологии?

— Да, — отвечал один из гостей, — но я не мог его дочитать. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе они не так нелепы, как книга Гоша, доктора теологии; я так пресыщен этой массой нелепых книг, которыми нас засыпают, что пустился понтировать.

— А заметки архидиакона Турбле, что вы о них скажете? — спросил аббат.

— Ах, — сказала госпожа Паролиньяк, — этот смертный несносен! С какой серьезностью говорит он о том, что все знают. Как тяжеловесно спорит он о том, о чем не стоит и слова сказать! Как неразумно присваивает он себе ум других! Как он портит все, что украдет! Какое отвращение он мне внушает, но он уж не будет мне надоедать; довольно прочесть несколько страниц архидиакона.

За столом был один человек ученый и со вкусом, он согласился с мнением маркизы. Потом говорили о трагедии. Хозяйка спросила:

— Почему есть такие трагедии, которые можно смотреть и которых нельзя читать?

Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть для сцены достаточно интересна и не иметь почти никаких литературных достоинств. Он доказал в немногих словах, что недостаточно выставить одно или два положения, которые находятся во всех романах и всегда подкупают зрителей, но надо быть новым, не будучи странным, часто высоким и всегда естественным, знать человеческое сердце и уметь говорить, быть большим поэтом и никогда ни одно из лиц пьесы не превращать в поэта; в совершенстве знать язык, говорить чисто и гармонично, чтобы никогда рифма не шла в ущерб рассудку.

— Тот, — прибавил он, — кто не соблюдает всех этих правил, может сочинить одну или две трагедии, годных для сцены, но он никогда не займет места в ряду хороших писателей. Очень хороших трагедий мало. Иные пьесы—это идиллии в диалогах, хорошо написанные и хорошо рифмованные; другие — политические рассуждения, которые усыпляют, или многословные пересказы, которые отталкивают от себя; некоторые — мечты бесноватого, написанные варварским стилем, с бессвязной речью, с длинными воззваниями к богам, потому что авторы не умеют говорить с людьми, со лживыми утверждениями, с надутыми общими местами.

Кандид слушал эту речь со вниманием и составил себе высокое понятие о говоруне; а так как маркиза позаботилась посадить его подле себя, то он наклонился к ее уху и спросил, кто этот человек, который говорил так хорошо.

— Это ученый, — сказала дама, — который не играет и, так же как аббат, приходит ко мне иногда ужинать. Он знает толк в трагедиях и в книгах и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца; один экземпляр ее он подарил мне.

— Великий человек! — сказал Кандид. — Это второй Панглот.

Затем, обернувшись к нему, он сказал:

— Вы, без сомнения, думаете, что все к лучшему в физическом мире и в нравственном и что ничто не может быть иначе?

— Совсем напротив, — отвечал ему ученый, — я нахожу, что все идет у нас наыворот, что никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает, чего он не должен делать. Кроме ужина, который был довольно весел и где явилось достаточно единения, все остальное время проходит в нелепых ссорах; янсенисты* против молинистов*, люди парламента против людей церкви, литературы, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников. Это вечная война.

Кандид возразил ему:

— Я видел худшее, но один мудрец, который имел несчастье быть повешенным, учил меня, что все чудесно, а это только тени на прекрасной картине.

— Ваш повешенный смеялся над миром, — сказал Мартэн, — и ваши тени — ужасные пятна.

— Это люди делают пятна, — сказал Кандид, — и они не могут от них освободиться.

— Это, однако, не их вина, — сказал Мартэн.

Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разговоре, пили; Мартэн рассуждал с ученым, а Кандид рассказал часть своих приключений хозяйке дома.

После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и посадила его на кушетку.

— Ну, что же, — спросила она его, — вы все еще влюблены без ума в баронессу Кунигунду Тундер-тентронк?

— Да, сударыня, — отвечал Кандид.

Маркиза возразила ему с нежною улыбкою:

— Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии. Француз сказал бы: да, я любил баронессу Кунигунду, но, увидя вас, сударыня, я боюсь, что не люблю ее более.

— О сударыня, — сказал Кандид, — я отвечаю, как вы пожелаете.

— Ваша страсть к ней, — сказала маркиза, — началась, когда вы подняли ее платок. Я хочу, чтоб вы подняли мою подвязку.

— С большою радостью, — сказал Кандид и поднял подвязку.

— Но я хочу, чтоб вы мне надели ее, — сказала дама; и Кандид исполнил это.

— Вот видите, — сказала дама, — вы иностранец; я иногда заставляю томиться своих парижских любовников по пятнадцати дней, но вам отдаюсь с первой ночи, потому что надо же быть любезною с молодым человеком из Вестфалии.

Красавица, заметив два громадные бриллианта на руках молодого иностранца, так расхвалила их, что с пальцев Кандида они перешли на пальцы маркизы.

Кандид, возвращаясь домой со своим аббатом перигорийцем, почувствовал угрызения совести за неверность Кунигунде. Аббат принял участие в его горе; он получил только малую часть из пятидесяти тысяч ливров, проигранных Кандидом, и из стоимости двух бриллиантов, не отданных — полувывпрошенных. Он был намерен воспользоваться всеми преимуществами, которые знакомство с Кандидом могло ему доставить. Он говорил охотно о Кунигунде; и Кандид сказал, что он выпросит прощение у этой красавицы, когда увидит ее в Венеции.

Перигориец удвоил любезности и внимание и высказывал нежное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил, ко всему, что он делал, и ко всему, что он хотел делать.

— Значит, — спросил он, — у вас свидание в Венеции?

— Да, господин аббат, — сказал Кандид, — мне надо там встретиться с Кунигундой.

Потом, испытывая удовольствие говорить о той, кого он любит, он рассказал, согласно своему обыкновению, часть своих приключений с этою милою вестфальянкою.

— Я думаю, — сказал аббат, — что баронесса Кунигунда очень умна и что она пишет прелестные письма.

— Я от нее никогда не получал писем, — сказал Кандид, — ведь я был изгнан из замка за любовь к ней; я не мог ей писать, а вскоре услышал, будто бы она умерла, потом я ее нашел опять и опять потерял; я послал за нею, за две тысячи пятьсот миль отсюда, корабль и теперь жду ответа.

Аббат выслушал внимательно и, казалось, придумался. Вскоре он оставил обоих иностранцев, нежно обняв их. На следующий день, проснувшись утром, Кандид получил письмо такого содержания:

«Дорогой мой возлюбленный, я здесь уже целую неделю и лежу больная; я узнала, что вы здесь. Я полетела бы обнять вас, но не могу двинуться. Я узнала о вашем приезде в Бордо; я оставила там верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор в Буэнос-Айресе взял все, но у меня осталось ваше сердце. Придите, ваше присутствие возвратит мне жизнь или заставит умереть меня от радости».

Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кандида в чрезвычайную радость; но болезнь милой Кунигунды удручала его. Колеблясь между этими двумя чувствами, он берет свое золото и свои бриллианты и едет с Мартэном в отель, где остановилась Кунигунда. Он входит, дрожа от волнения, сердце его бьется, его голос дрожит. Он хочет открыть занавесы постели и приказывает принести свет.

— Осторожнее, — говорит ему служанка, — свет ее уьет. — И закрывает занавес.

— Дорогая моя Кунигунда, — сказал Кандид плача, — как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, скажите мне что-нибудь.

— Она не может говорить, — сказала служанка.

Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид долгое время орошает своими слезами и которую наполняет потом бриллиантами, оставляя в кресле мешок, полный золота.

В это время входит полицейский, сопровождаемый аббатом перигорийцем и стражею.

— Вот, — сказал он, — эти два подозрительные иностранца.

Он приказывает своим молодцам немедленно схватить их и отвести в тюрьму.

— Не так обращаются с иностранцами в Эльдorado, — сказал Кандид.

— Я более манихей, чем когда бы то ни было, — сказал Мартэн.

— Куда же вы нас ведете? — спросил Кандид.

— В яму, — сказал полицейский.

Мартэн, вернувший свое хладнокровие, рассудил, что дама, которая выдавала себя за Кунигунду, просто мошенница, господин аббат перигориец — мошенник, ловко злоупотребивший доверчивостью Кандида, а полицейский такой же плут, и от него легко избавиться.

Чтобы не подвергнуться судебной процедуре, Кандид, просвещенный советом Мартэна и полный нетерпения увидеть снова настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три маленьких бриллианта стоимостью три тысячи пистолей каждый.

— А, господин, — сказал ему человек с палкой из слоновой кости, — если бы вы совершили все возможные преступления, вы все-таки самый честный человек в свете; три бриллианта, каждый в три тысячи пистолей! Господин, я скорее дам себя убить за вас, чем отвести вас в тюрьму. Арестовывают всех иностранцев, но я вас устрою; у меня брат в Диеппе в Нормандии, я вас провожу туда; и если у вас есть несколько бриллиантов, чтобы дать ему, он позаботится о вас, как я сам.

— А почему арестовывают всех иностранцев? — спросил Кандид.

Аббат перигориец сказал:

— Это потому, что какой-то негодяй из Атребазии, наслушавшись глупостей, совершил отцеубийство*, — не такое, как в 1610 году, в мае, а такое, как в 1594 году, в декабре; да и в другие годы делали то же разные негодяи, тоже наслушавшиеся глупостей.

Полицейский объяснил, в чем дело.

— О чудовища! — воскликнул Кандид. — Такие ужасы среди народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне покинуть страну, где обезьяны поступают, как тигры. Я видел медведей на моей родине, — людей я видел только в Эльдорадо. Ради Бога, господин полицейский, отправьте меня в Венецию, где я должен встретить Кунигунду.

— Я могу отправить вас только в Нормандию, — сказал полицейский.

Затем он снимает с него кандалы, говорит, что это ошибка, отпускает своих людей, везет в Диепп Кандида и Мартэна и оставляет их у своего брата. На рейде стоял маленький голландский корабль. Нормандец, получив три другие бриллианта, сделался самым услужливым из людей; он посадил Кандида и его слугу на корабль, который повез их в Портсмут, в Англию. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду казалось, что он вырвался из ада, а поездку в Венецию он рассчитывал предпринять при первом же удобном случае.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

*Кандид и Мартэн на английском берегу,
и что они там увидели*

— Ах, Панглос! Панглос! Ах, Мартэн! Мартэн! Ах, моя дорогая Кунигунда! Что такое здешний мир? — говорил Кандид на голландском корабле.

— Нечто очень глупое и очень скверное, — отвечал Мартэн.

— Вы знаете Англию? Там такие же безумцы, как и во Франции?

— Это другой род безумия, — сказал Мартэн, — вы знаете, что эти две нации ведут войну из-за куска земли под снегом в Канаде* и что они израсходовали на эту прекрасную войну гораздо более, чем стоит вся Канада. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам точно, в той или в другой стране больше людей, которых следовало бы связать. Я знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, меланхолики.

Разговаривая так, они прибыли в Портсмут. Множество народа виднелось на берегу; все внимательно смотрели на довольно полного человека, который стоял на коленях с завязанными глазами, на палубе военного корабля; четыре солдата, поставленные против этого человека, преспокойно выпустили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно удовлетворенная.

— Что же это, однако? — сказал Кандид. — Какой демон простирает повсюду свою власть?

Он спросил, кто был этот толстяк, которого убили с церемонией.

— Адмирал*, — отвечали ему.

— А за что убили этого адмирала?

— За то, — сказали ему, — что он не убил достаточно людей; он дал сражение французскому адмиралу, и нашли, что он подошел к врагу недостаточно близко.

— Но, — сказал Кандид, — ведь и французский адмирал был также далеко от английского адмирала, как английский от французского?

— Несомненно, — отвечали ему, — но в нашей стране не мешает убивать время от времени одного адмирала, чтобы придать бодрости.

Кандид был так ошеломлен и так оскорблен всем, что он видел, и всем, что он слышал, что не захотел даже выйти на землю и договорился со своим голландским судовладельцем (хотя бы его обворовали, как в Суринаме), чтобы тот довез его без промедления в Венецию.

Через два дня корабль был готов к отплытию. Миновали Францию, прошли мимо Лиссабона, — и Кандид задрожал. Вошли в пролив и в Средиземное море; наконец приплыли к Венеции.

— Слава Богу, — сказал Кандид, обнимая Мартэна, — здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все идет хорошо, все идет так прекрасно, как только можно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О Пакете и о брате Жирофле

Как только Кандид приехал в Венецию, он начал искать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех проституток и не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все лодки: никакой вести о Какамбо.

— Как! — говорил он Мартэну. — Я имел время попасть из Суринама в Бордо, уехать из Бордо в Париж, из Парижа в Диепп, из Диеппа в Портсмут, обогнуть Португалию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасная Кунигунда не приезжает. Я встретил вместо нее непотребную женщину и аббата перигорийца. Кунигунда умерла, без сомнения, — и мне остается только умереть. Ах, лучше бы мне не покидать эльдорадского края, чем возвратиться в эту гнусную Европу. Вы правы, мой дорогой Мартэн! Все только обман и бедствие.

Он впал в черную меланхолию и не принял никакого участия в опере *alla moda* и в других увеселениях карнавала; ни одна дама не могла его увлечь. Мартэн сказал ему:

— Поистине, вы очень просты, если вообразили, что слуга метис, у которого пять или шесть миллионов в кармане, поедет искать вашу любовницу на край света и привезет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе,

если найдет; если не найдет ее, возьмет другую; я советую вам забыть вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.

Но эти слова не утешали Кандида. Его меланхолия усиливалась, и Мартэн не переставал доказывать ему, что мало добродетели и мало чести на земле, исключая, может быть, Эльдорадо, куда никто не может попасть.

Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Кунигунду, Кандид заметил на площади святого Марка молодого театинца*, который держал под руку девушку. Театинец казался свежим, полным, сильным; у него были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, гордая походка. Девушка, очень хорошенькая, пела; она смотрела влюбленными глазами на своего театинца и время от времени щипала его толстую щеку.

— Вы согласитесь со мною, — сказал Кандид Мартэну, — что хоть эти-то люди счастливы. Я встречал до сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, только несчастных; но об этой девушке и об этом театинце я бьюсь об заклад, что они очень счастливые создания.

— А я держу пари, что нет.

— Стоит только пригласить их на обед, — сказал Кандид, — и там вы увидите, ошибся ли я.

Сейчас же он подходит к ним, любезно знакомится с ними и приглашает их пойти в гостиницу покушать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина Монтепульчиано, Лакрима-Кристи, кипрского и самосского. Барышня покраснела, театинец принял предложение, и девушка последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которые набегали слезинки.

Как только она вошла в комнату Кандида, она сказала ему:

— Неужели, господин Кандид, вы не узнаете Пакеты?

При этих словах Кандид, который до того времени не смотрел на нее внимательно, потому что был занят только мыслями о Кунигунде, сказал ей:

— О мое бедное дитя, это вы! Я видел доктора Панглоса в славном состоянии, ведь вы были в этом виноваты?

— Увы! Это я, — сказала Пакета. — Я вижу, вы знаете обо всем. Я слышала о страшных несчастиях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасную Кунигунду. Клянусь вам, что моя не менее печальна. Я была слишком невинна, когда вы меня видели. Один кордельер, который был моим духовником, легко обольстил меня. Последствия этого были ужасны; я была вынуждена уйти из замка вскоре после того, как господин барон выставил вас из дому здоровыми пинками. Если б один искусный врач не сжалился надо мною, я бы умерла. В благодарность за это я была некоторое время любовницею этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства, била меня немилосердно каждый день; это была фурия. Этот врач был самый безобразный из всех людей, а я самая несчастная из всех созданий, — быть постоянно битой из-за чело- века, которого не любишь! Вы поймете, господин Кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, оскорбленный поведением своей жены, дал ей однажды, чтобы вылечить легкий насморк, такое сильное лекарство, что она через два часа умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду; он убежал, а меня посадили в тюрьму. Моя невиновность меня не спасла бы, если б я не была хорошенькою. Судья меня освободил с условием, что он будет у меня наследником врача. Вскоре мое место было занято соперницею, меня выгнали без вознаграждения, и я принуждена была продолжать это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется таким приятным и которое для нас — пучина бедствий. Я уехала заниматься своею профессиею в Венецию. Ах, господин Кандид, если б вы могли представить, что это значит быть обязанной ласкать без разбора старого купца, адвоката, монаха, гондольера, аббата! Как часто подвергаешься всевозможным обидам и притеснениям! Нередко до того доходишь, что приходится брать напрокат юбку, чтобы навязать себя омерзительному человеку! Иной раз все, что получишь с одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, — а в будущем видишь только одну ужасную старость, больницу, свалку. Вы можете заключить, что я — одно из самых несчастных созданий в мире.

Так Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду в кабинете в присутствии Мартэна, который сказал Кандиду:

— Вы видите, что я уже выиграл половину пари. Брат Жирофле остался в столовой и выпивал, ожидая обеда.

— Но у вас был, — сказал Кандид Пакете, — такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил. Вы пели, вы ласкали театинца с такою непринужденною любезностью. Право, вы показались мне очень счастливою.

— Ах, господин Кандид, — отвечала Пакета, — это еще одно из несчастий моего ремесла. Вчера меня обокрал и избил какой-то офицер, а сегодня я должна казаться веселою, чтобы понравиться монаху.

Кандиду было довольно, — он признал, что Мартэн прав. Сели за стол с Пакетою и театинцем; обед прошел довольно оживленно, и подконец они начали говорить с известной откровенностью.

— Отец мой, — сказал Кандид монаху, — вы, мне кажется, так наслаждаетесь своею судьбою, что всяк вам позавидует; вы обладаете цветущим здоровьем, ваша физиономия выражает счастье; у вас очень хорошенькая девушка для развлечения, и вы, кажется, очень довольны вашим положением театинца.

— Признаться, я хотел бы, — сказал брат Жирофле, — чтоб все театинцы сгнули в пучине морской. Сотню раз брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться турком. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть это противное платье, чтобы увеличить наследство проклятому старшему брату, да поразит его Господь Бог! Зависть, раздоры, злоба живут в обители. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, которые принесли мне немного денег; из них приор украл у меня половину; остаток я трачу на девочек. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, я готов разбить себе голову о стены спальни; и все мои собратья чувствуют себя так же.

Мартэн обратился к Кандиду со своим обычным хладнокровием.

— Ну, что, — сказал он ему, — не выиграл ли я пари целиком?

Кандид дал две тысячи пиастров Пакете и тысячу пиастров брату Жирофле.

— Ручаюсь вам, — сказал он, — что с этими деньгами они будут счастливыми.

— Я совершенно не верю этому, — сказал Мартэн, — вы сделаете их, быть может, этими пиастрами еще гораздо несчастнее.

— Ну, будь что будет, — сказал Кандид, — но кое-что меня утешает. Я вижу, часто встречаешь людей, которых никогда не думал снова увидеть. Если я нашел моего красного барана и Пакету, то возможно, что найду и Кунигунду:

— Я желаю, — сказал Мартэн, — чтобы она когда-нибудь принесла вам счастье, но я сильно сомневаюсь в этом.

— Вы очень жестоки, — сказал Кандид.

— Говорю по опыту, — сказал Мартэн.

— Посмотрите на этих гондольеров, — сказал Кандид, — ведь они же поют беззастыдли!

— Вы не видите их дома, с их женами и несносными детишками, — сказал Мартэн. — У дожа свои печали, у гондольеров — свои. Правда, все-таки участь гондольера предпочтительнее, чем участь дожа; но, я думаю, разница так невелика, что об ней не стоит и думать.

— Говорят, — сказал Кандид, — о сенаторе Пококуранте*, который живет в прекрасном дворце на Бренте и который принимает иностранцев довольно хорошо. Утверждают, что это человек, который никогда не знал горя.

— Хотел бы я видеть такую редкую породу, — сказал Мартэн.

Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Посещение сеньора Пококуранте, благородного венецианца

Кандид и Мартэн отправились в гондоле по Бренте и приехали к дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены прекрасными мраморными статуями; дворец был прекрасной архитектуры. Хозяин дома, человек шестидесяти лет, очень богатый, принял двух любопытных вежливо, но без особенной предупредительности, что расстроило Кандида и несколько не огорчило Мартэна.

Сначала две девушки, хорошенькие и чисто одетые, подали очень хорошо взбитый ими шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их за красоту, услужливость и ловкость.

— Это довольно милые создания, — сказал сенатор Пококуранте. — Иногда я беру их в мою постель, потому что мне наскучили городские дамы своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать для них; но и эти две девушки начинают мне надоедать.

Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галлерее, был удивлен красотой картин. Он спросил, каким художником написаны первые две.

— Их написал Рафаэль, — сказал сенатор. — Нескольким лет тому назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, что это из лучших в Италии, но они мне совершенно не нравятся, краски на них очень потемнели, фигуры недостаточно округлы и выпуклы, драпировка несколько не похожа на материю, — одним словом, что бы ни говорили, я не нахожу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее мне кажется, что я вижу природу; а таких картин нет совсем. У меня много картин, но я уже не смотрю на них более.

Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандид нашел музыку восхитительною.

— Этот шум, — сказал Пококуранте, — может забавлять полчаса; а потом он утомляет всех, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка наших дней не более, как искусство преодолевать трудности, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я предпочел бы, может быть, оперу, если б не нашли секрета делать из нее отвратительное чудовище. Пусть идет, кто хочет, смотреть на плохие трагедии с музыкою, сочиненные только для того, чтобы ввести, совсем некстати, две или три стихотворные песни, в которых актриса щегольнет своей глоткой; пусть замирает от восторга, кто хочет и может, при виде кастрата, мурлыкающего в роли Цезаря или Катона и напыщенно разгуливающего на подмостках. Что касается меня, я давно отказался от этих пустяков, которые нынче прославили Италию и за которые государи платят так дорого.

Кандид немного поспорил, но скромно. Мартэн вполне разделял мнение сенатора.

Сели за стол; после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидя Гомера, великолепно переплетенного, восхвалил вельможу за его хороший вкус.

— Вот, — сказал он, — книга, которая доставляла наслаждение великому Панглосу, лучшему философу Германии.

— Мне она не доставляет наслаждений, — холодно сказал Пококуранте. — Когда-то меня уверяли, что я должен испытывать удовольствие, читая ее; но эти постоянно повторяющиеся сражения, которые все похожи одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся и не делают ничего решительного; эта Елена, которая служит предлогом войны, но почти не участвует в действии; эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять, — все это наводит на меня смертельную скуку. Я иногда спрашивал ученых, не скучали ли они, так же как и я, при этом чтении. Все искренние люди мне признались, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке — как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся для обращения.

— Ваша светлость, конечно, другого мнения о Вергилии? — спросил Кандид.

— Признаюсь, — сказал Пококуранте, — что вторая, и четвертая, и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что касается его благочестивого Энея, и богатыря Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлого Амата, и нелепой Лавинии, я не думаю, чтобы еще что-нибудь было так холодно и так неприятно. Я предпочитаю Тассо и сказки Аристо, от которых стоя заснешь.

— Осмелюсь вас спросить, — сказал Кандид, — не испытываете ли вы большего удовольствия при чтении Горация?

— У него есть мысли, — сказал Пококуранте, — из которых просвещенный человек может извлечь пользу и которые, будучи крепко связаны в сильные стихи, легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, мужицкая ссора неведомого Рупилия*, слова которого, по его выражению, «были полны гноя», с кем-то, слова которого «были уксусом». Я читал с чрезвычайным

отвращением его грубые стихи против старухи и колдуний, и я не вижу ничего достойного похвал, когда он говорит своему другу Меценату, что, признанный им в ряду лирических поэтов, он раздвинет звезды своим возвышенным лбом. Глупые удивляются всему в почитаемом писателе. Я читаю только для себя. Я люблю только то, что мне нравится.

Кандид, которого приучили с детства не иметь ни о чем собственного мнения, был сильно удивлен тем, что слышал, а Мартэн находил образ мыслей Пококуранте довольно разумным.

— О, вот Цицерон! — сказал Кандид. — Что касается этого великого человека, я думаю, вы его постоянно читаете?

— Я никогда его не читаю, — отвечал венецианец. — Что мне за дело до того, что он защищал в суде Рабририя или Клуенция? У меня довольно процессов, которые я сам разбираю. Я скорее помирился бы с его философскими произведениями; но когда я увидел, что он сомневался во всем, я заключил, что я знаю столько же, как и он, а мне никого не надо, чтобы оставаться невеждою.

— А вот восемьдесят томов, труды Академии наук! — воскликнул Мартэн. — Возможно, что тут найдется кое-что хорошее.

— Нашлось бы оно, — сказал Пококуранте, — если б один из авторов этой дряни изобрел хотя бы способ делать булавки. Но во всех этих книгах только бесполезные системы и ни одной полезной статьи.

— Сколько театральных пьес я вижу здесь, — сказал Кандид, — итальянских, испанских, французских!

— Да, — сказал сенатор, — их три тысячи, но только три дюжины хороших. Что касается этих сборников проповедей, которые все вместе не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих толстых томов по теологии, вы, конечно, понимаете, что я никогда не раскрываю их, да и никто их не читает.

Мартэн заметил полки, наполненные английскими книгами.

— Я думаю, — сказал он, — что республиканцу должна нравиться большая часть этих трудов, написанных так свободно.

— Да, — отвечал Пококуранте, — хорошо, когда пишут то, что думают, — это привилегия человека. Во

всей нашей Италии пишут только то, чего не думают; живущие в отечестве Цезарей и Антониев не осмеливаются иметь ни одной мысли без позволения монаха якобита. Я был бы доволен свободою, которую внушают английские гении, если б страсти и дух партии не искажали все, что эта драгоценная свобода имеет достойного уважения.

Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не смотрит ли он на этого автора, как на великого человека.

— Мильтон! — воскликнул Пококуранте. — Этот варвар пишет длинный комментарий к первой главе Бытия в десяти книгах тяжеловесных стихов*; этот грубый раздражитель грекам искажает рассказ о сотворении мира: тогда как Моисей говорит о Предвечном Существом, создавшем мир одним словом, — он заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкапа, чтобы начертить план своего творения. Что бы я стал почитать того, кто изуродовал ад и диаволов Тассо, кто представляет Люцифера то жабою, то пигмеем, кто заставляет его повторять сто раз все те же речи, спорить о теологии, кто, всерьез подражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, заставляет демонов стрелять из пушек в небо! Ни мне, никому в Италии не могут нравиться эти печальные глупости. Брак Греха со Смертью и ехидны, которыми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом; длинное описание больницы хорошо только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, странная и безвкусная, при самом своем появлении в свет была встречена презрением; я отношусь к ней так же, как отнеслись к ней в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и слишком мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я.

Кандид был опечален этими речами: он почитал Гомера, он любил немного Мильтона.

— Увы! — сказал он тихо Мартэну. — Я очень боюсь, что этот человек питает высочайшее презрение к нашим германским поэтам.

— В этом не будет большой ошибки, — сказал Мартэн.

— О, какой необыкновенный человек! — бормотал про себя Кандид. — Какой великий гений этот Пококуранте! Ничто не может ему понравиться.

Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид хвалил в нем все красоты.

— Я не знаю ничего более безвкусного, — сказал хозяин, — здесь только безделки. Но я хочу с завтрашнего дня разбить его по рисунку более благородному.

Когда оба любопытных простились с вельможею, Кандид сказал Мартэну:

— Согласитесь, что это счастливейший из людей. Он выше всего того, чем владеет.

— Вы разве не видите, — сказал Мартэн, — что у него нет вкуса ко всему, что у него есть? Платон давно сказал, что лучший желудок не тот, который отказывается от всякой пищи.

— Но разве не доставляет удовольствия, — сказал Кандид, — все критиковать, чувствовать недостатки там, где другие видят только красоту?

— Иначе сказать, — возразил Мартэн, — есть удовольствие в том, чтобы не иметь удовольствия?

— Ну, хорошо, — сказал Кандид, — я все-таки буду воистину счастлив, когда увижу опять Кунигунду.

— Всегда хорошо надеяться, — сказал Мартэн.

Между тем дни, недели бежали; Какамбо не появлялся; и Кандид был так поглощен своею скорбью, что даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не пришли поблагодарить его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

О том, как ужинали Кандид и Мартэн с шестью иностранцами, и кто они были

Однажды вечером, когда Кандид и Мартэн сели за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же самой гостинице, человек, с лицом темным, как сажа, подошел к нему сзади и, взявши его за руку, сказал ему:

— Будьте готовы отправиться с нами, не медлите.

Он оборачивается и видит Какамбо. Только вид Кунигунды мог бы удивить и обрадовать его более. От радости он чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга.

— Кунигунда здесь, без сомнения? Где она? Веди меня к ней, чтоб я умер от радости возле нее.

— Кунигунды здесь нет, — сказал Какамбо, — она в Константинополе.

— О небо! В Константинополе! Но будь она в Китае, я лечу туда. Едем.

— Мы поедем после ужина, — возразил Какамбо. — Я не могу сказать вам ничего больше; я невольник, мой хозяин меня ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы.

Кандид, колеблясь между радостью и скорбью, восхищенный тем, что снова увидел своего верного слугу, удивленный тем, что видит его невольником, полный мечтою найти снова свою любовницу, с трепетным сердцем, с потрясенным умом, сел за стол с Мартэном, который смотрел на все хладнокровно, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.

Какамбо, который наливал вино одному из этих иностранцев, наклонился к уху своего хозяина в конце обеда и сказал ему:

— Ваше величество можете отправиться, когда вы соблаговолите, — корабль готов.

Сказавши эти слова, он вышел. Удивленные гости смотрели, не говоря ни слова; в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:

— Государь, карета вашего величества в Падуе, а лодка готова.

Господин сделал знак, и слуга вышел. Все гости переглянулись опять, и всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:

— Государь, поверьте мне, вашему величеству не надо будет оставаться здесь долго, я все приготовлю.

И тотчас же он исчез.

Кандид и Мартэн уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:

— Ваше величество, если угодно, вы можете ехать. И вышел, как другие.

Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но шестой слуга иное сказал шестому господину, который сидел подле Кандида. Он сказал ему:

— Ей-богу, государь, не хотят более оказывать кредита ни вашему величеству, ни мне. Нас могут посадить в тюрьму в эту же ночь, и вас и меня, я пойду постараюсь что-нибудь сделать. Прощайте.

Когда слуги исчезли, шесть иностранцев, Кандид и Мартэн сидели в глубоком молчании, которое было, наконец, прервано Кандидом.

— Господа, — сказал он, — вот странная шутка! Почему вы все короли? Что касается меня, признаюсь вам, что ни я, ни Мартэн, мы не короли.

Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски:

— Я вовсе не шучу. Меня зовут Ахмет III*. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник свергнул меня; моих визирей всех зарезали; я кончаю свой век в старом серале; мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправления здоровья, и я приехал провести карнавал в Венеции.

Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:

— Меня зовут Иван*, я был императором в России; еще в колыбели я был лишен престола; моего отца и мою мать заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром оберегающих меня, и я приехал провести карнавал в Венеции.

Третий сказал:

Я — Карл Эдуард*, король Англии; мой отец уступил мне права на престол; я сражался, чтоб защитить их; восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и ими били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь я еду в Рим, чтобы посетить короля моего отца, лишённого престола, как я и мой дед, и я приехал провести карнавал в Венеции.

Четвертый сказал:

— Я король польский*; исход войны лишил меня наследственных владений; мой отец испытал те же превратности; я бесповоротно покоряюсь провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым Бог даст долгую жизнь; и я приехал провести карнавал в Венеции.

Пятый сказал:

— Я также польский король*; я терял мое королевство два раза; но провидение дало мне иное государство*, где я творю более добра, чем все короли сарматов вместе могут сделать на берегах Вислы; я также покоряюсь воле провидения и приехал провести карнавал в Венеции.

Осталось говорить шестому монарху.

— Господа,— сказал он,— я не столь знатен, как вы; но я был королем совершенно так же, как и другие. Я Теодор*; меня избрали королем Корсики; называли меня ваше величество, а теперь едва называют милостивым государем. Я чеканил монету, а теперь у меня нет ни одного денье; у меня было два статс-секретаря, и остался лишь один лакей. Я сидел на троне, а в Лондоне долго пробыл в тюрьме, на соломе. Я очень боюсь, что то же самое случится и здесь, хотя я приехал, как ваши величества, провести карнавал в Венеции.

Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид предложил ему алмаз в две тысячи цехинов.

— Кто же это? — спросили пять королей. — Этот человек в состоянии дать в сто раз больше, чем каждый из нас!

Когда встали из-за стола, прибыли в ту же гостиницу четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства по случаю войны и которые приехали провести конец карнавала в Венеции. Но Кандид уже не обращал внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как найти свою дорожную Кунигунду в Константинополе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Путешествие Кандида в Константинополь

Верный Какамбо уже выпросил у турка-судохозяина, который взялся отвезти султана Ахмета в Константинополь, чтоб он взял на борт Кандида и Мартэна. За это тот и другой низко поклонились его злосчастному величеству. Кандид по дороге на корабль говорил Мартэну:

— Вот с шестью свергнутыми с престола королями мы ужинали, и еще одному из шести королей я подал милостыню. Много ли найдется на свете властителей более несчастных? Что касается меня, я потерял только сто баранов, и я лечу в объятия Кунигунды. Мой дорогой Мартэн, я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все хорошо.

— Желаю, чтобы так было, — сказал Мартэн.

— Но, — сказал Кандид, — очень мало правдоподобно то, что случилось с нами в Венеции. Не видано и не слыхано, чтобы шесть королей, свергнутых с престола, ужинали вместе в кабачке.

— Это не более странно, — сказал Мартэн, — чем большая часть того, что с нами случалось. Что короли лишаются престола — это вещь обычная, а что касается чести ужинать с ними, — это мелочь, которая не заслуживает нашего внимания.

Едва Кандид вошел на корабль, как бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо.

— Ну, что же, — спросил он его, — что делает Кунигунда, все ли еще она чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, без сомнения, купил ей дворец в Константинополе?

— Мой дорогой господин, — сказал Какамбо, — Кунигунда моет чашки на берегу Пропонтиды* у властителя, у которого очень мало посуды. Она невольница в доме одного бывшего правителя, по имени Рагоцци, которому султан дает по три экю в день пенсии. Очень печально то, что Кунигунда утратила свою красоту и подурнела.

— Ах, хороша она или дурна, — сказал Кандид, — я честный человек, и моя обязанность любить ее попрежнему. Но как могла она дойти до такого низкого положения с пятью или шестью миллионами, которые ты вез?

— Ладно, — сказал Какамбо, — разве мне не пришлось дать два миллиона сенатору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суза, губернатору Буэнос-Айреса, чтоб получить разрешение взять Кунигунду? А пират разве не отнял у нас очень отважно все, что осталось? Этот пират провез нас через мыс Матапан, Милос, Никарию, Самос, Петру, Дарданеллы, Мраморное море в Скутари. Кунигунда и старуха служат у властителя, о котором я вам говорил, а я невольник султана, лишенного престола.

— Что за сцеление ужасных несчастий! — сказал Кандид. — Но все-таки у меня еще осталось несколько бриллиантов. Я легко освобожу Кунигунду. Очень жаль, что она подурнела.

Потом, обратясь к Мартэну, он сказал:

— Как, по вашему мнению, кого более следует

жалеть, императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?

— Не знаю, — сказал Мартэн, — надо быть в вашем сердце, чтобы узнать это.

— Ах, — сказал Кандид, — если б Панглос был здесь, он знал бы и разъяснил бы нам.

— Я не знаю, — сказал Мартэн, — на каких весах ваш Панглос мог бы взвешивать несчастья людей и оценивать их страдания. Но в чем я уверен, так это в том, что миллионы людей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.

— Это очень может быть, — сказал Кандид.

Через несколько дней достигли они пролива в Черное море. Кандид начал с того, что выкупил Какамбо за очень дорогую цену; затем, не теряя времени, он сел в галеру со своими товарищами, чтобы ехать к берегам Пропонтиды, искать Кунигунду, как бы она ни была дурна.

Среди гребцов галеры было два каторжника, которые гребли очень дурно; левантинец, шкипер, время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, по вполне естественному побуждению, смотрел на них внимательнее, чем на других каторжников, и с состраданием подошел к ним. Черты их искаженных лиц показались ему немного схожими с чертами Панглоса и несчастного иезуита барона, брата Кунигунды. Эта мысль его тронула и опечалила. Он посмотрел на них еще внимательнее.

— А правда, — сказал он Какамбо, — если б я не видел повешенным учителя Панглоса и если б я не имел несчастья убить барона, я подумал бы, что это они гребут на галере.

При имени барона и Панглоса оба каторжника испустили громкий крик, замерли на своих скамьях и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и еще сильнее принялся стегать их.

— Остановитесь, остановитесь! — воскликнул Кандид. — Я дам вам столько денег, сколько вы захотите.

— Как? Это Кандид? — говорил один из каторжников.

— Как? Это Кандид? — говорил другой.

— Не сон ли это, — говорил Кандид, — или я наяву на этой галере? Неужели это барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого я видел повешенным?

— Это мы, это мы, — отвечали они.

— Так вот это-то и есть тот великий философ? — спросил Мартэн.

— Ну, господин шкипер, — сказал Кандид, — сколько хотите вы получить за выкуп господина Тундер-тен-тронка, одного из первых баронов империи, и господина Панглоса, глубочайшего метафизика Германии?

— Собака христианин, — отвечал левантинец, — так как эти две собаки — христианские каторжники, барон и метафизик, и, значит, большие люди в своей стране, то ты дашь мне за них пятьдесят тысяч цехинов.

— Вы их получите, господин шкипер; везите меня с быстротою молнии в Константинополь, и вам будет сейчас же уплачено. Но, нет, везите меня к Кунигунде.

Левантинец уже по первому приказанию Кандида взял направление к городу и велел грести скорее, чем птица рассекает воздух.

Кандид сто раз обнимал барона и Панглоса.

— Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались в живых, после того как вас повесили? И почему вы оба на галерах в Турции?

— Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? — спросил барон.

— Да, — отвечал Какамбо.

— Вот я снова вижу моего дорогого Кандида! — воскликнул Панглос.

Кандид представил им Мартэна и Какамбо. Они обнимались и говорили все зараз. Галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, которому Кандид продал за пятьдесят тысяч цехинов бриллиант стоимостью в сто тысяч; еврей поклялся Авраамом, что не может дать больше. Кандид немедленно выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возратить эти деньги при первом случае.

— Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? — спросил он.

— Ничего не может быть более возможного, — возразил Какамбо, — потому что она перетирает посуду у трансильванского принца.

Тотчас позвали двух евреев; Кандид продал еще бриллиантов; и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

*Что случилось с Кандидом, Кунигундою,
Панглосом, Мартэном и другими*

— Еще раз прошу прощения, — говорил Кандид барону, — простите, преподобный отец, что я нанес вам удар шпагой.

— Не будем об этом говорить, — сказал барон, — я немного погорячился, признаюсь; но если вы желаете знать, по какой случайности вы меня видите на галерах, я вам скажу, что после того, как мою рану вылечил брат аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанской шайкой. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе, в то время как моя сестра уехала оттуда. Я потребовал, чтобы меня отпустили в Рим к отцу генералу. Я был назначен милостынераздавателем в Константинополе при французском посланнике. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как я встретил однажды вечером очень стройного ичоглана¹. Было очень жарко. Молодой человек хотел купаться, я воспользовался случаем также выкупаться. Я не знал, что это составляет тяжкое преступление для христианина, если его найдут нагим с молодым мусульманином. Кади приказал дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Не думаю, чтобы можно было поступить более несправедливо. Но я хотел бы знать, почему моя сестра на кухне у трансильванского вельможи, укрывшегося у турок?

— А вы, мой дорогой Панглос, — сказал Кандид, — как это может быть, что я вас опять вижу?

— Верно, — сказал Панглос, — что вы меня видели повешенным. Я должен был просто быть сожженным, но

¹ Ичоглан — турецкий паж.

вы вспоминаете, что дождь лил ливнем, когда настало время жечь меня. Ливень был так силен, что потеряли надежду разжечь огонь. Я был повешен, потому что не могли сделать лучше; хирург купил мое тело, принес к себе и стал меня резать. Он сделал мне сначала крестообразный разрез от пупка до ключицы. Нельзя было повесить хуже, чем это сделали со мной. Исполнители высоких приговоров святой инквизиции, архидиакон, правда, сжигал людей чудесно, но у него не было привычки вешать. Веревка была мокрая, плохо скользила, была связана узлами, и потому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня испустить такой громкий крик, что мой хирург упал навзничь, думая, что он разрезал дьявола. Он убежал, умирая от страха, и упал на лестнице. Его жена прибежала на шум из соседней комнаты. Она увидела меня растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще более, чем ее муж, убежала и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как жена хирурга говорила ему:

— Дорогой мой, как это вы решились резать еретика! Разве вы не знаете, что в теле этих людей сидит всегда дьявол? Я пойду скорее за священником, чтоб он изгнал беса.

Я задрожал от этих слов, собрал остаток сил и закричал:

— Сжальтесь надо мною!

Наконец португальский цирюльник успокоился! Он зашил мою рану, его жена сама заботилась обо мне; через две недели я встал на ноги. Цирюльник нашел мне место, и я сделался лакеем у мальтийского рыцаря, который уехал в Венецию; но мой господин не мог платить мне, я поступил слугою к венецианскому купцу и поехал с ним в Константинополь. Однажды мне пришла фантазия войти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы; ее шея была совершенно открыта; на ее обнаженной груди был прекрасный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков и гиацинтов; она уронила свой букет; я его поднял и положил на то же место с усердием очень почтительным. Но это занятие взяло у меня так много времени, что имам разгневался, и, видя, что я христианин, он позвал стражу. Меня повели к кади,

который приказал дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я был посажен на ту же самую галеру и на ту же скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых людей из Марселя, пять неаполитанских священников, два монаха с Корфу, которые говорили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что он претерпел бóльшую несправедливость, чем я. Я утверждал, что гораздо приятнее положить букет на женскую грудь, чем быть совершенно нагим вместе с ичогланом. Мы спорили непрерывно и получали по двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело нас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.

— Ну хорошо, мой дорогой Панглос, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?

— Я всегда оставался при моем прежнем убеждении, — отвечал Панглос, — потому что я философ. Мне непристойно отречься от своих мнений: Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония есть самое прекрасное в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Как Кандид нашел Кунигунду и старуху

Пока Кандид, барон, Панглос, Мартэн и Какамбо рассказывали свои приключения, обсуждали происшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешениях, которые можно получать и на турецких галерах, — они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского принца. Первое, что они увидели, были Кунигунда и старуха, которые развешивали белье на веревках, чтобы высушить его.

Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидя прекрасную Кунигунду загорелую, с воспаленными глазами, иссохшею шею, морщинистыми щеками, с красными, потрескавшимися руками, отступил на три шага, охваченный ужасом, но потом бро-

сился к ней с нежными приветствиями. Она обняла Кандида и своего брата; обняли старуху; Кандид выкупил обеих.

По соседству была маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поместиться в ней, пока все они не найдут лучшего. Кунигунда не знала, что она подурнела, — никто ей об этом не говорил; она напомнила Кандиду его обещания таким решительным тоном, что добрый Кандид не осмелился ей противиться. Он сообщил барону, что сочетается браком с его сестрою.

— Я никогда не потерплю, — сказал барон, — такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Мне никогда не простили бы такого позора, — ведь дети моей сестры не могли бы войти в родословные книги Германии. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж иначе, как только за императорского барона.

Кунигунда бросилась к его ногам и омыла их слезами; он был неумолим.

— Сумасшедший барон, — сказал ему Кандид, — я избавил тебя от галер, я заплатил за тебя выкуп, я выкупил твою сестру. Она мыла здесь посуду, она безобразна, —я, по своей доброте, готов сделать ее своею женою, а ты еще хочешь противиться. Я опять убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.

— Ты можешь опять убить меня, — сказал барон, — но ты не женишься на моей сестре, пока я жив.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Заключение

Кандид в глубине своего сердца не имел никакого желания жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона побудила его заключить брак, а Кунигунда торопила его так усердно, что он не мог отказаться. Он советовался с Панглосом, Мартэном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором он доказывал, что барон не имел никаких прав на свою сестру и что она могла, согласно всем законам империи, вступить в морганатический брак с Кандидом. Мартэн предложил бросить барона в море; Какамбо решил, что нужно возвратить его левантскому шкиперу и отправить на галеры, а

потом отослать его в Рим к отцу генералу с первым же кораблем. Совет признали очень хорошим; старуха его одобрила; его сестре ничего не сказали; за деньги все было исполнено. Было принято провести иезуита и наказать спесь немецкого барона.

Вполне естественно было ожидать, что после стольких несчастий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартэном, с благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много бриллиантов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести жизнь самую приятную в мире. Но он был столько раз обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более безобразною, стала сварливой и несносною; старуха была немощна и имела еще более скверный характер, чем Кунигунда. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, был выведен из терпения работою и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь университете Германии. Что касается Мартэна, то он был твердо убежден, что зло везде одинаково: он с терпением переносил все. Кандид, Мартэн и Панглос спорили иногда о метафизике и морали. Часто видны были им проходящие перед окнами корабли, наполненные эффенди, пашами, кадиями, которых отправляли в ссылку на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум; видно было, как приходят другие кади, другие паши, другие эффенди, которые занимали место изгнанных и были изгоняемы в свою очередь; видели иногда свеженькие головы, только что насаженные на пику, — их везли показать султану. Эти зрелища разжигали новые споры; а когда не спорили, царила такая невыносимая скука, что старуха осмелилась однажды сказать:

— Я хотела бы знать, что хуже: быть ли похищенной сто раз пиратами-неграми, иметь вырезанный зад, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным при аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах — словом, испытать те несчастия, через которые все мы прошли, или оставаться здесь, ничего не делая.

— Это большой вопрос, — сказал Кандид.

Эта речь породила новые рассуждения. Мартэн доказывал, что человек рождается, чтобы жить в судорогах

беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался и ничего не утверждал. Панглос признался, что он всегда страшно страдал; но, раз принявши мнение, что все идет на-диво хорошо, он придерживался этого во что бы то ни стало и ничему иному не верит.

Новые события окончательно утвердили Мартэна в его постоянных принципах, поколебали Кандида и смутили Панглоса. Однажды явились на их ферму Пакета и брат Жирофле в крайне бедственном состоянии. Они очень скоро проели свои три тысячи пиастров, покидали друг друга, мирились, ссорились, сидели в тюрьме, убежали, и, наконец, брат Жирофле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже потеряла заработок.

— Я ведь предвидел, — сказал Мартэн Кандиду, — что ваши подарки будут скоро прожиты ими, и они станут еще несчастнее. Вы промотали миллионы пиастров, вы и Какамбо, и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.

— Само небо, — сказал Панглос Пакете, — привело вас сюда к нам, мое бедное дитя! Знаете ли вы, что вы мне стоили кончика носа, глаза и уха? И что же с нами делается! И что такое мир!

Это новое приключение дало более пищи для философствования, чем какие бы то ни было прежние.

По соседству жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Пошли советоваться с ним; Панглос сказал ему:

— Учитель, мы пришли спросить вас, для чего создано такое странное животное, как человек?

— Во что ты вмешиваешься? — сказал дервиш. — Твое ли это дело?

— Но, преподобный отец, — сказал Кандид, — ужасно много зла на земле.

— Так что же? — сказал дервиш. — Кому до этого какое дело? Когда Султан посылает корабль в Египет, заботится ли он о том, хорошо или худо корабельным крысам?

— Что же делать? — спросил Панглос.

— Молчать, — сказал дервиш.

— Я льстил себя надеждою, — сказал Панглос, — побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем

из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.

В ответ на эти слова дервиш захлопнул у них перед носом дверь.

Во время этого разговора распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало шуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартэн, возвращаясь на маленькую ферму, увидели доброго старика, который наслаждался прохладою у своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только резонер, но и любопытный, спросил у него, как звали муфтия, которого удавили.

— Не знаю, — отвечал добрый человек, — я никогда не знал имени никакого муфтия, никакого визиря. Я совершенно ничего не знаю о происшествии, о котором вы мне говорите. Я думаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, иногда погибают насильственной смертью и что они это заслужили; но я никогда не справляюсь о том, что делается в Константинополе; довольно с меня и того, что я посылаю туда на продажу фрукты из сада, который я возделываю.

Сказав это, он предложил иностранцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный цедровою коркою, вареною в сахаре, апельсины, цитроны, лимоны, ананасы, фисташки, моккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили бороды Кандида, Панглоса и Мартэна.

— Должно быть, у вас, — сказал Кандид турку, — обширные и великолепные земли?

— У меня только двадцать арпанов, — отвечал турок, — я их возделываю сам с моими детьми; работа гонит от нас три большие зла: скуку, порок и нужду.

Кандид, возвращаясь на свою ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартэну:

— Судьба доброго старика показалась мне лучше судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.

— Величие, — сказал Панглос, — слишком опасно; об этом свидетельствуют все философы. Эглон, царь

моавитский*, был убит Аодом; Авессалом был повешен на своих волосах и пронзен тремя дротиками; царь Надав, сын Иеровоама, был убит Воозом; царь Эла — Замврием; Охония — Иеем; Гофолия — Иоасом; цари Иохим, Иехония и Седекия попали в рабство. Вы знаете, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителий, Доминиан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих IV, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих IV? Вы знаете...

— Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать свой сад.

— Вы правы, — сказал Панглос, — когда человек был помещен в сад Эдем, то это было *us operator eipe*, — чтобы и он работал; это доказывает, что человек родился не для покоя.

— Будем работать без рассуждений, — сказал Мартэн, — это единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим добрым намерением; каждый начал изоощрять свои способности. Маленький участок земли приносил много. Кунигунда, правда, была очень некрасива; но она превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он сделался очень хорошим столяром и даже честным человеком; и Панглос говорил иногда Кандиду:

— Все события связаны неразрывно в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком ноги в зад за любовь к Кунигунде, если бы вы не были взяты инквизициею, если бы вы не обошли пешком всю Америку, если бы вы не дали хорошего удара шпагой барону, если бы вы не потеряли всех ваших баранов из доброй страны Эльдо-радо, вы не ели бы здесь ни cedры в сахаре, ни фисташек.

— Это хорошо сказано, — отвечал Кандид, — но надо все-таки возделывать свой сад.





ПРОСТОДУШНЫЙ

(L' Ingénu)

*Достоверная повесть, извлеченная
из рукописей отца Кенеля **

(1767)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*О том, как приор храма Богородицы Горной
и его сестра повстречали гурона*

Однажды святой Дунстан *, ирландец по происхождению, а по роду занятий — святой, отбыл из Ирландии на небольшом пригорке, поплывшем к французским берегам, и добрался таким способом в бухту Сен-Мало. Сойдя на берег, он благословил пригорок, который отвесил ему несколько глубоких поклонов, и воротился в Ирландию тою же дорогою, какую прибыл.

Дунстан основал в этих местах небольшой приорат и наименовал его Горным приоратом, каковое наименование носит он и поныне, что известно всякому.

В 1689 году июля 15-го под вечер аббат де Керкабон, приор храма Богородицы Горной, прогуливался с сестрою своею м-ль де Керкабон по берегу моря, желая подышать свежим воздухом. Приор, уже довольно пожилой, был очень хороший священник, любимый соседями, а в былые времена также и соседками. Особенное уважение снискал он тем, что из всех окрестных настоятелей был единственным, кого не приходилось переносить в кровать на руках, после того как он поужинает со своими собратями. Он довольно порядочно знал богословие; а когда уставал от чтения блаженного

Августина, то тешил себя книгою Раблэ: зато и отзывались о нем все с похвалою.

М-ль де Керкабон, которая никогда не состояла в замужестве, хоть и имела к тому великую охоту, сохранила до сорокапятилетнего возраста некоторую свежесть; нрав у нее был добрый и чувствительный; она была сластолюбива и набожна.

Приор говорил сестре, глядя на море:

— Увы! отсюда на фрегате «Ласточка» отплыл наш бедный брат с дорогою нашей невесткою мадам де Керкабон, его супругою, когда в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году отправлялся служить в Канаду. Не будь он убит, у нас была бы надежда свидеться с ним.

— Полагаете ли вы, — сказала м-ль де Керкабон, — что наша невестка и впрямь была съедена ирокезами, как нам о том сообщили? Ведь не будь она съедена, она, разумеется, вернулась бы на родину. Я буду оплакивать ее всю жизнь; это была очаровательная женщина; а наш брат, при его уме, добился бы больших житейских успехов.

Оба умилились при этом воспоминании, а тем временем в устье Ранса вошло на волнах прилива маленькое суденышко: это англичане привезли на продажу кое-какие отечественные свои товары. Они соскочили на берег, не поглядев ни на господина приора, ни на его сестру, которую весьма обидело подобное невнимание к ее особе.

Иначе поступил некий очень статный молодой человек, который одним прыжком перемахнул через головы товарищей и очутился перед м-ль Керкабон. Не усвоив еще обычая раскланиваться, он кивнул ей головой. Его лицо и его наряд привлекли к себе взоры брата и сестры. Голова его была непокрыта, ноги обнажены, он был обут в легкие сандалии; маковку украшали длинные кудри, заплетенные в косы; тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом; выражение лица воинственное и кроткое. В одной руке он держал бутылку с барбадосской водкой, а в другой — нечто вроде кошелька, в котором был стаканчик и отличные морские сухари. Он очень внятно говорил по-французски. Он потчевал м-ль де Керкабон и ее брата барбадосской водкой, отведал ее и сам, потом угостил их ею же еще раз, — и все это с такою простотою и естественностью, что очаро-

вал и брата и сестру. Они предложили ему свои услуги, осведомившись, кто он и куда держит путь. Молодой человек ответил, что этого он не знает, что он любопытен, что ему захотелось посмотреть, каковы французские берега, что он прибыл сюда, а затем вернется во свояси.

Господин приор, решив, что, судя по произношению, это не англичанин, позволил себе спросить, из каких он стран.

— Я гурон, — ответил молодой человек.

М-ль де Керкабон, удивленная и восхищенная встречей с гуроном, который притом обошелся с нею учтиво, пригласила молодого человека к ужину; он не заставил себя упрашивать, и они отправились втроем в приорат Богоматери Горной.

Коротенькая и кругленькая барышня глядела на него во все глазенки и время от времени говорила приору:

— У этого рослого парня цвет лица и лилейный и розовый! До чего нежна у него кожа, хоть он и гурон!

— Вы правы, сестрица, — говорил приор.

Она задавала сотни вопросов, один за другим, а путешественник отвечал на все весьма толково.

Слух о том, что в приорате находится гурон, распространился скоро. Высшее общество кантона поспешило туда к ужину. Аббат де Сент-Ив явился с сестрой, молодой нижнебретонкой, весьма красивой и благовоспитанной. Уездный судья, сборщик податей и их жены также ужинали там. Иноземца усадили между м-ль де Керкабон и м-ль де Сент-Ив. Все глядели на него с изумлением; все говорили ему что-то и в то же время спрашивали его; гурона это не смущало ничуть. Казалось, он руководился правилом милорда Болингброка*: «Nihil admirari»¹. Но напоследок, выведенный из терпения подобным шумом, он сказал довольно кротко, однако с некоторою твердостью:

— Господа, у нас на родине принято говорить по очереди; как же мне отвечать вам, когда вы не даете мне возможности услышать ваши слова?

Вразумляющее слово всегда заставляет людей углубиться на несколько мгновений в самих себя: воца-

¹ «Nihil admirari» — «Ничему не удивляться», — выражение Горация («Послания», I, 6, 1) (лат.).

рилось полное молчание. Господин судья, который всегда, в чьем бы доме ни находился, прибирал к рукам иноземцев и который слыл первым на всю округу мастером по части расспросов, проговорил, широко разевая рот:

— Как вас зовут, сударь?

— Меня звали всегда Простодушным, — ответил гурун, — это имя утвердилось за мной и в Англии, потому что я всегда чистосердечно говорю то, что думаю, подобно тому как и делаю я все, что хочу.

— Каким же образом, сударь, родившись гуруном, попали вы в Англию?

— Меня привезли туда; я был взят в плен англичанами в бою, хоть оборонялся довольно исправно; а так как англичане, которым по душе храбрость, потому что они храбры и сами и потому что они так же честны, как и мы, предложили мне либо вернуть меня родителям, либо отправить в Англию, то я принял это последнее предложение, ибо по природе своей до страсти люблю путешествовать.

— Однако же, сударь, — промолвил судья со свойственной ему внушительностью, — как могли вы покинуть отца и мать?

— Дело в том, что я не помню ни отца, ни матери, — ответил иноземец.

Все общество умилилось, и все повторили:

— Ни отца, ни матери!

— Мы заменим их, — сказала хозяйка дома своему брату, приору. — До чего привлекателен этот гурун!

Простодушный поблагодарил ее с благородной и горделивой сердечностью и дал понять, что не нуждается ни в чем.

— Я замечаю, господин Простодушный, — сказал важный судья, — что по-французски вы говорите лучше, чем подобало бы это гуруну.

— Один француз, — ответил тот, — которого в годы ранней моей юности мы захватили в Гуронии и к которому я проникся большою приязнью, обучил меня своему языку; я усваиваю очень быстро то, что хочу усвоить. По прибытии в Плимут я встретил там одного из ваших французских изгнанников, которых вы, не знаю почему, называете «гугенотами»; он несколько усовершенствовал мое знакомство с вашим языком; и

как только я научился объясняться вразумительно, я направился в вашу страну, потому что французы больше нравятся мне, когда они задают не слишком много вопросов.

Аббат де Сент-Ив, невзирая на это тонкое предостережение, спросил его, какой из трех языков он предпочитает: гуронский, английский или французский.

— Без сомнения, гуронский, — ответил Простодушный.

— Возможно ли! — воскликнула м-ль де Керкабон. — А мне всегда казалось, что французский язык — прекраснейший из всех, если не считать нижебретонского.

Тут все наперебой стали спрашивать Простодушного, как сказать по-гуронски «табак», и он ответил: «тайя», как сказать «есть», и он ответил: «эссентен». М-ль де Керкабон захотела во что бы то ни стало узнать, как сказать «волочиться за женщинами». Он ответил: «травандер»¹ и добавил, повидимому, не без основания, что эти слова вполне равноценны соответствующим французским и английским словам. Все гости нашли, что «травандер» — это очень мило.

Господин приор, в библиотеке которого имелась гуронская грамматика, подаренная ему преподобным отцом Сагаром Теода *, францисканцем и славным миссионером, встал из-за стола, чтобы навести по ней справку. Он вернулся, задыхаясь от нежности и радости; он убедился, что Простодушный воистину гурон. Поспорили чуть-чуть о множественности наречий и пришли к заключению, что, если бы не происшествие с Вавилонской башней, вся земля говорила бы по-французски.

Неистошимый по части вопросов судья, который до тех пор относился к новому лицу с недоверием, проникся к нему теперь глубоким почтением; он беседовал с ним гораздо вежливее, чем прежде, чего Простодушный и не приметил.

М-ль де Сент-Ив полюбопытствовала насчет того, как ухаживают кавалеры в стране гуронов.

— Совершая подвиги, — ответил он, — чтобы понравиться особам, похожим на вас.

Все гости зарукоплескали, дивясь его словам. М-ль де Сент-Ив покраснела и весьма обрадовалась.

¹ Все эти слова в самом деле гуронские. (Прим. Вольтера.)

М-ль де Керкабон покраснела тоже, но обрадовалась не так; ее задело за живое, что любезные слова были обращены не к ней; но она была столь благодущна, что расположение ее к гуруну ничуть от этого не пострадало. Она чрезвычайно приветливо спросила его, сколько возлюбленных было у него в Гуронии.

— Одна единственная, — ответил Простодушный, — то была м-ль Абакаба, подруга дорогой моей кормилицы. Тростник не превосходил Абакабу стройностью, горностаи не превосходил ее белизной, овцы — кротостью, орлы — гордостью и олени — легкостью. Однажды она гналась за зайцем по соседству с нами, примерно в пятидесяти лье от нашего жилья. Некий неблаговоспитанный алгонкинец, живший в ста лье оттуда, перехватил у нее зайца; я узнал об этом, помчался туда, свалил алгонкинца ударом палицы и, связав по рукам и по ногам, поверг его к стопам моей возлюбленной. Родители Абакабы изъявили желание съесть его, но я никогда не питал склонности к подобным пиршествам; я вернул ему свободу, я подружился с ним. Абакаба была так тронута моим поступком, что предпочла меня всем прочим своим любовникам. Она любила бы меня и доселе, если бы ее не съел медведь; я наказал медведя; я долгое время одевался в его шкуру, но это меня не утешило.

М-ль де Сент-Ив почувствовала тайную радость, узнав из этого рассказа, что у Простодушного была всего одна возлюбленная и что Абакабы нет более на свете; но она не разобралась в причинах своей радости. Все пристально глядели на Простодушного; очень хвалили его за то, что он не дал товарищам съесть алгонкинца.

Безжалостный судья, будучи не в силах подавить неистовую страсть к расспросам, довел свое любопытство до того, что осведомился, какую веру исповедует г-н гурун, — избрал ли он англиканскую, галликанскую или гугенотскую веру?

— У меня своя вера, — ответил тот, — как и у вас своя.

— Увы! — воскликнула Керкабонша. — Я вижу, что этим злополучным англичанам даже в голову не пришло окрестить его.

— Ах, боже мой! — проговорила м-ль де Сент-Ив. — Как же это возможно, что гуруны — не католики? Не-

ужели преподобные отцы иезуиты не обратили вас в христианство?

Простодушный уверил ее, что у него на родине никого не обращают в христианство, что настоящий гурон ни за что не изменит убеждений, и что на их наречии нет даже выражения, означающего «непостоянство».

Эти последние слова чрезвычайно понравились м-ль де Сент-Ив.

— Мы его окрестим, мы его окрестим, — говорила Керкабонша г-ну приору. — Эта честь выпадет на вашу долю, дорогой братец; мне непременно хочется стать его крестною матерью: господин аббат де Сент-Ив воспримет его от купели. Получится блистательная церемония; толки о ней пойдут по всей Нижней Бретани, и нас это прославит безмерно.

Все общество вторило хозяйке дома; все гости кричали:

— Мы его окрестим!

Простодушный ответил, что в Англии каждому предоставляется жить так, как ему заблагорассудится. Он заявил, что это предложение вовсе ему не по душе и что гуронский закон по меньшей мере равноценен нижнебретонскому закону; в заключение он сказал, что завтра уезжает. Допив его бутылку барбадосской водки, все разошлись спать.

Когда Простодушного проводили в приготовленную для него комнату, м-ль де Керкабон и ее приятельница м-ль де Сент-Ив не могли удержаться от того, чтобы не подглядеть в широкую замочную скважину, как поживает гурон. Им видно было, что он постелил одеяло на полу и расположился на покой живописнейшим образом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

*Гурон, прозванный Простодушным,
признан своей родней*

Простодушный проснулся, по своему обыкновению, на восходе солнца, под пение петуха, которого в Англии и в Гуронии именуют «трубой рассвета». Он не уподоблялся праздным вельможам, которые томятся в постели, пока солнце не пройдет половины своего круга, которые

не могут ни спать, ни встать, которые теряют столько драгоценных часов в этом промежуточном состоянии между жизнью и смертью да еще жалуются, что жизнь слишком коротка.

Он отшагал уже два-три лье, он уложил меткой пулей штук тридцать всякой дичи, когда, вернувшись домой, застал г-на приора храма Богоматери Горной и благоразумную его сестру гуляющими в ночных колпаках по палисаднику. Он преподнес им всю свою добычу и, вытащив из-за пазухи нечто вроде маленького талисмана, который обычно носил на шее, просил принять его в дар в знак благодарности за их гостеприимство.

— Это величайшая моя драгоценность, — сказал он им. — Меня уверяли, что я буду неизменно счастлив, пока ношу эту безделушку, и я дарю ее вам, чтобы вы были неизменно счастливы.

Чистосердечие Простодушного вызвало у приора и у мадемуазель улыбку умиления. Подарок состоял из двух портретиков довольно скверной работы, связанных очень грубым ремнем.

М-ль де Керкабон спросила, есть ли художники в Гуронии.

— Нет, — ответил Простодушный, — эту редкую вещицу я получил от кормилицы; ее муж добыл в бою, обобрав несколько канадских французов, которые с нами воевали. Вот и все, что я знаю о ней.

Приор внимательно разглядывал портреты; он изменился в лице, разволновался, руки у него затряслись.

— Клянусь Богоматерью Горной! — воскликнул он. — Мне сдается, что это лица моего брата-капитана и его жены!

Мадемуазель, рассмотрев портреты с подобным же волнением, пришла к тому же заключению. Оба были охвачены удивлением и радостью, смешанной с горем; оба умилялись; оба плакали; сердца их трепетали; они вскрикивали; они вырывали друг у друга портреты; раз по двадцать каждый из них хватал их и отдавал; они пожирали глазами и портреты и гурона; они спрашивали его то каждый порознь, то оба зараз, где, когда и как попали эти миниатюры в руки его кормилицы. Они сопоставляли, они высчитывали сроки, истекшие со времени

отъезда капитана; они вспомнили полученное когда-то сообщение о том, что он добрался до страны гуронов, после чего о нем не было больше никаких известий.

Простодушный говорил намеренно, что не помнит ни отца, ни матери. Приор, человек смывленный, заметил, что у Простодушного пробивается борода; а ему было хорошо известно, что гуроны — безбородые.

— У него на подбородке пушок, стало быть, он сын европейца; брат и невестка после предприятия в 1669 году похода на гуронов больше не появлялись; мой племянник был в то время, должно быть, еще грудным ребенком; кормилица-гуронка спасла ему жизнь и заменила мать.

В конце концов, после целой сотни вопросов и целой сотни ответов, приор и его сестра пришли к убеждению, что гурон — собственный их племянник. Они обнимали его, проливая слезы, а Простодушный смеялся, ибо представить себе не мог, как гурон может оказаться племянником нижнебретонского приора.

Все общество спустилось в палисадник; г-н де Сент-Ив, великий физиономист, сличил оба портрета с наружностью Простодушного; он очень ловко подметил, что глаза у него — материнские, лоб и нос, как у покойного г-на капитана де Керкабона, а в щеках сходство и с той и с другим.

М-ль де Сент-Ив, которая никогда не видала ни отца его, ни матери, утверждала, что Простодушный похож на них совершенно. Они дивились провидению и сцеплению событий мира сего. Касательно рождения Простодушного сложилось напоследок такое твердое убеждение, такая уверенность, что он и сам согласился стать племянником г-на приора, сказав, что ему безразлично, приор ли, или кто другой приходится ему дядюшкой.

Пошли в храм Богоматери Горной, чтобы воздать благодарение Богу, в то время как гурон с равнодушным видом развлекался дома питием.

Англичане, которые вчера его доставили и готовились теперь поднять паруса, сказали ему, что пора отправляться в обратный путь.

— Вероятно, — ответил он, — вам не довелось по-встречать тут дядюшек и тетушек; а я останусь здесь;

возвращайтесь в Плимут; дарю вам все свои пожитки; мне больше ровно ничего не нужно, ибо я — племянник приора.

Англичане подняли паруса, весьма мало тревожась о том, есть или нет у Простодушного родня в Нижней Бретани.

После того как дядюшкой, тетушкой и всем обществом отпет был молебен, после того как судья сызнава одолел Простодушного вопросами, после того как исчерпано было все, что может быть сказано под влиянием удивления, радости, нежности, — приор Горного храма и аббат де Сент-Ив порешили окрестить Простодушного как можно скорее. Но взрослый двадцатидвухлетний гурон — это не младенец, которого возрождают к новому бытию без его ведома. Надобно было его просветить, а это представлялось затруднительным, так как аббат де Сент-Ив полагал, что человек, родившийся не во Франции, лишен здравого смысла.

Приор заметил во всеуслышание, что если г-н Простодушный, его племянник, и не имел счастья родиться в Нижней Бретани, то от этого у него не стало меньше ума; что судить о том можно по всем его ответам, и что природа бесспорно наделила его щедрыми дарами как с отцовской, так и с материнской стороны.

Его спросили прежде всего, читал ли он хоть какую-нибудь книгу. Он ответил, что читал Раблэ в английском переводе и кое-какие отрывки из Шекспира, заученные им наизусть; что эти книги он достал у капитана корабля, на котором плыл из Америки в Плимут, и что остался ими весьма доволен. Судья не преминул порасспросить его относительно этих книг.

— Признаюсь вам, — сказал Простодушный, — кое-что я в них, кажется, разгадал, остального же не понял.

Аббат де Сент-Ив, услышав эту речь, подумал, что и сам он обычно читал так же, да и большинство людей читает именно так, а не иначе.

— Библию вы, без сомнения, читали? — спросил он гурона.

— Нет, не читал, господин аббат; у капитана в книгах ее не было; я ничего о ней не слыхал.

— Вот что за народ эти проклятые англичане! — вскричала м-ль де Керкабон. — Пьесы Шекспира, плум-

пудинг и бутылка рома дороже им, чем Пятикнижие Моисеево. Оттого и получилось, что никого они в Америке не обратили в христианство. Они, конечно, прокляты Богом; и мы в недалеком будущем отберем у них Ямайку и Виргинию.

Как бы то ни было, из Сен-Мало пригласили самого искусного портного, чтобы одеть Простодушного с головы до ног. Общество разошлось; судья отправился задавать вопросы в иных местах. М-ль де Сент-Ив, уходя, несколько раз оглянулась на Простодушного; и он проводил ее поклонами, такими глубокими, каких не отвешивал еще никому и никогда в жизни.

Судья, перед тем как откланяться, представил м-ль де Сент-Ив своего сына, рослого балбеса, кончившего училище; но она еле взглянула на него: до того отвлекала ее учтивость гурона.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гурон, прозванный Простодушным, обращен в христианство

Г-н приор, имея в виду свой несколько преклонный уже возраст и то обстоятельство, что Бог послал ему в утешение племянника, твердо решил, что можно будет передать ему приход, если удастся его окрестить и понудить к вступлению в духовное звание.

У Простодушного была превосходная память. Благодаря могучему нижнебретонскому телосложению, которому придал силы еще канадский климат, голова у него стала такая крепкая, что когда по ней ударяли, он этого почти не чувствовал, а когда в нее что-нибудь врезалось, то никогда уж не изглаживалось. Он ничего не забывал. Его понятливость была тем живее и тем отчетливее, что детство его не было обременено в свое время теми пустяками и нелепостями, какими отягчено бывает наше детство, и поэтому все предметы воспринимались его мозгом в неискаженном виде. Приор решил, наконец, засадить его за чтение Нового Завета. Простодушный проглотил его с большим удовольствием; но не зная, в какие времена и в какой стране произошли рассказанные в этой книге события, он ничуть не сомневался в том, что местом действия была Нижняя Бретань, и

покаялся при первой же встрече с Каиафой и Пилатом отрезать нос и уши этим бездельникам.

Дядюшка, очарованный его добрыми намерениями, объяснил, в чем дело; он похвалил его за усердие, но растолковал, что усердие его — тщетное, ибо эти люди умерли примерно тысяча шестьсот девяносто лет тому назад. Вскоре Простодушный выучил почти всю книгу наизусть. Он задавал иной раз трудно разрешимые вопросы, сильно огорчавшие приора. Ему частенько приходилось совещаться с аббатом де Сент-Ив, который, не зная, что отвечать, вызвал некоего нижнебретонского иезуита с тем, чтобы завершить обращение гуруна в истинную веру.

Благодать оказала, наконец, свое действие: Простодушный дал обещание сделаться христианином; он не сомневался в том, что ему придется начать с обряда обрезания.

— Так как, — говорил он, — в этой книге, которую дали мне прочесть, я не нахожу ни одного лица, которое не подверглось бы этому обряду, надо, очевидно, и мне пожертвовать своей крайнею плотью; чем скорее, тем лучше.

Он не раздумывал долго над этим: послал за деревенским хирургом и попросил сделать ему операцию, полагая, что м-ль де Керкабон вместе со всем ее обществом бесконечно обрадуется, когда дело будет сделано. Лекарь, которому никогда еще не доводилось делать подобную операцию, дал знать об этом семейству Простодушного, и там поднялись громкие вопли. Добрая Керкабонша трепетала, как бы племянник, по всем видимостям решительный и проворный, не проделал над собою операции сам и притом весьма неловко, и как бы не произошло от того печальных последствий, которым дамы по доброте душевной уделяют всегда много внимания.

Приор привел мысли гуруна в порядок; он преподавал ему, что обрезание вышло из моды; что крещение и приятнее и спасительнее; что закон благодатный не таков, как закон суровый. Простодушный, у которого было много здравого смысла и прямоты, сперва поспорил, но затем признал свое заблуждение, что в Европе довольно редко случается со спорщиками; в конце концов он сказал, что готов креститься когда угодно.

Наперед нужно было исповедаться, а это было труднее всего. Простодушный всегда носил в кармане книгу, подаренную дядей. В ней не удалось ему найти никаких указаний на то, чтобы хоть кто-нибудь из апостолов исповедывался, и это дало ему повод заупрямиться. Приор заставил его умолкнуть, показав в послании апостола Иакова-младшего слова, столь огорчительные для еретиков: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Гурон примолк и исповедался некоему францисканцу. Кончив исповедь, он вытащил францисканца из будки и, ухватив его могучей рукой, сел на его место, а его поставил перед собой на колени:

— Ну, друг мой, приступим к делу; сказано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Я открыл тебе свои грехи, и ты не выйдешь отсюда, пока не откроешь мне своих.

Говоря так, он упирался широким своим коленом в грудь противника. Францисканец поднимает вой, от которого гудит вся церковь. На шум сбегается народ и видит, что оглашенный тузит монаха во имя апостола Иакова-младшего. Радость по поводу предстоящего крещения гуроно-английского нижнебретонца была столь велика, что на эти странности не обратили внимания. Многие богословы думали даже, что исповедь не нужна, поскольку крещение совмещает в себе все.

День был назначен по соглашению с епископом Малюанским; епископ, будучи, само собою разумеется, польщен приглашением крестить гурона, прибыл в роскошной карете, сопровождаемый своим причтом. М-ль де Сент-Ив, благословляя Бога, нарядилась в самое лучшее свое платье и, чтобы блеснуть на крестинах, выписала из Сен-Мало парикмахершу. Вопрошающий судья привел с собою всю округу. Церковь разукрашена была великолепно; но когда пошли за гуроном, чтобы вести его к купели, его не оказалось.

Дядюшка и тетюшка искали его повсюду. Думали, что он, по обыкновению, отправился на охоту. Все приглашенные на торжество стали рыскать по окрестным лесам и селениям: гурон не подавал о себе вестей.

Начинали опасаться, не уехал ли он назад в Англию. Вспоминали, что он отзывался об этой стране с большой любовью. Г-н приор и его сестра были убеждены, что там никого не крестят, и помышляли с трепетом о гибели,

грозящей душе их племянника. Епископ был смущен и собирался уже возвращаться во-свояси; приор и аббат де Сент-Ив были в отчаянии; судья с обычной важностью опрашивал всех прохожих; м-ль де Керкабон плакала, м-ль де Сент-Ив не плакала, но выпускала глубокие вздохи, которые свидетельствовали, повидимому, об ее приверженности к церковным таинствам. Прогуливаясь печально мимо лозняка и камышей, что растут по берегу речушки Ранс, подруги увидели вдруг крупную и довольно белую человеческую фигуру, которая стояла посреди реки, скрестив на груди руки. Они громко вскрикнули и отворотились. Но любопытство вскоре одержало верх над всеми прочими соображениями; они тихонько прокрались сквозь камыши и, убедившись, что их не видно, принялись разглядывать, в чем дело.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Простодушный окрещен

Приор и аббат, подбежав к реке, спросили Простодушного, что он тут делает.

— Я дожидаюсь крещения, чорт возьми! Уж битый час стою по горло в воде, и с вашей стороны нехорошо подвергать меня простуде.

— Дорогой племянничек, — нежно сказал ему приор, — в Нижней Бретани крещение совершается не так; оденьтесь и идем с нами.

М-ль де Сент-Ив, услышав эту речь, спросила шонотом подругу:

— Как вы думаете, мадемуазель: неужели он так сразу и оденется?

Гурон между тем возразил приору:

— Теперь вам не удастся обморочить меня, как в тот раз; с тех пор я научился многому и совершенно уверен, что другого способа креститься не существует. Евнух царицы Кандакийской* был окрещен в ручье; попробуйте доказать по книге, которую вы мне подарили, что хоть когда-нибудь это дело делалось иначе. Либо я вовсе не буду креститься, либо буду креститься в реке.

Сколько ему ни твердили, что обычаи изменились, Простодушный упрямо стоял на своем, как истый бре-

тонец и гурон. Он все толковал про евнуха царицы Кандакийской и, хотя тетушка и м-ль де Сент-Ив, разглядев его сквозь кусты лозняка, были вправе сказать, что не годится ему равнять себя с подобным человеком, однако же скромность их была так велика, что они ни словом не обмолвились. Сам епископ пытался его уговорить, а это много значит; но и он не добился ничего: гурон заспорил и с епископом.

— Докажите, — сказал он, — по книге, подаренной мне дядюшкой, что хоть один человек был крещен не в реке, и тогда я сделаю все, что вам заблагорассудится.

Тетушка припомнила в порыве отчаяния, что когда ее племянник впервые стал раскланиваться, он отвесил м-ль де Сент-Ив более глубокий поклон, чем другим членам общества, и что даже самого господина епископа приветствовал не с тем почтением и сердечностью, какие проявил по отношению к этой пригожей барышне. Она решила, что к помощи м-ль де Сент-Ив и следует обратиться при случившемся замешательстве; она попросила ее употребить свое влияние на гурона, чтобы заставить его креститься так, как это принято у бретонцев, потому что из ее племянника не может, по ее мнению, выйти христианина, если он будет упорствовать в своем намерении креститься в проточной воде.

М-ль де Сент-Ив раскраснелась от затаенной радости, какую доставило ей это важное поручение. Она скромно приблизилась к Простодушному и, благороднейшим образом пожимая ему руку, спросила:

— Неужели вы ничего для меня не сделаете?

И, произнося эти слова, то потупляла, то вскидывала на него глаза с умиленным изяществом.

— Ах, все, что вам будет угодно, мадемуазель, все, что прикажете; крещение водой, крещение огнем, крещение кровью, — я не откажу вам ни в чем.

На долю м-ль де Сент-Ив выпала честь с первых двух слов достигнуть того, что не могло быть достигнуто ни стараниями приора, ни многократными расспросами судьи, ни даже рассуждениями г-на епископа. Она сознавала свое торжество, но не сознавала еще, каких достигло оно пределов.

Крещение было совершено и воспринято со всевозможной благопристойностью, великолепием и приятно-

стью. Дядюшка и тетушка уступили г-ну аббату де Сент-Ив и его сестре почетные обязанности восприемников Простодушного от купели. М-ль де Сент-Ив так и сияла, радуясь, что стала крестной матерью. Она не знала, на что обрекает ее это высокое звание; она согласилась принять предложенную честь, не ведая, к каким роковым это поведет последствиям.

Так как за всякой церемонией следует званый обед, то по окончании обряда крещения уселись за стол. Нижнебретонские шутники говорили, что вино не нуждается в крещении. Господин приор толковал, что вино, по словам Соломона, веселит сердце человека. Господин епископ добавил от себя, что патриарх Иуда привязывал ослика к виноградной лозе и окунал плащ в виноградный сок, чего, к великому сожалению, нельзя проделывать в Нижней Бретани, которой Бог отказал в винограде. Каждый старался отпустить какую-нибудь шутку по поводу крещения Простодушного и наговорить любезностей крестной матери. Судья, неизменно вопрошающий, спросил гурона, останется ли он верен христианским обетам.

— Как же, по-вашему, могу я изменить обетам, — ответил гурон, — когда я дал их при посредстве мадемуазель де Сент-Ив?

Гурон разгорячился; он много раз пил за здоровье своей крестной матери.

— Если бы вы крестили меня собственноручно, — сказал он, — то, чувствую я, что холодная вода, которую лили мне на затылок, обожгла бы меня.

Судья нашел, что это чересчур уж поэтично, ибо не знал, как распространен в Канаде аллегорический образ выражения. Крестная же мать осталась чрезвычайно довольна.

Новокрещеного нарекли Геркулесом. Епископ Малуанский все доискивался, что это за святой, о котором он никогда не слыхивал. Иезуит, отличавшийся большой ученостью, объяснил, что это был угодник, совершивший двенадцать чудес. Было еще и тринадцатое, которое одно стоило остальных двенадцати, однако иезуиту не пристало говорить о нем; оно состояло в превращении пятидесяти девиц в женщин на протяжении одной ночи. Некий находившийся тут же забавник стал усилленно восхвалять это чудо. Все дамы потупились и решили, что Простодушный, судя по внешности, достоин того святого, чье имя он носит.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Простодушный влюблен

Надо признаться, что после этих крестин и этого обеда м-ль де Сент-Ив захотелось до страсти, чтобы г-н епископ сделал ее сообща с г-ном Геркулесом Простодушным, причастницей еще какого-нибудь прекрасного таинства. Однако же, будучи благовоспитанна и весьма скромна, она даже самой себе не решалась сознаться до конца в нежных своих чувствах. Когда же вырывался у нее взгляд, слово, движение или мысль, она обволакивала все это покровом бесконечно милого целомудрия. Она была нежна, жива и благонравна.

Как только г-н епископ уехал, Простодушный и м-ль де Сент-Ив тотчас же очутились вдвоем, даже и не помыслив о том, что искали этой встречи. Они разговорились, не предвидев заранее, о чем поведут речь. Простодушный начал с того, что любит ее всем сердцем, и что прекрасная Абакаба, по которой он с ума сходил у себя на родине, не может сравниться с нею. Барышня ответила с обычною своею скромностью, что надобно поскорее переговорить об этом с его дядюшкой, г-ном приором, и с его тетушкой, что она со своей стороны перекинется по этому предмету двумя словами со своим дорогим братцем, аббатом де Сент-Ив, и что она льстит себя надеждою на общее согласие.

Простодушный отвечает, что не нуждается ни в чьем согласии, что находит крайне нелепым обращаться к другим людям с вопросом, что делать; что раз две стороны пришли к соглашению, то нет надобности привлекать для примирения их интересов третье лицо.

— Я ни у кого не спрашиваюсь, — сказал он, — когда мне хочется завтракать, охотиться или спать: мне хорошо известно, что в делах любви неплохо заручиться согласием того лица, к кому питаешь любовь; но так как влюблен я не в дядюшку и не в тетушку, то не к ним надо обращаться мне по этому делу, и вы тоже, поверьте мне, отличнюсь обойдетесь без господина аббата де Сент-Ив.

Красавица-бретонка пустила, разумеется, в ход всю тонкость своего ума, чтобы ввести гуруна в границы приличия. Она даже рассердилась, однако же вскоре укротила свой гнев. Неизвестно, к чему бы привел в конце концов этот разговор, если бы на склоне дня г-н аббат не

увел сестру в свое аббатство. Простодушный дал дядюшке и тетушке улечься спать: они были несколько утомлены церемонией и затянувшимся обедом. Часть ночи он провел за писанием стихов к возлюбленной на гуронском языке, ибо надобно иметь в виду, что нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы любовников в поэтов.

На следующий день, после завтрака, его дядюшка в присутствии м-ль де Керкабон, пребывавшей в полном умилении, повел такую речь:

— Хвала небесам за то, что вам выпала честь, дорогой племянник, быть христианином и бретонцем! Но этого еще недостаточно; годы у меня уже довольно преклонные; после брата остался только маленький клочок земли, который представляет собою очень ничтожную ценность; у меня доходный приорат; если вы пожелаете, как я надеюсь, стать иподьяконом, то я переведу приорат на вас, и вы, утешив мою старость, будете жить затем в полном довольстве.

Простодушный ответил:

— Всяких вам благ, дядюшка! Живите, сколько проживется. Я не знаю, что такое быть иподьяконом и что значит перевести приход; но я пойду на все, лишь бы мадемуазель де Сент-Ив оказалась в моем распоряжении.

— Ах, Боже мой, что вы говорите, племянничек? Вы, стало быть, любите до безумия эту красивую барышню?

— Да, дядюшка.

— Увы, племянничек, вам нельзя на ней жениться.

— Нет, очень даже можно, дядюшка, потому что она не только пожала мне руку на прощанье, но и обещала, что будет проситься за меня замуж; и я, конечно, на ней женюсь.

— Это невозможно, говорю вам: она — ваша крестная мать; пожимать руку крестному сыну — это ужасный грех; вступать в брак с крестной матерью не разрешается; это запрещено и божескими и людскими законами.

— Вы шутите, дядюшка! Чего ради запрещать женитьбу на крестной матери, если она молода и хороша собой? В книге, которую вы мне подарили, нигде не сказано, что грешно жениться на девушках, которые помогли

вам креститься. Каждый день, как я замечаю, творится у вас тут бесчисленное множество таких вещей, о которых ничего не сказано в вашей книге, и не выполняется ровно ничего из того, что там написано; это, признаюсь, и удивляет меня и сердит. Если под предлогом крещения меня лишат прекрасной Сент-Ив, то предупреждаю вас, что я женюсь на ней увозом и раскрещусь.

Приор смутился; сестра его заплакала.

— Дорогой братец, — проговорила она, — нельзя допускать, чтобы наш племянник обрекал себя на вечную гибель. Наш святейший отец-папа может дать ему дозволение, и тогда он будет по-христиански счастлив с той, кого любит.

Простодушный, заключив тетушку в свои объятия, спросил:

— Кто же он, этот прелестный человек, который с такою добротой помогает юношам и девушкам в устройстве любовных дел? Я сейчас же схожу и потолкую с ним.

Ему объяснили, что такое папа, и Простодушный удивился пуще прежнего.

— В вашей книге, дорогой дядюшка, нет про все это ни единого слова; мне довелось путешествовать, море мне знакомо; мы находимся тут на берегу океана, а мне придется покинуть мадемуазель де Сент-Ив и просить разрешения любить ее у человека, который живет на Средиземном море, за четыреста льё отсюда, и говорит на непонятном мне языке; это до непостижимости нелепо. Сейчас же пойду к господину аббату де Сент-Ив, который живет всего за одно льё отсюда, и ручаюсь вам, что женюсь на моей возлюбленной сегодня же.

Не успел он договорить, как вошел судья и, верный своему обыкновению, спросил Простодушного, куда он идет.

— Иду жениться, — отвечал тот убегая.

И через четверть часа он был уже у своей прекрасной и дорогой бретонки, которая еще спала.

— Ах, братец! — сказала м-ль де Керкабон приору. — Не бывай нашему племяннику иподьяконом.

Судья был очень раздосадован этим путешествием Простодушного, так как предполагал женить на м-ль де Сент-Ив своего сына; а сын был еще глупее и несноснее, чем отец.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Простодушный спешит к возлюбленной и впадает в неистовство

Тотчас по прибытии на место Простодушный, спросив у старой служанки, где горница ее госпожи, вломился в плохо прикрытую дверь и кинулся к кровати. М-ль де Сент-Ив, пробудившись внезапно, вскрикнула:

— Как, это вы? Ах, это вы? Остановитесь, что вы делаете?

Он ответил:

— Женюсь на вас.

И женился бы в самом деле, если бы она не стала отбиваться со всею добросовестностью, какая приличествует хорошо воспитанной особе.

Простодушному было не до шуток; ее жеманство представлялось ему крайне невежливым.

— Не так вела себя м-ль Абакаба, первая моя возлюбленная; вы неблагородны; вы обещали вступить со мной в брак, а теперь не хотите вступать в брак; вы нарушаете основные законы чести; я научу вас держать слово и верну вас на путь добродетели.

А добродетель у Простодушного была мужественная и неустрашимая, достойная его патрона Геркулеса, чье имя нарекли ему при крещении. Он готов уж был пустить ее в ход во всем ее объеме, когда на пронзительные вопли барышни, более сдержанной в проявлении добродетели, сбежались благоразумный аббат де Сент-Ив со своей ключницей, его старый и набожный слуга да еще некий приходский священник. При виде их отвага нападающего умерилась.

— Ах, Боже мой, дорогой сосед, — сказал аббат, — что вы тут делаете?

— Исполняю свой долг, — ответил молодой человек, — хочу сдержать свои обеты, которые священны.

М-ль де Сент-Ив, краснея, привела себя в порядок. Простодушного увели в другую горницу. Аббат поставил ему на вид всю гнусность его поведения. Простодушный сослался в свое оправдание на преимущества естественного права, известного ему в совершенстве. Аббат стал доказывать, что следует отдать решительное предпочтение праву положительному, ибо, не будь между людьми

договорных соглашений, естественное право обращалось бы почти всегда в естественный разбой.

— Нужны, — говорил он, — нотариусы, священники, свидетели, договоры, дозволения.

Простодушный в ответ на это выставил соображение, неизменно приводимое дикарями:

— Вы, стало быть, очень бесчестные люди, раз нужны вам такие предосторожности.

Аббату трудно было найти правильное решение этого запутанного вопроса.

— Есть среди нас, признаюсь, — вымолвил он, — много людей непостоянных и плутоватых, и столько же было бы их и у гуронов, если бы они жили скопом в большом городе; однако же встречаются и благонравные, честные, просвещенные души, и вот этими-то людьми и установлены законы. Чем лучше человек, тем покорнее должен он им подчиняться. Надо подавать пример порочным, которые уважают узду, наложенную на себя добродетелью.

Этот ответ поразил Простодушного. Уже замечено было ранее, что рассудок был у него справедливый. Его укротили льстивыми словами, ему подали надежды: таковы две западни, в которые попадают люди обоих полушарий; к нему привели даже м-ль де Сент-Ив, после того как она оделась. Все обошлось благопристойнейшим образом; но, невзирая на соблюдение всех приличий, сверкающие очи Простодушного Геркулеса заставляли его возлюбленную потуплять свои очи и повергали в трепет все общество.

Крайне трудно оказалось спровадить его назад, к его родственникам. Пришлось снова пустить в ход влияние прекрасной Сент-Ив. Чем яснее сознавала она свою власть над ним, тем большею проникалась к нему любовью. Она принудила его удалиться и была этим очень огорчена. Наконец, когда он ушел, аббат, который не только приходился братом м-ль де Сент-Ив, но, будучи на много лет старше ее, был также и ее опекуном, решил избавить свою подопечную от усердных ухаживаний страшного любовника. Он обменялся мнениями с судьей, который прочил своего сына в мужа его сестре, и потому посоветовал заточить бедную девушку в обитель. Это был страшный удар: если бы отдали в монастырь равнодушную, и та возопила бы, но влюблен-

ную, влюбленную нежно и притом благодетельную! — было от чего впасть в отчаяние.

Простодушный, вернувшись к приору, рассказал все с обычным чистосердечием. Ему пришлось выслушать все те же увещания, и они оказали некоторое действие на его рассудок, но не оказали никакого действия на чувства; на следующий день, когда он собрался было снова навестить свою прекрасную возлюбленную, чтобы порассуждать с ней о естественном праве и о праве, истекающем из договоров, г-н судья сообщил ему с оскорбительным злорадством, что она в монастыре.

— Ну что ж, — ответил тот, — порассуждаем в монастыре.

— Это невозможно, — сказал судья.

Он пространно объяснил ему, что такое монастырь, и сказал, что слово «convent» или «convent» происходит от латинского «conventus», что означает «сборище», но гурон не понимал, почему он не может быть допущен на это сборище. Однако, как только его поставили в известность, что это сборище является подобием тюрьмы, где молодых девушек держат взаперти, — страшная вещь, неведомая ни гуроном, ни англичанам, — он рассвирепел так же, как патрон его Геркулес, когда Эврит, царь Эхалийский*, не менее жестокий, чем аббат де Сент-Ив, отказался выдать за него свою дочь, прекрасную Иолу, не менее прекрасную, чем сестра аббата. Он изъявил желание поджечь монастырь и похитить возлюбленную или сгореть вместе с нею. М-ль де Керкабон, придя в ужас, потеряла всякую надежду на посвящение племянника в иподьяконы и вымолвила со слезами, что он совсем взбесился с тех пор, как окрещен.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Простодушный отбивает англичан

Простодушный, погруженный в мрачное и глубокое уныние, прогуливался по берегу моря с двуствольным ружьем на плече, с большим ножом у бедра, постреливал птиц и частенько искушаем был желанием пристрелить и самого себя; однако жизнь была ему еще дорога из-за м-ль де Сент-Ив. То он проклинал дядю, тетку, всю

Нижнюю Бретань и свое крещение; то он благословлял их, ибо через них познакомился с тою, кого любил. Он принимал решение поджечь монастырь и сразу же отступался от этого намерения из опасения, что сожжет и возлюбленную. Волны Ламанша не бушуют так под напором восточных и западных ветров, как бушевало его сердце под действием противоречивых побуждений.

Он шел большими шагами, сам не зная куда, когда услышал вдруг барабанный бой. Вдалеке видна была целая толпа, одна половина которой бежала к берегу, а другая поспешно отступала.

Со всех сторон раздаются тысячи криков; любопытство и отвага гонят Простодушного туда, откуда доносятся вопли. Начальник милиции, который ужинал с ним в свое время у приора, узнал его тотчас же и подбежал к нему с распростертыми объятиями:

— Ах, это Простодушный! Он будет сражаться за нас.

И милиционеры, умиравшие со страху, приободрились и закричали тоже:

— Это Простодушный! Это Простодушный!

— В чем дело, господа? — спросил он. — Почему вы так перепуганы? Или ваших возлюбленных отдали в монастырь?

Тогда сотня нестройных голосов закричала:

— Разве вы не видите, что англичане причаливают к берегу?

— Ну так что же? — возразил гурон. — Это хорошие люди; они не отнимали у меня моей возлюбленной.

Начальник объяснил ему, что англичане собираются ограбить Горное аббатство, выпить вино его дядюшки и, может быть, похитить м-ль де Сент-Ив; что кораблик, на котором Простодушный прибыл в Бретань, только для того и приходил, чтобы произвести разведку берега, что они открыли военные действия, не объявив войны французскому королю, и что провинция в опасности.

— А, если так, то они нарушают естественное право; предоставьте мне действовать по-своему; я долго жил у них, я знаю их язык, я с ними потолкую; не думаю, чтобы у них были такие злостные намерения.

Пока шел этот разговор, английская эскадра приблизилась; вот гурон бежит туда; вскакивает в лодку, подплывает, всходит на адмиральский корабль и спра-

шивает, верно ли, что они собираются опустошить страну, не объявив по-честному войны. Адмирал и вся команда покатались со смеху, напоили Простодушного пуншем и выпроводили вон.

Простодушный, обидевшись, уже не помышляет ни о чем другом, как только бы сразиться с прежними своими друзьями, став на защиту своих соотечественников и г-на приора; окрестные дворяне сбегались отовсюду; он присоединяется к ним: у них было несколько пушек; он заряжает их, наводит и стреляет из всех подряд. Англичане сходят на берег; он бросается на них, убивает троих собственноручно и ранит даже адмирала, который давеча посмеялся над ним. Его доблесть возбуждает мужество у всей милиции; англичане бегут назад на свои корабли, и весь берег оглашается победными криками:

— Да здравствует король! Да здравствует Простодушный!

Все обнимали его, все спешили унять кровь, сочившуюся из полученных им легких ран.

— Ах! — говорил он. — Если бы мадемуазель де Сент-Ив была здесь, она наложила бы мне повязку.

Судья, который во время боя прятался в погребе, изумился, когда услышал, что Геркулес Простодушный, обращаясь к дюжине окружавших его благонамеренных молодых людей, сказал:

— Друзья мои, выручить из беды Горное аббатство — это ничего не стоит, а вот надо выручить девушку.

Вся кипучая молодежь мгновенно воспламенилась от таких слов. За Простодушным уже следовала толпа, уже бежали к монастырю. Если бы судья не дал сразу же знать начальнику милиции, если бы за веселым воинством не была направлена погоня, дело было бы сделано. Простодушного водворили назад к дядюшке и тетушке, которые оросили его слезами нежности.

— Вижу, что не бывать вам ни иподьяконом, ни приором, — сказал дядюшка, — из вас выйдет офицер, еще более храбрый, чем мой брат капитан, и, вероятно, такой же голодранец, как он.

А м-ль де Керкабон все плакала, обнимая его и приговаривая:

— Убьют его, как братца. Куда было бы лучше, если бы он сделался иподьяконом.

Простодушный подобрал во время боя большую, набитую гинеями мошну, которую обронил, вероятно, адмирал. Он не сомневался, что на эти деньги можно скупить всю Нижнюю Бретань, а главное превратить м-ль де Сент-Ив в знатную даму. Все убеждали его съездить в Версаль, чтобы получить вознаграждение по заслугам. Начальник милиции и старшие офицеры снабдили его множеством удостоверений. Дядюшка и тетушка отнеслись к этому путешествию племянника одобрительно. Добиться представления королю не составит труда: уж одно это чудодейственно прославит его на всю провинцию. Оба добряка пополнили английскую мошну крупным подарком из собственных сбережений. Простодушный размышлял про себя:

«Когда увижу короля, я попрошу у него руки м-ль де Сент-Ив, и он, конечно, мне не откажет».

И он уехал под приветственные клики всего кантона, удушенный объятиями и орошенный слезами тетушки, получив благословение дядюшки и поручая себя молитвам прекрасной Сент-Ив.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Простодушный отправляется ко двору.

По дороге он ужинает с гугенотами

Простодушный поехал по Сомюрской дороге в почтовой колыхаге, потому что в те времена не было более удобных способов передвижения. Прибыв в Сомюр, он удивился, застав город почти опустевшим и увидав несколько отъезжающих семейств. Ему сказали, что шесть лет назад в Сомюре было более пятнадцати тысяч душ, а сейчас в нем нет и шести тысяч. Он не преминул заговорить об этом в гостинице за ужином. За столом было несколько протестантов; одни из них горько сетовали, другие дрожали от гнева, иные говорили со слезами:

...Nos dulcia linquimus arva,
Nos patriam fugimus.

Простодушный, не зная латыни, попросил растолковать ему эти слова, которые означают: «Мы покидаем наши милые поля, мы бежим из отечества»*.

— Отчего же бежите вы из отечества, господа?

— Потому что хотят, чтобы мы признали папу.

— А почему вы его не признаете? Вы, стало быть, не собираетесь жениться на своих крестных матерях? Мне говорили, что он дает разрешения на такие браки.

— Ах, сударь, папа говорит, что он — хозяин королевских владений.

— Позвольте, господа, а у вас-то какой род занятий?

— Большинство из нас сукноторговцы и фабриканты.

— Если ваш папа говорит, что он хозяин ваших сукон и фабрик, то вы правы, что не признаете его, но что касается королей, то это уж их дело; вам-то зачем в него вмешиваться?

Тогда в разговор вступил некий человек, одетый во все черное, который изложил очень толково, в чем заключаются их неудовольствия. Он так выразительно рассказал об отмене Нантского эдикта и так трогательно оплакал участь пятидесяти тысяч семейств, спасшихся бегством, и других пятидесяти тысяч, обращенных в католичество драгунами, что Простодушный в свою очередь пролил слезы.

— Как же это так получилось, — промолвил он, — что столь великий король, чья слава простирается даже до страны гуронов, лишил себя такого множества сердец, которые могли бы его любить, и такого множества рук, которые могли бы служить ему?

— Дело в том, что его обманули, как обманывали и других великих королей, — ответил черный человек. — Его уверили, что стоит ему только сказать слово, как все люди будут с ним единомысленны, и он заставит нас сменить веру так же, как музыкант его Люлли в один миг сменяет декорации в своих операх. Он не только лишается пяти-шести тысяч очень полезных ему подданных, но он наживает в них врагов. И король Вильгельм, который правит теперь Англией, составил несколько полков из этих самых французов, которые могли бы сражаться за своего монарха. Это бедствие тем более удивительно, что ныне царствующий папа*, ради которого Людовик XIV пожертвовал частью своего народа, — его открытый враг. Они до сих пор в ссоре, которая длится девять лет. Эта ссора зашла так далеко, что Франция надеялась уж было сбросить, наконец, ярмо, подчиняющее ее столько веков

этому иностранцу, а главное, не платить ему больше денег, которые являются основной движущей силой в делах мира сего. Итак, очевидно, что великому королю внушили ложное понятие как об его выгодах, так и о пределах его власти и нанесли ущерб великодушию его сердца.

Простодушный, растроганный, спросил, кто же эти французы, смеющие обманывать подобным образом столь любезного гурунам монарха.

— Это — иезуиты, — сказали ему в ответ, — и в особенности отец де Ла Шез*, духовник его величества. Надо надеяться, что Бог накажет их когда-нибудь и что они будут гонимы так же, как сейчас гонят нас. Какое горе сравнится с нашим? Г-н де Лувуа насылает на нас со всех сторон иезуитов и драгунов.

— О господи! — воскликнул Простодушный, будучи уже не в силах сдержаться себя. — Я еду в Версаль, чтобы получить награду, которая следует мне за мои заслуги; я потолкую с господином де Лувуа; мне говорили, что в королевском министерстве он ведаёт военными делами. Я увижу короля, я открою ему истину; познав истину, нельзя не последовать ей. Я скоро вернусь назад и вступлю в брак с мадемуазель де Сент-Ив; прошу вас пожаловать на свадьбу.

Его приняли за вельможу, путешествующего инкогнито в почтовой колымаге. А иные — за королевского шута.

За столом сидел переодетый иезуит, состоявший сыщиком при преподобном отце де Ла Шез. Он осведомлял его обо всем, а отец де Ла Шез передавал эти сообщения г-ну де Лувуа. Сыщик настрочил письмо. Простодушный прибыл в Версаль почти одновременно с этим письмом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Прибытие Простодушного в Версаль.

Прием его при дворе

Простодушный въезжает в крытой двуколке на кухонный двор. Он спрашивает паланкинщиков, в котором часу можно повидаться с королем. Паланкинщики только нагло смеются в ответ; совсем как английский адмирал. Он поступил с ними так же, как и с тем: отколотил их. Они собрались дать ему сдачи, и дело дошло бы до кровопро-

лития, если бы проходивший мимо королевский телохранитель из бретонских дворян не отогнал челядь.

— Сударь, — сказал ему путешественник, — вы, судается мне, порядочный человек. Я — племянник господина приора Богоматери Горной, я убил несколько англичан, я хочу поговорить с королем; прошу вас провести меня в его покои.

Гвардеец, обрадовавшись встрече с храбрым земляком, не сведущим, повидимому, в придворных порядках, сообщил ему, что с королем так не поговоришь, а надо, чтобы представил его королю монсеньор де Лувуа*.

— Так проводите меня к монсеньору де Лувуа, который, без сомнения, направит меня к его величеству.

— Разговора с монсеньором де Лувуа, — ответил гвардеец, — добиться еще труднее, чем разговора с его величеством; но я провожу вас к господину Александру, старшему чиновнику по военным делам; это то же самое, что поговорить с самим министром.

Они идут к старшему чиновнику г-ну Александру, но попасть к нему не могут; у него происходил деловой разговор с одной придворной дамой, и приказано было никого к нему не пускать.

— Ну что ж, — сказал гвардеец, — это не беда; пойдем к старшему чиновнику при господине Александре; это то же самое, что поговорить с самим господином Александром.

Гурон с удивлением следует за телохранителем; они сидят полчаса в тесной приемной.

— Что же это такое? — сказал Простодушный. — Неужели же все в здешних краях невидимы? Куда легче биться в Нижней Бретани с англичанами, чем повидаться в Версале с нужными тебе людьми.

Он развеял скуку, поведав земляку о своей любви. Однако бой часов напомнил гвардейцу, что пора возвращаться к исполнению служебных обязанностей. Они уговорились, что завтра встретятся снова, но Простодушный просидел в приемной еще полчаса, размышляя о м-ль де Сент-Ив и о том, как трудно даются разговоры с королями и старшими чиновниками.

Наконец хозяин появился.

— Сударь, — сказал Простодушный, — если бы, готовясь отбивать англичан, я промешкал столько, сколько вы заставили меня промешкать в ожидании

приема, англичане спокойнейшим образом опустошили бы Нижнюю Бретань.

Эти слова ошеломили чиновника. Он спросил в конце концов бретонца:

— Чего же вы домогаетесь?

— Награды, — ответил тот. — Вот мои документы.

И он разложил свои удостоверения. Чиновник прочитал их и сказал, что, вероятно, ему будет разрешено купить чин лейтенанта.

— Мне? Чтобы я платил деньги за то, что отбил англичан? Чтобы я покупал право быть убитым в бою за вас, в то время как вы тут спокойненько принимаете посетителей? Вам угодно, видимо, посмеяться надо мной! Я желаю получить роту кавалерии безвозмездно; я желаю, чтобы король выпустил м-ль де Сент-Ив из монастыря и чтобы отдал ее за меня замуж; я желаю поговорить с королем об оказании милости пятидесяти тысячам семейств, которые я намерен вернуть ему; одним словом, я желаю быть полезным; пусть приставят меня к делу и пусть произведут в чин.

— Как вас зовут, сударь, говорящий столь громко-гласно?

— Ого! — ответил Простодушный. — Вы, стало быть, не прочитали этих удостоверений? Разве так обращаются с ними? Мое имя — Геркулес де Керкабон; я окрещен, я стою в гостинице «Синие часы», и я пожалуюсь на вас королю.

Чиновник, подобно сомюрцам, решил, что Простодушный не в своем уме, и не придал особого значения его словам.

В тот же день преподобный отец де Ла Шез, духовник Людовика XIV, получил письмо от своего сыщика, который обвинял бретонца Керкабона в том, что тот благоволит в душе гугенотам и осуждает поведение иезуитов. Г-н де Лувуа получил, со своей стороны, письмо от вопрошающего судьи, который изображал Простодушного как повесу, замышлявшего жечь монастыри и выкрадывать девушек.

Простодушный, погуляв по версальским садам, где показалось ему скучно, поужинав по-гуронски и понижебретонски, улегся спать, питая сладостную надежду, что завтра увидится с королем, и спросит согласие на брак с м-ль де Сент-Ив, получит по меньшей

мере роту кавалерии и добьется прекращения гонений на гугенотов. Он убаюкивал себя этими заманчивыми мечтами, когда в комнату вошла дозорная команда. Она прежде всего отобрала у него двуствольное ружье и огромную его саблю.

Составили опись его наличных денег и отвезли его в замок, построенный королем Карлом*, сыном Иоанна II, близ улицы св. Антония, у Башенных ворот. Каково было удивление, испытанное Простодушным дорогой, — вообразите сами. Сперва ему казалось, что это сон. Он был в оцепенении; потом, в порыве внезапной ярости, удвоившей его силы, он хватает вдруг за горло двух своих провожатых, сидевших с ним в карете, выбрасывает их вон, сам бросается вслед за ними и увлекает за собою третьего, который пытался его удерживать. Он падает от усилий, его связывают и опять сажают в карету.

— Вот, — выговорил он, — что получаешь в награду за изгнание англичан из Нижней Бретани! Что сказала бы ты, прекрасная Сент-Ив, если бы увидела меня в этом положении?

Подъезжают, наконец, к предназначенному ему жилью. Молча, как покойника на кладбище, несут его в комнату, где предстояло ему отбывать заключение. В этой комнате помещался некий старый отшельник из Пор-Рояля*, по фамилии Гордон, томившийся тут уже два года.

— Вот, — сказал ему начальник стражи, — привел вам товарища.

И тотчас же задвигают огромные засовы тяжелой двери, окованной широкими поперечинами. Оба узника оказались отлучены от всей вселенной.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Простодушный заключен в Бастилии с янсенистом

Г-н Гордон был еще спокойный и свежий старик, который обладал двумя великими способностями: стойко переносить горе и утешать несчастных. Он подошел к товарищу с выражением прямодушия и сострадания на лице и, обнимая его, сказал:

— Кто бы ни были вы, явившийся разделить со мною могилу, будьте уверены, что я всегда буду забывать о себе, лишь бы облегчить ваши муки в этой адской бездне, куда нас ввергли. Преклонимся перед провидением, которое привело нас сюда, будем смиренно терпеть страдания и надеяться.

Эти слова подействовали на душу гурона, как английские капли, которые возвращают умирающего к жизни и заставляют удивленно приоткрыть глаза.

После первых приветствий Гордон, не выведывая у Простодушного причины его несчастья, самой мягкостью своего обращения и тем участием, которым проникаются друг к другу страдальцы, внушил ему желание открыть свою душу и сбросить подавлявшее ее бремя; но Простодушный никак не мог уяснить себе оснований своего несчастья; оно представлялось ему следствием без причины; добряк Гордон был так же удивлен этим, как и он сам.

— Должно быть, — сказал янсенист гурону, — Бог питает в отношении вас какие-то великие намерения, раз привел вас с озера Онтарио в Англию и во Францию, раз допустил вас к принятию крещения в Нижней Бретани и раз заточил вас, ради вашего спасения, сюда.

— По совести говоря, — ответил Простодушный, — мне кажется, что судьбой моей распоряжался только дьявол. Мои американские соотечественники ни за что не допустили бы такого варварского обращения, какое терплю я сейчас; им это и в голову бы не пришло. Их называют дикарями; они — грубые, но добродетельные люди, здешние же — утонченные мошенники. Мне в самом деле весьма удивительно, что, попав из одного мира в другой, я очутился за четыремя засовами в обществе священника; и мне приходит на ум бесчисленное множество людей, которые покидают одно полушарие лишь затем, чтобы быть убитыми в другом, или терпят в пути кораблекрушение и пожираются рыбами: что-то не вижу я тут, на примере этих людей, благодетельных намерений Божьих.

Им подали через форточку обед. Разговор от провидения перешел на приказы об аресте, на умение не падать духом при испытаниях, которым может подвергнуться в этом мире всякий человек.

— Вот уж два года, что я здесь, — сказал старик, — и нет у меня другого утешителя, кроме самого себя и книг; ни на один миг не впадал я в уныние.

— Ах, господин Гордон! — воскликнул Простодушный. — Вы, стало быть, не влюблены в вашу крестную мать. Если бы вы узнали, как я, мадемуазель де Сент-Ив, вы были бы в отчаянии.

При этих словах он не мог удержаться от слез и сразу же почувствовал, что уж не так подавлен, как прежде.

— Отчего слезы приносят облегчение? — сказал он. — Они, по-моему, должны бы оказывать обратное действие.

— Сын мой, все в нас — физическое, — ответил добрый старик, — всякое выделение жидкости полезно нашему телу; а что приносит облегчение телу, то облегчает и душу; мы — машины провидения.

Простодушный, обладавший, как мы говорили уже много раз, большим запасом здравого смысла, глубоко задумался над этой мыслью, семя которой заложено было в нем, кажется, и ранее. Вслед затем он спросил товарища, почему его машина находится уже два года под четырьмя замками.

— Силою искупительной благодати, — ответил Гордон, — я слышу янсенистом; я был знаком с Арно и Никодем*; иезуиты подвергли нас преследованиям. Мы считаем, что папа — это епископ, такой же, как все остальные: вот почему отец де Ла Шез получил от короля, своего духовного сына, распоряжение отнять у меня без всяких судебных обрядов величайшее благо людское — свободу.

— Как это странно, однако, — сказал Простодушный, — все несчастливцы, каких я встречал, несчастливы из-за папы. Что касается вашей искупительной благодати, то, признаться, я ничего в этом не смыслю; но великое благодеяние вижу я в том, что в несчастии моем Бог свел меня с таким человеком, как вы, изливающим в сердце мое утешение, казавшееся мне недоступным.

С каждым днем беседы становились все занимательнее и все поучительнее. Оба узника привязывали к другу к другу душевно. У старца были большие знания, а у молодого — большая охота к приобретению знаний. За

один месяц он изучил геометрию: он пожирал ее. Гордон дал ему прочитать «Физику» Рого, которая в то время была еще в ходу, и Простодушный оказался столь сообразителен, что усмотрел в ней одни лишь сомнения.

Затем он прочитал первый том «Поисков истины»*. Все предстало перед ним в новом свете.

— Как! — говорил он. — Воображение и чувства обманывают нас до такой степени! Как! Источник наших представлений — не внешние предметы, и сами мы не можем создать себе этих представлений!

Прочитав второй том, он не почувствовал уже подобного удовлетворения и решил, что легче разрушать, чем созидать.

Его собрат, удивившись, что молодой невежда высказал мысль, доступную только искусственным умам, составил себе высокое представление об его рассудке и привязался к нему еще более.

— Ваш Мальбранш, — сказал однажды Простодушный, — написал половину своей книги по внушению разума, а другую половину — по внушению воображения и предрассудков.

Несколько дней спустя Гордон спросил его:

— Что же думаете вы о душе, о способе, каким воспринимаем мы наши представления, о нашей воле, о благодатной свободе воли?

— Ничего не думаю, — ответил Простодушный, — если и были у меня какие-нибудь мысли, так только о том, что все мы, подобно небесным светилам и стихиям, находимся под властью Вечного Существа, что Оно творит в нас все, что мы только мелкие колесики огромного механизма, душою которого является Оно; что выразителем Его деятельности являются общие законы, а не частные намерения; только это кажется мне понятным, все же остальное — темная бездна.

— Однако же, сын мой, по-вашему выходит, что Бог — причина греха.

— Однако же, отец мой, по вашему учению об купительной благодати выходит также, что Бог — причина греха; ибо несомненно, что все, кому отказано в этой благодати, грешат; а разве тот, кто допускает нас до зла, не является причиной зла?

Его наивность сильно смущала доброго старика;

он чувствовал, что тщетно силится выбраться из трясины; и нагромождал столько слов, казалось бы, осмысленных, а на самом деле лишенных смысла (во вкусе физической премоции), что Простодушный прониклся к нему жалостью. Этот вопрос был связан, очевидно, с происхождением добра и зла: и бедному Гордону пришлось поэтому пустить в оборот и ларчик Пандоры, и яйцо Ормузда, продавленное Ариманом, и нелады Тифона с Озирисом, и, наконец, первородный грех; оба они метались в глубоком мраке, но сойтись так и не могли. Однако же в конечном счете эта повесть о душевных невзгодах отвлекала их взоры от лицемерия собственного несчастья, и множество бедствий, излитых на вселенную, словно каким-то странным волшебством умаляло их скорбь; они не смели жаловаться, раз все кругом страдает.

Но в ночной тишине образ прекрасной Сент-Ив вытеснял из сознания ее возлюбленного все метафизические и моральные идеи. Он просыпался со слезами на глазах, и старый янсенист, забывая и про искупительную благодать, и про сен-сиранского аббата и про Янсениуса, утешал молодого человека, находившегося, по его мнению, в состоянии смертного греха.

После чтения, после отвлеченных рассуждений они толковали о своих похождениях и, потолковав о них втуне, опять принимались за чтение, совместное или раздельное. Ум молодого человека укреплялся все более и более. Он пошел бы особенно далеко по математической части, если бы не отвлекала его от занятий м-ль де Сент-Ив.

Он занялся чтением исторических книг; они опечалили его. Мир представился ему слишком уж злым и слишком жалким. В самом деле, история — это не что иное, как картина преступлений и несчастий. Толпа людей, невинных и кротких, неизменно теряется в безвестности на обширной сцене. Действующими лицами оказываются лишь развратные честолюбцы. История, повидимому, только тогда и нравится, когда представляет собою трагедию, которая становится томительной, если не оживляют ее страсти, злодейства и великие невзгоды. Надо вооружать Клио кинжалом, как Мельпомену.

Хотя история Франции, как и все прочие, полна

ужасов, тем не менее она показалась ему такой отвратительной вначале, такой сухой в середине, напоследок же такой мелкой, даже во времена Генриха IV, такой скудной по части великих памятников, такой чуждой тем прекрасным открытиям, какими прославили себя другие народы, что Простодушному приходилось перебарывать скуку, одолевая подробный рассказ о мрачных бедствиях, имевших место на одном из четырех концов света.

Тех же взглядов был и Гордон: обоих разбирал презрительный смех, когда речь заходила о государях фезансакских, фесансагетских и астаракских*. Да и впрямь, такое исследование пришлось бы по душе разве только потомкам этих государей, если бы оказались у них таковые. Прекрасные века Римской республики внушили гурону на время равнодушие к прочим странам земли. Победоносный Рим, законодатель народов, — это зрелище поглощало всю его душу. Он воспламенялся, любуясь народом, которым владело в течение целых семи столетий восторженное поклонение свободе и славе.

Так проходили дни, недели, месяцы; и он почел бы себя счастливым в этом приюте отчаяния, если бы не любил.

По природной своей доброте он болел душой при воспоминании о приоре храма Богоматери Горной и о чувствительной Керкабонше.

«Что подумают они, — размышлял он часто, — не получая от меня известий? Они сочтут меня неблагодарным».

Эта мысль тревожила его: тех, кто любил его, он жалел гораздо больше, чем самого себя.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как Простодушный развивает свои дарования

Чтение возвышает душу, а просвещенный друг доставляет ей утешение. Наш узник пользовался обоими этими благами, о существовании которых ранее и не подозревал.

— Я склонен уверовать в метаморфозы, — говорил он, — ибо из животного превратился в человека.

На те деньги, какими позволялось ему располагать, он составил себе отборную библиотеку. Его друг понуждал его записывать свои мысли. Вот что написал он о древней истории:

«Мне думается, что народы долгое время были такими, как я, что лишь очень поздно достигли они образованности, что в продолжение многих веков занимало их только настоящее, сводившееся к текущему дню, прошедшее — очень мало, а будущее — никогда. Я обошел Канаду, углубившись в нее на пятьсот или шестьсот лье, и не набрел ни на один памятник прошлого; никто не знает, что делал его прадед. Не таково ли естественное состояние человека? Порода, населяющая этот материк, выше, на мой взгляд, чем населяющая тот. Уже в течение нескольких столетий расширяет она пределы своего бытия посредством искусств и знаний. Не оттого ли это, что подбородок у нее оброс волосами, тогда как американцам Бог не дал бороды? Думаю, что не оттого, так как вижу, что китайцы, будучи почти безбородыми, упражняются в искусствах уже более пяти тысяч лет. В самом деле, если их летописи насчитывают более четырех тысячелетий, стало быть, более пятидесяти веков тому назад наука была уже единой и процветала.

В древней истории Китая поражает меня особенно одно обстоятельство, а именно, что почти все в ней правдоподобно и естественно. Мне любо, что нет в ней ничего чудесного.

Почему все прочие народы приписывают себе сказочное происхождение? Древние французские летописцы, не такие уж, впрочем, и древние, производят французов от некоего Франка, сына Гектора; римляне говорили, что происходят от какого-то фригийца*, невзирая на то, что в их языке нет ни единого слова, которое имело бы хоть какое-нибудь отношение к фригийскому наречию; в Египте десять тысяч лет обитали боги, а в Скифии — бесы, породившие гуннов. До Фукидида я не нахожу ничего, кроме романов, которые напоминают «Амадисов», только гораздо менее развлекательны. Всюду привидения, прорицания, чудеса, волхования, превращения, истолкованные сны, которые решают участь как величайших империй, так и мельчайших государств: тут говорящие звери, там звери обожествленные,

боги, преображенные в людей, и люди, преображенные в богов. Ах, если уж нужны нам басни, так пускай эти басни будут по крайней мере символами истины! Я люблю басни философические, смеюсь над ребяческими и ненавижу придуманные обманщиками».

Однажды он напал на историю императора Юстиниана. Там было сказано, что константинопольские апедевты издали на очень дурном греческом языке эдикт, направленный против величайшего полководца того века*, ссылаясь на то, что герой этот произнес как-то в пылу разговора такие слова: «Истина сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы пламенем костров*». Апедевты утверждали, что это предложение является еретическим, пахнущим ересью, и что кафолической, всеобъемлющей и греческой является обратная аксиома: «Только пламенем костров просвещаются умы, истина же не могла бы сиять собственным светом». Линостылы осудили таким образом несколько речей полководца и издали эдикт.

— Как! — воскликнул Простодушный. — И таки-то вот людьми издаются эдикты?

— Это не эдикты, — ответил Гордон, — это контрэдикты, над которыми в Константинополе издевались все и в первую голову — император: это был мудрый государь, который сумел поставить апедевтов-линостылов* в такое положение, что они могли творить только добро. Он знал, что эти господа и еще кое-кто из пастофоров истощали терпение предшествовавших императоров контрэдиктами по более важным вопросам.

— Он правильно сделал, — сказал Простодушный, — надо выдерживать натиск пастофоров и держать их в известных границах.

Он записал еще много других рассуждений, которые привели в ужас старого Гордона.

«Как! — думалось ему, — я потратил на свое образование пятьдесят лет, но боюсь, что в отношении природного здравого смысла мне не сравняться с этим почти диким ребенком! Я трепещу при мысли, что мои усилия были направлены на утверждение предрассудков; он же внемлет только простому голосу природы»:

У старика были кое-какие критические книжонки

периодические брошюры, где люди, неспособные произвести ничего, поносят чужие произведения, где всякие Визэ ругают Расинов, а Федя — Фенелонов. Простодушный проглядел некоторые из них.

— Они уподобляются, — сказал он, — тем мошкам, что откладывают свои яйца в заднем проходе самых резвых коней: тем это не мешает бегать.

Оба философа ограничились только беглым просмотром этих литературных испражнений.

Вскоре вслед затем прочитали они вместе начальный учебник астрономии; Простодушный вычертил небесные глобусы: его восхищало это величавое зрелище.

— Как это тяжело, — говорил он, — что я приступил к изучению неба как раз в то время, когда у меня отняли право глядеть на него! Юпитер и Сатурн катятся по огромным просторам; миллионы солнц озаряют миллиарды миров; а в том уголке земли, куда меня закинули, есть существа, лишаящие меня, зрячее и мыслящее существо, и всех этих миров, которые я мог бы охватить своим взором, и того мира, где по произволению Божию я родился! Свет, созданный на потребу всему миру, мне не светит. Его не таили от меня под северным небосклоном, где я провел детство и юность. Не будь вас, мой дорогой Гордон, я впал бы здесь в небытие.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Что думает Простодушный о театральных пьесах

Юноша Простодушный был похож на одно из тех выросших на бесплодной земле могучих деревьев, чьи корни и ветви быстро развиваются, как только их пересадят на благоприятную почву; весьма удивительно, однако, что такой почвой оказалась для него тюрьма.

Среди книг, заполнявших досуг обоих узников, нашлись стихи, переводы греческих трагедий и кое-какие французские театральные пьесы. Стихи, где рассказывалось о любви, вызывали в душе гурона и радость и боль. Все они говорили о его бесценной Сент-Ив. Басня о

двух голубях* пронзила ему сердце: он был очень далек от возможности вернуться на свою голубятню.

Мольер привел его в восторг. Он знакомил его с парижскими и общечеловеческими нравами.

— Какая из его комедий нравится вам всех более?

— «Тартюф», без сомнения.

— Я с вами согласен, — сказал Гордон — в эту темницу вверх меня Тартюф, и возможно, что виновниками вашего несчастья были тоже Тартюфы. Какого мнения вы о греческих трагедиях?

— Для греков они хороши, — ответил Простодушный.

Но когда он прочитал новую «Ифигению», «Федру», «Андромаху», «Гофолию», он пришел в полное восхищение, вздыхал, лил слезы и, не заучивая, запомнил их наизусть.

— Прочтите «Родогуну», — сказал Гордон. — Говорят, это верх театрального совершенства; другие пьесы, доставившие вам столько удовольствия, по сравнению с нею немного стоят.

После первой же страницы молодой человек сказал:

— Это не того автора.

— Из чего вы это заключаете?

— Не знаю, но эти стихи ничего не говорят ни уму, ни сердцу.

— Но ведь таковы только самые стихи! — возразил Гордон.

— Зачем же тогда писать их? — сказал Простодушный.

Прочитав очень внимательно всю пьесу, ради того только чтобы поразвлечься, Простодушный уставился на своего друга удивленным взглядом сухих глаз и не знал, что сказать. Но так как от него требовали, чтобы он дал отчет в своих ощущениях, он вымолвил, наконец, вот что:

— Начала я не понял; середина меня возмутила; последняя сцена взволновала меня очень, хоть и показалась мало правдоподобной; никто не вызвал во мне сочувствия; я не запомнил и двадцати стихов, хотя я запоминаю их все до единого, когда они мне по душе.

— А между тем считается, что это лучшая наша пьеса.

— Если это так, — ответил Простодушный, — то возможно, что она подобна тем людям, которые зача-

стю бывают недостойны занимаемых ими мест. В конце концов это дело вкуса; мой вкус, должно быть, еще не сложился; я могу и ошибаться; но вам известно, что я привык говорить все, что думаю, или, скорее, что чувствую. Подозреваю, что людские убеждения часто зависят от обманчивых представлений, от моды, от прихоти. Я высказался сообразно своей природе; моя природа, может быть, весьма несовершенна, но может быть и так, что большинство людей недостаточно прислушивается к голосу своей природы.

Тогда он произнес несколько стихов из «Ифигении», которыми был полон, и хотя декламировал он неважно, однако вложил в свое чтение столько правды и умиленной мягкости, что вызвал у старого янсениста слезы. Затем он прочитал «Цинну»; тут он не плакал, а восхищался.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прекрасная Сент-Ив идет в Версаль

Пока наш несчастливец скорее просвещался, чем утешался, пока его способности, столь долго приглушенные, получали такое быстрое и мощное развитие, пока природа его, совершенствуясь, мстила за обиды, причиненные ему судьбой, — что случилось с господином приором, с доброй его сестрой и с прекрасной затворницей Сент-Ив? Первый месяц прошел в беспокойстве, а на третий месяц они погрузились в скорбь: пугали ложные догадки и неосновательные слухи; на исходе шестого месяца гурона сочли умершим. Напоследок г-н де Керкабон и его сестра узнали из письма, давным-давно отправленного королевским телохранителем в Бретань, что какой-то молодой человек, похожий на Простодушного, прибыл однажды вечером в Версаль, но что в ту же ночь его куда-то увезли и что с тех пор никто ничего о нем не слышал.

— Увы! — сказала м-ль де Керкабон, — наш племянник сделал, вероятно, какую-нибудь глупость и навлек на себя неприятности. Он молод, он — нижнебретонец, где ему знать, как вести себя при дворе. Дорогой братец, я не бывала ни в Версале, ни в Париже: вот отличный случай их посмотреть; мы разыщем, быть может, нашего

бедного племянника: это сын нашего брата, наш долг — помочь ему. Может быть, как знать, в конце концов, когда умерится в нем юношеский пыл, нам удастся возвести его в сан иподьякона. У него были большие способности к наукам. Помните, как он рассуждал о Ветхом и Новом Завете? Мы отвечаем за его душу; ведь это мы уговорили его креститься; его милая возлюбленная Сент-Ив плачет целыми днями. Надо в самом деле съездить в Париж. Если он застрял в одном из тех мерзких веселых домов, о которых я столько слышала, мы вызволим его оттуда.

Приора тронули речи сестры. Он отправился в Сен-Мало к епископу, который крестил гурона, и попросил у него покровительства и совета. Прелат одобрил мысль о поездке. Он снабдил приора рекомендательными письмами на имя отца де Ла Шез, королевского духовника и высшего сановника в королевстве, на имя парижского архиепископа Арлэ* и на имя мельдийского епископа Боссюэ.

Наконец брат и сестра пустились в путь; но, прибыв в Париж, они потерялись в нем, словно в обширном лабиринте без путеводной нити, без исхода. Средства у них были скромные, для розысков им каждый день требовался экипаж, а розыски не приводили ни к чему.

Приор отправился к преподобному отцу де Ла Шез, но у того сидела м-ль дю Трон и ему было не до приоров. Он толкнулся к архиепископу; прелат заперся с прекрасной г-жой де Ледигьер и занимался с ней церковными делами. Он помчался в загородный дом мельдийского епископа; тот в обществе м-ль де Молеон подвергал исследованию «Мистическую любовь» г-жи дю Гюйон. Ему удалось все же добиться, чтобы оба эти прелата выслушали его; оба заявили, что не могут заняться судьбой его племянника, так как он не иподьякон.

Напоследок он повидался и с иезуитом; отец де Ла Шез принял его с распростертыми объятиями, уверяя, что всегда питал к нему особое почтение, хоть и не был с ним знаком. Он поклялся, что их общество всегда было благо-расположено к нижнебретонцам.

— Однако же, — спросил он, — ваш племянник случайно не гугенот?

— Нет, преподобный отец, конечно нет.

— И не янсенист?

— Смею уверить, ваше преподобие, что и христиа-

нин-то он совсем недавний: мы крестили его всего одиннадцать месяцев тому назад.

— Вот и хорошо, вот и хорошо, мы о нем позаботимся. А доходен ли ваш приход?

— О, доход у меня ничтожный, а племянник обходится нам дорого.

— Нет ли у вас по соседству янсенистов? Будьте очень осторожны, дорогой господин приор: они опаснее гугенотов и атеистов.

— Их у нас нет, преподобный отец: в приходе Богоматери Горной не знают, что такое янсенизм.

— Тем лучше; нет такой вещи, поверьте, которой я не сделал бы для вас.

Он любезно проводил приора до дверей и мигом забыл о нем.

Время шло; приор и его сестра впадали в отчаяние.

Между тем гнусный судья торопил свадьбу своего долговязого олуха-сына с прекрасной Сент-Ив, которую ради этого выпустили из монастыря. Она попрежнему любила своего дорогого крестника в такой же мере, как ненавидела жениха, которого ей навязывали. От обиды на то, что ее заточили в монастырь, страсть только возрастала; приказание выйти замуж за сына судьи довершило беду. Сожаления, нежность и ужас волновали ей душу. Девичья любовь, как известно, куда более изобретательна и смела, чем привязанность старого приора и тетушки, которой перевалило за сорок. К тому же она очень развилась за время пребывания в монастыре, благодаря романам, которые читала украдкой.

Прекрасная Сент-Ив помнила про письмо, отправленное королевским телохранителем в Нижнюю Бретань и вызвавшее в свое время толки в провинции. Она решила, что сама разведает дело в Версале, бросится в ноги министрам, если верны слухи, что возлюбленный ее в тюрьме, и добьется его оправдания. Какое-то тайное чутье подсказывало ей, что при дворе красивой девушке не откажут ни в чем; но она не знала, во что это ей обойдется.

Приняв решение, она утешилась; она спокойна, не отталкивает больше болвана-жениха, приветливо встречает отвратительного свёкра, ласкается к брату, наполняет весь дом весельем; потом, в тот самый день, когда должна была состояться брачная церемония, уезжает тай-

ком в четыре часа утра, захватив с собой мелкие свадебные подарки и все, что удалось собрать. Все было так хорошо рассчитано, что когда около полудня зашли к ней в комнату, она была уже за десять льё от дома. Велико было общее изумление и уныние. Пытливый судья за один этот день задал столько вопросов, сколько не задавал в течение целой недели; нареченный же супруг превратился в еще худшего дурака, чем был раньше. Аббат де Сент-Ив решил всердцах пуститься в погоню за сестрой. Судья с сыном взялись его сопровождать. Таким образом, почти целый кантон Нижней Бретани оказался волею судьбы в Париже.

Прекрасная Сент-Ив догадывалась, что за ней погонятся. Она ехала верхом; она хитро выспрашивала у курьеров, не попадались ли им на парижской дороге толстый аббат, огромный судья и молодой олух. Узнав на третий день, что они где-то неподалеку, она свернула на другую дорогу и была столь ловка и удачлива, что добралась до Версаля, в то время как ее тщетно разыскивали в Париже.

Но как вести себя в Версале? Как было ей, молодой, красивой, лишенной советчика, лишенной поддержки, ни с кем не знакомой, подверженной всем опасностям, решиться на поиски королевского гвардейца? Она надумала обратиться к одному иезуиту низшего ранга: там водились всякие иезуиты, пригодные для людей любого состояния. Подобно тому как Бог, — говорили они, — даровал разным породам животных различную пищу, так даровал он и королю особого духовника, которого все искатели духовных должностей именовали «главой галликанской церкви»; далее следовали духовники принцесс; у министров не было духовных отцов: не так они были просты, чтобы обзаводиться ими. Были иезуиты, представленные к придворным служителям, и особые иезуиты при горничных, через которых выведывались тайны их хозяек, а это была немаловажная работа. Прекрасная Сент-Ив обратилась к одному из этих последних, именовавшемуся отцом Тут-а-тус*. Она отысповедалась у него, открыла ему все свои похождения, свое звание, свои страхи, и заклонила его поселить ее у какой-нибудь доброй богомолки, которая оградила бы ее от всех соблазнов.

Отец Тут-а-тус направил ее к жене придворного кладовщика, одной из самых верных своих духовных доче-

рей. Очутившись у нее в доме, м-ль де Сент-Ив поспешила завоевать доверие и дружбу этой женщины; навела у нее справки о бретонском гвардейце и пригласила его к себе. Узнав от него, что ее возлюбленный был увезен после разговора со старшим чиновником, она бежит к этому чиновнику; при виде красивой женщины он смягчился, ибо надо же согласиться с тем, что Бог только на то и создал женщин, чтобы смирать мужчин.

Делопроизводитель, разнежась, сознался ей во всем: — Ваш возлюбленный уже около года в Бастилии и, не будь вас, просидел бы там, быть может, всю жизнь.

Нежная Сент-Ив упала в обморок. Когда она пришла в себя, делопроизводитель сказал ей:

— Я неправомочен делать добро; вся моя власть сводится к тому, что я время от времени могу делать зло. Доверьтесь мне: ступайте к родственнику и любимцу монсеньора Лувуа, к господину де Сен-Пуанж, который творит и добро и зло. У нашего министра две души: одна из них — господин де Пуанж, другая — госпожа де Дюфренуа, но ее нет сейчас в Версале; выход остается вам один: умиловить указанного мною покровителя.

Прекрасная Сент-Ив, в которой малая радость боролась с крайней скорбью и некоторая надежда — с грустными опасениями, преследуемая братом, обожающая возлюбленного, утирая слезы и проливая их вновь, дрожа, слабея и снова набираясь мужества, устремилась к г-ну де Сен-Пуанж.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мыслительные успехи Простодушного

Простодушный быстро преуспевал в науках, особенно же в науке о человеке. Причина быстрого развития его умственных способностей заключалась почти столько же в дикарском его воспитании, сколько в душевных его свойствах, ибо, ничему не учившись в детстве, он не выучился и предрассудкам. Его мыслительный дар, не искривленный заблуждениями, сохранил всю свою прямоту. Он видел вещи такими, как они есть, вместо того чтобы, подобно нам, под действием представлений, сообщенных нам с детства, видеть их всю жизнь такими, какими они не бывают.

— Ваши гонители гнусны, — говорил он другу своему Гордону. — Я жалок тем, что меня притесняют, а вы жалки тем, что вы — янсенист. Всякая секта представляется мне скопищем заблуждений. Скажите, существуют ли секты в математике?

— Нет, дорогое дитя мое, — ответил ему со вздохом добрый Гордон. — Все люди единодушно признают истину, когда она доказана, но непомерны их раздоры, когда речь идет об истинах темных.

— Скажите лучше: о темных заблуждениях. Если бы под грудой доводов, которые пересматривались в течение стольких веков, таилась некая единая истина, ее, несомненно, открыли бы; и хоть на этот счет вселенная пришла бы к единодушному заключению. Если бы эта истина была нужна, как солнце нужно земле, она сверкала бы, как солнце. Нелепо, оскорбительно для всего рода человеческого и преступно в отношении Верховного и Бесконечного Существа утверждать, будто есть какая-то истина, существенно важная для человека, которую Бог утаил.

Все, что говорил юный невежда, научаемый природой, производило глубокое впечатление на ум несчастного старика-ученого.

— Неужели же это правда, — воскликнул он, — что я обрек себя на несчастье ради каких-то бредней? В существовании своего несчастья я уверен гораздо более, чем в существовании искупительной благодати. Я трачу дни на рассуждения о свободе Бога и рода человеческого, а своей свободы я лишился; ни блаженный Августин, ни Проспер Аквитанский не изведут меня из бездны, в которой я обретаюсь.

Простодушный, отдавшись велениям своей природы, сказал наконец:

— Хотите, чтобы я высказался доверчиво и смело? Тех, кто подвергается гонениям ради пустых схоластических споров, я нахожу не очень мудрыми; гонителей же их я считаю извергами.

Оба узника вполне сходились во взгляде на несправедливость их тюремного заключения.

— Я во сто крат более достоин сожаления, чем вы, — говорил Простодушный. — Я родился свободным, как воздух; было у меня две жизни: свобода и предмет моей любви; их отняли у меня. И вот оба мы в окопах, не зная

и не имея возможности спросить, за что. Двадцать лет прожил я гуроном; гуронов называют варварами, потому что они мстят врагам; но зато они никогда не притесняли друзей. Стоило мне только ступить на французскую землю, как я пролил за нее кровь; я спас, может быть, целую провинцию — и в награду за это ввергнут в эту усыпальницу живых, где без вас умер бы от бешенства. Или нет в этой стране законов? В Англии не так. Ах не с англичанами следовало мне биться.

Так нарождавшаяся его философия не могла укротить природу, чье наипервейшее право было поругано, и давала волю его праведному гневу.

Его товарищ не перечил ему. Разлука всегда усиливает неудовлетворенную любовь, а философия не умаляет ее. Простодушный говорил о своей дорогой Сент-Ив так же часто, как о морали и метафизике. Чем более очищались его чувства, тем крепче он ее любил. Он прочитал несколько новых романов. Только в очень немногих нашел он изображение своего душевного состояния. Он чувствовал, что сердце его всегда устремлялось за пределы прочитанного.

— Ах, — говорил он, — почти все эти писатели обладают только остроумием да мастерством.

Добрый священник-янсенист неприметно становится поверенным его нежности. В былые времена любовь была знакома ему только как грех, в котором каются на исповеди. Теперь он научился видеть в ней чувство, сколь благородное, столь и нежное, способное как возвысить душу, так и расслабить ее, а иной раз породить и добродетели. В конечном счете совершилось новое чудо: гурон обращал на путь истинный янсениста.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Прекрасная Сент-Ив не соглашается на щекотливые предложения

Итак, прекрасная Сент-Ив, преисполненная еще большей нежности, чем ее возлюбленный, отправилась к г-ну де Сен-Пуанж в сопровождении приятельницы, у которой жила, — обе, укрытые вуалями. Первый, кого увидела она в дверях, был ее брат аббат де Сент-Ив, выходяв-

ший оттуда. Она оробела, но набожная приятельница успокоила ее:

— Именно потому, что там говорили о вас дурно, должны и вы сказать свое слово. Будьте уверены, что в здешних краях обвинители всегда оказываются правы, если их во-время не опорочить. К тому же ваше появление произведет, — если предчувствие меня не обманывает, — гораздо большее действие, чем слова вашего брата.

Если ободрить страстно влюбленную женщину, она становится неустрашима. М-ль де Сент-Ив входит в приемную. Ее молодость, ее чарующая внешность, ее нежные очи, чуть увлажненные слезами, привлекли к себе все взоры. Все клеветы помощника министра забыли на миг о кумире власти, чтобы полюбоваться кумиром красоты. Сен-Пуанж провел ее в свой кабинет; речь ее была проникновенна и изящна. Сен-Пуанж был растроган. Она дрожала; он успокоил ее.

— Приходите сегодня вечером, — сказал он ей. — Ваши дела заслуживают того, чтобы поразмыслить и потолковать о них на досуге; здесь слишком много народа; прием посетителей производится слишком поспешно: надо основательно поговорить с вами обо всем, что касается вас.

Затем, воздав хвалу ее красоте и ее чувствам, он предложил ей притти в семь часов вечера.

Она явилась без опоздания; набожная приятельница сопровождала ее снова, но оставалась в гостиной и читала «Христианского педагога», пока Сен-Пуанж и прекрасная Сент-Ив находились во внутренних покоях.

— Поверите ли, сударыня, — начал он, — что ваш брат просил меня отдать приказ о взятии вас под стражу? По правде говоря, я охотнее отдал бы приказ о высылке его самого в Нижнюю Бретань.

— Увы, сударь, ваши канцелярии, видимо, очень щедры на подобные приказы, раз за ними приезжают, как за пенсиями, из самых глухих углов королевства. Я очень далека от намерения ходатайствовать о таком приказе в отношении моего брата. У меня много оснований жаловаться на него, но я уважаю людскую свободу; я прошу даровать свободу человеку, за которого намерена выйти замуж, человеку, которому король обязан спасением одной из провинций, который мог бы служить ему с пользой и который является сыном офицера, убитого

на королевской службе. В чем обвиняют его? Как это возможно, что с ним обошлись так жестоко, не выслушав его объяснений?

Тогда помощник министра показал ей письмо иезуита-сыщика и письмо коварного судьи.

— Как! И существуют же такие изверги на свете! И таким-то способом меня хотят насильно обвенчать со смехотворным сыном смехотворного и злого человека! И от таких-то наветов зависит здесь участь граждан!

Она упала на колени, она с рыданиями молила выпустить на волю честного человека, которого обожала. Состояние, в каком она находилась, выказало с самой выгодной стороны все ее прелести. Она была так хороша, что Сен-Пуанж, потеряв всякий стыд, намекнул на возможность полного успеха ее ходатайства, если она сперва подарит ему начатки того, что бережет для возлюбленного. М-ль де Сент-Ив в ужасе и смущении долго притворялась, что ничего не понимает; пришлось объясниться начистоту. Сдержанное слово, сорвавшееся с уст, породило другое, более сильное, за которым последовало и еще более выразительное. Была предложена не только отмена приказа об аресте, но и награда, деньги, почести, выгодные должности; и чем больше обещали, тем сильнее становилось желание не получить отказа.

М-ль де Сент-Ив плакала, задыхалась, полулежа на диване, едва веря тому, что видит, что слышит. Сен-Пуанж в свою очередь упал к ее ногам. Он был недурен собой и в другом, менее предубежденном сердце не вызвал бы испуга. Но м-ль де Сент-Ив обожала своего возлюбленного и считала, что изменить ему даже ради его пользы было бы страшным преступлением. Сен-Пуанж приумножал свои мольбы и обещания; напоследок голова пошла у него кругом и он заявил, что это — единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в судьбе которого она принимает такое бурное и нежное участие. Станный разговор затягивался. Богомолка в приемной, читая «Христианского педагога», приговаривала:

«Боже мой! что же это они делают там целых два часа? Никогда не случалось, чтобы монсеньор де Сен-Пуанж давал кому-нибудь такую продолжительную аудиенцию; может быть, он отказал бедной девушке наотрез, а она продолжает его упрашивать?»

Наконец ее приятельница вышла из внутренних покоев, растерянная, онемевшая, погруженная в глубокие размышления о нравах вельмож и полувельмож, которые так легко приносят в жертву людскую свободу и женскую честь.

За всю дорогу она не проронила ни слова. Лишь вернувшись домой, она не выдержала и рассказала подруге все. Богомолка принялась размашисто креститься.

— Моя дорогая, надо завтра же посоветоваться с нашим духовником, отцом Тут-а-тус; он в большой силе при господине де Сен-Пуанж; у него исповедуются многие служанки из этого дома; он человек благочестивый, доброжелательный и кое у кого из знатных дам тоже состоит духовным отцом; доверьтесь ему вполне; я поступаю именно так, и благодаря этому все складывается у меня хорошо. Нам, бедным женщинам, необходимо мужское руководство. Ну, так вот, милый друг, я схожу завтра к отцу Тут-а-тус.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Она советуется с иезуитом

Как только прекрасная, удрученная горем Сент-Ив оказалась наедине с добрым духовником, она поведала ему, что некий молодой могущественный сластолюбец предлагает ей выпустить из тюрьмы того, с кем она намерена сочетаться законным браком, и требует за эту услугу дорогой уплаты, что ей противна до ужаса подобная неверность и что, если бы речь шла о собственной ее жизни, ей легче было бы пожертвовать жизнью, чем пасть.

— Что за омерзительный грешник! — сказал отец Тут-а-тус. — Вам следовало бы сообщить мне имя этого дрянного человека; это наверняка какой-нибудь яansenист; я донесу на него его преподобию отцу де Ла Шез, и он отправит его в то обиталище, где находится сейчас ваш дорогой нареченный.

Несчастливая девушка после долгого замешательства и великой нерешимости назвала, наконец, имя Сен-Пуанжа.

— Монсеньор де Сен-Пуанж! — воскликнул иезуит. — Ах, дочь моя, это — совсем другое дело; он родня величайшему из всех министров, какие только бывали у нас, он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, верный христианин; такая мысль не могла ему и в голову притти; вы, наверное, плохо расслышали.

— Ах, отец мой, расслышала я слишком хорошо; как бы я ни поступила, все равно мне пропадать; либо горе, либо позор — другого выбора у меня нет: или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Допустить, чтобы он погиб, я не могу, а спасти его тоже не могу.

Отец Тут-а-тус постарался успокоить ее кроткими речами:

— Во-первых, дочь моя, не произносите никогда этих слов: «мой возлюбленный»; в этом есть нечто светское и богопротивное; говорите: «мой супруг», ибо, хоть он еще и не супруг ваш, однако же вы рассматриваете его как супруга; и это как нельзя более справедливо.

Во-вторых, хоть в мыслях ваших и в надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг; стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого всегда надо избегать по мере возможности.

В-третьих, человеческие деяния не греховны, когда вызваны чистым намерением, а нет ничего чище, чем намерение вернуть на свободу супруга.

В-четвертых, в святой древности имеются примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин повествует, что при проконсуле Септимии Акиндине в лето нашего спасения триста сороковое некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарево кесарю, приговорен был к смерти, как то и следует согласно правилу: «Где ничего нет, там теряют силу и королевские права». Дело шло о фунте золота; у осужденного была жена, которую Бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, если она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзываясь об ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее, возмож-

но даже, что и муж не избежал виселицы; однако же она сделала все, что могла, чтобы спасти ему жизнь.

— Будьте уверены, дочь моя, что уж если иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть этот святой изрек непреложную истину. Я ничего вам не советую, вы благоразумны; можно быть заранее уверенным, что вы поможете вашему мужу. Монсеньор де Сен-Пуанж порядочный человек, он вас не обманет; вот и все, что я могу вам сказать. Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к величайшей славе Божией.

Прекрасная Сент-Ив, которую речи иезуита испугали не менее, чем предложения помощника министра, вернулась к приятельнице совсем растерянная. Ей хотелось умереть, чтобы избавиться от страшной необходимости оставить в ужасной неволе возлюбленного, которого она обожала, и от позорной возможности освободить его ценой того, что было ей всего дороже и что должно было принадлежать только этому злосчастному возлюбленному.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Добродетель вынуждает ее пасть

Она просила приятельницу убить ее, но женщина эта, не менее благожелательная, чем иезуит, высказалась еще яснее, чем он.

— Увы! — проговорила она. — При этом дворе, столь любезном, столь изящном, столь прославленном, нет иного способа вести дела. Места, и самые посредственные и самые значительные, раздаются зачастую только за ту плату, какую требуют от вас. Послушайте, вы внушили мне доверие и приязнь; признаюсь вам, что, будь я так несговорчива, как вы, муж мой не занимал бы и той мелкой должности, которая дает ему возможность жить; он это знает, и, ничуть на это не сердясь, видит во мне благодетельницу, а на себя смотрит как на моего ставленника. Неужели вы думаете, что все те, кто стоял во главе провинций или даже армий, обязаны почестями и богатством одним только своим заслугам? Есть и среди них такие, которые в долгу за это у своих супругов. Высоких воинских званий домогались посредством любви, и место доставалось тому, чья жена всех красивее.

— Вы находитесь в положении, гораздо более волнующем: речь идет о том, чтобы выпустить на свет Божий вашего возлюбленного и чтобы выйти за него замуж; это священный долг, который надобно вам выполнить. Тех прекрасных и знатных дам, о ком я говорю, не осудил никто; вам будут рукоплескать, скажут, что вы позволили себе слабость от избытка добродетели.

— Ах, какая уж тут добродетель! — воскликнула красавица Сент-Ив. — Что за лабиринт несправедливостей! Что за страна, и какую надо пройти науку, чтобы узнать людей! Какой-то отец де Ла Шез и какой-то смехотворный судья сажают моего возлюбленного в тюрьму, моя родня воздвигает на меня гонение, и в горе моем мне протягивают руку помощи лишь затем, чтобы меня обесчестить. Один иезуит погубил честного человека, другой иезуит хочет погубить меня; кругом одни только западни, и я на краю величайших бедствий. Надо либо покончить с собой, либо поговорить с королем; я кинусь ему в ноги где-нибудь на пути его к обедне или в театр.

— Вас к нему не подпустят, — ответила ей приятельница. — А если бы вы, себе на беду, заговорили с ним, господин де Лувуа и преподобный отец де Ла Шез упрятали бы вас до скончания ваших дней в какой-нибудь монастырь.

В то время как эта почтенная особа усугубляла таким образом смущение отчаявшейся души и все глубже вонзала ей в сердце кинжал, от г-на де Сен-Пуанжа явился нарочный с письмом и с парой прекрасных серег. Сент-Ив со слезами отмахнулась от всего, но ее подруга сама занялась этим делом.

После ухода посланного наперсница сразу же прочитывает письмо, в котором обе приятельницы приглашаются вечером на ужин. Сент-Ив клянется, что не пойдет. Богомолка пытается примерить ей алмазные серьги. Сент-Ив не могла этого снести; целый день провела она в борьбе. Напоследок, помышляя только о возлюбленном, побежденная, влекомая силком, не зная, куда ее ведут, она, помимо своей воли, является на роковой ужин. Невозможно было убедить ее, чтобы она надела серьги; наперсница принесла их с собой и, перед тем как сесть за стол, насильно вдела их в уши подруге. Сент-Ив была так смущена, так взволнована, что не воспротивилась назойливым приставаниям приятельницы, а хозяин

усмотрел в этом доброе для себя предзнаменование. Под конец трапезы наперсница неприметно скрылась. Тогда хозяин показал распоряжение об отмене ареста, указ о крупной денежной награде, другой — о назначении командиром роты и не поспешил на иные посулы.

— Ах! — сказала ему Сент-Ив. — Как полюбила бы я вас, если бы вы не проявляли такого желания быть любимым!

Наконец, после долгого сопротивления, после рыданий, воплей, слез, ослабевшая от борьбы, растерянная, истомленная, она принуждена была сдаться. Ей оставалось только пообещать себе, что она будет помышлять лишь о Простодушном, в то время как жестокий будет безжалостно улаживать себя тем, к чему привела ее необходимость.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Она освобождает возлюбленного и яansenиста

На рассвете она летит в Париж, заручившись министерским приказом. Трудно описать, что делается дорогой у нее в сердце. Вообразите себе добродетельную и благородную душу, униженную своим позором, опьяненную нежностью, истерзанную укорами совести, что изменила возлюбленному, проникнутую радостным сознанием, что освободит предмет своего обожания! Память о вкушенной горечи, о борениях и об одержанном успехе примешивалась ко всем ее думам. Это была уж не прежняя простенькая девушка, с мыслью, ограниченной провинциальным воспитанием. Любовь и несчастье образовали ее. Чувство достигло в ней точно такого же развития, какого достиг разум в несчастном ее возлюбленном. Девушки легче научаются чувствовать, чем мужчины — мыслить. Ее приключения оказались назидательнее четырех монастырских лет.

Одета она была до крайности просто. С отвращением смотрела она на убор, в котором предстала вчера перед своим зловещим благодетелем; она оставила алмазные серьги приятельнице, даже не поглядев на них. Смущенная и очарованная, боготворя Простодушного и ненавидя себя, приближается она, наконец, к дверям.

Сей страшной крепости, дворца свирепой мести,
Где заточён порок с невинностью вместе*.

Когда выходила она из кареты, силы ей изменили; ей помогли сойти наземь; она вошла с трепетом в сердце, со слезами на глазах, с печатью скорби на челе. Ее приводят к начальнику; она хочет заговорить с ним; голоса нет; она показывает приказ, едва пролепетав несколько слов. Начальнику по душе был узник; он порадовался его освобождению. Сердце у него не ожесточилось, как у некоторых его собратьев, у тех почтенных тюремщиков, которые, помышляя только о жалованьи, положенном за охрану заключенных, умножая свои доходы на счет своих жертв и строя свое благоденствие на чужой беде, почерпают вместе с тем ужасную радость в слезах несчастливцев.

Он вызывает узника к себе. Любовники встречаются и оба теряют сознание. Прекрасная Сент-Ив долго оставалась недвижна и бездыханна; он же вскоре пришел в себя.

— Это, видимо, ваша супруга, — сказал ему начальник. — Вы не говорили мне, что женаты. Ее великодушным заботам вы, как мне передавали, обязаны своим освобождением.

— Ах, я недостойна быть его женой, — проговорила дрожащим голосом прекрасная Сент-Ив и снова упала в обморок.

Очнувшись, она, попрежнему дрожа, показала указ о денежной награде и письменное обязательство дать Простодушному под команду роту. Простодушный, столько же удивленный, сколь и умиленный, пробуждался от одного сна, чтобы впасть в другой.

— За что держали меня здесь? Как удалось вам вызволить меня отсюда? Где изверги, заточившие меня сюда? Вы — божество, сошедшее с неба, чтобы спасти меня.

Прекрасная Сент-Ив потупляла взор, взглядывала на возлюбленного, краснела и тотчас же отводила в сторону глаза, увлажненные слезами. Она сообщила ему, наконец, все, что знала, и все, что испытала, за исключением лишь того, что желала бы навсегда скрыть и от самой себя и что всякий другой, кроме Простодушного, более привычный к свету и более посвященный в придворные обычаи, разгадал бы без труда.

— Как же это может быть, чтобы какой-то негодяй, вроде этого судьи, мог лишить меня свободы? Ах, вижу я, что бывают люди, подобные самым мерзким животным; всякий может тебе навредить. Но возможно ли все-таки, чтобы монах, иезуит, королевский духовник содействовал моему несчастью в такой же мере, как и этот судья, причем я даже представить себе не могу, под каким предлогом этот гадкий проходимец подвергал меня гонениям? Уж не объявил ли он меня янсенистом? Но как все же могли вы помнить обо мне? Я этого не заслужил: в те времена я был всего лишь дикарем. И вы решились, не получив ни от кого ни совета, ни помощи, предпринять путешествие в Версаль? Вы появились там, и меня расковали. Есть, стало быть, в красоте и в добродетели непобедимое очарование, перед которым рушатся железные ворота и смягчаются медные сердца!

При слове «добродетель» у прекрасной Сент-Ив вырвались рыдания. Она не создала, сколько добродетели было в том преступлении, за которое она себя корила.

— Ангел, расторгнувший мои узы, — продолжал ее возлюбленный, — если у вас оказались такие (еще непонятные мне) сильные связи, что вам удалось добиться моего оправдания, то добейтесь того же и для некоего старца, который впервые научил меня мыслить, подобно тому как вы научили меня любить. Горе сблизило нас с ним; я люблю его, как родного отца, и не могу жить ни без вас, ни без него.

— Я? Чтобы я обратилась с ходатайством к человеку, который...

— Да, я хочу, чтобы всем я был обязан вам и навеки только вам: напишите этому влиятельному человеку, осыпьте меня благодеяниями, довершите начатое, довершите ваши чудеса.

Она чувствовала, что надо исполнить все, чего требует возлюбленный; она села писать; рука не повиновалась. Трижды принималась она за письмо и трижды разрывала его на части; наконец написала все-таки, и оба любовника вышли из тюрьмы, обняв на прощание мученика искупительной благодати.

Счастливая и скорбная Сент-Ив знала, в каком доме живет ее брат; она пошла туда; ее возлюбленный снял комнату там же.

Не успели они притти, как ее покровитель уже прислал ей приказ об освобождении из-под стражи добряка Гордона и просьбу о свидании на завтра. Итак, ценою каждого правого и великодушного ее дела было бесчестие. Обычай торговать людским счастьем и несчастьем вызывал в ней негодование. Приказ об освобождении она передала возлюбленному и отказалась от свидания с благодетелем, при виде которого умерла бы от горя и стыда. Простодушный согласился расстаться с ней только затем, чтобы освободить друга: он полетел туда. Он выполнил этот долг, размышляя о странных событиях мира сего и восхищаясь отважной добродетелью девушки, которой два несчастливца обязаны были более чем жизнью.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Простодушный, прекрасная Сент-Ив и их родственники оказываются в сборе

Великодушная и достойная уважения изменница находилась в обществе брата аббата де Сент-Ив, приора храма Богоматери Горной и м-ль де Керкабон. Все были в одинаковой мере удивлены; но положение и чувства были у всех различные. Аббат де Сент-Ив оплакивал свою вину у ног сестры, которая его прощала. Приор и нежная его сестра плакали тоже, но от радости; негодяй-судья и несносный его сын не нарушали этой трогательной сцены. Они уехали при первом же слухе об освобождении их врага; они поспешили укрыть в провинциальной глуши свою глупость и свои страхи.

Всех четырех обуревало множество самых разнообразных тревог, пока дождались они возвращения молодого человека и его друга, которого пошел он освобождать. Аббат де Сент-Ив не смел взглянуть сестре в глаза. Добрая Керкабонша приговаривала:

— Итак, я снова увижусь с моим дорогим племянником!

— Вы с ним увидите, — сказала очаровательная Сент-Ив, — но он уже не тот, что прежде. Осанка, тон, образ мыслей, самый ум — все стало у него иное. Насколько прежде он был несведущ в жизни и от всего

отрешен, настолько теперь это человек, внушающий к себе почтение. Он станет честью вашей семьи и ее утешением; мне же не суждено осчастливить свою семью!

— Вы тоже не та, что прежде, — сказал приор. — Что произвело в вас такую огромную перемену?

Разговор продолжался, когда появился Простодушный рука об руку с янсенистом. Тогда разыгралась новая, еще более трогательная сцена. Началась она с нежных объятий дядюшки и тетушки. Аббат де Сент-Ив чуть не падал на колени перед Простодушным, который перестал быть простодушным. Любовники переговаривались взглядами, выразившими все чувства, которыми были они проникнуты. На лице одного сияло удовлетворение и благодарность; в нежных, несколько растерянных очах другой читалось смущение. Казалось удивительным, что к ее великой радости примешивается скорбь.

Старик Гордон мгновенно стал дорог всей семье. Он терпел страдания вместе с юным узником, и это наделило его великими правами. Своей свободой он обязан был двум любовникам: это одно примиряло его с любовью; сердце его избавилось от суровости былых его воззрений: он, подобно гурону, стал человеком. В ожидании ужина каждый поведал о своих злоключениях. Оба аббата и тетка слушали, как дети, которым рассказывают сказку о привидениях, и как люди, в равной степени взволнованные повестью о столь тяжких бедствиях.

— Увы, — сказал Гордон, — более пятисот добродетельных людей томится, может быть, в тех самых оковах, какие сумела разбить мадемуазель де Сент-Ив: никому не ведомо их горе. Чтобы расточать удары по головам несчастных — на это хватает рук, а рука помощи протягивается к ним редко.

Это столь справедливое рассуждение вызвало у старика новый прилив умиления и благодарности: все это придавало торжеству прекрасной Сент-Ив еще большую значительность; восторгались величием и твердостью ее души. К восторгу примешивалось и то почтение, какое невольно вызывает человек, имеющий, по общему мнению, вес при дворе. Однако аббат де Сент-Ив приговаривал время от времени:

— Как это удалось моей сестре сразу же приобрести такой вес?

Собрались пораньше сесть за стол; но вот появляется версальская приятельница, ничего не знавшая о том, что произошло за этот день; она подкатила в карете на шестерке лошадей, и было ясно, чей это выезд. Она входит с внушительным видом придворной особы, прибывшей по важному делу, приветствует собравшихся легким кивком головы и отводит в сторону прекрасную Сент-Ив.

— Что вы мешкаете? Едем со мной; вот забытые вами алмазы.

Ей не удалось произнести эти слова так тихо, чтобы их не услышал Простодушный; он увидел алмазы; брат был ошеломлен; дядюшка и тетюшка были только поражены в простоте душевной невиданным великолепием серег. Молодого человека, которого воспитал год углубленных размышлений, это невольно повергло в раздумье, и на минуту он, видимо, смутился. Его возлюбленная это заметила; смертельной бледностью покрылось прекрасное ее лицо; ее пробрала дрожь; она еле держалась на ногах.

— Ах, сударыня! — сказала она злополучной своей приятельнице. — Вы погубили меня! Вы меня убиваете!

Эти слова пронзили сердце Простодушному; но он научился теперь владеть собой; он не отозвался на них из опасения встревожить возлюбленную в присутствии брата, однако побледнел, как и она.

Сент-Ив, потеряв голову при виде того, как изменился в лице ее любовник, выводит женщину из комнаты в тесные сени и швыряет на пол алмазы.

— Ах, не они соблазнили меня, вы же это знаете; но тот, кто подарил их, не увидит меня больше никогда.

Подруга подобрала серьги, а Сент-Ив продолжала: — Пусть возьмет он их себе или подарит вам. Ступайте, не заставляйте меня больше стыдиться самой себя.

Посланница удалилась наконец, так и не поняв тех угрызений совести, свидетельницей которых она была.

Прекрасная Сент-Ив, подавленная, испытывая и телесное потрясение, не дававшее ей дышать, была принуждена улечься в кровать; но, чтобы никого не испугать, она умолчала о своих болезненных ощущениях и, ссылаясь только на усталость, попросила разрешения отдо-

хнуть; и то после того, как успокоила все общество утешительными и ласковыми словами и кинула на любовника несколько взглядов, от которых воспламенилась его душа.

Ужин, не одушевленный прекрасной Сент-Ив, вышел по началу грустный, но это была содержательная грусть, порождающая увлекательную и полезную беседу, столь отличную от легкомысленной веселости, за которой так гонятся и которая сводится обычно лишь к докучному шуму.

Гордон рассказал вкратце историю янсенизма и моллинизма, преследований, которым одна сторона подвергала другую, и упорства, проявленного обеими. Простодушный подверг все это критической оценке и высказал сожаление по поводу того, что люди, не довольствуясь теми распрями, какие разгораются между ними на почве насущных потребностей, создают себе еще новые страдания ради потребностей воображаемых и каких-то непостижимых нелепостей. Гордон повествовал, а тот высказывал суждения; остальные слушали с волнением, и новым светом озарялись их умы. Толковали о длительности наших невзгод и о краткости жизни. Заметили, что в каждом ремесле есть нечто порочное и нечто опасное и что, повидимому, всякий человек, будь то государь или нищий, служит укором природе. Как это возможно, что находится столько людей, которые за какие-то гроши соглашаются быть гонителями, истязателями и палачами других людей? С каким нечеловеческим равнодушием сановный человек подписывает приказ, разрушающий счастье семьи, и с какой еще более варварской радостью наемники выполняют этот приказ!

— В юности, — сказал добряк Гордон, — я встречался с родственником маршала де Марильяка*, скрывавшимся в Париже под вымышленным именем из-за преследований, которым он подвергался у себя в провинции в связи с делом этого знаменитого несчастливца. Это был семидесятидвухлетний старик. В таких же примерно годах была и его жена, проживавшая с ним. У них был распутный сын, который в четырнадцатилетнем возрасте бежал из родительского дома; став солдатом, а потом дезертиром, он прошел все ступени разврата и нужды; наконец, приняв новую фамилию по имени поместья, он поступил в гвардию кардинала де Ри-

шелье (ибо у этого священнослужителя, как и у Мазарини, была своя гвардия); в этом сборище сателлитов он стал ефрейтором. Этому проходимцу было поручено арестовать старика и его супругу, и он исполнил это со всей жестокостью человека, желающего угодить хозяину. Конвоируя их, он слышал, как его жертвы жалуются на длинную вереницу бедствий, испытанных ими с колыбели. Распутство сына и его побег были в глазах отца и матери одним из величайших несчастий их жизни. Он узнал родителей и тем не менее отвел их в тюрьму, утверждая, что ради службы его преосвященству надо жертвовать всем. Его преосвященство наградило его за усердие.

— Я видел, как некий шпион отца де Ла Шез предал своего родного брата в надежде получить выгодную духовную должность, которая, однако, так ему и не досталась; и видел я, как он умер, но не от угрызений совести, а от досады, что иезуит его обманул.

— Обязанности духовника, которые исполнял я долгое время, познакомили меня с семейным бытом; я не видал ни одной семьи, которая не утопала бы в горечи, тогда как вне дома, прикрывшись личиной счастья, они, казалось, купались в весельи; и заметил я, что великие горести оказываются всегда плодом нашего необузданного корыстолюбия.

— Что касается меня, — сказал Простодушный, — то я полагаю, что человек с честной, благородной и чувствительной душой может прожить счастливо; я твердо рассчитываю, что в союзе с прекрасной и великодушной Сент-Ив я буду вкушать ничем не омраченное блаженство; ибо льщу себя надеждой, — добавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к ее брату, — что не получу от вас отказа, как в прошлом году, и что сам я на этот раз поведу дело более пристойным образом.

Аббат рассыпался в извинениях и в уверениях, что преданность его безгранична.

Дядюшка Керкабон сказал, что день этот будет прекраснейшим днем его жизни. Добрая тетюшка, восторгаясь и плача от радости, воскликнула:

— Я же говорила, что никогда не будете вы иподьяконом! Это таинство еще лучше, чем то; Бог не дал мне удостоиться такой чести! Но я замену вам мать.

Тут все наперебой принялись славословить нежную Сент-Ив.

У ее возлюбленного сердце было так переполнено тем, что она сделала для него, он так любил ее, что происшествие с алмазами не смутило его. Но слова, отчетливо им услышанные: «вы меня убиваете», продолжали его пугать и отравляли ему радость, в то время как от похвал, которыми осыпали его прекрасную возлюбленную, все возрастала его любовь. Напоследок перестали толковать о ней одной и повели речь о заслуженном обоими любовниками счастье; сговаривались, как бы поселиться всем вместе в Париже; строили предположения о грядущем богатстве и славе; предавались всем тем надеждам, которые так легко зарождаются при малейшем проблеске счастья. Но Простодушный, повинаясь какому-то тайному чувству, гнездившемуся в глубине души его, отталкивал от себя эту мечту. Он перечитывал обязательство за подписью Сен-Пуанжа и указы за подписью Лувуа. Ему изобразили этих двух людей такими, какими были они на самом деле, или какими слыли; каждый из присутствующих высказывал суждения о министрах и о министерстве с той застойной свободой, которая во Франции рассматривается как самая драгоценная из всех доступных на земле свобод.

— Будь я французским королем, — сказал Простодушный, — вот кого выбрал бы я в военные министры; мне бы хотелось, чтобы это был человек знатнейшего рода, ибо ему приходится иметь под началом дворян; я бы потребовал, чтобы это был офицер, прошедший все чины, чтобы это был по меньшей мере генерал-лейтенант армии, достойный производства в маршалы Франции; ибо разве не должен сам он послужить, чтобы узнать как следует все мелочи службы? И не стали бы разве офицеры во сто крат охотнее выполнять приказы военного человека, который, как и они, сотни раз выказывал мужество, чем приказы кабинетного человека, который, как бы ни был он умен, может руководить боевыми действиями только наугад? Я был бы непрочь, чтобы мой министр был щедр, хотя бы королевскому казначею это и причиняло иной раз затруднения. Мне было бы приятно, если бы работалось ему легко, если бы даже он отличался той веселостью ума, которая является уделом наиболее даровитых деятелей; она по душе народу, и благодаря ей все обязанности становятся менее тягостными.

Ему хотелось, чтобы у министра был именно такой нрав, ибо он замечал, что хорошее расположение духа несовместимо с жестокостью.

Монсеньор де Лувуа остался бы, может быть, недоволен пожеланиями Простодушного; его достоинства были иного рода.

Пока сидели за столом, болезнь несчастной девушки приняла пагубный оборот: в крови поднялся жар, объявилась убийственная лихорадка; она страдала, но не жаловалась из внимания к гостям, не желая отравлять им радость.

Брат, зная, что она не спит, подошел к ее изголовью: он был поражен ее состоянием. Сбежались все; вслед за братом явился и возлюбленный. Он был, разумеется, всех более встревожен и расстроен; но ко всем дарам, какими наделила его природа, он научился теперь присоединять еще и сдержанность, и тонкое чутье приличий становилось преобладающим его свойством.

Тотчас же вызвали жившего по соседству врача. Он был из тех, что осматривают больных всегда наспех, путают только что виденную перед тем болезнь с тою, какую видят сейчас, и применяют вслепую положения такой науки, которая не перестает быть неверной и опасной даже и тогда, когда ей на помощь приходит вся зрелость здорового и осмотрительного ума. Он ухудшил положение больной, прописав на скорую руку модное в то время лекарство. Гнались за модой даже в медицине! В Париже это было повальное помешательство.

Печаль м-ль Сент-Ив еще больше, чем врач, содействовала тому, чтобы болезнь сделалась опасной. Душа убивала тело. Множество обуревавших ее мыслей вливали в нее яд, более опасный, чем самая лютая горячка.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Прекрасная Сент-Ив умирает, и какие приостекают отсюда последствия

Позвали другого врача: этот, вместо того чтобы помочь природе и дать ей полную свободу в борьбе за молодое существо, все органы которого зывали к жизни, занялся только перекурами с собратом по ремеслу. Через два дня болезнь стала смертельной. Мозг,

который считается обиталищем мыслительных способностей, был поражен так же сильно, как и сердце, которое, как говорят, является обиталищем страстей.

Какая непонятная механика подчинила наши органы воздействию чувства и мысли? Как может одна горестная дума нарушить обращение крови? И как, в свою очередь, расстройство кровообращения может повлиять на мыслительные способности человека? Какой неведомый, но бесспорно существующий ток, более быстрый и более деятельный, чем свет, проносится по всем жизненным руслам, порождает ощущения, воспоминания, грусть или веселье, разумное суждение или помрачение рассудка, заставляет вспоминать с ужасом о том, что хотелось бы забыть, и обращает мыслящее животное либо в предмет восхищения, либо в причину жалости и слез.

Так думалось доброму Гордону; но эти столь естественные мысли, которые, однако, так редко приходят людям в голову, ничуть не умаляли его огорчения, ибо он не принадлежал к числу тех несчастных философов, которые силятся быть бесчувственными. Участь девушки печалила его, как отца, наблюдающего за медленным умиранием любимого ребенка. Аббат де Сент-Ив был в отчаянии; у приора и у его сестры слезы лились ручьем. Но кто сумел бы описать состояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать выражений, которые отвечали бы этому пределу страданий: человеческие наречия слишком несовершенны.

Тетушка, сама еле живая, поддерживала немощными руками голову умирающей; в ногах кровати преклонил колена брат; возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал; он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой, жизнью, половиной своего существа, своей возлюбленной, своей супругой. При слове «супруга» она вздохнула, поглядела на него с невыразимой нежностью и вдруг вскрикнула от ужаса; потом, в один из тех промежутков, когда изнеможение, подавленность и страдания не так давали себя знать и душа ее обретала свободу и силу, она воскликнула:

— Я? Ваша супруга? О дорогой возлюбленный, это звание, это счастье, эта награда были не для

меня; я умираю и заслужила эту участь! О владыка сердца моего! О вы, кого принесла я в жертву адским демонам, все кончено, я понесла наказание, живите счастливо.

В этих нежных и страшных словах крылась неразрешимая загадка; но во все сердца заронили они ужас и умиление; у нее хватило мужества объясниться. При каждом ее слове все присутствующие вздрагивали от изумления, от горести и от жалости. Все, как один, прониклись ненавистью к могущественному человеку, который сумел устранить ужасную несправедливость лишь путем преступления, а из достойной всякого уважения невинности сделал себе сообщника.

— Как? Вы виновны? — сказал ей возлюбленный. — Нет, вы неповинны ни в чем; преступление может быть совершено только в тайниках сердца; а ваше сердце предано добродетели и мне.

Он подтверждал свои чувства словами, и каждое, казалось, возвращало жизнь прекрасной Сент-Ив. Она чувствовала, что утешилась, и была удивлена, что ее продолжают еще любить. Старый Гордон осудил бы ее в былые времена, когда был всего лишь янсенистом; но теперь, став мудрецом, воздавал ей должное уважение и плакал.

В то время как столько было слез и тревог, когда опасениями за жизнь дорогой девушки полны были все сердца и все были удручены, — вдруг говорят, что прибыл посланный от двора. Посланный! От кого же? И зачем? Оказалось, что явился он от имени королевского духовника к приору храма Богородицы Горной; но писал не отец де Ла Шез, а брат Вадблэ, его лакей, человек в ту пору очень влиятельный: это он передавал архиепископам волю его преподобия, он принимал посетителей, он обещал духовные должности, он рассылал иной раз приказы о взятии под стражу. Он писал аббату храма Богородицы Горной, «что его преподобие осведомлено о том, что произошло с его племянником, что тюремному заключению он был подвергнут лишь по ошибке, что такие мелкие неприятности случаются часто, что не надо обращать на них внимания, что приору надлежит завтра привести на прием своего племянника, что ему следует захватить с собой и добряка Гордона, что он, брат Вадблэ, представит их его

преподобию и монсеньору де Лувуа, который скажет им несколько слов у себя в приемной».

Он добавлял, что про историю Простодушного и про бой его с англичанами было доложено королю, что король, наверное, соизволит заметить его, когда будет следовать по галлерее, — может быть, даже кивнет ему головой. В конце письма выражалась надежда, что все придворные дамы поспешат пригласить его племянника присутствовать при своем туалете, что многие из них скажут ему: «Здравствуйте, господин Простодушный» и что о нем, несомненно, будет говорено за королевским столом. Под письмом была подпись: «Любящий вас Вадблэ, брат-иезуит».

Когда приор прочитал вслух это письмо, племянник его рассвирепел, но, совладав на время со своим гневом, ничего не сказал подателю письма; обернувшись к товарищу по несчастью, он спросил, какого мнения тот о слоге этого послания. Гордон ответил:

— Вот способ обращаться с людьми, словно с обезьянами! Их бьют, а потом заставляют плясать.

Простодушный, став снова самим собой, что случается всегда при больших душевных потрясениях, изорвал письмо в клочки и швырнул посланному в лицо:

— Вот мой ответ.

Его дядюшке почудилось со страху, будто грянул гром и будто целых два десятка приказов об аресте свалились ему на голову. Он быстро настроил ответ и извинился, как умел, за племянника, допустившего то, в чем приор усмотрел юношескую заносчивость и что было в действительности вспышкой душевного величия.

Однако более тягостные заботы заполнили тем временем все сердца. Несчастливая красавица Сент-Ив чувствовала уже, что близится конец; она пребывала в покое, но это был ужасный покой, — ослабевший организм был уже не в силах бороться.

— О дорогой возлюбленный! — говорила она угасающим голосом. — Смерть карает меня за слабость; но перед кончиною я утешаюсь сознанием, что вы на свободе. Я обожаю вас, когда вам изменяла, и обожаю, прощаясь с вами навек.

Она не рядилась в покрывало ненужной твердости;

ей чуждо было жалкое тщеславие, которое ждет, чтобы два-три соседа сказали: она мужественно приняла смерть. Можно ли без сожалений и без раздражающей душу тоски потерять в двадцать лет возлюбленного, жизнь и то, что именуется «честью»? Она чувствовала весь ужас своего состояния и давала почувствовать его другим посредством слов и меркнущих взглядов, которым присуща такая властная выразительность. И плакала она, как остальные, в те минуты, когда хватало сил плакать.

Пусть селятся иные превозносить пышную кончину тех, кто впадает в небытие бесчувственно, — но ведь таков жребий любого животного. Мы же только тогда умираем так равнодушно, когда возраст или болезнь уподобляют нас животным, притупляя наши органы. У кого великие утраты, у того и великие сожаления; если же он заглушает их, стало быть вплоть до объятий смерти таит он в себе тщеславие.

Когда наступило роковое мгновение, у всех присутствующих брызнули слезы и вырвались крики. Простодушный лишился чувств. У людей, сильных духом, — если свойственна им нежность, — чувства проявляются более бурно, чем у других. Добрый Гордон, который знал его достаточно хорошо, опасался, как бы, придя в себя, не покончил он с собой. Убрали все оружие; несчастный молодой человек заметил это; без слез, без стонов, без волнения сказал он своим родственникам и Гордону:

— Неужели вы думаете, что есть на земле хоть кто-нибудь, кто имел бы право и кто мог бы воспрепятствовать моему самоубийству?

Гордон воздержался от повторения тех скучных общих мест, при помощи которых пытаются доказать, что не дозволено, злоупотребляя свободой, прекращать свое существование, когда становится тебе до ужаса плохо, что не следует уходить из дому, когда не можешь там больше жить, что человек на земле — как солдат на посту; будто Существом существ есть дело до того, в том ли, или в другом месте находится данное соединение нескольких частиц материи: бессильные доводы, которых не послушает твердое и рассудительное отчаяние и на которые Катон ответил ударом кинжала*.

Угрюмое и грозное молчание Простодушного, мрачные его глаза, дрожащие губы, озноб, пробежавший по его телу, — все это вселяло в сердца тех, кто глядел на него, ту смесь сочувствия и ужаса, которая сковывает все душевные способности, исключает возможность речи и проявляется только в виде несвязных слов. Пришла хозяйка с семьей: все трепетали при виде его отчаяния, с него не спускали глаз, следили за всеми его движениями. Оледеневшее тело прекрасной Сент-Ив было вынесено уже в залу с низким потолком, подальше от глаз возлюбленного, который, казалось, еще искал ее, хоть видеть ничего уже больше не мог.

В то время как смерть являла такое зрелище, когда тело выставлено было у дверей дома, и два священника, стоя у кропильницы, рассеянно читали молитвы, а прохожие от нечего делать брызгали на гроб святой водой или равнодушно шли своей дорогой, когда родные плакали, а любовник готов был лишиться себя жизни, — является вдруг Сен-Пуанж с версальской приятельницей.

Мимолетная прихоть, только единожды удовлетворенная, обратилась у него в любовь. Отказ от его благодетельных задел его за живое. Отец де Ла Шез никогда не подумал бы заглянуть в этот дом; но Сен-Пуанж, непрестанно видя перед собой образ прекрасной Сент-Ив, горя желанием утолить страсть, которая после однократного наслаждения вонзилась в его сердце жалом вожделений, сам, не колеблясь, пришел за той, с кем не захотел бы видеться и трех раз, если бы она явилась к нему по собственному почину.

Он выходит из кареты; первое, что он видит, — это гроб; он отводит глаза с естественным отвращением человека, вскормленного наслаждениями и считающего, что он должен быть избавлен от зрелища людского горя. Он собирается войти в дом. Женщина из Версаля спрашивает из любопытства, кого хоронят; произносится имя м-ль де Сент-Ив. При этом имени она бледнеет и громко вскрикивает; Сен-Пуанж оборачивается: изумлением и скорбью наполняется его душа. Добрый Гордон был тут же, весь в слезах. Прервав печальные свои молитвы, он сообщает царедворцу об ужасной катастрофе. Он говорит с той властью, которой наделяют человека скорбь и добродетель. Сен-Пуанж не был по при-

роде злым; поток дел и забав увлек его душу, не успевшую познать себя. Он был еще далек от старости, которая ожесточает обыкновенно сердца вельмож; он слушал Гордона, потупившись, и утер несколько слезинок, пролившихся к собственному его удивлению; он изведal раскаяние.

— Я непременно хочу повидать, — сказал он, — этого необыкновенного человека, о котором вы мне рассказали; он приводит меня почти в такое же умиление, как та невинная жертва, что умерла по моей вине.

Гордон следует за ним в комнату, где приор, м-ль де Керкабон, аббат де Сент-Ив и кое-кто из соседей приводят в чувство молодого человека, лишившегося сознания.

— В вашем несчастье повинен я, — сказал ему помощник министра, — я потрачу всю жизнь на то, чтобы его загладить.

Первым побуждением Простодушного было убить его, а затем убить и себя. Это было бы всего уместнее; но он был безоружен, и следили за ним зорко. Сен-Пуанжа не расхолодили отказы, сопровождавшиеся укорами и знаками презрения и отвращения, которых он заслуживал и которые были ему выражены.

Время смягчает все. Монсеньору де Лувуа удалось в конце концов сделать из Простодушного превосходного офицера, который под другим именем появился в Париже и в армии, заслужив одобрение всех порядочных людей, и который неизменно выказывал отвагу и как воин, и как философ.

О былом он никогда не говорил без стенаний, а между тем все его утешение было в том, чтобы говорить о нем. До последнего мига жизни чтил он память нежной Сент-Ив. Аббат де Сент-Ив и приор получили оба выгодные духовные должности. Добрая Керкабонша утвердилась в убеждении, что воинские почести — лучший удел для ее племянника, чем сан иподьякона. Алмазные серьги так и остались у версальской богемки, которая получила еще один прекрасный подарок. Отец Тут-а-тус наполучал много коробок шоколада, кофе, леденцов, лимонных цукатов, а в придачу еще «Размышления преподобного отца Круазэ» и «Цвет святости» в сафьяновых переплетах. Добрый Гордон прожил до

самой смерти в теснейшей дружбе с Простодушным; он тоже получил хороший приход и навсегда позабыл и об искупительной благодати и о соприсутствующей помощи. Девиз он избрал себе такой: «От несчастья бывает прок». Сколько есть на свете порядочных людей, которые могли бы сказать: «От несчастья нет никакого проку».





МИКРОМЕГАС *

(*Micromegas*)

Философская история

(1 7 5 2)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Путешествие обитателя звезды Сириус на планету Сатурн

На одной из тех планет, которые кружатся вокруг звезды, именуемой Сириусом, жил молодой человек — большой умница, с которым я имел честь познакомиться во время его последнего путешествия по нашему маленькому муравейнику. Его звали Микромегас — имя, весьма подходящее для всех великих. Рост его равнялся восьми лье: под восемью лье я разумею 24 тысячи геометрических шагов, по 5 футов каждый.

Некоторые алгебраисты, люди весьма полезные обществу, сейчас же возьмут перо и высчитают, что, поскольку господин Микромегас, обитающий в странах Сириуса, имеет от головы до пят 24 тысячи шагов, что составляет 120 тысяч футов, в то время как мы, жители земли, имеем едва 5, и окружность нашей планеты равняется 9 тысячам миль, то следовательно, — скажут они, — совершенно очевидно, что планета, которая его породила, в 21 миллион 600 тысяч раз больше, чем наша маленькая Земля. В природе это явление совершенно естественное и простое. Владения некоторых государей Германии и Италии, которые можно объехать в какиенибудь полчаса, при сравнении их с империями Турции,

Московии или Китая дают лишь слабое представление о тех удивительных контрастах, которые заложены во все сущее.

Так как стан его сиятельства был указанной мною высоты, то все наши ваятели и живописцы легко соглашались с тем, что в объёме он имел 50 тысяч футов; в целом это очень милая пропорция. А так как нос его составлял треть его прекрасного лица, а его прекрасное лицо седьмую часть его прекрасного тела, то следует признать, что этот нос жителя Сириуса был длиною в 6 тысяч 333 фута с какой-то дробью, что и требовалось доказать.

Что касается его ума, то это один из наиболее просвещённых умов, которые нам известны; он знает множество вещей и даже изобрёл некоторые из них; ему не было ещё и 250 лет, и он ещё учился, согласно обычаю, в иезуитском коллеже своей планеты, когда собственным разумением он постиг более пятидесяти теорем Эвклида*. Следовательно, восемнадцатью больше, чем Блез Паскаль, который, постигнув тридцать две, играючи, как говорит его сестра, стал после этого довольно посредственным геометром и очень плохим метафизиком. К 450-м годам, — на пороге отрочества — Микромегас занялся анатомическим исследованием некоторых из тех крохотных насекомых, которые не имеют и сотни футов в диаметре и не поддаются наблюдению в обычный микроскоп; он написал о них весьма любопытную книгу, которая, однако, доставила ему кое-какие хлопоты. Муфти его страны, великий бездельник и большой невежда, нашел в его книге положения подозрительные, неблагоприятные, дерзкие, и прямо отдающие ересью, еретические, и начал яростно его преследовать; речь шла о том, тождественна ли субстанциональная форма блох и улиток Сириуса. Микромегас защищался остроумно и привлек на свою сторону женщин; процесс длился 220 лет, и в конце концов муфти объявил книгу запрещенной законооведами, которые ее не читали, а автор получил приказ не показываться при дворе в течение восьмисот лет.

Он не был особенно огорчен тем, что его удалили от двора, прозябавшего в суете и низостях. Он сочинил очень забавную песенку против муфти, которая того ничуть не смутила, и отправился путешествовать с планеты на планету, чтобы завершить, как говорится, формирование сердца и ума. Тот, кто не путешествовал иначе, чем в поч-

товых каретах или в собственной карете, будет, без сомнения, чрезвычайно удивлен средствами передвижения жителей верхних сфер, потому что мы, на нашей маленькой кучке грязи, никогда не можем представить себе того, что выходит за пределы наших привычек. Но наш путешественник великолепно знал законы тяготения и все силы притяжения и отталкивания. И он использовал их так кстати, что, иной раз с помощью солнечного луча, иной раз при посредстве какой-нибудь из комет, он вместе со своими слугами переправлялся с планеты на планету, подобно птице, порхающей с ветки на ветку. Так в короткое время он изъездил весь Млечный путь, и я обязан сообщить, что сквозь звезды, коими этот последний усеян, Микромегас так и не узрел того прекрасного эмпирического неба, которое знаменитый викарий Дергем* будто бы открыл, — как он хвастает, — наблюдая его в свою подзорную трубу. Я отнюдь не хочу сказать, что господина Дергема обмануло зрение, — нет, храни меня Бог! Но Микромегас был в этих местах, он хороший наблюдатель, а я никому не хотел бы противоречить.

Поколесив довольно долго, Микромегас очутился на планете Сатурн. И как ни привычен он был ко всяческим новым вещам, все же при виде крайней малости этой планеты и ее обитателей он не мог удержаться от улыбки превосходства, которая иногда невольно скользит даже на устах мудрецов. Ведь в конце концов Сатурн всего только в 900 раз больше Земли, и жители этих стран просто карлики, ростом в 1000 туазов или около того. Вначале он немного посмеялся над ними со своими людьми, примерно так, как итальянский музыкант, приехавший во Францию, смеется над музыкой Люлли. Но так как у жителя Сириуса был здравый ум, то он очень быстро сообразил, что мыслящее существо может и не быть смешным, даже если оно всего лишь шести тысяч футов ростом. Он сблизился с сатурнийцами, после того как они перестали ему удивляться. Он завязал тесную дружбу с секретарем Сатурнийской академии*, человеком большого ума, который, правда, ничего не изобрел, но зато очень хорошо излагал сущность чужих изобретений, сочинял довольно посредственные стишки и умел делать сложные вычисления. Для удовольствия читателей я воспроизведу здесь один странный разговор, который Микромегас вел однажды с господином секретарем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разговор обитателя Сириуса с жителем Сатурна

После того как его превосходительство расположился лежа и секретарь склонился к нему: — Нужно признать, — сказал Микромегас, — что природа очень разнообразна. — Да, — сказал сатурниец, — природа это — клумба, цветы которой... — Ах, — сказал Микромегас, — оставьте вашу клумбу. — Природа, — снова начал секретарь, — это сборище блондинок и брюнеток, чьи уборы... — Э, какое мне дело до ваших брюнеток? — преврал его житель Сириуса. — Она, как галерея портретов, черты которых... — Ну нет, — сказал путешественник, — еще и еще раз: природа — это природа. Зачем искать для нее сравнений? — Чтобы доставить вам удовольствие, — ответил секретарь. — Я вовсе не ищу удовольствий, — ответил путешественник, — я ищу знаний, которые бы меня просветили. Расскажите мне для начала, сколько органов чувств у людей вашей планеты? — У нас их семьдесят два, — сказал академик, — и мы постоянно жалуемся на то, что этого слишком мало. Наше воображение улетает за пределы наших возможностей. Мы находим, что при наличии наших семидесяти двух чувств, нашего кольца и наших пяти лун мы очень ограничены; и несмотря на всю нашу любознательность и довольно большое число страстей, которые являются следствием наших семидесяти двух чувств, мы еще находим время скучать. — Я охотно верю этому, — сказал Микромегас, — на нашей планете мы одарены примерно тысячей чувств, и все-таки в нас всегда остается еще какое-то смутное желание, какое-то неопределенное беспокойство, которое беспрестанно твердит нам о том, что мы ничтожны и что есть существа, бесконечно более совершенные, чем мы. Мне довелось немного путешествовать: я видел смертных, которые значительно нам уступали, я видел и таких, которые далеко нас превосходили. Но я никогда не видел тех, которые бы не имели больше желаний, чем истинных нужд, чем способов их удовлетворения. Когда-нибудь я достигну, быть может, страны, где ни в чем нет недостатка, но до сих пор никто не дал мне об этой стране положительных сведений. — Тут обитатель Сириуса и житель Сатурна пустились в предположе-

ния; после многих рассуждений, весьма хитроумных, но и весьма неопределенных, они почувствовали необходимость вернуться к сути дела. — Какой срок вы живете? — спросил путешественник с Сириуса. — О, очень мало, — ответил маленький человек с Сатурна. — Это совсем как у нас, — сказал великан: мы всегда жалуемся на малый срок жизни; таков, очевидно, всеобщий закон природы. — Увы, — вздохнул сатурниец, — мы живем всего лишь пятьсот полных оборотов солнца по нашему счету (это составит приблизительно пятнадцать тысяч лет); вы видите, это значит — умереть почти в то самое мгновение, когда появляешься на свет; наше существование не более чем точка, наш век — мгновение, наша планета — атом. Едва начинаешь приобретать кое-какие познания, как, еще раньше, чем приходит опыт, является смерть. Что касается меня, то я не осмеливаюсь делать никаких предположений на будущее, я чувствую себя каплей воды в беспредельном океане. Мне стыдно, особенно перед вами, за тот смехотворный образ, который я являю собою в этом мире.

Если бы вы не были философом, — возразил ему Микромегас, — я побоялся бы огорчить вас, сообщив, что наша жизнь в семьсот раз продолжительнее вашей; но вы знаете слишком хорошо, что когда приходит время отдать тело стихиям и возродить природу в другой форме — то есть то самое, что называется умирать, — когда этот час превращения наступает, то — жили ли вы вечность, или один день — это уже решительно все равно. Я побывал в таких краях, где живут в тысячу раз больше, чем у нас, и я видел, что там ропщут так же, как мы. Есть, однако, везде и здравомыслящие люди, которые умеют мириться со своей долей и благодарить творца природы. Он распространил в этом мире обилие различий и вместе с тем некое восхитительное единообразие. Все мыслящие существа, например, различны, и все они в конце концов походят друг на друга даром мысли и желаний. Материя распространена повсюду, но на каждой планете ей присущи различные свойства. Сколько насчитываете вы различных свойств в материи Сатурна? — Если вы говорите о тех свойствах, — сказал сатурниец, — без которых эта планета не могла бы, по нашему мнению, существовать в таком виде, как она есть, то мы насчитываем их триста: это — протяженность, непроницаемость,

подвижность, сила тяготения, делимость и другие. — Очевидно, — ответил путешественник, — это маленькое число соотносится с намерениями творца в отношении вашего маленького обиталища. Я восхищаюсь его мудростью: я вижу повсюду различия, но повсюду также и соответствия. Ваша планета мала, ваши обитатели также. У вас мало чувств; у вашей материи мало свойств — все это дело рук провидения. А какого цвета ваше солнце при тщательном рассмотрении? — Оно белое с сильной желтизной, — сказал сатурниец, — а когда мы разлагаем один из его лучей, мы находим, что он содержит в себе семь цветов. — Наше солнце ближе к красному цвету, — заметил житель Сириуса, — а первичных цветов у него тридцать девять. Среди всех солнц, к которым я приближался, нет ни одного, которое бы походило на другое, как у вас нет лица, которое бы не отличалось от всех прочих.

После многих вопросов этого рода, он осведомился, сколько насчитывалось на Сатурне существенно различных субстанций. Он узнал, что их насчитывается не более тридцати, как-то: Бог, пространство, материя, существа, имеющие объем, которые чувствуют; существа, имеющие объем, которые чувствуют и мыслят; существа мыслящие, которые не имеют объема; существа, которые постигают и которые не постигают себя, и др. Житель Сириуса, на родине которого таких субстанций насчитывалось три сотни и который за время своих путешествий открыл их еще три тысячи, привел в несказанное удивление философа с Сатурна. После того как они сообщили друг другу немного из того, что они знали, и многое из того, чего они не знали, и проговорили в течение целого солнечного оборота, — оба пришли к решению совершить небольшое философическое путешествие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Путешествие жителя Сириуса с жителем Сатурна

Наши философы готовы были уже спуститься в атмосферу Сатурна с хорошеньким запасцем математических инструментов, когда, узнавши об этом, к ним яви-

лась любовница сатурнийца и со слезами на глазах начала его упрекать. Это была красивая маленькая брюнетка, всего только 660 туазов ростом, которая, однако, с успехом возмещала другими прелестями миниатюрность своей фигуры. — О жестокий! — вскричала она. — Полторы тысячи лет противилась я тебе, и после того как, наконец, сдавшись, я провела едва лишь сто лет в твоих объятиях, ты покидаешь меня, чтобы отправиться путешествовать с великаном из другого мира! Иди, ты — только любопытный, но ты никогда не любил: если бы ты был истинным сатурнийцем, ты был бы верен. Куда бежишь ты? Что ищешь? Наши пять лун не такие бродяги, как ты; кольцо нашего Сатурна не так изменчиво. Все кончено, я никогда никого не люблю больше. — Философ поцеловал ее и заплакал вместе с ней, хоть он и был философом с головы до пят. А дама, очнувшись от обморока, пошла утешаться с каким-то местным франтом.

Между тем наши два любопытных пустились в путь; сначала они спрыгнули на кольцо Сатурна, которое оказалось довольно плоским, как это отличнейшим образом угадал один знаменитый обитатель нашей маленькой планеты; затем они начали переходить с луны на луну. Комета пролетела очень близко от последней из лун. Они прыгнули на нее вместе со своими слугами и научными приборами. Когда они сделали приблизительно 150 миллионов льё, они встретили спутников Юпитера. Перейдя на самый Юпитер, они оставались там целый год и узнали за это время массу интереснейших тайн, которые были бы ныне в печати, если бы не господа инквизиторы, нашедшие некоторые положения немного резковатыми. Я тем не менее читал рукопись в библиотеке преславного архиепископа де***, который разрешил мне пользоваться его книгами с таким великодушием и доброю, что я не нахожу для этого достаточных похвал. Зато я и обещаю поместить длинную статью о нем в очередном издании исторического словаря Морера, а уж особенно не забуду его детей, которые подают такие большие надежды увековечить род своего знаменитого отца.

Но возвратимся к нашим путешественникам. Покинув Юпитер, они пересекли пространство приблизительно в 100 миллионов льё и поравнялись с Марсом, который, как известно, в пять раз меньше, чем наша маленькая

Земля; они заметили две луны, обслуживающие эту планету, которые ускользнули от глаз наших астрономов. Я очень хорошо знаю, что отец Капель* будет опровергать — и даже довольно забавно — существование этих двух лун, но я сошлюсь на тех, кто судит по аналогии вещей. Эти добрые философы знают, как трудно было бы Марсу, столь удаленному от солнца, обойтись менее чем двумя лунами. Как бы то ни было, все это показалось нашим друзьям таким маленьким, что они побоялись не найти там места для ночлега и решили продолжать свой путь, подобно двум путешественникам, которые, презрев скверный сельский трактир, отправляются дальше до ближайшего города. Однако житель Сириуса и его спутник скоро раскаялись в этом. Они шли довольно долго и ничего не находили, пока, наконец, не заметили слабое мерцание. То была Земля, и она показала жалкой тем, кто шел с Юпитера. Однако, из страха раскаяться вторично, путешественники решили здесь высадиться. Они передвинулись на хвост кометы и, заметив готовое к услугам северное сияние, вошли в него и достигли земли на северном берегу Балтийского моря 5 июля 1737 года по новому стилю.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Что случилось с ними на земном шаре

Немного отдохнув с дороги, они съели за завтраком две горы снеди, которые слуги довольно прилично приготовили им. Затем они захотели познакомиться с маленькой страной, в которой находились. Сначала они направились с севера на юг. Обычный шаг жителя Сириуса, так же как и его слуг, был равен приблизительно тридцати тысячам футов; карлик с Сатурна следовал за ними вдогонку, едва переводя дух, потому что ему приходилось делать чуть ли не двенадцать шагов, в то время как его спутник делал один: представляете себе (если позволительно делать такие сравнения) крохотную комнатную собачку, которая бежит за капитаном прусской королевской гвардии!

Так как эти иноземцы шли довольно быстро, они обошли всю Землю за тридцать шесть часов; правда, солнце — или скорее Земля — делает подобный оборот за сутки,

но ведь ясно само собой, что гораздо удобнее двигаться, вращаясь вокруг собственной оси, чем шагая собственными ногами. Но вскоре они вернулись туда, откуда вышли пройдя через море, почти неприметное их глазу и называемое Средиземным, и через другой маленький пруд, который под именем Великого океана омывает кротовую кучку. Карлику океан этот был по колено, а Микромегас лишь омочил в нем свою пятку. Прохаживаясь туда и обратно, поверху и понизу, пытаюсь определить, была ли обитаема эта планета, они наклонялись, ложились, шарили повсюду. Но маленькие существа, которые здесь пресмыкаются, были им не по глазам и не по рукам, и у них так и не возникло ни малейшего ощущения, которое бы заставило их подозревать о том, что мы и наши собратья — обитатели этой планеты, — имеем честь существовать.

Карлик, который судил иногда слишком опрометчиво, решил вначале, что на земле никого нет. Основным его доводом было то, что он никого не видит. Микромегас вежливо дал ему понять, что это довод довольно слабый: потому что, говорил он, вы, например, не видите вашими маленькими глазками некоторые звезды пятидесятой величины, которые я различаю очень отчетливо; неужели вы заключите отсюда, что эти звезды не существуют? Но, сказал карлик, я все обшарил. Но, ответил первый, у вас плохое осязание. Но, снова возразил карлик, эта планета так плохо устроена, все здесь такое неправильное и такой нелепой формы! Здесь все пребывает в полном хаосе: посмотрите на эти маленькие ручейки, ни один из них не течет по прямой; эти пруды, которые ни круглые, ни квадратные, ни овальные и вообще лишены какой бы то ни было правильной формы; эти острые пупырышки, которыми топорщится эта земля и которые исцарапали мне все ноги. (Он имел в виду горы.) Обратили вы, кроме того, внимание на форму всего шара; как он сплюснен у полюсов, и как он неуклюже вертится вокруг солнца таким образом, что климат у этих полюсов должен быть непригоден для жизни? Право, я думаю, что здесь никого нет, хотя бы уже потому, что люди здравого смысла не пожелали бы здесь существовать. — Ну так что ж, — сказал Микромегас. — Может быть, здесь и не живут люди здравого смысла. Но есть же какая-нибудь вероятность того, что все это создано не впустую. Вы говорите,

что все кажется вам здесь неправильным, потому что все вытянуто в струнку на Юпитере и на Сатурне. Э, да ведь, может быть, как раз поэтому здесь и господствует некоторый беспорядок! Не говорил ли я вам, что в моих путешествиях я всегда отмечал крайнее разнообразие? — Сатурниец немедленно возразил на все эти доводы. Спор их так никогда бы и не закончился, наверно, если бы, к счастью, Микромегас, разгорячившись, не порвал нить своего брильянтового ожерелья. Брильянты посыпались на землю. Это были маленькие красивые камни неравной величины, самые большие из них весили 400 фунтов, а самые мелкие — 50. Карлик подобрал несколько и поднеся их к глазам, заметил, что эти брильянты были отшлифованы таким образом, что являлись великолепными микроскопами. Тогда он взял и приставил к глазу один из таких маленьких микроскопов, 160 футов в диаметре, а Микромегас выбрал другой, диаметром в 250 футов. Они были превосходны, но сначала путешественники ничего не увидели, потому что к микроскопам надо было приноровиться. Наконец обитатель Сатурна усмотрел нечто еле приметное, нырявшее в волнах Балтийского моря; это был кит. Схватив его очень ловко своим мизинцем и переложив на ноготь большого пальца, карлик показал его своему громадному компаньону, который во второй раз рассмеялся чрезмерной малости обитательницей маленькой планеты. Сатурниец, убежденный теперь, что наша земля обитаема, немедленно решил, что она населена одними китами, и так как он обладал большой склонностью к умствованиям, то и захотел разгадать, каким образом движется такой маленький атом и обладает ли он какими-нибудь представлениями, волей и свободой. Микромегас был этим весьма озадачен; он очень терпеливо осмотрел животное и пришел к выводу, что душе здесь уместиться негде. Путешественники уже решили было, что население земли лишено способности мыслить, как вдруг с помощью тех же микроскопов они обнаружили некую вещь, гораздо большую, чем кит, которая тоже плыла по Балтийскому морю. Известно, что как раз в это время целый выводок философов* возвращался из-за Полярного круга, где они производили наблюдения, до которых никто не додумался ранее. Газеты сообщали, что их судно потерпело крушение у берегов Ботнического залива и что они едва спаслись; но в этом мире ни-

когда не знают закулисной стороны вещей. Я сейчас откровенно расскажу, как все произошло, ничего не прибавляя от себя, а это-то и стоит историкую наибольшего труда.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Опыты и рассуждения двух путешественников

Микромегас тихонько протянул руку туда, где показался предмет, и выдвинул два пальца, затем снова отодвинул их, опасаясь промаха, затем, раздвинув и сжав их, ловко схватил судно со всеми учеными господами и положил его, по примеру товарища, на свой ноготь, стараясь не слишком сдавливать, чтобы не повредить его. — Вот животное, совершенно отличное от первого! — воскликнул карлик Сатурна, а великан Сириуса переложил мнимое животное на свою ладонь. Пассажиры и экипаж судна в это время сочли себя поднятыми ураганом и выброшенными на какую-то скалу и подняли суматоху; матросы бросились к винным бочкам, побросали их на ладонь Микромегаса и сами устремились вслед за ними; геометры подхватили свои секторы, квадранты и лапландских девиц и спустились на пальцы великана. Они до того суетились, что Микромегас почувствовал, наконец, какое-то щекотанье. То был железный лом, который ему на целый фут вогнали в указательный палец. Он рассудил, ощутив этот зуд, что из животного, которое он держал на ладони, что-то изошло; но дальше этой догадки он сначала не пошел. Микроскоп, который едва позволил ему различить кита и судно, оказался бессилен для существа столь незаметного, как человек. Я не собираюсь оскорблять здесь чье-либо самолюбие, но я вынужден просить гордецов произвести вместе со мной один маленький подсчет, а именно: если считать, что рост людей приблизительно равен 5 футам, то на земле мы кажемся не более крупным предметом, чем животное, которое, находясь на шаре в 10 футов окружностью, достигало бы высоты в $1/600000$ часть дюйма. Представьте себе существо, которое могло бы держать нашу землю в своей руке и у которого все органы тела были бы подобны нашим, а ведь вполне может быть, что такие существа

водятся в изобилии; и теперь вообразите, прошу вас, что бы оно подумало о наших битвах, где победа сводится к захвату двух деревушек, которые тотчас же приходится снова отдать врагу.

Я не сомневаюсь, что если это сочинение попадет в руки какому-нибудь гренадерскому капитану, то он сделает головные уборы гренадеров своей роты по крайней мере на два фута выше. Но я предупреждаю, что, сколько бы он ни старался, он и его люди все же останутся бесконечно маленькими.

Каким изумительным искусством должен был обладать наш сирианский философ, чтобы заметить атомы, о которых я только что говорил! Когда Левенгук* и Гартсекер* впервые увидели, — или сочли, что видят, — те зернышки, из которых мы состоим, они сделали гораздо менее удивительное открытие. Какую радость испытал Микромегас, видя, как шевелятся эти маленькие механизмы, рассматривая все их повороты и следя за всеми их движениями! Какие возгласы он издавал! В каком восторге сунул один из микроскопов в руки своему спутнику. Я их вижу, — говорили они в один голос. — Видите вы, как они переносят тяжести, как нагибаются, как выпрямляются снова? — При этом руки их дрожали — и от радости видеть столь новые существа, и из боязни потерять их. Сатурниец, перейдя от полного неверия к чрезмерному легковерию, решил, что он наблюдает их в процессе размножения. — А! — вскричал он, — я поймал природу на месте преступления! — Но он ошибочно истолковал то, что видел, что случается очень часто как за микроскопом, так и без микроскопа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Что произошло у них с людьми

Микромегас, который был лучшим наблюдателем, чем его карлик, увидел ясно, что атомы разговаривают друг с другом. Он указал на это своему спутнику, но тот, стыдясь своих измышлений о размножении, ни за что не хотел поверить, чтобы подобным тварям доступен был обмен мыслями. У него, так же как и у жителя Сириуса, были большие способности к языкам; однако он не слы-

шал, как говорят эти атомы, и поэтому полагал, что они не говорят вовсе. К тому же, какие органы речи могли иметь эти микроскопические существа и о чем бы они могли разговаривать между собою? Чтобы говорить, надо мыслить или что-нибудь в этом роде; а если они мыслят, они должны иметь некое подобие души? Но приписать этого рода насекомым подобие души казалось ему нелепым. — Однако, — сказал житель Сириуса, — вам казалось, что они занимаются любовью; значит, вы считаете, что можно заниматься любовью, не мысля и не произнося никаких слов, или по крайней мере не пытаюсь понять друг друга? Вы полагаете, значит, что аргумент труднее произвести на свет, чем ребенка? — И то и другое мне представляется великой тайной; я не осмеливаюсь больше ни верить, ни отрицать, — сказал карлик, — у меня больше нет гипотез, нужно попытаться рассмотреть этих насекомых, а рассуждать мы будем потом. — Вот это верно, — ответил Микромегас и тотчас же взялся за ножницы, которыми он подстриг себе ногти, и из обрезка ногтя большого пальца сделал нечто вроде большого рупора в виде широкой воронки, узкий конец которой он вставил себе в ухо, а широким накрыл корабль вместе со всем его экипажем. Самый слабый звук улавливался кругообразными волокнами ткани, из которой сделан ноготь, и, таким образом, благодаря своему изобретению горний философ мог отлично слышать жужжание дольных насекомых. Вскоре он достиг того, что начал различать слова и, наконец, французскую речь. Карлик, хотя и с большим трудом, достиг того же. Удивление путешественников возрастало с каждой минутой. Они слышали, что козявки эти ведут вполне разумную речь, и эта игра природы казалась им необъяснимой. Вы, вероятно, понимаете, что они горели нетерпением завязать беседу с этими атомами, но карлик боялся, как бы его громовый голос, и особенно голос Микромегаса, не оглушил козявок, прежде чем они успеют что-нибудь понять. Нужно было ослабить его силу. Они вложили в рот нечто вроде маленьких зубочисток, заостренные концы которых доходили до корабля. Держа карлика у себя на коленях, а корабль с экипажем на своем ногте, житель Сириуса наклонил голову и приготовился говорить очень тихо. Наконец, соблюдая все эти и еще многие другие предосторожности, он начал свою речь таким образом:

«Незримые насекомые, которых руке Создателя угодно было породить в бездне бесконечно малого! Я благословляю его за то, что он соизволил открыть мне тайны, которые казались непроницаемыми. Может быть, при моем дворе вас и не удостоили бы вниманием, но я никого не презираю и я предлагаю вам мое покровительство».

Если когда-либо кто-нибудь и был поражен, как громом, то это были люди, услышавшие эти слова. Они не могли понять, откуда они исходят. Корабельный священник стал читать молитвы, отгоняющие наваждение, матросы начали чертыхаться, философы—строить системы; но какие бы системы они ни строили, они никак не могли догадаться, кто говорит с ними. Тогда карлик Сатурна, у которого был более мягкий голос, чем у Микромегаса, в нескольких словах разъяснил им, с какого рода существами они имеют дело. Он рассказал им о путешествии с планеты Сатурн, познакомил их с тем, кто такой был господин Микромегас, и, пожалев их за то, что они так малы, спросил, всегда ли они были в этом жалком состоянии, столь близком к полному небытию; что они делают на планете, хозяевами которой, повидимому, являются киты; были ли они счастливы, размножаются ли они, имеют ли душу, и задал еще сотню других вопросов этого же рода.

Некий болтун из этой компании, более смелый, чем другие, и оскорбленный тем, что усомнились в существовании у него души, навел на говорящего диоптры своего квадранта, произвел необходимые вычисления и заявил следующее: «Вы воображаете, сударь, что, имея от головы до пят тысячу туазов, вы можете...» — Тысяча туазов! — закричал карлик. — Праведное небо! Откуда он знает мой рост? Тысяча туазов! Он не ошибся ни на один дюйм. Как! Этот атом меня измерил? Он геометр, он знает мою величину, а я, который вижу его только через микроскоп, я еще и понятия не имею о его размерах. — Да, я вас измерил, — сказал физик, — и я тотчас же измерю и вашего огромного спутника. — Предложение было принято. Его сиятельство растянулось на земле во весь рост, потому что, когда он стоял, его голова была высоко за облаками. Наши философы всадили ему большое дерево в то место, которое доктор Свифт назвал бы своим именем, но которое я, из глубокого уважения к дамам, никогда не позволю себе назвать. Затем, с помощью системы тре-

угольников, связанных вместе, они пришли к заключению, что наблюдаемое ими было действительно молодым человеком в 120 тысяч футов ростом.

Тогда Микромегас произнес следующие слова: «Я вижу яснее, чем когда-либо, что ни о чем нельзя судить по его видимой величине. О Боже, даровавший разум существам, столь ничтожным на вид! Бесконечно малое равно перед лицом Твоим бесконечно большому; если только возможны существа, еще меньшие, чем эти, то и они могут обладать разумом, превосходящим ум тех великолепных творений Твоих, которых я видел на небе и одна ступня которых покрыла бы планету, на которую я сейчас опустился».

Один из философов ответил ему, что он может быть совершенно уверен в существовании разумных существ, гораздо более малых, чем человек. Он рассказал о пчелах*, — только не то баснословное, что говорит Вергилий, а то, что открыл Сваммердам* и анатомически исследовал Реомюр*. Он поведал ему затем, что существуют животные, которые по сравнению с пчелами то же, что пчелы по сравнению с человеком, или сам житель Сириуса — с теми громадными существами, о которых он только что говорил, или эти громадные существа, в свою очередь, по сравнению с теми созданиями, перед которыми они кажутся лишь атомами. Мало-помалу разговор становился все занимательнее, и Микромегас заговорил следующим образом:

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Разговор с людьми

«О разумные атомы, в которых Вечному Существу угодно было явить свою мощь и свое искусство! Вы должны, без сомнения, вкушать на вашей планете радости наиболее чистые, потому что, имея столь мало материи и будучи, повидимому, вполне духовными, вы должны проводить жизнь в любви и созерцании, что и есть истинное существование духов. Я нигде не видел настоящего счастья, но здесь оно обретается несомненно». Выслушав эту речь, философы опустили головы, и один из них, более смелый, чем другие, признался чистосердечно, что за исключением небольшого количества людей, кстати очень

мало уважаемых, все остальные представляют собой собрание безумцев, злодеев и нечестивцев. — В нас больше материи, чем нужно для того, чтобы натворить много зла, — сказал он, — если только зло исходит от материи; и слишком много духа, — если зло исходит от духа. Знаете ли вы, например, что в это самое время, когда я беседую с вами, сто тысяч безумцев нашей породы, носящих на голове шляпы, убивают или сами дают себя убить ста тысячам других животных, которые покрывают головы чалмой, и что так ведется почти по всей земле с незапамятных времен? — Житель Сириуса содрогнулся от негодования и спросил, что же могло быть причиной этих ужасающих драк между столь тщедушными существами. — Дело идет о нескольких кучках грязи величиной с вашу пятку*, — ответил философ. — Это не значит, что хоть один из этих миллионов людей дает убить себя ради обладания хотя бы каким-нибудь комочком этой грязи. Дело идет лишь о том, будет ли она принадлежать некоему человеку, которого называют «султаном», или другому, которого неизвестно почему называют «императором». Ни один, ни другой никогда не видели и никогда не увидят маленького уголка земли, о котором идет речь; и почти ни одно из этих животных, которые взаимно истребляют друг друга, никогда не видало того животного, ради которого оно дерется.

— О несчастные! — вскричал житель Сириуса, полный возмущения. — Непостижимо, откуда берется такой разгул бешеной злобы! У меня является желание сделать три шага и тремя ударами каблука раздавить этот муравейник, населенный жалкими убийцами. — Не трудитесь, — ответили ему. — Они сами достаточно трудятся над собственным уничтожением. Знайте, что через десять лет не останется и сотой части этих несчастных; знайте, что даже если они и не обнажат шпаги, то голод, усталость и невоздержание унесут их почти всех. К тому же ведь карать надо вовсе не их; несколько бесчеловечных сидней, не выходя из своих кабинетов, отдают, в часы пищеварения, приказ об убийстве миллионов людей и потом заставляют торжественно благодарить за это Бога. — Тогда путешественник почувствовал сострадание к маленькому роду человеческому, являвшему такие удивительные контрасты. — Так как вы представляете разумное меньшинство, — сказал он своим собеседникам, — и,

повидимому, никого не убиваете за деньги, скажите мне, прошу вас, чем же вы занимаетесь? — Мы анатомируем мух, — сказал философ, — мы измеряем линии, мы слагаем числа; мы пришли к соглашению относительно двух или трех вопросов, которые нам ясны, и ведем бесконечные споры о двух или трех тысячах, которые нам не ясны. — Тогда обоим путешественникам пришла фантазия спросить эти мыслящие атомы, чтобы узнать, в чем они согласны между собой. — Какое расстояние насчитываете вы от созвездия Пса до большой звезды Блинецов? — спросил их Микромегас. — Тридцать два градуса с половиной, — ответили все разом. — Сколько считаете вы отсюда до луны? — Шестьдесят земных радиусов, круглым счетом. — Сколько весит ваш воздух? — На этом он думал поймать их, но они сказали, что воздух весит примерно в девятьсот раз меньше, чем такой же объем самой чистой воды, и в девятнадцать тысяч раз меньше червонного золота. Маленький карлик Сатурна, пораженный их ответами, был уже готов считать чародеями этих самых людей, о которых он четверть часа назад думал, что и души у них нет.

Наконец Микромегас сказал им: — Раз вы так хорошо знаете то, что существует вне вас, вы, без сомнения, знаете еще лучше то, что внутри вас. Скажите же мне, что такое ваша душа и как образуются в вас понятия? Философы заговорили все наперебой*, как и раньше, но мнения у всех оказались различные. Самый старый цитировал Аристотеля, другой произносил имя Декарта, третий Мальбранша, тот Лейбница, этот Локка; а один старый перипатетик сказал очень громко и убежденно:

— Душа есть энтелехия и то основание, по которому она имеет возможность быть тем, что она есть. Так именно провозгласил Аристотель на странице шестьсот тридцать третьей луврского издания. «*Ἐντελέχεια ἐστὶ.....* и так далее».

— Я не очень хорошо понимаю греческий, — сказал великан. — Я то же, — ответила философическая козявка. — Зачем, — возразил первый, — вы цитируете по-гречески некоего Аристотеля? — Затем, — ответил ученый, — что следует цитировать то, чего совсем не понимаешь, на языке, который понимаешь еще меньше.

Слово взял картезианец и высказал следующее: —

Душа есть чистый дух, который воспринял в утробе матери все метафизические идеи, но, выйдя оттуда, должен итти в школу и постигать снова все то, что он так хорошо знал и что уже не узнает более. — Вряд ли стоило твоей душе быть столь ученой в утробе матери, — ответило восьмимильное животное, — чтобы стать такой невежественной, когда у тебя уже борода растет. — Но что понимаешь ты под душой? — Что вы меня об этом спрашиваете? — ответил болтун. — Я не имею об этом ни малейшего понятия; говорят, что это не материя. — Но знаешь ли ты по крайней мере, что такое материя? — Прекрасно знаю, — ответил человек. — Например, этот камень: он серый и такой-то формы, у него три измерения, он весом и делим. — Ну хорошо! — сказал житель Сириуса, — эта вещь кажется тебе делимой, весомой и серой, но не скажешь ли ты точно, что она собой представляет? Ты видишь некоторые из ее качеств, но знаешь ли ты, в чем сущность вещи? — Нет, — ответил тот. — Значит, ты вовсе не знаешь, что такое материя.

И Микромегас обратился к другому философу, которого он держал на большом пальце, и спросил у него, что такое душа и в чем состоит ее деятельность. — Ни в чем, — ответил последователь Мальбранша. — Это Бог все делает за меня; я вижу все в нем; я созерцаю все в нем; это он творит все земные дела без всякого моего участия.

— Но тогда не стоит и существовать, — возразил мудрец Сириуса. — А ты, мой друг, — обратился он к ученику Лейбница, который сидел рядом, — что скажешь нам о душе ты? — Она, — ответил философ, — стрелка, которая указывает время в то время, как тело мое отбивает часы; или, если хотите, душа отбивает часы в то время, как тело показывает время; или иначе, моя душа — это зеркало вселенной, а мое тело — оправа; все это совершенно ясно.

Маленький почитатель Локка находился там же, и когда к нему, наконец, обратились: — Я не знаю, — сказал он, — каким образом я мыслю, но знаю, что я не мыслю иначе, как по поводу моих ощущений. Я отнюдь не сомневаюсь в том, что есть субстанции имматериальные и разумные, но я сильно сомневаюсь в том, чтобы Богу невозможно было наделить материю мыслью. Я чту Вечное Всемогущество, мне не подобает ограничивать его:

я ничего не утверждаю, я довольствуюсь убеждением, что на свете гораздо больше возможных вещей, чем мы думаем.

Житель Сириуса улыбнулся: он нашел, что этот мудрец не глупее других; и карлик Сатурна обнял бы последователя Локка, если бы не крайняя диспропорция их роста. Но была там, к несчастью, еще одна микроскопическая козявка в квадратном колпаке, которая заткнула рот всем козявкам-философам. Она сказала, что ей известны все тайны бытия, ибо все это изложено в «Своде» Фомы Аквината; она посмотрела сверху вниз на обоих обитателей небес и объявила им, что их собственные персоны, их миры, их солнца и их звезды — все это было создано единственно для человека. При этих словах наши два путешественника повалились друг на друга, задыхаясь от того неудержимого хохота, который, согласно Гомеру, составляет достояние богов; их плечи и их животы ходили ходуном в таких конвульсиях, что корабль, который житель Сириуса держал на своем ноге, упал в один из брючных карманов сатурнийца. Наши добряки долго искали его и, в конце концов найдя, водворили экипаж на старое место и привели его в полный порядок. Тогда житель Сириуса снова обратился к маленьким насекомым. Он говорил с ними еще с большей доброю, хотя в глубине души был раздосадован тем, что эти бесконечно малые имели гордость бесконечно большую. Он обещал сочинить для них превосходную философскую книгу, написанную очень мелко, где они найдут смысл всех вещей. И он действительно дал им это сочинение перед своим отъездом, и том этот отправили в Париж, в Академию наук. Но когда секретарь открыл его, то ничего, кроме чистой бумаги, там не обнаружил. — Я так и думал! — сказал он.

Конец философской истории





Π Ε Α Π ς





ЗАИРА

(Zaïre)

Трагедия в пяти актах

Впервые поставлена 13 августа 1732 года

*Est e iam crude'is amor:
(Есть и жестокая любовь.)*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Оросман — султан Иерусалима.

Люзиньян — принц из рода иерусалимских королей.

Заира } невольницы султана.
Фатима }

Нерестан } французские рыцари.
Шатийон }

Корасмен } придворные султана.
Меледор }

Раб; свита.

Действие происходит в иерусалимском серале.



АКТ ПЕРВЫЙ

Сцена первая

Заира и Фатима

Ф а т и м а

Я не ждала у вас, о юная Заира,
Прилива новых чувств среди чужого мира.
Удел ли сладостный, надежды ль нежной пыл
Дни ваши темные прозрачными сменил?
В спокойствии души вы стали столь прекрас-
ной;

Уже не омрачен слезами взор ваш ясный;
Вы не тоскуете о чудной той стране,
Что доблестный француз сулил и вам, и мне;
Вы не твердите мне о просвещенных странах,
Где рыцари несут к сердцам подруг желанных
Хвалы, достойные прелестных ваших глаз;
Там женщина вольна, чиста не напоказ:
Она и мужу друг, и всюду королева,
И добродетельна не из боязни гнева!
Ужель отныне вас та вольность не влечет?
В серале вынося суровый обиход,
Томясь рабынею, — ужели вы блаженны?
Или Солим для вас милей прибрежья Сены?

З а и р а

Увы, нельзя желать неведомого нам.
Судьбой прикована к иорданским берегам,
Я с детства заперта в блистательном серале,
И с каждым днем к нему все чувства привыкали.
Здесь для меня весь мир, иных не знаю стран,
И мною властвует владыка наш — султан.
Его я славу чту, и мне одно желанно —
Жить под высокою рукою Оросмана!
Все прочее — мечта.

Ф а т и м а

Ужели он забыт,
Отважный тот француз, чья дружба нам сулит
Надежду — разорвать оковы цепи мерзкой?
Как восторгались мы его отвагой дерзкой!

Какою славой он — один — был осиян,
Когда отбил Дамаск отряды христиан!
Сам Оросман, пленясь его деяньем смелым,
На время отпустил его к родным пределам.
Мы ждем его назад; ценой своих щедрот
Великодушно он свободу нам вернет.
Ужель мы тешились надеждой этой ложно?

З а и р а

А если для него исполнить невозможно
Обет вернуться вновь?.. Его два года нет...
Ведь пленник, чуженин, дает любой обет,
Чтобы не выполнить, и всем, что драгоценно,
Клянется, не стыдясь, лишь бы уйти из плена.
За десять рыцарей он клялся выкуп дать,
Вернувшись, иль рабом уже навеки стать.
Как я той щедрости дивилась беспримерной!
Не стоит вспоминать...

Ф а т и м а

Но если это верно?
Что, коль вернется он обет исполнить, — вы
Не захотели бы...

З а и р а

Он опоздал, увы!
Все изменилось.

Ф а т и м а

Как? Что вы сказать хотите?

З а и р а

Нет, от тебя таить я не должна событий;
Султану хочется все в тайне сохранить,
Но надо сердце мне перед тобой излить.
Три месяца, как ты и пленницы другие
Забыли Иордан, его берега нагие;
Знай: небо, чтобы дать вам отдых и покой,
Другую действует, сильнейшею рукой!
Могучий Оросман...

Ф а т и м а

Что ж он? Я жду.

З а и р а

Фатима!

Смиритель христиан... узнай... я им любима!
Краснеешь ты? Стыдись! Как мысль тебе пришла,
Что я, ища любви, унизиться могла?
Что честь постыдная мне может быть желанна
Наложницею стать всесильного султана?
Что, наконец, могла я в искушение впасть,
Узнать зловещий блеск — любви минутной власть?
Та гордость чистая, что скромностью хранима,
В моей душе тверда и непоколебима.
Чем гордость потерять, скорей, не побледнев,
Увижу цепи я, могилы черный зев.
Тебя я удивлю: в державном властелине
Есть уважение ко мне, к простой рабыне;
Забыв искательниц, ловящих взор его,
Он жаждет лишь меня и больше никого;
Соперниц происки закончатся нежданно,
И вскоре брак вручит мне сердце Оросмана.

Ф а т и м а

Красы и скромности достойная цена!
О, как я счастлива и как поражена!
Так пусть же вам судьба блаженство даст отныне,
И с сердцем радостным я к вам пойду в рабыни!

З а и р а

Будь равной мне всегда, и счастье станет мне,
С тобой делимое, отраднее вдвойне.

Ф а т и м а

Увы! Ведь этот брак на небесах осудят!
О, пусть величие, что вам уделом будет,
Что люди счастьем ошибочно зовут,
Глубь сердца вашего обережет от смут!
Но нет ли тайных уз? Ужель вы позабыли,
Что, может быть, давно, вы христианкой были?

З а и р а

Ах, что ты бредишь? Ведь это боль моя!
Фатима милая, да знаю ль я, кто я?
Да разве небеса мое происхождение
Не скрыли от меня во мраке и забвеньи?

Ф а т и м а

Ведь Нерестан, — он сам земли недалёкий сын, —
Сказал, что дал вам жизнь отец-христианин.
А крест, что найден был тогда на вашем теле,
Убор младенчества, хранимый мной доселе,
Эмблема христиан, где всюду завилась
Резьбы сверкающей затейливая вязь?
Тот крест — его сто раз для вас я начищала, —
Быть может, сохранен как некое начало,
Как веры истинной таинственный залог,
Которой ждет от вас забытый вами Бог?

З а и р а

Но знаков нет иных. Где в темном сердце силы
То божество признать, кого отверг мой милый?
С дней детства вел меня обычай этих стран
Принять религию счастливых мусульман.
Мы с детства, следуя заботе и примеру,
Слагаем строй души и укрепляем веру;
На Ганге идола вняли б мой обет,
В Париже — Иисус, в Солиме — Магомет.
Всё — воспитание. Рука отцов чеканит
В сердцах детей узор, что после духом станет,
Что будет углублен в движении годин,
Что в силах вытравить, быть может, Бог один.
Ты, здесь в плену живя, сама бы то признала,
Когда бы разум твой, что время умудряло,
Чтоб веру озарить, дал факел свой тебе.
А мне, у сарацин воспитанной рабе,
Закон евангельский открылся слишком поздно.
И всё же, темная, с самой собою розно,
Брала я, сознаюсь, тот крест, лицо клоня,
И сладким трепетом он обдавал меня,
И призывать его дерзала я порою,
Пока мой Оросман не стал моей душою.
Благоговейно чту я кроткий тот закон,
Что Нерестаном был мне втайне сообщен.
При вере той навек уйдет печаль земная;
Людей она смягчит, их в братьев превращая,
И счастье — в любви они найдут свое.

Ф а т и м а

Зачем же вы теперь восстали на нее?
Навеки связаны теперь законом новым,
Врагом для христиан вы станете суровым.
Их победителю вы будете женой.

З а и р а

Чье сердце не пойти могло бы в плен такой?
Во всем покорной быть мне слабость прика-
зала;
Быть может, не любя, я б христианкой стала,
И верою моей теперь была б твоя,
Но любит Оросман, — и все забыла я.
Я вижу лишь его, и вся душа хмелеет
От счастья знать, что он — меня одну лелеет.
Представь его дела, отвагу, доброту
И власть, что королей смиряла на лету;
Представь его чело, овеянное славой!
Хотя он делится со мной своей державой, —
Не этим бы он мог любовь мою купить,
И стыдно было бы так за нее платить.
Нет, не корону я люблю, а Оросмана!
Фатима, в нем он сам — вот всё, что мне желанно!
Быть может, слишком я полна любовью той,
Но если б небеса низринулись грозой,
И Оросман, как я, цепями был закован,
А мне сирийский трон самой судьбой дарован,
Всё ж, — или лжет любовь, иль вопреки всему, —
Чтобы его поднять, я снизошла б к нему!

Ф а т и м а

Не он ли к нам идет? Шаги в соседней зале.

З а и р а

Что милый мой придет, — мне чувства пред-
сказали.
Он не был во дворце уже два долгих дня,
И вот — любовь зовет его обнять меня.

Сцена вторая

Оросман, Заира, Фатима

Оросман

Заира чистая, готовясь к брачным узам,
Что нам сердца навек соединят союзом, —
Для замыслов моих, для всей любви моей
Я обратить в ислам вас должен поскорей.
Султаны, перед кем весь мир склоняет взгляды, —
Мне не в пример они, права их и уклады;
Я знаю: для страстей наш милостив закон,
И наслаждениям преград не ставит он,
И что, по прихоти желанья расточая,
Моих наложниц лесть лениво принимая,
В серале затворясь, я мог бы весь мой век
Страною управлять средь сладострастных нег.
Сладка изнеженность, но мстит она жестоко:
Я сотни их видал, наследников пророка,
Невольников страстей, и не один калиф,
Свою утратя власть, лишь имя сохранив,
В руинах алтаря и на обломках трона
Дрожал от ужаса в чертогах Вавилона.
А быть они могли, подобно предкам их,
Владыками земли и всех царей земных!
Вся Сирия была отторгнута Буйоном*;
Но скоро — отплатить гяурам беззаконным —
Поставлен Богом был могучий Саладин*.
Ему наследуя, отец мой стал один
Владеть Солимом; я, султаном став по праву,
Доныне шаткую не укрепил державу;
Вновь орды христиан, чье знамя — грабежи,
Стремятся с Запада на наши рубежи.
И если бы труба войны заголосила
И землю сотрясла от Понта и до Нила, —
В моем серале я не стал бы никогда
В объятьях похоти длить жалкие года!
Я славою клянусь быть только вашим другом,
Заира милая, любезным и супругом,
Лишь вас одну избрать подругой и женой
И сердце разделить меж вами и войной.
Но вы не думайте, что честь меня заставит
Быть подозрительным и стражей к вам приставит

Чудовищ Азии, евнухов злобный круг,
Рабов султанских нег, сераля гнусных слуг.
Я, страстно вас любя, глубоко уважаю,
И вашей верности я честь мою вручаю.
Таким признанием излил вам душу я,
И счастье души — лишь вы, любовь моя.
Вы понимаете, что горечью смертельной
Отравлен был бы мне поток годов бесцельный,
Когда бы дар, что я сложил у ваших ног,
Лишь благодарности внушить вам чувство мог.
Нет, я люблю и жду, что вы, Заира, сами
Любовь мне дарите, в ответ на страсть и пламя.
Сознаюсь, от любви мне надобно огня,
И чувство слабое лишь оскорбит меня.
Таким я был всегда, ни в чем границ не зная;
Моя безмерна страсть, и мне нужна — такая!
И стать супругами тогда лишь мы должны,
Когда и вы ко мне такой любви полны.
Иначе будет брак, как всякий плен, опасным,
И, счастья вам не дав, я стану сам несчастным.

З а и р а

Вы — и несчастны! Ах! Когда бы вы могли
Найти в моей любви все радости земли,
Когда бы их в себе таил мой пламень жгучий, —
Какой бы смертный был счастливей вас, могу-
чий?

Подруга и супруг — святые имена;
Я с вами их делю. Но радость мне дана
Особая, меня лаская и волнуя:
Быть вам обаянной — тому, кого люблю я,
Знать, что судьбу мою решает нежный друг,
Быть лишь созданием его священных рук,
Любить и почитать героя снов прекрасных!
Да, если средь сердец, вам, государь, подвласт-
ных,

Мое, горящее, сверкнуло вам, когда б
Высокий выбор ваш...

Сцена третья

Оросман, Заира, Фатима, Корасмен

К о р а с м е н

Тот христианский раб,
Что был во Францию тогда отпущен вами,
Вернулся, чтоб предстать пред вашими глазами.

Ф а т и м а

О, небо!

О р о с м а н

Где же он? Пусть поскорей войдет.

К о р а с м е н

Я, государь, его оставил у ворот.
Как смел бы я сюда, пред очи господина,
В священный ваш покой ввести христианина?

О р о с м а н

Введи. И знай: везде и всякий может впредь, —
В том нет бесчестья мне, — мой облик лице-
зреть.

Я презираю гнет обычаев преступных,
Что из владык творят тиранов недоступных.

Сцена четвертая

Оросман, Заира, Фатима,
Корасмен, Нерестан

Н е р е с т а н

Мой благородный враг, смиритель христиан,
Я клятву выполнить приплыл из дальних стран;
Свою исполни ты, яви величье миру:
Хочу я выкупить Фатиму и Заиру,
И десять рыцарей, свой горделивый плен
Сносивших столько лет среди солимских стен.
Я запоздал, но все ж в миг моего прихода
Уже должна быть им возвращена свобода.
Ты слово дал, султан, — уж не твои они,
И цепь их тяжкую немедля отомкни.

Но если я сумел вновь наделить их волей,
За это я плачу моей жестокой долей;
Не скрою, нет надежд, что ими в свой черед
И мой когда-нибудь низвергнут будет гнет;
Лишь бедность гордая осталась мне да цепи;
Я вывел христиан, что здесь томились в склепе;
Я клятву выполнил, моя спокойна честь;
С меня достаточно; и можешь ты причесть
Меня к невольникам, — душа к тому готова!

О р о с м а н

Мне по сердцу твое возвышенное слово,
Но думаешь ли ты, что сыну христиан
Великодушием уступит Оросман?
Свободен ты; назад бери твой выкуп целым;
Прибавь к червонцам то, что я дарую смелым:
Ты десять рыцарей освободить хотел, —
Я сто решил отдать; вези их в свой предел;
И пусть во Франции все говорят отныне,
Что благородство есть и в дальней Палестине,
И пусть решат в пути, кому в такой стране
Пристало властвовать — французам или мне.
Но знай: отпущенным на волю христианам,
Как я ни добр, — не плыть совместно с Люзиньяном;
Из всех заложников изъят один лишь он;
Один лишь он бы мог поколебать мой трон:
От здешних королей его происхождение;
Он вправе властвовать, и это — преступленье.
Таков жестокий рок, владыка бытия:
Будь я низвергнутым, преступным был бы — я.
Цепь Люзиньян вовек влачить не перестанет,
И солнце никогда в его глаза не глянет.
Мне жаль его, и все ж — так должно; в этом
есть
Необходимость лишь, не злоба и не месть.
Что до Заиры, — знай, хоть кровь застынет в
жилах,
Но выкуп за нее ты уплатить не в силах,
Все ваши рыцари, все властелины их
Исторгнуть не смогли б ее из рук моих.
Ступай.

Н е р е с т а н

Что слышу я? Но ведь она из рода
Французов, ей тобой обещана свобода;
А старец Люзиньян, несчастный, — это ль враг
Престолу...

О р о с м а н

Я сказал, и это будет так.
Ты смел, я это чту; но по какому праву
Дерзнул ты требовать? Мне это не по нраву.
Ступай, и завтра же, едва блеснет рассвет,
С иорданских берегов пусть твой исчезнет след.

Нерестан уходит.

Ф а т и м а

О Боже, помоги!

О р о с м а н

Пока и вы идите,
Заира, и сераль под вашу власть берите,
Султаншей правьте здесь, а я велю тотчас
Готовить брачный пир, где коронуя вас.

Сцена пятая

Оросман, Корасмен

О р о с м а н

Что этому рабу, скажи мне, было надо?
Вздыхая, он на миг не свел с Заиры взгляда.
Ты видел?

К о р а с м е н

Государь! Что вы могли сказать?
Ужели ревность вас вдруг начала терзать?

О р о с м а н

Мне ревновать? Чтоб я вдруг пал до подозренья?
Чтоб ужас я узнал презренного мученья?
Ведь мне любовь нужней, чем злость другим серд-
цам!
Ведь подозрительный зовет измену сам!

Я вижу: мною лишь полна моя Заира,
И в ней моя любовь нашла себе кумира!
И эта страсть важней, чем все мои дела!
Нет ревности во мне... А если бы была...
А если б сердце... Ах! Как это все докучно!
Нет! Радость чистая со мною неразлучна!
Иди готовить всё к минуте светлой той,
Что жизнь мою навек соединит с мечтой.
Час я займусь теперь важнейшими делами,
А после проведу весь день, Заира, с вами!

А К Т В Т О Р О Й

Сцена первая

Нерестан, Шатийон

Ш а т и й о н

О чистый рыцарь наш, о храбрый Нерестан,
Оковы сбросивший со стольких христиан,
Нам Богом присланный, придите, покажитесь
И светлой радостью немедля насладитесь —
Обнять соратников, чей вы расторгли плен,
От счастья плачущих, у ваших пав колен.
Все собрались они близ этого покоя,
На долгожданного пришли взглянуть героя —
На благодетеля: ведь им объединен...

Н е р е с т а н

Умерьте похвалы, мой славный Шатийон;
Ведь я француз, мой долг я выполнял—не боле;
Вы б то же сделали, будь вы, не я, на воле.

Ш а т и й о н

О, без сомнения; ведь рыцарская кровь
Всем жертвовать велит за веру и любовь,
И счастье наших душ, —склоняясь пред судь-
бою,
За благо ближнего пожертвовать собою.
Блажен, кому судьба, как вам, свершить дала
Столь благородный долг, столь славные дела!

Нам, жалким пленникам, кого неумолимо
Злой рок преследовал, рабам, в стенах Солима,
Без помощи, в цепях, томившимся года, —
Без вас бы Франции не видеть никогда:
Нас обрекал на смерть родитель Оросмана.

Н е р е с т а н

Мне лишь Господь помог: ведь юного султана
Лишь он понудить мог смягчить ревнивый пыл.
Но как печальный рок нам радость омрачил!
Какою горечью наполнились неожиданно
Благоденствия надменного султана!
Бог видит, что в моем нет сердце ничего,
Что прославленья бы не жаждало его.
Я лишь ему служу, и мной мечты владели
Вернуть красавицу, какую с колыбели,
В рабыню обратил жестокий Нурэддин,
Когда враги Христа, кровавая прах долин
Безумной Сирии, пробравшись в тыл обманно,
У Цезареи вдруг разбили Люзиньяна.
Я был французами потом освобожден
И снова схвачен был и в цепи заключен,
И на слово меня потом в Париж пустили, —
И те же всё мечты в моей душе бродили:
Заиру привезти к счастливому двору,
Где кров Людовик дал талантам и добру,
А королева длань простерла благосклонно
И покровительство нам обещала с трона.
И вот, когда настал давно желанный час,
И пленница могла б свободной быть меж нас,
Ее не отдают... Да что!.. Сама Заира,
Султана полюбив, в нем обретя кумира...
Не стоит говорить... К тому ж отказ другой
Меня смертельною отяготил тоской.
Надежда христиан обманута презренно.

Ш а т и й о н

Быть может, жизнь моя нужна вам? Я мгновенно
Отдам ее: она лишь вам принадлежит.

Н е р е с т а н

Узнайте: Люзиньян, чья цепь еще звенит,
Последний из семьи героев плодовиной,

Бессмертной доблестью повсюду знаменитый,
Герой страдающий, чьим предком был Буйон,
В объятья христиан не будет возвращен!

Ш а т и й о н

Сеньер! Но ведь тогда и подвиг ваш бесплоден:
Ужель один солдат захочет быть свободен,
Коль вождь его цепям до гроба в жертву дан?
Мне более, чем вам, известен Люзиньян.

Вы небо кроткое, сеньер, благодарите
Что, к счастью, родились не в годы тех событий,
Навеки проклятых, когда повсюду кровь
Страну несчастную кропила вновь и вновь!
Когда я видел сам, бессильный гнев изведав,
Как варвары крушат наследье наших дедов!
О небо! Если б вы видали весь разгром, —
Храм и господень гроб, поруганный врагом;
Отцов, детей и жен везде, пред алтарями,
Живыми брошенных в клокочущее пламя,
И старца-короля, на склоне славных дней
Зарезанного вмиг на трупях сыновей!

Последним Люзиньян был в той семье священ-
ной;

В нас бодрость он вселял отвагой несравненной:
Он на развалинах пылающих дворцов
Средь победителей, разбитых, мертвцов
Рубился яростно, рукой вздымая правой
Над мусульманами свой тяжкий меч кровавый,
А левой вознося, чтоб видел друг и враг,
Святой религии величественный знак,
И грозно восклицал: «Французы, будьте вер-
ны!..»

Путь проложив ему средь ужасов и скверны,
То благодать Божия, что вновь спасает нас,
Его, крылом прикрыв, вела с собой в тот час!
И скорбных христиан спасенные дружины
С ним в цезарейские отправились долины;
Там волей рыцарей единоклюбой он,
Чтоб нам законы дать, был возведен на трон.
Но, дорогой сеньер, должно быть, Божьей воле,
Людей смирению учащей в скорбной доле,
Угодно не было за подвиг нам воздать, —

И безуспешно мы стремились устоять.
О, память ужасов, что гложет нас доселе!
В Солиме угля еще не охладели,
Когда в наш новый край привел предатель-грек
Врага надменного губительный набег,
И пламя, что Сион сожгло волной своею,
Метнулось яростно теперь на Цезарею.
Тридцатилетних смут то был последний год;
Там храбрый Люзиньян цепей изведал гнет;
Презрев падение, в несчастиях великий,
С тоскою слушал он лишь жалких братьев крики.
И с этих пор отец несчастных христиан,
От них отторгнутый, клоня свой дряхлый стан,
Скорбит на дне тюрьмы, навек от солнца скры-
тый,

Европой целою и Азией забытый.
Вот страшный рок его, и кто бы мог из нас,
Пока страдает он, быть счастливым хоть на час?

Н е р е с т а н

О, да! лишь варвару такое счастье мило...
Как я клянусь судьбу, что нас разъединила!
Как ваша речь меня сумела всколыхнуть!
Мне с дней младенчества его известен путь;
Ваш плен и плен его, и Цезарея в пепле —
Вот это зрелище, перед которым слепли
Едва открытые на Божий мир глаза.
Я в колыбели был, — и страшных дней гроза
В рассказах ваших вновь предстала как живая,
И я опять дрожу, ее переживая.
Средь мертвых христиан, в соборе запертых,
Младенцев несколько, — и я был между них, —
Исторгнутых резни кровавыми руками
Из рук их матерей, поруганных врагами,
Вдруг были найдены и взяты все сюда,
В сераль, и долгие здесь провели года;
Здесь Нурэддин меня воспитывал с Заирой,
Которая с тех пор... простите вздох мой
сирый,

Которая с тех пор, во мраке заблудясь,
Для варвара-вождя от Бога отрелась.

Ш а т и й о н

Да, то у мусульман испытанное средство:
Детей, попавших в плен, вводить в соблазны
с детства,
И, небо кроткое, благословенно будь,
Что ваш направило иначе юный путь!
Но все-таки, сеньер, могла бы и Заира,
Покинувшая нас для своего кумира,
Своим влиянием помочь нам в должный срок;
Не все ль равно, кого вдруг удостоит Бог
Служить ему? Он мудр и знает, как заставить
Зло благу послужить и Божий трон прославить.
Заира к нам добра; простите, — может быть,
Султана гордого она могла б склонить
Нам возвратить того, кого он сам не может
Не сожалеть и кто его уж не встревожит!

Н е р е с т а н

Но пожелает ли сам праведный герой,
Чтобы его спасли позорною ценой?
А если бы и так, каким путем сумею
Хоть на единый миг я повидаться с нею?
Ужели Оросман позволить снизойдет,
Чтоб для меня сераль открыл свой мрачный
вход?
А если б, наконец, я к ней пришел, как прежде,
Склонится ли она к моей глухой надежде,
Изменница, — кого и взор мой оскорбит,
Кто и на лбу моем прочтет свой суд и стыд?
О, тяжело, когда с высокою душою
Ждешь помощи себе от презренных тобою!
Ужасен их отказ, и милость их — позор!

Ш а т и й о н

Но к Люзиньяну свой вы обратите взор!

Н е р е с т а н

Да — так! Но где тот путь, которым бы вначале
Я смог... Сюда идут. О небо! Не она ли!

Сцена вторая

Заира, Шатийон, Нерестан

Заира (Нерестану)

Достойный рыцарь, я — с беседой к вам пришла.
Султан мне разрешил, не видя в этом зла.
При вас моя душа — в томлении жестоком;
Смягчите же свой взор, пронизанный упреком.
Мы оба смущены, обоим нам — краснеть;
Хочу, и страшно мне в глаза вам поглядеть.
Мы были связаны едва ль не с колыбели
И в годы детские в одной тюрьме слабели;
Рок и меня, и вас томил в цепях одних,
Но дружба нежная нам облегчала их.
Потом исчезли вы; я плакала немало;
Вас небо мудрое во Францию помчало;
И вот вы снова здесь, в Солиме, предо мной!
Когда-то наша речь была совсем иной, —
Была свободно: меня, рабы безвестной,
Не различал султан в толпе невольниц тесной.
Великодушия иль жалости полны,
Иль дружбой чистою еще увлечены,
В прекрасной Франции, чья слава светит миру,
Сыскали выкуп вы за бедную Заиру.
Но волею небес теперь не нужен он,
И мне Солим навек уделом присужден.
Но как мой путь судьба ни осыпай цветами,
Я с вами не прощусь, глаз не смочив слезами.
Все ваши доблести, всю вашу доброту
Я буду вспоминать, как нежную мечту;
Я буду облегчать страдания людские,
Стоять за христиан, — они ведь мне родные, —
Я буду им как мать; всех скорбных и больных...

Нерестан

Мать! Христианам! Вы, отвергнувшая их!
Вы, прах поправшая несчастных Люзиньянов!

Заира

Я чту тот прах, сеньер. Последний из титанов,
Надежда ваша, вождь, вам мною возвращен.
Да, Люзиньян — он ваш: теперь свободен он!

Ш а т и й о н

О небо! Мы его, отца, увидим снова!

Н е р е с т а н

Какую душу нам вернуло ваше слово!

З а и р а

Я, не надеясь, все ж отважилась просить.
Великий наш султан решил мне уступить.
Его ведут сюда.

Н е р е с т а н

О, как душа замлела!

З а и р а

Сквозь слезы я его, увы, не разглядела:
И я ведь, как и он, цепей узнала гнет, —
Ужель, кто сам страдал, страданья не поймет?

Н е р е с т а н

Бог мой! В отступнице лишь кротость, а не злоба!

Сцена третья

Заира, Люзиньян, Шатийон, Нерестан,
пленники-христиане

Л ю з и н ь я н

Чей голос благостный меня воззвал из гроба?
Я с христианами?.. Едва иду... Беда
Меня состарила сильнее, чем года...
Ужель на воле я?

З а и р а

О да, сеньер, на воле!

Ш а т и й о н

Вы живы! Где теперь тревоги все и боли?
Нас, христиан...

Л ю з и н ь я н

Вновь день! И вновь я слышу речь!
То вы, мой Шатийон? О радость новых встреч!
Скажите, мученик, как я, за веру нашу, —
Исчерпал ли господь страданий наших чашу?
Где мы находимся? Как плохо вижу я!

Ш а т и й о н

Здесь ваша некогда владычила семья;
Сералем ваш дворец стал сыну Нурэддина.

З а и р а

Здесь правит Оросман, но в сердце господина
Есть уважение к отваге и трудам.

(Указывая на Нерестана.)

Сей доблестный француз, — он неизвестен вам, —
Приплыл из Франции, влекомый неустанным
Желанием купить свободу христианам,
И, соревнуя с ним в величии, тотчас
Могучий Оросман освобождает вас!

Л ю з и н ь я н

Вот наших рыцарей характер благородный!
Их доблесть я всегда ценил душой свободной!
Достойнейший боец! Вы, слыша славы зов,
Приплыли к нам — спасать от тяжести оков?
Кто вы, столь редкий друг? Я истомлюсь, не зная.

Н е р е с т а н

Мне имя Нерестан. Судьба, столь долго злая,
Которую и мне цепь суждена была,
Край Полумесяца покинуть мне дала.
К двору Людовика лежал мой путь далекий;
Я дела бранного там получил уроки;
Все, чем владею я, все даровал мне он,
Король, что славою и верой озарен;
Я следовал за ним на берега Шаранты,
Где гордых англичан военные таланты
Поверглись, наконец, под наши знамена,
И слава лилиям была возвращена.
Принц, к величайшему из королей придите,

Оков священные отмыты покажите:
Париж почитит бойца религии своей,
А двор Людовика — убежище князей.

Л ю з и н ь я н

И я ведь некогда шел этим следом львиным!
Когда Филипп смирил победу под Бувином*,
Я тоже дрался там в ряду с Монморанси,
С де Нелем яростным, д'Эстеном и Куси...
Но увидеть Париж — мне неостанет силы;
Ужель не видите, я на краю могилы
И, наконец, иду к царю царей — просить
За муки в честь него меня вознаградить.
А к вам, друзья мои, до часа рокового
Мое последнее просительное слово.
Вы, Нерестан, и вы, мой старый Шатийон,
И вы... как дорог мне сейчас ваш братский стон!..
Вы, юная моя, вы пожалейте старость
Того, кто никогда небес не вызвал ярость,
И вот, измученный, пред вами льет сейчас
Вновь слезы, что года лились из тусклых глаз.
Трех сыновей и дочь, надежду в годы бедствий,
Я потерял еще в их самом нежном детстве.
Ты должен помнить их, мой добрый Шатийон!

Ш а т и й о н

Я снова весь дрожу, как вспомню страшный сон.

Л ю з и н ь я н

Со мною взятый в плен в горящей Цезарее,
Ты видел, как двоих зарезали злодеи.

Ш а т и й о н

Но я ведь скован был от головы до ног.

Л ю з и н ь я н

Увы! И я, отец, там умереть не мог!
О, волею небес, замученные дети,
Коль брат ваш и сестра еще живут на свете, —
Поберегите их! Спасая для оков,
Их взяли варвары, чтоб обратить в рабов.
Лишив родителя, детей в Солим прислали
И поместили здесь, вот в этом же серале.

Ш а т и й о н

То правда; в ужасе пред новою бедой
Я вашу дочь берег и сам, своей рукой,
Боясь, что не смогу ее спасти от мщенья,
Ей окропил чело святой водой крещенья,
Когда строй сарацин, дымясь от крови, вдруг
Вернулся, чтоб дитя из слабых вырвать рук.
А сын ваш маленький, последний отпрыск рода,
Которому едва четыре было года,
Но кто уж мог понять всё, что случилось с ним,
Был увезен с сестрой сюда, в Иерусалим.

Н е р е с т а н

Воспоминания меня томят до дрожи.
Я в этот страшный год был в Цезарее тоже;
Забрызган кровью весь, в цепях сгибая стан,
Я следовал сюда с толпою христиан.

Л ю з и н ь я н

И вы, сеньер! И вас держали здесь, в серале?
Увы! Моих детей ужель вы не знавали?

(Всматривается.)

Они таких же лет, и если слабость глаз...
Как странно, девушка: я вижу крест на вас!
Давно ль вы носите?

З а и р а

Ношу со дня рожденья...
Что с вами, мой сеньер? Вы весь пришли в вол-
нение!

(Подает ему крест.)

Л ю з и н ь я н

Доверьте мне его хоть на единый миг!

З а и р а

Но что за трепет вдруг в груди моей возник?

Люзиньян, плача, целует крест.

Что делаете вы?

Л ю з и н ь я н

Дай, провиденье, силы!
О небо, не спугни надежды легкокрылой!
Возможно ль?.. Этот крест... О, как знаком он
мне,
Моею же рукой подаренный жене
И надевавшийся младенцам в колыбели,
Когда мы праздновать рождение их хотели.
Я узнаю его!.. Ужели?.. Нету сил...

З а и р а

Как? Что за домысел всю кровь мне возмутил?
Сеньер!..

Л ю з и н ь я н

Молю тебя, — ты видишь слезы, — Боже:
Не разрушай надежд, что жизни мне дороже!
Ты умер на кресте и вновь воскрес для нас, —
Ответь! Рази меня, — настал последний час!
Как! Девушка, у вас был этот крест на шее?
Как! Оба взяты в плен, и оба в Цезарее?

З а и р а

Да, принц.

Н е р е с т а н

Возможно ли?

Л ю з и н ь я н

Их голос, их черты —
Они от матери — я узнаю! — взяты.
Ты снизошел, Господь: глазам вернулась сила;
Мне чувства подкрепи, — их радость подкосила!
Заира... Нерестан!.. Дай руку, Шатийон...
Вы, Нерестан (беру любое из имен),
Скажите, есть у вас на теле шрам счастливый,
Что на моих глазах рукою торопливой...

Н е р е с т а н

Да, есть.

Л ю з и н ь я н

Бог праведный! Нет радости светлей!

Н е р е с т а н (*падая на колени*).

Сеньер! Заира! Ах!

Л ю з и н ь я н

Я отыскал детей!

Н е р е с т а н

Я — сын ваш!

З а и р а

Мой отец!

Л ю з и н ь я н

О, могли счастья ждать я?
Дочь, сын мой дорогой, придите же в объятия!

Ш а т и й о н

Как сладко нà сердце! Как все светло вокруг!

Л ю з и н ь я н

Нет, мне не вырваться из этих нежных рук!
Я вновь ее нашел, семью мою родную;
Мой сын, наследник мой... И дочь... Но я тоскую:
Догадка страшная восторг мой гонит прочь;
Рассей же ужас мой, развея сомненья, дочь!
Ты, Господи, один людские судьбы знаешь
И христианкой ли ты дочь мне возвращаешь?
Молчишь, несчастная! Потупила глаза!
О злодеяние! О черная гроза!

З а и р а

Казните вашу дочь... Она ответит прямо:
Власть Оросмана всем несет закон ислама.

Л ю з и н ь я н

Пусть грянет молния, мне череп раздробя!
Сын, слыша эту речь, я б умер без тебя!
Я шесть десятков лет во имя Божьей славы
Сражался; я видал, как пал в резне кровавой
Господень храм, в тюрьме я двадцать лет провел
И о семье молил, кропя слезами пол.
И вот, когда мне Бог детей вернул сегодня,
Я узнаю, что дочь — отступница Господня!
О, как несчастен я! Ведь я всему виной,
И вера у тебя взята моей тюрьмой.
О дочь, предмет забот, предмет раздумий милых,
Подумай, что за кровь в твоих струится жилах:

Кровь двадцати князей, сплошь христиан, как я,
Кровь рыцарей, что крест несли во все края,
Кровь мучеников... Дочь, мне все же дорогая,
Ты знаешь ли твой рок? Кто мать твоя родная?
Ты знаешь ли, — ее, едва она, в крови,
Произвела на свет плод горестной любви,
Зарезала рука свирепых сарацинов —
Тех, с кем ты повелась, закон отцов отринув!
Два брата — их тела, в крови, я видел сам, —
Тебя манят рукой, простертой к небесам!
Бог, преданный тобой, чье ты поносишь имя,
За мир и за тебя был распят здесь, в Солиме;
Здесь, где сражался я за Бога столько лет, —
Здесь кровь Его к тебе в сей речи вопиет!
Гляди: вот стены, храм, разрушенный исламом, —
Бог прадедов твоих почтен был этим храмом;
Гляди: вблизи дворца — честнейший гроб Его,
Холм, где Он был распят, — о злобы торжество!—
Где кровью Он омыл людские преступленья,
Где из гробницы Он восстал в миг воскресенья!
Ты шага не пройдешь — священные места
Покажут каждый миг тебе следы Христа.
И дочь, презрев отца, оставшись, отвергает
И родовую честь, и Бога, что спасает!
Но на груди моей дрожишь и плачешь ты;
Раскаянием Бог светлит твои черты;
Я вижу: истина к тебе уже нисходит;
Отец, утратя дочь, ее опять находит;
Я обретаю вновь и радость, и покой,
Дочь у неверия отбив своей рукой!

Н е р е с т а н

Я вижу вновь сестру... и душу в ней...

З а и р а

Скажите,
Что делать я должна, отец мой? Научите.

Л ю з и н ь я н

Три слова вымолвить, рассеяв скорбь мою:
«Я признаю Христа».

З а и р а

Я... да... я признаю.

Лю з и н ь я н
О, дай ей, Господи, с Твоей державой слиться!

Сцена четвертая

К о р а с м е н, За и р а, Лю з и н ь я н,
Ш а т и й о н, Н е р е с т а н

К о р а с м е н

Вам должно, госпожа, отсюда удалиться,
Не медля ни на миг, — так повелел султан, —
И больше не встречать безбожных христиан.
А вы, француз, за мной: за вас я отвечаю.

Ш а т и й о н

О, где мы, Господи? Гнет без конца и краю!

Лю з и н ь я н

Пусть мужество, друзья, нас укрепит опять.

З а и р а

О, горе мне!

Лю з и н ь я н

А вы — не смею вас назвать —
Клянитесь утаить признание роковое.

З а и р а

Клянусь.

Лю з и н ь я н

Идите. Бог устроит остальное.

А К Т Т Р Е Т И Й

Сцена первая

О р о с м а н, К о р а с м е н

О р о с м а н

Напрасно полон ты тревогою такой:
Людовик* на меня не двинется войной,
Французы, утомясь, бороться перестали
За чуждые, судьбой им не данные дали;

Зачем им покидать зеленый край родной,
Чтоб изнывать в песках Аравии сухой,
Иль кровью орошать, томясь предсмертным
страхом,
Те пальмы, что для нас возвращены Аллахом?
Да, бродят их суда близ наших берегов,
Но с Кипра — Азии грозить король готов;
Я знаю, корабли он шлет по зыби водной,
Желая захватить Египет плодородный;
Я весть приятную тут получил одну:
Он с мамелюками решил вести войну;
Мой недруг Меледен* в бой с королем вступает,
И мой сирийский трон их распря укрепляет;
Египет с Францией теперь не страшны мне:
Коль два врага в борьбе — прочнее власть вдвойне.
И, проливая кровь, враг, тот и тот, слабеет,
Так кто ж о мести мне теперь мечтать посмеет?
Я пленных христиан освободить велю,
Чтоб удовольствие доставить королю;
Пусть тотчас пленников посадят на галеру,
Чтоб он, узнав меня, мою почтил бы веру;
Пусть Люзиньян плывет и скажет во дворце,
Что я короне шлю того, кто был в венце,
Того, кого разбил два раза мой родитель,
И кто на много лет в тюрьме нашел обитель.

К о р а с м е н

Но он для христиан...

О р о с м а н

Для нас ничто, поверь.

К о р а с м е н

Но если вдруг король...

О р о с м а н

Что мне скрывать теперь?

Мной отдан Люзиньян: Заира так просила;
Я ею покорён, в ее руках вся сила.
Что для меня король? Взяла Заира власть,
И так мне сладостно к ее стопам припасть!
Я огорчил ее, и мне же сделать надо

Всё, чтоб рассеялась обида и досада,
Ей причиненные, когда, введен в обман
О целях Франции, я мучил христиан.
Я время попусту растрчивал в совете,
Замедля этим брак, прекраснейший на свете,
И радость вновь на час отсрочена моя,
Но милой угодить успею все же я!
Заира хочет здесь поговорить свободно
С тем смелым рыцарем, который благородно...

К о р а с м е н

Конечно, государь, вы отказали в том?

О р о с м а н

Они ведь с детских лет росли в плену, вдвоем,
Вдвоем носили цепь, им не встречаться боле;
Заире, наконец, не причину я боли
Отказом, — силы нет; да, мною попран он —
Гаремных строгостей незыблемый закон.
О, как презренен мне уклад сералей жалкий,
Где женщины верны из страха, из-под палки!
Кровь азиатская вполне чужда мне, знай.
Мне скалы — родина, Тавриды скудный край.
Из рода скифов я, храню я с ними сходство:
Во мне — их пыл, их честь, во мне — их благо-
родство...
С Заирой встретится немедля Нерестан;
Пусть все ликуют здесь, раз я от счастья пьян.
Пусть несколько минут он у любви похитит,
А дальше — всё мое, и что меня насытит?
Он ждет, христианин, введи его скорей;
Заира здесь царит, и — повинуйся ей.

Сцена вторая

Корасмен, Нерестан.

К о р а с м е н

Войди ненадолго, побудь еще в серале;
Заира выйдет вновь, она в соседней зале.

Сцена третья

Н е р е с т а н

Н е р е с т а н

О небо, где ее оставить должен я!
Несчастный мой отец! Религия моя!
Но вот она.

Сцена четвертая

З а и р а, Н е р е с т а н

Н е р е с т а н

Сестра, вы предо мною снова,
Но небо в этот миг вновь стало к нам сурово:
Несчастный наш отец — он не увидит вас.

З а и р а

О Боже! Люзиньян?

Н е р е с т а н

Уж пробил смертный час:
Ведь радость нас найти была ударом грома,
И чувства слабые не вынесли подъема,
И всё волнение, которым был он полн,
Разбило жизнь его, как буря — утлый челн;
Но мало этого: в последние мгновенья
За дочь боится он, его томят сомненья,
В предсмертной горести всё спрашивает он,
Не позабыла ль дочь своих отцов закон?

З а и р а

Как? За сестру ли вам, за вашу ль кровь бояться,
Что вновь она пойдет от веры отречься?

Н е р е с т а н

Аж, правой веры свет еще не ваш вполне,
Еще не день — заря сияет в вышине,
Обряд крещения ведь не свершен над вами,
Что, омывая грех, сближает с небесами.

Клянитесь бедами, разившими семью,
Мученьем прадедов, отдавших жизнь свою,
Что вы желаете, чтоб здесь же и сегодня
Пресветлая легла на вас печать Господня.

З а и р а

Да, я клянусь Христом, чей благодный закон
Всем сердцем я люблю, хоть мне неведом он,
Что, лишь ему молясь, я буду жить отныне...
Но, брат... что требует он от своей рабыни?
Что я должна?

Н е р е с т а н

Презреть султанов ваших власть
И, Господу служа, к нему душой припасть,
К Нему, кто был распят, кого весь род наш славил,
Кто нас соединил, кто к вам меня направил;
Но я — солдат; учить — задача не моя:
Хоть предан Господу, но знаньем беден я;
Я жду священника, он совершит крещение,
Он жизнь вам принесет, рассеяв заблужденья,
И знайте, что обряд величественный тот
Вас от проклятия и гибели спасет.
Добейтесь, чтобы я сюда с ним мог явиться;
Но, Боже, под каким предлогом вам добиться?
В сераль языческий — к кому он будет зван?
Вам, крови королей, владыка — Оросман!
Родня Людовику, дочь принца Люзиньяна,
Сестра, французенка — рабыней у султана!
А если... продолжать мне запрещает стыд;
Храни нас, Господи, от худшей из обид!

З а и р а

Жестокий! Как вам знать про все мои мученья,
Про тайну робкую, обеты, искушенья!
Брат, пожалейте же сестру свою: она
Горит и мечется, отчаянья полна.
Я христианка, да... увы!.. я жду, пылая
Чтоб душу мне омыть могла вода святая,
И я достойною и бедного отца,
И предков, и себя останусь до конца.
Но не таите же — в чем он, закон тот правый,
Что христианскою усвоен был державой?

Какие кары он хранит для девы той,
Что, с детства цепь влача, несчастной сиротой,
Нашла б величие у варварского сердца
И стала бы, любя, женою иноверца?

Н е р е с т а н

Что? Боже! Для такой — один лишь приговор:
Смерть!

З а и р а

Если так — рази, твой отвратив позор!

Н е р е с т а н

Как? Вы? Сестра!

З а и р а

Себя виню я: Оросману

Я дорогá; ему женою нынче стану.

Н е р е с т а н

Женой? Моя сестра? Родная королю?
Кровь королей?

З а и р а

Рази! Султана я — люблю!

Н е р е с т а н

Созданье жалкое, позор высокой крови,
Смерть заслужили вы, и смерть уж наготове!
Когда бы я сейчас на твой лишь стыд глядел,
На честь родителя, на память славных дел,
Когда бы Бог, тебе неведомый доселе,
И вера руку мне сдержать не повелели,
Не медля ни на миг, я бы проник в сераль —
Султану прямо в грудь вонзить вот эту сталь,
Затем ее омыть в твоей крови презренной
И вынуть, чтоб себя затем сразить мгновенно.
Бог мой! Пока король, пример для всей земли,
В Египет трепетный свои шлет корабли,
Чтобы потом, войну к стенам Солима кинув,
Избавить гроб Христов от власти сарацинов,
Заира, мне сестра, племянница ему,

Становится женой язычнику тому!
Как будет Люзиньян известием подарен,
Что дочерью его взят в божества — татарин!
А он сейчас душой весь ко Христу приник,
Спасенья дочери моля в последний миг.

З а и р а

Постой, мой брат, постой... и выслушай спокойно;
Заира, может быть, тебя еще достойна.
И сжался: пыл твоих мучительных речей,
Твой гнев и твой упрек любых обид больней
И более страшны, чем взмах клинка стального,
Которого ждала и призываю снова.
Ты видишь: я слаба, и меркнет месть твоя;
О да, ты мучишься, но мучусь ведь и я.
О, если бы небес безжалостная сила
Мне помогла б и кровь во мне остановила,
Когда, языческой любовью распалась,
Она, кровь христиан, для варвара зажглась,
Когда в ответ любовь родилась в Оросмане...
Кто б устоял пред ним? — Простите, христиане!
Всё делаю по мне, ко мне душой склонен,
Лишь для меня смягчал свою суровость он;
Надежды новые ведь он вдохнул французам,
Ему ведь мы с тобой обязаны союзом.
Прости: и так твой гнев, отец мой, наша кровь,
Мой долг и мой обет, и слабость, и любовь —
Всё пытка для меня; сестру твою, что любит,
Знай, мука совести скорей любви погубит!

Н е р е с т а н

Клянуп — и жаль тебя; верь: никогда Господь
Не даст отчаянью невинность побороть;
Ах, я простил тебе презренные тревоги:
Бог мощною рукой не указал дороги
Созданию слабому; но знай, его рука
От бури сохранит и стебель тростника!
Но, Богу данная, ты Бога оскорбила:
Меж Ним и варваром ты сердце разделила.
Водой крещенная, залей же эту страсть,
Чтоб христианкой жить иль мученицей пасть.
Ты клятву начала и завершить должна ты;

Пусть сердце и душа отчаяньем объаты,
Клянись Людовику, отцу, Европе, мне,
Христу, что говорил с тобою в тишине,
Что ненавистным ты не осквернишься браком,
Пока святой отец твой взор, покрытый мраком,
При мне не прояснит, крещение дав тебе,
И руку помощи даст Бог своей рабе.
Ты обещаешь ли, Заира?

З а и р а

Обещаю!

Дай волю, веру дай — и всё я принимаю.
Иди предсмертный пот со лба отца стереть,
Иди, — я за тобой, чтоб первой умереть.

Н е р е с т а н

Иду, прощай, сестра; хоть не свершится чудо,
Чтоб я молитвой мог тебя спасти отсюда,
Я всё ж сюда приду, чтобы обряд святой
Тебя от бездны спас, вернув себе самой.

Сцена пятая

З а и р а

З а и р а

Вот и одна... Одна! И помощи нигде нет!
Правь сердцем, Господи, — тебе да не изменит!
Кто ж я — француженка ль? исламу ль предана?
Дочь Люзиньяна ль я, султану ли жена?
Любить иль веровать? Но клятву принесла я!
Унижу ль честь отца и честь родного края?
Фатима не идет... О, в тягостной борьбе
Весь мир меня забыл, обрек самой себе.
Как сердце выполнит, лишённое опоры,
Свой вновь рожденный долг, тяжелый, точно
горы?

Возвращена, Господь, тебе душа моя,
Но пусть любимого не встречу больше я!
О милый, поутру могла ль предугадать я,
Что в полдень я решу презреть твои объятия, —
Я, не избравшая из всей красы земной

Иного счастья и радости иной,
Как говорить с тобой, внимать любовной речи,
И на тебя глядеть, и жаждать новой встречи!
Я так тебя люблю! И это — смертный грех!

Сцена шестая

Заира, Оросман

Оросман

Уже готово всё, и жар волнений тех,
Которыми я полн, не терпит ожиданья!
Лампады брачные мне льют свое сиянье;
Куренья сладкие наполнили мечеть;
Бог Магомета сам сойдет запечатлеть
И клятвы нежные, и пыл моих стремлений;
Пред вами мой народ уже склонил колени:
Все присягают вам; соперниц гордых рой,
Что обижали вас и взор ловили мой,
Мечтает лишь о том, чтоб вам повиноваться
И перед волею владычицы склоняться;
Трон, и обряд, и пир — все ожидает нас,
И дверь в мой вечный рай откройте мне сейчас!

Заира

Где я, несчастная?.. Любовь... Тоска... до крика...

Оросман

Пойдем.

Заира

Куда бежать?

Оросман

Что слышу я?

Заира

Владыка!..

Оросман

Заира, руку мне благоволите дать...

Заира

О Бог отцов моих! Что мне ему сказать?

О р о с м а н

Как сладко побеждать смущенье в нежном споре!
Как разгорается во мне любовь!

З а и р а

О горе!

О р о с м а н

От вашей робости вы мне милей вдвойне:
С ней целомудрие сдружилось в тишине.
Прелестная, предмет любви неутолимой, —
Что медлить нам? Пойдем.

З а и р а

Будь я вдвоем с Фатимой...

Мой повелитель...

О р о с м а н

Что? Мне странно.

З а и р а

Не дыша,

Как дара, этих уз моя ждала душа.
Нет, не прельщалась я ни тронами, ни властью:
Всё сердце с трепетом влеклось к иному сча-
стью!

Мне нужны — вы, и я мечтой была полна,
Все царства Азии для вас презрев, одна,
В пустыне, возле вас, близ моего супруга,
Забуть соблазны все, цветы земного круга.
Но... христиане...

О р о с м а н

Как? Они?.. Какая связь
Меж этой сектою и вами вдруг нашлась?

З а и р а

Но старец Люзиньян, измученный страданьем,
Прощается в сей миг с земным существованьем...

О р о с м а н

Так что ж? Столь нежная в вас родилась тоска
Из-за какого-то больного старика?

Будь христианка вы, — но, выросши в серале,
Вы издавна закон моих отцов признали;
И умирающий под грузом лет старик
Как может омрачить вам столь высокий миг?
Нет, жалость кроткая, что вам внушил несча-
стный,
Должна рассеяться в минуте, столь прекрасной.

З а и р а

О, если вами я любима... если так...

О р о с м а н

О Боже! «Если!» Вы!

З а и р а

Позвольте этот брак...
Отсрочить несколько... молю я... снизойдите!..

О р о с м а н

Я ль слышу это всё? Вы ль это говорите?
Заира!

З а и р а

Как я гнев его могу смягчить?

О р о с м а н

Заира!

З а и р а

Больно мне и страшно огорчить...
Простите скорбь мою... Ах, я забыла разом,
Что я сказать должна, что сделать... меркнет
разум...
Как вынести могу кровь леденящий взор?
Как мне... О государь, позвольте с этих пор
Мне скрыть, вдали от вас, тоску любви бесцель-
ной,
Боль, и отчаянье, и ужас беспредельный!

(Уходит.)

Сцена седьмая

Оросман, Корасмен

Оросман

Стою, ошеломлен; язык, оледенев,
Не в силах выразить ни ужас мой, ни гнев.
Со мной ли речь вели? И я расслышал верно?
Бежала... от меня? Я поражен безмерно.
И я ей дал уйти!.. Я ль это? Корасмен,
В чем суть, причина в чем всех этих перемен?

Корасмен

Смутили вы ее, и вы ж ее вините!
Вы обвиняете то сердце, где царите!

Оросман

Но эти жалобы, и слезы, и уход,
И взоры, полные печали и забот?
Что, если тот француз?.. О гнусное сомненье!
Какой ужасный свет блеснул мне на мгновенье!
Нет, недоверие гоню с презреньем я:
Раб, варвар — и вползти посмел бы, как змея?
Достойно ли меня, достойно ль господина
Начать бояться вдруг раба-христианина?
Но говори; ты мог видать ее черты,
И выраженье глаз, должно быть, видел ты?
Открой мне истину: надежды были ложью?
Молчишь? И справиться с твоей не можешь
дрождью?

Всё ясно.

Корасмен

Я боюсь гнев раздражить у вас.
Да, верно, капли слез заметил я у глаз,
Но больше, государь, я ничего не видел
Такого...

Оросман

Ты б меня хоть этим не обидел!
Заира, мне удар желая нанести,
Обман сумела бы искуснее сплести.
Как ей проникнуться отчаянием темным,

Будь сердце у нее пустым иль вероломным?
О нет, Заире, друг, не наноси обид...
Француз же стонет всё, ты говорил, дрожит?
Но что за дело мне до всей его печали,
Хотя б его тоска или любовь терзали?
Ужель несчастного бояться мне раба,
Которого навек с ней разлучит судьба?

К о р а с м е н

Но разве, вопреки законам, на прощанье
Вы не позволили еще одно свиданье?
Не разрешили вход?

О р о с м а н

Предателю? Сюда?
Явиться пред моей любимой? Лишь тогда
Она с ним встретится, когда, лишенный кожи,
При ней растерзанный, он будет в смертной дрожи
Лить кровь презренную. И алою рукой
Я кровь любовницы смешаю с кровью той!..
Измученной души прости мне бред ужасный:
Ей, страстной, так любить и быть такой несча-
стной!..

Мое неистовство я знаю — и стыжусь,
И до позорных чувств унизиться боюсь.
Не должен я питать к Заире подозрений,
И не ее душе — повинной быть в измене.
Но и моя зато вовеки не падет
До жалоб на каприз, на нрав дурной, на взлет
Враждебности, до смен сомненья и доверья, —
И объяснения не допущу теперь я!
Достойней для меня свою любовь смирить,
А все, вплоть до самой Заиры, позабыть!
Идем, — и чтоб врата все были на запоре;
Чтоб ужас царствовал у этих врат и горе;
Чтоб вновь невольники почуяли узду!
Цари восточные! Я вам вослед иду!
Да, гордость позабыв, рабыне униженной
Могу я кинуть взор порою благосклонный,
Но пред наложницей постыдно мне дрожать!
Ведь это Западу ничтожному подстать!
Опасный этот пол, что в нас желанья будит,
Пусть там царит, а здесь — повиноваться будет!

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Сцена первая

З а и р а, Ф а т и м а

Ф а т и м а

Как жаль мне вас, но скрыть восторг мой — выше сил!

Сам христианский Бог вас, видно, вдохновил!
Он руки слабые наполнит мощью новой,
Чтоб милые разбить и властные оковы.

З а и р а

Мой страх пред жертвою смогу ль я побороть?

Ф а т и м а

Просите милости, и внемлет вам Господь,
От сердца крестного не отвратит он взора.

З а и р а

Мне так, как никогда, нужна его опора!

Ф а т и м а

И если более вам не видать семьи,
Бог должен воспрять вас в дочери свои,
И сердца вашего он утолит мученья;
И если пастырь наш, орудье Провиденья,
В языческий сераль найти не сможет путь...

З а и р а

Ах! Смерть вложила я—смерть Оросману в грудь,
В ней — от руки моей — отчаянье и смута!
Обида тяжкая! Ужасная минута!
Мне Бог велел, а я так счастлива была...

Ф а т и м а

Как? Сожалеть еще об узах, полных зла?
Победой рисковать, почти уйдя из петель?

З а и р а

Победа жалкая и злая добродетель!
Не понимаешь ты, что потеряла я.
Столь мощная любовь, цвет лучший бытия,

Что бездну радости, увы, мне обещала,
Всем пламенем своим еще не просверкала.
Я, Богу предстоя израненной душой,
Слезу преступную роняя в прах святой,
Который окроплен Его пречистой кровью,
Взываю: разлучи меня с моей любовью,
Сними обузу клятв и в душу вниди мне!
И все-таки порой я вижу — в вышине,
Мне сердце опала, вдруг возникают сами
Черты любимого меж мной и небесами!
Ну что же! Короли, которым я родня,
Отец мой, мать, Господь, что отнял у меня
Любимого, — молю: прервите дней унылых
Поток, коль их ему я посвятить не в силах!
Пусть чистой я умру и пусть, на вечный сон,
Закроет мне глаза рукою милой — он!
Ах, что же Оросман? Он и не спросит даже, —
Ждет жизнь меня иль смерть уже стоит на
страже;
Меня он позабыл! Не пережить, увы!

Ф а т и м а

Как! Вы, дочь королей, — с кем быть хотите
вы?
Господь простер к вам длань, и ваша — с Ним
дорога.

З а и р а

А вдруг любимый мой рожден во славу Бога?
Ужели жертвой ад себе его обрек?
Ужель столь светлую отвергнет душу Бог?
Он благороден, чист, он добр — при сердце
львином;
Он разве б лучше был, будь он христианином?
Дай, Боже, чтоб скорей, на тайный зов спеша,
Слуга Его святой, кого так ждет душа,
Пришел бы примирить меня с тоской моею!
Страшусь — и все-таки таить надежду смею,
Что Бог — ведь Он столь добр, слыхала я, столь
благ —
Быть может, все-таки, не воспретит наш брак;
Быть может, тайное Он примет поклоненье
И раненной душе простит ее сомненья.

Быть может, мне вручив сирийский гордый трон,
Меня защитницей даст христианам Он?
Могучий Саладин — ты знаешь ведь, Фатима, —
У моего отца отнявший трон Солима
И кротостью своей прославленный, — и он
Был христианкою, неправда ли, рожден.

Ф а т и м а

Ах, вы не видите, что, вся стремясь к покою...

З а и р а

Молчи, я вижу все и гибну не слепю.
Все судят пусть меня — мой род, страна моя:
Да — принцу следуя, люблю султана я;
Да — с ним все дни мои, весь пыл моих стремлений!
Мне хочется пред ним упасть вдруг на колени,
Кто я, откуда я — всё, всё ему открыть.

Ф а т и м а

Но этим можете вы брата погубить,
Отнять у христиан последнюю подмогу,
И низко изменить призывавшему вас Богу.

З а и р а

Ах, если б знала ты, как добр мой Оросман!

Ф а т и м а

Своей он веры страж, защитник мусульман,
Он очень любит вас и, значит, очень строго
Враждебного ему чтить запретит он Бога...
Вы втайне пастыря желали здесь принять
И обещали...

З а и р а

Что ж! Его придется ждать.
Да, обещала я, клялась все сделать тайно,
Но лгать любимому мне так необычайно!
И, в довершение бед, уже не любит он!

Сцена вторая

Оросман, Заира

Оросман

Заира, были дни, когда, обворожен,
Внимал я зову чувств, и сердце допустило,
Чтобы в плену у вас моя слабела сила.
Я, повелитель ваш, простерт у ваших ног,
Мечтал, что я любим, и так мечтать — я мог.
Не слаб я, не ревнив, и от меня далёки
Желанья — кинуть вам постыдные упреки;
Жестоко раненный, всё ж горд я и велик,
И не унижусь я притворством ни на миг:
Для ваших выходов, достойных сожаленья,
Награда — самое холодное презренье.
Нет, нежности моей теперь не обмануть,
Для лстивых доводов моя закрыта грудь;
Возлюбленный, сражен отказом вашим скорым,
Теперь глядит на вас незнающим взором;
Исполнен гордости, боясь изведать стыд,
Не хочет знать причин отказа и обид.
Всё кончено. Теперь должна принять другая
Тот сан, что вам несла моя любовь живая;
Другая — не слепа, она поймет — какой
Мою любовь и трон измерить ей ценой.
Так сделать надо бы, хоть рвется грудь на части.
На всё способен я, и нет предела власти.
Я лучше предпочту навек утратить вас
И гибнуть медленно вдали от ваших глаз,
Чем вами обладать, коль вы хоть раз, в дремоте,
Обеты позабыв, не обо мне вздохнете.
Ступайте. Ваши мне — ввек не сверкнут черты.

Заира

Итак, свидетель слез, Господь, все отнял Ты!
Ты хочешь управлять один Твоей рабыней...
Что ж! Так как, государь, я не любима ныне,
Я верно...

Оросман

Верно то, что честь владеет мной,
Что страстно вас люблю, что стал для вас —
чужой,

Что покидаю вас, что вы, иного мира
Приняв религию... Вы плачете, Заира?

З а и р а

Ах, государь, молю, не верьте, что мой стон —
О том, что от меня далек ваш гордый трон;
Да, вас я потерять должна по воле рока,
Но сердце ведь мое вы знаете глубоко:
Пусть небом навсегда я буду проклята,
Коль к власти, а не к вам, моя влеклась мечта!

О р о с м а н

Вы любите меня!

З а и р а

О Боже! Я! Люблю ли!

О р о с м а н

Так что ж вы сделали? Зачем всё повернули?
Вы любите меня! Зачем же столько мук
От вас, жестокая, ваш верный вынес друг?
Я плохо знал себя; истерзанный тоскою,
Я думал, что владеть еще могу собою,
О нет, прочь от меня столь траурная власть!
Пусть месть небесная ввек не позволит впасть
Любимому тобой в отчаянье до гроба,
И пусть его любви не убивает злоба!
Как! Чтобы я престол мог поделить с другой?
И мысли пагубной я не имел такой!
Прости же мне мой гнев, моей душе смятенной —
Искусственный порыв, столь быстро

обличенный;

Клянусь, то было раз, и за всю жизнь тебя
Я впредь не огорчу, столь грубо оскорбя.
Всегда тебя любить я буду... Но откуда,
Раз я любим тобой, столь странная причуда —
Наш брак откладывать? Скажи. Иль это страх,
Что твой султан простерт перед тобой во прах?
Иль это хитрости? Не нужно, дорогая:
Они не для тебя, и ты — совсем иная,
Ужель ты хочешь их в святые узы вплесть?
Ведь и в ничтожнейшей уже коварство есть.
Я их вовек не знал, и полная любовью
Измученная грудь...

З а и р а

Душа исходит кровью!
О да, вы любы мне, но, нежности полна,
Я этой нежностью, как сталью, пронзена.

О р о с м а н

О небо! Как понять? Опять, меня терзая,
Вы...

З а и р а

Милосердный Бог! Зачем молчать должна я?

О р о с м а н

Какую тайну вы стараетесь укрыть?
Один из христиан мне козни, может быть,
Задумал строить?

З а и р а

О кто изменить вам может?
Нет, государь, не то, не то меня тревожит,
Не изменяют вам, не бойтесь ничего.
Лишь я — причину несчастья моего.

О р о с м а н

Несчастья? Боже мой!

З а и р а

Позвольте мне, к подножью
Величья вашего припав с пугливой дрожью,
Молить...

О р о с м а н

Молить? Велеть — и я вам жизнь отдам!

З а и р а

О, если б я могла навек предаться вам!
Любимый... государь... Позвольте, чтоб отныне,
Одна, вдали от вас, с моей тоской, в пустыне,
Сосредоточенно взирая на судьбу,
Укрыла я от вас навек мою мольбу...
Иначе завтра же все тайны вам открою.

О р о с м а н

Меня тревогой вы объяли роковою!
И вы...

З а и р а

Когда меня вы любите еще, —
Об этой милости молю вас горячо!

О р о с м а н

Что ж! Должен я желать всего, что вам желанно:
Согласен я, хотя — в душе вскипает рана;
Ступайте, помните, что в жертву я принес
Влеченья лучшие, чистейшие из грез.

З а и р а

В душе от этих слов — кровавая надсада.

О р о с м а н

Что ж, вы уходите, Заира?

З а и р а

Да. Так надо.

Сцена третья

Оросман, Корасмен

О р о с м а н

Ах, слишком рано ей убежище искать
И добротой моей так злоупотреблять...
Чем больше думаю, тем меньше мне понятна
Причина этих мук, что губят невозвратно.
Как! Нежностью моей на трон возведена,
Любима и любя, и радости полна,
На грани счастья, вдруг она от скорби стонет,
И нежный взор ее в слезах внезапных тонет.
От этих странностей моя душа кипит!
Но разве меньше, друг, я сам нанес обид?
И сердцу робкому не я ли делал больно?
Мне ль жаловаться? Нет! Любим я—и довольно.
Мне надо испустить обилием забот

Ревнивых чувств моих несправедливый взлет.
Я верю, что она не лжет ни на минуту:
Природа детская в ней вызывает смуту;
Она в том возрасте, где правит чистота,
И должен верить я, что искренни уста.
Конечно, я любим; назад всего мгновенье
Любви в ее глазах прочел я выраженье,
И двадцать раз она могла сдержать едва,
Мне сердце трогая, любовные слова.
Кто мог бы сердцем быть так низок, чтобы столько
Любви показывать и не любить нисколько.

Сцена четвертая

Оросман, Корасмен, Меледор

Меледор

Вот, государь, письмо — тайком принесено
Заире; стражею мне отдано оно.

Оросман

Дай... Кто принес?

Меледор

Один из христиан, которым
Свободу благостным вы даровали взором;
Стремился во дворец вползти он, как змея;
Теперь — в цепях.

Оросман

Увы! Что прочитаю я?
Ступай... Я весь дрожу...

Сцена пятая

Оросман, Корасмен

Корасмен

Быть может, строки эти
Вас успокоят, всё в ином представя свете.

О р о с м а н

Прочтем... Рука дрожит... Я чувствую: мой рок
Уже глядит в меня из этих беглых строк.

«Заира милая, не медли, ожидая;

«В мечети дворца есть, я знаю, потайная;

«Ты незамеченной там сможешь

проскользнуть

«И, стражу обманув, надежду нам вернуть.

«Нельзя не рисковать, — мой знаешь пыл

безмерный?

«Я жду — и я умру, коль ты не будешь верной».

Так! Что же, Корасмен, ты скажешь?

К о р а с м е н

Что скажу?

Что весь от ужаса и бешенства дрожу!

О р о с м а н

Ты видишь, как со мной...

К о р а с м е н

О низкая измена!

Ужели, государь, вы, вспыхнувший мгновенно

От подозрения простого, — в этот раз

К столь черной низости не обратите глаз?

О, нет сомнения: подобный яд задушит

У вас в груди любовь, что вашу славу рушит.

О р о с м а н

Беги сейчас же к ней... лети к ней, Корасмен!

Ей покажи письмо... Пусть дрогнет... И, с

колен,

Пусть рухнет, подлая, клинок в груди почувя!

Но прежде чем разить... Помедли... Не хочу я...

Не время, погоди... Пусть приведут его,

Христианина, к ней... Не надо ничего...

Я умирзю... Гнев бежит в крови отравой...

К о р а с м е н

Кто был еще сражен обидой, столь кровавой?

О р о с м а н

Так вот всех тайн ужасный смысл! Так вот
Что сердце низкое заботит и гнетет!
Укрывшись под чадрой невинности пугливой,
Хотела переждать моей любви порывы!
Я уступил, скрепясь, любовью боль стесня...
Она ушла... в слезах... чтобы предать меня.
Она! Заира!

К о р а с м е н

Да, грех этим всем удвоен;
Не вам быть жертвою; пусть в вас проснется
И, прежней доблести величием осиян...
воин

О р о с м а н

То, значит, рыцарь тот, бесстрашный Нерестан,
Герой-христианин, чье в Иерусалиме
Во всех домах звучит прославленное имя!..
Я сам был им пленен, терзаясь в тишине,
Что о величии — с неверным спорить мне.
Да! Отплатил он мне — хитро и хладнокровно...
Заира — но она — она сто раз виновна!
Рабыня жалкая, которую года
Я мог томить в тисках позорного труда!
Она могла понять, что сделал для нее я!
О, низость!

К о р а с м е н

Государь, мне рвение удвоя,
Позвольте, чтобы вам такой удар смягчить,
Я мог...

О р о с м а н

Да, я хочу с ней снова говорить.
Иди, слуга, спеши, веди ее скорее.

К о р а с м е н

Увы! Ведь говорить не сможете вы с нею.

О р о с м а н

Пусть так, и все ж хочу ее увидеть я!

К о р а с м е н

Ах, государь, но вы, отчаянье тая,
То будете стенать, то расточать угрозы,
И ей оружие дадите в руки — слезы,
И, вдруг разжалобясь, все позабыв, опять
Ей извинения вы будете искать.
Послушайте меня: письмо вы утаите
И ей через раба безмолвного вручите;
И тут уже обман ей не поможет: взор
Все чувства скрытые по ней прочтет в упор,
Все тайны разглядит в ее душе порочной.

О р о с м а н

Итак, ты убежден: была измена — точно...
Пусть так. Что б ни было, я испытаю рок,
Последний гнев сдержав хотя на малый срок.
Я поглядеть хочу, какого же предела
Достигнет женщина, лукавя столь умело.

К о р а с м е н

Ах, я боюсь для вас той встречи роковой:
Вы, государь, добры...

О р о с м а н

Теперь я стал иной.
Ах, к сожалению, не в силах притворяться,
Но твердо я решил себе не поддаваться, —
Будь даже назван мне соперник мой!.. Возьми
Письмо проклятое, что шутит так людьми,
Дай верному рабу его для передачи,
Пусть бережет его, лист роковой, — иначе...
Ступай, беги... Я ей и не взгляну в глаза...
Что ж нет ее?.. Она! О, небо, о, гроза!

Сцена шестая

Оросман, Заира

З а и р а

Я так удивлена; в каком нужна я деле,
Что столь поспешно мне явиться вы велели?

О р о с м а н

Я объяснения хочу просить у вас:
Оно, поверьте мне, всего важней сейчас.
Я долго размышлял... И вы и я — несчастны;
И нужно слово лишь, чтоб судьбы стали ясны.
Я думал: может быть, все то, что дал я вам —
Мой скипетр и венец, упавшие к ногам,
Мое доверие, заботы, уваженье —
В вас благодарное могли создать волненье.
Султан ваш потрясал вам сердце вновь и вновь, —
И вы признательность сочли вдруг за любовь.
Мне чувства вашего пора понять изгибы,
Коль вы правдиво их мне показать могли бы;
Решайте; искренни должны вы быть вполне;
И прямота моя велит вам верить мне.
И пусть другой любви властительная сила
Верх надо мной взяла и вас поработила, —
Откройте мне, и все ж, и в миг ужасный тот,
Я буду милостив; не медли, сердце ждет;
Доверь мне дерзкого, кто опьянен тобою,
Подумай, что я здесь, что ты еще со мною,
Что молнию мою ты можешь усмирить,
Что я лишь в этот миг еще могу простить!

З а и р а

Вы, государи!.. Вы... мне... подобные
упреки!..
Ведь сердце бедное — поймите, о жестокий! —
Гнев неба вынесло, любя вас: рождено
Для ненависти к вам, не для любви оно.
Что страшно мне? — Любви моей несчастной
пламя;
Из-за него лишь я унизилась пред вами,
Из-за любви моей, что умереть должна,
Оправдываться я сейчас принуждена.
Не думаю, что рок, всегда ко мне пристрастный,
Сулит слить вашу жизнь с моею, столь
несчастной;
Но если было б так, то честью (а она
Не менее любви с душою сращена) —
То честью я клянусь, что никогда Заира
И глаз не подняла б на всех султанов мира,

Что мне бы всякий был противен, кроме вас!
Хотите больше знать, иль ясно все сейчас?
Хотите, чтоб душа, терзаясь горьким ядом,
Раскрылась, жалкая, до дна пред вашим

взглядом?

Так знайте, что она, борясь с собой — увы! —
Мечтала обо всем, что здесь узнали вы;
Что к вам она влеклась, когда еще вы сами
Не разделяли чувств, уже внушенных вами;
Что вас она звала, горя от ваших глаз,
Что вас любила — да! — еще вдали от вас;
Вы были для меня и будете владыкой, —
Пред небом клятвою я в том клянусь великой;
Мне гнев его грозит, что сердцем я не там,
Что сердце отдала, неблагодарный, — вам!

О р о с м а н

Как! Нежные слова все той же лести стыдной?
Предел падения! Заира!.. А! ехидна!
Когда улику ей в лицо могу швырнуть!

З а и р а

Что слышу? Что за гнев волнует вашу грудь?

О р о с м а н

Ничуть. Вы любите меня?

З а и р а

Столь страшным тоном

Как можно спрашивать о чувстве умиленном,
Которое сто раз вам выражала я?
От ужаса душа вся замерла моя.

О р о с м а н

Вы любите меня?

З а и р а

Вы спрашивать способны!

Но всё же — что за пыл вас потрясает злобный?
Что за ужасный взгляд могли вы мне метнуть?
Вы сомневаетесь в моей душе?

О р о с м а н

Ничуть.

Так! Можете итти.

Сцена седьмая

Оросман, Корасмен

Оросман

Да, друг, ее измена,
Удвоив ужас мой, мне стала несомненна.
В грехе столь ясная, столь нежная во лжи,
Она всех гнусностей минула рубежи.
Ты подыскал раба? Всё подготовил к мести?
Удастся ль мне открыть стыд и измену вместе?

Корасмен

Всё сделано; но вам не стоит, государь,
Красу обманную оплакивать, как встарь:
Вы обратите к ней холодное презренье, —
За мщеньем не должно явиться сожаленье,
Стрела любви должна исчезнуть без следа...

Оросман

Люблю я, Корасмен, ее, как никогда!

Корасмен

О, небо!

Оросман

Свет надежд еще не весь утерян;
Презренный этот раб так молод, легковерен;
Воспитан Францией, — он так нетерпелив;
Он мог за явь принять своей любви призыв;
Любовь доверчива, в своем волненьи чудном
Она толкнуть могла к поступкам безрассудным;
Мог ослепить его Заиры беглый взор;
И, несомненно, весь он опьянен с тех пор;
Лишь он, ища любви, заслуживает мщенья, —
И между ними нет, быть может, соглашенья.
Преступного письма ведь не прочла она;
Не рано ли душа моя потрясена?
Послушай, Корасмен... Как только ночь настанет
И над злодействами свой черный плат натянет,
Как только Нерестан, что столь обязан мне,
К дворцу прокрадется во тьме и тишине, —
Пусть будет схвачен он, и, полного боязни,

Всё для позорнейшей уже устроив казни,
Его ко мне в цепях немедля приведут;
Заиру же оставь бродить свободно тут.
Ты видишь, что со мной! Безумный и влюблен-
ный,
Своей же ярости страшусь я, распаленный!
Мне стыдно так любить, рыдая и кляня!
Но горе тем лжецам, что оскорбят меня!

АКТ ПЯТЫЙ

Сцена первая

Оросман, Корасмен, раб

Оросман

Ей дали знать; она предстанет пред тобою;

(Подает рабу письмо.)

Знай, что мою судьбу сейчас ты взял рукою.
Письмо предателя презренной передай;
Ты должен дать отчет, — так зорче наблюдай;
Ответ снесешь ко мне... Шаги... Она, наверно...

(Корасмену.)

Пойдем же, верный друг; султану, столь без-
мерно
Несчастному, дай скрыть тоску души больной.

Сцена вторая

Заира, Фатима, раб

Заира

Кто может говорить сегодня, здесь, со мной?
Сераль закрыт. Кому спасти меня от муки?
Что, если это брат? Что, если Божьи руки,
Чтоб укрепить меня, горящую в огне,
Дорогой скрытою свели его ко мне?
Но неизвестный раб стоит передо мною!

Раб

Письмо, врученное мне тайною рукою,
В моей покорности должно уверить вас.

З а и р а
Дай.
(Читает.)

Ф а т и м а
(пока длится чтение)
Всемогущий Бог! Будь милосерд сейчас!
Дай благости Своей к нам низойти неожиданно, —
И госпожу спаси от варвара-султана!

З а и р а
Мне надо говорить с тобой.

Ф а т и м а (рабу)
Пока иди;
Я позову тебя; ступай за дверь и жди.

Сцена третья

Заира, Фатима

З а и р а
Прочти письмо. Увы! Скажи что делать? Свято
Повиноваться я должна призыву брата.

Ф а т и м а
Призыву Господа, небесного царя,
Который вас зовет к подножью алтаря;
Поймите: сам Господь внушает Нерестану.

З а и р а
Я знаю, и Его я чтить не перестану, —
Я в том клялась. Но как накличу ураган
Султанской ярости на братьев христиан?

Ф а т и м а
Вы заблуждаетесь: не это вас пугает;
Любовь, одна любовь вам сердце омрачает;
Во имя верности — я знаю вашу кровь —
Оно б рискнуло всем, в нем не цари любовь.
Ах, как вы можете самой себя не видеть?

Султана грубого боитесь вы обидеть;
Ужель жестокости не ясны в нем черты
И дух татарина в личине доброты?
Как тигр, что вечно дик, он, видя ваши слезы
И обожая вас, — вам расточал угрозы...
И всё же вы — забыть не в силах ничего —
О нем тоскуете!

З а и р а

Мне ль упрекать его?
Ведь это я его смертельно оскорбила
В день свадьбы роковой, с которым я спешила.
Был приготовлен трон, украшена мечеть,
Он пламенел, а я — дерзнула не хотеть.
Я! Кто должна бы здесь дрожать пред си-
лой власти,
Посмела пренебречь огнем султанской страсти!
Я обуздать смогла его любовь, и он,
Мне уступив во всем, был в жертву принесен.

Ф а т и м а

Возможно ль, чтобы вы, в минуту роковую,
Всё вспоминать могли свою любовь больную?

З а и р а

Ах, всё отчаяньем и мраком залито!
Я знаю: мне сераль не отопрет никто.
Я христиан хочу увидеть край прекрасный,
И этот край забыть, где я живу несчастной,
Но втайне чувствую, ослабевая вдруг,
Что не хочу вовек уйти от здешних мук.
О, вихрь смятенных чувств! Душа полна стра-
даний,
Ни долга своего не зная, ни желаний!
Я черным ужасом дышу среди тревог;
Мои предчувствия, — развеи их, добрый Бог,
Обереги, молю, и христиан, и брата,
Обереги, — ужель им всем грозит расплата?
Я брата слушаюсь, я повидаюсь с ним;
Когда же навсегда покинет он Солим
И будет для врагов уже недостижимым,
Все тайны я свои раскрою пред любимым,

Я расскажу ему про мой святой закон,
И сжалится, взглянув мне прямо в сердце, он!
Но пусть меня ведут на казнь, на пытку злую, —
Не изменю семье, кровь не предаю родную!
Ступай, пусть брат придет сюда, под этот кров.
Зови скорей раба.

Сцена четвертая

Заира

Заира

О Бог моих отцов!

Отец несчастный мой всегда был верен Богу;
Взгляни же на меня и укажи дорогу.

Сцена пятая

Заира, раб

Заира

Скажи пославшему, что я вняла письму
И что сегодня я не изменю ему,
Что он придет сюда, Фатимою введенный...

(В сторону)

Сумей, несчастная, владеть душой сожженной!

Сцена шестая

Оросман, Корасмен, раб

Оросман

Как долго тянется мгновений череда!..

(Рабу.)

Ну, что произошло? Не медли!

Раб

Никогда

В таком волнении Заира не бывала;
Дрожала, побелев; в глазах слеза блистала;

Велела мне уйти и позвала опять
И, с дрожью в голосе, велела передать;
Что будет ожидать, — едва я молвить смею, —
Того, кто должен был в ночи предстать пред
нею.

О р о с м а н (*рабу*)

Ступай, мне ясно всё...

(*Корасмену.*)

Ты тоже скройся с глаз,
Оставь меня: любой противен мне сейчас.
Ступай, я говорю! Мне только гнев мой сладок,
А мир — весь мерзок мне, и сам себе я гадок.

Сцена седьмая

О р о с м а н

О р о с м а н

Где я? Моя любовь? О! что мне делать с ней?
Заира, Нерестан... Чета презренных змей!..
Исторгни меня, предатели, из мира,
Что вами осквернен!.. Ну, низкая Заира,
Не насладишься ты!.. Эй, Корасмен, сюда!

Сцена восьмая

О р о с м а н, К о р а с м е н

О р о с м а н

Ах ты, жестокий друг! Зачем ушел? Куда?
Что — он уже подполз — соперник — тот —
несчастный?

К о р а с м е н

Нет никого пока.

О р о с м а н

О, ночь! О, мрак ужасный!
Как много ты злодейств крылом своим при-
крыл!

Заира!.. Лживая!.. Кого я так любил!
Я мог бы созерцать без дрожи, без волненья
Престола моего внезапное паденье,
И ужасы цепей, и самый страшный плен
Я гордо вынес бы, не преклонив колен;
Но сознавать, что я так оскорблен любимой!..

К о р а с м е н

На что ж решились вы среди муки нестерпимой?
Что делать станете?

О р о с м а н

Ты слышишь? Громкий крик.

К о р а с м е н

Что с вами?

О р о с м а н

Страшный звук ушей моих достиг.

Идут.

К о р а с м е н

Нет никого. Глубокой тишиною
Весь окружен сераль. Все предались покою;
Все спят; безмолвно всё, уйдя во мрак ночной...

О р о с м а н

Злодейство бодрствует, — тут, за моей спиной!..
Столь безрассудной быть! До преступленья пала!
Ты сердца моего не поняла нисколько!
Как я любил тебя! Как страстно!.. Корасмен,
Ведь взор ее один — мне был и рок, и плен!
Ведь только в ней одной и счастье и мученье!..
Прости мне гнев мой!.. О!.. Разврат и престу-
пленье!

К о р а с м е н

Что, что? Вы плачете? Вы, Оросман, в слезах!

О р о с м а н

Да, слезы в первый раз вскипели на глазах.
Ты видишь мой позор, судьбу, что стала бредом?
Но слез жесточе нет, и кровь за ними следом!

О, плачь, Заира, плачь! Миг близок. Слезы вновь
Не брызнут; им взамен живая хлынет кровь.

К о р а с м е н

Я трепещу за вас.

О р о с м а н

Страшись моих мучений,
Страшись моей любви, страшись моих отмщений!
Постой, прислушайся... Ну, слышишь ты теперь?

К о р а с м е н

Там кто-то крадется... и отворяет дверь...

О р о с м а н

Беги его схватить! Пусть цепь на воре грянет!
Пусть, он, закованный, моим глазам предстанет!

Сцена девятая

Оросман, Заира и Фатима
(крадущиеся во мраке в глубине сцены)

З а и р а

Сюда, Фатима!

О р о с м а н

Как? Тот голос прозвучал,
Чьим звукам сладостным так часто я внимал?
Тот голос, что отверг моей любви волненья?
Тот голос, полный лжи, орудье преступленья?
О низость!.. Отомщу!.. Она? О, страшный рок!
(Обнажает кинжал.)

Заира!.. Что со мной? Едва держу клинок...

З а и р а

Мы здесь пройдем, скорей... Тут всё меня пугает...

Ф а т и м а

Он, верно, ждет.

О р о с м а н

Ах — «он»? Мой гнев опять вскипает!

З а и р а

Мне страшно; я дрожу от ног до головы...
О, Нерестан, я так ждала вас, — это вы?

О р о с м а н

(кидаясь к Зауре)

Нет — я! Изменница! Убить тебя на месте!

З а и р а *(падая)*

О Боже! Это смерть!

О р о с м а н

Разврат дождался мести!
Бежать, скорей бежать! Куда?.. Что я свершил?
Лишь справедливое... Я оскорбленье смыл...
А, и любовник вот!.. Ведут! Он послан роком,
Чтоб радость я обрел во мщении жестоком!

Сцена десятая

Оросман, Нерестан, Корасмен,
Фатима, рабы,

О р о с м а н

Иди, презренный раб, дерзнувший, в тиши.
Лишить меня всего, что было любо мне!
Ты, мной обласканный, пришел, коварный плен-
ник,
Герой наружностью, а существом — изменник,
Чтоб честь мою отнять на весь остаток дней...
Тебя награда ждет, и ты готовься к ней.
Искупишь ты всё то, чему ты был причиной:
Всех мук отведаешь сейчас твой дух змеиный.
Казнь подготовлена?

К о р а с м е н

Да, государь, вполне.

О р о с м а н

Она в твоей душе начнется, в глубине.
Ты озираешься? Ты ищешь жадным взором
Твою любовницу, что стала мне позором?
Она вон там, гляди.

Н е р е с т а н

Ошибка иль игра?

О р о с м а н

Гляди, я говорю!

Н е р е с т а н

А! Что? Моя сестра?

Заира!.. Мертвая!.. Убийцы... Так безбожно...

О р о с м а н

Его сестра! Сестра? Да разве то возможно?

Н е р е с т а н

Да, зверь, моя сестра! Пронзи же грудь мою,
Чтоб крови царственной последнюю струю
Исторгнуть... Люзиньян, родитель наш несчаст-
ный,

Ее мне поручил с ее судьбой ужасной,
И мертвого отца последнее прости
Заблудшей дочери я должен был снести,
Вручить ее душе, столь кроткой, столь покорной,
Святой религии светильник животворный, —
Увы! прогневала Создателя она,
И за любовь к тебе ей кара воздана.

О р о с м а н

Любовь ко мне? Ко мне? Так было? Да, Фатима?
Я ею был любим?

Ф а т и м а

Да, тигр. Неугасимо.
Вот в чем ее вина. Ты, кровожадный зверь,
То сердце растерзал, спокойное теперь,
Что, полное тобой, в тоске молило Бога
Не покарать его за чувство слишком строго,

И все надеялось, что Бог ему простит
Любовь несчастную и вас соединит.
Не пожелал Господь! А дух ее мятежный
Так много отдавал надежде этой нежной.
Бог был в ее душе, и ты боролся с Ним.

О р о с м а н

Довольно. Ясно все. Итак, я был любим!
О небо!.. Ты — ступай. Мне знать не надо боле.

Н е р е с т а н

Что с казнию медлишь, зверь? Чего ты ждешь?
Доколе?

Та кровь священная, какою всё в стране
Вы залили с отцом, осталась лишь во мне.
Соедини ж меня с погубленным семейством,
Со стариком, чья дочь взята твоим злодейством.
Готова ль пытка мне? Ответом будет смех:
Снес пытку я уже, страшнейшую из всех.
Но жажда мук моих, что так тебя неволит,
О чести мне с тобой заговорить позволит.
Послав меня на смерть, как прежде ль ты готов
Оковы тяжкие снять с христиан-рабов?
Душой безжалостной как ни свиреп, ни злобен, —
Ты благородным быть попрежнему ль способен?
Скажи. И, если так, я смерть благословлю.

О р о с м а н

(подойдя к телу Заиры)

Заира!

К о р а с м е н

Государь! Вернуться вас молю.
Не надо вам глядеть: вам будет слишком больно.
Пусть Нерестана...

Н е р е с т а н

Ты! Молчи, дикарь! Довольно!

О р о с м а н

(после долгой паузы)

Пусть раскуют его. Немедля, Корасмен,
Французов выпустить: для них окончен плен.

Несчастливым узникам щедроты окажите:
За плен вознаградив, тотчас же проводите
До Яффской гавани, до самых кораблей.

К о р а с м е н

Но, государь...

О р о с м а н

Молчи и возражать не смей!
Рука державная препятствий не выносит;
Тебе султан велит, и он же, друг твой, просит.
Ступай, не трать минут. Исполни всё.

(Нерестану.)

А ты

Беги, несчастный брат, забыв свои мечты,
Из этих страшных мест. Верни твоей отчизне
Ту бедную, кого мой гнев отнял у жизни,
И твой король о той, кого злой рок унес,
Не сможет говорить, не проливая слез.
Когда ж вся истина его ушей коснется,
Быть может, и ко мне вдруг жалость в нем про-
снется.

Свези туда кинжал; он пронизал, звеня,
Грудь, что всегда была священной для меня.
Скажи своим, что я, слепому вверясь гневу,
Сразил чистейшую, достойнейшую деву,
Чья светлая краса сияла небесам;
Скажи, что скипетр я принес к ее ногам;
Скажи, что я рукой ее убил своею,
Что обожал ее и отомстил злодею.

*(Закалывается; умирая, говорит своим,
показывая на Нерестана.)*

Воздайте честь ему; да будет жив герой!

Н е р е с т а н

Веди меня, Господь! Не знаю, что со мной.
И гневом ли Твоим я должен восхищаться,
Иль жалобой к Тебе на скорбь мою подняться?





МАГОМЕТ*

(*Mahomet*)

Трагедия в пяти актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Магомет.

Сафир — шейх или шериф Мекки.

Омар — военачальник Магомета.

Сеид
Пальмира } рабы Магомета.

Фанор — сенатор в Мекке.

Войско Мекки.

Войско мусульман.

Действие происходит в Мекке.



АКТ ПЕРВЫЙ

Сцена первая

Сафир, Фанор

Сафир

Он изувер. Он изгнан был. А ныне
Дивиться ложным чудесам его
И обаянье площадное славить?
Нет! Пусть Сафир наказан небом будет,
Коли рукою, чистою досель,
Он буйство самозванца обласкает.

Фанор

Мы чтим в тебе любви отчей жар,
Святой руководитель Измаила*.
Но ныне пыл сей гибелен. Сомненья
Дух мстительного Магомета дразнят.
Когда-то ты спокойно мог поднять
Против его злодейств клинок закона,
Ты искры первые грядущих войн —
Мог затоптать, спасая мусульман,
А Магомет в те дни и нам казался
Бунтовщиком негодным, темным плутом.
Теперь он царь, он правит, торжествует, —
Обманщик в Мекке, он пророк в Медине*.
И сто племен превознесут его
За очевидные нам злодеянья.
О, даже здесь, у нас, иные есть,
Кто, допьяна напившись ядом этим,
Разносят всюду слух о чудесах,
Бунт проповедуют и изуверство,
Ждут войск его и верят — Бог ужасный
Его, непобедимого, ведет.
Все наши верные стоят за нас,
Но многие ль последуют за ними?
Страсть к новшеству, и страх, и ложный
Пыл

В унынье привели защиту Мекки,
И весь народ, обласканный тобой,
Зовет тебя, отца, и просит мира.

С а ф и р

Мир с этим негодяем! О народ,
Забывший мужество, ты в рабстве будешь!
Справляй триумф ему, стой на коленях,
Пред идолом, и всех он передавит.
Мне ненавистен этот грязный плут,
А рана сердца слишком жестока.
И сам он злобы не питать не может, —
От рук его моя семья погибла;
В ответ, ворвавшись в лагерь Магомета,
Я умертвил его родного сына,
Навеки ненавистны мы друг другу,
И время с этим справиться не может.

Ф а н о р

Забуть нельзя, но надо утаить
И горе не показывать народу.
А коль он все разрушит здесь, — не тем ли
Ты отомстишь судьбу детей несчастных?
Все потерял ты, все твои погибли,
И ныне родина — твоя семья.

С а ф и р

Но трус теряет родину свою.

Ф а н о р

А иногда теряет и упрямец.

С а ф и р

Погибнем, коль так надо.

Ф а н о р

Горький путь!
У гавани не должно спорить с бурей.
Ты знаешь — средство есть в твоих руках,
Которым можешь ты смягчить тирана.
Тобой была из лагеря его
В сражении похищена Пальмира;
Она, как ангел света в нашей тьме,
За ней не раз послов он наряжал;
Отдай Пальмиру — Магомет смирится.

С а ф и р

Бесценное сокровище такое
Я ныне должен дикарю отдать?
Преступника еще благодарить?
Он нам несет и казни, и войну,
И нищету, и рабство, а за это
Мы домогаться милостей его
Ценою нежной юности должны?
На склоне лет, у смертного предела,
Постыдной зависти не знаю я,
Увяло сердце, годы охладили,
И огонь страстей и прежний пыл забыт,
Но все же мы с невольным восхищеньем
Склоняемся пред юною красой.
Быть может, потеряв детей своих,
Я с нею мрак тоски хочу рассеять;
Не знаю, но к Пальмире устремлен
Мой праздный дух, в угрюмом изумленьи...
Рассудок или слабость? — не могу их
Без ужаса вдвоем себе представить!
Когда б она прислушалась к молениям,
Благословила втайне сей приют,
И, тронувшись сердечной добротой,
Со мною бы злодея прокляла...
Но вот сюда, к святому алтарю
Родных богов, сама она идет.
Пальмира здесь — сияет на челе
Сердечной чистоты нежнейший отблеск.

Сцена вторая

С а ф и р, П а л ь м и р а

С а ф и р

Дитя мое, счастливый жребий брани
Привел тебя в мой край и старость скрасил!
Из рук злодейских вызволив Пальмиру,
Мы чтим твою печальную судьбу,
Прелестную и юную невинность.
Я слушаю тебя, и, если б мог
Тебе помочь достойно в правом деле,
На склоне дней узнал бы счастье я.

П а л ь м и р а

Два месяца я пленница твоя,
И мне с судьбою должно примириться.
Остались мне лишь слезы, но меня
Ты утешал рукой великодушной.
И ныне я, тобой ободрена,
О счастии молить тебя решаюсь.
Сам Магомет просил тебя, — а с ним
И я прошу, — разбей мои оковы!
Услышит ли? Смогу ль ему сказать,
Что вслед за ним ты стал мне всех дороже?

С а ф и р

Так вот чего ты хочешь! Быть рабой,
В нестройном шуме варварских обозов,
Не зная родины, бродить в пустыне?

П а л ь м и р а

Там родина, где жизнь смеялась мне,
Где Магомет воспитывал меня
Под мирной сенью чистых жен пророка,
В великом храме, где они с молитвой
Подъемлют руки, милые ему.
Один лишь час — и счастье изменило,
В тот час война в приют наш ворвалась.
О, сжался над душою неутешной,
Она все бродит там, где нас уж нет!

С а ф и р

Я понял. Ты надеешься его
Спесивую любовью овладеть.

П а л ь м и р а

Я чту его дрожащею душой,
Как грозный бог, он мной повелевает
А о любви его не смею думать, —
Ничтожество величью не подстать.

С а ф и р

Кем ни была бы ты, он не рожден
Ни мужем быть тебе, ни властелином.
Ты, может быть, сама из рода тех,
Кто усмирил бы дерзкого араба!

П а л ь м и р а

Нам предками гордиться не пристало;
Рабы от детства, ни отцов не знаем,
Ни родины, а узы нам привычны,
И, кроме Бога, все чужое нам.

С а ф и р

Чужое все? И это любо вам:
Служить ему, не ведая отчизны?
В моем дворце унылом я один.
Ты старости моей была б поддержкой,
Я жребий твой украсил бы, забыл
О горестях своих! Но ты не хочешь,
Ни я, ни мой закон тебе не мил.

П а л ь м и р а

Себе самой я не принадлежу.
Мне жаль тебя, ты был так добр ко мне,
Но он был нам взамен отца родного.

С а ф и р

Отца? О, боги! Гнусный самозванец!

П а л ь м и р а

Что ты сказал? Мне страшно повторить
Его пророком люди называют,
Глашатай Бога, небом послан он.

С а ф и р

Несчастное, пустое ослепленье!
Покинут я, и все бегут за ним,
Преступник, нашей мезтью пощажженный,
Избегнув плахи, ныне сел на трон.

П а л ь м и р а

Я содрогаюсь, я от юных дней
Таких проклятий страшных не слыхала!
За доброту признательна твою,
К тебе я верным сердцем привязалась,
Но, слушая твои кощунства, я
Боюсь и больше ничего не помню.

С а ф и р

И лучшие сердца опустошит
Упрямая жестокость суеверья!
Как жалки эти трепетные речи,
Невольных слез я не могу сдержать.

П а л ь м и р а

Отказываешь?

С а ф и р

Да. И не могу я
Опять обманщику тебя отдать.
Ты слишком дорога мне. И за это
Все более его я ненавижу.

Сцена третья

Сафир, Пальмира, Фанор

С а ф и р

Что скажешь ты?

Ф а н о р

Там, у ворот столицы,
Вблизи Моада счастливых полей
Стоит Омар.

С а ф и р

Как? Наш воитель ныне
Идет за колесницей Магомета?
Слугой того, с которым прежде бился
За родину...

Ф а н о р

Быть может, он ей верен!
Не так нам страшен бешеный рубака
С оливой мира и с мечом в руках.
Он нашим старцам предлагает мир,
С ним говорят и слушают его.
И с ним Сеид.

П а л ь м и р а
Или судьба смягчилась?
Ужель Сеид?

Ф а н о р
Омар идет сюда.

С а ф и р
Послушаем его. Ступай, Пальмира!
Пальмира уходит.
Омар идет. Что он сказать посмеет?
Родные боги, три тысячелетья
Хранившие народы Измаила!
Пылающая факелом богов
Лампада солнца, странствуя над миром,
Поддержкой будь неколебимой правде,
Что против беззаконья поднял я!

Сцена четвертая

С а ф и р, О м а р, Ф а н о р, с в и т а

С а ф и р

Шесть лет прошло — и ты в краю отцов,
Мечом ты спас его, а сердцем предал.
Здесь стены помнят подвиги твои,
А ты, закон наш и богов покинув,
Пришел с осадой к великой Мекке,
Кощунствуя и буйствуя, — а кто ты?
Ты раб того, по ком тоскует плаха.
Ну — говори!

О м а р

Пришел простить тебя.
Помиловал пророк твои седины
За муки и за мужество твое.
Он руку дал — а мог бы раздавить. —
Ты мира удостоен! Вот мой дар.

С а ф и р

Мятежник наглый думает дарить
Свой подлый мир, а не молитъ пощады?

И мнит, злодейств своих превысив меру,
Нас обольщать и милостивым быть?
А ты, под бременем его велений,
Ты не сгоришь от грозного стыда?
Иль ты забыл, как этот нищий жалкий
Во прахе ползал, как последний раб?
Далек он был тогда от этой славы!

О м а р

Душой к величию жалкому привязан,
Так о заслугах судишь ты, людей
Своим случайным счастьем измеряя!
И гордость гнусная твоя не знает,
Что мошки, под былинкой копошась,
И в облаках плывущие орлы
Равно ничтожны пред очами Бога!
Все смертные равны. И не рождением,
Мы доблестями различаем их.
А он из тех избранных небес,
Кто всем себе обязан, а не предкам.
Таков тот человек, кого я выбрал
Учителем, другого в мире нет.
Всяк в свой черед придет к нему покорно,
А я — живой пример векам грядущим.

С а ф и р

Я знаю все, и тщетно ты хитришь,
Не для меня пустые бредни эти,
И сколько б ты ни соблазнил умов,
Тем большего презренья ты достоин.
Забудь о лицемерьи и хоть раз
Взгляни как муж на этого пророка.
Найди в нем человека, рассуди,
Кого ты, льстец, возводишь ныне в Бога.
Не знаю, кто ты — плут иль жертва плутней,
Но разума ты не лишен. Припомни:
Перед тобой простой вожак верблюдов*,
В своем углу бесстыдный лжеучитель,
Он вымыслом неясным соблазняет
Пустое суеверье нашей черни.
К моим ногам смутьяна притащили,
И старцами он изгнан был из Мекки.
Но этой карой слабой ободрен,

С Фатьмой своей влачась по притонам*,
Навербовал бродяг, учеников,
Отверженных, колодников отпетых,
И, объявив их буйство духом Божиим,
Своей чумой Медину запятнал.
И ты тогда, ты сам, рассудку верен,
Яд этот думал разом обезвредить.
Ты был храбрее, счастливее, справедливее.
Сражаясь с тем, кому ты ныне раб.
Коль он пророк — кого ж казнить ты думал?
Коль он обманщик — кто же ты при нем?

О м а р

Хотел казнить я, не уразумева,
Что это был лишь первый блеск величья.
Я увидел, что Магомет рожден,
Низвергнув мир, переменить его;
И свет пророка очи мне открыл:
Все выше поднимался он, прекрасен,
Велеречив, отважен и любим,
Казня и милуя во имя Божье.
Я отдал жизнь его трудам великим,
Цена которым — храмы и дворцы.
Клянусь, и я был слеп, как ныне ты,
Открой глаза, Сафир, иди за мною!
К чему бахвалиться жестоким пылом,
Гонением озлобленным и тщетным,
Хулою на несчастных и на Бога?
Смирись, признай, ты оскорблял героя,
Склонись пред громовержущей десницей!
Я ныне первый в мире вслед за ним,
Но и тебе немало остается,
Чтобы под новым скиптром цвезть достойно.
Взгляни, где были мы и где теперь!
Народ, слепой и слабый, осужден
Нам верить, слушать нас и обожать.
Боишься быть рабом — так царствуй с нами,
Дели величье наше, 'а толпе
Не подражай — дрожать ее заставь.

С а ф и р

Лишь Магомета да тебе подобных
Мне надобно заставить содрогнуться.

Ты хочешь, чтоб шериф сенат свой предал,
Кадил бесстыдству и венчал смутьяна?
К чему здесь спор? Надменный соблазнитель
Ни смысла, ни достоинств не лишен, —
Мне дух его, как и тебе, известен.
Будь правда в нем, он мог бы быть геросм.
Но сей герой — предатель и злодей,
И мир преступней не видал тирана.
Оставь уловки милости притворной,
Его великое искусство — месть.
Войны зловещий жребий погубил
Моей рукой его родного сына.
Убивши сына и изгнав отца,
Их ненавижу, он меня — не меньше,
Он будет здесь, сперва убив меня,
А справедливость зло простить не может.

О м а р

Чтоб доказать, что он тебя прощает,
Чтоб ты постиг всю высоту примера, —
Сам раздели с ним, сам отдай своим
Сокровища султанов побежденных.
Что хочешь ты за мир и за Пальмиру?
Скажи — и все твое?

С а ф и р

Купить задумал!
Продать мой стыд и выторговать мир
Ценой злодейств, добычею постыдной?
Я не отдам Пальмиру. Добродетель
Вам снова в рабство не верну. Я должен
Отнять ее у низкого тирана,
Поправшего обычай и закон.

О м а р

Ты мнишь, что ты судья неумолимый,
А пред тобой трепещущий злодей?
Нет — преклонись и слушай, как слуга,
С которым говорит посланник царский!

С а ф и р

А кто же дал престол ему?

О м а р

Победа!

Познай его могущество и славу.
Завоеватель он и торжествует,
Но хочет быть и миротворцем он.
Войска его стоят у вод Сабара,
И все готово Мекку осадить,
Не спорь, предотвратим кровопролитье.
Он здесь и хочет говорить с тобой.

С а ф и р

Кто? Магомет?

О м а р

Он требует.

С а ф и р

Предатели!

Когда б я был здесь полным властелином,
Я б головой твоей ему ответил.

О м а р

Как жалок этот ложный пыл, Сафир!
Но ты здесь не один, сенат презренный
С тобою делит призрачную власть,
Так надо мне представиться и им.

С а ф и р

Идем. Кого признают там? Меня ль —
Защитника отчизны и закона,
Или тебя, Омар, чей Бог — палач,
Отчаянья людского сластолюбец,
Тебя, оруженосец Магомета!

(К Фанору.)

Ты ж помоги изменника отринуть,
Кто пощадит его — тот сам предатель.
Мы замыслу кичливому его
Казнь уготовим иль погибнем сами.
Помогут старцы — и освободим
Мы от тирана родину и мир.

АКТ ВТОРОЙ

Сцена первая

С е и д, П а л ь м и р а

П а л ь м и р а

Как божий свет в угрюмом заточеньи —
Ужель свобода? Это ты, Сеид?

С е и д

Ты — жизнь моя, ты свет в моих страданиях!
Как много слез я пролил о тебе
С того мгновенья, как в шатры пророка
Ворвался враг неистовый и вырвал
Тебя из обгаренных рук моих.
Там, без тебя, среди стенавших тел,
Проклятьями пустынный дол тревожа,
Я тщетно звал безжалостную смерть!
О милая Пальмира! Как сказать,
В какой я бездне в этот миг очнулся!
Страх за тебя, любовь и нетерпенье
Дождаться дня отмщенья не могли.
В мечтах я шел на приступ запоздалый,
И, кровью пьян, я сечи ждал — когда
Я сам зажгу проклятый этот город,
Где плакала плененная Пальмира!
И, наконец, пророка замысл важный,
Что не под силу нашему уму,
Послал Омара в этот край рабов.
Я узнаю, бегу — заложник нужен! —
Я выхожу вперед — и вот я принят!
С тобой в плену я — и умру с тобой!

П а л ь м и р а

Ты здесь, Сеид, и легче мне дышать.
Послушай! Утром я пошла к нему
И гордеца у ног его молила.
Вот сердце, — говорила я, — смотри,
Там жизнь моя — где с волей я рассталась!
Верни мне то, что отнял у меня!
И слезы падали у ног его.

А он ответил — нет! Я вся застыла,
И белый свет померк в моих очах,
И сердце словно вдруг остановилось;
Все кончено, надежды больше нет.
И вдруг — Сеид! Ты здесь, со мною рядом!

С е и д

Кто ж слезы эти видел и не плакал?

П а л ь м и р а

Сафир. Мне показалось, он был тронут,
Но под конец он мрачно произнес,
Что мне отсюда никогда не выйти.

С е и д

Он лжет, злодей! Мы встанем все — пророк,
Омар непобедимый, даже я..
(Себя я называю вслед за ними,
Прости мне горделивую мечту!)
Падут твои оковы, минут слезы, —
Бог Магомета меч наш осенил,
Он разметал Медины укрепленья,
И Мекка покоренная падет!
Омар уж здесь. И пышный город нем,
Ни ужаса не видно, ни смятенья,
Которым враг встречает победивших.
Велик пророк и в людях славен он!

П а л ь м и р а

Он любит нас, он нас освободил бы,
Соединил бы верные сердца...
Но он далек, и тяжки наши цепи.

Сцена вторая

П а л ь м и р а, С е и д, О м а р

О м а р

Падут оковы ваши — прочь унынье!
Час близок, и пророк идет сюда.

С е и д

Он?

П а л ь м и р а

Наш отец?

О м а р

В уста мои вселился
Пророка дух и говорил сенату:
«Избранник божий, повелитель битв,
У этих стен увидел свет впервые —
Оплот царям и царь земных владык, —
И вы его осмелитесь отвергнуть!
Не казнь и не оковы он несет, —
Он людям помощь, жизнь и поученье,
Он править будет в тайниках сердец».
Мои слова их тронули. Сердца
Очнулись. Тут Сафир непоколебимый,
Страшась победы доводов разумных,
Созвал народ, чтоб в нем найти поддержку,
Но рядом с ним я стал перед толпою;
Бегут на зов его, а я за ним, —
Я заклинал, грозил, увещевал,
И вот — врата открыты Магомету.
Пятнадцать лет в изгнании — и опять
Он здесь. Но вслед за ним войска ведут
Али, Герсид, Амон, его вельможи.
Он входит, а за ним народ бежит,
И всяк по-своему его встречает.
Кому герой он, а кому тиран;
Кто угрожал и проклинал, а кто
К ногам его бросался в восхищеньи.
И мы провозгласили пред людьми
Мир, волю и святое имя Бога.
Вотще Сафир, бессильем разъяренный,
Заклясть пытался их в последний раз;
Среди толпы, с безоблачным челом,
Шел Магомет, спокойный, величавый.
Итак, покуда мир... А вот и он!

Сцена третья

Магомет, Али, Омар, Герсид, Сеид,
Пальмира, свита

Магомет

Моей верховной власти утвержденье,
Друзья мои! Я посылаю вас
К народу! Обещайте, угрожайте,
Пусть правда правит, но всего верней
Сердца наполнить трепетом безмерным.
Ты здесь зачем, Сеид?

Сеид

О мой отец,
Шел впереди меня твой бог громовый,
Я жаждал смерть принять — и твой приказ
Предупредил.

Магомет

А надо было ждать.
Кто долг превысит свой, тот мне не служит,
Бог говорит со мной, а с вами — я.

Пальмира

Прости, властитель, это нетерпенье,
Мы оба на глазах твоих росли,
Одною мыслью мы дышали оба,
А здесь, в плену, уныло дни мои
И без тебя, и без него влачились.
Впервые ныне слезы осушив,
Молю тебя — не отравляй нам счастья!

Магомет

Душа твоя открыта мне. Довольно!
Оставь тревогу и не удивляйся,
И знай — у алтаря иль у престола —
О ваших судьбах я не забываю,
Вселенной правлю и пекусь о вас.

(К Сеиду.)

Иди к войскам. А ты, Пальмира, помни,
Сафир твой враг! И берегись его.

Сцена четвертая

Магомет, Омар

Магомет

Останься, воин. Ныне время мне
Открыть тебе все, что таится в сердце.
Сомнительный исход осады долгой
Встает угрозой на моем пути.
Поторопиться должно нам, покуда
Ослеплены они и разум спит.
Толпою, друг, владеет суеверье,
А предсказанья и стоустый слух
Вселенную послу небес даруют, —
Он, победитель, будет принят Меккой,
Он с этих стен войне конец положит;
Полезны эти бредни будут нам!
Но вот, пока глашатаи мои
Неверную толпу одушевляют,
Что ж видим мы? — Сеид опять с Пальмирой!

Омар

Из всех детей, похищенных Герсидом,
Воспитанных и вскормленных тобой,
Кому ты Бога дал и стал отцом,
Никто нам не служил так беззаветно.
Доверчива их мысль, душа покорна,
И нет послушней их из мусульман.

Магомет

Омар! Они — враги мои! Они
Друг друга любят.

Омар

Ты клянешь их нежность?

Магомет

Когда б ты знал, как в страсти дух слабест!

Омар

Что ты сказал?

Магомет

Ты знаешь хорошо,
Чем тайно дышит сердце Магомета.
Тернист мой путь, иду с мечом в руке,
Глашатай Бога, венценосец, воин.
На подвиг воздержанья обречен,
Отринул я пьянящую отраву,
Что сладостным дурманом обольщает.
Среди песков и раскаленных скал
Терпел с тобою яростные бури,
Одна любовь утехой мне была,
Венцом трудов, кумиром средь курений
И Богом Магомета. Эта страсть
Свирепостью поспорит с честолюбьем!
Милей всего гарема мне Пальмира,
А ныне весь я ревностью горю.
У ног моих она сама сегодня
Призналась мне с соперником моим.

Омар

Так отомсти.

Магомет

Суди же нас, Омар.
Ты сам их проклянешь, когда узнаешь
Чудовищную правду! Их отец —
Тиран, которого я ненавижу.

Омар

Сафир?

Магомет

Он их отец. Пятнадцать лет
Прошло с тех пор, как их Герсид похитил, —
Змееныши, которых я пригрел,
Они ж меня в неведеньи бесчестят.
Я сам помог преступной их любви,
Сплелись в клубок здесь разом все пороки.
И я... Но, слышишь, он идет сюда,
Трепещущий от ярости и гнева.
Ступай, следи. Пусть бдительный Герсид
Вход охраняет со своим отрядом.
Вернись затем, и мы с тобой рассудим:
Сейчас ударить иль верней — помедлить!

Сцена пятая

Сафир, Магомет

Сафир

Несчастное, томительное бремя!
Он ныне гость мой — этот враг людей.

Магомет

С тобою вместе мы — так хочет небо!
Не бойся. Говори и не красней.

Сафир

Краснеть могу я только за тебя,
Чьи козни к пропасти ведут отчизну,
Кто сеет за злодействами злодейства
И мирный век калечит смертной смутой.
У очагов повсюду — сыновей
С отцом ты ссоришь, с дочерьями мать,
А перемирие твое — уловка,
Чтобы железо в сердце нам вонзить.
Твой путь — братоубийственные войны,
Лжи с дерзостью неслыханная смесь.
Вот мир какой и вот какого Бога
Отчизне нашей ты, тиран, принес!

Магомет

Когда бы я отвечивал толпе,
Из уст моих раздался б голос Бога.
Меч и коран в руке окровавленной
Заставили б умолкнуть непокорных.
Сразил бы их мой голос, словно гром,
И прах они лобзали б предо мною!
С тобой же говорю, как с мужем. Прямо.
Зачем обман величью моему?
Узнай меня (мы здесь одни), послушай:
Я честолюбец — всяк из нас таков, —
Но никогда еще никто из смертных
Не смел лелеять замысел такой.
У каждого народа свой удел —
Расти, цвести и мощь свою прославить,
И ныне час Аравии пробил.
Неведом был отважный сей народ,

В пустыне хороня свой жребий дивный,
Сегодня ж нам сияет день побед.
Смотри вокруг — с полудня до заката
Мир потрясен! Растоптано в крови
Величье Персии, дрожит, как раб,
И стонет Инд, Египет долу гнется,
Померкла слава византийских стен —
Повсюду видит Рим одни обломки,
Бесславный и безжизненный гигант,
Растерзанный на жалкие куски.
Мы ж средь руин Аравию поднимем!
Слепому миру нужен новый Бог,
Иная вера и иные цепи.
Ра египтян, азийский Зороастр,
Минос на Крите, италийский Нума —
Безбожную толпу уже не могут
Остановить ослабнувшей рукой.
Я ж положил конец законам ветхим,
Иным ярмом народы осчастливил:
Кумиров ниспровергнув, создал веру;
Она в грядущем будет мне венцом.
Так знай, что я не обманул отчизну,
А истуканов жалких уничтожил,
Единый Бог и скиптр ей будут править,
В покорности она обрящет славу.

С а ф и р

Так вот твой замысел! Ты целый мир
Готов перевернуть себе в угоду!
Мечом и кровью хочешь навязать
Свою ты волю людям и заставить
Под страхом смерти твой закон принять.
О, если мы, слепцы, бредем во мраке
И, заблудившись, потеряли путь,
Ужели твой костер нам будет светом?
Где взял ты право — прорицать, учить,
Священствовать и домогаться трона?

М а г о м е т

Широк мой ум и мощен. Вот права
Над грубым человеческим сужденьем.

С а ф и р

Коль так, то всякий дерзостный смутьян
Всех смертных может называть рабами?
И ложь высокомерная — не ложь?

М а г о м е т

Я знаю твой народ. Он ждет обмана,
Ложь или правда — вера им нужна.
Что ваши боги? Где же их дары?
Какие лавры ты нашел в их храме?
Все принижает жалкий твой закон,
Отвагу губит, притупляет разум,
А я дарую им величье духа —
На подвиг их зову.

С а ф и р

Иль на убийство.
Иди от нас, учитель тирании!
В Медине славь разбой и лицемерье,
Где соблазненные тобой послушны,
У ног твоих подобные тебе.

М а г о м е т

Давно себе подобных я не вижу.
Медина чтит меня, трепещет Мекка.
Мир или гибель — вот тебе на выбор!

С а ф и р

Мир на словах, а в сердце что таишь?
Меня ты не обманешь.

М а г о м е т

А зачем?

Лгут трусы. Сильные — повелевают.
Назавтра крикну, и не будешь спорить,
Назавтра иго понесешь мое.
Сегодня же я предлагаю дружбу.

С а ф и р

Ты — друг? На что нам эта небылица?
Где ж Бог, способный на такое чудо?

Магомет

Есть в мире сила, ей послушен я.
Она велит нам.

Сафир

Кто?

Магомет

Необходимость.

И выгода твоя.

Сафир

Такие узы

Нас свяжут, если рай и ад сойдутся.
Твой Бог — корысть, а мой зовется правдой,
Таких врагов тебе не помирить.
И что скрепит — ответ, коли посмеешь, —
Союз такой? Кто скрепой этой будет?
Не сын ли твой, моим мечом убитый?
Иль кровь моих, пролитая тобой?

Магомет

Да, речь идет о них. И я один
Владею этой тайной. Ты детей
Своих оплакивал — а дети живы.

Сафир

Что? Живы дети?.. Это правда?.. Боги!
И ты мне это говоришь!.. Ужели?..

Магомет

Да, у меня в плену росли они.

Сафир

Они рабы твои?.. В твоей темнице?

Магомет

Под кровом милосердья моего.

Сафир

И месть твоя их не коснулась даже?

Магомет

Я не казню за промахи отцов.

Сафир

Так расскажи мне все о них скорее!

Магомет

Их жизнь и смерть в руках моих. И ты
Решишь судьбу детей единым словом.

Сафир

Спасу детей?.. Скажи — какой ценою?
Жизнь положить? Взять на себя оковы?

Магомет

Нет. Ты мне мир поможешь обмануть.
Сдай Мекку, храм богов своих покинь
И легковерья послужи примером,
У ног моих приветствуя пророка,
Дрожащей твари Алкоран поведай, —
И сын вернется к сверку моему.

Сафир

Отцовских чувств сердечное волненье!
Найти через пятнадцать лет детей,
Прижать их к сердцу, знать, что в смертный
час

Они тебя утешат, о блаженство!
Но если... должно родину предать,
Или своей рукой детей убить...
То мой ответ тебе уже известен.
Прощай.

Магомет

Упрямец гордый. Магомет
Твое упрямство сломит без пощады.

Сцена шестая

Магомет, Омар

Омар

Поторопись! Иначе все погиблю,
Все тайны их скупил я — перемирью
С зарей конец, а днем ты будешь схвачен,
И голову тебе Сафир отрубит.
Ты большинством сената осужден.
Боятся трусы — схватят и убьют
И казнь назовут конец героя,
А заговор свой подлый — правосудьем!

Магомет

Они его узнают от меня.
Откроет им мое величье кара.
Сафир умрет.

Омар

Когда его глава
Падет к ногам твоим — они сдадутся,
Но времени терять нельзя.

Магомет

Однако
Нам должно скрыть карающую руку
И черни подозренья отвратить.

Омар

А что нам чернь!

Магомет

Ей надо угождать.
Послушная нам надобна рука,
Которая убийство совершит.

Омар

Я выбрал бы для этого Сеида.

Магомет

Его?

Омар

Вернее не найти убийцы, —
Он здесь — заложник. Только он один
Напасть сумеет втайне и отмстит.
Иные есть, но гнев у них расчетлив,
А слепо верить опыт не велит,
Спокойное сужденье зрелых лет
Повязку легковерия срывает.
Нам нужен дух простой, слепая доблесть
И рабский ум влюбленного в тебя,
Как юноша в обманчивую грезу.
Сеид пойдет на все в пылу усердия,
Как лев, послушный крику вожака.

Магомет

Тот? Брат Пальмиры?

Омар

Он! Да, тот Сеид,
Отважный сын спесивого врага,
Кровосмеситель, раб твой и соперник.

Магомет

Мне даже имя это ненавистно,
А сына прах к отмщению взывает.
Но ты ведь знаешь, кто любовь моя,
С кем кровные ее связуют узы,
Ты видишь, что сюда, в сей край раздора,
За тронем и победой я пришел:
Народ надменный надо совратить,
Сафир и сын его должны погибнуть.
О пользе дела должен помнить я,
Любовь и месть на помощь мне приходят,
И вера, коей все подчинено.
Так разрешает все необходимость.

АКТ ТРЕТИЙ

Сцена первая

С е и д, П а л ь м и р а

П а л ь м и р а

Останься. Расскажи мне тайну эту.
Чьей крови жаждет неба вечный суд?
Побудь со мной.

С е и д

Я слышу голос Бога!
Готов мой меч, душа моя горит!
Омар сказал, что клятвой беспримерной
С Непобедимым свяжет он меня.
Клянусь, что жизнь я положу за Бога,
А все, чем жив, — тебе, одной тебе.

П а л ь м и р а

А почему же я о том не знаю?
С тобой вдвоем не страшно было б мне.
А твой Омар меня не утешает;
Он все одно твердит — измена, кровь,
Сафира злоба, происки сената!
Взойдет заря — и перемирье минет,
Звенят клинки, и скоро грянет бой, —
Так говорит пророк, и это правда.
Боюсь я их, и страшно за тебя.

С е и д

Сафир — предатель... Как поверить? Утром
Меня ввели к нему. И взор его
Был полон человечности высокой.
Забыв предубежденья, втайне я
К нему влеком был силой непонятной,
Не знаю — слава ли, иль ясный взор
Сокрыли от меня его коварство?
Или с тех пор как я тебя нашел,
Душа моя, познавшая блаженство,
Забыв тоску, счастлива и свободна,

Кроме тебя, не помнит ни о чем?
Но я был с ним, и это счастье было;
Хоть все эти соблазны ненавистны,
Хотя презреньем должен я дышать, —
Меня влечет он, а не отвращает!

П а л ь м и р а

Одним живем мы, и одно мы слышим,
Как небо все соединило в нас!
Увы, когда бы сердце не любило,
Когда б оно не билось для тебя,
Когда б не вера нашего пророка,
Я б не могла Сафира обвинять.

С е и д

Что упрекать себя? Мы служим Богу,
И в этом каждый первым хочет быть.
Иду. Услышит клятву роковую
Бог и дарует счастье нам с тобой.
А мощный властелин, что бдит над нами,
Благословит невинную любовь.
Прости! На все готов я для Пальмиры.

Сцена вторая

П а л ь м и р а

П а л ь м и р а

Тоска сжимает сердце. Тихий сон
Моей любви и этот день желанный —
Все тайною отравлено тревогой.
Какою клятвой свяжет он Сеида?
Кого молить? Сафир меня пугает.
Открыться Магомету?.. Ужас тайный
При имени его сжимает сердце.
Я знаю: он герой, но перед ним,
Как пред Сафиром, вся душа немеет.
О Боже мой! В каком смятении я!
Послушна — и страшусь, и за тобою
Иду, слепая от соленых слез.

Сцена третья

Магомет и Пальмира

Пальмира

Тебя мне в помощь посылает Бог,
Мой господин!.. Сеид...

Магомет

Ты вся дрожишь?
Что вспоминать о нем? Ведь ты со мной.

Пальмира

О Боже! Все страшнее и страшнее!
Не понимаю. Ты и сам смущен.
Впервые я таким пророка вижу.

Магомет

Как не смутиться мне твоим испугом!
Ужели ты в невинной простоте
Откроешь мне сердечное волнение
И жар любви, которая тебе
Не мной подсказана? Иль это сердце
Не слушает меня? Оно восстало,
Неблагодарное? Неверно мне?

Пальмира

Что слышу я! К ногам твоим припав,
Я в ужасе очей поднять не смею.
Ведь ты ж сегодня нас благословил,
Ты сам ему любить меня позволил.
Чиста любовь моя! И нас она
Еще к тебе привязывает крепче.

Магомет

Душе молодой неопытность грозит,
Грех следом за невинностью крадется.
И сердце ошибаться может. Страсть
Сладка, а может стоять слез и крови.

Пальмира

Пусть кровь моя прольется за Сеида!

Магомет

Так сильно любишь ты?

Пальмира

С того мгновенья,
Когда Герсид в твой лагерь нас привел,
Родилось это чувство. Мы о нем
Не знали сами... Но за годом год
Бог наставлял любовью души наши.
Ты нас учил, что склонности сердечны
Нам Бог дает. Ужель сегодня он
Отвергнет им возвращенную любовь?
Ужель сама себя невинность губит?
Виновна ль я?

Магомет

Виновна. Погоди,
И ты пред темной тайной содрогнешься.
Не торопись. И я тебе открою,
В чем благо и чего страшиться должно,
Верь только мне.

Пальмира

Кому ж еще мне верить?
Твоя благоговейная раба
Твоих речей привыкла ждать покорно.

Магомет

К неблагодарности ведет избыток
Благоговенья.

Пальмира

За неблагодарность
Сеид убьет меня у ног твоих!

Магомет

Сеид?

Пальмира

Но почему ты так разгневан?

Магомет

Нет. Я не гневаюсь, хотел я испытать
Души твоей сокрытые движенья.
Доверься мне, не бойся, не таись.
Я вас растил, я вам желаю блага,
Повиновенье ваше — мне зарок,
Послушна ты — тебе готово счастье,
Которое ты можешь заслужить.
И что бы Бог ни повелел Сеиду,
Его на подвиг надо укрепить,
Чтоб верностью тебя он был достоин.

Пальмира

Учитель, верь мне! Все Сеид исполнит,
Как за себя, отвечу за него,
И ты ему любви его дороже —
Ты вся его надежда! Ты — отец
И царь его! А я моей любовью
Потщусь его на подвиг ободрить.

Сцена четвертая

Магомет

Магомет

Невольный я любви ее свидетель.
И простота ее, смутив мой гнев,
Невинная, мне в сердце меч вонзила...
Отец и дети! Страшная судьба
Из ваших рук грозила мне злоеще!
Но вам придется ныне увидеть,
На что способны страсть моя и ярость.

Сцена пятая

Магомет, Омар

Омар

Час ныне пробил — накажи Сафира
И, взяв Пальмиру, Меккою владей.
Умрет Сафир — и все у ног твоих,

Но медлить невозможно ни минуты!
Один Сеид нам может в том помочь, —
Сафира знает он, с ним говорит.
Ты видишь этот храм и темный ход,
Что от него ведет к дворцу Сафира?
Сюда он ночью к идолам своим
Придет моленья тщетно воссылать,
И здесь Сеид в своем слепом усердьи
Сафира в жертву Богу принесет.

Магомет

Да будет так. Стать суждено ему
Орудием и жертвой преступленья.
Все — мечь моя, закон и безопасность,
Судьбы неотвратимой приговор,
Все хочет этого. Но твой покорный
Фанатик — он не дрогнет, не отступит?

Омар

Нет. Только он твой замысел свершит,
Для этого пригоден он один.
Твердит ему твои слова Пальмира,
Любовь и вера, все его слепит,
А дрогнет он, — так он сильней ударит.

Магомет

И клятвою его ты обязал?

Омар

Пред алтарем, под страхом вечной кары
Он страшный произнес обет. Затем
Священный меч я дал отцеубийце
И пыл его молитвою разжег.
Вот он!

Сцена шестая

Магомет, Омар, Сеид

Магомет

Уста мои передают
Тебе небес отеческую волю:
Иди и мсти за Бога самого.

С е и д

Первосвященник, царь мой и пророк!
Учитель, небом посланный к народам!
Моя душа во всем тебе покорна,
Но просвети неведение мое:
Как мстить за Бога?

М а г о м е т

Бог твоей рукой
Сегодня уничтожит нечестивца.

С е и д

Из уст твоих мне Божий глас вещает,
Мне славный бой за правду предстоит!

М а г о м е т

Одним повиновеньем славны мы;
Слепой слуга божественных велений
Разит, молясь, — бог сечи за него,
И ангел смерти меч ему протянет.

С е и д

Так! Говори, кто ж этот страшный враг?
Чья кровь прольется, меч мой обагрят?

М а г о м е т

Убийцы, презираемого мной,
Кто гнал нас и преследует поныне,
Кто против Бога шел, от чьей руки
Мой сын погиб, — кровь злейшего врага,
Сафира!

С е и д

Я?.. Убить его?..

М а г о м е т

Ты споришь!
К кощунству нас раздумия приводят.
Тот дерзкий смертный от меня далек,
Кто сам и видеть и судить решится.
Кто думает — тот верить не рожден;
Послушное молчанье — вот в чем слава!

Ты знаешь, кто я? Ведаешь ли, где
Тебе из уст моих глаголет Бог?
Скажи, зачем сей город капищ, Мекка,
Для стран Востока родиною стал?
И я, первосвященник, сам пришел
Наречь святую Мекку храмом мира?
Затем, что Мекка — память о святыне:
Здесь вырос Авраам, здесь прах его,
И здесь рукой, Предвечному покорной,
Для Бога голос крови заглушив,
На жертву он обрек дитя родное.
Бог говорит тебе: — Отмсти, Сеид!
Я говорю тебе: — Во имя божье!
А ты, избранник божий, ты трепещешь!
Прочь с глаз моих, язычник окаянный!
Ищи другого Бога, ты не наш!..
Тебе в награду я берег Пальмиру,
А ты и небо и ее презрел.
Ты слишком слаб, чтоб быть орудьем Бога,
Копье твое — твою же грудь пробьет!
Беги! И будь врагов моих рабом!

С е и д

Сам Бог так говорит! Я повинуюсь.

М а г о м е т

Рази и обагрись нечистой кровью —
И вечной жизнью будешь награжден.

(К Омару.)

Не оставляй его. За каждым шагом
Следи, не отрывая зорких глаз.

Сцена седьмая

Сеид

Сеид

Заложником меня к себе он принял,
А ныне — старца слабого убить.
Пусть! Падает у жертвенника жертва,
И кровь ее угодна небесам.

Сам Бог меня для этого избрал,
Я клятву дал, пора ее исполнить.
Вы мне примером будьте, чья рука
Земных тиранов насмерть поражала,
Пусть ваша ярость сердце укрепит.
Дух Магомета! Ангел-погубитель!
Свирепый дух! Тобой одним дыша...
Кто это там?

Сцена восьмая

Сафир, Сеид

Сафир

Зачем передо мною
Смушаться, друг? Узнай, что привело
Меня сюда. Оставь свою тревогу.
Ты, бедный пленник, отдан мне судьбой,
И средь врагов тебя мне видеть больно.
Бой перемирьем прерван, но опять
Военный гром раскатом разольется.
Я все сказал. И все же страшно мне, —
Толпой собрались беды над тобою.
Прошу тебя, Сеид, средь этой смуты
Мой дом своим убежищем избрать.
Я за тебя в ответе, ты мне дорог,
Не откажи мне, друг.

Сеид

О Боже мой!
Сафир, что говоришь ты? Как поверить,
Что жизнь мою ты хочешь сохранить!
Я кровь его готов пролить был... Боже!
Нет в сердце сил! Прости меня, пророк!

Сафир

Ты жалостью моею удивлен?
Но я ведь человек — того довольно,
Чтоб ощутить живое состраданье
К невинным и несчастливым сердцам...
Избавьте, боги, родину мою
От тех, кому людская кровь — в забаву!

С е и д

Язык для сердца чудно дорогой,
Он Богу враг, но с правдою в душе!

С а ф и р

Ты плохо знаешь правду, коль дивишься.
Увы, мой сын, учением тирана
Смущен твой дух. И слепо веришь ты,
Что в истине живет лишь мусульманин.
Послушный раб жестокого владыки,
Меня, не ведая, боялся ты.
А он, твоим неведеньем играя,
Завлек тебя в тенета черной лжи.
Мне жаль тебя. Ты жертва Магомета,
Но как ты можешь верить богу зла?

С е и д

Я сам готов послушаться его,
Тебя возненавидеть я не в силах.

С а ф и р

Я говорю с ним, и невольно сердце
Влечется к чистой юности его.
И не пойму, как этот раб злодея
Нашел тропинку к сердцу моему?
Кто твой отец? Скажи, где ты родился?

С е и д

Не знаю я родителей. Учитель
Есть у меня. Я верен был ему.
Но, слушая тебя, его я предал.

С а ф и р

Ужель ты имени отца не помнишь?

С е и д

В его шатре баюкали меня,
А родиной был храм. И среди детей,
Которых в дань ему приносят всюду,
Ни к одному так милостив он не был.

С а ф и р

Он помнит доброе. Да, к сердцу путь
Легко благоденствие находит.
Итак, тебе в отцы он избран небом,
Пальмире и тебе?.. Но отчего ж
Ты весь дрожишь в сердечном сокрушении?
Зачем, смущаясь, отвращаешь взор,
Как будто угрызеньями томимый?

С е и д

Кто б их не знал в проклятый этот день!

С а ф и р

Раскаявшись, ты сердцем невиновен.
Идем! Уж время. Я спасу тебя.

С е и д

А я убить его поклялся! Боже!..
Бог мщения!.. И ты, моя Пальмира!

С а ф и р

Идем со мной. Раздумывать уж поздно.
В последний раз зову тебя, идем!

Сцена девятая

С а ф и р, С е и д, О м а р,
с в и т а

О м а р

(поспешно входит)

Предатель! Медлишь ты? Учитель ждет.

С е и д

О, Бог мой, где я?.. И на что решиться?
Как будто молнии со всех сторон.
О, если б убежать от этой муки!
Куда ж?..

О м а р

К ногам избранника господня.

С е и д

Отречься, да, от этой клятвы черной!

Сцена десятая

С а ф и р

С а ф и р

Сеид! Куда?.. Опять уходит он,
Измученный, не верящий надежде,
Из груди сердце рвется вслед за ним.
Беглец, мне жаль тебя! Твои страданья
Невыносимо мучают меня.
Нет, я пойду за ним.

Сцена одиннадцатая

С а ф и р, Ф а н о р

Ф а н о р

Прочти посланье,
Один араб тайком мне дал его.

С а ф и р

Герсид!.. Ужели ж?.. Боги, ваша милость
Спасет ли старость горькую мою?
Он хочет говорить со мною! Он,
Кто оторвал их от груди родимой!
В плену у Магомета!.. Живы!.. И
Пальмира и Сеид отца не помнят!
Надежде этой можно ли поверить?
Я так несчастен — страшно обмануться...
Как верить мне предчувствиям глухим?
Кому поведать радостные слезы?
Таких терзаний сердце не снесет.
Увидеть их, обнять их поскорее!
Нет. Страшно мне! Как боязливо горе,
К надежде недоверчивое... Нет...

Идем! К Герсиду ночью мы нагрянем,
Под этот свод тихонько приведем,
И к алтарю, где утомил богов
Я жалобами... Вдруг они смягчатся?
Отдайте мне детей! И добродетель
С обманутой поплачет простотой.
А если не мои они — ну что же!—
Они детьми мне будут, я — отцом.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Сцена первая

Магомет, Омар

Омар

Знай — тайна наша увидела свет,
Не славу, а могилу обещаю.
Сеид послушен, но, пока его
Разжечь ты собираешься, заложник
Догадываться начал.

Магомет

Быть не может!

Омар

Отечески к нему Герсид привязан.

Магомет

Что ж думает Герсид твой?

Омар

Он боится,
Сдается мне, Сафира он жалеет.

Магомет

Он слаб. А тот, кто слаб — предатель. Тайне
Цены не знает он моей. С таким
Наперсником я справлюсь сумею.
Все сделано?

О м а р

Да. Все, что ты сказал.

М а г о м е т

Подумаем, что дальше. Через час —
Сафир умрет. Иль — нас на казнь потащат.
Умрет он — и конец. Народ смятенный
Поверит Богу, спасшему меня.
Вот первый шаг. Затем, — едва Сеид
Предстанет, кровью жертвы обогранный,
Ты казнь ему немедля уготовь.
Где яд, Омар? Ты отвечаешь, помни!

О м а р

Не сомневайся.

М а г о м е т

Сумрачные тайны

Пусть смерть сама в свой саван завернет
И скроет под землей. Так решено!
Пусть хлынет кровь врага, который дал
Пальмире жизнь. Ее ты позаботься
В неведеньи счастливом укрепить.
Ее рожденье тайною густой
Сокрыто, — пусть пребудет вечной тайной, —
На что отец ей этот ненавистный?
Нет для тебя того, чего не знаешь!
И голос крови для Пальмиры нем,
Он только призрак, многих обманувший;
Природы нет — есть у людей привычка;
Она ж привыкла слушаться меня,
И для нее я все. В мои объятья
Пусть через прах неведомой родни
Придет она. И втайне, может быть,
Польстится овладеть своим владыкой.
Но время близится. Сейчас Сеид
Отцу смертельный нанесет удар.
Уйдем.

О м а р

А вот и он. Едва идет,
Неистовым усердьем распаленный.

Сцена вторая

Магомет, Омар — впереди, спрятавшись
сбоку; Сеид — в глубине.

Сеид

И все-таки я должен сделать это!

Магомет

Идем — пора! Иные ждут дела.

(Уходит с Омаром.)

Сеид

Я выслушал его. Ответить нечем.
Он слово скажет — и немею я.
Когда же он заговорил о жертве,
Я грозной речью не был убежден.
Глаголу неба я душой покорен,
Но этот послух — страшная цена!

Сцена третья

Сеид, Пальмира

Сеид

Пальмира, ты?.. Ужасное явление!
Зачем ты здесь, где смертью дышит все?

Пальмира

Страх и любовь меня к тебе влекут,
Припасть к руке, что держит меч священный.
Какая жертва страшная, увы!
Но ты слушаешься Магомета?

Сеид

Любви царица! Милая моя!
Ты доблесть ослабевшую направь
И укрепи и руку и рассудок.
Будь Богом мне! Мне Бога не понять.
Зачем меня избрал он? И его ли
Слова нам повторяет Магомет?

П а л ь м и р а

Молчи, молчи! Пророк в душе читает,
Он слезы видит, слышит каждый вздох,
Боятся люди не его, а Бога.
Вот все, что знаю я. Сомненье — грех!
А Бог, кого он молит величаво,
Есть истый Бог, с ним побеждает он.

С е и д

Он Бог затем, что ты ему молилась!
Но мой рассудок бедный не поймет,
Как этот милостивый бог меня
На зверское убийство посылает?
Я знаю, что сомнение преступно, —
Не дрогнувши, заколет жертву жрец, —
Сафир судом небесным осужден,
Мне ж предначертана защита веры...
Так говорил пророк. И я молчал,
И, гордый послужить грозе небесной,
С мечом в руках пошел к врагу Господню.
В тот миг — иной ли бог сдержал меня? —
Едва глаза я поднял на Сафира,
Как голос веры грозной ослабел,
И тщетно долг мой звал меня к убийству, —
Зов человечности меня сдержал.
Как гневно и отечески любовно
Меня за слабость укорял пророк,
С каким величием и с какою силой
Он чувства эти речью укреплял, —
Могуча вера наша и ужасна! —
И гневом сердце закипело вновь.
Но убивать так страшно, друг сердечный!
И жалостью сменяется мой гнев.
Неясных дум толпа меня тревожит, —
И зверства я боюсь, и святотатства...
Да разве я убийцей быть рожден?
Но Бог изрек, и страшный дан обет.
Я весь дрожу от горя и обиды,
Я просто жертва этой бури злой,
Как листик в омуте противочувствий, —
Они меня и держат и толкают...
Одна ты можешь укрепить меня;

Нет крепче уз, что нас с тобой связали,
Но если сдамся я, то мы навеки
Друг друга потеряем! И тебя
Иной ценою мне не получить.

П а л ь м и р а

За кровь несчастного заплатят мной?

С е и д

Пророк и небеса решили это.

П а л ь м и р а

Ужель любовь нас к этому вела?

С е и д

Да. Ты обещана убийце в жены.

П а л ь м и р а

А труп в приданое?

С е и д

Так хочет небо,
Так вера и любовь повелевают.

П а л ь м и р а

Увы!

С е и д

А знаешь ли, каким проклятьем
Казнит за ослушание пророк?

П а л ь м и р а

Когда сам Бог тебя судил на это
...и крови требует — и ты уж обещал...

С е и д

И быть твоим! Тогда что?

П а л ь м и р а

Содрогаюсь!

С е и д

Я понял. Это — приговор Сафиру.

П а л ь м и р а
Нет, я...
С е и д
Ты так сказала.
П а л ь м и р а
Это страшно...
Что я тебе сказала?

С е и д
Бог сказал!
Последний раз гадал я. Решено.
Сейчас Сафир богов своих нечистых
Молить придет на роковой алтарь.
Уйди отсюда!

П а л ь м и р а
Нет, я не уйду.
С е и д
Я не хочу, чтобы на эту кровь
Смотрела ты. Ужасный мир! Иди.
И Магомет отсюда недалеко.
Уйди, я говорю.

П а л ь м и р а
А он умрет?
С е и д
Мне жертвенный обряд свершить дано.
Повергну я его внезапно наземь,
Трикраты в грудь ударю и убью,
И в лужу крови повалю алтарь.

П а л ь м и р а
И от твоей руки ему погибнуть!..
И вот он! Боже мой!..

В глубине театра раскрывается алтарь.

Сцена четвертая

Сеид, Пальмира; впереди — Сафир

С а ф и р (*У алтаря*)

Родные боги!

Пред лжеученьем этим суждено

Склониться вам. За вас самих сегодня
В последний час решаюсь я молить!
Опять война. Кровавою рукою
Она низринет робкий наш оплот.
И если дорога вам жизнь злодея...

С е и д

Ты слышишь? Он кощунствует!

С а ф и р

На смерть
Готов я. Но в последний миг обнять
Детей, уснуть на их руках... Глаза
Они закроют мне... Мечта золотая!
Когда б вернули боги мне детей...

П а л ь м и р а (Сеиду)

Что говорит он... дети?

С а ф и р

Боги мира!
Увижу их — и сам умру от счастья.
А им вы дайте — верить так, как я,
И ниспошлите им покой и радость.

С е и д

Он молит идолов — пора!

П а л ь м и р а

Постой!

С е и д

Я заслужу тебя у Магомета
Мечом, который Богу посвящен,
Чтоб насмерть поразить врага. Пора!
Смотри! Там ждут меня! Вон лужа крови,
И призраки, и трепетные тени.

П а л ь м и р а

Сеид, опомнись!

С е и д

Это тени смерти
Зовут меня и меч поднимают мой.
Идем!

П а л ь м и р а

Меня смертельный ужас душит.
Стой!

С е и д

Камни алтаря зашевелились!..

П а л ь м и р а

Нет! Это знаменье! Теперь конец.

С е и д

Убить велит оно иль запрещает?
Мне кажется, что голос Магомета
Корит мое трепещущее сердце...
Пальмира!

П а л ь м и р а

Что ты?

С е и д

Милая, молись!

Сейчас убью его.

Он уходит за алтарь, у которого
находится Сафир.

П а л ь м и р а

О Боже, что это?

Какой ужасный зов звучит в душе?
И рвется сердце и трепещет дух!
Так небо хочет — мне ль его судить?
Мне ль плакаться и вопрошать его?
Покорна я, откуда ж угрызенья?
И кто решит — он прав иль виноват?
Мне показалось это?.. Или нет?
Какой ужасный крик!.. Он умирает.
Сеид! Поди...

С е и д *(возвращается потрясенный)*

Кто здесь назвал меня?

А где ж она? Бог отнял и ее...

П а л ь м и р а

Не узнает... Ведь я твоя Пальмира!

С е и д
Ты здесь... А что же...

П а л ь м и р а
Все? Скажи мне — все?
Все кончено? Конец теперь? Скажи!

С е и д
Как ты сказала?

П а л ь м и р а
Он погиб? Сафир?

С е и д
Сафир?.. А кто это?

П а л ь м и р а
О Боже правый!
Зачем его несчастный разум мучить!
Идем скорей!

С е и д
Не слушаются ноги.
(Он садится.)
Теперь мне стало легче. И светлее. Так...
Как?.. Это — ты?

П а л ь м и р а
А что ты сделал?

С е и д

Все.

В отчаянии я ухватил его
За волосы седые и свалил...
И к этому привел меня ты, Боже!
От ужаса дрожа, клинком железным
Ударил в грудь — оттуда кровь ручьем...
Еще хотел ударить, а старик
В моих руках так застонал ужасно!
Природа этот тусклый взор таким
Величием и горем напоила...
И жалостью и ужасом томим,
Я сам мертвец. И больше жить не надо.

П а л ь м и р а

Идем к пророку. Он поможет. Встань.
У трупа оставаться нам опасно.
Идем!

С е и д

Я не могу. Я умираю.

П а л ь м и р а

Страшной убийства чем-то мучим он...

С е и д *(в слезах)*

Ты если б видела! С клинком в груди
Вдруг на меня взглянул — и так печально!
Я бросился бежать. И — веришь — он
Еще позвать меня собрался с силой
И вытащил железо из груди.
С такою скорбью еле произнес:
— О мой Сеид несчастный! — он сказал мне.
И взор его, и голос, и кинжал,
И добрый этот старец весь в крови —
Все так вот и стоит передо мною.
О, что мы сделали!

П а л ь м и р а

Идут! Я за тебя
Боюсь. Бежим!.. Сеид! Иль ты не любишь?

С е и д

Иди. Оставь меня. Любовь?.. Она
Сюда и привела меня сегодня.
Ты — злая! Без тебя бы в этом я
И Бога никогда бы не послушал.

П а л ь м и р а

Сеид! И это ты сказать решился?
А мне еще страшнее, чем тебе!
И пожалеть меня уж ты не можешь?

С е и д

Пальмира... что это вон там? Смотри!
Появляется С а ф и р. Он поднимается, опираясь на алтарь,
позади которого был ранен.

П а л ь м и р а

Несчастный! Это он. Борюсь со смертью,
Едва идет. И весь в крови! Сюда!

С е и д

И ты к нему?

П а л ь м и р а

Нет, с жалостью бороться
Я больше не могу. Нет сил моих!
Совсем душа растерзана моя.

С а ф и р

(идет вперед, поддерживаемый Пальмирой)

В последний раз иду я — помоги.

(Садится.)

Что ж ты, неблагодарный, сделал? Плачешь?
Ты яростью пылал. Теперь жалеешь?

Сцена пятая

С а ф и р, С е и д, П а л ь м и р а, Ф а н о р

Ф а н о р

Что здесь такое? Что я вижу?

С а ф и р

Герсида мне увидеть... Ах, Фанор!
Вот мой убийца.

Ф а н о р

Вот конец и тайне.
Злодей несчастный! Это твой отец!

С е и д

Что?..

П а л ь м и р а

Он?..

С е и д

Отец?

С а ф и р

О боги!

Ф а н о р

Умирает

Герсид. Позвал и еле прохрипел:
«Сейчас произойдет отцеубийство.
«Беги и у Сеида вырви нож.
«А я, наперсник этой тайны страшной,
«Казнен пророком. Видишь — мне конец!
«Беги, скажи Сафиру: сын родной
«Ему Сеид и брат Пальмире».

С е и д

Что ты?

П а л ь м и р а

Брат?..

С а ф и р

Дети! кровь моя! Вы, боги,
Предвестьями меня не обманули.
Все это правда. Бедный мой Сеид!
А кто ж тебя послал убить меня?

С е и д (*бросаясь на колени*)

Ревнивый долг мой, детства колыбель,
Признательность и вера и любовь —
Все, что для нас и дорого и свято, —
На тяжкий грех подвигнуло меня.
Преступник я! Отдай мне этот нож!

П а л ь м и р а

(*на коленях, отводя руку Сеида*)

Я виновата. Ты меня убей!
Ведь я его толкнула, посулив
Кровосмешенье за отцеубийство.

С е и д

Для нас достойной казни в мире нет.
Убей убийц своих.

С а ф и р (*обнимая их*)

Обнять детей!

Смешало небо в кубке зол моих
И кровь, и грязь, и слезы умиленья.
Благословенно небо! Я нашел вас
В последний час. Вам жизнь я оставляю.

Но, дети, вы — во имя естества —
За эту кровь последнюю мою,
За кровь отца, за нас, за смертный грех
Отмстите! Но себя не погубите.
Час минет, сын мой, и война опять
Для замыслов моих простор откроет.
И ныне грех твой не был завершен, —
Как будто небо сжалилось над нами, —
Сюда наутро явится народ
И за меня поднимется в отмщенье,
Еще немного...

С е и д

К ним пойду навстречу!
Достойной казни изверга предам, —
Так месть и кара мне...

Сцена шестая

Сафир, Сеид, Пальмира, Омар,
Фанор, свита.

О м а р

Схватить Сеида!
Помочь Сафиру! А убийцу — в цепи!
Пророк пришел, чтоб защитить закон.

С а ф и р

Так вот ты как! Еще одно злодейство!

С е и д

Меня казнить он хочет?

П а л ь м и р а

Так, тиран?
Сперва его пославши на злодейство?

О м а р

Его не посылали.

С е и д

Заслужил
Я этот гнусный дар за легковерье.

О м а р
Солдаты! Взять его!

П а л ь м и р а
Не смей, несчастный!

О м а р
Пальмира! Если ты Сеида любишь,
Подумай. Справедливый гнев пророка,
Быть может, и смягчится для тебя.
Идем со мной пред очи Магомета.

П а л ь м и р а
Мне смерть была бы этого милей!
Уведят Сеида и Пальмиру.

С а ф и р
(Фанору)
Опять он отнял их. Отец несчастный!
Был легче во сто крат его кинжал.

Ф а н о р
Светает. Весь народ встает на помощь,
Вооружаются и к нам сюда идут.

С а ф и р
Он сын мой?.. Что?

Ф а н о р
Не сомневайся.

С а ф и р
Небо!
О преступленья! Кровные мои!..
Ко мне! Я умираю! А детей,
Отнявших жизнь мою... спасите, боги!

АКТ ПЯТЫЙ

Сцена первая

Магомет, Омар; в глубине — свита

О м а р

Сафир на ложе смерти. И народ
Из праха в гнев был готов воспрянуть,
Но мы вмешались в толпы. Громогласно
Взывали мы отмстить за смерть Сафира,
Безумцам буйным толковали мы,
Что судит Бог и тем пророка славит,
Стеная, плача, мы клялися мстить
Во имя правосудья Магомета.
Нас слушали, склонясь перед тобой,
И мятежа угроза миновала.
Так буря затихает, налетевши, —
Еще волненье гложет берега,
А в небе уж прозрачное затишье.

М а г о м е т

Мы вечное молчанье им подарим.
Войскам моим велел ты выступать?

О м а р

Всю ночь войска к встревоженному граду
Путями потайными вел Осман.

М а г о м е т

Бороться вечно иль обманом брать!
Сеид еще не знает, что, 'ослепший
От ярости, он грудь отца пронзил?

О м а р

Откуда это знать ему? В могиле
Герсида смолкла тайна навсегда,
А вслед за ней теперь пора Сеиду.
Оружие его я уничтожил,
И сам он обречен, того не зная:
Он чашу с ядом жадно осушил.
Наказанный еще до прегрешенья,

Отца у алтаря он в прах поверг
И в грудь ему кинжал вонзил. А в жилах
Отцеубийцы уж таилась смерть;
В темнице он, недолго жить ему.
Пальмиру здесь велел оставить я,
Она еще понадобится нам.
Я подал ей надежду, что спасти
Сеида ей удастся послушаньем,
И робкие уста ее молчат.
Она твоей наложницею будет,
Не смея даже мысленно роптать.
Твое величье, царь и повелитель,
Ей увенчать достанется!.. А вот
Ее к тебе, дрожащую, ведут.

Магомет

Всех созови. И тут же возвращайся.

Сцена вторая

Магомет, Пальмира, свита
Магомета и Пальмиры

Пальмира

О Боже! Что это?

Магомет

Оставь тревогу,
Твоя и края судьбы решены.
А то, что ужасом тебя сковало, —
Мы эту тайну знаем — я и Бог.
Оковы пали, ты в своей стране,
Свободной, отомщенной и счастливой.
Не надо плакать о Сеиде. Мне
Оставь решать судьбу людей и мира
И о своей подумай. Если я
Отеческим тебя приметил взглядом
И милостив к тебе — достойна будь
Высокого удела, что отныне
Тебе избрал я. Позабудь Сеида.
Оставь девичьи сны. Иной мечте

Предайся сердцем. Славу и величье
Тебе уготовал я. Вот о чем
Мечтай и помни, и благодари,
Покорностью ответь владыке мира.

П а л ь м и р а

Покорность? Милости твои?.. Навек
От этой лжи кровавой отреклась я.
Последней каплей бешенства ты долил
Сейчас до края эту чашу скорби.
Так вот каков ты—вдохновенный Бог,
Мечта моя, пророк мой и властитель!
Расчетливо невинные сердца
В отцеубийц ты превратил, проклятый!
Прельститель робкой юности моей,
Моею кровью обогранный, хочешь
Ты сердце получить мое? Напрасно
Себя надеждой льстишь ты, победитель!
Час мести близок! Слышишь этот гром?
Отец сюда полки теней ведет.
Народ восстал, он будет мне защитой,
Невинную, он вырвет у тебя...
Сама б разорвала тебя в куски
И всех твоих пособников проклятых,
Но нет, и всем азийцам не под силу
Твое коварство подлое казнить!
Быть может, мир, разграблен, развращен,
Воспрянет, наконец, и отомстит.
А вера эта, где один обман,
Потомкам будет именем презренья.
Пусть ад, — ты им стократно угрожал,
Едва сомненье в ложь твою глядело, —
Пусть ад отчаяния для тебя
И царством и уделом пышным будет.
Вот мера благодарности тебе,
Вот клятва верности, обет священный!

М а г о м е т

Меня здесь предали. Но кто бы ни был
Предатель этот—пусть трепещет он!
Знай, это сердце...

Сцена третья

Магомет, Пальмира, Омар, Али, свита

О м а р

Все теперь известно!
Им тайну выдал в смертный час Герсид.
Бушуют толпы, разгромив темницу,
И лязгают взбешенные мечи!
Они несут несчастный труп Сафира,
А впереди Сеид зовет к отмщенью
За прах отца. И жалкие останки —
Сафира окровавленное тело,
Как крик трубы, их властно гонит в бой.
И вопль Сеида: «Я отцеубийца!..»
Несется горестно. Живой мертвец,
Он жаждой мести исступленной движим.
Все проклято — твой Бог, и мы, и ты,
И даже те, кто в Мекке потрясенной
Твоим войскам врата открыты собрался,
Сердца их гнев народный распалил;
Изверившись, грозят тебе. И всюду,
Одно повсюду: «Смерть ему и мсть!»

П а л ь м и р а

Час гнева пробил. Боже, защити
Сердца людские!

М а г о м е т (Омару)

Ты боишься?

О м а р

Мало

У нас друзей осталось — видишь сам,
С грозой такой нам спорить не под силу,
И мы пришли с тобою умереть.

М а г о м е т

Я вам защита. Станьте вокруг меня,
И вы узнаете, кто правит вами.

Сцена четвертая

Магомет, Омар, свита—с одной стороны, Сеид и народ—с другой, Пальмира в середине

Сеид *(с кинжалом в руке,
но уже ослабевший от яда)*

Отмстите за отца! На смерть злодея!

Магомет

Здесь только двое — мой народ и я.

Сеид

Молчи, собака! Все за мной!.. О боги!..
Как будто в черной туче скрылся мир...

(Шагает вперед, шатается.)

Вперед!.. Ах, смерть моя!

Магомет

Я победил.

Пальмира *(бросаясь к нему)*

Перед отцом ты не поколебался!

Сеид

Идем!.. Нет. Не могу... какой-то Бог...

(Падает на руки своих.)

Магомет

Так предо мной трепещет безрассудство!

Безумцы, разъяренные слепцы,

Вы, клявшие меня, пылая мстью! —

Земля дрожит пред роковой десницей,
На ропот отвечает вам она.

Мне молнию свою вручило небо,

И мсть моя обрушится, как гром:

Несчастные! Таков закон пророка,

Пусть судит он Сеида и меня —

И да падет виновный бездыханным!

Пальмира

Брат, милый брат! Он нас одолевает!

Оцепенели, внемлят и дрожат,

А он, как Бог, свои законы славит!
А ты, Сеид? А ты?

С е и д *(на руках у своих)*

Наказан небом.
Неволен грех, но не простится он.
Цвела напрасно в сердце добродетель.
Дрожи, злодей! Пусть Бог казнит ошибку,
Но страшную он карой покарает
Злодейство черное. Я умираю!
О Боже праведный, спаси ее!

П а л ь м и р а

Неправда, нет, не небом он наказан.
Нет — это просто яд...

М а г о м е т *(прерывая ее, к народу)*

Учись, неверный,
Преступные деянья замышлять!
Узнай меня в божественном возмездьи,
Смерть и природа слышат голос мой.
Послушно смерть идет ко мне на помощь
И жизнь мою мезью зачеркнет.
Глядите — вот она, на всех врагов
Готовая низвергнуть гнев пророка!
Так накажу я — мысль исподтишка,
Мятеж сердец, ошибки безрассудства.
Неблагодарные! Коль солнце светит вам,
Воздайте справедливое тому,
Кому обязаны вы этим, и... назад!

Народ отступает.

П а л ь м и р а

Остановитесь! Изверг! Отравитель!
Ты смертью брата хочешь оправдаться?
Злодействами себя обожествить,
Ты всей семьи лишил меня, проклятый!
Возьми ж ее последнее дыханье! —
Брат! образ страсти роковой и милой,
Я за тобой иду!

(Бросается на кинжал брата.)

Магомет
Остановить!
Пальмира

Смерть... Меркнет свет... Злодея уж не вижу.
Я знаю, справедливость в небе есть,
И будет время для сердец невинных.
А ты, тиран, — тирань рабов своих!

Магомет

Она мертва. И с ней погибло все,
Все, для чего я шел на преступленья.
Я враг ей! Ненавистный победитель,
Владыка мира! Как наказан я!
Что ж это — угрызенья? Справедливость?
Или в душе моей злодейства стонут?..
Мой страшный Бог, он нес несчастья людям,
Орудьем был для замыслов моих,
Его я проклял... но подкрался страх,
И, осужденный на вершине славы,
Над казнью этой тщетно я глумлюсь.
Всех обманул — себя же не обманешь...
Отец и дети! Отомстите мне
За вас самих, за небо и за землю
И вырвите предательское сердце,
Рожденное, чтоб ненавистью жить!
А ты — оставь стыда воспоминанье,
Скрой слабость эту, славу береги.
Я царствовать над миром должен! Если ж
О человеке вспомнят — мне конец.





СТИХОТВОРЕНИЯ





ЗА И ПРОТИВ

(Послание к Урании)

Г-же...

Твое, Урания, веленье —
Чтоб, красоте служа, Лукрецием я стал,
Чтоб ревностное дерзновенье
Все суеверия лишило покрывал;
Чтоб взору твоему я пылко начертал
Священных вымыслов опасное виденье;
И чтоб, приняв мое ученье,
Пред ужасом могил твой разум не дрожал
И прѣзрел вечное мученье.
Не ожидай, что, чувств соблазном упоен,
Религию клеймя, хулой непросвещенной
Я стану поносить карающий закон,
Как осудившего поносит осужденный.
Нет, скромно мы войдем, избрав достойный час,
В обитель Божества, когда-то
Нам возвещенного и скрытого от нас.
Я чтить его готов, любить сыновне, свято, —
Мне предстоит тиран, что злобу сеет сам.
Он смертных сотворил, ему во всем подобных,
Чтоб злей смеяться их скорбям;
Замкнул нас в круг влечений злобных,

Чтоб всех судить по их делам.
Он радость завещал сердцам,
Чтоб стала тем страшней нам вечность мук
загробных,
Чтоб муки здешние больней казались нам.
Он смертных сотворил, не мысля об изъяне,
И вдруг — стал смертных порицать,
Как будто мастеру не подобает знать
Свои погрешности заране.
Слеп в милостях своих, слеп в ярости своей,
Едва успев создать, он стал губить людей.
Он морем сокрушил довольство их земное,
Хоть сам его в шесть дней извлек из мрака он.
Быть может, восхвалим провиденье благое,
Увидев лучший мир, что внове сотворен?
О, нет, из праха вызывая,
Он мир злодеев создает,
Бесчестнейших рабов, суровейших господ,
Каких не знала жизнь былая.
Что ж станется теперь, и гром какой падет
Из гневных Божьих рук, ничтожным отомщая?
Стихии вновь смешав, он в хаос их вернет?
Внимайте, о любовь! о тайна всеблагая!
Отцов волнами затопляя,
Он за детей на смерть идет.
Есть ветреный народ, тупой, непросвещенный,
Священных вымыслов приверженец пустой,
Родившийся в ярме, от века покоренный,
Народам всем чужой, гонимый их семьей.
Сын Божества, сам Бог, не устрась паденья,
Народу жалкому становится сродни;
Еврейку он избрал, возжаждав воплощенья;
Он, предан матери, влачит покорно дни
Ребяческого униженья.
Бедняк-ремесленник, корпя над верстаком,
Он свой расцвет сгубил работой принужденной,
Вещал пророчества три года он потом
И пал, бесславно осужденный.
Ужели кровь его, кровь Бога, что за нас
Он пролил, не была избыточным закладом,
Чтоб отвратить казнящий час,
Нам присужденный злобным адом?
Как! Бог пошел на смерть, чтоб всем спасенье дать,

И жертва обернулась ложью!
Как! смеют мне хвалить пустую милость Божью,
Меж тем как, вознесясь, он гневным стал опять,
Меж тем как вновь с высот грозится вечной
бездной,

И, яростью своей любовь свою поправ,
Он, став за мой же грех расплатой бесполезной,
Казнит меня за то, в чем я пред небом прав!
Карает этот Бог, слепой в любви и в злобе,
Детей — за праотцев, давно истлевших в гробе;
К ответу он зовет семью людских племен,

В ночь лжи поверженных от века;
В своем аду отмщает он
Неодолимому незнанию человека, —
Он, сам пришедший в мир, чтоб мир был озарен.

Америка, пустыни, горы,
Что Богом созданы у солнечных ворот;
Гиперборейские просторы,
Чью вековую глушь неведение гнетет, —
Ужели отвратил от них Создатель взоры,
Ужели проклял страны те, —

Пусть не дано им знать, что в Сирии безвестной
Сын плотника рожден Марией невестной,
Пилатом осужден, был распят на кресте?
Нет, Бог мой не таков, и жлет изображение
Того, кто в этом сердце свят.

Его, боюсь я, оскорбят
Такая похвала, такое поношенье.
Услышь, Господь, молю, рожденное тоской,
Из сердца вырванное слово.

Неверью моему ты не отмстишь сурово,
Мой дух раскрыт перед тобой,
И сердце — не хулить, а чтить тебя готово:
Я — не христианин; тем ты верней любим.
Но что за зрелище очам моим предстало!
Христос — могуч и горд величием своим.

Разверзлось облак покрывало, —
Эмблема смертных мук, сверкает крест над ним.
Склонясь к его ногам, смерть притупила жало;
Из двери адовой он вышел невредим;
Приход его воспет пророчеств голосами;
Кровь мученичества — его скрепила трон;
Пути его святых богаты чудесами;

Сто тысяч бледных жертв, землей своей распятых,
Что спят, погребены в лачугах и палатах,
Иль, кровью исходя, бессильные вздохнуть,
Средь мук, средь ужаса кончают скорбный путь.
Под еле внятный стон их голосов дрожащих,
Пред страшным зрелищем останков их чадящих
Посмеете ль сказать: так повелел закон, —
Ему сам Бог, благой и вольный, подчинен?
Посмеете ль сказать, скорбя о жертвах сами:
Бог отомщен, их смерть предрешена грехами?
Детей, грудных детей в чем грех и в чем вина,
Коль на груди родной им гибель суждена?
Злосчастный Лиссабон преступней был ужели,
Чем Лондон и Париж, что в негах закоесли?
Но Лиссабона нет, — и веселимся мы.
Вы, созерцатели, бесстрашные умы!
Вдали над братьями вершится дело злое,
А вы причину бед здесь ищете в покое;
Но если бич судьбы познать случится нам,
Вы плакать будете, как плачут ныне там.

Поверьте мне: когда бушует море лавы,
Невинна скорбь моя, мои роитанья правы.
Нам, яростью судьбы теснимым там и тут,
Разнузданностью зла, коварством смертных пут,
Чей утлый дом не раз стихии разрушали, —
Дозвольте нам скорбеть, собратья по печали.
Гордыня и соблазн — вещает ваш ответ —
Желать благой судьбы, коль блага в сердце нет.
Отважьтесь спросить кровавый берег Таго;
В обломках и крови откройте ваше «благо».
Спросите гибнущих на роковом пути,
Гордыня ль в них кричит: *О небо, защити,
О небо, смилуйся, да идет чаша мимо!*
Все благо, — ваш ответ, — и *все необходимо*.
Как? если б этот ад не пригрозил земле,
Не сгинул Лиссабон, — мир закоесли бы в зле?
Иль, скажете, не мог наш двигатель извечный,
Все зная, все творя по воле безупречной,
Нас вовсе не ввергать в печальные края?
Вулканов не зажечь, под почвой смерть тая?
Иль власти у него на это недостало?
Иль к немощи людской в нем состраданья мало?

Иль мастер не имел орудий под рукой,
Чтоб выполнить в веках свой замысел любой?
Смиренно б я желал, с творцом своим не споря,
Чтоб волны серные пылающего моря
Катились без вреда по пустырям земным.
Я Бога чтить готов, но мной и мир любим:
Коль стонет человек, от бед изнемогая,
Не гордость то, — увы! — чувствительность люд-
ская.

Едва ли б жители той горестной земли
В несчастиях своих утешиться могли,
Когда б сказали им: *Вы гибнете недаром:*
Для блага общего ваш кров объят пожаром;
Там будет город вновь, где рухнул ваш приют;
Народы новые над пеплом возрастут;
Чтоб Север богател, вы муки претерпели;
Все ваши бедствия высокой служат цели;
Равно печется Бог о вас и о червях,
Что будут пожирать ваш бездыханный прах.
Как ужаснула бы несчастных речь такая!
Умолкните, к скорбям обид не прибавляя.

Нет, слишком в эти дни я сердцем возмущен,
Чтоб неизбежности холодной чтить закон, —
Всю цепь вселенных, тел и душ неуловимых.
О сказки мудрецов! Соблазны истин мнимых!
Никем не скован Бог и держит цепь в руках;
Все выбором его предрешено в веках;
Он благ, он справедлив, он волен без предела.
И та благая мощь — терзать нас захотела?
Вот узел роковой, что должно развязать.
Как исцелить недуг, коль про него не знать?
Все племена земли, дрожа пред небесами,
Искали семя зла, не признанного вами.
Когда, по воле сил, что движут естеством,
Свергается скала в полете буревом,
Когда пылает дуб, зажжен стрелой грозовой, —
Для них неощутим удар судьбы суровой.
Но я живу, дышу, но вся печаль моя
Взывает к Господу, которым создан я.
Сыны Всевышнего, рожденные для муки,
Мы к нашему Отцу с мольбой простерли руки.

Кувшин не скажет, в спор с горшечником
вступив:
«Зачем так жалок я, непрочен, некрасив?» —
Заведомо лишен речей он и сужденья;
Он создан, как и мы, для краткого мгновенья,
Но вышел неживым из лавки гончара —
Без страждущей души, без чаянья добра.
Зло, говорите вы, добром порой чревато.
Так, бытие червей в гробу моем зачато:
Пред тем как умереть, свой страдный путь кляня,
Утешусь истиной, что червь пожрет меня!
Молчите, счетчики земного униженья,
Не растравляйте боль насмешкой утешенья;
Давно я разгадал бессильный ваш порыв:
Так бедствует гордец, твердя, что он счастлив.

Когда б страдал лишь я — с единством разоб-
щенный...
Но каждый зверь, на жизнь безвинно осужденный,
Все существа, приняв законы бытия,
Безрадостно живут и встретят смерть, как я.
Вот ястреб, распростерт над жертвой помертвелой,
Справляет, весь в крови, свой пир освирепелый:
Все благо для него; но вскоре, в свой черед,
На ястреба орел свергается с высот.
Орла разит свинец — оружие человека;
А человек, в полях, где правит Марс от века,
Средь груды мертвецов, пронзен, повергнут ниц,
Становится, увы, добычей хищных птиц.
Так стонут и скорбят все члены мирозданья;
Друг друга все гнетут, родившись для страданья.
И в этом хаосе стремитесь вы создать,
Все беды сочетав, в единстве, благодать?
Какую благодать! О смертный, персть земная!
Все благо, ты кричишь, но, слезы приглушая:
Ты миром уличен и собственной душой
Стократно опроверг бесплодный довод свой.

Враждует вся земля — стихии, люди, звери.
Признаем: зло сродни печальной этой сфере;
Заботливо от нас укрыт его рычаг.

Иль зло ниспослано подателем всех благ?
Тифоном яростным, жестоким Ариманом
Проклятая юдоль страданья суждена нам?
Мой ум не признает чудовищ этих злых,
Пусть некогда рабы — богов узрели в них.

Но как постичь Творца, чья воля всеблагая,
Отцовскую любовь на смертных изливая,
Сама же их казнит, бичам утратив счет?
Кто замыслы его глубокие поймет?
Нет, зла не мог создать создатель совершенный:
Не мог создать никто, коль он — Творец все-
ленной.

Все ж существует зло. Как истины грустны!
Как странно крайности к единству сведены!
Бог не дал торжества спасительной надежде;
Он землю посетил, и что ж: там все, как прежде!
Злорадствует софист: «Он мир спасти не мог!»
«Он мог, — кричит другой, — хотел иного Бог!
Он мир еще спасет!» За распрей бесполезной
Забыт и Лиссабон, сметенный гулкой бездной,
И тридцать городов, вдруг превращенных в
тлен,

От Таго рдяного до кадиксовых стен.

Иль Бог казнит людей, виновных от рожденья,
Иль этот властелин пространства и творенья,
Без гнева, без любви, бесстрастно служит сам
Тому, что завещал стремительным векам;
Иль слепо на творца материя восстала,
Необходимый грех лелея изначала;
Иль нас пытается Бог, и смертный этот дом —
Лишь узкий переход пред вечным бытием?
Так, преходящую здесь скорбь претерпевая,
Мы верим: завершит мученья смерть благая;
Но кто, преодолев ужасный переход
И счастье выстрадав, свой путь не проклянет?

Все судьбы нам темны, и горестна любая.
Не знаем ничего, бесплодно вопрошая.
Природа, в немоте, ответов не дает.
Нам, смертным, нужен Бог, глаголящий с высот.

И кто б, как не творец, нам разъяснил творенье,
Мудрейших озарил, дал слабым утешенье?
Отвергнут Божеством, заблудший род людской
От шатких тростников опоры ждет порой.
Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой
В сей лучший из миров, в порядок нерушимый
Врывается разлад, извечный хаос бед,
Ведя живую скорбь пустой мечте вослед;
Зачем невинному, сродненному с виновным,
Склоняться перед злом, всеобщим и верховным;
Постигнуть не могу в том *блага* своего:
Я, как мудрец, увы! не знаю ничего.
Нам говорит Платон: был человек крылатым,
Был телом просветлен и чужд земным утратам;
Он смерти не знал и не дружил с бедой:
Как нынче он далек от доли светлой той!
Он гнется, он скорбит; он проклят от рожденья;
Природа — царство зла, обитель разрушенья.
Созданье хрупкое из нервов и костей
Под натиском стихий погибнет тем скорей;
Из крови, праха, влаг возникла плоть живая,
Чтоб снова стать ничем, единство вновь теряя;
И нервы тонкие и хрупкие сердца
Подчинены скорбям, прислужницам конца;
Природа такова: мирюсь с ее законом.
Мне темен Эпикур, я во вражде с Платоном.
Бейль умудренней всех, — ему хвалу воздам:
Сомненью учит Бейль, доверясь лишь весам.
Став выше всех систем, на собственное горе,
Он все их ниспроверг и сам с собой в раздоре:
Так некогда слепец разгневанный, Самсон,
Обрушив своды стен, был ими погребен.

Приподнят ли покров великими умами?
Нет: книга жребия закрыта перед нами.
Неведом человек себе же самому.
Кто я, куда иду, какой удел приму?
Рой жалких атомов над этой грудой праха,
У жребия в плену, на поводу у страха, —
Но зрячих атомов, чьи очи мысль зовет
Измерить пустоту безвестную высот;
Мы к бесконечному стремим свои желанья.
Не чая на земле вкусить самопознанья.

Мир, заблуждения и гордости приют,
Кишит несчастными, что счастья тщетно ждут;
Стон, жалобы кругом, — всех, всех мечта прель-
стила:

Смерть каждому страшна, жизнь каждому постыла.
Средь наших горьких дней пусть слезы нам порой
Веселье осушит беспечною рукой, —
Веселье улетит, оно, как тень, мгновенно;
Печаль, утрата, скорбь пребудут неизменно.
Мы в прошлом свято чтим лишь память наших
бед;

Все в настоящем — скорбь, коль будущего нет,
Коль мыслящую плоть разрушит умиранье.

Все может стать благим — вот наше упованье;
Все благо и теперь — вот вымысел людской.
Мне лгали мудрецы, Бог честен был со мной.

Смиренно сетуя, влача земную долю,
Не мыслю порицать Божественную волю.
Я некогда воспел, желаньем полонен,
Беспечных радостей прельстительный закон.
Те времена прошли: остепенен годами,
Со смертными сроднен мечтами и скорбями,
Ища в глухой ночи разгадок бытия,
Я стражду лишь, увы, — роптать не в силах я.
Был некогда калиф; предчувствуя кончину,
Молитву он вознес к творцу и господину:
*«Дозволь тебе вручить, безмерный царь царей,
Все то, что не сродни безмерности твоей:
Изъяны, горести, недуги и незнанье».*
Но в перечне своем забыл он упованье.





ЛИРИКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕМЕСЕЛ

Когда, презрев небесные законы,
Одушевил свой мрамор Прометей,
Он, как известно, взял тот мрамор в жены:
Пандора стала матерью людей.

Едва познав земных соблазнов цену,
Она улыбке вверилась своей,
Приманкам обхожденья и речей, —
И повелитель покорился плену;
Был Прометей в жену свою влюблен,
Был, первый муж, обманут первый он.

Бог Марс повел с прелестницей беседу;
Его осанка, мужественный вид,
Позолоченный шлем, широкий щит —
Все за него: Марс празднует победу.

Про то проведал влажный бог морей;
Неистощим в усерды вечно юном,
С красавицей дружится он скорей:
Коль Марс почтен, зачем быть злой с Нептуном?

Узрев их ласки с трона своего,
Встает и Феб у нежного порога;
Как не впустить пленительного бога
Стихов, искусств и света самого?

Меркурий, бог изысканного слога,
Силен в речах, — как не принять его!
Вулкан, расставшись с раскаленным горном,
Причудницей был долго поносим;
Но счастья, что легко далось другим,
Достиг он домогательством упорным.
Так справила Пандора праздник свой;
Вдруг беспричинно скука налетела.
Когда любила женщина весной,
Ей круглый год не знать иного дела.
Но боги чтут лишь миг в любви земной.
Она и впредь служить была готова,
Они ушли; а ей в глуши лесной
Предстал сатир, — Пандора любит снова.
От этих всех причуд мы рождены,
Хоть связаны в веках родством единым;
Несходные нам судьбы вручены,
По тем же, небу ведомым, причинам.
Кого бог Марс, кого Вулкан звал сыном,
Кого сатир; немногим в жизни сей
Дано родство с пресветлым властелином.
От предков — все пристрастия людей:
Но ремесло красавицы Пандоры —
Хоть не из редких, всех иных нежней,
И весь Париж им тешит слух и взоры.

ТЕЛЕМА И МАКАР

Телема искристо лукава,
Но слишком пылка й вертлява;
В ее душе — всегда тоска,
Ее пленят успех и слава.
Она любила толстяка
Совсем несходственного нрава.
Его улыбка широка,
Его осанка величава;
Ему и скука далека
И неумная забава.
Он сладко погрузится в сон,
Он утром сладко пробужден;

Вся жизнь его блаженно здрава.
Макаром звался наш герой.
Подруга ветрено-живая
Его терзала день-денской,
Любви неслыханной желая.
Она в попреках разлилась:
Он вышел из дому, смеясь,
В слезах бедняжку покидая.
А та решилась обежать
Весь свет, от края и до края,
Но друга милого сыскать,
В разлуке долгой изнывая.

Двор королевский перед ней.
«Отдайте друга мне скорей!
У вас Макар? За ним пришла я».
Любой придворный лицедей
Смеялся, имя повторяя.
«А чем Макар тот знаменит?
Где вами, крошка, он потерян?
Каков, скажите, он на вид?» —
«Макар, пускай он мне неверен, —
Телема гордо говорит, —
Уж тем хорош, что он не скверен,
Что зла не делал никому,
Что он в страстях своих умерен,
Что сердце в нем под стать уму:
За то любим он целым светом».

Ей молвят: «Судя по всему, —
По описаньям и приметам, —
Ваш друг неведом в месте этом,
Совсем не место здесь ему».

Телема в город заспешила,
Но монастырь встречает вдруг.
Не в нем ли, тихом, как могила,
Ее укрылся тихий друг?
«Сударыня, — был глас приоров, —
Мы ждали долгие года
Его, отраду ваших взоров, —
Он так и не пришел сюда.
И нам достались в утоленье
Постов, усердия, труда —
Лишь распри да уничиженье».
Монашек маленький тогда

Сказал, беглянку утешая:
«Вотще стремитесь вы, блуждая,
Дружку неверному вослед;
Его бесспорно в мире нет,
Его прияла жизнь иная».

Вскипев от дерзости такой,
Телема возглашает гневно:
«Вы, брат мой, лжете преплачевно.
Мой милый друг, мучитель мой,
На жизнь и смерть с Телемой связан:
Он не покинет мир земной,
Что мне судьбой моей указан,
И дышит он — лишь мной одной.
Коль не согласны вы со мной, —
Никто вам верить не обязан».

Красотка вновь пустилась в свет
Искать средь шума и сует
Того, кто их не чтит нимало,
Твердя: «В Париже, верно, он,
Столпами мысли окружен, —
Им воспевать его пристало».

Один ей молвил: «Погружен
Ваш ум, пожалуй, в заблужденье;
Хоть в книгах он изображен,
Макар — одно воображенье».

Вот перед ней дворец суда;
Зажмурясь, пробегает мимо:
«Мой милый не придет сюда,
Здесь все для друга нестерпимо:
Двору хоть пышность не чужда,
Пускай он щедр и на обиды,
Но тот, кого ищу везде,
Всегда в смертельной был вражде
Со свитой черною Фемиды».

Во храм Рамо спешит она.
У Талии, у Мельпомены,
Спектаклем новым пленена,
Всечасно ищет след измены.
Веселый ужин ей с руки,
Что возглавляют остряки,
Телеме ветреной под пару.
Они так мило с ней острят,
Что кажутся, на первый взгляд,

Во всем подобными Макару.
Но, выставляя напоказ
Добросердечье разбитное,
Они, для умудренных глаз,
Являли в глубине иное.
Телема, горечи полна,
Разочарована, грустна,
Домой явилась чуть живая.
Что ж предстает ее очам!
Макар сидит у ложа там,
Подругу мирно поджидая.
«Живите, — молвит он, — со мной,
Утешась нежной тишиной,
О невозможном не мечтая.
И коль хотите сохранить
Все, чем влечет моя особа, —
Страшитесь лишнего просить —
И будем век блаженны оба».
Любой нехитрый грековед,
Узнав Макара и Телему,
Вам разъяснит сию эмблему,
Подаст вам жизненный совет.
Макар, любимый целым светом,
Тебя теряют, ждут; порой
Мне чудится, что ты со мной,
Хоть я страшусь признаться в эгом:
Чванливый зависть привлечет —
И, потеряв тебя, заплачет;
Тобой владеет только тот,
Кто и тебя и сердце прячет.

АЗОЛАН, ИЛИ ОБЛАДАТЕЛЬ БЕНЕФИЦИИ

В селе жил юноша смиренно
Средь кротких братьев-мусульман,
Хорош лицом, сложен отменно,
И прозывался Азолан;
Списал он в детстве Алькоран,
Зубря уроки благодати;

Служил примерно божьей рати,
Но Гавриилу всех верней.
Министр небес пернатый сей
Однажды встал к его кровати.
«Дитя, — он рек, — я оценил
Твое столь редкостное рвенье.
Знай, благодарен Гавриил,
И ты получишь награжденье;
Ты будешь, важен и счастлив,
Имамом в Мекке и Медине;
Почтеннее тебя отныне
Пребудет лишь один калиф;
Нет бенефиции богаче
Средь всех, что создал Магомет.
Заняв ее в расцвете лет,
Ты будешь рад своей удаче;
Но дай мне клятву, милый мой,
Не променять на деву четок,
Смотреть на жен из-за решеток
И жить в невинности святой».
Меж тем красавец молодой,
Летя душой к церковным благам,
В ответ кивает головой —
И горд своим беспечным шагом.
Дивится господин имам
Почету, славе и деньгам, —
Деньгам особенно, пожалуй;
И впрямь, казна его растет,
Затем что сборщик, добрый малый,
С ним делит поровну доход.
Но что богатство, честь людская,
Коль их любовь не озарит!
В груди имама кровь горит,
И по утрам, в тиши Сарая,
Злосчастной клятвой огражден,
Провидит юноша, вздыхая,
Что, верно, глупость сделал он.
Ему встречается Амина,
С горячим взором, с розой щек.
Он обожает, он увлек.
Прощайте, Мекка и Медина,
Прощай, чванливое житье
И это рабство золотое;

В Амине счастье все мое;
Бежим вдвоем в село родное!
Архангел в тот же час предстал,
Любимца горько упрекая.
Влюбленный милую позвал:
«Ты видишь, — вот она какая!
Насмешку злобную тая,
Меня прельстил ты небылицей;
В одну Амину верю я —
И мне не надо бенефиций.
Был прав премудрый Магомет,
Свои законы издавая;
С любви земной он снял запрет;
Он праведникам дал обет,
Что встретят их Амины рая.
Ступай, мой добрый Гавриил,
И не таи в душе обиду:
Хотя б ты небо мне сулил,
Я без нее туда не вниду».

ОТЕЦ НИКОДИМ И ЖАННО

Отец Никодим

Припомни, мой Жанно, что философский гений —
Сей ада злобный дух — век алчет приношений.
Жил древле Архимед, кем мир был со-
вращен;
Открыто в наши дни беспутствует Ньютон.
Локк больше дев сгубил, предав коварным пу-
там,
Чем Ласс определил сограждан по приютам.
Коль набожен и здрав, — не мыслит человек.
Блаженны смертные, не думавшие ввек!
Ларше, Вире, Нонотт, — о сонм благочестивый,
Сколь тешила всегда мой разум неспесивый
Превыспренняя речь пространных ваших книг!
Предался тот греху, кто лишнее постиг;
Излишества страшась, вы вовсе ум изгнали.
Ах, мудрость отстраним, чтоб избежать пе-
чали.

Коль хочешь ты спастись, — не думай, мой
Жанно;
Блаженство глупости да будет всем дано!

Ж а н н о

Ваш голос на меня влияет благотворно,
Зеваю, но готов и впредь принимать покорно.
Сам видел я не раз, как мозгом дух растлен.
Примерами тому — хотя б' кюре Фонтэн,
Кто для версальских дам пожег немало свечек,
А между тем ласкал и стриг своих овечек;
Иль господин Бийяр и друг его Гризель —
Подвижники, каких не видел свет досель,
Обчистившие нас во имя провиденья;
Все это гении, отец мой, без сомненья!

О т е ц Н и к о д и м

Они философы — в том их бесспорный вред;
И оттого их ум, нечистым разогрет,
Однажды запылал геенною стяжанья.
В эдемских рощицах, на мерзком древе знанья,
Возрос плачевный плод — соблазн и гибель нам.
Желудком пострадал наш праотец Адам.
Он должен был, блюдя свой слабый дух и чрево,
Невежества взрастить спасительное древо.

Ж а н н о

Прекрасно сказано; но дурачок Жанно
Осмелится изречь сомненьице одно:
Средь жалких всех писак, что, ревностью вле-
комы,
Из года в год плодят бессмысленные томы,
В латинском, в греческом всех меньше искушен,
Французским хуже всех владеет наш Фрерон.
И все ж его душа в пороках потонула,
Все ж плоть его томит сто ядов Бельзевула.
Отсюда вывел я, прошу прощенья в том,
Что могут согрешить и бедные умом.

О т е ц Н и к о д и м

Ты прав: грешит бедняк, сочтя себя богатым;
Не может стать педант мыслителю собратом;
Как часто демоны гордыни и нужды
Бумажного червя доводят до беды:
Лишь потянись к перу — а дьявол вечно рядом.
Всяк мыслящий глупец проглочен будет адом,
Где нечестивца ждут, всем чаяньям взамен,
В отмщенье всех грехов, Шоссон и де Фонтэн.
Он был бы, как отцом, обласкан Авраамом,
Убогий свой чердак не величай он храмом;
Но сам себя сгубил на вечные века,
Кто глупость сочетал с призваньем остряка.
Так некогда сова, кому удел повелен
Таиться от лучей в глуши своих расселин,
Наскуча темнотою, затеяла взглянуть,
Как солнце в небесах вершит полдневный путь.
Тут дерзкая к орлу взмолилась из пещеры,
Чтоб тот ее увлек в божественные сферы,
Где светлокудрый бог, лучистый Аполлон,
Пронзает свод небес, что им же озарен.
Орел ее повлек надоблачным теченьем;
Но вдруг, ослеплена бессмертным излученьем,
Что не для хилых глаз свое сверканье льет,
Ловильщица мышей низвергнулась с высот.
Уже над стонущей кружит воронья стая
И вестницу ночей терзает, пожирая.
Страшись ее судьбы и, скрывшись в угол свой,
От солнца сторонись — примерною совой.

Ж а н н о

Как веки ни смежай, покорствуя завету,
Невольно иногда взгрустнется вдруг по свету.
Повсюду слышу я, что мир стал просвещен,
Что вековую ложь изгнал с Лойолой он;
В Испании звучит Аранды речь живая,
На инквизицию оковы налагая.
Воинственно прозрел в Италии народ.
Великолепный град, владыка многих вод,
Рвет пути Саймона, что мощь его связали.
Возлюбленный король, родившийся в Версале,
Как слышно, упразднил те справки, что любой

Заботливый мертвец в могилу брал с собой.
Терпимость кроткая в союзе с мудрой мерой
Нам обещают мир, сердца нам полнят верой.
Сперва страшился я суждений этих всех,
Но сотни тысяч уст твердят их без помех, —
Невольно тут и сам расстанешься с дремотой;
И, каюсь, рассуждать пустился б я с охотой.

О т е ц Н и к о д и м

О горе! ты погиб. Жанно потерян мной.
Ум веру одолел... порочен дух любой!
Повсюду ум проник... О глупость всеблагая,
Ты церковь поддержи, свой опий низливая.
Каких святых молить нам в крайности такой?
О бодрый мой Жанно, сын тупости честной!
Кто с лона матери увлек тебя победно?
Ведь слышал ты сто раз, что просвещение вред-
но!

Ты добрых христиан досель не огорчал.
Смири себя; читай церковный наш журнал;
Жан-Жоржа изучай высокие реченья:
Недугу твоему нет лучшего леченья.
Ты исцелишься, верь. Здесь, в городе самом,
Хвала всевышнему, есть скудные умом,
Живущие весь век по расписаньям старым
И древний янсенизм вещающие с жаром.
К ним упади на грудь; уроки их глотай;
Подобно им, слова за мысли выдавай.
Сыпь фразами, Жанно; молю, не будь спесивым.
Свой поврежденный ум смягчи паллиативом.
Философом не будь.

Ж а н н о

Ах! в сердце я пронзен.
Ну, что ж, сомкнем глаза и возвеличим сон.
Того хотите вы. Но мне-то мзда какая
За то, что стал глупцом, ученье завершая?

О т е ц Н и к о д и м

Я дам тебе, Жанно, отменнейший приход:
И, верно, станешь ты прелатом в свой черед.

Утратили вы слух? С ума сошел весь зал?
Иль, в оперу придя, на диспут я попал?
Встаю, от суеты стремительно бегу я.
Лакеи за дверьми столпились, интригуя.
Спасаясь, огорчен, к прославленным садам,
Что вдумчивый Ленотр взрастил с любовью сам.
Вдруг снова вокруг меня шумит толпа шальная;
Все вместе говорят, рассудок мой терзая:
«Читали пьесу вы? Он кончен, он пропал;
Кропателя сгубил сегодняшний журнал».
— О ком вы? Отчего неистовство такое?
Кто всем вам насолил? — «Ничтожество пустое,
Заносчивый рифмач, для выдумок своих
Похитивший у нас александрийский стих».
— Что важен этот спор, не стану отрицать я. —
Вдруг тучный буржуа мне распростер объятья.
«Привыкли к новому — иль старому верны?»
О чем он — о вине? Гурманы всей страны
Опросу подлежат, — для них в том нет обиды, —
На виноградный сбор какие нынче виды?
Иль нужен простаку ученый мой ответ,
Как старый новому я предпочел завет?
Но юный кандидат, чьи кудри, в честь закона,
Равнялись с царственной прической Клодиона,
Изрек, разогорчен невежеством моим:
«Мы, сударь, о судах здесь с вами говорим;
Какой вы предпочли б?» — Клянусь вам, плохи
оба.

Я тяжёб не веду; притом, моя особа
На скипетр короля не зарится ничуть;
Пускай уж без меня он правит как-нибудь.
Есть много гениев: в своем жилье чердачном,
Признав себя отцом и мужем неудачным,
Вселенной управлять любой из них готов;
Избороздят моря, взирая с чердаков;
Страну обогатят, вручат ей жизнь и блага;
Лишь продавцам беда: в кредит плывет бумага.
А я за десять су, эдикты прочитав,
Владею перечнем обязанностей-прав.
Когда порой закон ударит по карману,
Расходы сокращать я соразмерно стану;
Отвергнут Плутусом, взмолюсь к Церере я,
И вот — дарами жатв цветет земля моя.

Так, в сельской тишине, излечит не впервые
Нам благодатный труд все раны городские.
Роптать ли на закон?.. Нет, угождать ему.
Коль руки связаны, — интриги ни к чему. —
«Позвольте, сударь мой, а хартии Капета,
А соляной амбар, а прихоть этикета,
А канцлерство Дюпра, а феодальный суд...»
— Я, сударь мой, далек от шумных ваших смут;
Одну чту хартию: жить мирно на закате.
Вас фронда тешила; викарию, палате
Гражданская война лишь блеском дорога,
Баррикадируйтесь; я скроюсь, ваш слуга. —
Проворно распростясь с докучным бесноватым,
Вдруг очутился я в толпе коллег закатым.
С достойнейшим из них в сторонку мы идем.
«Я, сударь, восхищен веселым мастерством,
С каким святой Медард изобличен был вами,
Интриги, шутовство, кривлянье над гробами;
Посмертные листки на званье христиан,
Лойоле самому не снившийся обман;
Пленились мы, когда, в достойнейшей отваге,
Советовали вы тщеславному бродяге,
Коль точно род людской так по сердцу ему,
Для блага ближнего взять заступ самому.
Пусть слава к вам сойдет, сим подвигам довлея;
Примите наш диплом на звание афея».
— Ах! слишком вы добры. В сердечной глубине
Я измеряю честь, что вы сулите мне.
Так, мне смешон Медард, мне ненавистна булла,
Но мысль моя в тайник еще не заглянула:
Вселенной я смущен; и, видя мощь часов,
В них мощь часовщика я прозреть готов.
Бесспорно, церковь лжет стократно и продажно:
Сам духовник Флери о том твердит отважно;
Я, освистав ее, перестараться могу;
Куда не заведет, увы! изящный слог?
Игнатий пресвятой мной проклят всенародно,
Но в Бога верую, — коль вам узнать угодно...—
«Ах, лжец! ах, негодяй! я это знал давно.
На совести твоей почуял я пятно —
В те дни, как, враг Майе, озлясь его удаче,
Посмел ты утверждать, что мир возник иначе.
Невежда! постигай историю земли:

И скукой вековой отравленные споры.

К соблазнам тишины влеклась душа моя;
Мечтал ее вкусить; ошибся горько я.
Интриги — при дворе, в палате, в войске, в ложе;
В Париже, в Лондоне — везде одно и то же,
Кругом — война умов. Раздор извечный сам,
Разъединив богов, спустился к королям;
Он церковь захватил, без меры возрастая,
И ныне вручена ему вся тварь живая.
Все прославляют мир, прогнав его с земли.
Из милости ему, как слышно, отвели
Два тихих уголка: в столовой да в постели.
Когда б ему царить подольше там велели!
Один еще мне мил. Друзья, так будем впредь
Интриговать с вином да мирно песни петь!

МАРСЕЛЕЦ И ЛЕВ

В апокрифах прочтем, коль их уразумеем,
Что человечья речь дана ослам и змеям.
Змея внушила страсть жене твоей, Адам;
Ослицей распечен библейский Валаам.
Старик Гомер, чья речь нам истины плодила,
Заставил сетовать двух лошадей Ахилла.
Устами жителей небес, полей, чащоб —
Забывший здравый смысл внушает нам Эзоп.
Не слушал их Декарт — и приравнял к машинам.
Он много размышлял над Божеским почином;
Он плохо рассудил, сгубив рассудок свой
В разливе трех стихий, в воронке вихревой.
Все жалко и темно в той физике затменной:
И человек, и зверь, и колесо вселенной.
Все ж дерзкий романист смущал глупцов не раз.
Оставим чудака — и поведем рассказ.

Марселец, в Африку стремившийся с товаром,
Ко берегу Утики причалил — и недаром:
Задумав погулять в ущельи вековом,
Вдруг очутился он, нос к носу, с хищным львом,
Что длинной гривой и пастью огнежалой
С Немейским страшным львом сравниться мог,
пожалуй.

Невыразимый страх тут охватил купца.
Не чая от судьбы Гераклова венца,
Он распростерся ниц и стал молить пощады.
На это царь лесов ответил без досады,
На чистом языке, — и провансалец мой
Услышал с трепетом: «Так, значит, зверь смеш-
ной,

Ты требуешь, чтоб я остался без обеда?
Изволь, я завтракал, приятна мне беседа,
Тебя я отпущу, но докажи сперва,
Что ты не сотворен для насыщения льва».

Исполнился купец отрадным упованьем.
Он прежде тяготел к разнообразным знаниям;
Готовясь стать кюре, в латыни был силен;
Он Августина знал, в Раблэ вчитался он.

Решительно назвав, с усердьем запоздалым,
Монаршескую власть Божественным началом,
Он вывел, что в ряду неравных степеней
Над зверем человек возвышен с древних дней;
Что трон его — земля, что звезды во вселенной
Горят лишь для него, лаская взгляд мгновенный;
Что принцу Африки, пусть знатен род его,
Неловко пожирать монарха своего.

Тут рассмеялся лев, хоть не был он смешливым.
Почуяв интерес к реченьям столь хвастливым,
Он когтем полоснул — и скинул весь наряд
С владыки естества, чтоб свой потешить взгляд.

Дерзнувший начертать законы мирозданью
Явил своих телес убогость обезьянью,
Коротких две ноги на грубых двух ступнях
С кривыми пальцами, стесняющими шаг,
Соски, поникшие в бесплодности постыдной,
Никчемное лицо и череп яйцевидный,
Плачевно сбросивший убор волосяной,
Подаренный ему цырюльника рукой.
Так выглядел, увы, король сей невенчаный,
Вновь став самим собой, лишен красоты обманной.
Он тотчас понял сам, на вящий свой позор,
Что создали его — портной и куафер.

«Увы! — сказал он льву, — самой природой
гневной,
Как видно, суждено мне вид иметь плачевный.
Царем себя считал: моя ошибка в том.

Отныне вас зову, сильнейшего, царем.
Но милость искони сродни душе героя.
Несчастен властелин, любви рабов не стоя.
Бог, как известно вам, всех выше вознесен.
Вам древле он вручил в Армении закон,
Когда в большом ларе, по воле вод струистых,
Животных чистых всех, равно как и нечистых,
Старательно возил мой прародитель Ной,
Чтоб каждое вернуть его земле родной.
Всевышний, договор свой с вами заключая,
Вам строго повелел!.. » — «Ложь низкая какая!
Ты вовсе обнагдел иль тронулся умом?
Бог — с нами договор?» — «Да, государь, притом
Господь вам повелел разумным быть вельможей,
Не обижать людей, но чтить в них образ Божий:
Не кушайте меня, иль гнев его с высот
На ваше царское величество падет». —
«Как! образ Божий! в ком? в бесхвостой обезьяне?»

Всю дерзость этих слов постиг ли ты заране?
Где самый договор? подай его сюда?
Кем он составлен был? в каких местах? когда?
Взгляни-ка на другой, бесспорный, настоящий.
Вот ряд моих зубов, погибелью грозящий,
Вот когти — разорвать могу тебя любым,
Вот глотка — трепещи пред голодом моим,
Мой зев, мои глаза, кипящие огнями,
Все это дал мне Бог, как вы твердите сами.
Не втуне он творил: мой долг — тебя пожрать;
Таков наш договор, я сам — его печать.
Мне Бога твоего ясны предначертанья:
Он голод сотворил не ради воздержанья.
Сам челюстью своей, пускай она жалка,
Смолол не одного ты глупого телка,
Что создан не тобой и не тебе в угоду.
Желудок хилый твой, позорящий природу,
Не мог бы между тем, без кухни поварской,
С цыпленком совладать, оплаченным тобой.
Частенько, обеднев, ты ходишь полусытым;
А я, кому трудней поспорить с аппетитом,
С природой заодно, с моралью незнаком,
Без платы, без хлопот, я съем тебя живьем,
Желудочных расстройств не станешь ты причиной.

Родившись, умереть — вот договор единый.
Будь разум твой не крив, ты предпочел бы сам
Добычей стать моей, чем в яму лечь к червям». —

«Марсельцам, государь, дана душа живая;
Подумайте о ней, свой голод утоляя». —

«Я склонен и свою предполагать живой.

Совсем не нужен мне рассудок жалкий твой,
Не бойся, я не съем твоей души мудрящей.

Ищу себе еды здоровой, настоящей:

Мне плоть твоя нужна; ах, будь она жирней!

Я вовсе не прельщен живой душой твоей». —

«Вам эта плоть дана в бесспорное владенье;

Но, сытому, ужель вам чуждо снисхожденье?

Чтоб денег прикопить, покинул я страну;

В Марселе бросил я двух деток и жену;

Сироткам предстоит, затем что дом мой беден,

В убежище расти, коль вами буду съеден». —

«А кто мою жену прокормит между тем?

Мой львенок крохотный беспомощен совсем,

Он даже и с тобой не сладит, трус двуногий;

Я должен их кормить; таков закон наш строгий.

А сам ты! Для чего покинул светлый край

Веселых лоз, олив, лимонов, — отвечай?

Зачем ты не с женой в беспечной той долине,

Где чтил ты Лазаря, молился Магдалине?

Пройдоха и глупец, гонясь за легкой мздой,

Ты жалкий свой товар привозишь в округ мой

И хочешь, чтоб семья владельца голодала

В угоду алчности неловкого нахала?

Ну, отвечай мне, плут». — «Я, государь, готов

Признать закон когтей и первенство зубов.

Ваш дух невозмутим, мой — смутен от испуга.

Да, так устроен мир, что все едят друг друга.

То воля Господа; в том наш удел благой.

Но христианам все ж приводится порой

За жизнь свою платить, деньгами иль товаром,

То туркам средь пустынь, то на море корсарам.

В Тунисе я б хотел два месяца провесть;

Готов я вам служить, как мне внушает честь;

Ваш стол украшу я, в том жизнь моя порука,

Двумя ягнятами по десять франков штука.

Два месяца подряд их поставлять готов,

Благоволите лишь прислать кладовщиков;

У вас же мой слуга останется залогом». —
«Вот это, — молвил царь, — разумнее во многом,
Чем ссылки на контракт, забытый с давних дней.
Условье подпиши; к кади идем скорей;
Дай поручительства; коль буду я обманут,
Знай, выдумок твоих здесь слушать впредь не
станут:
Растерзан будешь ты без болтовни пустой —
Согласно высших прав, изложенных тобой».

Осуществился торг; секрет его раскроем.
Он будет выполнен, — он выгоден обоим.
Так государям-львам приводится стократ
Контракты заключать — увы, — за счет ягнят.

Г-Н У...

Меня вы мертвым нарекли:
Я соглашаюсь, торжествуя.
В могиле развалясь, гляжу я
На участь жалкую земли.
Забыв неистовства людские,
Изъяс в секвестр от королей,
Я жизнь приветствую впервые —
С тех пор, как разлучился с ней.

Г-ЖЕ ДЕ ШАТЕЛЭ.

К Урании дерзнуть с шутовым поздрав-
леньем!
Да примет ли она? Иначе б не дерзал.
Ее широкий ум все ценит с равным рвеньем:
Писанья, бириби, поклонников, бокал,
Алмазы, оптику, поэзию, помпоны,
Наряды, алгебру, Горация, хорал,
Обеды, физику, суды и котильоны.

ОТВЕТ Г-ЖИ ДЕ ШАТЕЛЭ.

Увы! сей перечень обид,
Хоть и велик, неполон все же,
В нем наша дружба не стоит,
А мне она всего дороже.

ЭПИГРАММА

Подражание античному

Был, восходя на Геликон,
Ужален змеем Жан Фрерон.
И что ж, друзья, какой подвох! —
Не Жан Фрерон, а змей издох.

Г-ЖЕ ДЕ ПОМПАДУР,
делающей набросок головы

Когда бы нам, о Помпадур,
Свое лицо ты начертала:
Поверь, прелестнее натур
Рука прелестней не писала.

Г-НУ ГЕЛЬВЕЦИЮ,

*посылая ему экземпляр
Семирамиды*

О редкий смертный, из породы,
Богатой сердцем и умом,
Убогие дары несусь в ваш строгий дом;
Дарите вы щедрей, — хоть вы еще притом
Скупитесь на слова, столь щедрый от природы.

КОРОЛЮ ПРУССИИ

Нет, вы еретиков похуже;
Сим людям, коих даже вчуже
Католик добрый проклянет,
Доступна благодать высот —
И вера в библию к тому же.
Но для героя Сан-Суси,
Насквозь пронизанного светом,
Все смехотворно в мире этом
И все темно на небеси.

НА ИЗГНАНИЕ ИЕЗУИТОВ

От века у лисиц была война с волками;
Ягнята нежились; старательный пастух
Повыгонял лисиц, развеял лисий дух;
А волки занялись стадами.
Каков пастух! Сдается нам,
Что потекает он волкам.

ЭКСПРОМТ

*на ригориста, несколько педантично
рассуждавшего о добродетели*

Был царь богов рассудком помрачен,
Когда Венере лучезарной он,
Велел облечься юных Граций славой:
Минерве, педантичной и слащавой,
Пристало бы заботиться о том.
Вот вам урок, приверженцы морали:
Мы красоту без славословий знали,
А доблести без них не познаем.

ЭПИГРАММА

на смерть г-на д'Об

«Ну, кто там?» — Люцифер спросил.

«Здесь д'Об, откройте». — Что есть сил,
Весь ад пустился врассыпную.

Д'Об молвил: «Мерзкие края!

Здесь, как в Париже, принят я:

Куда бы ни пришел, нигде не заночую».

КОРОЛЮ ПРУССИИ

Как! в средоточии лучей,
Струящих вам обилье, славу —
На утоление и забаву,
Счастливейший из королей,
Вам нищета моя по нраву?
Писать отменно — все хотят,
Но тщетно предаюсь заботе;
Я просто мыслью небогат,
А вы скупым меня зовете.
Хотите, чтоб остаток свой
Я влек, с повинной головой,
На ваш порог, вдвойне унижен;
Чтоб в дом лазурно-золотой
Стекались приношенья хижин.

НА ОТЪЕЗД КОРОЛЯ ПРУССИИ ИЗ ПОТСДАМА В БЕРЛИН

Итак, покину вас, о мудрости шатер,
Храм справедливости, обитель сельских граций!
Здесь свят Саллюстий, жив Гораций,
Здесь был со мной король, — не суетливый двор.
Он едет щеголять пред ненавистным светом,

Народа своего желанья утолять:
Чтоб радовать других, сам будет он скучать.
В нем человека чту: зачем он царь при этом?

ЭПИГРАММА

Алиборон, подагрой изможден,
Был на духу, страшася адских пыток;
Раскаяньем горя, представил он
Своих пороков недостойный свиток,
Где каждый грех смиренно занесен:
Бесстыдство низменное, лживость, пьянство,
Притворство злое и тупое чванство;
Все перечислив, он главой поник.
— Один забыт, — промолвил духовник.
— Еще? иль этих мало, правый Боже!
— Невежество есть грех великий тоже!

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ

Париж, 1778

Прощайте, ухожу в края,
Откуда предкам нет возврата;
Навек прощайте, о друзья,
Кого не огорчит утрата.
Вас, недруги, утешу я, —
Приятно хоронить собрата.
Такой удел и вам готов:
Когда аидовым теченьем
Пойдете вы к своим твореньям,
И вы утешите врагов.
Сыгравши рольку небольшую
На славной сцене мировой,
Мы все уходим вкруговую —
И все освистаны толпой.
Все, расставаясь с этим светом,
Равно болеют и скорбят:
Архиепископ, магистрат;

Ханжа, сродненный с этикетом.
Пусть с колокольчиком воздетым
К постели ризничий спешит,
Конец почуяв по приметам;
Пусть дух, ослепший от обид,
Кюре напутствует советом;
Толпе смешон сей чинный вид;
Она денек поговорит,
Дав волю злобе и наветам,
А завтра будешь ты забыт;
И фарс закончится на этом.
Коль ничего не чаем впредь,
Завидней всех судьба такая:
Спокойно часа ожидая,
Безвестно жить и умереть.

ЭКСПРОМТ

*Женевской даме, проповедывавшей
автору Св. Троицу*

Да, признаюсь, мне Троицы святой
Всегда казалось вздорным измышление;
Но вижу в вас трех граций воплощенье:
Вы исцелили дух заблудший мой.

Г-НУ Д'...

*В ответ на стихи, присланные ему Бордоским
обществом веротерпимости*

Терпимость провозглашена!
Трудитесь, храм ей воздвигая.
Там с вами помолюсь: она —
Моя любимая святая.
Камней довольно я припас,
Согласен поделиться с вами:
Ханжи сбирались много раз

Меня из церкви гнать камнями.
Но мне евангельский почин
Бесспорно ближе, чем иному:
Как истинный христианин,
Прощал я глупому и злему.

Г-НУ ГРЕТРИ

Париж венком обвил твой лоб,
Но принял двор тебя посуше:
Частенько у больших особ,
О мой Гретри, — большие уши.

НА КОВЧЕЖЕЦ С МОЩАМИ

Был поднесен ковчежец сей
В дар Глупости от Предрассудка;
Про то Уму болтать не смей:
Честь Церкви, милый мой, — не шутка

Г-НУ...

В тот вековечный путь отправлюсь скоро я,
Откуда смертным нет возвратного исхода;
Счастливей меня был дедушка Илья,
Кого еврейский Бог, не пожалев расхода,
В карете собственной умчал из бытия
На четырех конях небесного завода:
Теперь у Господа совсем иная мода.
Привычку к роскоши нам ветхий дал завет,
А новому она, как видно, не по вкусу,
Измены претерпел и тот и этот свет:
Илье был экипаж, осел же — Иисусу.

«ТАКТИКА»

Я в понедельник был в книготорговле Кая,
Где часто роюсь я, не часто покупая.
— Вот, кстати, — он сказал, — ценнейший из
трудов:

Незаменим для всех, изящен, мудр и нов.
Кто изучил его, — постиг судьбу людскую.
Название: «Тактика». Прошу, рекомендую!
— Вот слово, — я вздохнул. — До нынешнего дня
Его ученый смысл был темен для меня.

— Оно, — ответил Кай, — порождено в Элладе,
Искусство — смысл его, искусство чести ради,
Способное пленить высокий ум любой.

Купил я «Тактику» — и поспешил домой.
Я думал, что нашел искусство — быть счастливым,
Разумно властвовать любым своим порывом,
Все чувства воспитать, разрушить плен страстей;
Искусство — жизнь продлить, даруя радость ей;
Быть добрым к ближнему, — но не глупцом при
этом.

Читаю; запершись с божественным заветом,
Его я затвердил — и вслух твержу опять.
Что ж я постиг, друзья? Искусство — убивать.

Узнал я, что, блюдя отеческую веру,
В Германии монах смешал с селитрой серу;
Что следует ядром, невиданным досель,
Чуть выше целиться, чтоб грянуть прямо в цель;
Что смерть, ревущая из бронзового дула,
Параболически полет свой изогнула, —
Тем легче, в два толчка, отбросить ей назад
Сто синих куколок, выставленных в ряд.
Что ни возьми — мушкет, кинжал, меч, саблю,
шпагу, —

Лишь только бы убить, — все служит нам ко благу.

Нам автор описал грабителей ночных.
Чей барабан молчит, чей шаг коварно тих;
С клинком, с веревками, как воры перед кражей,
Они спешат убить пять-шесть неловких стражей;
Затем, вскарабкавшись проворно по стене,
За коей граждане почивают в мирном сне,
С железом и огнем врываются под кровы,
Закалывают всех, бесчестят все альковы,

Не слышат детских слез—и, завершив свой труд,
Чужое пьют вино среди кровавых груд.
Наутро их ведут под сень Господня храма —
Всевышнего почтить куреньем фимиама.
И вот — поет латынь: что сам премудрый Бог
Злосчастный город сжечь и разорить помог;
Что грабить, убивать, насиловать безбожно
Без Божьего на то согласья — невозможно!
Искусства всех искусств не охватив умом,
Я к Каю прибежал — вернуть проклятый том.
Кого бы злость моя в тот час не ужаснула?
— Возьмите! — крикнул я, — вы, книжник Вель-
зевула:

Да, это он водил писавшею рукой;
В искусстве убивать он — мастер записной;
Он даже превзошел Евгения с Густавом.
Долой! не верю я, что целостным и здоровым
Мир вышел некогда из добрых рук Творца —
Единственно затем, чтоб оскорбить отца;
Не верю, что все зло, все скорби — в людях скрыты!
Нет, голый человек, без шпаги, без защиты,
Не стал бы сокращать свои скупые дни, —
Как будто не в обрез отмерены они.
Подагра, злая слизь, осевшая с годами,
Что мочевою пузырь терзает нам камнями,
Чахотка и катар, что гибелью грозят,
И сотня докторов, опаснейших стократ, —
Иль человечеству всех бедствий было мало,
Что ремесло войны сверх них оно избрало?
Героев не терплю: из них древнейший — Кир,
Новейший — Фридрих мой, столь восхитивший
мир.
Пусть в уши мне о них трубит молва людская, —
Бегу от них, равно всех к чорту посылая! —
Так я вскричал — и вдруг заметил, что за
мною

Внимательно следит ученый молодой.
Новешенький мундир венчали эполеты —
Причастия к войне блестящие приметы;
Его спокойный взгляд задумчив был и строг,
Но гнева прочитать в том взгляде я не мог.
Сам автор «Тактики» мне двинулся навстречу.
— Поверьте, — он сказал, — я вовсе не перечу

Философу в летах и другу всех людей.
Вы строго отнеслись к профессии моей.
Увы! она нужна, — хоть чувством не богата.
Нет, человек не добр: убил же Каин брата!
И наши братья: франк, вестгот и дикий гунн,
Приплывшие в наш край, что был цветущ и юн,
Не жгли бы спелых жатв Луары, Сены, Соммы,
Будь с римской тактикой мы более знакомы.
Боец и сын бойца, писал я не о том,
Как грабить ближнего, но как беречь свой дом.
Возможно ль? вас гnevят защитников заботы?
Иль предпочтете вы, чтоб растоптали готы
Ваш замок, ваш амбар, ваш выгон, ваш лозняк?
Меж тем близ ваших стад вы держите собак.
И войны иногда — законны, без сомненья:
Есть в мире подвиги — не только преступленья.
Не вами ли самим, как воин и герой,
Достоин был воспет беарнец молодой?
Он верил, что в стране права его — верховны;
И Генрих наш был прав, мятежники — виновны.
Что предков поминать? они давно мертвы.
Но день Фонтенуа ужель забыли вы?
Размерно и легко английские колонны
Сквозь нашу армию шагали, непреклонны.
Беспечный баловень! от бури той вдали
С когортой остряков сраженья вы вели.
Влюблялись вы в Госсэн и, обожатель сотый,
С моноклем шли в театр, чтоб с вящею заботой
О жестах, голосах судить и так и сяк.
Что делали бы вы и толпы всех писак?
Чтоб делал весь Париж, когда б Людовик, с
боем
Заняв Калоннский мост, не стал в тот день героем?
Не кровью ли платил отважнейший Грамон,
И мудрый наш Лютто, и молодой Краон —
За то, чтоб остряков гогочущая стая
Слагала песенки, по улицам шагая,
За то, чтоб вы могли, храня беспечный вид,
Освистывать «Сирот», «Мероп», «Семирамид»?
Порой сверкает меч в руках у Аполлона.
Везде борьба: в суде, во храме, возле трона.
Клеман и Сабатье на жалких чердаках
Воюют с разумом, плодя бумажный прах.

Так разве не к лицу мне, воину, защита
Того, чем Франция по праву знаменита:
Того, что гражданам способно дать покой? —
Смолк автор «Тактики», доклад закончив свой.
Молчал и я, всю прыть свою утратив разом:
Над миром властвовал прямой и твердый разум.
Но, верьте мне, в душе желанье все росло:
Чтоб сгинуло навек героев ремесло,
Чтоб справедливость — свет не знал тому при-
мера —
Свела на землю мир аббата де Сен-Пьера.

РАЗГОВОР ПЕГАСА СО СТАРИКОМ

П е г а с

Что делаешь в полях, близ нищенской лачуги?

С т а р и к

Природе отдаю полезные досуги;
Я пустошь оросил; я сею, строю дом.

П е г а с

Как все твои пять чувств притуплены трудом!
Как охладел твой ум, как вкусы огрубели!
Парнасского коня ты не узнал ужели?
Сядь на меня.

С т а р и к

Нет сил. Маэстро Аполлон
Был некогда, как я, в ремесла погружен.

П е г а с

Да; но, наскуча жить в ничтожном мире этом,
Небесные поля он вновь засеял светом;
Он лиру снова взял; стихи запел опять;
Концертом вещих муз вновь стал он управлять.
Бери во всем пример с языческого бога —
И к храму Памяти откроется дорога;
И, вверен средь толпы водительной звезде,
Смирненно следуя за мастером Вадэ,
В обитель Гения ты вступишь не впервые.

С т а р и к

Возвышенно о том мечтал я в дни былые;
Позор мне принесла пустая страсть моя.
Ты знаешь, милый друг, как был там принят я —
За подвиги свои осмеянный постыдно!
Мне места не нашлось: я опоздал, как видно.
Всех избранных своих давно венчал Парнас;
Мы нежимся; отцы все сделали за нас.
Коль розам пламенным, коль ландышам веселым
Случилось поутру отдать весь мед свой пчелам, —
Напрасно вечером шмели к цветам летят:
Привета пусть не ждут, — растрочен аромат.

Покончено навек с конюшнями Пегаса:
Вертепом Зависти стал светлый храм Парнаса.
Один лишь ученик сродни Гомеру был, —
Сто подражателей нашел себе Зоил.
Добрался я с трудом до высоты двуглавой,
Где рифмой древний метр был заменен со славой,
Где Мельпомены речь, пространна и шумна,
Поет любовь царей в былые времена.
Спеша полной вкусить чудеснейшего хмеля,
Я скрылся в уголку у самых ног Корнея.
Увы! Мартин Фрерон, ревнив и быстроок,
Из моего угла тотчас меня извлек.
Сим праведным судьей с высот парнасских сброшен,
Без денег, без друзей, никем не зван, не прошен,
Я думал: новичку удастся, может быть,
Собратьев-авторов хоть лестью умягчить.
Напрасно; в их толпе, сочувственной доньне,
Участья братского нет больше и в помине.
Опасно их число; их речи громовой
Готов я предпочесть обыденный покой.

Услышишь от меня еще одно признание.
Нам почта на земле смягчает расставанье:
Тоскующий отец, влюбленный, друг, жених
Спешат вручить гонцам святыню дум своих.
Привычен я писать — и кстати, и некстати.
Я глупость напишу, тотчас она — в печати.
К тому ж еще тайком с моих воюют стен
То братец мой Вадэ, то дядюшка Базен.
Кандиду я в шкафу забвение готовлю, —
«Всё благо!» — он кричит, спеша в книготорговлю.
Ты, Жанна, ты, Агнес, ты, лакомка Бонно, —

Из Базеля в Бреславль бежать вам суждено.
Монахов четверо, исполненных заботы,
Едва ль моим томам подвесьть могли бы счеты.
Ввезешь ли ты меня, — поклада не легка! —
С подобным багажом в грядущие века?
Довольно! Не хочу я возвращаться к Музам;
Бессмертным был я мил, горжусь былым союзом,
Но радости былой в нем больше не найду;
Лети же на Парнас, — останусь я в саду.

П е г а с

Твой ропот слишком зол, слова — несправед-
ливы.
Знай, баловень искусств: богини вечно живы.
Чем недоволен ты? признайся небесам!
Иль пятьдесят людей, — умнейших, чем ты сам, —
Воздвигнуть статую твою не пожелали,
Хоть столь большую честь ты заслужил едва ли?
Назло твоим врагам, наездник мой Пигаль
Тебя изобразил смотрящим гордо вдаль:
Твой худосочный лик смеется над веками, —
В нем дух античности усмотрен знатоками.
Ликуй же! радуйся судьбе своей благой!
Поверженных глупцов растаптывай ногой!

С т а р и к

Все это старика прельщает очень мало!
Злым смолоду — в летах беззлобие нам пристало.
Мудрец, — уединен, всерадостен и тих, —
Собратьев не ища, хоть не чуждаясь их,
Живет вдали от всех, влеченьем не тревожим
К поэтам, королям, красавицам, вельможам.
Среди своих полей, от бури защищен,
Блаженствует мудрец, — стихов не пишет он.
Аббат Террэ — его ученость всем знакома —
Простого пахаря, простого эконома
Открыто предпочел писаньям нашим всем.
Знай: богом стал моим отныне — Триптолем!
Труд земледельца — знай — полезней для
народа,
Чем песнь Вергилия, чем лира Гезиода.
Наука и нужда нас вразумили, — знай, —
Что важно не воспеть, а снять свой урожай.

И впрямь тебя в свой плуг я предпочел бы ныне,
Чем на тебе скакать по облачной пустыне.

Пегас

Неблагодарнейший! бесчувствен твой язык:
Так ненавидит страсть исчерпанный старик
И, мудрствуя, спешит добраться до могилы.
Ты говоришь: нет сил. Ну что ж: пиши без силы!
Прославленный Корнель был белым стариком,
Когда скакал на мне с Атиллою вдвоем;
Век славить я готов поход его последний!
И я не допущу, чтоб ради низких бредней
Высокая судьба свой путь оборвала.
Как! музам изменить — во имя ремесла!
Иль жалкий селянин, копя свой тяжкий опыт,
Что им, без знания, в труде суровом добыт,
Не лучший урожай сумеет снять с полей,
Чем Мирабо со всей ученостью своей?
Работников найми и, не скупясь на плату,
Дай плотнику топор, поденщику — лопату;
Для пажитей моих священных ты рожден!
Попробуй петь, как Поп, и мыслить, как Платон,
Иль Эпикура нам перелагай ты в оды,
Иль нас, в стихах, знакомь с системою природы.
Меня в последний раз ты оседлаешь?

Старик

Нет!

Довольно мне систем, — вот мой тебе ответ.
Философов не чту, с поэтами враждую.
Гонясь за истиной, я жизнь сгубил впустую.
Один, без факела, скитался я среди тьмы.
Увы! ступая в гроб, ясней ли видим мы?
И чем поможет нам дар нашей мысли пленной, —
Случайный огонек, неверный и затменный?
Я мыслил — чересчур. И те, кто, в добрый час,
В колодце истину упрятали от нас,
Мстят смертному, коль он ее нашел неволью.
Молчу. Довольно знать — и говорить довольно.

Пегас

Что ж, прозябай — и сгинь! в Париж я полечу:
Там есть еще умы Пегасу по плечу.

Их племя с божеством соперничать готово:
Все воля их создаст, все сотворит их слово.
Твоих, лукавый Пинд, рифмующих детей
Отныне я презрел; прозаики — верней:
Пусть станут для земли возвышенным примером!

С т а р и к

Я остаюсь, — прощай! Лети к своим химерам!

Э К С П Р О М Т

*Мадемуазель де Шаролау, изображенной
в одежде францисканца*

Ангелоподобный брат!
Нам открой по крайней мере:
Как шнурок, с Франциска снят,
Служит поясом Венере?

Э П И Г Р А М М А

Французы, грабя наудачу,
Не чтити итальянских прав:
Неаполь с Генуей забрав,
Схватили сифилис в придачу.
Но их Неаполь выгнал вон,
Из Генуи они удрали.
Одна утеха в их печали:
Навек им сифилис вручен!

Б О Л Т У Н У

Пиши осмысленным пером;
Кой-что порой и зачеркни!
Есть авторы: строчат, не думая, они, —
Как болтуны болтают — ни о чем.

ЭПИГРАММА

Слышали вы про Иеремию?
Век плакал он, сгибая выю:
Пророк, он знал, что предызбран
Переводить его — Ле Фран!

ЭПИГРАММА

музе святого Михаила

Болеет наш государь: иссякла сила,
Бессонница была ему постыла.
Снотворных средств он принял без числа.
Руа в Париже муза осенила:
Король прочел — король заснул. Хвала
Одной из муз святого Михаила!

Г-ЖЕ ДЮ БОКАЖ,

*приславшей автору стихотворное
поздравление по поводу его имени*

В стихах о Франсуа святом
Святую узнаю с досадой,
Что встретила с мной тайком
За буколической оградой.
Мой сельский домик — пусть он мал —
Был посещен святой Венерой:
Я в Дю Бокаж ее узнал,
Горя благочестивой верой.
Амур доньше — сам не свой,
Когда ему я повествую,
Что в вас увидел — лишь святую.
Увы! несчастный я святой!

Г-ЖЕ ЛЮЛЛЕН

*при посылке ей букета 9 января 1739 года —
в день, когда ей исполнилось сто лет*

Вам под ноги, в сто лет, цветы мы стелем,
А наши деды — ум стелили свой;
Когда б вы обвенчались с Фонтенелем,
Чтоб долго жить — его вдовой!

Г-НУ М.

*Русскому офицеру, воевавшему против турок,
по поводу подарка, сделанного ему
русской императрицей*

Амазонкой удостоен
Ты награды боевой;
Ее дарит Венера, воин, —
Пускай Палладиной рукой!





М Е М У А Р Ы





**«ПАМЯТНЫЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ Г-НА ДЕ ВОЛЬТЕРА,
СОЧИНЕННЫЕ ИМ САМИМ»**

*(Mémoires pour servir à la vie de m-r de Voltaire
écrits par lui-même)*

Я был утомлен парижской жизнью, праздною и шумливою, толпою изнеженных щеголей, плохими книгами, напечатанными с королевского одобрения и дозволения, кознями писателей, низостями и грабительством негодяев, бесчестивших литературу. В 1733 году встретился я с молодою особою, которая, разделяя более или менее мой образ мыслей, решила уехать на несколько лет в деревню, чтобы вдали от светской суеты развить свой ум: то была маркиза де Шателэ, из всех французских женщин наиболее предрасположенная ко всем наукам.

По желанию отца, барона де Бретейля, она училась латинскому языку, которым владела, как г-жа Дасье*; она помнила наизусть все лучшие вещи Горация, Вергилия и Лукреция; все философские произведения Цицерона были хорошо ей знакомы. Ее влекло главным образом к математике и метафизике. Редко приходилось встречать такую верность суждения в сочетании с таким вкусом и с такою пылкою страстью к приобретению знаний; это не мешало ей любить свет и все развлечения, свойственные ее возрасту и полу. Тем

не менее она бросила все и уединилась в ветхом замке на границе Шампани и Лотарингии, в местности весьма бесплодной и весьма неприглядной. Она украсила замок, окружив его довольно приятными садами. Я выстроил галлерею и оборудовал в ней отличный физический кабинет. У нас была обширная библиотека. К нам навевались ученые, чтобы пофилософствовать в нашем скиту. Целых два года прогостил у нас знаменитый Кёниг, умерший в звании профессора Гаагского университета и библиотекаря принцессы Оранской. Мопертюи* привез с собою Жана Бернулли; и с той поры Мопертюи, завистливейший из людей, избрал меня предметом своей зависти, — страсть, к которой он всегда был весьма привержен.

Я стал преподавать г-же де Шателэ английский язык, в знании которого она три месяца спустя сравнялась со мною, читая с одинаковой легкостью Локка, Ньютона и Попа. Так же быстро выучилась она и итальянскому языку; вместе прочитали мы всего Тассо и всего Ариосто. Таким образом, когда Альгаротти приехал в Сирэ, где закончил он свой «*Neutonianismo per le dame*», — его язык был ей уже настолько знаком, что она дала ему ряд очень дельных советов, которыми он и воспользовался. Альгаротти, сын богатейшего купца, был очень любезный венецианец; он изъездил всю Европу, учился всему понемногу и умел придать всему какую-то привлекательность.

В нашем воспитательном уединении мы помышляли только о расширении наших знаний, не справляясь о том, что творится во внешнем мире. В течение долгого времени наше внимание привлекали главным образом Лейбниц и Ньютон. Г-жа де Шателэ на первых порах прилежно занялась Лейбницем и изложила один отдел его системы в прекрасно написанной книге под заглавием «*Основы физики*». Она не стремилась оживить его философию посторонними прикрасами: ее мужественному и прямому нраву было чуждо всякое жеманство. Ясность, точность и изящество отличали ее слог. Если можно вообще придать идеям Лейбница хоть некоторое правдоподобие, то искать его следует именно в этой книге. Однако в наши дни перестают уже утруждать себя разбором мыслей, высказанных некогда Лейбницем.

Рожденная для поисков истины, она забросила

вскоре все философские системы и принялась усердно изучать открытия великого Ньютона. Она перевела на французский язык всю его книгу о началах математики, а затем, укрепив свои познания, добавила к этому труду, понятному столь немногим, алгебраический комментарий, тоже, впрочем, мало доступный среднему читателю. Г-н Клеро, один из лучших наших математиков, подверг его тщательной правке. Уже приступили к печатанию книги, однако не довели его до конца, что не делает чести нашему веку.

Мы наслаждались в Сирэ всеми искусствами. Я сочинил там «Альзиру», «Меропу», «Блудного сына», «Магомета». Я работал для нее над «Опытом всеобщей истории» от Карла Великого до наших дней; я избрал время Карла Великого, так как на нем остановился Боссюэ, а я не дерзал касаться того, что было уже разработано великим человеком. Между тем г-жу де Шателэ не удовлетворяла «Всемирная история» этого прелата. Она не находила в ней ничего, кроме красноречия; ее возмущало, что почти единственным предметом внимания Боссюэ было такое презренное племя, как евреи.

После шести отшельнических лет, проведенных в кругу наук и искусств, нам пришлось отправиться в Брюссель, где семейство де Шателэ давно уже вело крупную тяжбу с семейством Гонсбрук. Мне посчастливилось встретиться там с внуком столь же знаменитого, сколь и злополучного правителя Голландии де Витта*, занимавшим должность старшего председателя счетной палаты. У него была одна из лучших в Европе библиотек, оказавшая мне большие услуги при работе над «Всеобщей историей»; в Брюсселе же выпала на мою долю и другая удача, еще более редкостная и еще более мне приятная: я добился примирения двух тяжущихся сторон, которые в продолжение шестидесяти лет разорялись на судебные издержки. Маркиз де Шателэ получил благодаря мне двести сорок тысяч ливров наличными деньгами, на чем дело и кончилось.

Я был еще в Брюсселе, когда в 1740 году умер в Берлине толстый прусский король Фридрих-Вильгельм, самый нетерпеливый из всех королей, самый скупой и самый богатый наличными деньгами. Его сын, который приобрел такую своеобразную известность,

находился со мной уже более четырех лет в довольно частых сношениях. Никогда еще, может быть, не бывало на свете отца и сына, между которыми было бы так мало сходства, как между этими двумя государями. Отец был настоящий вандал, в течение всего своего царствования только и помышлявший о том, как бы накопить побольше денег и как бы поменьше расходоваться на содержание лучшей в Европе армии. Ни у кого не бывало подданных, более бедных, чем у него, и никогда не бывало короля, более богатого, чем он. Он скупил за бесценок большую часть земель у своего дворянства, которое очень скоро проело все вырученные от продажи небольшие деньги, причем половина этих денег возвратилась опять в королевские сундуки в порядке уплаты налогов на предметы потребления. Все королевские земли были розданы откупщикам, которые являлись одновременно и сборщиками податей и судьями, так что, когда какой-нибудь земледелец не уплачивал откупщику подати в положенный срок, откупщик наряжался в судейское одеяние и приговаривал правонарушителя к уплате подати в двойном размере. Надо, впрочем, заметить, что если сам откупщик не расплачивался с королем к последнему числу месяца, то и он облагался удвоенной суммой в первый же день следующего месяца.

Убьет ли человек зайца, обрубит ли ветки у дерева где-нибудь по соседству с королевским поместьем, совершит ли какой иной проступок, — за все приходилось платить пеню. Родит ли девушка ребенка, — и тут матери ли, отцу ли, другой ли родне надо было платить за содеянное какую-то сумму королю.

Баронесса фон Книпгаузен, самая богатая в Берлине вдова, имевшая семь-восемь тысяч ливров годового дохода, обвинялась в том, что на втором году вдовства произвела на свет нового королевского подданного; король написал ей собственноручно, чтобы для спасения своей чести она немедленно внесла в его казну тридцать тысяч ливров; ей пришлось взять их взаймы, и это разорило ее вконец.

Посланником его в Гааге был некий Луисциус; нет сомнения, что никто из представителей коронованных особ не оплачивался так скудно, как он; бедняге, чтобы отопить свой дом, пришлось срубить

несколько деревьев в Горс-Лардикском саду, который принадлежал в ту пору прусскому королевскому дому; вскоре от его короля и повелителя пришла депеша, на основании коей с него удерживался годовой оклад жалованья. Луисциус в порыве отчаяния перерезал себе горло единственной имевшейся у него бритвой; старый слуга оказал ему первую помощь и, к несчастью, спас ему жизнь. Как-то впоследствии в Гааге я повстречался с его превосходительством и подал ему милостыню у ворот дворца, именуемого «Старым Двором», дворца, принадлежавшего прусскому королю, где несчастный посланник прожил когда-то двенадцать лет.

Надо сознаться, что по сравнению с деспотией Фридриха-Вильгельма даже Турция покажется республикой. Вот такими-то способами и удалось ему за двадцать восемь лет царствования скопить в подвалах своего берлинского дворца около двадцати миллионов экю, которые упрятаны были в бочках, окованных железными обручами. Для своего удовольствия он оставил весь приемный зал дворца громоздкими предметами из литого серебра, которые по качеству выделки были не лучше, чем по качеству материала. А своей жене-королеве он преподнес по дарственной описи кабинет, где вся утварь — вплоть до рукояток каминных лопаточек и щипцов, вплоть до кофейников — была из золота.

Государь выходил из дворца пешком, в кургузом кафтане из синего сукна с медными пуговками, доходившем ему только до бедер; а когда покупался новый кафтан, он приказывал перешить на него старые пуговицы. В таком наряде, вооружившись толстой сержантской дубинкой, производил он каждый день смотр своему полку великанов. Этот полк был самой любимой его забавой и самой крупной расходной статьей. Первая шеренга его роты состояла из людей не ниже семи футов: их закупали для него во всех концах Европы и Азии. Кое-кого из них я видел еще после его смерти. Его сын, король, ценя в людях красоту, а не рост, приставил их к своей жене-королеве в качестве гайдуков. Вспоминаю, как сопровождали они ветхую парадную карету, высланную за маркизом де Бово, который прибыл в ноябре 1740 года, чтобы приветствовать нового короля. Покойный

король Фридрих-Вильгельм, распродав в свое время всю великолепную движимость своего отца, так и не сумел отделаться от этого огромного рыдвана с облезлой позолотой. Гайдуки, шествуя по бокам, чтобы подпереть его, в случае если он повалится, держались за руки, протянув их над крышей кареты.

После смотра Фридрих-Вильгельм прогуливался по городу; все опометью бежали от него прочь; если попадалась ему навстречу женщина, он спрашивал, зачем она теряет попусту время, шатаясь по улицам?

— Ступай-ка домой, голодранка: порядочной женщине надо дома сидеть при своем хозяйстве.

И сопровождал это замечание либо оплеухой, либо пинком ноги в живот, либо ударами дубинки. Точно так же обходился он и с евангелическими пасторами, проявлявшими желание поглядеть на смотр.

Можно представить себе, как изумляло и сердило этого вандала, что сын у него блещет остроумием, изяществом, учтивостью и желанием нравиться, что он стремится усовершенствовать свое образование, занимается музыкой и сочиняет стихи. Если в руках у наследника престола оказывалась книга, отец швырял ее в огонь, если он заставал принца за игрой на флейте, то ломал флейту, а иной раз поступал с его королевским высокочеством точно так же, как с дамами или с являвшимися на парад проповедниками.

В одно прекрасное утро, — это было в 1730 году, — принц, утомленный всеми этими знаками отеческого внимания, решил бежать, не зная еще хорошенько куда — в Англию ли, или во Францию. Отцовская бережливость лишала его возможности совершить это путешествие так, как мог бы это сделать сын какого-нибудь откупщика или английского купца. Он занял несколько сот дукатов.

Сопровождать его должны были два очень милых молодых человека — Кат и Кейт. Кат был единственный сын некоего храброго генерала. Кейт приходился зятем той самой баронессе фон Книпгаузен, которой деторождение обошлось в десять тысяч экю. День и час были уже назначены, но отцу стало известно всё; принц и оба его спутника были взяты под стражу, все трое сразу. Королю показалось сперва, что в заговоре участвует и его дочь, принцесса Вильгельмина, которая

впоследствии вышла замуж за маркграфа Байрейтского, а так как суд у него был скорый, то он тут же пихнул ее ногой в открытое окошко, находившееся на уровне пола. Королева-мать, присутствовавшая при этом исполнении судебного решения, едва успела удержать Вильгельмину от скачка, во-время ухватив ее за юбки. Следствием всего этого явился у принцессы шрам под левой грудью, который сохранился на всю жизнь, как знак отеческих чувств; и я удостоился чести видеть его своими глазами.

В Потсдаме проживала дочь школьного учителя из города Бранденбурга, являвшаяся чем-то вроде любовницы принца. Она довольно плохо играла на клавишине, а наследный принц вторил ей на флейте. Ему чудилось, что он в нее влюблен, но это было не так: влечение к женскому полу не было его призванием. Между тем — поскольку он прикидывался влюбленным — отец распорядился, чтобы на глазах у сына палач ударами розог прогнал эту барышню вокруг всей потсдамской площади.

Угостив его таким зрелищем, он перевел его в Кюстринскую цитадель, расположенную посреди болота. Здесь, в комнате, похожей на карцер, принц провел в заключении шесть месяцев без всякой прислуги, а по истечении полугода ему дали в услужение солдата. Этот солдат, молодой, красивый и статный, а к тому же еще игравший на флейте, развлекал узника всякими способами. Благодаря такому обилию прекрасных качеств он достиг впоследствии высокого положения. Мне довелось увидеть его совмещающим должности камердинера и первого министра, причем он был наделен в полной мере всей той наглостью, какую только способны внушить оба эти звания.

Прошло несколько недель со времени заточения принца в Кюстринский замок, когда в комнату к нему вошел однажды какой-то старый офицер с четырьмя гренадерами и, войдя, расплакался. Фридрих не сомневался, что пришли рубить ему голову. Однако офицер, продолжая плакать, приказал гренадерам подвести принца к окну и крепко держать его за голову, пока на плахе, установленной прямо под окошком, созершалась казнь его друга Кату. Он протянул руку Кату и упал в обморок. Отец присутствовал при этом зрелище,

точно так же как присутствовал ранее и при порке девицы.

Что касается другого наперсника, Кейта, то он бежал в Голландию. Король послал за ним в погоню солдат; они опоздали всего на одну минуту: он успел отплыть в Португалию, где и проживал до самой смерти милостивого Фридриха-Вильгельма.

Король на этом не успокоился. Он намерен был обезглавить сына. Рассчитывал он так, — что раз у него в семье есть еще три молодца, из которых ни один не сочиняет стихов, то для величия Пруссии хватит и этих трех. Уже приняты были меры, чтобы наследного принца приговорить к смерти, подобно тому как приговорен был в свое время царевич, старший сын царя Петра I.

В законах божеских и человеческих нет, повидимому, прямых указаний на то, что молодому человеку, если он проявит желание путешествовать, следует отрубать за это голову. Но король сумел бы приискать в Берлине судей, таких же искусных, как русские судьи. На худой конец можно было обойтись и одними отеческими правами. Император Карл VI, полагая, что наследный принц, как принц империи, может быть приговорен к смерти не иначе, как на имперском сейме, направил графа фон Зекендорфа к отцу его с наказом предостеречь короля самым внушительным образом. Граф фон Зекендорф, — с которым я повстречался впоследствии в Саксонии, где он доживал свой век, — клялся мне, что лишь с великим трудом добился он, чтобы принцу не отсекали головы. Это тот самый Зекендорф, который затем командовал баварской армией и которому принц, став прусским королем, дал такую ужасную характеристику в жизнеописании своего отца, приложенном к трем сотням экземпляров «Бранденбургских воспоминаний»¹. Вот и услуживай после этого принцам, вот и хлопочи, чтобы им не рубили голов!

Полтора года спустя, благодаря настояниям императора и слезам прусской королевы, наследный принц был выпущен на свободу и с новым, небывалым еще рвением принялся за стихосложение и музыку. Он читал Лейбница и даже Вольфа*, которого называл собирателем чужого хлама, и взялся изучать все науки зараз.

¹ Я преподнес пфальцграфу Рейнскому экземпляр этой книги, подаренный мне прусским королем.

Так как король мало привлекал его к участию в делах и так как, собственно говоря, и дел-то никаких не было в этой стране, где все сводилось к одним смотрам, то принц посвятил свои досуги переписке с французскими писателями, пользовавшимися некоторой известностью. Основное бремя легло на меня. Это были письма в стихах; это были трактаты по метафизике, истории и политике. Он величал меня богоподобным человеком; я величал его Соломоном. Эпитеты не стоили нам ничего. В собрании моих сочинений напечатали некоторое количество этих пошлостей; счастье мое, что не напечатали и тридцатой их доли. Я взял на себя смелость послать ему в подарок красивый письменный прибор работы Мартена; он был так добр, что преподнес мне несколько безделушек из янтаря. И остроумцы из парижских кафе, к ужасу своему, вообразили, что я разбогател.

Некий молодой курляндец, по фамилии Кайзерлинг, который тоже пописывал с грехом пополам французские стихи и в виду этого состоял в ту пору его любимцем, был отправлен нарочным с границ Померании к нам в Сирэ. В его честь мы задали пир; я устроил прекрасную иллюминацию, причем огнями были написаны вензель и полное имя наследного принца с таким девизом: «Надежда рода человеческого». Что касается меня, то, будь у меня охота питать какие-либо личные надежды, я имел бы на то полное право, ибо письма ко мне начинались с обращения: «Мой дорогой друг», а в депешах часто заходила речь о тех осязательных знаках приязни, какие должны были выпасть на мою долю после его восшествия на престол. Он и взошел, наконец, на престол, в то время когда я находился в Брюсселе. Начал он с того, что отправил во Францию в качестве чрезвычайного посла некоего безрукого человека, по имени Камá, в прошлом беглого француза, а теперь офицера его армии. Он говорил, что так как французским резидентом в Берлине состоит человек, у которого на одной руке нехватает кисти, то, дабы расквитаться с французским королем за всё, чем он ему обязан, он направляет к нему тоже однорукого посла. Камá, прибыв на постоянный двор, поспешил послать за мной молодого человека, взятого им в пажи, с извещением, что сам он ввиду чрезмерной усталости явиться ко мне не может, а просит меня тотчас же притти к нему, так как он привез мне огром-

нейший и великолепнейший подарок от короля, его повелителя.

— Идите скорее, — сказала г-жа де Шателэ, — вам шлют, наверное, алмазы из королевского венца.

Я помчался к послу, застал его, и оказалось, что в задке кареты помещался у него не дорожный баул, а бочка вина из погребов покойного короля, которую ныне царствующий король приказывал мне выпить. Я стал рассыпаться в выражениях изумления и признательности за эти жидкие символы высочайшего благоволения, заменившие собою те твердые символы, которые обещаны были мне в свое время его величеством; а бочку мы распили пополам с Камá.

Мой Соломон был в то время в Страсбурге. При объезде своих длинных и узких владений, тянувшихся от Гельдерна до Балтийского моря, он вздумал осмотреть инкогнито границу Франции и ее войска.

Это удовольствие он доставил себе в Страсбурге, назвавшись богатым богемским магнатом, графом дю Фур. Вымышленное имя присвоил себе и брат его, наследный принц, который ему сопутствовал; один Альгаротти, успевший уже зачислиться в его свиту, был без маски.

Король направил мне в Брюссель отчет о своей поездке, полупрозаический, полустихотворный, близкий по манере тому, как писали Башомон и Шапель*, но близкий, разумеется, лишь в такой степени, какая может быть доступна прусскому королю. Вот несколько выдержек из этого письма:

«После ужасных дорог мы набрали на жильё, еще более ужасное:

Хозяин, жадностью томим,
Почуяв, как мы есть хотим,
За горе-трапезой печальной,
В своей лачуге inferнальной,
Отраву нам давал — и грабил нас притом.
Где век, который мы Лукулловым зовем?

Ужасные дороги, плохое питание, плохое питье — это было еще далеко не все: мы претерпели и много иных злоключений; наш поезд имел, по всем вероятностям, весьма странный вид, ибо, где мы ни проезжали, всюду толковали о нас по-разному:

Одни в нас видели царей,
Другие — модных ловкачей,

А третьи — рыцарей науки.
Сбирались люди иногда,
На нас глазели без стыда,
От лени отупев и обнаглев от скуки.

Так как начальник Кельской почтовой станции уверил нас, что без паспорта нет спасения, и так как мы понимали, что силою обстоятельств мы поставлены в безусловную необходимость либо своими руками смастерить себе паспорта, либо вовсе не попасть в Страсбург, — то нам пришлось решиться на первое, причем прусский государственный герб, вырезанный на моей печатке, сослужил нам чудесную службу.

Мы прибыли в Страсбург; таможенный корсар и досмотрщик остались, видимо, удовлетворены нашими бумагами:

Злодеи нас подстерегали;
Неспешно паспорта читали,
Следя меж тем за кошельками.
Металл, всегда ценимый нами,
Металл, которым Зевс бряцал,
Когда Данаю целовал,
Чьей властью Цезарь диктовал
Свои законы всей вселенной,
Металл, сильнееший из богов, —
Ворота в Страсбург вождеденный
Он нам открыл без дальних слов.

Из этого письма видно, что к тому времени король не успел еще сделаться лучшим нашим поэтом и что его философия не требовала равнодушного отношения к металлу, которым так основательно запасся его отец.

Из Страсбурга он направился осматривать свои нижнегерманские владения и дал знать, что навестит меня инкогнито в Брюсселе. Мы сняли для него отличный дом; но, заглянув в свой небольшой замок на Маасе, в двух льё от Клева, он прихворнул и написал мне, что надеется увидеть меня у себя. И вот я пустился в путь, чтобы засвидетельствовать ему свое глубокое почтение. Мопертюи, у которого были уже в то время свои особые виды и которого снедало яростное желание стать президентом какой-нибудь академии, явился туда по собственному почину и проживал вместе с Альгаротти и Кайзерлингом на дворцовом чердаке. У ворот двора стоял солдат, и этим ограничивалась вся охрана. Тайный советник Рамбонэ, королевский министр, прохаживался по двору, дуя себе

в кулак. Широкие полотняные манжеты были у него грязные, шляпа — дырявая; старый судейский парик с одного бока уползал в карман, а с другого еле прикрывал плечо. Мне сказали, что этому человеку поручено важное государственное дело, и это было верно.

Меня провели в покои его величества. Там не было ничего, кроме голых стен. В одной из комнат при слабом мерцании свечи я различил убогую кровать шириной в аршин и на ней небольшого человечка, укутанного в синий грубошерстный халат: это был король, которого то кидало в пот, то трясло под дрянным одеялишком от лихорадки. Я раскланялся и начал знакомство с того, что стал щупать ему пульс, словно я был его лейб-медиком. Когда приступ лихорадки миновал, он оделся и сел за стол. Альгаротти, Кайзерлинг, Мопертюи, министр, представлявший особу короля в генеральных штатах, и я — все мы были приглашены к ужину, в продолжение которого были исчерпаны до конца вопросы о бессмертии души, о свободе воли и о Платоновых андрогинах.

Тем временем советник Рамбонэ оседлал наемную лошадь и, пробыв в пути всю ночь, к утру оказался у ворот Льежа, где, действуя от имени короля, своего повелителя, принялся строчить протокол, в то время как двутысячный отряд, высланный из Везеля, принуждал город Льеж к уплате контрибуции. Этот блестящий поход был предпринят под предлогом отстаивания каких-то королевских прав на одно из городских предместий. Король поручил мне даже составить по этому случаю манифест, каковой, худо ли, хорошо ли, я и сочинил, в убеждении, что король, с которым я ужинал и который называл меня своим другом, не может быть неправ. Дело вскоре уладилось при посредстве миллиона, выплаченного по требованию короля полновесными дукатами, чем и покрыты были те дорожные расходы по поездке в Страсбург, на которые он жаловался в своем поэтическом письме.

Я не переставал питать к нему привязанность, так как он был остроумен, мил, а кроме всего прочего, это был король, — в чем мы, по слабости человеческой, всегда находим нечто для нас соблазнительное. Обычно нашему брату, писателям, приходится льстить королям; этот же король сам превозносил меня, всего, с головы до пяток, в то время как в Париже аббат Дефонтен* в

сообществе со всякой другой литературной голью подвергал меня поношению не реже раза в неделю.

Прусский король незадолго до смерти своего отца задумал написать возражения против основных положений Макиавелли. Если бы Макиавелли обучал какого-нибудь принца, то в первую же очередь посоветовал бы ему выступить с возражениями против своего учителя. Однако до таких тонкостей наследный принц не добирался. Писал он от чистого сердца, еще в те времена, когда не был государем и когда пример отца не внушал ему любви к самовластью. Он от всей души восхвалял умеренность, справедливость и, в порыве восторженных чувств, рассматривал всякий захват как преступление. Свою рукопись он прислал мне в Брюссель с просьбой выправить ее и сдать в печать. Я подарил ее некоему голландскому книгоиздателю Ван-Дюрену, самому отъявленному из всех мошенников этой породы. Напоследок меня стала мучить совесть, что я печатаю «Анти-Макиавелли» в то самое время, когда прусский король, имея у себя в сундуках сто миллионов, отбирает руками советника Рамбонэ еще один миллион у льежских бедняков. Я предвидел, что мой Соломон на этом не остановится. От отца он получил в наследство шестьдесят шесть тысяч четыреста человек отличного войска в полном боевом составе; он увеличивал его численность и намеревался, повидимому, при первом же случае пустить его в ход.

Я объяснил ему, что неудобно, пожалуй, печатать его книгу как раз в такое время, когда ему могут поставить в упрек нарушение содержащихся в ней правил. Он разрешил задержать ее выпуск. Я отправился в Голландию с единственной целью оказать ему эту небольшую услугу, но издатель запросил столько денег, что король, который в глубине души был непрочь выступить в печати, решил, что лучше выступить даром, чем платить деньги за отказ от этого выступления.

Пока я занимался этим делом в Голландии, император Карл VI, расстроив себе желудок грибами, умер в октябре 1740 года от вызванного этим расстройством апоплектического удара; блюдо грибов изменило судьбу Европы. Вскоре оказалось, что король прусский Фридрих II относится к Макиавелли не так враждебно, как относился к нему, по всей видимости, прусский наследный принц. Хоть в голове у него уже носилась мысль о наше-

ствии на Силезию, тем не менее он пригласил меня в свой придворный штат.

Я уже и раньше толковал ему, что обосноваться у него не могу, что предпочтение должно быть отдано дружбе, а не честолюбию, что я привязан к г-же де Шателэ и что, если уж выбирать между двумя философами, то я остановлю свой выбор на даме, а не на короле.

Он одобрил независимость моих суждений, хоть женщин и не любил. В октябре я поехал к нему на поклон. Кардинал де Флэри* прислал мне длинное письмо, полное похвал по адресу «Анти-Макиавелли» и его автора; я не преминул показать его королю. Он собирал уже войска, но никто из его генералов и министров еще не догадывался, что намерен он предпринять. Маркиз де Бово, посланный, чтобы приветствовать его по случаю восшествия на престол, полагал, что он выступит против Франции в пользу дочери Карла VI Марии-Терезии, королевы венгерской и богемской, что он будет содействовать избранию в императоры супруга этой королевы Франца Лотарингского, великого герцога Тосканского, и что это может сулить ему большие выгоды.

У меня, больше чем у всякого другого, были основания думать, что он примет именно такое решение, так как за три месяца до того он прислал мне политическую статью своего сочинения, где Франция рассматривалась как естественный враг и разорительница Германии. Но у него была врожденная склонность делать всегда обратное тому, что он говорил и писал, и происходило это не от притворства, а оттого, что, когда он писал и говорил, в нем работало одно вдохновение, а когда переходил затем к действиям, начинало работать другое.

15 декабря, болея перемежающейся лихорадкой, он отправился покорять Силезию, куда повел за собою тридцать тысяч хорошо снаряженных и хорошо вышколенных бойцов; садясь на коня, он сказал маркизу де Бово:

— Я играю вам наруку; если тузы окажутся у меня, мы поделим выигрыш.

Он написал впоследствии историю этого завоевания; он дал мне прочесть ее всю от начала до конца. Вот один из начальных отрывков этой любопытной летописи; я переписал его с особенной охотой, как единственный в своем роде памятник:

«К этим соображениям следует еще добавить готовность войск к немедленным боевым действиям, большой запас денежных сбережений и живость моего нрава: таковы были основания, по которым я объявил войну Марии-Терезии, королеве венгерской и богемской». А несколькими строками ниже были такие слова: «Честолюбие, расчет, желание вызвать толки о себе одержали верх; и война была решена».

С тех пор, что появились на свете завоеватели и пылкие умы, стремившиеся стать таковыми, он первый, по моему, кто сумел так верно оценить самого себя. Никто другой, может быть, не бывал так восприимчив к словам рассудка и так послушен велениям страстей. Этой смесью философии с разнузданностью воображения всегда определялся его нрав.

Жаль, что, занимаясь впоследствии правкой всех его произведений, я заставил его выкинуть этот отрывок: такое редкое признание следовало сохранить для потомства, чтобы по нему видно было, на чем основаны почти все войны. Мы, писатели, поэты, историки, присяжные витии, мы прославляем эти прекрасные подвиги: а вот вам король, совершающий их и их осуждающий.

Его войска были уже в Силезии, когда его резидент в Вене, барон фон Готтер, обратился к Марии-Терезии с неучтывым предложением добровольно уступить его повелителю, королю и курфюрсту, три четверти этой провинции с тем, чтобы прусский король дал ей взаймы три миллиона экю и возвел ее мужа в императоры.

У Марии-Терезии не было в то время ни войск, ни денег, ни кредита, но она оказалась непреклонна. Она готова была скорее потерять все, чем покориться какому-то принцу, который в ее глазах был всего лишь вассалом ее предков и которому ее отец спас жизнь. Только двадцатью тысячами солдат располагали ее генералы. Командовавший ее войсками фельдмаршал Нейперг заставил прусского короля принять бой под стенами Нейсса, в Мольвице. Началось с того, что прусская конница была обращена в бегство австрийской конницей; после первого же удара король, для которого сражения были еще непривычным зрелищем, ускакал в Опельгейм, на добрых двенадцать лье от поля битвы. Мопертюи, рассчитывая занять высокое положение, зачислился на время этого похода в свиту короля и воображал, что тот даст ему лошадь. Но

у короля не таков был обычай. В день боя Мопертюи купил за два дуката осла и верхом на этом осле поспешал по мере сил и возможности за его величеством. Однако верховому его животному не осилить было всего расстояния; Мопертюи был взят в плен и ограблен гусарами.

Фридрих провел ночь на жесткой постели в деревенской корчме близ Ратибора, у границ Польши. Он был в отчаянии и думал уже, что ему придется пересечь половину польских земель, чтобы добраться до северного края своих владений, — как вдруг из мольвицкого лагеря является егерь и докладывает, что сражение выиграно. Четверть часа спустя с тем же известием прибывает и кто-то из адъютантов. Известие было верное. Если прусская конница оказалась плоха, то пехота была лучшая в Европе. Тридцать лет муштровал ее старый герцог Ангальтский. Начальствовал ею фельдмаршал фон Шверин, ученик Карла XII; после бегства прусского короля он тотчас же выиграл сражение. Государь вернулся на следующий день, а генерала-победителя постигло что-то вроде опалы.

Я возвратился к своим философским занятиям в сирэйском уединении. Зимы я проводил в Париже, где у меня было множество врагов; вздумав написать еще задолго до того «Историю Карла XII», поставить на сцене несколько пьес и сочинить даже эпическую поэму, я, само собою разумеется, нажил себе гонителей в лице всех тех, кто причастен был к производству прозы или стихов. А так как я довел свою дерзость до того, что писал и по философским вопросам, то не мог избежать гонений и со стороны людей, которые, именуя себя «набожными», обозвали меня, как водится, безбожником.

Я первый посмел понятным языком растолковать своему народу открытия Ньютона. Картезианские предрассудки, которые во Франции пришли на смену предрассудкам перипатетиков, коренились в то время еще так глубоко, что канцлер д'Агессо усматривал врага здравого рассудка и государства во всяком, кто общался к открытиям, сделанным в Англии. Он так и не разрешил напечатать «Основы философии Ньютона».

Я был большим почитателем Локка: он представлялся мне единственным разумным метафизиком; особенно хвалил я в нем ту сдержанность, такую новую и в то же

время такую мудрую и отважную, с которой он говорит, что наши знания, приобретенные силою нашего разума, недостаточны для того, чтобы утверждать, будто Бог не может наделить даром чувства и мысли естество, именуемое «материей».

Нельзя себе представить, с каким остервенением и с какою невежественной неустрашимостью накинулись на меня за эту статью. Учение Локка до той поры не вызывало во Франции никаких разговоров, так как доктора богословия читали Фому Аквината и Кенеля*, а широкая публика читала романы. Когда я похвалил Локка, поднялись вопли и против него и против меня. Участники этого спора, как ни горячились, не знали, конечно, бедные, ни что такое «материя», ни что такое «дух». Все дело в том, что мы ничего не знаем о самих себе, что жизнь, ощущения, мысль, способность двигаться дарованы нам каким-то неведомым образом, что первоосновы материи неизвестны нам так же, как и всё остальное, что мы — слепцы, бредущие и рассуждающие ощупью, и Локк поступил очень мудро, признав, что не нам решать вопрос о том, существует ли нечто такое, чего Всемогущий совершить не может.

Всё это, в сочетании с некоторым успехом моих театральных пьес, повело к тому, что на меня обрушилась целая библиотека брошюр, где доказывалось, что я плохой поэт-безбожник и к тому же крестьянский сын.

Столь прекрасной родословной наделили меня в моем жизнеописании, тогда же напечатанном. Какой-то немец не упустил случая собрать воедино все рассказы, какими начинены были выпущенные против меня пасквили. Меня обвиняли в любовных похождениях с особами, вовсе мне неизвестными, а то и с такими, которых никогда не существовало на свете.

Я пишу это, а под руку мне попадает письмо маршала де Ришельё, которым он извещал меня когда-то о появлении пространного пасквиля, утверждавшего, будто я получил в подарок от его жены превосходную карету и что-то еще, — всё это в такую пору, когда никакой жены у него не было. Первое время я забавлялся составлением свода этих клеветнических сплетен, но число их умножилось до того, что пришлось отступить от этой затеи.

Вот и вся польза, какую извлек я из своих трудов.

Но утешался я легко — то в сирэйском уединении, то в парижском великосветском обществе.

В то время как литературные отбросы воевали таким образом со мною, Франция воевала с венгерской королевой, и надо признаться, что эта война отличалась не большею справедливостью, ибо после того как и прагматическая санкция императора Карла VI, и согласие на вступление Марии-Терезии в права отцовского наследства, и самый ввод ее в эти права были торжественно подтверждены и закреплены особыми условиями, поручительством и присягою, после того как в уплату за обещанное получена была Лотарингия, — не очень-то правомерно было уклоняться от выполнения принятого на себя обязательства. Кардинала де Флёри заставили отступить от условий заключенного соглашения. Он не мог, подобно прусскому королю, сослаться на то, что живость нрава принуждает его взяться за оружие. Этот благоденствовавший священнослужитель правил странюю, имея от роду восемьдесят шесть лет, и держал бразды правления весьма слабою рукою. Союз с прусским королем был заключен во время набега на Силезию; в Германию были двинуты две армии, когда у Марии-Терезии не было ни одной. Одна из этих армий, не встретив по пути неприятеля, проникла так далеко, что до Вены оставалось всего пять льё; Богемию подарили Баварскому курфюрсту, который был избран в императоры, а перед тем произведен в генерал-лейтенанты французских королевских войск. Однако, вскоре совершены были все ошибки, какие требовались для того, чтобы потерять всё.

Прусский король, закалив тем временем свое мужество и выиграв ряд сражений, заключил мир с австрийцами. Мария-Терезия отдала ему, к величайшему своему огорчению, графство Глац со всею Силезией. На этих условиях он в июне 1742 года откололся без дальних разговоров от Франции и писал мне, что, начав снова глотать лекарства, советует и всем прочим больным заняться восстановлением своего здоровья.

Этот государь, имея теперь в своем распоряжении стотридцатитысячную победоносную армию, в составе которой была и его отборная конница, извлекал из Силезии доход, вдвое больший, чем тот, какой она приносила австрийскому королевскому дому. Закрепив за собою свои новые завоевания, он сознавал, что достиг наивысшего

могущества, и был тем более счастлив, что все остальные державы страдали. Государей разоряет в наши дни война, а его она обогатила.

Он обратил тогда свои заботы на украшение города Берлина, на постройку одного из самых роскошных в Европе оперных театров и на приглашение всякого рода артистов, ибо к славе хотел он идти всеми путями и с возможно меньшими издержками.

Его отец жил в Потсдаме, в плохоньком домишке; он сделал из него дворец. Потсдам обратился в красивый городок. Берлин разрастался; там начинали познавать житейские улады, которыми покойный король весьма пренебрегал; кое-кто обзавелся домашней обстановкой; у большинства людей появились сорочки, тогда как в прошлое царствование в ходу были только переда сорочек, которые подвязывались тесемками, причем такое же воспитание получил и сам ныне царствующий король. Все менялось на глазах: Лакедемон становился Афинами. Пустыри были распаханы, сто три деревни отстроены на высушенных болотах. Не меньше потрудился он и в области музыки и книжного дела, так что незачем пенять на меня, если я величаю его «Северным Соломоном». В своих письмах дал я ему это прозвище, сохранившееся за ним надолго. Во Франции дела шли в то время хуже, чем у него. С тайным злорадством наблюдал он, как гибнут в Германии те самые французы, которые своим военным маневром дали ему возможность захватить Силезию. Французский двор терял войска, деньги, славу и кредит из-за того, что возвел Карла VII в императоры, а император терял все из-за того, что поверил в поддержку, обещанную французами.

29 января 1743 года умер девяностолетний кардинал де Флэри; никто не достигал министерского поста в таком позднем возрасте, как он, и никто не оставался на этом посту такое долгое время. Он начал свое служебное поприще с того, что семидесяти трех лет от роду сделался французским королем и пребывал таковым невозбранно до самой смерти, проявляя всегда величайшую скромность, не накапливая никакого имущества, не зная никакой пышности, ограничив себя одними лишь делами правления. Он оставил о себе память как о человеке не столько гениальном, сколько тонком и приятном, и прослыл скорее знатоком двора, чем знатоком Европы.

Я имел честь встречаться с ним часто у супруги маршала де Вильруа еще в ту пору, когда он был всего только бывшим епископом маленького и дрянного городишки Фрежюса, причем — как видим из некоторых его писем — титуловал он себя всегда так: «Божиею немилостью епископ». Фрежюс был для него безобразной женой, с которой он развелся при первой же возможности. Маршал де Вильруа, не зная, что епископ был долгое время любовником его супруги, добился того, что Людовик XIV назначил его воспитателем Людовика XV; из воспитателя он превратился в первого министра и не преминул приложить руку к удалению в ссылку своего благодетеля-маршала. Если откинуть неблагодарность, то это был в общем довольно добродушный человек. Но так как никаких дарований у него не было, то он отстранял тех, кто обладал таковыми в какой бы то ни было области.

Многие академики выразили желание, чтобы я заместил его во Французской академии. За ужином у короля задан был вопрос, кто произнесет в академии речь, посвященную памяти кардинала. Король ответил, что это сделаю я. Этого хотела его любовница герцогиня де Шатору; но государственный секретарь граф де Морепа этого не хотел: у него была страсть ссориться со всеми любовницами своего повелителя, и кончилось это для него плохо.

Некий старый болван, по имени Буайе, воспитатель дофина, в прошлом монах-театинец, а затем епископ Мирпуазанский, повинувшись велению совести, взялся содействовать г-ну де Морепа в удовлетворении его прихоти. Этот Буайе ведал назначениями на духовные должности; король вверил ему все церковные дела; он и это дело рассматривал как вопрос церковного благочиния. Он заявил, что было бы кощунством, если бы преемником кардинала оказался такой святотатец, как я. Я знал, что он действует по наущению г-на де Морепа; явившись к министру, я сказал ему:

— Звание академика — не такой уж важный сан; но раз избрание состоялось, грустно быть уволенным. Вы в ссоре с госпожой де Шатору, которую любит король, и с герцогом де Ришельё, который руководит ею; скажите, пожалуйста, какое отношение имеют ваши ссоры к какой-то несчастной вакансии во Французской академии? Заклинаю вас ответить мне откровенно: в случае, если

госпожа де Шатору одержит верх над господином епископом Мирпуазанским, вы этому воспротивитесь?..

Задумавшись на минуту, он сказал:

— Да, и я вас раздавлю.

В конечном итоге священник одержал верх над любовницей, и я так и не получил звания, которое, впрочем, ничуть меня и не привлекало. Но мне приятно вспоминать этот случай, показывающий всю мелочность тех, кого называют великими, и свидетельствующий о том, какое важное значение придают они иной раз пустякам.

Между тем государственные дела шли после смерти кардинала не лучше, чем в последние два года его жизни. Австрийский королевский дом возрождался из пепла. Францию теснили и Австрия и Англия. У нас не оставалось в то время никакого иного прибежища, кроме прусского короля, который вовлек нас в войну, а затем бросил, когда ему это понадобилось.

Надумали послать меня с тайным поручением к этому монарху, чтобы выведать его намерения, узнать, не склонен ли он предотвратить те грозы, которые рано или поздно найдет на него Вена, настав их предварительно на нас, и не пожелает ли он предоставить при случае в наше распоряжение сто тысяч солдат, чтобы прочнее закрепить за собой свою Силезию. Эта мысль пришла в голову г-ну де Ришельё и г-же де Шатору. Король нашел ее приемлемой; и г-ну Амело, министру иностранных дел, впрочем весьма маловлиятельному министру, было поручено только ускорить мой отъезд.

Нужно было приискать подходящий предлог. Я решил использовать в качестве такового свою размолвку с бывшим епископом Мирпуазанским. Король одобрил такой образ действий. Я написал прусскому королю, что терпеть далее нападки этого театинца я не в силах и хочу искать убежища у короля-философа, дабы уйти от придирок ханжи. Так как этот прелат подписывался всегда сокращенно: «анс. évêq de Mirepoix» и так как почерк у него был недостаточно четкий, то вместо «ансиен», читали обыкновенно: «âne de Mirepoix»¹; это подало повод к шуткам, и переговоры получились у нас как нельзя более веселые.

¹ Буае подписывался: «бывший епископ Мирпуазанский», а читали: «осел Мирпуазанский». (Прим. перев.)

У прусского короля, когда он направлял удары против монахов и придворных прелатов, рука бывала тяжелой: он ответил целым потоком издевок над «мирпуазанским ослом» и уговаривал меня ехать как можно скорее. Я неукоснительно давал на прочтение и свои письма и его ответы. Епископу это стало известно. Он пожаловался Людовику XV, что я выставяю его, — как он говорил, — дураком перед иностранными дворами. Король ответил, что таков и был уговор и что обижаться на это нечего.

Эти слова Людовика XV, вовсе не соответствовавшие его нраву, всегда представлялись мне необычайными. Я был доволен и тем, что отомстил епископу, исключившему меня из академии, и тем, что предстояла очень приятная поездка, и тем, что получу возможность оказать услугу королю и государству. Г-н де Морепа принимал горячее участие в этой затее, ибо в ту пору он руководил всеми действиями г-на Амело и надеялся стать министром иностранных дел.

Удивительнее всего было то обстоятельство, что пришлось посвятить в эту тайну г-жу де Шателэ. Она ни за что не соглашалась, чтобы я покинул ее ради прусского короля; бросать женщину в поисках сближения с монархом — представлялось ей самым подлым и самым мерзким поступком на свете. Она способна была бы поднять по этому поводу ужасающий шум. Для ее успокоения договорились на том, что она станет участницей тайны и что письма пойдут через ее руки.

Деньги на дорогу в сумме, которую я сам определил, были отпущены мне г-ном Монмартелем под простую расписку. Я ими не злоупотребил. Пока прусский король мчался из одного конца своих владений в другой, производя смотры, я задержался на некоторое время в Голландии. Мое пребывание в Гааге оказалось небесполезным. Я жил во дворце, именуемом «Старый Двор», который принадлежал в то время прусскому королю на основании отдельного акта, заключенного с Оранским домом. Его посланник, молодой граф фон Подевильс, влюбленный в жену одного из главных членов местного правительства и любимый ею, доставал по милости этой дамы копии всех секретных распоряжений, издаваемых тамошними высокими властями, которые питали в то время в отношении нас весьма злобные на-

мерения. Я пересылал эти копии своему двору; и мои услуги принимались весьма благосклонно.

Когда я прибыл в Берлин, король, как и в прошлые мои наезды, поселил меня у себя. Он вел в Потсдаме всё тот же образ жизни, какой усвоил со времени восшествия на престол. Этот образ жизни заслуживает того, чтобы рассказать о нем несколько подробнее.

Он вставал летом в пять часов утра, зимой в шесть. Если вы желаете знать, какими царственными обрядами сопровождалось это вставание, что представляли собою большие и малые выходы, каковы были при этом обязанности придворного священника, обер-камергера, старшего камер-юнкера, камер-фурьеров, — то я отвечу вам, что являлся всего-навсего один лакей, который за-тапливал печь, облачал и брил короля, который одевался в сущности почти без посторонней помощи. Спальня была довольно хороша; богатая серебряная балюстрада, украшенная отлично вылепленными амурчиками, ограждала возвышение, где, судя по висевшему пологу, стояла кровать; но за пологом, вместо кровати, помещалась библиотека; что же касается королевского ложа, то таковым служила загороженная ширмой жалкая походная кровать с тощим тюфяком. У Марка Аврелия и у Юлиана, у этих двух его вероучителей, являвшихся величайшими представителями стоицизма, ночлег был обставлен не хуже.

Когда его величество оказывалось, наконец, одето и обуто, стоик дарил несколько мгновений Эпикуровой школе: он вызывал к себе двух-трех любимцев—то ли лейтенантов своего полка, то ли пажей, то ли гайдуков, то ли юных кадетов. Пили кофе. Тот, кому кидали носовой платок, оставался затем еще на несколько минут наедине с королем. До последних крайностей дело не доходило, ибо Фридрих еще при жизни отца тяжело пострадал от своих мимолетных связей, и дурное лечение не поправило дела. Играть первую роль он не мог; приходилось довольствоваться вторыми ролями.

На смену школьническим проказам являлись затем государственные дела. По потайной лестнице с толстой кипой бумаг подмышкой поднимался к нему первый министр. Первым министром состоял чиновник, проживавший на третьем этаже в доме Фредерсдорфа, тот самый солдат, а затем камердинер и фаворит, который

прислуживал когда-то царственному узнику в Кюстринском замке. Статс-секретари направляли все свои доклады этому чиновнику. Тот подавал королю краткую их сводку: на ее полях записывались под диктовку короля его ответы, изложенные в двух словах. За какой-нибудь час разрешались таким способом все дела королевства. Статс-секретари и министры только в редких случаях являлись к королю лично: были среди них даже и такие, с кем он не говаривал ни разу. Его отец привел финансы в такой порядок, все выполнялось до такой степени по-военному, покорность была такая слепая, что страну, простиравшейся на четыреста льё, управляли, словно каким-нибудь аббатством.

Около одиннадцати часов король в высоких сапогах производил у себя в саду смотр своему гвардейскому полку; и в тот же самый час во всех провинциях все полковники проделывали то же самое. В промежутке между парадом и обедом принцы — братья короля, генералы да два-три камергера завтракали за королевским столом, причем еда бывала хороша лишь в такой мере; в какой она может быть хороша в стране, где нет ни дичи, ни порядочной говядины, ни пулярдок и куда пшеницу привозят из Магдебурга.

После завтрака он уединялся у себя в кабинете и до пяти-шести часов писал стихи. Затем являлся некий молодой человек, по фамилии Дарже, бывший секретарь французского посланника Валори, и читал королю вслух. В семь часов начинался небольшой концерт: король мастерски играл на флейте; участниками концертов зачастую исполнялись его произведения; ибо не было такого искусства, которому бы он не предавался, и, живи он среди древних греков, ему не угрожало бы то смертельное унижение, какое пережил Эпаминонд, когда принужден был сознаться, что в музыке он несведущ.

Ужинали в небольшой столовой, где наиболее своеобразным украшением была картина, написанная по рисунку короля придворным его художником Пенем, одним из лучших наших колористов. Это было превосходное полотно совершенно непристойного содержания. Юноши обнимались с женщинами, над поверженными нимфами склонялись сатиры, амурсы играли в энколповы и гитоновы игры, другие млели, наблюдая со сто-

роны все эти поединки, горлицы целовались, козлы настигали коз, бараны — овец.

Это не мешало тому, что застольная беседа носила зачастую философический характер. Если бы послушал нас кто-нибудь ненароком да увидел бы упомянутую живопись, то подумал бы, что перед ним семь греческих мудрецов в доме терпимости. Никогда и нигде на свете не говорилось так свободно о всех человеческих пред-рассудках, никогда не изливалось на них столько шуток и столько презрения. Бога чтили, но не было пощады тем, кто, прикрываясь его именем, вводил людей в обман.

Ни женщины, ни священники никогда не заглядывали во дворец. Словом сказать, Фридрих обходился без двора, без советников и без религии.

Какие-то провинциальные судьи вознамерились однажды предать сожжению бедняка-крестьянина, который, по навету священника, обвинялся в любовной связи с ослицей; но смертная казнь могла быть совершена не иначе, как по приговору, утвержденному королем: таков был весьма человеческий закон, применяемый также в Англии и в других странах. Фридрих написал под приговором, что в его владениях им дарована «свобода совести и...»

Некий пастор из окрестностей Штеттина, глубоко возмущенный подобным попустительством, ввел в проповедь об Ироде кое-какие черточки, которые могли задеть короля, его повелителя. Тот вызвал сельского проповедника в Потсдам, приказав ему явиться на суд в консисторию, хоть никакой консистории при дворе не существовало, равно как никогда не было там богослужений. Беднягу привели; король надел пасторское облачение и нагрудник; д'Аржанс, автор «Еврейских писем», и некий барон фон Польниц, раза три или четыре на своем веку менявший веру, нарядились в такие же одеяния; на стол под видом евангелия положили том словаря Беля, и обвиняемый, введенный в залу двумя гренадерами, предстал перед этими тремя священнослужителями.

— Брат мой, — начал король, — прошу вас, Бога ради, скажите, о каком Ироде говорили вы в вашей проповеди?

— О том Ироде, который произвел избиение младенцев, — ответил тот.

— Я вас спрашиваю, — допытывался король, — не об Ироде ли первом шла речь, ибо, — как вам должно быть известно, — их было несколько.

Пастор стал втупик.

— Как? — воскликнул король. — Вы осмеливаетесь говорить об Ироде, не зная ничего об его семействе? Вы недостойны духовного сана. На этот раз мы вас помилуем; но помните, что если вы опять коснетесь в вашей проповеди чего-нибудь такого, чего не знаете, мы отлучим вас от церкви.

Тут ему вручили приговор и акт о помиловании. Подписано это было тремя придуманными для забавы нелепыми именами.

— Завтра мы съездим в Берлин, — добавил король, — и упросим наших братьев, чтобы они оказали вам снисхождение; будьте там и непременно повидайтесь с нами.

Священник отправился в Берлин, в поиски за своими тремя пасторами: там его подняли насмех. А король, который был хоть и шутив, да не тароват, даже и не подумал о том, чтобы оплатить ему дорогу.

Фридрих правил церковью так же деспотично, как и государством. Он сам утверждал разводы, когда какой-нибудь муж или жена выражали желание вступить в новый брак. По поводу одного такого развода кто-то из министров процитировал ему однажды соответствующий ветхозаветный текст.

— Моисей, — сказал король, — предводительствуя евреями, действовал по своему благоусмотрению, а я правлю пруссаками по своему разумению.

Этот своеобразный способ управления, эти нравы, еще более странные, это противоречивое сочетание стоицизма с эпикурейством, суровой военной дисциплины с распущенностью дворцового быта; эти нажи, с которыми развлекались у себя в кабинете, и солдаты, которых под окнами монарха и на его глазах прогоняли по тридцать шесть раз сквозь палочный строй, речи о высокой нравственности и разнузданный разврат — все это в общей совокупности являло диковинную картину, в ту пору знакомую лишь немногим и только впоследствии ставшую обычной в остальной Европе.

Все вкусы короля определялись в Потсдаме величайшей бережливостью. На его личный стол и на стол его приближенных и слуг положено было тратить, не

считая вина, тридцать три эю в день. И в то время как у других королей этим расходом ведают надлежащие придворные чины, у него и обер-гофмаршалом, и обер-шенком, и обер-форшнейдером был его камердинер Фредерсдорф.

Из бережливости ли, или в силу политических расчетов, он никогда ничего не жаловал бывшим своим фаворитам, особенно же тем, которые в бытность его наследным принцем готовы были жертвовать ради него своей жизнью. Он не отдавал даже и денег, какие понабрал тогда взаймы: как Людовик XII не мстил за обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому*, так и прусский король предавал забвению долги наследника прусского престола.

Злополучная его любовница, высеченная когда-то из-за него рукой палача, стала к тому времени женой заведующего берлинской извозчичьей биржей: в Берлине было тогда восемнадцать извозчиков. Любовник назначил ей пенсию в размере семидесяти эю, каковая выплачивалась ей в положенные сроки без задержки. Звали ее г-жой Шоммерс; это была высокая, тощая женщина, похожая на гадалку, и по внешнему ее виду никак нельзя было подумать, что она могла быть достойна хоть когда-нибудь порки за связь с принцем.

А между тем, когда бывал он в Берлине, то в дни торжественных празднеств окружал себя пышным великолепием. Для людей пустых, то есть в сущности почти для всех, это было прекрасное зрелище, когда за столом, уставленным лучшей в Европе золотой посудой, он восседал в окружении двадцати принцев империи, а тридцать красавцев-пажей и столько же молодых, роскошно наряженных гайдуков разносили большие блюда из чистого золота. Появлялись в таких случаях и первые чины двора, но в другое время о них не было и помина.

После обеда отправлялись в оперу, в огромный театральный зал длиной в триста футов, построенный без помощи архитектора одним из его камергеров, неким Кнобельсдорфом. Самые прекрасные голоса, самые лучшие танцовщики были у него на жалованьи. На его сцене танцевала тогда Барбарини; впоследствии она вышла замуж за сына его канцлера. По приказу короля, его солдаты выкрали ее из Венеции и через

Вену доставили в Берлин. Он был в нее немного влюблен, потому что ноги были у нее мужские. Непонятным казалось, что он положил ей оклад в сумме тридцати двух тысяч ливров.

Поэт-итальянец, сочинявший стихотворные тексты опер, содержание которых намечалось всегда самим королем, получал всего тысячу двести ливров жалованья; надо, правда, сказать, что он был весьма уродлив и притом не танцевал. Словом, Барбарини, одна, получала больше, чем три королевских министра, вместе взятых. Что касается итальянского поэта, то он вознаграждал себя однажды своею собственной рукой; в капелле, сооруженной первым прусским королем, он спорол украшавшие ее старые золотые галуны. Фридрих, никогда не бывавший в капелле, сказал, что он ничего на этом не потерял. К тому же он только что перед тем написал в защиту воров целую диссертацию, которая напечатана в сборниках его академии: на этот раз ему показалось неудобным опровергать слово делом.

Эта снисходительность не распространялась на военных. В Шпандауской тюрьме сидел старый франконтский дворянин шестифутового роста, захваченный в свое время по приказу покойного короля, которому пришлось по душе его красивое телосложение; ему была обещана должность камергера, а сделали из него солдата. Бедняга в сообществе с несколькими товарищами совершил вскоре после этого побег; его поймали и привели к покойному королю, которому он заявил чистосердечно, что раскаивается только в одном: в том, что не убил такого тирана, как он. В ответ на это ему отрезали нос и уши, тридцать шесть раз прогнали палками сквозь строй, после чего отправили катать тачку в Шпандау. Он продолжал еще катать ее, когда наш посланник, г-н де Валори, попросил меня возбудить ходатайство об его помиловании перед благостнейшим сыном жесточайшего Фридриха-Вильгельма. Его величеству случилось говорить, что собственно для меня ставит он на сцене «La Clemenza di Tito», оперу, полную всяких красот, на слова знаменитого Метастазиио, которые положены были на музыку самим королем при участии другого композитора. Я воспользовался этим, чтобы обратить его благосклонное внимание на безно-

сого и безухого беднягу-франшконтейца и поднести ему такое увещание:

Прямой и чуткий дух, всеохвативший гений!
Как! В вашем царстве есть несчастные сердца?
Виновнейшим простив, не длите их мучений, —
Лишь милость короля пусть длится без конца!
Взгляните на Мольбы — на дочерей Печали,
Что руки вам кропят бесплодную слезой!
Иль не могли бы вы — когда бы пожелали, —
Навек спасти от слез печальный мир земной?
Ах! кто ж виновен в том, что нынче перед нами
Был в пышном зрелище прославлен древний Тит?
Герою своему подобны будьте сами:
Пусть милосердие вам праздник завершит!

Прошение изложено было резковато, но в стихах разрешается говорить, что хочешь. Король обещал смягчить немного его участь и оказался даже настолько добр, что несколько месяцев спустя поместил вышеупомянутого дворянина в больницу, где дневное содержание обходилось в шесть су. Перед тем он отказал ему в этой милости, когда о том ходатайствовала королева-мать, — правда, в прозе.

Попутно с празднествами, операми, ужинами шли своим чередом и мои тайные переговоры. Король признал полезным, чтобы я толковал с ним обо всем, и зачастую к разговорам по поводу «Энеиды» или Тита Ливия я примешивал вопросы, касавшиеся Франции и Австрии. Временами беседа оживлялась; король горячился и говорил, что пока наш двор не перестанет толкаться во все двери с мирными предложениями, он ни за что не станет за него драться. Из своей комнаты я направлял в его покои свои соображения, излагая их на бумаге с полями в половину листа. Отдельным столбцом вписывал он ответы на мои нескромности. У меня сохранился листок, где я говорил:

«Неужели вы сомневаетесь в том, что австрийский двор при первом же удобном случае потребует у вас назад Силезию?»

Вот его ответ на полях:

Друг мой, будут «biribi»
Встречены, как «barbari»!

Эти нового образца переговоры завершились речью, которую он в минуту запальчивости произнес передо

мной в осуждение своего дорогого дядюшки, английского короля. Эти два короля не любили друг друга. Прусский говорил:

— Георг приходится дядюшкой Фридриху, но прусскому королю Георг — не дядюшка.

Наконец однажды он сказал мне:

— Пусть только Франция объявит Англии войну, и я сразу же выступлю.

Только этого я и добивался. Я поспешил вернуться во Францию, отчитался в своей поездке и подал своему двору надежду, которую подали мне в Берлине. Она оказалась не ложной, и следующей же весной прусский король заключил новый договор с французским королем. Он вступил в Богемию во главе стотысячной армии, в то время как австрийцы находились в Эльзасе.

Если бы я рассказал о своих похождениях какому-нибудь порядочному парижанину, он не усомнился бы в том, что мне предстоит назначение на высокий пост. А вот что я получил в награду.

Герцогиня де Шатору рассердилась, что переговоры велись не прямо через нее; ее разбирала охота прогнать г-на Амело, потому что он заикался — ей не нравился этот небольшой его порок. Амело был ненавистен ей тем более, что руководил им г-н де Морепа; через неделю он был уволен, а я впал у нее в немилость.

Случилось так, что несколько времени спустя Людовик XV, находясь в городе Меце, заболел и оказался при смерти. Г-н де Морепа со своей кличкой воспользовался этим случаем, чтобы погубить г-жу де Шатору. Епископ Суассонский Фиц-Джемс, происходивший от незаконного сына Иакова II и считавшийся святым, решил, в качестве главы придворного духовенства, обратиться к королю на путь истинный и заявил ему, что не даст ни отпущения грехов, ни причастия, если он не прогонит любовницу, сестру ее — герцогиню де Лорагэ и их друзей. Обе сестры уехали из Меца, провожаемые проклятиями местного населения. Вот за это именно деяние население Парижа, столь же скудоумное, как и население Меца, и нарекло Людовика XV «Возлюбленным». Это прозвище, повторенное затем несчетное число раз альманахами, было придумано неким проказником, по имени Вадэ. Государь, поправившись, пожелал остаться возлюбленным одной лишь своей любовницы и

ничьим больше. Любовь их возгорелась с новой силой. Г-жа де Шатору собиралась уже возвращаться к исполнению своих государственных обязанностей и переехать из Парижа в Версаль, когда внезапно умерла от последствий неистовства, в которое повергла ее отставка. И вскоре была позабыта.

Требовалась новая любовница. Выбор пал на девицу Пуассон*, дочь некоей содержанки и крестьянина из Фертэ-су-Жуар, который нажился, продавая хлеб поставщикам продовольствия. Бедняга находился в ту пору в бегах, будучи осужден за какую-то растрату. Его дочь выдали замуж за сдаточного откупщика Ле Нормана, сеньера Этиольского, приехавшегося племянником главному откупщику Ле Норману де Турнегем, на содержании у которого была ее мать. Дочь была хорошо воспитана, благонравна, любезна, полна изящества и всяких дарований, наделена прирожденным здравым смыслом и добрым сердцем. Я знал ее довольно хорошо и был даже поверенным ее любви. По собственному ее признанию, она давно уже предчувствовала втайне, что будет любима королем, и питала к нему со своей стороны непреодолимое влечение.

Это убеждение, которое при занимаемом ею положении могло бы показаться вздорным, основывалось на том, что ее часто возили в Сенарский лес, когда там охотился король. У любовника ее матери Турнегема была по соседству усадьба. Госпожа д'Этиоль каталась в нарядной коляске. Король ее заметил и нередко посылал ей в подарок козуль. Мать не переставала твердить ему, что ее дочь красивее, чем г-жа де Шатору, а добряк Турнегем восклицал то и дело:

— Надо признаться, что дочь госпожи Пуассон — очень лакомый кусочек, достойный королевского стола!

Напоследок, когда король успел уже побывать в ее объятиях, она сказала мне, что твердо верит в судьбу; и была права. Я провел с ней несколько месяцев в Этиоле, пока король совершал поход 1746 года.

Этим снискал я награды, каких никогда не получал ни за литературные труды, ни за государственные заслуги. Признали, что я достоин стать одним из сорока ненужных членов академии; меня назначили историографом Франции, и король пожаловал мне звание действительного камер-юнкера его двора. Я пришел к вы-

воду, что для достижения маленького житейского успеха полезнее перекинуться четырьмя словами с королевской любовницей, чем написать сто томов.

Стоило мне только приобрести вид счастливец, как все мои собратья, парижские остроумцы, набросились на меня с такою злобой и с таким неистовством, словно я получил все награды, причитававшиеся им.

С г-жой де Шателэ меня попрежнему связывала неизменная дружба и общая склонность к научным занятиям. Мы проживали с ней совместно и в Париже и в деревне. Сирэ расположен на рубеже Лотарингии. Король Станислав жил тогда со своим маленьким двором в Люневиле*. При всей своей дряхлости и набожности он содержал любовницу; таковою была маркиза де Буфлер. Душа его двоилась между привязанностью к ней и расположением к иезуиту Мену, самому пронырливому и дерзкому из всех священников, каких я только видел. Этот человек, пользуясь назойливостью королевы, которой помыкал, выманил у короля Станислава примерно миллион, употребленный частично на постройку в Нанси великолепного дома для него самого и для некоторых других иезуитов. В придачу к дому сделан был денежный вклад, дававший двадцать четыре тысячи ливров годового дохода, из которых двенадцать Мену тратил на свой стол, а другие двенадцать мог раздавать, кому захочет.

Любовница была обставлена далеко не так хорошо. Того, что она вытягивала у польского короля, ей хватало только на шитье юбок; но у иезуита вызывала зависть и эта ее доля, и он бешено ревновал короля к маркизе. Они были в открытой ссоре. Бедному королю стоило немалых трудов каждый день после мессы мирить любовницу с духовником.

Напоследок наш иезуит, прослышав про г-жу де Шателэ, которая была очень стройна и еще довольно красива, надумал заменить ею г-жу де Буфлер. Станислав сочинял время от времени довольно плохие литературные произведения. Мену решил, что женщина-писательница пленит его легче, чем всякая другая. И вот, приводя в действие свой прекрасный замысел, является он к нам в Сирэ, осыпает лестью г-жу де Шателэ и говорит, что король Станислав будет в восторге, если мы пожалуем к нему; потом возвращается к королю с сооб-

щением, что мы горим желанием явиться к нему на поклон: Станислав советует г-же де Буфлер пригласить нас в гости.

И мы в самом деле провели в Люневиле весь 1749 год. Случилось обратное тому, чего хотел преподобный отец. Мы подружились с г-жой де Буфлер, и иезуит нажил себе двух противниц, вместо одной.

Лотарингский придворный быт был довольно приятен, хотя и здесь, как при всех дворах, бывали козни и дразги. Понсэ, епископ Труаянский, обремененный большими долгами и дурною славой, пожелал в конце года умножить своей особою личный состав нашего двора, а заодно и количество дразг. Когда я говорю, что он был обременен дурной славой, разумеете под этим также славу его надгробных речей и церковных проповедей. При содействии наших дам он был назначен старшим священнослужителем при короле, которому было лестно держать на жалованьи, и притом на очень скудном жалованьи, архипастыря.

Этот архипастырь появился только в 1750 году. Начал он с того, что влюбился в г-жу де Буфлер, и его прогнали. Гнев его обрушился на зятя Станислава, на Людовика XV: дело в том, что, вернувшись в Труа, он решил вмешаться в нелепое дело об исповедных росписях*, придуманных парижским архиепископом Бомоном, вступил в пререкания с парламентом и надерзил королю. Таким способом нельзя расплатиться с долгами, но зато можно легко угодить под стражу. Французский король сослал его в Эльзас, в монастырь, к толстым немецким монахам. Однако надобно вернуться к тому, что касается собственно меня.

Г-жа де Шателэ умерла во дворце Станислава, проболев всего два дня. Все мы были в таком смятении, что никому в голову не пришло вызвать кюре или иезуита для ее соборования. Ее миновали ужасы смерти: ощутили их только мы. Я был подавлен мучительной скорбью. Добрый король Станислав, придя ко мне в комнату, утешал меня и плакал со мною. Мало кто из его собратьев поступает так в подобных случаях. Он уговаривал меня остаться при нем; но Люневиль сделался мне невыносим, и я вернулся в Париж.

Мне было суждено перебежать от короля к королю, невзирая на то, что я боготворил свободу. Прусский ко-

роль, которому я частенько говаривал, что ради него ни за что не расстанусь с г-жой де Шателэ, теперь, отделавшись от соперницы, решил залучить меня к себе во что бы то ни стало. Он вкушал в то время мир, добытый победами, и досуги его были попрежнему посвящены сочинению стихов или писанию истории своей страны и своих походов. Он был — надо правду сказать — твердо уверен, что его стихи и его проза по существу своему значительно выше моей прозы и моих стихов; но ему думалось все же, что по части формы я, в качестве академика, могу, пожалуй, придать его писаниям некоторый лоск; не было такой лести и таких соблазнов, каких не пустил бы он в ход, чтобы добиться моего приезда.

Как было устоять против короля-победителя, поэта, музыканта и философа, который к тому же показывал вид, будто любит меня? Мне почудилось, что и я люблю его. В конце концов, в июне 1750 года, я снова направил стопы свои в Потсдам. Лучшего приема не встретил и Астольф* в чертогах Альцины*. Располагаться в покоях, где жил некогда Мориц Саксонский, иметь в своем распоряжении королевских поваров, когда хотелось пообедать у себя, в домашней обстановке, и кучеров, когда хотелось прокатиться, — это были еще самые малые из тех милостей, какие мне оказывались. Весьма приятны бывали ужины. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что остроумия тут было вдоволь: король и сам был на этот счет мастер и других умел вызвать на то же; однако необычайнее всего было то обстоятельство, что ни за каким другим столом не слыхивал я такой вольной беседы. Два часа в день работал я сего величеством; я правил все его произведения, никогда не забывая воздавать громкую хвалу тому, что было в них хорошего, пока вымарывал все негодное. В письменном виде излагал я ему все то, из чего составилась целый учебник риторики и поэтики, предназначенный для его личного употребления; он извлек из него пользу, причем его природный ум оказал ему еще больше услуг, чем мои уроки. Ни за кем мне не приходилось ухаживать, никому не надо было отдавать визиты, на мне не лежало никаких обязанностей. Свою жизнь я оставил так, что был свободен, и лучше этого состояния ничего представить себе не мог.

Альцина-Фридрих, видя, что голова у меня пошла кругом, стал еще пуще опаивать меня колдовским зельем, стараясь довести до полного опьянения. Последним средством обольщения явилось письмо, пересланное им из своих покоев в мои. Любовница не сумела бы объяснить более нежно: он силился рассеять те опасения, какие вызывали у меня его сан и его нрав; в этом письме содержались такие странные слова:

«Как мог бы я хоть когда-нибудь причинить горе человеку, которого чту, которого люблю и который ради меня пожертвовал отечеством и всем тем, что людской природе дороже всего?.. Я преклоняюсь перед вами как перед учителем красноречия. Я люблю вас как добродетельного друга. Какого рабства, какой невзгоды, каких перемен бояться вам в стране, где ценят вас так же, как на родине, и в доме у друга, обладающего благодарным сердцем? Я уважал дружбу, которая связывала вас с г-жой де Шателэ, но ведь после нее я — один из самых давних ваших друзей. Обещаю вам, что, покуда я жив, вам будет здесь хорошо».

Мало кому из величеств случалось писать такие письма. Это был последний стакан, и я от него охмелел. Устные уверения были еще выразительнее, чем письменные. Он привык к странному изъяснению нежности, имея дело с любимицами, которые были моложе меня, и, позабыв на мгновение, что я не в их возрасте и что рука у меня не красива, он схватил ее, покушаясь ее поцеловать. Я поцеловал его руку и отдался ему в рабство. Для того чтобы принадлежать двум господам, требовалось дозволение французского короля. Король прусский принял на себя все хлопоты.

Он обратился к королю, моему повелителю, с письменной обо мне просьбой. Я никак не воображал, что в Версале могут косо посмотреть на переход какого-то действительного камер-юнкера, представляющего собою самую бесполезную разновидность придворных чинов, в бесполезные же камергеры берлинского двора. Мне дали просимое дозволение. Но обиделись сильно; и не простили обиды. Я очень упал в глазах французского короля, не поднявшись притом в глазах прусского короля, которому в глубине души не было до меня никакого дела.

И вот навесили мне золоченый ключ на кафтан, а на шею — крест и дали двадцать тысяч франков жалова-

ня. Мопертюи от этого захворал, чего я и не приметил. Был в то время в Берлине некий лекарь, по фамилии Ла Метри, самый отъявленный из всех атеистов, выпущенных медицинскими факультетами Европы, однако человек веселый, остроумный, рассеянный, образованный по части теории, как никто из его собратьев, но в смысле практики самый плохой врач на свете: да, впрочем, он, слава Богу, и не практиковал. В Париже он поднял насмех весь факультет, а в письменных выступлениях допустил даже и личные выпады против кое-кого из врачей, которые не простили ему этого и добились указа о взятии его под стражу. Из-за этого Ла Метри и сбежал в Берлин, где порядком забавлял всех своей веселостью, сочиняя к тому же и печатая невообразимо бесстыдные рассуждения о нравственности. Его книги понравились королю, который взял его к себе, — правда, не в лейб-медики, а в чтецы.

Однажды, после чтения, Ла Метри, который говорил королю все, что вздумается, сказал ему, что благоволение, каким я пользуюсь, и мое богатство вызывают сильную зависть.

— Пускай себе завидуют, — ответил король, — апельсин выжимаешь, а потом, высосав из него весь сок, выбрасываешь вон.

Ла Метри не преминул пересказать мне это прекрасное изречение, достойное Дионисия Сиракузского*.

Я тотчас же решил убрать апельсинную корку в более надежное место. Было у меня около трехсот тысяч ливров, которые предстояло вложить в какое-нибудь дело. Я воздержался от хранения своего капитала в пределах владений моей Альцины; я поместил его на выгодных условиях под обеспечение французскими именами герцога Вюртембергского. Король, который вскрывал все мои письма, догадался, что я не намерен оставить более при его особе. А между тем бешеная страсть к писанию стихов обуревала его, как и Дионисия. Мне же подобало непрерывно их приглаживать, да еще просматривать его «Историю Бранденбурга» и все вообще, что он сочинял.

Ла Метри умер, съев после очень обильного обеда у французского посланника милорда Тирконеля еще целый пирог, начиненный трюфелями. Пошли толки, будто перед смертью он исповедался; короля это возмути-

ло; он навел подробные справки, так ли это; его уверили, что это гнусная клевета и что Ла Метри, как жил, так и умер, не признавая ни Бога, ни врачей. Его величество, удовлетворенное этим известием, тут же сочинило надгробную речь, которая была прочитана от его имени секретарем его Дарже в открытом собрании академии, и назначило пенсию в шестьсот ливров девице легкого поведения, которую Ла Метри привез из Парижа, когда бросил жену и детей.

Мопертюи, которому был известен анекдот об апельсинной корке, нашел своевременным пустить слух, будто я говорил, что должность атеиста при короле сейчас не замещена никем. Эта клевета не достигла цели, но он добавил еще затем, будто я нахожу стихи короля плохими, и вот это достигло цели.

Я начал замечать с этих пор, что королевские ужины сделались уже не так веселы, как прежде; стихи стали поступать мне на исправление в меньшем количестве; я был в полной опале.

Альгаротти, Дарже и еще один француз, по фамилии Шазо, один из лучших офицеров Фридриха, покинули его, все трое сразу. Я намеревался последовать их примеру. Но мне хотелось прежде потешиться, высмеяв книгу, которую только что напечатал Мопертюи. Случай выдался прекрасный: таких несуразных и безумных вещей еще никто никогда не писывал. Этот чудак, не шутя, предлагал отправиться прямым путем на оба полюса, рассекать головы великанам, дабы по их мозгу познать истинную природу души, построить город, где говорили бы только по-латыни, пробуровать скважину до самого ядра земли, врачевать болезни, обмазывая больных смолою, и, наконец, предсказывать будущее, приводя свою душу в состояние исступления.

Король посмеялся над книгой, посмеялся и я, посмеялись и все. Но в это же самое время разыгрывалось и более важное происшествие по поводу не знаю какой математической глупости*, которую Мопертюи собирался выдать за великое открытие. Некий более сведущий математик, по фамилии Кёниг, библиотекарь принцессы Оранской в Гааге, объяснил ему, что он ошибается, и что Лейбниц, который занимался когда-то рассмотрением этой стародавней выдумки, доказал в свое время ее ложность в ряде писем, копии каковых Кёниг и предъявил.

Мопертюи, президент Берлинской академии, негодуя на то, что какой-то иностранный ее член разоблачает его промахи, прежде всего убедил короля в том, что Кёниг, как человек, обосновавшийся в Голландии, является его врагом и что в беседах с принцессой Оранской он очень дурно отзывался о прозе и о стихах его величества.

Приняв такую предосторожность, он натравил на Кёнига несколько бедных академических пенсионеров, всецело от него зависевших, и при их помощи добился постановления о том, чтобы Кёниг, как виновный в подлоге, был исключен из числа академиков. Голландский математик опередил его, вернув еще до этого свой патент на звание берлинского академика.

Все европейские писатели были столько же возмущены проделками Мопертюи, сколько раздражены его книгою. Он навлек на себя ненависть и презрение, как тех, кто притязал на знакомство с наукой, так и тех, кто ничего в ней не смыслил. В Берлине ограничивались только тем, что пожимали плечами, ибо, ввиду участия короля в этом злополучном деле, никто не решался о нем заговаривать: только я один и подал голос. С Кёнигом мы были в дружбе: мне приятно было, отстаивая друга, взять под защиту свободу писателей, а заодно уязвить и врага, который был врагом скромности в такой же мере, как и лично моим. Оставаться далее в Берлине не хотелось мне ничуть: свобода была мне всегда дороже всего. Мало кто из писателей пользуется свободой так, как я. В большинстве случаев они бедны; бедность истощает мужество; и при дворе всякий философ обращается, таким образом, в раба, уподобляясь первому попавшемуся чиновнику дворцового штата. Я почувствовал, как не по душе моя свобода королю, более самодержавному, чем турецкий султан. В домашней обстановке это был — слов нет — преселый король. Покровительствуя Мопертюи, он глумился над ним больше, чем над кем бы то ни было. Он стал писать возражения на его книгу и послал мне свою рукопись, которую принес ко мне в комнату один из пособников тайных его увеселений, некий Марвиц; король высмеял на все лады буровую скважину в центр земли, лечение смоляной мазью, путешествие на южный полюс, латинский город и трусость академии, которая примирилась с насилием, учиненным над бедным Кёнигом. Но так как девизом его было: «Шуметь могу

только я», то он приказал сжечь все, что было написано по этому вопросу, за исключением лишь его собственной работы.

Я возвратил ему орден, камергерский ключ и жалованье; тогда он сделал все, что мог, чтобы сохранить меня при своей особе, а я — все, что мог, чтобы уйти от него. Он отдал мне назад крест и ключ и выразил желание, чтобы я с ним поужинал; выдержав еще один дамоклов ужин, я уехал с обещанием вернуться и с твердым намерением не встречаться с ним больше никогда в жизни.

Итак, за короткий промежуток времени оказалось нас четверо беглецов: Шазо, Дарже, Альгаротти и я. Жить здесь далее становилось в самом деле невмоготу. Известно, что близость к царствующим особам обязывает к терпению, но Фридрих злоупотреблял уж немного чересчур своими королевскими правами. У общежития есть свои законы, если только это не общежитие льва с козой. Фридрих неизменно нарушал наипервейший закон общежития: не говорить никому ничего обидного. Он то и дело спрашивал своего камергера Польница, не собирается ли он в четвертый раз переменить религию, и обещал уплатить ему за обращение в новую веру сто экю наличными деньгами.

— Ах, Боже мой, дорогой Польниц! — говорил он. — Я позабыл, как звали того человека, которого вы обокрали в Гааге, сбыв ему фальшивые деньги, вместо настоящих; ну-ка, окажите, пожалуйста, помощь моей памяти.

Так же примерно обходился он и с бедным д'Аржансом. И тем не менее эти две жертвы остались при нем. Польниц, проев все свое добро, вынужден был глотать оскорбления, чтобы жить: другого хлеба у него не было; а у д'Аржанса только и было имущества на всем свете, что его «Еврейские письма», да жена, носившая фамилию Кошуа, плохая провинциальная актриса, такая безобразная, что ничего не могла заработать никаким ремеслом, хоть и бралась за всякие. А что касается Мопертюи, который был так опрометчив, что держал все деньги в Берлине, забывая, что лучше иметь сто пистолей в свободной стране, чем тысячу — в деспотической, — то ему поневоле приходилось оставаться в кандалах, которые сам же он себе выковал.

Покинув чертоги Альцины, я провел месяц у герцогини Саксен-Готской, самой лучшей государыни на свете,

самой кроткой, самой благоразумной, самой ровной и, слава Богу, не писавшей стихов. После того я прожил несколько дней в загородном дворце у ландграфа Гессенского, который был еще более далек от поэзии, чем принцесса Готская. Я вздохнул свободно. Не торопясь, совершал я свой путь, держа направление на Франкфурт. Вот тут-то и ждала меня чрезвычайно странная участь.

Во Франкфурте я захворал; одна моя племянница, вдова капитана Шампанского полка, женщина очень приятная, разнообразно одаренная и считавшаяся притом в Париже великосветской дамой, имела мужество расстаться с Парижем, чтобы навестить меня на Майне; но застала меня на положении военнопленного. Вот как произошло это замечательное событие. Жил во Франкфурте некий Фрейтаг, изгнанный из Дрездена, где был выставлен в свое время у позорного столба и приговорен к каторжным работам, а затем, уже во Франкфурте, ставший дипломатическим агентом прусского короля, который охотно пользовался услугами таких подручных, благо все их жалованье составлялось из того, что им удавалось сорвать с проезжих.

Этот посол и некий купец, по фамилии Шмидт, оштрафованный некогда за выделку фальшивой монеты, заявили мне от имени его величества короля прусского, что я не выеду из Франкфурта, покуда не отдам увезенных мною ценностей его величества.

— Увы, господа, из этой страны я не увожу, клянусь вам, ровно ничего, даже ни малейших сожалений. О каких драгоценностях бранденбургской короны ведете вы речь?

— О поэтических произведениях короля, милостивого моего повелителя¹, — ответил Фрейтаг.

— О, я всей душой рад буду вернуть ему и прозу и стихи, — сказал я, — хотя у меня, впрочем, немало прав на эти сочинения. Он преподнес мне в подарок роскошное их издание, напечатанное на его счет. К несчастью, это издание находится сейчас в Лейпциге вместе с остальной моей кладью.

¹ Эти слова Фрейтага, так же как и записка его, приведенная ниже, переданы Вольтером на ломаном французском языке, с соблюдением особенностей немецкого произношения. (*Прим. перев.*)

Тогда Фрейтаг предложил мне дожидаться прибытия во Франкфурт сокровища, оставленного в Лейпциге, и выдал за своей подписью такой превосходный документ:

«Милостивый государь,

Как только окажется здесь большой лейпцигский тюк, где находятся поэтические произведения короля моего повелителя, каковые его величество требует вернуть, и как только эти поэтические произведения будут отданы мне, вам можно будет ехать, куда вам заблагорассудится.

Франкфурт. 1 июня 1753 г.

Фрейтаг, резидент короля, моего повелителя.

Я приписал внизу: «Что касается возврата поэтических произведений короля, вашего повелителя, согласен», — чем резидент остался весьма доволен.

«Большой тюк поэтических произведений» прибыл 17 июня. Я добросовестно сдал эту священную поклажу и счел, что могу теперь ехать, уже не причиняя больше обиды никаким коронованным особам; однако в минуту отъезда берут под стражу меня, моего секретаря и моих слуг; берут под стражу мою племянницу; четыре солдата волокут ее по грязи к купцу Шмидту, которому присвоен был чин тайного советника при прусском короле. Этот франкфуртский купец возомнил себя в ту пору прусским генералом; участвуя в этом крупном деле, он с подобающей случаю важностью и величием командовал дюжиной гарнизонных солдат. У моей племянницы был паспорт, выданный от имени французского короля, а кроме того, она ведь никогда не правила стихов короля прусского. Обычно дамам уважение оказывается даже среди ужасов войны; но советник Шмидт и резидент Фрейтаг, действуя по поручению Фридриха, думали, видно, угодить ему, волоча по грязи бедную представительницу прекрасного пола.

Нас сунули в какой-то трактир, у ворот которого выстроилось двенадцать солдат; четырех из них отрядили ко мне в комнату, четырех в мансарду, куда отвели мою племянницу, и еще четырех — на чердак, где моему секретарю пришлось мерзнуть и спать на соломе. У племянницы была, правда, небольшая кровать, но полог и горничных заменяли четыре солдата, вооруженные ружьями с примкнутыми штыками.

Сколько мы ни толковали, что обратимся к императору, что избрание его состоялось во Франкфурте, что секретарь мой—флорентинец и подданный его императорского величества, что мы с племянницей — подданные христианнейшего короля и что нам не о чем тягаться с Бранденбургским маркграфом,—в ответ нам сказали только, что во Франкфурте маркграф пользуется бóльшим весом, чем император. Двенадцать дней продержали нас в плену, и за каждый день плена нам пришлось уплатить по сто сорок экю.

Купец Шмидт забрал всю мою кладь, которая была возвращена мне затем полегчавшей наполовину. Дорого обошлись мне «поэтические произведения короля прусского». У меня пропала, примерно, та самая сумма, какую он затратил на вызов мой к себе и на оплату моих уроков. Мы были, стало быть, в расчете.

В довершение всего некий Ван-Дюрен, гаагский книгоиздатель, по ремеслу мошенник, а по житейским навыкам злостный банкрот, проживал в то время на покое во Франкфурте. Это был тот самый человек, которому когда-то, тринадцать лет назад, я подарил рукопись Фридриха «Анти-Макиавелли». Друзья познаются в беде. Он заявил, что с его величества ему следует двадцать дукатов и что этот долг повинен погасить я. Он насчитал проценты, да еще проценты на проценты. Франкфуртский бургомистр Фишар, который был, как говорится, бургомистром-правителем, нашел в качестве бургомистра расчеты его верными, а в качестве правителя заставил меня выложить из кармана тридцать дукатов, из которых двадцать шесть взял себе, а четыре отдал мошеннику-издателю.

Покончив с этим остгото-вандалским делом, я обнял на прощанье дорогих хозяев и поблагодарил их за ласковый прием.

Несколько времени спустя я поехал на Пломбьерские воды; пил же я главным образом воду Леты, в твердом убеждении, что несчастья, какого бы рода они ни были, лишь на то и годны, чтобы предавать их забвению. Моя племянница г-жа Дени, ставшая моим утешением и привязавшаяся ко мне в силу склонности своей к литературе и в силу самой нежной ко мне приязни, совершала со мною путь из Пломбьера в Лион. Там встречен я был приветственными кликами всего города и довольно холодно кардиналом де Тансенем, архиепископом Лион-

ским, который известен был тем, что начало служебным своим успехам положил, обратив в католичество пресловутого Ло, основателя расшатавшей Францию банковской системы. Поместный собор, созванный в Эмбрене, завершил успехи архиепископа, начавшиеся с обращения Ло. «Система» обогатила его так, что у него хватило средств на покупку кардинальской шляпы. Он был назначен министром и, в качестве такового, признался мне доверительно, что не может пригласить меня на званый обед, так как французский король сердится на меня за переход к королю прусскому. Я ответил ему, что не обедаю никогда, а что касается королей, то при общении с ними я, как светский человек, ни в чем не принуждаю своей воли, так же, впрочем, как и при сношениях с кардиналами. Мне советовали поехать на воды в Савойю, в Экс; хотя и они находились под владычеством некоего короля, я всё же отправился их пить. Путь лежал через Женеву; известный врач Троншен, незадолго перед тем обосновавшийся в Женеве, сказал, что воды Экса убьют меня, он же вернет меня к жизни.

Я принял предложенное им решение. Католикам не разрешается селиться ни в Женеве, ни в протестантских кантонах Швейцарии. Мне показалось забавным приобрести поместье в той единственной на свете стране, где мне не дозволялось владеть землей.

Путем странной и беспримерной в тех краях сделки купил я небольшое именье, примерно в шестьдесят арпанов, за которое взяли с меня вдвое дороже против того, что стоило бы оно под Парижем; но житейские отрады оправдывают любой расход; дом красив и удобен; вид оттуда очарователен: он изумляет и не может надоесть. С одной стороны — Женевское озеро, с другой — город. Бурля и пенясь, вытекает оттуда Рона, образуя в нижней части моего сада проток; река Арва, берущая начало в Савойе, стремительно вливается в Рону; дальше видна еще одна речка. Сотней загородных дач, сотней веселых садов украшены озерные и речные берега; вдали возвышаются Альпы, и сквозь их расселины открывается протянувшаяся на двадцать лье горная цепь, покрытая вечными снегами. В Лозанне у меня есть еще более красивый дом с еще более широким видом, но дом под Женевой гораздо уютнее. В этих двух жилищах у меня есть то, чего не дадут короли, или, вернее, то, что они но-

ровят отнять: это покой и воля; и есть у меня там еще и то, что они иной раз дают, но что я получил не из их рук: я осуществляю на деле сказанное мною в «Светском человеке»:

О время славное — железный век!

Всеми удобствами жизни, в смысле убранства комнат, домашней утвари и хорошего стола, располагаю я в этих двух домах; мирным общением с умными людьми заполнены у меня мгновения, свободные от занятий и от забот о своем здоровье. При виде всего этого не один из дорогих моих братьев-писателей лопнул бы от огорчения; а между тем я родился ведь далеко не богатым. Меня спрашивают, каким искусством добился я того, что живу, словно какой-нибудь откупщик. Это нужно объяснить затем, чтобы мой пример пошел на пользу. Я перевидал столько писателей бедных и презираемых, что давно уж решил не умножать собою их числа.

Во Франции приходится быть либо наковальной, либо молотом; я родился наковальной. Жалкое наследство становится день от дня все более жалким, потому что с течением времени все предметы возрастают в цене и потому что правительство подвергает частым изменениям размер ренты и стоимость денег. Надо внимательно следить за всеми мероприятиями, какие правительство — всегда обремененное долгами и всегда непостоянное — проводит в области государственных финансов. Среди этих мероприятий всегда бывает такое, из которого частный человек может извлечь выгоду, никому при этом не обязываясь; а нет ничего слаще, чем обогащение, достигнутое собственными усилиями: первый шаг стоит еще некоторых трудов, дальнейшие же легки. Надо быть бережливым смолоду, и тогда под старость обнаруживаешь у себя запас средств, которому и сам бываешь удивлен. А в этом возрасте богатство нужнее всего, в этом возрасте я и благоденствую; и, пожив в гостях у королей, я напоследок у себя дома сам обратился в короля, невзирая на огромные убытки в прошлом.

После того как достиг я в своей жизни такого мирного достатка и полной независимости, вернулся ко мне и прусский король; в 1755 году он прислал мне оперу, сочиненную им на сюжет моей трагедии «Меропа»: это бесспорно самое плохое из всего, что он написал. С тех пор он продолжает слать мне письма; я состоял все время

в переписке с его сестрой, маркграфиней Байрейтской, которая оказывала мне неизменное благоволение.

Наслаждаясь в своем уединении жизнью самой приятной, какую только можно вообразить, я с некоторою философской радостью убедился в том, что европейские короли не вкушают такого счастливого покоя, и пришел к выводу, что жребий частного человека бывает зачастую более завиден, чем участь величайших монархов, — как вы сейчас и увидите это сами.

В 1756 году Англия из-за нескольких арпанов снега затеяла пиратскую войну с Францией; в то же самое время у императрицы, королевы венгерской, появилось, видимо, желание получить по возможности обратно свою дорогую Силезию, которую вырвал у нее из рук прусский король; в этих видах она повела переговоры с русской императрицей и с польским королем, — с ним, однако же, только как с курфюрстом саксонским, ибо с поляками переговоров не ведут. Французский король, со своей стороны, хотел выместить на ганноверских владениях то зло, какое причинял ему на море ганноверский курфюрст, он же английский король. Фридрих, который являлся в то время союзником Франции и глубоко презирал наше правительство, предпочел союз с Англией союзу с Францией и вошел в соглашение с ганноверским двором, рассчитывая, что сумеет одной рукой помешать вторжению в Пруссию русских, а другой — воспрепятствовать вступлению в Германию французов; он обманулся и в том и в другом своем предположении; но было у него еще и третье, которое его не обмануло: оно заключалось в том, чтобы под предлогом дружбы совершить нашествие на Саксонию и на деньги, награбленные у саксонцев, повести войну с императрицей, королевой венгерской.

Этой странной проделкой бранденбургский маркиз единолично изменил всю систему европейских политических связей. Французский король, желая сохранить в силе свой союз с ним союз, направил к нему герцога де Нивернэ, остроумного человека, сочинявшего отличные стишки. Посольство герцога, пэра и поэта должно было, казалось бы, польстить самолюбию Фридриха и прийтись ему по вкусу; он посмеялся над французским королем, подписав договор с Англией в тот самый день, когда посол прибыл в Берлин, весьма вежливо околпачил герцога и пэра, а на поэта сочинил эпиграмму.

В те времена государствами правила преимущественно поэзия. Был в Париже еще другой поэт, человек родовитый, крайне бедный, но очень любезный — одним словом, аббат де Бернис, впоследствии кардинал. Начал он с сочинения стихов, направленных против меня, а затем стал моим другом, от чего не было ему никакого прока; но он вступил в дружбу и с г-жой де Помпадур, и это оказалось более прибыльным. С Парнаса его отправили послом в Венецию. Он пользовался тогда в Париже очень большим влиянием.

В ту роскошную книгу «поэтических произведений», которую г-н Фрейтаг так настойчиво требовал от меня во Франкфурте, прусский король ввернул такой стишок, направленный против аббата де Берниса:

Не подражай пустой болтливости Берниса*.

Эта книга и этот стих едва ли, думается мне, попались на глаза аббату; но Бог прав, и Бог при его посредстве отомстил королю прусскому за Францию. Наперекор тогдашнему министру иностранных дел Руйэ, аббат заключил с австрийским послом г-ном фон Штарембергом наступательный и оборонительный договор. Руководила переговорами г-жа де Помпадур. Руйэ был вынужден подписать договор совокупно с аббатом де Бернисом, что являлось беспремерным в истории случаем. Этот Руйэ был, надо сознаться, самым бездарным из всех министров, какие только бывали у французского короля, и самым невежественным из всех педагогов, носивших когда-либо профессорскую тогу. Он спросил однажды, не в Италии ли находится Ветеравия*. Пока не было щекотливых дипломатических дел, его терпели, но как только возникли сложные задачи, неспособность его дала себя знать: его прогнали, и его место занял аббат де Бернис.

Девица Пуассон, в супружестве Ле Норман, маркиза де Помпадур была на деле главой правительства. Кое-какие оскорбительные выражения, допущенные в отношении нее Фридрихом, который не щадил ни женщин, ни поэтов, уязвили маркизу в самое сердце и немало подействовали крутому повороту международных дел, в одно мгновение помирившему французский королевский дом с австрийским после более чем двух столетий взаимной ненависти, по общему мнению, неизбывной. Французский двор, который в 1741 году намеревался раздавить Австрию,

в 1756 году поддержал ее, и в заключение Франция, Россия, Швеция, Венгрия, половина Германии и фискал империи объявили войну оставшемуся в одиночестве бранденбургскому маркизу.

У этого государя, чей дед едва находил в свое время средства для содержания двадцати тысяч солдат, была теперь армия в сто тысяч человек пехоты и в сорок тысяч конницы, хорошо подобранная, еще того лучше обученная и снабженная всем; но против Бранденбурга было выставлено в конечном счете четыреста тысяч вооруженных людей.

Случилось так в эту войну, что поначалу каждая из сторон забрала всё находившееся в пределах ее досягаемости. Фридрих взял Саксонию; Франция взяла владения Фридриха от города Гельдерна до Миндена на Везере и на время захватила курфюршества Ганноверское и Гессенское, состоявшее с Фридрихом в союзе; русская императрица взяла всю Пруссию; король, сперва разбитый русскими, разбил австрийцев, но затем 18 июня 1757 года был разбит ими в Богемии.

Стоило, кажется, этому монарху проиграть еще одно сражение, и он был бы сокрушен. Стесненный со всех сторон русскими, австрийцами и Францией, он и сам считал себя погибшим. Маршал де Ришельё только что подписал с ганноверцами и гессенцами договор, похожий на тот, что был заключен когда-то в Кавдинском ущельи. Их армия была обречена на бездействие; маршал уже готов был вторгнуться в Саксонию во главе шестидесяти-тысячного войска; принц де Субиз намеревался вступить в нее с другой стороны, ведя за собой более тридцати тысяч и опираясь на армию имперских округов: оттуда намечался поход на Берлин. Австрийцы выиграли второе сражение и были уже в Бреславле; один из их генералов совершил даже набег на Берлин и принудил его к уплате контрибуции; прусская королевская казна опустела почти совершенно, и недалеко было время, когда у короля не должно было остаться ни одной деревни. Готовилось постановление о лишении его прав владетельного принца империи; суд уже начался: он был объявлен мятежником, и похоже было на то, что если попадет он в плен, то сложат голову на плахе.

При этих бедственнейших обстоятельствах в голове у него мелькнула мысль о самоубийстве. Он написал своей

сестре, маркграфине Байрейтской, что намерен покончить с собой: но не хотелось доигрывать роль, не приписав к пьесе нескольких стихов; страсть к поэзии была в нем сильнее, чем ненависть к жизни. И вот написал он маркизу д'Аржансу длинное стихотворное послание, где сообщал о своем решении и говорил последнее прости. Как ни своеобразно это послание и по своему предмету, и по тому, кто его написал, и по тому, к какому лицу оно обращено, — тем не менее нет возможности выписать его здесь целиком: слишком много в нем повторений; однако же некоторые места — если учесть, что писал их северный король — получились довольно хороши; вот несколько отрывков:

Друг, совершился жребий мой!
Устав под вражеской секирой
Склоняться гордой головой,
Гоню я прочь постылый рой,
Рой дней, исполненных печали,
Что боги щедрые мне дали —

В насмешку над моей безрадостной судьбой.
С веселым сердцем, с твердым взором,
Хочу концом, благим и скорым,
Спасти от худших зол, что присудил мне рок.
Зачем боязнь? К чему упрек!
Прости, величие! Прочь, химеры!
Моя душа не знает веры
В быстробегающий ваш поток.

.....

Гоним, уничижен, отвергнут целым светом,
Лишен обманчивых друзей,
Я так несчастен в мире этом,
Такая скорбь в душе моей,
Что мнится мне: в аду, придуманном поэтом,
Не ведал мук таких злосчастный Промегей.

Хочу прервать свои мученья —
Подобно узнику, что обрывает сам,
Назло жестоким палачам,
Позор и пытку заточенья.
Готов я способом любым
Покончить с бытием земным,
Что нитью, вьющейся устало,
Со смертным обликом моим
Полет души моей связало,
Из слов моих, достойных слез,
Ты видишь мой удел постылый:
Кончина для меня — апофеоз,
И ты не сетуй над моей могилой.

Но в день, когда цветы тебе повеют в грудь
И новая весна твои осушит слезы, —
Зеленый мирт, живые розы
Принести на гроб мой не забудь!

Он направил мне собственноручный список с этого послания. Некоторые полустишия украдены у аббата Шольё и у меня; мысли несвязны; стихи в общем плохи, но попадаются и хорошие; а для короля, да еще в том состоянии, в каком он тогда находился, сочинить послание в двести дурных стихов — это многого сто́ит. Ему хотелось показать, что он сохранял полное присутствие духа и свободу мысли в такие мгновения, когда другим это недоступно.

Письмо ко мне свидетельствовало о тех же чувствах, только тут было меньше мирт, роз, Иксионов и глубокой скорби. Я выступил с прозаическими возражениями против решения умереть, и мне не составило труда склонить его к жизни. Я советовал ему войти в переговоры с маршалом де Ришельё и последовать примеру герцога Кумберландского*. Я дал себе волю высказаться напоследок со всею откровенностью, какую можно допустить, говоря с поэтом, впавшим в отчаяние и близким к утрате королевского сана. Он и впрямь написал маршалу де Ришельё, но, так как ответа не последовало, то решил нас сокрушить. Он сообщал мне, что намерен вступить в бой с принцем де Субизом; письмо его заканчивалось стихами, более достойными его положения, его звания, его мужества и его ума:

Пред ураганом не робею:
И жизнь и смерть приять умею,
Как подобает королю.

Перейдя в наступление на французов и австрийцев, он писал своей сестре, маркграфине Байрейтской, что будет искать смерти; но оказался счастливее, чем говорил и чем думал. В ожидании нападения французской и императорской армии, он утвердился 5 ноября 1757 года на довольно выгодной позиции под Розбахом, на границах Саксонии; и после того как твердил все время, что будет искать смерти, переложил теперь выполнение этого обета на своего брата, принца Генриха, которому предстояло выдержать во главе пяти прусских батальонов первый натиск вражеских войск, пока будет громить их артиллерия Фридриха, а его конница — атаковать их конницу.

И действительно, принц Генрих оказался легко ранен в шею ружейной пулей, причем за весь день боя это

был, кажется, единственный раненый пруссак. Французы и австрийцы бросились бежать после первого же залпа. Это был самый неслыханный, самый полный разгром, какой только знала история. Битва под Розбахом останется надолго знаменита. Тридцать тысяч французов и двадцать тысяч императорских солдат были обращены в позорное, стремительное бегство всего пятью батальонами да несколькими эскадронами. Поражения под Дазенкуром, под Креси, под Пуатье были не столь унижительны.

Воинская дисциплина и выучка, введенные отцом и укрепленные сыном, были истинною причиною этой странной победы. В продолжение пятидесяти лет прусская выучка все совершенствовалась. Во Франции, как и в других государствах, решили последовать этому примеру; но с мало дисциплинированными французами нельзя было в три-четыре года проделать то, что в течение пятидесяти лет проделывалось с пруссаками; при этом во Франции с каждым смотром менялись военные приемы, вследствие чего офицеры и солдаты, плохо усвоив новые строевые упражнения, весьма отличавшиеся от старых, не научились ровно ничему и были лишены по сути дела какой бы то ни было дисциплины и какой бы то ни было выучки. Словом, при одном только виде пруссаков все кинулись бежать без оглядки, и силою счастливых обстоятельств Фридрих в какие-нибудь четверть часа был вознесен из бездны отчаяния на вершину благополучия и славы.

Он опасался, однако, как бы это благополучие не оказалось скоропреходящим; он опасался, что мощь Франции, России и Австрии навалится на него всей своею тяжестью, и у него появилось сильное желание внести раскол между Людовиком XV и Марией-Терезией.

После рокового розбаховского разгрома во всей Франции поднялся ропот против договора, заключенного аббатом де Бернисом с венским двором. Кардинал де Тансен, архиепископ Лионский, продолжал еще в то время носить звание министра и вести частную переписку с французским королем; более, чем кто-либо другой, противился он союзу с австрийским двором. В Лионе он оказал когда-то мне такой прием, которым я — как мог он догадаться — остался мало удовлетворен; тем не менее желание ввязаться в интриги, которое, как говорят, никогда не покидает должностных лиц, неотступно преследовало его во время пребывания на покое и заставило его уста-

новить со мною связь с тем, чтобы маркграфиня Байрейтская обратилась к нему за помощью и доверила ему заботу о нуждах своего брата-короля. Он хотел восстановить доброе согласие между прусским королем и французским и надеялся водворить мир. Вовлечь в эти переговоры маркграфиню и ее брата-короля было нетрудно; я взялся за это с тем большею охотой, что отлично предвидел безуспешность такой затеи.

Маркграфиня Байрейтская, действуя от имени своего брата-короля, написала письмо. Переписка принцессы с кардиналом шла через мои руки; я испытывал тайное удовлетворение, что выступаю посредником в таком важном предприятии, а может быть, попутно еще и другую радость, предчувствуя, что мой кардинал готовит себе великие неприятности. Он написал прекрасное письмо королю, препровождая ему послание маркграфини, и был совершенно ошеломлен, когда король ответил ему довольно сухо, что о своих намерениях осведомит его через статс-секретаря по иностранным делам.

И действительно, аббат де Бернис продиктовал кардиналу ответ, который предстояло ему дать маркграфине: ответ заключался в решительном отказе от вступления в мирные переговоры. Ему пришлось подписать письмо, составленное по образцу, который был доставлен аббатом де Бернисом; и это письмо он переслал мне, на чем все и кончилось; недели через две он умер с горя.

Я никогда не мог понять, как это так умирают с горя, и как это министры и старые кардиналы, люди такие жестокосердые, оказываются все же столь чувствительны, что мелкая неприятность поражает их вдруг насмерть; мне хотелось подшутить над ним, уязвить его, но вовсе не хотелось его уморить.

Было какое-то величие в том, что французское правительство отказалось от мира с прусским королем, после того как он нас разбил и унизил; была проявлена и верность слову, и доброта, когда согласились жертвовать собою и дальше ради австрийского двора; только плохо было воздаяние за эти добродетели, сужденное нам еще на долгие годы.

Ганноверцы, брауншвейгцы и гессенцы оказались менее верны своим договорным обязательствам и выгадали на этом больше нашего. По условию, заключенному в свое время с маршалом де Ришельё, они обязывались

не воевать против нас и этой ценой приобретали возможность переправиться через Эльбу, за которую их перед тем загнали; сделка, совершенная в Кавдинском ущельи, была нарушена ими немедленно, как только дошла до них весть о нашем поражении под Розбахом. Отсутствие дисциплины, дезертирство и болезни разрушили нашу армию, и к весне 1758 года итогом всех военных действий, которые мы вели в Германии в защиту Марии-Терезии, была потеря трехсот миллионов деньгами и пятидесяти тысяч людьми, то есть такая же, какую понесли мы и в 1741 году, воюя против нее.

Прусский король, разбив нас в Тюрингии, под Розбахом, отошел оттуда на шестьдесят лье, чтобы сразиться с австрийской армией, Французы могли еще в то время вступить в Саксонию, благо победители шли в ином направлении; ничто не остановило бы продвижения французов, но они побросали оружие, пушки, снаряжение, запасы продовольствия, а главное, потеряли голову. Они расплылись. Собрать их остатки удалось с трудом. Ровно через месяц Фридрих одерживает под Бреславлем еще более знаменательную и стойкую большую победу над австрийской армией; он отбивает Бреславль, захватывает там пятнадцать тысяч пленных; вся остальная часть Силезии поступает под его владычество. Таких великих дел не совершал и Густав-Адольф. Поневоле пришлось простить ему тогда и стихи, и шутки, и злые выходки, и даже грехи его в отношении женского пола. Слава героя затмила человека со всеми его недостатками.

Делис, 6 ноября 1759 г.

На этом я и прервал когда-то свои «Воспоминания», считая, что они столь же бесполезны, как «Письма» Беля к дорогой его матери, как «Житие святого Эвремона», написанное Демезо, и как жизнеописание аббата де Монгона, им же сочиненное, — однако многие предметы, на мой взгляд новые или забавные, приводят меня опять к смешной необходимости говорить с самим собою о самом себе.

Из своих окон я вижу город, где царствовал некогда пикардиец Жан Шовен, прозванный Кальвином, и площадь, на которой по его приказу сожгли Сервэ ради спасения души его. Почти все священники этой страны при-

держиваются в наши дни тех же мнений, что и Сервэ, и в своих суждениях заходят даже дальше, чем он. Иисуса Христа они вовсе не признают Богом. Эти господа, опустошившие в свое время чистилище, стали теперь так человечны, что даруют пощаду даже душам, находящимся в аду. Они утверждают, что муки их будут не бесконечны, что Тезею не век сидеть в кресле и Сизифу не век катать камень: таким образом, из ада, в который они больше не верят, они сделали чистилище, в которое тоже не верили. Хорошенький, нечего сказать, переворот в истории человеческого духа! Было из-за чего резать друг другу глотки, возводить людей на костры и устраивать варфоломеевские ночи; при этом даже и бранными словами не перекинулись, — вот до чего изменились нравы. Только мне наговорил таких слов один из этих пасторов за то, что я осмелился назвать пикардийца Кальвина человеком жестокоумным, весьма неуместно приговорившим Сервэ к сожжению. Полюбуйтесь, пожалуйста, на противоречия мира сего: люди, ставшие почти открытыми последователями Сервэ, ругают меня за то, что я осуждаю сожжение его по приказу Кальвина на медленном огне, на костре из сырого хвороста.

Они решили доказать мне документально, что Кальвин был добродушный малый: они обратились в Женевский совет с просьбой сообщить им подлинные акты судопроизводства по делу Сервэ; совет, будучи благоразумнее их, отказал им в этом; им не дозволили выступать в Женеве с письменными возражениями против меня. В этом небольшом своем торжестве я вижу прекраснейший образец успехов, достигнутых в наш век рассудком.

В Лозанне философия одержала еще более крупную победу над своими врагами. Тамошние пасторы вздумали сочинить какую-то плохонькую книжонку*, направленную против меня, во славу — как они говорили — христианской религии. Я без труда нашел способ наложить арест на все ее оттиски и изъять ее из обращения по приказу судебных властей: это был, может быть, первый случай, когда богословов заставили замолчать и проявить уважение к философу. Судите же, как могу я не любить до страсти эту страну. Мыслящие существа, довожу до вашего сведения, что очень приятно жить в республике, руководителям которой можно сказать:

— Приходите ко мне завтра обедать.

Тем не менее я чувствовал, что такой свободы мне еще мало; и достойно, по-моему, некоторого внимания, что для достижения полной свободы я купил имение во Франции. Там, на расстоянии одного лье от Женевы, было два подходящих для меня участка, которые в былые времена пользовались всеми правами и преимуществами, присвоенными этому городу. Мне посчастливилось получить от короля грамоту, которая закрепляет эти права и преимущества за мной. Свое существование я в конце концов обставил так, что пользуюсь независимостью и в Швейцарии, на Женевской территории, и во Франции.

Я слышу много толков о свободе, но думаю, что вряд ли найдется в Европе частный человек, который сумел бы добыть себе такую свободу, как я. Да последует моему примеру всяк, кто хочет и кто может.

Нет сомнения, что искать свободы и покоя вдали от Парижа было как нельзя более своевременно. Мальчишеские распри дошли там в ту пору до такого же безумия и неистовства, как во времена фронды; нехватало только гражданской войны. Но так как в Париже не было тогда ни такого «короля рыночной площади», каков был герцог де Бофор, ни коадьютора, который благословлял бы народ кинжалом, то дело обошлось только гражданскими дрязгами. Они начались с чеков для предъявления на том свете, придуманных, как я уже говорил, парижским архиепископом Бомоном, человеком упрямым, творившим зло чистосердечно, от избытка усердия, суровым безумцем, истым святым в духе Фомы Бекета. Ссора разгорелась из-за какой-то больничной должности, право замещения которой хотел присвоить себе парижский парламент, архиепископ же объявил ее должностью священной, находящейся лишь в церковном подчинении. Весь Париж принял участие в споре; мятежные кучки янсенистов и молинистов не щадили друг друга; король решил обойтись с ними так, как поступают иной раз с уличными драчунами: чтобы их разнять, им выливают на голову ушат воды. Он признал, что обе стороны неправы, как оно и было в действительности; но их это только еще пуще раззадорило; он сослал архиепископа; он сослал парламент; но хозяин может только тогда разгонять своих слуг, когда уверен, что найдет на их место других; двор был вынужден в конце концов вернуть парламент в Париж, ибо на

рассмотрение так называемой королевской палаты, учрежденной для решения судебных тяжб и состоявшей из государственных советников и рекетмейстеров, не поступало никаких дел. Парижане вбили себе в голову, что могут вести тяжбы только в том суде, который именуется парламентом. Итак все члены его были вызваны назад и сочли, что одержали славную победу над королем. В одном из своих представлений они дали ему отеческий совет не ссылать другой раз свой парламент, приняв в соображение, что это может, по их словам, «подать дурной пример». Они добились, наконец, того, что король решил упразднить хотя бы одну из их палат, а другие преобразовать. Тогда все эти господа, за исключением только тех, что состояли членами главной палаты, подали в отставку; поднялся ропот: в здании суда открыто произносились речи против короля. Огонь, исходивший из всех уст, разгорелся, к несчастью, ярким пламенем в мозгу некоего лакея, по фамилии Дамьен, который часто бывал в главном зале судебных заседаний. Следственным производством установлено, что этот яростный приверженец парламента не собирался убивать короля, а хотел только немного проучить его. Чего только не приходит людям в голову. Этот жалкий человек служил когда-то надзирателем в иезуитском училище, в училище, где мне случалось видеть, как школьники тыкают надзирателей перочинными ножами и получают от них сдачи тем же оружием. С таким намерением Дамьен и отправился в Версаль, где, миновав толпу окружавших короля телохранителей и придворных, ранил его маленьким ножичком, какими чинят перья.

Под тяжелым впечатлением случившегося это покушение было приписано иезуитам, про которых толковали, что славу убийц они приобрели законно, по праву давности. Я читал письмо некоего отца Гриффе*, где он говорит:

«На сей раз это не мы: настал черед господ судейских».

Судить убийцу должен был, разумеется, главный королевский судья, так как преступление было совершено в пределах дворцовой ограды. Несчастный стал валить вину на семерых членов следственной палаты парламента; следовало бы оставить в силе это обвине-

ние, а преступника казнить, — таким способом король на вечные времена опорочил бы парламент и обеспечил бы себе перевес над ним, такой же прочный, как прочна монархия. Говорят, будто разрешение на передачу дела в парламент было дано королем по наущению г-на д'Аржансона, который получил за это достойную награду: через неделю его постигла отставка и ссылка.

Король имел слабость наградить высокими окладами жалованья советников, которые вели следствие по делу Дамьена, словно они оказали ему какую-то знаменательную и трудную услугу. Такое поведение короля окончательно вскружило голову господам следователям и вдохновило их на новые проявления самонадеянности; они возомнили себя важными особами, и опять пробудились в них пустые мечты о том, будто им дано быть представителями народа и опекунами королей; а когда суматоха миновала и делать им стало нечего, они начали забавляться гонениями на философов.

Омер Жоли де Флэри, генерал-адвокат парижского парламента, на общем собрании его палат дал место такому полному торжеству невежества, недобросовестности и лицемерия, какого на их долю никогда еще не выпадало. Несколько писателей, весьма почтенных и в смысле знаний и в смысле поведения, задумали составить общими силами огромный словарь всего, что может быть уяснено человеческим разумом; для французского книжного рынка это был предмет очень крупной торговли; канцлер и министры поощряли это прекрасное предприятие. Вышло в свет уже семь томов; их переводили на итальянский, на английский, на немецкий, на голландский языки; и это сокровище, доступное благодаря французам всем народам, доставило нам в то время заслуженную честь, ибо отличнейшими статьями «Энциклопедического словаря» вполне искупались плохие, которых набралось, впрочем, достаточно много. Этот труд нельзя было упрекнуть ни в чем, разве только в чрезмерном изобилии ребяческого витийства, заимствованного авторами сборника из посторонних источников, откуда они, к сожалению, черпали без особого разбора, лишь бы увеличить объем издания; но все, что исходит от самих авторов, превосходно.

И вот 23 февраля 1759 года Омер Жоли де Флэри выступает против этих несчастных людей с обвинением в том, что они — безбожники, деисты, совратители юношества, крамольники и т. д. Справедливость этого обвинения Омер доказывает ссылками на апостола Павла, на процесс Теофиля* и на Авраама Шоме. Нехватало ему только одного: он не прочитал книги, против которой выступал, а если прочитал ее, то удивительный дурак был этот Омер. Он требует, чтобы суд вынес обвинительный приговор против статьи «Душа», где он усматривает чистейший материализм. Заметьте себе, что статья «Душа», одна из самых плохих во всей книге, является произведением некоего убогого доктора Сорбонны*, который разливается в красноречии, толкуя вкривь и вкось о материализме. Вся речь Омера Жоли де Флэри была сплошь соткана из подобных ошибок. Таким образом, он подает суду донос на книгу, которой не читал или не понял; и весь парламент осуждает, по требованию Омера, это издание, не только не изучив его, но не прочитав из него ни одной страницы. Этот способ вершить правосудие гораздо хуже того, какой применял Бридуа*, ибо Бридуа мог по крайней мере хоть случайно напасть на правильное решение.

Издателям был выдан в свое время королевский патент. Парламент не только не имеет права отменять патенты, выданные его величеством, но не может подвергать пересмотру решения совета и вообще ничего, что канцлерский дом утвердил приложением печати; тем не менее он присвоил себе право осудить то, что канцлер одобрил; разрешение затронутых в «Энциклопедии» математических и метафизических вопросов он поручил советникам. Всякий сколько-нибудь твердый канцлер отменил бы решение парламента, как превышающее пределы предоставленной ему власти; канцлер де Ламуаньон удовольствовался тем, что отобрал патент, чтобы уйти от позора, каким являлся для него судебный пересмотр и осуждение того, что он скрепил печатью верховной власти.

Можно подумать, что это событие времен отца Гарасса* и указов о запрещении рвотных средств*; а между тем это произошло в наш, единственный в истории Франции, просвещенный век; вот уж подлинно: довольно одного дурака, чтобы обесславить целый народ. Легко

после этого согласиться с тем, что при таких обстоятельствах философу не следовало жить в Париже и что весьма благоразумно поступил Аристотель, когда из Афин, где господствовал в то время фанатизм, удалился в Халкиду. А кроме того, в Париже звание писателя ниже рангом, чем звание уличного фигляра; а звание действительного камер-юнкера его величества, сохраненное за мной королем, тоже не очень-то значительно. Люди глупы, и лучше, на мой взгляд, построить себе красивый замок, — что я и сделал, — ставить там на домашней сцене комедии и вкусно есть, чем, подобно Гельвецию, быть затравленным хозяевами парламентского двора и сорбоннской конюшни. Так как я не в силах был, конечно, сделать людей более благоразумными, парламент менее самонадеянным, а богословов менее смешными, то я продолжал благоденствовать вдали от них.

Я чуть что не стыжусь своего благоденствия, наблюдая за всеми бурями из гавани. Я вижу залитую кровью Германию; разоренную сверху донизу Францию, нашу побежденную армию и наш разбитый флот, наших министров, которых смещают одного за другим, отчего наши дела ничуть не поправляются; вижу Португальского короля*, убитого не лакеем, а местными вельможами, причем на этот раз иезуиты уж не могут сказать: «Это не мы». Они сохранили за собою свое исконное право, и впоследствии было твердо доказано, что нож был вложен в руку бесчеловечных убийц благостными отцами в их святых целях. Они говорили в свое оправдание, что они — государи Парагвая и что с португальским королем они посчитались, как венценосцы с венценосцем.

Вот еще одно небольшое происшествие, одно из самых странных, какие только случались с тех пор, как водятся на земле короли и поэты. Фридрих, потратив довольно много времени на оборону границ Силезии и засидевшись ради этого в неприступном лагере, напоследок соскучился и от нечего делать сочинил оду против Франции и против ее короля. В начале мая 1759 года он прислал мне эту оду, под которой была подпись: «Фридрих», и приложил к ней огромную кипу стихов и прозы. Вскрываю пакет и вижу, что не я первый его вскрываю: было заметно на-глаз, что его распечатывали дорогой. Я оледенел от страха, прочитав в этой оде следующие строфы:

Ваша нация — презренна!
Я поклонялся прежде сам
Люксембурга и Тюренна
Торжествующим бойцам.
Неразлучные со славой,
Шли они на пир кровавый,
Веря в родину свою.
Нынче — вижу сброд гонимый,
В грабежах неутомимый
И трусливейший в бою.
Как! бездельник ваш державный,
Он, игрушка Помпадур,
Он, кого в игре бесславной
Метит клеймами Амур,
Он, кто нацию бесславит,
Кто вожами вяло правит,
А куда — не знает сам, —
Этот раб — вещает с трона!
Слышу я от Селадона
Повеленья — королям!
Он не ведает в Версале,
Созерцая сны свои,
Что от века управляли
Миром — славные бои!

и т. д.

Итак, я трепетал, глядя на эти стихи, среди которых попадаются и хорошие, или во всяком случае такие, которые могут сойти за хорошие. А за мной, к несчастью, утвердилась та, вполне заслуженная слава, что все стихи прусского короля выправлял до сих пор я. Пакет был вскрыт в дороге; стихи просочатся в публику; французский король подумает, что они моего сочинения, и я окажусь повинен в оскорблении величества; а что еще хуже — окажусь повинен перед г-жой де Помпадур.

Испытывая смятение, я приглашаю к себе французского резидента в Женеве; показываю ему пакет; он тоже убеждается в том, что пакет, до того как попал ко мне, кем-то распечатывался. Он решает, что раз дело может стоить мне жизни, то нет другого выхода, как только переслать пакет французскому министру герцогу де Шуазелю. При других обстоятельствах я не пошел бы на такой шаг, но тут надо было спасти себя от верной гибели: я ознакомил парижский двор со всеми сокровенными свойствами его врага. Я прекрасно знал: герцог де Шуазель этим не злоупотребит; он ограничится попыткой убедить французского короля в том, что прус-

ский король — его непримиримый враг, которого следует по возможности раздавить. Герцог де Шуазель не ограничился этим: это — человек большого ума; он пишет стихи; пишут их и некоторые его друзья; прусскому королю он отплатил той же монетой и прислал мне оду против Фридриха*, столь же едкую, столь же грозную, как и та, которую Фридрих написал против нас. Вот отдельные образчики его стихов:

Ужели он — тот гений новый,
Что мнил в Германии суровой
Зажечь светильник славных дел?
Был прав отец его ужели,
Когда младенца в колыбели
Однажды задушить хотел?
.....
Пусть возглашал он пышным слогом,
Что муз-богинь с фракийским богом
В своих деяньях примирил, —
Он стал, наглея час от часу,
Не ближе к Марсу и к Парнасу,
Чем братья — Мевий и Зоил.

Герцог де Шуазель, пересылая мне этот ответ, сообщил, что обязательно напечатает его, если прусский король опубликует свое произведение, и что Фридрих будет побит не только — как надеются — мечом, но и пером. Если бы явилось у меня желание поразвлечься, то только от меня зависело сделать так, чтобы французский король вступил с прусским королем в стихотворный бой: это было бы еще никогда не виданное на свете зрелище. Но я доставил себе удовольствие другого рода, проявив больше благоразумия, чем Фридрих: я написал ему, что ода его весьма хороша, что, однако же, не надо предавать ее огласке, что он не нуждается в прославлении себя таким способом, что не следует закрывать себе все пути к примирению с французским королем, ожесточать его без оглядки и наталкивать на принятие крайних мер к тому, чтобы добиться справедливого отмщения. Я добавил, что моя племянница сожгла его оду из опасения, как бы не приписали ее мне. Он поверил и поблагодарил меня, не упустив, однако, случая упрекнуть меня в том, что я сжег самые лучшие стихи, какие только случалось ему писать. Герцог де Шуазель, со своей стороны, сдержал слово и не проговорился.

Чтобы довершить шутку, я задумал умиротворить Европу, взяв для этого за основу те самые два стихотворения, которые чуть было не повели к продлению войны до тех пор, пока Фридрих не будет раздавлен. Переписка с герцогом де Шуазелем породила во мне этот замысел, который показался мне столь нелепым, столь отвечающим всему тогда происходившему, что я за него ухватился: мне доставляло удовлетворение доказывать на собственном примере, как тонки и как хрупки те оси, на которых вертятся судьбы государств. Герцог де Шуазель написал мне несколько писем, предназначенных не только для моего прочтения и составленных так, чтобы прусский король мог отважиться на кое-какие миролюбивые предложения, и чтобы отношения Австрии с французским правительством остались при этом ничем не омраченными. И Фридрих писал мне подобные же письма, которые не могли причинить неудовольствия лондонскому двору. Эта щекотливейшая переписка продолжается до сих пор: она похожа на ужимки двух котов, которые то покажут друг другу бархатную лапку, то выпустят когти. Прусскому королю, разбитому русскими и потерявшему Дрезден, необходим мир; Франция, разбитая на суше ганноверцами, а на море англичанами, и весьма некстати оставшаяся без денег, вынуждена кончать эту разорительную войну.

Вот чем все кончилось, Эмилия, — увы! —

Делис, 27 ноября 1759 года

Продолжаю свои воспоминания, и говорить приходится попрежнему о вещах странных. Прусский король писал мне 17 декабря:

«Напишу вам подробнее из Дрездена, где буду через три дня».

А через три дня ему наносит поражение фельдмаршал Даун, и он теряет в этом бою восемнадцать тысяч солдат. Все это представляется мне попросту басней о горшке молока*. Наш великий мореплаватель Берье, ранее лейтенант парижской полиции, перешедший с этой должности на должность статс-секретаря и морского министра, не выдавши до того никакого иного флота, кроме только галиота в Сен-Клу, да оксерского почтового. рыдвана, — наш Берье, говорю я, возмечтал

соорудить прекрасную флотилию для производства высадки в Англии; но стоило только нашим судам высунуть нос за пределы Брестского порта, как одни оказались потоплены англичанами, другие разбились об утесы, третьи растрепал ветер или поглотила морская волна.

Генерал-контролером финансов сделался у нас некий Силуэт, который до тех пор известен был только тем, что перевел прозой несколько стихов Попа; он прослыл орлом; но не прошло и четырех месяцев, как орел обернулся гусенком. Он открыл способ подорвать кредит до такой степени, что у государства внезапно нехватило средств на оплату жалованья войскам. Король был принужден отправить на монетный двор свою посуду; добрая половина королевства последовала его примеру.

12 февраля 1760 года

Наконец после ряда предательских поступков короля прусского, состоявших в том, например, что он переслал в Лондон письма, которые я ему доверил, что он хотел посеять раздор между нами и нашими союзниками, — предательских поступков, весьма позволительных для короля, особенно в военное время, — я получаю от прусского короля собственноручное предложение вступить в мирные переговоры, к чему он не мог не присоединить стихов: без стихов он никогда обойтись не может. Я пересылаю это предложение в Версаль; сомневаюсь, чтобы его там приняли: отдавать он ничего не хочет, а предлагает вознаградить саксонского курфюрста за убытки, уступив ему Эрфурт, который принадлежит курфюрсту Майнцскому: он никак не может не ограбить кого-нибудь; такая уж у него повадка. Посмотрим, к чему приведут эти выдумки, а главное, к чему приведет предстоящая кампания.

К этой великой и грозной трагедии неизбежно примешивается всегда и нечто комическое: в Париже только что вышли из печати «Поэтические произведения короля, моего повелителя», — как называл их Фрейтаг; там есть послание к фельдмаршалу Кейту, где Фридрих сильно издевается над бессмертием души и над христианами, чем иные люди недовольны; кальвинистские пасторы ропщут; эти пасторы видели в нем опору их правого дела; они восхищались им, пока он сажал в ка-

зематы лейпцигских судей и лишал их крова, чтобы получить с них деньги. Но с тех пор как он вздумал переводить кое-какие отрывки из Сенеки, Лукреция и Цицерона, его почитают за изверга. Священники готовы были бы причислить к лику святых даже Картуша*, если бы он оказался набожен.





философские

ДИАЛОГИ

И

фрагменты





РАЗГОВОРЫ МЕЖДУ А, В и С

1768

РАЗГОВОР ТРЕТИЙ

*Рождается ли человек злым
и сыном диавола*

В

Вы англичанин, господин А, скажите же нам откровенно, что вы думаете о справедливом и несправедливом, о правительстве, религии, войне, мире, законах, и т. д., и т. д.

А

Охотно. Самое справедливое, по-моему, это — свобода и собственность. Я очень рад, что и моя доля имеется в миллионе фунтов стерлингов, который ежегодно предоставляется моему королю на потребности его дома, лишь бы и я пользовался своим добром у себя дома. Я хочу, чтобы у каждого была своя прерогатива: я знаю только законы, которые меня охраняют, и я считаю наше правительство лучшим на свете, потому что каждый делает у нас, что ему надлежит, что он должен и может. Все подчинено закону, начиная с королевской власти и церкви.

С

Вы, значит, не признаете права Божьей милостью в человеческом обществе?

А

Всё, если хотите, зависит от Божьей милости, потому что Бог создал людей и ничто не случается без Божьей воли и без участия вечных, вечно исполняющихся законов; в том, что есть архиепископ Кентерберийский, например, Божьей милости не больше, чем в том, что я родился членом парламента. Когда Господу угодно будет снизойти на землю, чтобы дать священнослужителю место с двенадцатью тысячами гиней дохода, тогда я скажу, что это место получено по праву Божьей милостью; но пока я буду считать это право весьма человеческим.

В

Словом, все сводится у людей к договору; это Гоббс в чистейшем виде.

А

Гоббс был в этом вопросе только эхом всех здравомыслящих людей. Все сводится к договору или силе.

С

Разве не существует вовсе естественного закона?

А

Один во всяком случае существует, — это интерес и разум.

В

Человек, таким образом, действительно с самого рождения находится в состоянии войны, потому что наш интерес почти всегда — в бою с интересом наших ближних, а наш разум мы ставим на службу тому интересу, который нас воодушевляет.

А

Если бы естественным состоянием человека была война, то люди перерезали бы друг друга: нас бы давно уже не было не свете (благодарение Господу!). С нами произошло бы то же, что с людьми, родившимися от змея Калмуса; они начали сражаться, и ни одного не осталось в живых. Если бы человек рождался, чтобы уби-

вать своего ближнего и быть убитым им, он неукоснительно выполнял бы свое предназначение, как выполняют свое ястребы, пожирающие моих голубей, и куницы, высасывающие кровь из моих кур. Известны народы, которые никогда не вели войны: таковы, как утверждают, брамины, таковы, как утверждают, различные народности на островах Америки, которых истребили христиане, так как не смогли обратить их в христианство. Простаки, которых мы называем квакерами, уже составляют в Пенсильвании довольно многочисленное племя, и они питают ужас ко всякой войне. Лапландцы, самоеды никогда не убивали никого под боевыми знаменами. Война, следовательно, не является природным свойством человеческого рода.

В

Но все же склонность вредить, радость от уничтожения своего ближнего по ничтожнейшему поводу, самая жестокая злоба и самое черное коварство должны быть отличительными чертами нашего рода, по крайней мере после первородного греха, так как златоустые теологи утверждают, что с этого мгновения диавол завладел всем нашим племенем. Иными словами, диавол, как вы знаете, наш господин, и господин презлой; и все люди на него походят.

А

Что теологи вертлявы, как диавол, я согласен; но ко мне это никак не относится. Если бы род человеческий находился под непосредственным господством диавола, как это утверждают, то ясно, что мужья приканчивали бы своих жен, сыновья убивали бы отцов, матери пожирали бы своих детей, а ребенок, как только у него появляются зубы, первым делом кусал бы свою мать, при условии что мать еще не насадила его на вертел. Но так как ничего подобного не происходит, то очевидно, что над нами смеются, когда говорят, что мы находимся под властью диавола; это самое глупое кощунство, которое мы когда-либо слышали.

С

При ближайшем рассмотрении я признаюсь, что человеческий род вовсе не так зол, как некоторые об

этом кричат, в надежде править им; они напоминают хирургов, исходящих из предположения, что все придворные дамы страдают той постыдной болезнью, которая приносит много денег людям, занимающимся ее лечением; больные, конечно, существуют, но вселенная не отдана в руки медицинского факультета. Бывают тяжкие преступления, но редко. Вот уже более двухсот лет ни один папа не походил на папу Александра VI, ни один европейский король не шел по стопам Христиана II датского или Людовика XI французского. Мы знаем только одного архиепископа Парижского, который отправился в парламент с кинжалом в кармане. Варфоломеевская ночь ужасна, что бы о ней ни говорил аббат де Кавейрак; но, когда видишь, как весь Париж увлекается музыкой «Рамо» или «Заиры», комической оперой, картинами, выставленными в Салоне, Рампоно или обезьяной Николе, то забываешь, что скоро ровно двести лет, как половина нации перебила другую из-за теологических споров; омерзительные казни Джен Грэй, Марий Стюарт и Карлов I не повторяются у вас каждый день.

Такие эпидемические ужасы подобны великой чуме, опустошающей порою землю; после них пашут, сеют, жнут, пьют, танцуют и любят друг друга на прахе мертвых, попирая его ногами; и, как сказал однажды человек, всю свою жизнь отдавший чувствам, размышлениям и шуткам, если не все хорошо, то все преходяще.

Есть, например, такая провинция, как Турень, в которой за последние полтора столетия лет не было совершенно ни одного тяжкого преступления. Венеция прожила больше четырех столетий без малейшего мятежа внутри ее стен, без всякого шумного сборища; есть тысячи деревень в Европе, где не совершалось убийства с тех пор, как мода резать друг друга из-за религии несколько повывелась: у землепашцев нет времени отрываться от своих работ; их жены и дочери им помогают, они шьют, прядут, месят тесто, сажают хлебы в печь не так, как архиепископ ла Каза¹; все эти добрые люди слишком заняты, чтобы замышлять зло. После труда, приятного для них, потому что он им необходим, они

¹ Просмотрите «Capitoli» монсиньора ла Каза, архиепископа Беневентского, и вы увидите, как он сажал хлебы в печь.

предаются легкой трапезе, приправленной аппетитом, и уступают потребности поспать, чтобы завтра начинать сначала. Я боюсь за них только в праздничные дни, они их так нелепо проводят, распевая хриплыми и расстроенными голосами латинские псалмы, в которых ничего не понимают, да буйствуя в кабаке, — что они понимают слишком хорошо. Еще раз — если не все хорошо, то все преходяще.

В

Только безумие могло вообразить, что существует нечистый с разверстой пастью, с четырьмя львиными лапами и змеиным хвостом, что его сопровождает миллиард чертенят такого же вида, что все они жили когда-то на небе, а теперь заключены в раскаленную печь в преисподней; что Иисус Христос спустился в эту печь, чтобы посадить на цепь всех этих зверей; что с тех пор каждый день они выходят из своей темницы, искушают нас и проникают в наше тело и нашу душу; что они наши абсолютные властители и внушают нам всю свою дьявольскую извращенность. Из какого источника могло возникнуть такое сумасбродное представление, такая нелепая сказка?

А

Из невежества врачей.

В

Вот уж никак не думал.

А

А между тем должны бы. Вы хорошо знаете, что до Гиппократы и даже после него врачи ничего не понимали в болезнях: откуда, например, происходит эпилепсия, падучая? От злокозненных богов, от злых духов; и ее называли священной болезнью. К тому же роду относилась и золотуха. Эти болезни были делом чуда, требовалось чудо для излечения от них; совершали паломничества, лечили наложением рук; это суеверие обошло весь свет, оно и сейчас еще в ходу среди черни; при поездке в Париж я видел в святой капелле и в Сент-Море, как эпилептики испускают вопли и корчатся в судорогах в ночь со святого четверга на пятницу; а

бывший наш король Яков II, воображал, что, как священная особа, он излечивает золотуху, насланную лукавым. Всякая неизвестная болезнь считалась некогда одержимостью. Меланхолического Ореста считали одержимым Мегерой и послали украсть статую, чтобы получить исцеление. Греки, которые были народом очень молодым, переняли это суеверие от египтян: жрецы и жрицы Изиды странствовали по свету, занимаясь предсказаниями, и за деньги освобождали дураков, находившихся во власти Тифона. Они изгоняли злых духов при помощи барабанов и кастаньет. Нищий еврейский народ, только что утвердившийся среди скал между Финикией, Египтом и Сирией, перенял все суеверия своих соседей и в избытке грубого невежества прибавил к ним новые суеверия. Когда эта маленькая орда была в вавилонском плену, она научилась там именам диаволов Сатаны, Асмодея, Мемнона, Вельзевула, служителей князя зла Аримана. И с тех пор евреи приписывали диаволам болезни и случаи внезапной смерти. Их священные книги, которые они сочинили позже, когда приняли халдейский алфавит, упоминают иногда о диаволах.

Вы видите там, что когда ангел Рафаил спускается прямо из эмпиреев, чтобы заставить еврея Гаваила заплатить некоторую денежную сумму еврею Товиту, то он ведет юного Товию, сына Товита, к Рагуилу, дочь которого выходила замуж уже семь раз, но диавол Асмодей передумил всех ее мужей. Доктрина о диаволе пользовалась большим успехом у евреев: они допускали поразительное количество диаволов в аду, о котором законы пятикнижия не говорят ни слова; почти все больные были у них одержимы диаволом. У них были вместо врачей заклинатели, изгонявшие злых духов при помощи корня, называемого «барат», молитв и конвульсий.

Злые считались одержимыми еще больше, чем больные. Распутников и людей извращенных еврейские писания всегда именуют детьми Ваала.

Христиане, которые добрых сто лет были не больше, чем полужиды, усвоили доктрину об одержимости и хвастали, что изгоняют диавола. Сумасшедший Тертуллиан доходит в своей мании до уверений, что при помощи крестного знамения всякий христианин заставляет Юнону, Минерву, Цереру, Диану признать себя

диаволицами. Есть легенда, будто некий осел изгнал диаволов из Санлиса, начертив копытом крест на песке по велению святого Ризля.

Мало-помалу установилось мнение, что люди все от рождения одержимы бесом и осуждены; идея, несомненно, странная; отвратительная идея; чудовищное оскорбление для божества воображать, будто оно непрерывно создает существа, обладающие чувством и разумом, только для того, чтобы их всегда мучали другие, в свою очередь навеки преданные мукам. Если бы палачу, который в один день вырвал в Карлейле сердца у восемнадцати сторонников принца Карла-Эдуарда, было поручено провозгласить свое учение, он выбрал бы именно такое; впрочем, он мог бы сделать это, только напившись до бесчувствия, так как если бы даже у него и была одновременно душа палача и теолога, он никогда не сумел бы в трезвом виде изобрести систему, при которой тысячи грудных детей предаются навеки палачам.

В

Боюсь, как бы диавол не упрекнул вас в том, что вы плохой сын, отрекающийся от своего отца. Ваши британские речи послужат для добрых католиков доказательством, что вы одержимы диаволом и не хотите в этом признаться; но мне бы очень хотелось знать, каким образом идея о том, что бесконечно благое существо создает ежедневно миллионы людей, чтобы их осудить, могла проникнуть в умы.

А

Благодаря двусмысленности, подобно тому как основана на игре слов папская власть: «Ты Петр, и на этом камне построю я церковь мою».

А вот двусмысленность, несущая проклятие всем младенцам. Бог запрещает Еве и супругу ее есть плоды с древа познания, которое он посадил в своем саду; он говорит им: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Они вкусили от него и не умерли. Наоборот, Адам прожил еще девятьсот тридцать лет. Подразумевается, следовательно, иная смерть, то есть духовная смерть, проклятие. Но вовсе не сказано, что Адам проклят, — значит, прокляты будут дети; но как?

Дело в том, что Бог осуждает змия, обольстившего Еву, ходить на чреве своем (а до того, как видно, он ходил на ногах). А семя Адама осуждено на то, чтобы змий жалил его в пята. Змий это явно диавол, а пята, которую он жалит, наша душа. Человек разmozжит голову змиям, если сможет; ясно, что под этим человеком надо разуметь мессию, восторжествовавшего над диаволом.

Но каким образом разmozжил он голову древнему змию? Отдав ему всех детей, которые не крещены. Здесь-то и кроется тайна. И каким образом дети оказываются осуждены за то, что их праотец и праматерь ели плоды из своего сада? Здесь тоже тайна.

В

Я вас перебыю. Ведь мы осуждены за Каина, а не за Адама? Ибо мы как будто приходим от Каина, если я не ошибаюсь, так как Авель умер, не будучи женатым; и мне кажется, что разумнее быть осужденным за братоубийство, чем за яблоко.

А

Может быть, и не за Каина, ибо сказано, что Бог взял его под защиту и положил на него знак страха, чтобы его не трогали и не убили; сказано даже, что он основал город в то время, когда был еще почти один на земле с отцом и матерью, с сестрой, которую он взял себе в жены, и сыном по имени Енох. Я видел даже одну из скучнейших книг, озаглавленную «Наука управления» и написанную сенешалем из Форкалькье, по фамилии Реаль, которая выводит законы города, построенного отцом нашим Каином.

Но как бы то ни было, не подлежит сомнению, что евреи никогда не слышали о первородном грехе и вечном осуждении младенцев, умерших необрезанными. Садукеи, не верившие в бессмертие души, и фарисеи, верившие в переселение душ, не могли допустить вечного проклятия, несмотря на склонность фанатиков верить в противоречащие друг другу вещи.

Иисус был обрезан на восьмой день и крещен уже будучи взрослым, согласно обычаю многих евреев, считавших крещение как бы очищением от духовных скверн; это был древний обычай народов Инда и Ганга, которых брамины заставляли уверовать, что вода обмывает гре-

хи, как одежду. Словом, Иисус, обрезанный и окрещенный, ни в одном из евангелий не говорит о первородном грехе. Ни один из апостолов не говорит, что некрещенные младенцы будут гореть во веки веков за адамово яблоко. Ни один из первых отцов церкви не проповедывал этой жестокой химеры; и вам известно, кроме того, что Адама, Еву, Авеля и Каина никогда не знал никто, кроме маленького еврейского народа.

В

Кто же ясно сказал это первый?

А

Африканец Августин, человек вообще почтенный, но искажающий некоторые места из святого Павла, чтобы в письмах к Эводу и к Иерониму сделать вывод, будто Бог низвергает из материнского лона в ад детей, погибающих в свои первые дни. Прочтите в особенности главу XLV второй книги свода его произведений. Католическая вера учит, что все люди рождаются столь виновными, что даже дети являются безусловно проклятыми, если они умирают, не будучи возрожденными в Иисусе.

Правда, природа, возмутившись в сердце этого ритора, заставляет его дрожать от этого варварского приговора, тем не менее он его произносит; он не меняет его, хотя он часто менял свои взгляды. Церковь отстаивает эту ужасную систему, чтобы сделать свое крещение еще более необходимым. Реформатские общины относятся сейчас к этой системе с отвращением. Большинство теологов не решается теперь ее признавать; тем не менее они продолжают признавать, что наши дети принадлежат аду. Это до такой степени верно, что священник, когда крестит эти крохотные создания, спрашивает у них, отрекаются ли они от дьявола, а крестный отец, держащий за них ответ, любезно говорит — да.

С

Я удовлетворен всем, что вы сказали; я думаю, что природа человека не вполне дьявольская. Но почему говорят, что человек всегда склонен к злу?

А

Он склонен к своему благополучию, а оно только тогда зло, когда человек угнетает своих братьев. Бог дал

ему самолюбие, которое ему полезно, доброжелательство, которое полезно его ближнему, гнев, который опасен, сострадание, которое его обезоруживает, симпатию ко многим из его сотоварищей, антипатию к другим, много потребностей и много ловкости, инстинкт, разум и страсти, — таков человек. Когда вы будете богами, попробуйте сотворить человека по лучшему образцу.

РАЗГОВОР ЧЕТВЕРТЫЙ

О естественном законе и любопытстве

В

Мы вполне убедились, что человек отнюдь не абсолютно презренное существо; но вернемся к делу: что вы называете справедливым и несправедливым?

А

То, что считает таковым весь мир.

С

Мир состоит из различных людей. Говорят, что в Спарте рукоплескали мелким кражам, за которые в Афинах приговаривали к работе в рудниках.

А

Жонглирование словами. В Спарте не могли совершаться кражи, поскольку там все было общее. То, что вы называете кражей, было наказанием за скупость.

В

В Риме запрещалось жениться на сестре. У египтян, афинян и даже у евреев разрешалось жениться на единокровной сестре, ибо, вопреки книге Левит, юная Фамарь говорит своему брату Амнону: «Нет, брат мой, не бесчести меня; ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе».

А

Все это условные законы, произвольные обычаи, преходящие моды. Главное всегда одинаково. Покажите мне хоть одну страну, где считалось бы честным отнять у меня плоды моего труда, нарушить обещание, солгать с целью причинить вред, клеветать, убивать, отравлять, быть неблагодарным к своему благодетелю, избивать отца и мать, когда они подают вам еду.

В

Вот что я прочел в одной речи, которая пользовалась известностью в свое время; я выписал этот отрывок, так как он кажется мне своеобразным:

«Первый, кто, оградив участок земли, вздумал сказать: «это мое» и нашел достаточных простаков, которые ему поверили, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы человеческий род тот, кто, вырвав колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: остерегайтесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому».

С

Это, должно быть, какой-нибудь вор-вольнодумец с большой дороги написал такую нелепость.

А

Я подозреваю только, что это крайне ленивый нищий, бродяга; ибо, вместо того чтобы портить участок разумного и старательного соседа, он должен был только подражать ему; пусть каждый отец семейства последовал бы этому примеру, и вскоре образовалась бы цветущая деревня. Автор этого отрывка кажется мне явно необщественным животным.

В

Вы думаете, следовательно, что, оскорбляя и обкрадывая доброго хозяина, окружившего живой изгородью свой сад и птичник, он нарушил главные веления естественного закона?

А

Да, да, еще раз — естественный закон существует, и он состоит в том, чтобы не делать зла другому и не радоваться такому злу.

С

Однако есть люди, которые утверждают, что нет ничего более естественного, чем делать зло. Многие дети забавляются, ошипывая воробьев, и нет человека, который не бегал бы с тайной радостью по берегу моря, чтобы насладиться зрелищем швыряемого волнами корабля, разбивающегося и постепенно погружающегося в пучину, в то время как пассажиры воздевают руки к небу и низвергаются в бездну вместе со своими женами, держащими детей на руках. Лукреций дает объяснение:

«*Quibus ipse malis careas quia cernere suave est*».

(С радостью смотришь на бедствия, которых не чувствуешь.)

А

Лукреций не понимает, что он говорит, и это с ним часто бывает, несмотря на его прекрасные описания. На такое зрелище бегут из любопытства. Любопытство — естественное чувство человека, но любой из зрителей отдал бы последние силы, если бы это могло спасти тонущих.

Когда дети, мальчишки и девочки, ошипывают воробьев, они делают это исключительно из любопытства, так же как девочки превращают в лоскутья юбки своих кукол. Именно эта страсть, сама по себе, и гонит столько народа на публичные казни. Странная жажда видеть несчастных! — воскликнул автор одной трагедии.

Я был в Париже, когда Дамьена подвергали самой утонченной и самой ужасной смерти, какую только можно вообразить, и я вспоминаю, что все вышедшие на площадь окна были за высокую плату наняты дамами; вряд ли они ожидали, что осужденному будут терзать грудь раскаленными щипцами, будут лить ему на раны расплавленный свинец и кипящую смолу и четыре лошади будут тащить в разные стороны его окровавленные и вывернутые из суставов конечности. Один палач рассуждал более здраво, чем Лукреций, ибо когда какой-то парижский академик хотел войти в заграду, а стрелки его оттолкнули, палач сказал: «Пропустите, это любитель».

То есть это любопытный; он идет сюда не из злобы, не для самопроверки, чтобы вкусить наслаждение оттого, что его не четвертуют; он идет исключительно из любопытства, как приходят смотреть на физические эксперименты.

В

Согласен; я понимаю, что человек не любит и не делает зла иначе, как ради собственной выгоды, но столько людей склонны добиваться выгоды за счет чужого несчастья; месть такая неистовая страсть, и существуют такие мрачные примеры ее; честолюбие, еще более гибельная страсть, наводнило землю таким количеством крови, что когда я рисую себе эту ужасную картину, я чувствую искушение взять свои слова назад и признать, что человек существо весьма дьявольское. Я могу носить в своем сердце понятие о справедливом и несправедливом, но Аттила, перед которым юлит святой Леон, Фока, которому святой Григорий льстит с самой подлой низостью, Александр VI, оскверненный столькими кровосмешениями, столькими убийствами, столькими отравлениями, с которым слабохарактерный Людовик XII, прозванный добрым, заключает самый недостойный и самый тесный союз, Кромвель, у которого кардинал Мазарини ищет покровительства и в угоду которому изгоняет из Франции наследников Карла I, двоюродных братьев Людовика XIV, и т. д., и т. д., — все эти сотни примеров приводят в беспорядок мои мысли, и я не знаю, что думать.

А

Ну что же, разве грозы мешают нам наслаждаться сейчас прекрасной погодой? Разве землетрясение, уничтожившее половину Лиссабона, помешало вам очень удобно совершить путешествие из Мадрида в Рим по утвердившейся земле? Если Аттила был разбойником, а кардинал Мазарини жуликом, то разве нет среди государей и министров честных людей? Разве идея правосудия не продолжает существовать? На ней основаны все законы; греки называли их дочерьми неба, что означает по существу — дочери природы.

С

Хорошо, я тоже согласен взять свои слова назад, так как я вижу, что законы создаются только потому, что люди злы. Если бы лошади были послушны, их бы

никогда не взнуздывали. Но не будем понапрасну копаться в человеческой природе и сравнивать так называемых дикарей с так называемыми цивилизованными людьми, а посмотрим лучше, какие удила больше всего нам подходят.

А

Могу вам сказать, что я не потерплю, чтобы меня взнуздывали не спросив у меня, что я хочу взнуздывать себя сам и подавать голос, чтобы по крайней мере знать, кто вскочит мне на спину.

С

В общем мы с вами из одной конюшни.

РАЗГОВОР ПЯТЫЙ

*О способах терять и беречь свою свободу
и о теократии*

В

Господин А, вы производите на меня впечатление весьма солидного англичанина; как вы себе представляете возникновение всех этих форм правления, названия которых еле можно упомянуть, монархической, деспотической, тиранической, олигархической, аристократической, демократической, анархической, теократической, дьявольской и прочих, образовавшихся из смешения всех предыдущих?

С

Да, каждый пишет роман по-своему, потому что у нас совсем нет правдивой истории. Скажите же нам, господин А, каков ваш роман?

А

Если вы так хотите, придется мне потерять время на то, чтобы говорить, а вам на то, чтобы меня слушать.

Я представляю себе прежде всего, что два немногочисленных соседних племени, состоящих каждое приблизительно из ста семейств, отделены друг от друга ручьем

и обрабатывают достаточно хорошую почву, ибо если они осели в этой местности, значит земля там плодородная.

Так как каждый индивид получил от природы одинаково две руки, две ноги и голову, то мне кажется немислимым, чтобы обитатели этого маленького района не были сначала все равны между собой. И так как эти два племени отделены друг от друга ручьем, то мне кажется также немислимым, чтобы они не были врагами, ибо, несомненно, должна была быть некоторая разница в их способности произносить одни и те же слова. Обитатели, жившие к югу от ручья, наверное, насмехались над теми, что жили к северу, а это отнюдь не прощается. Между обеими деревнями было большое соперничество; похищали иногда девушку или женщину. Молодые люди неоднократно дрались на кулаках, на палках или камнями. Положение остается равным, пока тот, кто считается самым ловким и сильным в северной деревне, не говорит своим сотоварищам: «Если вы последуете за мной и будете исполнять все, что я скажу, я сделаю вас хозяевами южной деревни». Он говорит с такой уверенностью, что добивается их одобрения. Он велит им запастись лучшим оружием, какого нет у враждебного племени. «До сих пор вы дрались только при свете дня, — говорит он, — но на врагов надо нападать, когда они спят». Это кажется гениальной идеей северному муравейнику; он нападает ночью на южный муравейник, убивает нескольких спящих его обитателей, искалечивает многих (как благородно делали Улисс и Резус), и угоняет девушек и что осталось из скота, после чего в победоносной деревушке неизбежно вспыхивают ссоры из-за раздела добычи. Вполне естественно, что ссорящиеся обращаются к начальнику, которого они избрали для своей героической экспедиции. И вот он стал уже военачальником и судьей. Изобретенное им искусство захватывать врасплох, грабить и убивать соседей посеяло страх на юге и почтение к нему на севере.

Этот новый глава считается в стране великим человеком; привыкают ему повиноваться, а он еще больше привыкает повелевать. Я думаю, что таково вполне могло быть происхождение монархии.

С

Это верно, что великое искусство захватывать врасплох, убивать и грабить было героизмом самой седой древ-

ности. Я не могу найти у Фронтена военной стратагемы, могущей выдержать сравнение со стратагемой детей Иакова, которые действительно пришли с севера и захватили врасплох, убили и ограбили жителей Сихема, живших на юге. Это редкий пример здоровой политики и возвышенной доблести. Так как сын царя Сихема был до безумия влюблен в дочь патриарха Иакова, Дину, которая, хотя ей было не больше шести лет от роду, уже достигла брачной зрелости, и оба возлюбленных уже спали вместе, то сыновья Иакова предложили царю Сихема, его сыну принцу и всем мужчинам Сихема дать обрезать себя, чтобы составить отныне с ними один народ; а как только жители Сихема, обрезав себе крайнюю плоть, легли в постели, двое патриархов, Симеон и Леви, одни захватили врасплох всех обитателей Сихема и убили их, а десятеро остальных патриархов ограбили их. Но это не согласуется с вашей системой, ибо как раз у захваченных врасплох, убитых и ограбленных был царь, а у убийц и грабителей царя еще не было.

А

Очевидно, жители Сихема когда-то совершили какое-нибудь великолепное деяние в таком же роде, и их глава постепенно сделался монархом. Я думаю, что были грабители, у которых существовал предводитель, и грабители, у которых никакого предводителя не было. Арабы в пустыне, например, почти всегда были грабителями-республиканцами; наоборот, персы и мидяне были грабителями-монархистами. Не буду спорить с вами насчет крайней плоти жителей Сихема и грабежей арабов, но я считаю, что наступательная война создала первых царей, а война оборонительная создала первые республики.

Такой предводитель разбойников, как Деиоцес (если он когда-нибудь существовал) или Косру, именуемый Киром, или Ромул, убийца брата, или другой убийца, Кловис, или Гензерих и Аттила, делаются царями; племена, которые живут в пещерах, на островах, в болотах, в ущельях гор, среди скал, сохраняют свою свободу, как швейцарцы, граубюнденцы, венецианцы, генуэзцы. Некогда тирийцы, карфагеняне и родосцы сохранили свою, так как к ним нельзя было проникнуть морем. Греки долго оставались свободными в стране, ошестинившейся горами; римляне на своих семи холмах восстановили свободу, как

только смогли, а затем отняли ее у многих других народов, захватывая их врасплох, убивая и грабя, как мы уже говорили. И вообще земля принадлежала везде самому сильному и ловкому.

По мере роста духовной утонченности с правительствами стали обращаться, как с тканями, у которых разные фоны, рисунки и краски. Так монархия в Испании столь же отличается от монархии в Англии, как и климат. Монархия в Польше ничуть не похожа на монархию в Англии. Венецианская республика — полная противоположность голландской.

С

Это совершенно очевидно; но среди стольких форм правления верно ли, что существовала когда-нибудь теократия?

А

Это настолько верно, что теократия существует до сих пор повсюду, и от Японии до Рима вам называют законы, исходящие от самого Бога.

В

Но все эти законы различны, все противоречат один другому. Рассудок человеческий может очень легко не понять, что Бог снизошел на землю, чтобы повелеть за и против, чтобы заповедать египтянам и евреям обрезать себе крайнюю плоть и никогда не есть свинины, а нам оставить и крайнюю плоть, и свежую свинину. Он не мог запретить угря и зайца в Палестине, разрешая зайца в Англии и предписывая угря папистам в постные дни. Признаюсь, что мне страшно заняться рассмотрением этого вопроса. Я боюсь наткнуться на противоречия.

А

Что ж, разве врачи не прописывают противоположных лекарств при тех же болезнях? Один прописывает вам холодные ванны, другой горячие; этот пускает кровь, тот прочищает вам желудок, третий вас убивает. Является еще новый врач — он отравляет вашего сына и становится оракулом вашего внука.

С

Занятно. Я бы очень хотел, оставляя в стороне Моисея и других по-настоящему вдохновенных людей, видеть первого дерзновенного, заставившего говорить Бога.

А

Я думаю, что он представлял собою смесь фанатизма и плутовства. Одного плутовства недостаточно, — оно ослепляет, а фанатизм покоряет. Весьма вероятно, как говорит один из моих друзей, что это ремесло породили сны. Человек с пылким воображением видит во сне, что его отец и мать умирают; оба они старые и больные люди, они действительно умирают; сон исполнился; и вот он убежден, что Господь говорил с ним во сне. Если только он смел и жуликоват (два свойства, весьма распространенные), он начинает предрекать от имени этого Бога. Если во время войны он видит, что его соотечественники представляют шестерых против одного, то он предсказывает им победу, при условии, что он получит долю с добычи.

Ремесло хорошее, и мой шарлатан обзаводится учениками, интересы которых совпадают с его собственными. Их авторитет растет вместе с их числом. Бог открывает им, что лучшие куски баранов и быков, наиболее жирная птица и первый сок винограда принадлежат им:

The priests eat roast beef, and the people stare.

Царь сначала заключает сделку с ними, чтобы народ лучше ему повиновался; но вскоре же монарх оказывается в дураках: шарлатаны пользуются властью, которую монарх позволил им захватить над чернью, чтобы поработить его самого. Монарх брыкается, жрец низлагает его именем Господа Бога. Самуил низлагает Саула, Григорий VII низлагает императора Генриха IV и лишает его христианского погребения. Эта дьявольско-теократическая система существует до тех пор, пока не появляются достаточно образованные государи, у которых хватает ума и смелости обломать когти Самуилам и Григориям. Такова, мне кажется, история человеческого рода.

В

Нет надобности углубляться в книги, чтобы признать, что дело должно было происходить так. Достаточно взглянуть на тупоголовое население провинциаль-

ного городка, в котором имеется два монастыря, несколько просвещенных чиновников и комендант, не лишенный здравого смысла. Население всегда готово сплотиться вокруг кордельеров и капуцинов. Комендант хочет их обуздать. Судья, враждующий с комендантом, издает приказ, снисходительный к дерзости монахов и к доверчивости толпы. Епископ еще более рассержен тем, что судья вмешался в Божественное дело. И монахи остаются властителями, пока революция их не упразднит.

... *Humani generis mores tibi nosse volenti sufficit una domus.*

РАЗГОВОР ШЕСТОЙ

О трех государственных строях и тысяче древних ошибок

В

Перейдем к делу. Признаюсь вам, что я легко приспособился бы к демократическому строю. Я считаю, что неправ был тот философ, который говорил стороннику народного правительства: «Попробуй его сначала у себя дома, и ты очень скоро расквешься». Да простит он мне, но дом и город вещи совершенно разные. Мой дом принадлежит мне, мои дети принадлежат мне, мои слуги, когда я плачу им, принадлежат мне; но по какому праву принадлежали бы мне мои сограждане? Все, у кого есть владения на данной территории, одинаково имеют право на поддержание порядка в пределах этой территории. Я люблю видеть, как свободные люди сами создают законы, под властью которых они живут, подобно тому как они создали свои жилища. Мне доставляет удовольствие, что мой каменщик, мой плотник, мой кузнец, которые помогали мне строить дом, мой сосед-земледелец и мой друг-фабрикант поднимаются над своим ремеслом и понимают общественный интерес лучше самого дерзкого турецкого чауша. Ни одному пахарю, ни одному ремесленнику нечего бояться притеснения или пренебрежения к демократии; никто не попадает в положение шапочника, обратившегося к герцогу и пэру с ходатайством об уплате за поставленные им изделия: —

А разве вы, друг мой, ничего не получили? — Прошу прощения, монсеньер, я получил пощечину от монсеньера вашего управляющего.

Весьма приятно, когда вам не грозит опасность попасть в тюрьму за то, что вы не могли заплатить человеку, который вам неизвестен, налог, размеры и цели которого вам неизвестны, и сидеть до скончания веков.

Быть свободным, знать только равных — вот истинная жизнь, естественная жизнь человека; всякая другая — лишь недостойная фальшь, скверная комедия, в которой один играет роль господина, а другой раба, один — паразита, другой — сводника. Вы должны признать, что люди могли утратить естественное состояние только по трусости и по глупости.

С

Это ясно: потерять свободу может только тот, кто не умел ее защищать. Есть два способа потерять ее: когда глупцов обманывают жулики или когда слабых поработают сильные. Рассказывают о каких-то побежденных, которым какие-то победители выкалывали один глаз; есть народы, которым выкололи оба глаза, как старым клячам, вертящим мельничный жернов. Я хочу сохранить свои глаза; я считаю, что в аристократическом государстве выкалывают один глаз, а в монархическом оба.

А

Вы говорите как гражданин Новой Голландии, и я готов вас простить.

С

Что до меня, то мне нравится только аристократия; народ недостойн управлять. Я бы не мог перенести, чтобы мой парикмахер был законодателем. Я предпочел бы вовсе не носить парик; только те, кто получил очень хорошее образование, способны руководить другими — теми, кто не получил никакого. Венецианское правительство самое лучшее; тамошняя аристократия — древнейший государственный строй Европы. На втором месте я ставлю государственный строй Германии. Сделайте меня венецианским нобилем или графом империи, говорю вам, что я могу наслаждаться жизнью лишь в одном из этих двух случаев.

А

Вы богатый вельможа, господин С, и я очень одобряю ваш образ мыслей. Я вижу, что вы были бы за турецкий строй, если бы стали константинопольским императором. Что касается меня, то хотя я всего лишь член великобританского парламента, я считаю мою конституцию лучшей из всех; и в подтверждение я приведу свидетельство, которое нельзя отвергнуть; это свидетельство француза, который в поэме, посвященной истинам, а не вздорным выдумкам, так говорит о нашем правительстве:

В стенах Вестминстера появляются вместе
Три власти, изумленные тем, что связует их узел один,
Представители народа, вельможи и король,
Разделенные интересами, соединенные законом,
Все три священных члена этого непобедимого учреждения,
Опасного самому себе, страшного соседям.

С

Опасного самому себе! У вас, значит, очень крупные злоупотребления?

А

Конечно. Как было у римлян и у афинян, и как будет всегда у людей. Предел человеческого совершенства — это быть могущественным и счастливым ценою чудовищных злоупотреблений; этого мы и достигли. Опасно есть слишком много; но я хочу, чтобы мой стол был обильно уставлен яствами.

В

Хотите получить удовольствие и подробно разобратить все правительства на земле, начиная от китайского императора Хиао и еврейской орды и кончая последними распрями в Рагузе и в Женеве?

А

Боже упаси! Мне незачем рыться в чужеземных архивах, чтобы сделать выводы. Немало людей, не умея править в собственном доме служанкой и лакеем, воображали, что могут управлять вселенной. Не хотите же вы, чтобы мы теряли время, читая за письменным столом книгу Боссюэта, озаглавленную «Политика священно-

го писания)? Приятная вещь эта политика несчастного народа, который был кровожадным, не будучи воинственным, ростовщиком, не будучи купцом, разбойником, не умея сохранить свою добычу, почти всегда рабом и почти всегда мятежником; его продавали на рынке Титы и Адрианы, как продают животное, которое евреи называли «нечистым» и которое приносило больше пользы, чем они. Я предоставляю оратору Боссюэту политику царьков Иудеи и Самарии, знавших только убийство; так было при Давиде, который, избрав ремесло разбойника, чтобы стать царем, убил Урию, как только сделался властителем, и при мудром Соломоне, который для начала убил своего брата Адонию у подножия алтаря. Я сыт по горло нелепым педантизмом, который пользуется историей такого народа для просвещения юношества.

Я не менее сыт всеми книгами, в которых повторяются басни Геродота и подобных ему о древних монархиях Азии и об исчезнувших республиках.

Пусть они нам рассказывают, что некая Дидона, якобы сестра Пигмалиона (оба имени отнюдь не финикийские), бежала из Финикии, чтобы купить в Африке столько земли, сколько может поместиться в бычачьей шкуре, и что, нарезав эту шкуру на узкие ремни, она окружила ими огромное пространство, где основала Карфаген; пусть эти историки-романисты говорят нам вслед за многими другими и пусть многие другие говорят нам вслед за ними об исполнившихся прорицаниях Аполлона, об ушах Смердиса, о лошади Дария, сделавшей своего господина царем Персии; пусть распространяются о законах Харонда, пусть твердят нам, что маленький городок Сибарис выставил триста тысяч человек в походе против маленького городка Кротона, который мог вооружить всего лишь сто тысяч человек, — все эти истории надо поставить в один ряд с волчицей Ромула и Рема, троянским конем и китом Ионы.

Оставим же в стороне всю так называемую древнюю историю, а что касается истории современной, то пусть каждый старается учиться на ошибках своей страны и ее соседей; урок будет долгим; но обратим внимание также на все прекрасные учреждения, которыми гордятся современные нации; и этот урок тоже будет долгим.

В

А чему он нас научит?

А

Он скажет, что чем больше законы, созданные по договору между людьми, приближаются к естественному закону, тем более терпима жизнь.

С

Ну что ж, посмотрим.

РАЗГОВОР ВОСЬМОЙ

О рабах телом

В

Мне кажется, что Европа сейчас нечто вроде большой ярмарки. Тут можно найти все, что считается нужным для жизни: есть сторожа, охраняющие лабазы, мошенники, обыгрывающие в кости дураков, бездельники, просящие милостыню, и марионетки в балагане.

А

Так принято, вы сами знаете, а то, что принято на ярмарке, основано на потребностях человека, на его природе, на развитии его ума, на первой причине, которая приводит в действие вторые причины. Я убежден, что так же обстоит дело в республике муравьев: мы видим, что они всегда заняты, но не различаем, что они делают; вид такой, словно они бегут куда попало; возможно, что то же самое они думают о нас; у нас своя ярмарка, а у них своя. Что касается меня, то не могу сказать, чтобы я был абсолютно недоволен своим лабазом.

С

Среди правил этой огромной всемирной ярмарки, которые мне не нравятся, два в особенности выводят меня из себя; то, что там продают рабов, и то, что там есть шарлатаны, которым платят слишком дорого за

их целебные средства. Монтескье меня очень развеселил в своей главе о неграх. Он очень смешон, он торжествует, издеваясь над нашей несправедливостью.

А

Действительно, нет такого естественного права, которое разрешало бы нам отправиться и связать какого-нибудь гражданина Анголы, чтобы с помощью бича из воловьих жил заставить его обрабатывать наши сахарные плантации на Барбадосе, подобно тому как существует естественное право, разрешающее брать на охоту собаку, выкормленную нами; но зато имеется договорное право. Почему этот негр продает себя? Или почему он позволяет продавать себя? Я его купил, он принадлежит мне; в чем я неправ перед ним? Он работает, как лошадь, я его плохо кормлю, плохо одеваю, его бьют, когда он не повинуется; что тут такого удивительного? Разве мы лучше обращаемся с нашими солдатами? Разве они не потеряли полностью свою свободу, как и этот негр? Единственная разница между воином и негром в том, что воин стоит гораздо меньше. Хороший негр стоит сейчас не меньше пятисот экю, а хороший солдат не больше пятидесяти. Ни один, ни другой не может отлучиться из назначенного ему места; и одного, и другого бьют за малейшую провинность. Вознаграждение приблизительно одинаковое, но негр имеет перед солдатом то преимущество, что он вовсе не рискует жизнью и проводит ее со своей негритяжкой и негритягами.

В

Как! Вы считаете, значит, что человек может продать свою свободу, которая является бесценным благом?

А

На все есть своя такса; тем хуже для него, если он продает мне по дешевке нечто столь драгоценное. Скажите, что он дурак; но не говорите, что я плут.

Мне кажется, что Гроций, кн. II гл. V, весьма одобряет рабство; он полагает даже, что положение раба гораздо выгоднее, чем положение поденщика, который не всегда уверен в своем хлебе.

А Монтескье смотрит на рабство, как на своего рода грех против природы. Итак перед нами свободный голланд-

ский гражданин, который хочет рабов, и француз, который вовсе их не хочет; он не верит даже в право войны.

А какое вообще право может быть на войне, кроме права более сильного? Предположим, что я нахожусь в Америке, когда она ведет войну с испанцами. Один из испанцев меня ранил, я собираюсь его убить, он говорит мне: «Храбрый англичанин, не убивай меня, я буду тебе служить». Я принимаю его предложение, доставляю ему это удовольствие, кормлю его луком и чесноком, а по вечерам он читает мне «Дон-Кихота» у моего изголовья, — что здесь плохого, скажите сами? Если я сам сдамся какому-нибудь испанцу на таких же условиях, в чем смогу я его упрекать? Каковы условия, такова и сделка, говорил император Юстиниан.

И разве сам Монтескье не признает, что есть в Европе народы, у которых весьма распространен обычай продавать себя, как, например, у русских?

В

Да, действительно, он говорит это¹ и цитирует капитана Жана Перри, рисуя теперешнее состояние России; но цитирует он на свой обычный лад. Жан Перри говорит прямо противоположное. Вот его собственные слова: царь приказал, чтобы никто впредь не именовал себя его холопом, но только его подданным. Правда, народу от этого нет никакой действительной выгоды, так как он и сейчас попрежнему в рабстве.

И в самом деле, все земледельцы, все обитатели сельских мест, принадлежащих боярам или священникам, рабы. Если российская императрица будет делать людей свободными, она обессмертит свое имя.

Кроме того, к стыду человечества, пахари, ремесленники, горожане, не являющиеся гражданами больших городов, все еще являются рабами, крепостными — в Польше, Богемии, Венгрии, многих провинциях Германии, в половине Франш-Конте и четверти Бургундии; и что противно, так это то, что они рабы духовенства. Есть епископы, на территории которых неотчуждаемое имущество состоит только из крепостных; такова их человечность, таково христианское милосердие! Что

¹ Кн. XV, гл. VI.

же касается людей, попавших в рабство во время войны, то у монашествующих мальтийских рыцарей вы найдете рабов только из Турции или с африканского побережья, прикованных к веслу на христианских галерах.

А

Честное слово, если у епископов и монашествующих есть рабы, я тоже хочу иметь их.

В

Лучше бы никто их не имел.

С

Это неминуемо случится, когда вечный мир аббата Сен-Пьера будет подписан великим турком и всеми державами и когда построят город судей, возле ямы, которую хотели прорыть до центра земли, чтобы точно узнать, как следует себя вести на ее поверхности ¹.

РАЗГОВОР ДЕВЯТЫЙ

О рабах духом

В

Если вы допускаете рабство телесное, то отрицаете все же рабство духовное?

А

Давайте договоримся. Я вовсе не допускаю телесное рабство как принцип общественного устройства. Я только говорю, что для побежденного лучше быть рабом, чем быть убитым, если он любит жизнь больше свободы. Я говорю, что негр, который продает себя, безумец, а отец-негр, который продает своего негритенка, варвар; но что я человек достаточно рассудительный, чтобы купить этого негра и заставить его работать на

¹ См. «Воспоминания» Вольтера, в которых рассказывается о проекте Мопертюи: «построить город, где говорили бы только полатыни» и пробуравить скважину «до самого ядра земли».

моей сахарной плантации. Мой интерес в том, чтобы он был здоров, дабы он мог работать. Я буду обращаться с ним гуманно, я не требую от него большей признательности, чем от лошади, которой я должен давать овес, если я хочу, чтобы она мне служила. С моей лошадью я обращаюсь приблизительно так, как Бог с человеком. Если Бог сотворил человека, чтобы он жил несколько минут в земной конюшне, он должен был снабдить его пищей, ибо нелепо было даровать ему чувство голода и желудок и забыть его кормить.

С

А если ваш раб вам не нужен?

А

Я дам ему свободу без всяких разговоров, хотя бы он пошел и сделался монахом.

В

Но как вы относитесь к духовному рабству?

А

Что вы называете духовным рабством?

В

Я имею в виду обычай коверкать дух наших детей, подобно тому как караибские женщины коверкают головы своих: учить их сначала лепетать глупости, над которыми мы сами насмехаемся; заставлять их верить в эти глупости, как только они в состоянии начать верить; прилагать таким путем все старания, чтобы сделать нацию идиотической, малодушной и варварской; и в заключение устанавливать законы, препятствующие людям писать, говорить и даже думать, как Арнольф хочет в комедии, чтобы в его доме чернильница существовала только для него, и хочет сделать из Агнесы дурочку, чтобы с приятностью пользоваться ею.

А

Если бы существовали такие законы в Англии, я или составил бы хороший заговор для их уничтожения, или навсегда бежал бы с моего острова, предварительно поджегши его.

С

Всё же хорошо, что люди не говорят того, что думают. Нельзя оскорблять ни в письме, ни в устной речи власти и законы, под покровительством которых вы пользуетесь своим состоянием, своей свободой и всеми вообще благами жизни.

А

Нет, конечно, и следует наказывать мятежных смельчаков; но оттого, что люди могут злоупотреблять письмом, надо ли запрещать им писать? С таким же основанием можно сделать вас немым, чтобы помешать вам приводить негодные доводы. На улицах крадут — надо ли из-за этого запретить хождение по улицам? Говорят глупости и оскорбительные вещи — надо ли запретить разговаривать? У нас каждый может на свой страх и риск писать то, что он думает; это единственный способ разговаривать с нацией. Если она находит, что вы говорили глупо, она вас освистывает; мятежно — она вас наказывает; разумно и благородно — она вас любит и вас вознаграждает. Свобода говорить с людьми пером установлена в Англии, как и в Польше; она существует в Соединенных Провинциях; она существует и в Швеции, которая нам подражает; она должна существовать и в Швейцарии, иначе Швейцария недостойна быть свободной. Нет у людей никакой свободы без свободы высказывать свою мысль.

С

А если бы вы родились в современном Риме?

А

Я воздвиг бы жертвенник в честь Цицерона и Тацита, мужей древнего Рима. Я взошел бы на этот жертвенник и со шляпой Брута на голове и его кинжалом в руке призывал бы народ вернуть естественные права, которые он утратил. Я восстановил бы трибунат, как сделал Кола ди Риенци.

С

И кончили бы, как он?

В

Может быть. Но я просто не могу выразить вам ужас, который внушило мне во время последней поездки рабство римлян; я дрожал, когда видел францисканцев в Капитолии. Четверо моих соотечественников зафрахтовали судно, чтобы отправиться срисовывать ненужные руины Пальмиры и Бальбека, а меня сотню раз брало желание вооружить на свой счет дюжину судов, чтобы отправиться и превратить в руины логово инквизиторов в стране, где человек поработен этими чудовищами. Мой герой — адмирал Блек. Кромвель послал его подписать договор с Жуаном Браганца, королем Португалии, но монарх, извинившись, уклонился от подписания, так как великий инквизитор не желал допустить, чтобы вступали в договоры с еретиками. «Предоставьте дело мне, — сказал ему Блек, — он явится подписать договор ко мне на борт». Дворец этого монаха был на Таго как раз против нашего флота. Адмирал дал залп раскаленными ядрами; инквизитор явился к нему просить прощения и на коленях подписал договор. Адмирал сделал в этом случае лишь половину того, что ему следовало сделать; он должен был бы запретить всем инквизиторам тиранить души и сжигать тела, подобно тому как персы, а потом греки и римляне запретили африканцам делать человеческие жертвоприношения.

РАЗГОВОР ОДИННАДЦАТЫЙ

О праве войны

В

Мы рассуждали о предметах, которые касаются нас очень близко, и весьма глупо, если люди предпочитают отправляться на охоту или играть в пикет, вместо того чтобы выяснять столь важные вопросы. Нашим первым намерением было подробно рассмотреть право войны и мира, но мы о нем еще не говорили.

А

Что вы разумеете под правом войны?

В

Вы ставите меня в затруднительное положение. Но ведь де Гроот, или Гроций, написал об этом обширный трактат, в котором цитирует более двухсот греческих, латинских и даже еврейских авторов.

А

Думаете ли вы, что принц Евгений и герцог Марльборо изучали его, когда пришли и отняли у французов сто лье их страны? Право мира я знаю достаточно хорошо; оно в том, чтобы держать слово и позволять всем пользоваться природными правами; но что касается права войны, то я не знаю, что это. Кодекс убийства кажется мне странной выдумкой. Надо полагать, что вскоре нам преподнесут юриспруденцию разбойников с большой дороги.

С

Как согласовать столь древний и столь всеобщий ужас перед войной с идеями о справедливом и несправедливом? С тем доброжелательством к нашим ближним, которое, как мы уверяем, нам прирождено? С *то καλον* — с добрым и честным?

В

Не торопитесь. Преступление, состоящее в том, что совершается столько преступлений под военными знаменами, не является таким всеобщим, как вы говорите. Мы уже отмечали, что брамины и простаки, называемые квакерами, никогда не были виновны в этой мерзости. Нации, живущие за Гангом, очень редко проливают кровь; и мне не приходилось читать, чтобы республика Сан-Марино когда-либо вела войну, хотя у нее приблизительно такая же территория, какая была у Ромула. Народы Инда и Гидаспа были крайне изумлены, когда впервые увидели вооруженных грабителей, пришедших завладеть их прекрасной страной. Многие народы Америки никогда не слышали об этом ужасном грехе, когда испанцы напали на них с евангелием в руках.

Нет ни слова о том, что хананеяне когда-либо с кем-нибудь воевали, как вдруг внезапно появилась орда евреев, сожгла их поселки дотла, перерезала женщин на

трупах их мужей, а детей на груди их матерей. Как объясним мы эту ярость с точки зрения наших принципов?

А

Как врачи объясняют чуму, оспу и бешенство. Это болезни, связанные с устройством наших органов. Чума или бешенство не всегда поражают нас; но часто бывает достаточно, чтобы взбесившийся государственный министр укусил другого министра, и через три месяца бешенством заражены четыреста или пятьсот тысяч людей.

С

Но когда люди больны этими болезнями, то есть и лекарства против них. Знаете ли вы лекарства против войны?

А

Я знаю только два, которыми завладела трагедия: страх и жалость. Страх часто заставляет нас соблюдать мир, а жалость, которую природа вложила в наше сердце, как противоядие против кровожадных героев, приводит к тому, что с побежденными не всегда обращаются со всей возможной суровостью. В сущности наш интерес требует сострадательного отношения к ним, чтобы они служили своим новым господам без чрезмерного отвращения; я хорошо знаю, что были злодеи, которые заставляли покоренные нации чувствовать всю тяжесть цепей. На это я могу ответить лишь стихом из трагедии «Спартак», сочиненной одним французом, у которого глубокие мысли:

Закон всемирный — горе побежденным.

Я объездил лошадь; если я благоразумен, я хорошо кормлю ее, ласкаю ее и езжу на ней, если я буйно помешанный, я убиваю ее.

С

Это малоутешительно, так как в конечном счете почти все мы находились в положении покоренных. Вы, англичане, были покорены римлянами, саксонцами и датчанами, а под конец батардом из Нормандии. Колыбель нашей

религии находится в руках турок; горсть франков покорила Галлию. Тирийцы, карфагеняне, римляне, готы, арабы по очереди покоряли Испанию. От Китая до Кадикса почти весь мир всегда принадлежал более сильному. Я не знаю такого завоевателя, который пришел бы с мечом в одной руке и кодексом в другой; они издавали законы только после победы, то есть после разграбления; и эти законы они издавали именно для поддержания своей тирании. Что бы вы сказали, если бы какой-нибудь нормандский батард явился завладеть вашей Англией, чтобы предписывать вам свои законы?

А

Я бы ничего не сказал; я бы постарался его убить при высадке на землю моей родины; если бы он убил меня, я бы ничего не мог возразить; если бы он покорил меня, мне оставалось бы только одно из двух — убить себя или хорошо служить ему.

В

Печальные альтернативы. Как! Никаких законов войны, никакого международного права?

А

Мне очень грустно, но нет никаких других законов, кроме закона быть постоянно настороже. Все короли, все министры думают, как я; и вот почему миллион двести тысяч наемников ежедневно выстраиваются на развод в Европе во время мира.

Если какой-нибудь государь распустит свои войска, позволит своим крепостям обратиться в развалины и будет заниматься чтением Гроция, то смотрите, не потеряет ли он через год или два свое королевство.

С

Это будет большая несправедливость.

А

Согласен.

В

И нет средств против этого?

А

Никаких, если не быть готовым действовать так же несправедливо, как и соседи. Тогда честолюбие сдерживает честолюбие, одинаково сильные собаки скалят зубы и вцепляются друг в друга, только когда им придется спорить из-за добычи.

С

Но римляне, римляне, эти великие законодатели!

А

Они издавали законы, повторяю вам, как алжирцы подчиняют своих рабов заведенному порядку; но когда они сражались, чтобы поработить другие нации, их законом был меч. Посмотрите на великого Цезаря, мужа стольких жен и жены стольких мужей: он распял две тысячи жителей Ванна, чтобы остальные научились быть более покладистыми; а затем, когда вся нация была приручена, появились законы и прекрасные правила. Строят цирки и амфитеатры, сооружают акведуки, устраивают общественные бани, и порабощенные народы танцуют в своих цепях.

В

Но утверждают все же, что война имеет свои законы, и законы эти соблюдаются. Например, заключают перемирие на несколько дней, чтобы похоронить убитых. Уславливаются, что не будут сражаться в определенном месте; осажденный город капитулирует, ему позволяют выкупить свои колокола. Беременным женщинам не вспарывают живот, когда завладевают сдавшимся городом. Вы обходитесь с раненым офицером, попавшим в ваши руки, а если он умирает, вы его хороните.

А

Неужели вы не видите, что это законы мира, законы природы, первичные законы, исполняемые как одной, так и другой стороной? Не война продиктовала их; их голос слышен, несмотря на войну, и без этого три четверти земного шара были бы пустыней, усеянной скелетами.

Если два упрямых тяжущихся, почти окончательно разоренные своими поверенными, заключают мировую, оставляющую каждому из них кусок хлеба, назовете ли

вы эту мировую законом адвокатуры? Если толпа теологов, отправляющихся торжественно сжечь нескольких спорщиков, которых они называют еретиками, узнает, что завтра еретическая партия сожжет их самих в свою очередь, и если они объявляют осужденным помилование, чтобы получить его завтра для себя, то скажете ли вы, что это теологический закон? Вы должны будете признать, что они послушались голоса природы и своего интереса, несмотря на теологию. То же самое и на войне. Если она не делает какое-нибудь зло, то только потому, что необходимость и интерес ее остановили. Война, говорю вам, это страшная болезнь, охватывающая нации одну за другой, и природа после долгого срока исцеляет от нее.

С

Как! Вы совсем не признаете справедливой войны?

А

Я никогда не знал войны такого рода; она кажется мне чем-то противоречивым и невозможным.

В

Как! Когда папа Александр VI и его презренный сын Борджиа грабили Романью, убивали и отравляли всех вельмож этой страны, выдавая себе индульгенции, разве нельзя было поднять оружие против этих чудовищ?

А

А разве вы не видите, что войну вели именно эти чудовища? Те, кто защищался, только переносили ее. В нашем мире есть бесспорно только наступательные войны; оборона — не что иное, как сопротивление вооруженным грабителям.

С

Вы смеетесь над нами. Два государя спорят из-за наследства, их права спорны, доводы каждого одинаково серьезны; нужно, чтобы спор решила война, и эта война является, следовательно, справедливой с обеих сторон.

А

Это вы смеетесь над собой. Физически невозможно, чтобы один из двух не был неправ; и это нелепость и вар-

варство, чтобы нации погибали, потому что один из двух государей рассудил неправильно. Пусть они дерутся на поединке, если им хочется; но чтобы целый народ приносился в жертву их интересам, это — ужас. Эрцгерцог Карл оспаривает, например, испанский трон у герцога Анжуйского, и еще до того, как спор их разрешен, он стоит жизни больше чем четыремстам тысячам человек. Я спрашиваю вас, справедливо это?

В

Признаюсь, что нет. Нужно было найти какой-нибудь иной способ уладить разногласия.

А

Он существовал в готовом виде: надо было обратиться к нации, над которой хотели царствовать. Испанская нация говорила: мы хотим герцога Анжуйского; его дед-король в своем завещании назначил его наследником, мы подписались под этим, мы признали его своим королем; мы умоляли его оставить Францию и приехать править Испанией. Всякий, кто хочет воспротивиться закону живых и мертвых, явно несправедлив.

В

Очень хорошо. Но что, если в нации нет согласия?

А

Тогда, как я уже говорил, и нация, и участники спора больны бешенством. Ужасные симптомы болезни длятся двенадцать лет, пока взбесившиеся, истощив все свои силы, не оказываются вынуждены притти к согласию. Случай, смесь удач и неудач, интриги и изнеможение гасят пожар, который зажгли другие интриги, жадность, зависть и надежды. Война подобна вулкану Везувиию: ее извержения поглощают города, а потом ее пламя гаснет. По временам хищные звери, спустившись с гор, пожирают плоды ваших трудов, а затем возвращаются в свои пещеры.

С

Как прискорбна участь человеческая!

А

Участь куропаток хуже; лисицы и хищные птицы пожирают их, охотники их убивают, повара их жарят, а все-таки они продолжают существовать. Природа сохраняет виды и очень мало беспокоится об индивидах.

В

Вы жестоки, и мораль не примиряется с такими максимумами.

А

Не я жесток, а судьба. Ваши моралисты очень хорошо делают, что кричат безумолку: «Несчастные смертные, будьте справедливы и благодетельны; возделывайте землю и не заливайте ее кровью. Государи, не разоряйте наследственные владения других, чтобы вас не убили в ваших владениях; сидите дома, бедные дворянчики, восстанавливайте свои хижины; извлекайте из вашей почвы вдвое больше; окружайте ваши поля живыми изгородями; сажайте тутовые деревья; пусть ваши сестры вяжут вам шелковые чулки; улучшайте ваши виноградники; а если соседние народы пожелают притти пить ваше вино против вашей воли, мужественно защищайтесь; но не продавайте свою кровь государям, которые вас не знают, никогда не бросят на вас даже взгляд и обращаются с вами, как с охотничьими псами, которых выпускают против кабана, а потом оставляют издыхать в конуре».

Эти речи произведут, может быть, впечатление на три-четыре хорошо устроенные головы, но сто тысяч других даже не услышат их и будут добиваться чести стать гусарским лейтенантом.

Что касается других наемных моралистов, именуемых проповедниками, то они никогда не осмеливались поднять голос против войны. Они произносят громкие слова против чувственных вожделений, после того как выпьют шоколад. Они предают анафеме любовь и, сойдя с кафедры, на которой они кричали, жестикулировали и потели, позволяют обтирать себя преданным прихожанкам. Они из кожи лезут вон, чтобы доказать существование тайн, о которых они не имеют ни малейшего понятия; но они остерегаются поднять крик против войны, в которой сливаются вместе вся подлость коварных мани-

фестов, вся низость гнусных плутов при армейских поставках, весь ужас разбойничьего грабежа — насилие, кражи, убийство, опустошение, разорение. Наоборот, эти добрые священники торжественно благословляют хоругви убийства, а их собратья, когда земля уже обогрета кровью, поют за деньги еврейские песни.

В

И в самом деле, я не помню, чтобы я видел у многословного и обстоятельного Бурдалу — первого, кто внес признаки логического суждения в свои проповеди, — не помню, говорю, чтобы я видел у него хотя бы одну страницу против войны.

Элегантный и мягкий Массильон, благословляя знамена полка Катина, произносит, правда, некоторые молебствия о мире, но он допускает честолюбие. «Это желание, — говорит он, — видеть свои заслуги вознагражденными, если оно умеренно, если оно не побуждает вас вступить на пути несправедные для достижения ваших целей, не содержит в себе ничего, могущего оскорбить христианскую мораль». И в заключение он молит Господа послать перед полком Катина ангела-истребителя: «О Господи, пусть он предшествует всегда победе и смерти; пошли на врагов его дух ужаса и сокрушения». Я не знаю, может ли победа предшествовать полку, даже если Господь посылает дух сокрушения; но я знаю, что австрийские проповедники говорили то же самое императорским кирасирам, и ангел-истребитель не знал, кого слушать.

А

Еврейские проповедники заходили еще дальше. Поучительно обратить внимание на человеческие мольбы, которыми наполнены псалмы. Речь идет лишь о том, чтобы опоясаться божественным мечом, вспарывать животы женщинам, убивать грудных младенцев ударом о стену. Ангелу-истребителю не повезло в его походах, он сделался ангелом истребленным; а евреи в награду за свои псалмы всегда были побежденными и рабами.

Куда ни повернись, везде вы увидите, что священники неизменно проповедывали бойню, начиная с Аарона, который, как утверждают, был жрецом арабской орды, и кончая проповедником Жюрье, пророком из Амстер-

дама. Купцы этого города, столь же здравомыслящие, сколь этот бедняга был безумен, позволяли ему говорить и продавали свою гвоздику и корицу.

С

Ладно, мы не пойдем на войну, не будем за деньги подставлять себя под пули. Удовольствуемся тем, что будем твердо защищаться против грабителей, именуемых завоевателями.

РАЗГОВОР ДВЕНАДЦАТЫЙ

О кодексе коварства

В

А что мы скажем о праве коварства?

А

Клянусь святым Георгом! Первый раз слышу о таком праве. В каком катехизисе нашли вы эту обязанность христианина?

В

Я нахожу ее всюду. Разве Моисей и его святой народ не начали первым делом с того, что коварно взяли займы домашние вещи у египтян, чтобы, как говорил Моисей, пойти и совершить жертвоприношение в пустыне? Это коварство сопровождалось, собственно, только мелкой кражей; поступки, соединенные с убийством, гораздо более замечательны. Коварство Аода и Юдифи пользуется громкой славой. А коварные поступки патриарха Иакова с его тестем и братом — простые фокусы мэтра Гонена, так как он не убил ни тестя, ни брата. Но да здравствует коварство Давида, который собрал четыре сотни плутов, погрязших в долгах и разврате, заключил союз с неким царьком, по имени Акис, и отправился убивать мужчин, женщин и грудных детей в деревнях, находившихся под опекой этого царька, внушив царьку, что он убивает только мужчин, женщин и младенцев, принадлежащих царьку Саулу. Да здравствует особенно его коварство по отношению к доброму Урии! Да здравствует коварство Соломона мудрого, вдохновляемого Богом, который велел

убить своего брата Адонию после того, как поклялся сохранить ему жизнь!

Мы знаем еще деяния прославившегося своим коварством Кловиса, первого христианского короля франков, которые могли бы много послужить улучшению морали. Я особенно ценю его образ действий по отношению к убийцам некоего Реномера, короля Манса (если допустить, что когда-либо существовало королевство Манс). Он уговорился с верными людьми, чтобы они нанесли королю удар в спину, и заплатил им фальшивой монетой; а так как они ворчали, что с ними не произведен расчет, он велел их убить, чтобы отобрать назад свою неполноценную монету.

Почти все наши исторические рассказы наполнены примерами такого коварства, совершавшегося государствами, которые строили церкви и основывали монастыри.

А пример этих честных людей безусловно должен служить уроком для человеческого рода: ибо где ему искать урок, если не в деяниях помазанников Божиих?

А

Мне неважно, что Кловис и подобные ему были помазанниками; но я признаюсь вам, что я хотел бы в назидание человеческому роду, чтобы вся гражданская и церковная история была брошена в огонь. Я вижу в ней только хронику преступлений; и были ли все эти чудовища помазанниками, или нет, из их истории можно извлечь только примеры подлости.

Вспоминаю, как я читал когда-то историю великого западного раскола. Я видел перед собой дюжину пап, которые были все одинаково коварны и все одинаково заслуживали быть повешенными в Тайбэрне. А так как папство устояло среди распущенности, превосходящей по своей продолжительности и своему распространению все преступления, так как напоминания обо всех этих ужасах не исправили никого, то я делаю вывод, что история никому не нужна.

С

Да, я согласен, что роман лучше; там по крайней мере можно сочинять образцы добродетели; но Гомер во всем своем монотонном романе «Илиада» не придумал ни единого честного и добродетельного поступка. Я предпочел бы роман о Телемаке, если бы он не состоял целиком из

отступлений и пышных фраз. Но, поскольку вы навели меня на эту мысль, вот кусочек из Телемака, касающийся коварства, и мне хотелось бы услышать о нем ваше мнение.

В одном из отступлений, в книге XX этого романа, Адраст, царь данайцев, похищает жену некоего Диоскора. Этот Диоскор укрывается у греческих царей и, поглощенный весь мыслью о мести, предлагает им убить похитителя, их врага. Телемак, вдохновляемый Минервой, убеждает их не слушать Диоскора, а отправить его связанного по рукам и по ногам к царю Адрасту. Что вы скажете об этом решении добродетельного Телемака?

А

Отвратительно. Очевидно, не Минерва его вдохновляла, а Тизифона. Как! Отослать беднягу, чтобы он погиб мучительной смертью, а Адраст чтобы во всем походил на Давида, который наслаждался женой, послал на смерть ее мужа! Елейный автор Телемака не подумал об этом. Это не поступок благородного сердца, это поступок злодея и предателя. Я бы не принял предложение Диоскора, но я бы не выдал несчастного его врагу. Диоскор был, как я вижу, очень мстителен, но Телемак был коварен.

В

А коварство в договорных отношениях вы признаете?

С

Оно очень распространено, надо признаться. Я был бы в большом затруднении, если бы должен был решить, кто был большим жуликом при переговорах, римляне или карфагеняне, христианнейший Людовик XI или Фердинанд-католик, и т. д., и т. д., и т. д. Но я спрашиваю, не разрешается ли жульничать для блага государства?

А

Мне кажется, есть такие ловкие жулики, что все их прощают. И есть такие грубые, что их осуждают всем светом. Что касается нас, англичан, то мы никогда не ловили кого-нибудь в западню. Обманывает только слабый. Если вам нужны хорошие примеры коварства, обратитесь к итальянцам пятнадцатого и шестнадцатого веков.

Хороший политик — тот, что играет честно и в конце концов выигрывает. Плохой политик — тот, что только передергивает карту и рано или поздно попадает на этом.

В

Превосходно. Ну, а если он не попадетя или попадетя только после того, как обыграет нас дочиста, или сдаться, когда будет еще достаточно силен, чтобы его не могли принудить к сдаче?

С

По-моему, такое везенье бывает редко; история показывает нам больше наказанных знаменитых мошенников, чем удачливых...

РАЗГОВОР ШЕСТНАДЦАТЫЙ

О злоупотреблениях

С

Говорят, что миром правят только при помощи злоупотреблений. Верно ли это?

В

Я убежден, что у цивилизованных наций по крайней мере наполовину действуют злоупотребления, а наполовину терпимые порядки, несчастье и везение пополам, подобно тому как на море в течение года распределяются приблизительно одинаково бури и хорошая погода. Отсюда и возникло у секты манихейцев представление о двух бочках Юпитера.

А

Чорт возьми, если у Юпитера были две бочки, то бочка зла была гейдельбергской, а бочка добра не больше карто. В нашем мире столько злоупотреблений, что, когда я был в Париже в 1751 году, в течение всего года королевский суд, именуемый парламентом, шесть раз в неделю разбирает жалобы на злоупотребления.

В

Да, но кому можем мы пожаловаться на злоупотребления, царствующие в самом устройстве нашего мира?

Разве это не страшное злоупотребление, что животные убивают друг друга, чтобы питаться, и что люди еще более бешено убивают друг друга, даже не помышляя о еде?

С

О, простите, когда-то мы вели войны, чтобы есть друг друга; но с течением времени все хорошие порядки возрождаются.

В

Я читал в одной книге, что у нас в среднем всего лишь двадцать два года жизни; а если вычесть из них время, потерянное на сон, и время, которое мы теряем в бодрственном состоянии, то останется не больше пятнадцати лет в чистом виде; из этих пятнадцати лет нельзя считать детство, которое служит только переходом от небытия к бытию и если вычесть еще телесные недуги и горести так называемой души, то для наибольших счастливых останется в конечном счете никак не больше трех лет, а для остальных не больше шести месяцев. Разве это не возмутительное злоупотребление?

А

Так какого же чорта вы хотите? Прикажете, чтобы природа была устроена иначе, чем она устроена?

В

Во всяком случае я бы этого хотел.

А

Это верное средство сократить свою жизнь.

С

Оставим в стороне просчеты, допущенные природой, детей, погибающих часто еще в материнской утробе и причиняющих смерть матери, жизнь, отравленную ядом, проникшим, крадучись, из Америки в Европу, оспу, истинный бич рода человеческого, чуму, все еще существующую в Африке, ядовитые сорняки, покрывающие землю и так легко произрастающие сами собой, тогда как нужны невероятные усилия, чтобы вывести пшеницу. Будем говорить только о злоупотреблениях, которым дали начало мы сами.

В

В усовершенствованном обществе список был бы длинный. Ибо, не считая искусства регулярно истреблять род человеческий при помощи войны, о чем мы уже говорили, у нас есть искусство вырывать хлеб и одежду из рук тех, кто засекает поля и производит шерсть, искусство собирать все сокровища целой нации в сундуках пяти или шести сот людей, искусство торжественно убивать на людях с помощью полулистка бумаги тех, кто вам не угодил, как, например, жену маршала д'Анкра, маршала де Марильяка, герцога Соммерсетского или Марию Стюарт; у нас есть также обычай готовить человека к смерти при помощи пыток, чтобы узнать его сообщников, когда у него не могло быть сообщников, есть пылающие костры, отточенные кинжалы и заранее воздвигнутые эшафоты в качестве высших аргументов, и половина нации все время занята тем, чтобы на основании закона ущемить другую. Я говорил бы дольше, чем Ездра, если бы хотел, чтобы наши злоупотребления были записаны под мою диктовку.

А

Все это верно; но согласитесь, что большая часть этих ужасных злоупотреблений уничтожена в Англии и начинает сильно смягчаться у других наций.

В

Согласен. Но почему люди теперь все-таки немного лучше и немного менее несчастны, чем во времена Александра VI, Варфоломеевской ночи и Кромвеля?

С

Потому что начинают мыслить, просвещаться и грамотно писать.

В

Правильно; суеверие возбуждало бури, философия их успокаивает.





ОБЕД
У ГРАФА ДЕ БУЛЭНВИЛЬЕ*

1767

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Перед обедом

Аббат Куз*

Как, господин граф, вы считаете, что философия столь же полезна человеческому роду, как и апостолическая римско-католическая религия?

Граф де Булэнвилье

Философия распространяет свою власть на весь мир, а ваша церковь господствует только над частью Европы, да и там имеет врагов. И вы должны признать, что философия в тысячу раз более спасительна, чем ваша религия в том виде, в каком ее исповедуют с давних пор.

Аббат

Вы меня изумляете. Что именно разумеете вы под философией?

Граф

Просвещенную любовь к мудрости, подкрепленную любовью к вечному существу, вознаграждающему добродетель и отмщающему за преступление.

А б б а т

Прекрасно, но разве не это же возвещает наша религия?

Г р а ф

Если вы возвещаете это, то между нами нет разногласий; я — добрый католик, а вы — добрый философ, и не будем забираться дальше. Не будем осквернять нашу религиозную и святую философию ни софизмами, ни нелепостями, оскорбляющими разум, ни безудержной погоней за почестями и богатствами, развращающими всякую добродетель. Будем прислушиваться только к философским истинам и философской умеренности; и эта философия возьмет религию к себе в приемные дочери.

А б б а т

С вашего разрешения, такие речи немного пахнут костром.

Г р а ф

Пока вы не перестанете тыкать нам в нос ересью и пользоваться кострами вместо разумных доводов, вашими сторонниками будут только лицемеры и дураки. Мнение одного мудрого берет, конечно, верх над престижем мошенников и низкопоклонством тысячи идиотов. Вы спросили меня, что я разумею под философией, а я в свою очередь спрошу вас, что вы разумеете под религией?

А б б а т

Мне нужно порядочно времени, чтобы объяснить вам все наши догматы.

Г р а ф

Это уже сильный аргумент против вас. Вам нужны толстые томы, а мне достаточно четырех слов: служи Богу, будь справедлив.

А б б а т

Наша религия никогда не учила другому.

Г р а ф

Я хотел бы, чтобы в ваших книгах нельзя было найти противоположных идей. Жестокие слова вроде: «за-

ставь их притти»¹, которыми злоупотребляют с таким варварством, или: «не мир пришел я принести, но меч»², или еще: «а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь»³, и сотни подобных максим пугают здравый смысл и человеческое чувство.

Есть ли что-нибудь более жестокое и отвратительное, чем эта речь: «Вам дано знать тайны царства Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют»?⁴ Разве так открывают себя мудрость и вечная благодать?

Бог всей вселенной, который стал человеком, чтобы просветить и чтобы оказать благоволение всем людям, мог разве сказать: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»⁵, то есть к маленькой стране, занимающей самое большее тридцать лье?

Мог ли этот Бог, которому платят подушную подать, сказать, что его ученики не должны платить ничего и что цари берут подати или пошлины только с посторонних, а сыны их земли от платежа свободны?⁶

А б б а т

Эти скандализирующие вас речи находят объяснение в текстах совсем другого характера.

Г р а ф

О небо! Что же это за Бог, который нуждается в комментариях и которого вечно заставляют говорить то за, то против? Что это за законодатель, который ничего не написал? Что это за четыре Божественных книги, время написания которых неизвестно и авторы которых, весьма недостоверные, противоречат себе на каждой странице?

А б б а т

Все это находит разрешение, говорю вам. Но признайтесь все же, что нагорная проповедь вас вполне удовлетворяет.

¹ Лука, гл. XIV, ст. 23.

² Матфей, гл. X, ст. 34.

³ Матфей, гл. XVIII, ст. 17.

⁴ Лука, гл. VIII, ст. 10.

⁵ Матфей, гл. XV, ст. 24.

⁶ Матфей, гл. V, ст. 23.

Г р а ф

Да, утверждают, что Иисус сказал, будто сожгут тех, кто скажет брату своему: рака¹, как говорят изо дня в день ваши теологи. Он сказал, что пришел, чтобы исполнить закон Моисеев, который приводит вас в ужас. Он спрашивает, чем сделаешь соль соленой, если она теряет силу². Он говорит, что блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное³. Я знаю также, что его заставляют говорить, что зерно должно сгнить и умереть в земле, чтобы дать росток⁴, что царство небесное — горчичное зерно⁵, что оно — деньги, отданные в рост⁶, что не надо звать на обед своих родных, если они богаты⁷. Быть может, эти изречения имели добропорядочный смысл на языке, на котором они, как уверяют, были произнесены. Я принимаю что угодно, если оно может внушить добродетель; но будьте так добры, скажите мне, что вы думаете о таком отрывке:

«Бог меня сотворил. Бог везде и во мне; посмею ли я осквернить его преступными и низкими делами, постыдными словами, бесчестными вождедениями?»

«Смогу ли я в свою последнюю минуту сказать Богу: О властелин мой! О отец мой! Ты хотел, чтобы я страдал, и я покорно страдал. Ты хотел, чтобы я был нищ, и я избрал нищету. Ты вверг меня в бездну, и я не восхотел величия. Ты хочешь, чтобы я умер, и я чту тебя, умирая. Я покидаю величественное представление и благодарю тебя за то, что ты допустил меня на него, дабы я созерцал изумительный порядок, с которым ты правишь вселенной».

А б б а т

Это замечательно. У какого отца церкви нашли вы это Божественное место? У святого Киприана, святого Григория Назианзина или святого Кирилла?

¹ М а т ф е й, гл. V, ст. 22.

² М а т ф е й, гл. V, ст. 13.

³ М а т ф е й, гл. V, ст. 3.

⁴ Первое послание апостола Павла к коринфянам, гл. XV, ст. 36.

⁵ Л у к а, гл. XIII, ст. 19.

⁶ М а т ф е й, гл. XXV.

⁷ Л у к а, гл. XIV, ст. 12.

Г р а ф

Нет, это слова раба-язычника, по имени Эпиктет, а император Марк Аврелий никогда не расходился в мыслях с этим рабом.

А б б а т

Да, правда, я помню, что читал в молодости у языческих авторов моральные наставления, производившие на меня большое впечатление; признаюсь вам даже, что законы Салевка Харонды, советы Конфуция, нравственные заповеди Зороастра, максимы Пифагора казались мне продиктованными мудростью на счастье человеческого рода; мне казалось, что Богу угодно было одарить этих великих людей светом более чистым, чем людей обыкновенных, подобно тому как он наградил Вергилия большей гармонией, большим красноречием и Архимеда большей проницательностью, чем их современников. Я был поражен великими примерами добродетели, доставшимися нам от древности. Но все эти люди не знали теологии; они не знали разницы между херувимом и серафимом, между благодатью неодолимой, которой можно противиться, и благодатью достаточной, которая недостаточна; они не знали, что Господь умер, и, хотя он был распят за всех, он был все же распят только за некоторых. Ах, господин граф, если бы Сципионы, Цицероны, Катоны, Эпиктеты, Антонины знали, что отец родил сына, но не сотворил его, что дух не был ни рожден, ни сотворен, но исходит в дыхании как от отца, так и от сына, что у сына есть все, что надлежит иметь отцу, но нет у него отцовства, если бы, говорю я, древние, наши учителя во всем, могли знать сотни столь могущественных и столь ясных истин, если бы они, наконец, были теологами, то сколько пользы могли бы они принести людям! В частности превосходность, господин граф, и пресуществление такие превосходные вещи! Если бы небу было угодно, чтобы Сципион, Цицерон и Марк Аврелий изучили эти истины! Они могли бы быть викариями монсеньера архиепископа или синдиками Сорбонны.

Г р а ф

Так. Скажите мне по совести, между нами, как перед Богом, думаете ли вы, что души этих великих людей поджариваются вечно дьяволами на вертеле, пока они

не найдут свои тела, которые будут вечно поджариваться вместе с ними, и все это за то, что они не могли быть синдиками Сорбонны и викариями монсеньера архиепископа?

А б б а т

Вы ставите меня в большое затруднение, ибо вне церкви нет спасения.

Никто не будет угоден небу, кроме нас и друзей наших. Кто и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь¹. Сципион и Марк Аврелий не слушали церкви; они не приняли решений Триентского собора; их души будут вечно гореть; когда их тела, распавшиеся на четыре элемента, будут найдены, они будут также вечно гореть вместе с их душами. Нет ничего яснее, как и нет ничего справедливее; это совершенно точно.

С другой стороны, очень жестоко вечно жечь Сократа, Аристиды, Пифагора, Эпиктета, Антонинов — словом, всех, кто вел жизнь чистую и примерную, и дать вечное блаженство душе и телу Франсуа Равальяка, который умер, как добрый христианин, исповедавшись и причастившись благодати неодолимой или достаточной. Меня этот вопрос немного смущает; ибо в конечном счете я судья всем людям, их вечное блаженство или муки зависят от меня, и мне было бы довольно противно спасти Равальяка и осудить Сципиона.

Одно только меня утешает, — это то, что мы, теологи, можем извлечь из ада, кого захотим; в деяниях святой Теклы, великого богослова, ученицы святого Павла, переодевшейся в мужчину, чтобы следовать за ним, мы читаем, что она освободила из ада свою подругу Факониллу, имевшую несчастье умереть язычницей.

Великий Иоанн Дамаскин сообщает, что великий Маркар — тот, который горячими мольбами выпросил у Бога смерть Ария, — спросил однажды на кладбище череп язычника о его спасении; череп ответил, что молитвы theologов бесконечно облегчают осужденных.

Мы знаем, наконец, о некоей науке, с помощью которой папа, великий Григорий Святой, извлек из ада душу императора Траяна. Все это прекрасные примеры милосердия Господнего.

¹ Матфей, гл. XVIII, ст. 17.

Г р а ф

Вы насмешник. Ну да, извлеките из ада своими святыми молитвами Генриха IV, который умер без причастия, как язычник, и поместите его на небе вместе с исповедавшимся Равальяком; но меня интересует, как они будут жить вместе и какими глазами они будут смотреть друг на друга.

Г р а ф и н я

Обед стынет. Приехал уже господин Фрере*. Сядем за стол, и тогда извлекайте из ада, кого хотите.

РАЗГОВОР ВТОРОЙ

За обедом

А б б а т К у э

Ах, сударыня! Вы едите скоромное в пятницу без прямого разрешения монсеньера архиепископа или моего! Разве вы не знаете, что это грех против церкви? Евреям не разрешалось есть зайца, потому что хотя он жует жвачку, но копыто у него не раздвоено¹; страшным преступлением было съесть иксиона и гриффона².

Г р а ф и н я

Вы всегда шутите, господин аббат. Скажите, ради Бога, что это такое иксион?

А б б а т

Не имею ни малейшего понятия, сударыня! Но я знаю, что всякий, кто вкушает в пятницу без разрешения своего епископа куриное крылышко, вместо того чтобы набивать желудок осетром и лососиной, совершает смертный грех, что его душа будет гореть в ожидании своего тела, а когда тело ее найдет, оба вместе будут гореть вечно, не сгорая, как я только что говорил.

¹ Второзаконие, гл. XIV, ст. 7.

² Там же, ст. 12 и 13.

Г р а ф и н я

Это поистине необычайно, разумно и справедливо; просто удовольствие иметь такую мудрую религию. Не хотите ли крылышко молодой куропатки?

Г р а ф д е Б у л э н в и л ь е

Поверьте мне, возьмите! Иисус Христос сказал: «Ешьте, что вам предложат»¹. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь.

А б б а т

Ах, перед вашими слугами! В пятницу, которая следует за четвергом! Они разнесут это по всему городу!

Г р а ф

Вот как! Вы, значит, больше читаете моих лакеев, чем Иисуса Христа?

А б б а т

Это правда, что Спаситель наш никогда не делал различий между скоромными и постными днями, но мы переделали всю доктрину к лучшему; он дал нам всю власть на земле и на небе. Известно ли вам, что еще не прошло ста лет с тех пор, как во многих провинциях за скоромную еду в пост приговаривали к повешению? Я могу вам привести примеры.

Г р а ф и н я

Господи! Как это поучительно! И как ясно видно, что ваша религия — это религия Божественная!

А б б а т

Столь Божественная, что в тех самых местах, где вешали людей, поевших яичницы с салом, сжигали тех, кто выковыривал сало из шпигованной курицы, церковь еще и сейчас наказывает так. Настолько она применяется к различным слабостям человеческим.

Ваше здоровье!..

Г р а ф

Между прочим, господин викарый, ваша церковь разрешает жениться на двух сестрах?

¹ Лука, гл. X, ст. 8.

А б б а т

На обеих сразу? Нет. Но на одной после другой — это смотря по надобности, по обстоятельствам, по сумме, пожертвованной римскому двору, и по протекции; имейте в виду, что все всегда меняется и все зависит от нашей святой церкви. Святая иудейская церковь, наша мать, которую мы ненавидим и на которую всегда ссылаемся, считает, что это очень хорошо, что патриарх Иаков женился сразу на двух сестрах; она запрещает в книге Левит жениться на вдове брата¹ и определенно приказывает это во Второзаконии²; а обычай Иерусалима разрешал жениться на своей собственной сестре, ибо вы знаете, что когда Амнон, сын целомудренного царя Давида, изнасиловал свою сестру Фамарь, эта непорочная и рассудительная дева сказала ему: «Брат мой, не делайте глупостей, но попросите моей руки у нашего отца, и он не откажет вам».

Но вернемся к нашему Божественному закону, разрешающему жениться на двух сестрах или на жене брата; тут, как я уже говорил, дело меняется в зависимости от времени. Наш папа Климент VII не посмел объявить недействительным брак английского короля Генриха VIII с сестрой его брата, принца Артура, боясь, что Карл V опять посадит его, Климента VII, в тюрьму и велит объявить его батардом, каким он в действительности и был. Но вы можете не сомневаться, что в брачных делах, как и во всех прочих, папа и монсеньер архиепископ являются полными господами, когда на их стороне сила.

Ваше здоровье!..

Г р а ф и н я

А вы, господин Фрере, вы совсем не отвечаете на эти изящные речи, вы не произносите ни слова!

Г-н Ф р е р е

Я молчу, сударыня, потому что мне пришлось бы говорить слишком много.

¹ Левит, гл. XVIII, ст. 16.

² Второзаконие, гл. XXV, ст. 5.

А б б а т

А что бы вы могли, сударь, сказать такое, что в состоянии было бы пошатнуть авторитет, затмить блеск и оспорить истинность нашей матери, святой апостолической римско-католической церкви?

Ваше здоровье!..

Г-н Ф р е р е

Чорт возьми, я бы сказал, что вы евреи и идолопоклонники, которые издеваются над нами и кладут в карман наши деньги.

А б б а т

Евреи и идолопоклонники? Однако!

Г-н Ф р е р е

Да, евреи и идолопоклонники, раз уж вы настаиваете. Разве ваш Бог не родился евреем? Разве он не был обрезан, как еврей?¹ Разве он не выполнял все еврейские обряды? Разве вы не заставляете его несколько раз повторить, что надо повиноваться закону Моисееву?² Разве он не приносил жертвы в храме? А ваше крещение разве не было еврейским обычаем, заимствованным с Востока? Разве вы не называете до сих пор еврейским словом пасха главнейший из ваших праздников? Разве вы не поете в течение более семнадцати столетий на дьявольский лад еврейские песни, которые вы приписываете еврейскому царьку, разбойнику, прелюбодею и убийце, человеку, который угоден Господу? Разве вы не выдаете в Риме ссуды под залог в ваших еврейских лавочках, которые вы называете «вершинами благочестия»?³ И разве вы не продаете без всякой жалости залогов бедняков, если они не уплачивают в срок?

Г р а ф

Он прав; из еврейского закона у вас нет только одного — хорошего юбилейного года, настоящего юбилейного года, когда владельцы вернулись бы на земли, которые они вам подарили, как дураки, в те времена, когда

¹ Лука, гл. II, ст. 22 и 39.

² Матфей, гл. V, ст. 17 и 18.

³ «Monts de Piété» (франц.) — ломбарды; monts — горы, вершины.

вы их убедили, что придут Илия и антихрист, что наступает конец света и надо отдать все свое достояние церкви, чтобы получить спасение души и не попасть в ряды козлиц. Этот юбилейный год был бы куда лучше, чем тот, в который вы даете нам полные индульгенции; лично я выиграл бы на этом более ста тысяч ливров ренты.

А б б а т

Согласен от души — с тем, чтобы из этих ста тысяч ливров вы выделили мне приличный пенсioen. Но почему господин Фрере называет нас идолопоклонниками?

Г-н Фрере

Почему, сударь? Спросите у святого Христофора, ведь его первого мы видим в ваших соборах, и вместе с тем он — самый отвратительный памятник варварства, какой у вас есть. Спросите у святой Клары, к которой зывают для исцеления от болезней глаз и которой вы строите храмы, у святого Желю, который исцеляет от ломоты, у святого Януария, кровь которого так торжественно обращается в жидкость в Неаполе, когда приближаются к его голове, у святого Антония, который окропляет святой водой лошадей в Риме.

Дерзните ли вы отрицать ваше идолопоклонство, вы, которые в тысячах церквей воздаете ангельские почести молоку вашей Девы, крайней плоти и пупку ее Сына, терниям, из которых, по вашим словам, ему сделали венец, деревянной трухе, на которой, как вы утверждаете, нашло смерть вечное существо? Вы, которые воздаете Божеские почести комочку теста и сами прячете его в ящичек, опасаясь мышей? Ваши римские католики доходят в своем католическом сумасбродстве до уверенней, что они превращают этот комок теста в Бога силой нескольких латинских слов и что все крошки этого хлеба точно так же превращаются в богов, создателей вселенной? Плут, которого сделали священником, монах, только что покинувший объятия проститутки за двенадцать су, одетый в шутовской костюм, явится бормотать мне на чужом языке то, что вы называете мессой, и будет рассекать воздух на четыре части тремя пальцами, кланяться, выпрямляться, поворачиваться направо и налево, взад и вперед, делать богов, сколько ему заблагорассудится, есть и пить их, а потом выкладывать в свой

ночной горшок! И вы не признаете, что это самое чудовищное и самое смешное идолопоклонство, осквернявшее когда-либо природу человека? Разве можно, не превращаясь в дурака, воображать, что белый хлеб и красное вино превращают в Бога? И не сравнивайте себя, вы, новые идолопоклонники, с идолопоклонниками древними, которые боготворили Зевса, Демиурга, повелителя богов и людей, и воздавали почести второстепенным богам; знайте, что Церера, Помона и Флора выше, чем ваша Урсула и одиннадцать тысяч девственниц, и не жрецам Марии Магдалины смеяться над жрецами Минервы.

Г р а ф и н я

В лице господина Фрере у вас жестокий противник, господин аббат. Зачем вы хотели, чтобы он взял слово? Это ваша ошибка.

А б б а т

О сударыня, я человек закаленный, меня не так легко запугать; я уже давно слышал все эти рассуждения против нашей матери святой церкви.

Г р а ф и н я

Знаете, вы похожи на одну герцогиню, которую кто-то со злости назвал девкой, она ответила ему: «Мне это говорят уже тридцать лет, и я хотела бы, чтобы мне говорили это еще тридцать».

А б б а т

Сударыня, сударыня, острота не доказательство.

Г р а ф

Верно, но острота не означает, что отсутствуют доводы.

А б б а т

А какие доводы можно противопоставить достоверности пророчеств, чудесам Моисея, чудесам Иисуса, мученикам?

Г р а ф

Ах, не советую вам говорить о пророчествах, когда даже маленькие мальчики и девочки знают, что ел на

завтрак пророк Иезекииль¹, это неудобно называть за обедом, — а также знают приключения Оголы и Оголивы², о которых мудрено говорить в присутствии дам, и знают, что еврейский Бог приказал пророку Осии взять в жены блудницу и родить сыновей блуда³. Увы! Можно ли найти в этих жалких историях что-нибудь, кроме галиматши и непристойностей?

Пусть же ваши бедняги-теологи прекратят споры с евреями о смысле различных мест из их пророков, о нескольких еврейских строках Амоса, Иоиля, Аввакума, Иеремии, о нескольких словах насчет Илии, перенесенного в восточные области неба на огненной колеснице, каковой Илия, замечу в скобках, никогда не жил на свете.

И пусть они в особенности краснеют от пророчеств, содержащихся в их евангелиях. Мыслимо ли, чтобы еще существовали настолько глупые и подлые люди, что их не охватывает негодование, когда Иисус предрекает у Луки: «Будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются и тогда увидят Сына человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет»⁴.

Невозможно найти пророчество более яркое, более подробное и более ложное. Нужно быть безумцем, чтобы решиться сказать, что оно исполнилось и Сын человеческий явился на облаке с силою и славою великою. Каким же образом Павел в своем послании фессалоникийцам подтверждает это смехотворное пророчество другим, еще более дерзким? «Мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе», и т. д.

Как мы ни малообразованны, мы знаем все же, что догмат о конце света и о возникновении нового мира был тогда химерой, воспринятой почти всеми народами. Вы найдете это положение в четвертой книге Лукреция. Вы найдете его в первой книге «Метаморфоз» Овидия. Гераклит задолго до того говорил, что этот мир будет пожран

¹ Иезекииль, гл. IV, ст. 12.

² Там же, гл. XXIII.

³ Осия, гл. I, ст. 2 и гл. III, ст. 1 и 2.

⁴ Лука, гл. 21, ст. 25—27 и 32.

огнем. Стойки переняли этот вздор. Полуевреи, полухристиане, фабриковавшие евангелия, не преминули воспользоваться им к своей выгоде. Но так как мир еще долго продолжал существовать, а Иисус отнюдь не явился в первом веке церкви на облаке с силою и славою великою, то они объявили, что это относится ко второму веку; потом они обещали это в третьем веке, и так из века в век эта нелепость повторялась. Теологи поступали, как шарлатан, которого я видел у нового моста на Школьной набережной; он показывал вечером толпе петуха и несколько флаконов бальзама. «Господа, — говорил он, — я отрежу голову моему петуху, а через мгновение воскрешу его в вашем присутствии, только надо, чтобы сначала вы раскупили у меня мои флаконы». И всегда находились простаки, покупавшие их. «Итак, я отрежу голову моему петуху, — продолжал шарлатан, — но так как уже поздно, а эта операция заслуживает быть произведенной среди бела дня, то я совершу ее завтра».

Двое членов академии нашли в себе достаточно любопытства и настойчивости и явились вновь, чтобы посмотреть, как шарлатан выпутается из дела; этот фарс продолжался восемь дней, но фарс с ожиданием конца света продолжался в христианстве целых восемь веков. После этого, сударь, можете цитировать нам еврейские или христианские пророчества.

Г-н Ф р е р е

Я не советую вам говорить о чудесах Моисея в присутствии людей, у которых уже обсохло молоко на губах. Если бы все эти непостижимые чудеса были совершены, египтяне упомянули бы о них в своих летописях. Память о стольких чудесных событиях, потрясающих природу, сохранилась бы у всех наций. Греки, знавшие все сказки Египта и Сирии, распространили бы по всему свету шумные рассказы об этих сверхчеловеческих деяниях. Ни один историк, ни греческий, ни сирийский, ни египетский, не говорит об этом ни слова. Иосиф Флавий, такой хороший патриот, такой закоренелый в своем иудаизме, тот самый Иосиф, который собрал столько доказательств, говорящих о древности его нации, не мог найти ни одного, которое подтверждало бы десять казней египетских и переход посуху через море и т. п.

Автор пятикнижия, как вы знаете, до сих пор неизвестен; какой здравомыслящий человек решится когда-либо поверить, полагаясь на какого-то там еврея, Эздру или еще кого-нибудь, в такие ужасные чудеса, неизвестные всей остальной земле? Даже если бы все ваши еврейские пророки тысячу раз твердили об этих своеобразных событиях, невозможно было бы в них верить; но ни один из этих пророков не приводит слова пятикнижия об этой массе чудес, ни один не упоминает хотя бы об одной какой-либо подробности этих приключений; объясните же это молчание, если умеете.

Подумайте, что нужны весьма серьезные мотивы, чтобы опрокидывать так законы природы. Какой мотив, какие основания могли быть у еврейского Бога? Оказать милость своему народу? Дать ему плодородную землю? Так почему он не дал ему Египет, вместо того чтобы творить эти чудеса, большинство которых, по вашим словам, было повторено колдунами фараона? Какой смысл посылать ангела-истребителя для избиения всех первенцев и умерщвлять всех животных, чтобы иудеи, в числе шестисот тридцати тысяч воинов, бежали, как трусливые воры? Зачем открывать перед ними пучину морскую, чтобы они потом умирали от голода в пустыне? Вы чувствуете чудовищность этих нелепых глупостей; у вас слишком много здравого смысла, чтобы признавать их и серьезно верить в христианскую религию, основанную на еврейских выдумках. Вы чувствуете смехотворность ходячего ответа, гласящего, что нельзя вопрошать Бога, нельзя измерить бездонную глубину Провидения. Да, нельзя вопрошать Бога, почему он создал вшей и пауков, ибо мы достоверно знаем, что вши и пауки существуют, но не сможем узнать, для чего они существуют; но мы не столь уверены в том, что Моисей превратил свой посох в змею и покрыл Египет вшами, хотя его народ был близко знаком со вшами; но мы вовсе не вопрошаем Бога; мы вопрошаем сумасшедших, которые осмеливаются говорить именем Бога и приписывать ему свои крайние сумасбродства.

Г р а ф и н я

По правде сказать, дорогой мой аббат, я не советую вам говорить и о чудесах Иисуса. Неужели творец вселенной сделал себя евреем, чтобы превратить воду в вино

на брачном пиру, где все уже были пьяны?¹ Увлёк ли его диавол на гору, откуда видны были все царства земные?² Вселил ли он бесов в две тысячи свиней в стране, где во все не было свиней?³ Исушил ли он смоковницу за то, что на ней не было смокв, когда еще не было время собирания смокв?⁴ Поверьте мне, все эти чудеса так же смешны, как и чудеса Моисея. Скажите вслух то, что вы думаете про себя.

А б б а т

Сударыня, прошу у вас немного снисхождения к моему одеянию; позвольте мне заниматься моим ремеслом; может быть, вы меня немного побили, что касается пророчеств и чудес; но что касается мучеников, то не подлежит сомнению, что они были; и Паскаль, патриарх Пор-Рояльде-Шан, сказал: «Я не могу не верить фактам, свидетели которых дают себя убить».

Г-н Ф р е р е

Ах, сударь, сколько недобросовестности и невежества у Паскаля! Послушаешь его, можно подумать, что он присутствовал при допросе апостолов и был свидетелем их казни. Но где он видел, что они были казнены? Кто сказал ему, что Симон Бар-Иона*, прозванный Петром, был распят в Риме головой вниз? Кто сказал ему, что этот Бар-Иона, жалкий галилейский рыбак, когда-нибудь был в Риме? И говорил там по-латыни? Увы, если он был осужден в Риме, и если бы христиане это знали, то первая церковь, построенная ими в честь святых, была бы церковь святого Петра Римского, а не святого Иоанна Латеранского; папы уже позаботились бы об этом; их честолюбие воспользовалось бы таким прекрасным предлогом. До чего в самом деле доходят, если, чтобы доказать, что этот Петр Бар-Иона жил в Риме, вынуждены утверждать, что приписываемое ему письмо, помеченное Вавилоном, было в действительности написано в самом Риме?⁵ На что один знаменитый писатель очень хорошо ответил, что, согласно такому толкованию, письмо, помеченное Петербургом, должно быть написано в Константинополе.

¹ Иоанн, гл. II, ст. 9.

² Матфей, гл. IV, ст. 8.

³ Матфей, гл. VIII, ст. 32.

⁴ Марк, гл. XI, ст. 13.

⁵ Первое послание Петра, гл. V, ст. 13.

Для вас не тайна, кто именно те лжецы, которые говорили об этом путешествии Петра. Это Авдий, который первый написал, что Петр прибыл с Генисаретского озера прямо в Рим к императору, чтобы состязаться в чудесах с волхвом Симоном; это он сочинил рассказ о родственнике императора, которого наполовину воскресил Симон, а окончательно воскресил другой Симон — Бар-Иона. Это он стравливает двух Симонов, и вот один из них взлетает на воздух и ломает себе обе ноги по молитвам другого. Это он сочинил знаменитую историю о двух собаках, посланных Симоном сожрать Петра. Все это повторяет Марсель, повторяет Эгезип. Вот основы христианской религии. Вы видите в них только сплетение пошлых выдумок, сочиненных самой низкой чернью, которая одна только примыкала к христианству в течение сотни лет.

Это непрерывная вереница мастеров подлога. Они подделывают послания Иисуса Христа, подделывают письма Пилата, письма Сенеки, апостолические уставы, сивиллины стихи в акростихах, больше сорока евангелий, деяния Варнавы, литургии Петра, Иакова, Матфея, Марка и т. д., и т. д., и т. д. Вы это знаете, сударь, вы читали, конечно, эти бесчестные архивы лжи, которые вы называете благочестивыми обманами; и у вас нехватит честности признать в кругу друзей, что папский престол был воздвигнут исключительно на ужасающих химерах к несчастью рода человеческого?

А б б а т

Но каким образом могла бы христианская религия подняться на такую высоту, если бы ее фундаментом были только фанатизм и ложь?

Г р а ф

А каким образом магометанство поднялось на еще большую высоту? По крайней мере его ложь более благородна и его фанатизм более великодушен. По крайней мере Магомет писал и сражался; а Иисус не умел ни писать, ни защищаться. Магомет сочетал мужество Александра с духом Нумы, а ваш Иисус потел кровавым потом после того, как был осужден судьями. Магометанство никогда не менялось, а вы, господа, вы двадцать раз переделывали всю вашу религию. Между тем, что

представляет она сейчас, и тем, чем была она в свои первые времена, больше разницы, чем между вашими обрядами и обрядами короля Дагобера*. Несчастные христиане! Нет, вы не поклоняетесь вашему Иисусу, вы оскорбляете его, подменяя его законы своими. Вы издеваетесь над ним своими мистериями, своим агнцем, своими реликвиями, своими индульгенциями, своими обыкновенными духовными званиями и своим папством, больше чем каждый год пятого января издеваетесь над самими собой — своими разнузданными святочными песнями, в которых вы беспощадно высмеиваете и деву Марию, и ангела, который ее приветствует, и голубя, от которого она зачала, и плотника, который ревновал по этому поводу, и лежащего между быком и ослом малыша, которому трое царей пришли поклониться, — достойная компания для такой семьи!

А б б а т

А между тем именно это смешное святой Августин и находил божественным; он говорил: «Верю, ибо это нелепо; верю, ибо это невозможно».

Г-н Ф р е р е

Э, какое нам дело до болтовни африканца, то манихейца, то христианина, то развратника, то благочестивца, то терпимого к иноверцам, то преследователя? Что для нас его теологическая галиматья? Или вы хотите, чтобы я уважал этого бессмысленного ритора, когда он говорит в своей двадцать второй проповеди, что ангел сделал ребенка Марии через ухо?

Г р а ф и н я

В самом деле, тут только нелепости, но ничего божественного. По-моему, христианство очень просто возникло в населении, как секты анабаптистов и квакеров, как появились пророки из Виварэ и Севенн*, как растет сейчас кучка конвульсионеров. Начинается с экстаза, а завершает дело плутовство. О религии можно сказать то же самое, что об игре:

Начинают дураками,
Кончают шулерами.

Совершенно справедливо, сударыня. Из хаоса историй об Иисусе, написанных против него евреями и в его пользу христианами, с наибольшей вероятностью вытекает, что он был искренний еврей, который хотел приобрести влияние в народе, как родоначальники рехабитов, ессеев, саддукеев, фарисеев, иудайтов, иродианцев, иоаннитов, терапевтов и множества других маленьких группок, взращенных в Сирии, бывшей тогда родиной фанатизма. Вероятно, он вовлек в свою партию некоторых женщин, а также тех, кому хотелось быть главарем секты; у него вырвалось при этом несколько неумеренных речей против властей, и он был жестоко наказан смертной казнью. Но был ли он осужден в царствование Ирода, как утверждают талмудисты, или в царствование Ирода тетрарха, как говорят некоторые евангелия,—это в высшей степени безразлично. Точно установлено, что его ученики пропадали во мраке неизвестности, пока не сошлись в Александрии с некоторыми платониками, которые подкрепили бредни галилеян бреднями Платона. В те времена народы питали особое пристрастие к демонам, злым духам, бесам, магии, как в наше время дикари.

Почти все болезни были результатом одержимости злокозненным духом. Евреи с незапамятных времен хвастали, что умеют изгонять бесов с помощью корня «барат», поднося его к носу больного, и нескольких слов, приписываемых Соломону. Юный Товий изгнал бесов с помощью дыма от жарящейся рыбы. Вот происхождение чудес, которыми хвалились галилеяне.

Язычники были достаточно фанатичны, чтобы признать, что галилеяне могли творить эти великолепные чудеса, ибо язычники верили, что сами творят их. Они верили в магию, как и ученики Иисуса. Если какие-нибудь больные исцелялись силами самой природы, они спешили уверить всех, что больные были избавлены от более силой заклинаний. Они говорили христианам: у вас есть замечательные секреты, у нас тоже; вы исцеляете словами, мы тоже; у вас нет никакого преимущества перед нами.

Но когда галилеяне, залучив на свою сторону многочисленное население, начали проповедывать против госу-

дарственной религии; когда, после борьбы за терпимость, они осмелились стать нетерпимыми; когда они захотели воздвигнуть свой новый фанатизм на развалинах фанатизма древнего, — тогда римские жрецы и судьи их возненавидели. Их дерзость была подавлена. Что же сделали они? Они сочинили, как мы видели, тысячу произведений в свою пользу; из дураков они стали мошенниками, стали делать подлоги, они защищались при помощи самых недостойных плутней, ибо у них не было другого оружия; и так было, пока Константин, ставший императором благодаря их деньгам, не посадил их религию на трон. И тогда мошенники стали кровожадными. Смею вас уверить, что со времен Никейского собора* и вплоть до волнений в Севеннах не проходило года, когда бы христианство не проливало крови.

А б б а т

Ах, сударь, вы преувеличиваете.

Г-н Ф р е р е

Нет, я преуменьшаю. Прочтите хотя бы историю церкви; донатисты и их противники убивают друг друга палками; афанасиане и ариане превращают Римскую империю в арену резни из-за дифтонга. Эти христианские варвары горько жалуются, когда мудрый император Юлиан мешает им убивать друг друга и производить разрушения. Взгляните на эту страшную цепь убийств: сколько людей, умирающих под пыткой, сколько убитых государей; на ваших соборах разжигают костры; двенадцать миллионов невинных, обитателей нового полушария, убиты, как дикие звери в охотничьем парке, под предлогом, что они не хотели стать христианами, а в нашем старом полушарии христиане без конца режут друг друга; старики, младенцы, матери, жены, дочери умирают толпами во время альбигойских походов, во время гуситских войн, войн лютеровских, кальвинистских, анабаптистских, в Варфоломеевскую ночь, во время избиений в Ирландии, в Пьемонте, в Севеннах; и в это самое время римский епископ лежит на мягком ложе и заставляет целовать себе ноги, а пятьдесят кастратов услаждают его слух своими трелями. Бог свидетель, что это верный портрет, и вы не посмеете со мною спорить.

А б б а т

Соглашаюсь, тут кое-что есть. Но, как говорил епископ Нуайонский, это не застольные темы. Обеды были бы слишком печальными, если бы разговор вращался все время вокруг ужасов человеческой истории. История церкви портит пищеварение.

Г р а ф

Дела церкви портили его больше.

А б б а т

Это вина не христианской религии, а злоупотреблений.

Г р а ф

Было бы хорошо, если бы злоупотреблений было поменьше. Но ведь священники пожелали жить на наш счет с тех пор, как Павел, или тот, кто воспользовался его именем, написал: «Или я не имею власти, чтобы меня кормили и одевали вы меня, мою жену или мою сестру?»¹ Ведь церковь всегда хотела распространиться и пользовалась всяким возможным оружием, чтобы отнять у нас наше достояние и наши жизни, начиная с приключения Анания и Сафиры, которые, как утверждают, положили к ногам Симона Бар-Ионы все полученное ими от продажи имущества и сохранили лишь несколько драхм на свое пропитание². Ведь очевидно, что история церкви—это непрерывная цепь распрей, обмана, притеснений, мошенничеств, изнасилований и убийств; и тем самым доказано, что злоупотребление относится к самому существу дела, как доказано, что волк всегда был хищником и вовсе не вследствие некоторых случайных злоупотреблений пил кровь наших овец.

А б б а т

Это вы можете сказать о всех религиях.

Г р а ф

Вовсе нет. Назовите мне хотя бы одну войну, вызванную догматом какой бы то ни было древней секты. Назовите мне у римлян хотя бы одного человека, преследуемого за свои убеждения, начиная от Ромула и

¹ Первое послание коринфянам, гл. IX, ст. 4 и 5.

² Деяния апостолов, гл. V.

вплоть до тех пор, когда христиане опрокинули все вверх дном. Это нелепое варварство было предоставлено нам. Вы краснеете, вы чувствуете, что истина теснит вас, и вам нечего отвечать.

А б б а т

Я и не отвечаю. Я согласен, что теологические споры нелепы и губительны.

Г-н Ф р е р е

Согласитесь же, что надо вырвать с корнем дерево, приносящее всегда отравленные плоды.

А б б а т

Вот с этим я никак не соглашусь; ибо это дерево приносило порою также и добрые плоды. Если республика всегда раздиралась разногласиями, то из-за этого я не хочу, чтобы уничтожили республику. Можно реформировать законодательство.

Г р а ф

С государством дело обстоит не так, как с религией. Венеция реформировала свое законодательство и процветала; но когда хотели реформировать католицизм, Европа плавала в крови. И когда в конце концов знаменитый Локк, желая отдать дань как выдумкам этой религии, так и правам человечества, написал свою книгу о разумном христианстве, то у него нашлось весьма мало последователей; это достаточно сильное доказательство, что христианство и разум несовместимы. При теперешнем положении вещей есть только одно средство, да и то паллиативное: это поставить религию в абсолютную зависимость от государя и властей.

Г-н Ф р е р е

Да, с условием, что государь и власти люди просвещенные, умеют быть одинаково терпимыми ко всякой религии, смотреть на всех людей как на своих братьев, не обращать никакого внимания на то, что люди думают, и очень большое на то, что они делают; давать им свободу в их общении с Богом и связывать их только законами в их обязанностях по отношению к людям. И нужно рассматривать, как диких зверей, тех представителей власти, которые поддерживали бы свою религию при помощи палачей.

А б б а т

А что, если все религии, будучи разрешенными, передерутся друг с другом? Если католик, протестант, грек, турок, еврей вцепятся друг другу в волосы при выходе с мессы, с проповеди, из мечети и из синагоги?

Г-н Ф р е р е

Тогда пусть их рассеет полк драгун.

Г р а ф

По-моему, лучше преподавать им уроки умеренности, а не посылать против них полки; я бы сначала просвещал людей, прежде чем их наказывать.

А б б а т

Просвещать людей! Что вы говорите, господин граф! Вы считаете их достойными этого?

Г р а ф

Я понимаю. Вы все еще думаете, что их надо только обманывать; вы выздоровели только наполовину; старая болезнь все время возвращается.

Г р а ф и н я

Кстати, я забыла спросить ваше мнение по поводу одной вещи, которую я прочла вчера в запомнившейся мне истории этих добрых магометан. Когда Гассан*, сын Али, был в бане, один из его рабов нечаянно опрокинул на него котел с кипятком. Слуги Гассана хотели посадить виновного на кол. Но Гассан, вместо того чтобы велеть посадить его на кол, велел дать ему двадцать золотых монет. Есть, сказал он, слава в раю для тех, кто оплачивает услуги, еще большая слава для тех, кто прощает зло, и еще большая для тех, кто вознаграждает невольное зло. Что вы скажете об этом поступке и этом изречении?

Г р а ф

Узнаю моих добрых мусульман первого века.

А б б а т

А я моих добрых христиан.

Г-н Фреге

А я весьма недоволен, что обваренный Гассан, сын Али, пожертвовал двадцать золотых монет, чтобы получить славу в раю. Я не люблю добрых дел по расчету. Я бы хотел, чтобы Гассан был достаточно добродетелен и достаточно человечен и утешил впавшего в отчаяние раба, не думая о третьей степени славы в раю.

Графиня

Пойдемте пить кофе. Мне кажется, что если бы на всех обедах в Париже, Мадриде, Лиссабоне, Риме и Москве вели такие просвещающие разговоры, то миру от этого было бы лучше.

РАЗГОВОР ТРЕТИЙ

После обеда

Аббат

Великолепный кофе, сударыня. Это чистейший мокко?

Графиня

Да, оно из страны мусульман. Очень жаль, не правда ли?

Аббат

Говоря без шуток, сударыня, людям нужна религия.

Граф

Да, несомненно; и Бог дал им божественную, вечную, запечатленную во всех сердцах; ту, которую, по вашим словам, исповедывали Енох, сыновья Ноя и Авраам; ту, которую китайские ученые сохранили на протяжении более четырех тысяч лет, — это почитание Бога, любовь к справедливости и отвращение к преступлению.

Графиня

Возможно ли, чтобы такую чистую и святую религию оставили ради отвратительных сект, наводнивших землю?

Г-н Ф р е р е

Что касается религии, сударыня, то по отношению к ней вели себя совсем не так, как по отношению к одежде, жилищу и еде. Мы начали с пещер, хижин, с одежд из шкур животных и с жолудей. Потом у нас были хлеб, ароматные блюда, одежды из шерсти и шелка, чистые и удобные дома. Но что касается религии, то мы вернулись к жолудям, звериным шкурам и пещерам.

А б б а т

Было бы весьма мудро извлечь вас оттуда. Вы видите, что христианская религия, например, включена всюду в систему государства и что, начиная от папы и кончая последним капуцином, каждый воздвигает на ней свой трон или свою кухню. Я уже говорил вам, что люди недостаточно рассудительны, чтобы довольствоваться религией чистой и достойной Господа.

Г р а ф и н я

Вы так не думаете; вы ведь сами признаете, что люди держались этой чистой религии во времена вашего Еноха, вашего Ноя, и вашего Авраама. Почему же теперь они не так рассудительны, как тогда?

Я вам скажу, почему. Дело в том, что тогда не было ни каноников с богатым приходом, ни аббата де Корби со ста тысячами экю ренты, ни епископа Вюрцбургского с миллионом, ни папы с шестнадцатью или восемнадцатью миллионами. Чтобы дать человеческому обществу все эти блага, нужны были, быть может, такие же кровавые войны, какие нужны были бы, чтобы их у него отнять.

Г р а ф

Хотя я служил в войсках, я вовсе не хочу воевать со священниками и монахами; я не хочу утверждать истину путем убийства, как утвердили они заблуждение; но я хотел бы, чтобы истина хотя бы немного просветила людей, чтобы они были более мягкими и более счастливыми, чтобы народы перестали быть суеверными и чтобы руководители церкви страшились быть преследователями.

А б б а т

Нелегко (я должен, наконец, объясниться) отнимать у людей невежественных цепи, о которых они мечтали.

Народ Парижа забросает вас, вероятно, камнями, если вы в дождливую погоду не позволите, чтобы по улицам носили так называемые мощи святой Женевьевы, дабы наступила хорошая погода.

Г-н Ф р е р е

Я с вами абсолютно не согласен; разум сделал такие успехи, что уже более десяти лет в Париже не носят ни эти мощи, ни мощи Марселя. Я считаю, что очень легко искоренить постепенно все суеверия, превратившие нас в скотов. Уже не верят больше в колдунов, не изгоняют бесов, и хотя сказано, что ваш Иисус послал апостолов именно для того, чтобы изгонять бесов, нет ни одного священника, который был бы настолько безумен и глуп, чтобы хвастать, будто он изгоняет их; реликвии святого Франциска стали смешными, а реликвии святого Игнатия, быть может, будут валяться в грязи вместе с самими иезуитами. Правда, папе оставляют герцогство Феррарское, которое он захватил, владения, которыми Цезарь Борджиа овладел при помощи железа и яда и которые вернулись к римской церкви, хотя он трудился не для нее; даже Рим оставляют папам, не желая, чтобы им завладел император; папам платят даже аннаты, хотя это позорно, смешно и явная взятка: не хотят подымать шум из-за такой скромной субсидии. Люди, порабощенные привычкой, не расторгают сразу негодную сделку, заключенную почти три столетия тому назад. Но пусть папы дерзостно осмелятся послать, как в былые времена, легатов а *latere*, чтобы облагать народы десятинами, отлучать королей от церкви, объявлять их государства под интердиктом, раздавать их короны другим, — и вы увидите, как примут любого легата а *latere*. Я не теряю надежды, что парламент в Э или в Париже отправит его на виселицу.

Г р а ф

Взгляните, как потрясали нас позорные предрассудки. Бросьте взгляд сейчас на самую изобильную часть Швейцарии, на семь Соединенных Провинций*, равных по своему могуществу Испании, на Великобританию, морские силы которой выдержали бы и выиграли бы одни состязание с объединенными силами всех остальных наций; взгляните на север Германии и на Скандинавию, эти

безупречные питомники воинов; все эти народы далеко обогнали нас в прогрессе разума. Каждая отрубленная ими голова гидры оплодотворяла своей кровью их поля; упразднение монашества наполнило людьми и обогатило их государства; нет сомнения, что и во Франции можно сделать то же, что сделано в других странах; Франция будет тогда более обильной и более населенной.

А б б а т

Ну что ж, когда вы вытряхнете из Франции монашескую нечисть, когда не видно будет больше смешных реликвий, когда мы не будем больше платить римскому епископу постыдную дань, когда мы станем даже презирать единосущность и исхождение Святого Духа от Отца и от Сына, не говоря уже о пресуществлении, когда эти тайны останутся погребенными в «Сумме» святого Фомы, а презренные теологи вынуждены будут молчать, то вы все же будете попрежнему христианами; и напрасно вы захотите итти дальше, это вам никогда не удастся. Религия философов не для людей.

Г-н Ф р е р е

Я скажу вам, вместе с Горацием, что ваш врач никогда не даст вам зрение рыси, но будьте довольны тем, что он снимет бельмо с ваших глаз. Мы стонем под тяжестью стофунтовых цепей, позвольте же, чтобы нас освободили от трех четвертей этого веса. Слово христианин одержало верх, оно останется; но постепенно будут поклоняться Богу без примесей, не давая ему ни матери, ни сына, ни фиктивного отца, не говоря ему, что он был казнен позорной казнью, не веруя, что богов делают из мук, и обходясь без всей кучи суеверий, которые ставят цивилизованные народы гораздо ниже дикарей. Чистое поклонение Высшему Существу начинает становиться сейчас религией всех честных людей, и вскоре это поклонение проникнет в здравую часть всего народа.

А б б а т

А вы не боитесь, что неверие (огромные успехи которого я замечаю) окажется роковым для народа, когда дойдет до него, и приведет его к преступности? Люди под-

вержены жестоким страстям и ужасающим несчастьям; им нужна узда для сдержки и заблуждение, чтобы утешаться.

Г-н Ф р е р е

Разумный культ справедливого Бога, который карает и награждает, был бы, конечно, счастьем для общества; но когда спасительное познание справедливого Бога искажается нелепой ложью и опасными суевериями, тогда лекарство превращается в отраву, и то, что должно было бы устрашать преступность, поощряет ее. Злодей, умеющий рассуждать только наполовину (а таких есть много), часто дерзает отрицать Бога, которого ему нарисовали в возмутительном виде.

Другой злодей, у которого сильные страсти в слабой душе, часто сбивается с пути уверенностью в прощении, отпускаемом священниками. Каким бы огромным множеством преступлений вы ни были осквернены, исповедуйтесь мне, и все будет прощено вам в силу подвигов человека, который был в Иудее много веков тому назад. Погрузитесь после этого семью семьдесят семь раз в новые преступления, и снова все будет вам прощено. Разве это не значит поистине вводить в искушение? Разве это не значит расчищать все пути злу? Госпожа Бренвилье* разве не исповедывалась после каждого совершенного ею отравления? Людовик XI разве не поступал таким же образом?

У древних, как и у нас, существовала исповедь и покаяние, но нельзя было очиститься покаянием от второго преступления. Два тяжких убийства не прощались. Мы переняли все у греков и римлян и все испортили.

Ад у них был нелепый, не спорю; но наши диаволы глупее, чем их фурии. Фурии не были сами осужденными; их считали как бы исполнительницами, а не жертвами Божественного возмездия. Быть одновременно палачами и казнимыми, сжигающими и сжигаемыми, как наши диаволы, это дикое противоречие, достойное нас, тем более дикое, что о падении ангелов, этой основе христианства, нет ничего ни в книге Бытия, ни в евангелиях. Это древняя басня браминов.

Да, сударь, все смеются сейчас над вашим адом, потому что он смешон; но никто не стал бы смеяться над Богом, воздающим и карающим, от которого ждали бы с надеждой награды за добродетель и со страхом — наказа-

ния за преступление, не зная, каковы будут кары и награды, но не сомневаясь, что они будут, ибо Бог справедлив.

Г р а ф

Мне кажется, господин Фрере достаточно ясно показал, как религия может стать спасительной уздой. Я же попытаюсь доказать вам, что чистая религия бесконечно более утешительна, чем ваша.

Есть сладость, говорите вы, в иллюзиях благочестивых душ, — верю; эта сладость есть и в доме умалишенных. Но что за муки, когда эти души просветятся! В каких сомнениях и в каком отчаянии проводят свои печальные дни иные монашенки! Вы были свидетелем этому, вы сами рассказывали мне. Монастыри — прибежище кающихся, но монастырь, особенно мужской, это притон раздоров и зависти. Монахи — это добровольные каторжники на галерах, которые дерутся, работая вместе веслами; исключением является очень небольшое число действительно кающихся или делающих полезное дело. Но неужели Бог создал мужчину и женщину на земле, чтобы они влачили свою жизнь в темницах, навеки отделенные друг от друга? В этом ли цель природы? Все поднимают крик против монахов; я их жалею. Большинство их еще с юных лет навсегда принесли в жертву свою свободу, из ста по крайней мере восемьдесят сохнут в горькой скорби. Где же те великие утешения, которые ваша религия дает людям? Священнослужитель с богатым доходом находит, конечно, утешение, но в своих деньгах, а не в своей вере. Если он наслаждается некоторым счастьем, он вкушает его, только нарушая правила своего сословия. Он счастлив только как человек мирской, а не как служитель церкви. Отец семейства, разумный, положившийся на Бога, преданный своей родине, окруженный детьми и друзьями, получает от Бога дары, в тысячу раз более ощутимые.

Мало того, всё, что вы могли бы сказать в пользу ваших монахов и их заслуг, я с гораздо большим основанием скажу о дервишах, марабу, факирах, бонзах. Они несут покаяние во сто крат более строгое; они предаются самоистязаниям более ужасным; и их железные цепи, под тяжестью которых они сгибают спины, их руки, протянутые вечно в одну и ту же сторону, их неслыханное умерщвление плоти — все это ничто по сравнению с молодыми жен-

щинами Индии, которые сжигают себя на погребальных кострах своих мужей, в надежде возродиться вместе с ними.

Не хвастайте же лучше ни карами, ни утешениями, которые дает христианская религия. Согласитесь прямо, что она во всех отношениях далека от разумного культа, без суеверия, воздаваемого честной семьей высшему существу. Оставьте монастырские темницы, оставьте ваши противоречивые и ненужные тайны, предмет всеобщей насмешки. Проповедуйте Бога и мораль, и я ручаюсь вам, что будет больше добродетели и больше благополучия на земле.

Г р а ф и н я

Я полностью разделяю это мнение.

Г-н Ф р е р е

И я также, конечно.

А б б а т

Ну что ж, приходится открыть вам мой секрет: я тоже.

Тут появились президент де Мэзон, аббат де Сен-Пьер, г-н дю Фэй, г-н дю Марсэ; и аббат де Сен-Пьер прочел, по обыкновению, свои утренние размышления, каждое из которых можно было развить в прекрасное произведение.

Мысли,

заимствованные у аббата де Сен-Пьеря

Большинство государей, министров, людей, носящих высокий сан, не имеют времени читать; они презирают книги, и ими правит толстая книга, являющаяся могилой здравого смысла.

Если бы они умели читать, они избавили бы мир от всех зол, причиненных суеверием и невежеством. Если бы Людовик XIV умел читать, он не отменил бы Нантский эдикт.

Папы и их подручные до такой степени верили, что власть их опирается на голое невежество, что всегда запрещали читать единственную книгу, возвещающую их религию; они говорили: вот ваш закон, и мы запрещаем вам читать его; вы узнаете из него только то, чему нам угодно будет вас научить. Эта сумасбродная тирания непостижима; и все же она существует, и вся библия на любом живом языке запрещена в Риме; она разрешена только на языке, на котором не говорят.

Все папские узурпации пользуются, как предлогом, какой-нибудь жалкой игрой слов — перепутанными названиями улиц, остротой, которую влагают в уста Божии и за которую высекали бы школьника: «ты Петр, и на этом камне построю я союз мой»¹.

Если бы умели читать, то с очевидностью видели бы, что религия причиняет правительствам только зло; она причиняет еще много зла во Франции преследованиями протестантов, раздорами по поводу какой-нибудь буллы, стоящей меньше внимания, чем уличная песенка, смехотворным безбрачием духовенства, тунеядством монахов, скверными сделками с римским епископом и т. д.

Испания и Португалия, одичавшие гораздо более, чем Франция, испытывают почти все эти беды и вдобавок еще имеют инквизицию, которая, если допустить существование ада, является еще более отвратительным учреждением.

В Германии идут нескончаемые споры между тремя сектами, допущенными по Вестфальскому миру; жители земель, непосредственно подвластных немецким священникам, бессловесные существа, едва могущие прокормиться.

В Италии эта религия, разрушившая Римскую империю, оставила только нищету, музыку, евнухов, арлекинов и священников. Увешивают драгоценностями маленькую черную статую, называемую мадонна ди Лоретто, а земля не обрабатывается.

Теология в религии то же, что яд среди съестных припасов.

¹ По-гречески (и по-французски) имя Петр означает камень.

Были ли добросовестные теологи? Да, как были люди, считавшие себя колдунами.

Г-н Дестанд, из Академии наук, подаривший нам «Историю философии», говорит в томе III, страница 299: «Теологический факультет кажется мне самой презренной корпорацией в королевстве»; он сделался бы одной из самых уважаемых, если бы ограничился преподаванием божества и морали. Это было бы единственным средством искупить преступные решения против Генриха III и великого Генриха IV.

Чудеса, творимые оборванцами в предместьи Сен-Медар, могут зайти далеко, если г-н кардинал де Флери не наведет там порядок. Нужно призвать к миру и строго запретить чудеса.

Не стыдно ли, что у фанатиков есть рвение, а у мудрых нет? Надо быть благоразумным, но не робким.





МЫСЛИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

I

Чистый деспотизм — это возмездие людям за дурное поведение. Если какое-либо людское сообщество находится под господством одного или нескольких человек, то происходит это, очевидно, оттого, что само оно не решалось или не умело управлять собою.

II

Человеческое общество, коим правит произвол, похоже совершенно на стадо подъяремных волов, работающих на хозяина. Он питает их только затем, чтобы они могли работать; он врачует их болезни только затем, чтобы, будучи здоровы, они приносили ему пользу; он откармливает их, чтобы питаться их мясом; и пользуется шкурою одних, чтобы других впрягать в плуг.

III

Под такое ярмо подводит народ либо ловкач, воспользовавшийся скудоумием своих соотечественников и их распрями, либо вор, именуемый завоевателем, который

совместно с другими ворами захватил их земли, убил тех, кто сопротивлялся, а трусов пощадил, обратив их в рабство.

IV

Случалось, что такому вору, достойному колесования, воздвигали алтари. Порабощенный народ признавал детей вора потомством богов; выяснение их прав рассматривалось как кощунство, а малейший шаг к свободе — как святотатство.

V

Самый нелепый из всех деспотизмов, самый унижительный для человеческой природы, самый несообразный и самый зловредный — это деспотизм священников; а из всех жреческих владычеств самое преступное — это, без сомнения, владычество священников христианской церкви. Это — поругание нашего евангелия, ибо Иисус говорит там во многих местах: «Да не будет между вами ни первых, ни последних», «Царство мое не от мира сего», «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить»*, и т. д.

VI

Когда наш епископ*, поставленный затем, чтобы служить, а не затем, чтобы ему служили, поставленный затем, чтобы помогать беднякам, а не затем, чтобы пожирать их добро, поставленный затем, чтобы назидать, а не затем, чтобы господствовать, дерзнул во времена безвластия назвать себя государем того города, где был всего только пастырем, он явным образом оказался повинен в мятеже и в незаконном присвоении власти.

VII

Так римские епископы, впервые подавшие сей роковой пример, сделали владычество свое, а заодно и свою секту, ненавистными в половине Европы; так иные германские епископы становились по временам угнетателями тех народов, чьими отцами надлежало им быть.

VIII

Почему природа человеческая такова, что большее отвращение вызывают те, кто поработил нас мошенни-

ческим образом, чем те, кто покорил нас оружием? Потому что в тиранах, укротивших людей, есть хотя бы некоторая доля мужества, а в тех, кто обманул, — одна только подлость. Доблесть завоевателей ненавистна, но внушает уважение; мошенничество же и ненавистно и презренно. Ненависть в сочетании с презрением способна стряхнуть любое ярмо.

IX

Когда у себя в городе мы низвергли часть предрассудков, насажденных папством, таких, как поклонение трупам, как такса на грехи, как оскорбительная для Бога отмена за деньги тех наказаний, коими Бог грозит преступникам, и столько других еще выдумок, низводивших человеческую природу до скотского состояния; когда, разбив ярмо чудовищных заблуждений, мы изгнали епископа-паписта, посмевшего назваться нашим государем, — мы тем самым только вернули разуму и свободе их похищенные права.

X

Свое городское самоуправление мы восстановили в том примерно виде, в каком оно существовало в пору господства римлян, украсив его и укрепив тою свободою, которую купили своею кровью. Нам неведомо было гнусное и унижительное различие между благородным и простолюдином, что в основе своей означает попросту: господин и раб. Родившись равными, мы таковыми и остались; и почетные звания, то есть общественные тяготы, возложили на тех, кто, на наш взгляд, был всего способнее нести их.

XI

Мы завели священников с условием, чтобы они были единственно только тем, чем должны быть, — учителями нравственности при наших детях. Этих учителей надобно оплачивать и почитать, но они не должны притязать ни на право суда и надзора, ни на почести; ни в коем случае не должны они равнять себя с судейским сословием. Духовное собрание, которое вздумало бы поставить перед собою на колени гражданина, уподобилось бы педагогу, наказывающему детей, или тирану, карающему рабов.

XII

Произносить такие слова, как «правление гражданское и церковное», — это значит совершать надругательство над разумом и над законами. Надобно говорить: «гражданское правление и церковные уставы»; и из этих уставов ни один не может быть издан иначе, как только гражданской властью.

XIII

Гражданское правление — это воля всех, выполняемая одним или несколькими, по силе законов, вынесенных всеми.

XIV

Все законы, коими учреждаются правительства, направлены против честолюбия: повсеместно проявлена была забота о том, чтобы воздвигнуть плотины против сего потока, который иначе залил бы всю землю. Так, в республиках основными законами определены права каждого сословия; так, короли при венчании на царство присягают, что будут блюсти преимущества, присвоенные их подданным. В Европе один только датский король силою закона поставлен выше закона. Штаты, созванные в 1660 году, провозгласили его неограниченным самодержцем. Словно предвидели они, что в продолжение ста лет и более Данией будут править короли мудрые и справедливые. Может статься, что в последующие столетия придется изменить этот закон.

XV

Иные богословы утверждали, будто по праву божескому папам присвоена на всей земле та же власть, какую пользуются на малом уголке земли датские монархи. Но то были богословы... Вселенная освистала их во всеуслышание, а Капитолий роптал втихомолку при виде того, как монах Гильдебранд* заговорил языком владыки в святилище законов, где Катоны, Сципионы и Цицероны говорили некогда языком граждан.

XVI

Когда ощутительно меняются времена, тогда наступает необходимость и в изменении некоторых законов. Так, когда в Афинах Триптолем ввел в употребление плуг,

пришлось упразднить охрану жолудей. В ту пору, когда академии состояли только из священников и когда они одни владели языком науки, им одним и приличествовало назначать на должности профессоров; это была «охрана жолудей»; но в наши дни, когда просветились и миряне, гражданская власть должна вернуть себе право назначения на все кафедры.

XVII

Закон против роскоши, уместный в республике бедной и лишенной ремесл, становится нелеп, когда в городе завелась промышленность и появился достаток. Это значит лишать ремесленников законного заработка, который доставили бы им богатые; это значит лишать тех, кто приобрел состояние, естественного права пользоваться таковым; это значит душиить всякую промышленность; это значит притеснять в равной мере и богатых и бедных.

XVIII

Одежды богача не нуждаются в законодательном определении, так же как и лохмотья бедняка. Оба они в одинаковой степени граждане, и оба должны быть одинаково свободны. Каждый одевается, питается и обставляет свое жилье, как может. Запрещая богатому есть рябчиков, вы обворовываете бедного, который содержал бы свою семью на то, что выручил бы от продажи дичины богатому. Если вы не желаете, чтобы богатый украшал свой дом, вы тем самым разоряете сотню ремесленников. Гражданин, который своею роскошью унижает бедного, тою же самою роскошью обогащает бедного в гораздо большей мере, чем унижает его. Нищета должна работать на богатство, чтобы когда-нибудь сравняться с ним.

XIX

Римский закон, который сказал бы Лукуллу: «Не трать ничего», говорил бы в сущности Лукуллу: «Обогатись еще более, с тем чтобы внук твой мог скупить всю республику».

XX

Законы против роскоши могут быть по душе только бедняку праздному, гордому и завистливому, которому несносны и работа и благоденствие тех, кто поработал.

XXI

Если республика образовалась в годы религиозных войн, если в пору этих смут она удалила со своей территории все секты, враждебные ее секте, то она поступила разумно, ибо смотрела на себя тогда, как на страну, оцепленную людьми зачумленными, и опасалась, как бы не занесли в нее чумы. Но когда миновали те бурные времена, когда веротерпимость стала господствующим догматом всех честных людей в Европе, — не смешное ли это варварство, если человека, желающего поселиться у нас и привезти с собой в нашу страну свои богатства, встречают вопросом: «А какую религию исповедуете вы, сударь?» Золото и серебро, промышленность, таланты не исповедуют никакой религии.

XXII

Самая малая из всех республик должна быть, казалось бы, и самой счастливой, коль скоро свобода обеспечена ей местоположением, а соседям полезна ее неприкосновенность. В малом механизме движение должно бы, кажется, происходить легче и равномернее, чем в большом, где пружины более сложны и где более сильное трение вызывает перебои в ходе механизма. Но так как гордыня всем ударяет в голову, так как яростное стремление повелевать себе подобными является господствующей страстью духа человеческого, так как, чем ближе друг в друга вглядываться, тем сильнее можно друг друга возненавидеть, — то случается иной раз, что малое государство терпит худшие смуты*, чем большое.

XXIII

Чем урочать этот недуг? Рассудком, чей голос услышан будет напоследок, когда страсти устанут кричать. Тогда обе стороны поступят некоторую долей своих притязаний, во избежание горшего зла; но на это потребно время.

XXIV

В малой республике к мнению народа прислушиваются, повидимому, внимательнее, чем в большой, ибо собрание в тысячу человек легче поддается убеждению, чем сорокатысячное. Так, управляя Венецией, которая вела

столь продолжительную войну с Оттоманской империей, было бы чрезвычайно опасно пускать в ход те же приемы, что в республике Сан-Марино, которая никогда ничего не завоевывала, кроме одной только мельницы*, да и ту была вынуждена отдать назад.

XXV

Весьма странным представляется заявление автора «Общественного договора», будто весь английский народ должен был бы заседать в парламенте и будто он уже не свободен, раз права его заключаются в том, что депутаты представляют его в парламенте*. Уж не хочет ли он, чтобы три миллиона граждан сходились для подачи голосов в Вестминстер? Разве не при посредстве депутатов выступают шведские крестьяне?

XXVI

В том же самом «Общественном договоре» сказано, что «монархический образ правления подходит народам богатым, аристократический — государствам среднего достатка и средней величины, а демократический — государствам малым и бедным».

Однако же в четырнадцатом веке, в пятнадцатом и в начале шестнадцатого единственным богатым народом были венецианцы; они и сейчас еще очень состоятельны: а между тем Венеция никогда не была и никогда не будет монархией. Римская республика со времен Сципионов до времен Цезаря была весьма богата. Лукка мала и не богата, и тем не менее это — аристократия. Зажиточные и оборотистые Афины были государством демократическим.

У нас есть очень богатые граждане, а правление у нас смешанное — демократическое и аристократическое. Таким образом, следует остерегаться всех этих общих правил, которые существуют только под пером сочинителей.

XXVII

Тот же писатель, толкуя о различных способах управления государством, выражается так: «Один признаёт полезным, чтобы соседи боялись его, другой — чтобы они его не знали. Один радуется, что деньги находятся в обращении, другой требует, чтобы у народа был хлеб»*.

Весь этот отрывок представляется ребяческим и противоречивым. Как могут не знать вас соседи? какая возможна безопасность, если соседи ваши не знают, что нападать на вас опасно? и как могло бы оставаться неизвестным государство, способное внушить страх? и как может оказаться у народа хлеб, если деньги не находятся в обращении? Противоречия бросаются в глаза.

XXVIII

«С того мгновения, как народ собрался законным порядком на верховный сход, всякое отправление государственного правосудия прекращается, исполнительная власть приостанавливает свою деятельность и т. д.». Это положение «Общественного договора» было бы вредоносно, если бы не было очевидным образом ложно и нелепо. Когда в Англии парламент находится в сборе, никакое правосудие не приостанавливается; да и в самом малом государстве, если совершается во время народного собрания убийство или покража, преступник передается и должен передаваться судебным властям. В противном случае всякое народное собрание являлось бы торжественным призывом к преступлениям.

XXIX

«В государстве истинно свободном граждане делают всё своими руками и ничего — при помощи денег». Этот тезис «Общественного договора» — не более, как чудачество. Надо мост построить, надо улицу вымостить: так неужели же чиновникам, купцам и священникам самим мостить улицу и строить мост? Автор не захотел бы, конечно, пройтись по мосту, построенному их руками; эта мысль достойна наставника, который, воспитывая дворянского сына, стал бы обучать его столярному ремеслу; не всем же людям быть мастерами.

XXX

«Носители исполнительной власти — не хозяева народа, а его приказчики; он может назначать их и увольнять, когда ему заблагорассудится; их дело — повиноваться, а не вступать в договорные соглашения».

Это верно, что чиновники — не хозяева народа: хозяевами являются только законы; но всё прочее

безусловно неправильно: неправильно и в отношении всех вообще государств, неправильно и в отношении нас: когда нас созовут на собрание, мы вправе отклонить или утвердить назначения на должности и законы, которые нам предложены. Мы не имеем права увольнять должностных лиц, «когда нам заблагорассудится»: такое право возвело бы анархию в закон. Даже сам французский король, назначив чиновника на должность, может отставить его не иначе, как по суду. Английский король не может отнять звание пэра, им пожалованное. Император не может сместить, «когда ему заблагорассудится», князя, возведенного им в это достоинство. Сменяемых чиновников увольняют лишь после того, как они отслужат положенный срок. Отрешать чиновника от должности в угоду прихоти так же непозволительно, как заключать гражданина в тюрьму из сумасбродства.

XXXI

«Царь Петр не был подлинно гениальным человеком. Из совершенных им дел некоторые хороши, в большинстве же случаев они были неуместны... Татары, подданные России, сделаются вскоре ее хозяевами: сии государственные перевороты представляются мне неизбежными».

Ему представляется неизбежным, что жалкие татарские орды, находящиеся в крайнем упадке, не замедлят покорить империю, обороняемую двухсоттысячным войском, которое сравнялось с лучшими европейскими армиями. Петербургский двор примет нас за великих астрологов, когда узнает, что некий часовщик-подмастерье из наших краев определил час гибели Русской империи.

XXXII

Если бы кто потрудился прочитать со вниманием книгу «Общественный договор», то не нашел бы ни одной страницы, свободной от ошибок и противоречий. Например, в главе о гражданской религии: «Два народа, друг другу чуждые и почти всегда враждебные, не могли признавать одного и того же Бога; две армии, друг против друга сражающиеся, не способны были бы повиноваться одному и тому же вождю. Таким образом, племенные разделения имели своим последствием многобожие, а отсюда и нетер-

пимость богословская и гражданская, что представляет собою, разумеется, одно и то же».

Что ни слово, то ошибка: греки, римляне, народы великой Греции, воюя между собою, признавали тех же богов; одинаково почитали они богов *majorum gentium*¹: Юпитера, Юнону, Марса, Минерву, Меркурия и пр. Христиане, воюя между собою, чтут одного и того же Бога. Многобожие греков и римлян не было последствием их войн: все они были многобожцами еще до того, как возникли между ними раздоры; наконец не было у них никогда ни гражданской нетерпимости, ни богословской нетерпимости.

XXXIII

Суду нужны незыблемые законы как для уголовных, так и для гражданских дел; произвола не должно быть нигде; и когда речь идет о чести и жизни, он еще менее допустим, чем при денежных тяжбах.

XXXIV

Уголовное уложение безусловно необходимо и гражданам и судьям. Гражданам не придется тогда жаловаться на судебные решения, судьям же не придется опасаться, что навлекут на себя ненависть, ибо не их воля будет выносить обвинительный приговор, а будет выносить его закон. Нужна одна власть, чтобы творить суд единственно лишь на основании закона, и другая власть, чтобы милловать.

XXXV

Касательно финансов достаточно известно, что от граждан зависит определять, сколько, по их мнению, надлежит им отпускать государству на его расходы; достаточно известно, что распорядители собранных налогов должны обходиться с ними бережливо и что плательщикам оных следует — при наличии обстоятельств чрезвычайных — проявлять благородную щедрость. По этой части наша республика не заслуживает никаких упреков.

XXXVI

Совершенного государственного устройства не бывало никогда, потому что у людей есть страсти; а не будь

¹ Высшие боги у римлян.

у них страстей, не понадобилось бы никакого государственного устройства.

Самое приемлемое из всех государственных устройств, конечно, республиканское, оттого что оно всех более приближает людей к естественному равенству.

Каждый отец семейства должен быть хозяином у себя дома, а никак не в доме соседа. Так как общество состоит из многих домов и из многих земель, с ними связанных, то несообразно, чтобы хозяином этих домов и этих земель был один человек; и естественно, что всякий хозяин имеет голос по вопросам общественного блага.

XXXVII

Должны ли иметь голос в этом обществе те, у кого нет ни земли, ни дома? Им не присвоено этого права, точно так же как приказчику, состоящему на жалованьи у купцов, не дано права руководить их торговлей; но они могут быть приняты в состав общества либо если окажут какие-нибудь услуги, либо если уплатят за прием.

XXXVIII

Эта страна, управляемая общими силами, стала, надо полагать, более богата и более населена, чем была бы под управлением одного хозяина; ибо в настоящей республике каждый, будучи уверен в своем праве распоряжаться своей собственностью и своей особой, работает сам на себя безбоязненно; и, улучшая свой быт, улучшает тем самым и быт общественный. Под владычеством же одного хозяина может произойти обратное. Иной раз человек узнает вдруг к величайшему своему удивлению, что ни особа его, ни его имущество ему не принадлежат.

XXXIX

Республика протестантская должна быть на одну двенадцатую богаче деньгами, промышленностью и населением, чем республика папистская, — при условии, если количество и качество земли у них одинаковы, — потому что в папистской стране — тридцать годовых праздников, кои образуют тридцать дней безделья и распутства, а тридцать дней — это двенадцатая часть года. Если в папистской стране двенадцатую долю жителей составляют, как в Кельне, священники, готовящиеся к священству,

монахи и монахини, то ясно, что в протестантской стране, занимающей то же пространство, населения должно быть больше еще на одну двенадцатую часть.

XL

Одна половина швейцарской территории состоит из скал и пропастей, другая малоплодородна; но когда свободные руки под водительством просвещенных умов возделали эту землю, она стала цветущей. Папская же область, наоборот, от Орвьето до Террачины, на протяжении более ста двадцати миль пути, запущена, необитаема и из-за голодовок сделалась нездоровая; путешествуя там, можно за целый день не повстречать ни человека, ни животного; священников там больше, чем землепашцев; там не едят много хлеба, кроме пресных лепешек. И это та самая страна, которая во времена древних римлян была покрыта богатыми городами, великолепными домами, нивами, садами и амфитеатрами! В довершение контраста добавим еще, что шесть швейцарских полков могли бы в две недели овладеть всем папским государством. Очень удивился Цезаря тот, кто предсказал бы ему это в то время, когда он мимоходом разбил около четырехсот тысяч швейцарцев.

XLI

Полезно, быть может, чтобы в республике существовали две партии, ибо одна зорко следит за другой, а люди нуждаются в надзирателях. Может быть, не так уж это постыдно, как думают, что всякая республика нуждается в посредниках*; это доказывает, правда, что обе стороны проявляют упрямство; но это доказывает также, что и тут и там много ума, много знаний и большая изоциренность в толковании законов на разные лады; вот тут-то и необходимы третейские судьи*, которые разъяснят спорные законы, изменят их, если в этом есть необходимость, и предотвратят по мере возможности дальнейшие их изменения. Говорено уже тысячу раз, что власть всегда склонна тучнеть, а народ — жаловаться; что не следует ни уступать всем домогательствам, ни ствергать их все огулом; что и власть и свобода требуют узды; что надо сохранять равновесие! Но где точка опоры? Кто ее установит? Это было бы бесподобное творение разума и беспристрастия.

Я ждал, что увижу в «Духе законов», как папские декреталии* видоизменили всю юриспруденцию, покоившуюся на древнеримском своде; при помощи каких законов Карл Великий управлял своей империей и путем каких неурядиц погубил ее феодальный строй; благодаря каким ухищрениям и какой дерзости Григорий VII и его преемники сокрушили законы королевств и крупных ленов, раздавив их рыбачьим перстнем*, силою каких потрясенный удалось низвергнуть папское законодательство; я надеялся узнать происхождение древних судилищ, творивших расправу почти повсюду со времен Оттонов, а также тех судов, что называются парламентами, или аудиенциями, или королевскими скамьями*, или казначействами*, мне хотелось познакомиться с историей законов, при коих жили наши отцы и их дети, с основаниями, по которым эти законы были изданы, заброшены, отменены, восстановлены; я искал в этом лабиринте путеводной нити; нить обрывается почти на каждой главе. Я обманулся в своих ожиданиях: всюду узнавал я дух автора, весьма остроумного, и лишь в редких случаях — дух законов. Автор чаще бежит вприпрыжку, чем шествует; скорее забавляет, чем просвещает, больше высмеивает, чем судит; а между тем хотелось бы, чтобы такой прекрасный творческий ум стремился не столько изумлять, сколько наставлять.

Эта книга, полная изъянов, изобилует и замечательными вещами, ставшими предметом отвратительных подражаний. Фанатики предали ее поруганию за то именно, что заслуживает благодарности рода человеческого.

Невзирая на свои недостатки, этот труд должен быть тем не менее дорог людям, так как автор искренно высказал то, что думал, в отличие от большинства писателей его страны, которые, начиная с великого Боссюэ, говорили зачастую то, чего не думали. По каждому поводу напоминает он людям, что они свободны. Он знакомит человеческую природу с теми ее правами, которые утрачены ею почти на всей земле; он борется с суевериями, он внушает нравственные понятия.

Суждено ли книгам, разрушающим суеверия и вселяющим любовь к добродетели, усовершенствовать людей? Да: если молодые люди будут внимательно читать

эти книги, это предохранит их от всех видов фанатизма; они почувствуют, что плодом терпимости и подлинной задачей всякого общежития является мир.

Терпимость так же необходима в политике, как и в религии; нетерпима одна только гордыня. Это она возмущает умы, понуждая их мыслить одинаково с нами; в этом тайный источник всех раздоров.

Учтивость, осмотрительность, снисходительность укрепляют единение и между друзьями и в семье; то же действие произведут они и в малом государстве, которое представляет собою не что иное, как большую семью.





МЫСЛИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. В этом смысле каждый человек свободен в наши дни в Швеции, в Англии, в Голландии, в Швейцарии, в Женеве, в Гамбурге; тою же свободою пользуются в Венеции и в Генуе, хотя те, кто не принадлежит к правящему сословию, там принижены. Но существуют еще провинции и обширные христианские государства, где большинство людей находится в рабстве.

Настанет и для этих стран время, когда какой-нибудь государь, более искусный, чем другие, даст понять земледельцам, что не совсем-то им выгодно, чтобы человек, владеющий одной или несколькими лошадьми, то есть дворянин, имел право убивать крестьянина и класть ему затем на могилу десять экю. Правда, для уроженцев некоторых областей десять экю — большие деньги; но по прошествии веков они догадаются, что это очень дешевая уплата за мертвеца. Тогда, может статься, крестьянские общины примут участие в управлении государством, и английско-шведские порядки утвердятся по соседству с Турцией.

Равенство не подразумевает уничтожения подчиненности одних другим: мы все в равной степени люди, но мы не равные члены общества. И султану и его телохранителю принадлежат в равной мере все естественные права: и тот и другой должны быть одинаково правомочны располагать своей особой, своей семьей и своим имуществом. Итак, в основном люди равны, хоть роли, исполняемые ими на сцене, и различны.

Республиканец всегда более привязан к своему отечеству, чем королевский подданный к своему, по той причине, что свое добро милее хозяйского.

Когда владелец замка или городской житель осуждает абсолютизм и жалеет угнетенного крестьянина, не верьте ему. Не вызывает жалости боль, которой не испытываешь. Горожане и дворяне ненавидят особу государя пока еще лишь в редких случаях, разве только во время гражданских войн. Ненавистен тот абсолютизм, что исходит из четвертых или пятых рук; приемная старшего чиновника или секретаря при интенданте — вот что вызывает ропот: как наслушается человек грубостей от какого-нибудь наглого дворцового лакея, так и начнет сокрушаться о деревенских бедствиях.

Один современный писатель сказал, что добродетели больше в республиках, а чести больше в монархических государствах. Честь — это желание снискать почести; соблюдать свою честь — это значит не совершать ничего такого, что было бы недостойно почестей. Про отшельника не скажешь, что у него есть честь. Так обозначают ту степень почтения, какую всякий человек стремится закрепить за собою в обществе. Полезно договориться о смысле слов, а не то мы скоро перестанем понимать друг друга.

Во времена Римской республики это желание снискать почести в виде статуй, лавровых венков и триумфов повело к тому, что римляне покорили большую часть вселенной. Честь находила себе пищу либо в торжественном обряде, либо в листке лавра или петрушки.

Как только республика перестала существовать, исчезла и эта разновидность чести.

Основой республики служит отнюдь не добродетель: основой ее является честолюбие каждого отдельного гражданина, сдерживающее честолюбие прочих, гордость, подавляющая чужую гордость, желание властвовать, которое не терпит, чтобы властвовал другой. Отсюда происходят законы, охраняющие по мере возможности равенство: это общество, где гости, обладающие одинаковым аппетитом, едят за одним столом, пока не появится прожорливый и могучий человек, который заберет себе все, а им оставит одни только крошки.





РАБСТВО

Уж если кто боролся за возвращение всяческим рабам природного их права — свободы, так это, конечно, Монтескьё. Разум и человечность вывел он на бой со всеми видами рабства: с рабством негров, которых покупают на Гвинейском берегу, чтобы добывать сахар на Караибских островах; с рабством евнухов, которых заставляют сторожить женщин или петь дискантами в папской капелле; с рабством тех несчастных самцов и самок, что жертвуют своей волей, своим долгом, своими мыслями, всем своим существованием в таком возрасте, когда закон еще не позволяет им располагать и четырьмя пистолями. Он искусно напал и на тот вид рабства, который обращает гражданина в дьякона или иподьякона и лишает вас права продолжить свой род, если только вы не выкупите этого права в Риме, у протонотария*, каковой сан неизвестен был Марцеллам и Сципионам. Особенное красноречие выказал он в борьбе с рабством земельным, в котором коснеет еще столько хлебопашцев, стонущих под властью приказчиков в награду за то, что кормят братьев своих — людей.

Я хочу присоединиться к этому заступнику человеческой природы и воззвать — к кому? — к самому фран-

цузскому королю, хоть я и иностранец. Персиянин и индеец с Молуккских островов искали правосудия у Людовика XIV и нашли его. Почему же мне не поискать его у Людовика XVI? Издалека падаю к его стопам и говорю:

— Внук Людовика Святого, довершите дело своего отца. Я не молю вас высаживаться в Иоппии, на том побережье, где Андромеда предана была на съедение морскому чудищу и где другое чудище поглотило Иону; я не заклинаю вас покидать свое королевство, Францию, чтобы мстить за Лузиньянского барона*, которого великий Саладин изгнал некогда из его маленького Иерусалимского королевства, или освободить потомков наших безрассудных крестоносцев, потомков, которые унаследовали, быть может, оковы своих предков и находятся в услужении у мусульман где-нибудь в Аравии или в Египте; но я заклинаю вас освободить более ста тысяч верных ваших подданных, которые здесь, подле вас, состоят в рабстве у монахов. Трудно понять, как это так святые, давшие обет смирения, покорности и целомудрия, владеют тем не менее целым государством в вашем государстве и повелевают рабами, которых именуют своими «мертво-ручниками»*.

В половине четырнадцатого века отец Актуарий* сочинил подлинные акты, подписанные всеми королями и императорами предшествовавших веков, каковыми актами, «ввиду предстоящего светопреставления», все земли, всё тленное имущество, все мужчины и все девушки дарились монахам, которым уже и ранее принадлежали на праве частной собственности небеса. Вот на основании этих-то доказательных актов и владеют они еще доселе рабами в Бургундии, во Франш-Конте, в Нивернэ, в Бурбоннэ, в Оверни, в Ламарше и в некоторых других провинциях. Они присваивают себе права, каких нет и у вас и каких вы бы устыдились. Этих рабов они называют «своими холопами», «своими мертвороучниками».

Тщетно Людовик Святой отменял этот позор рода человеческого в землях, ему подвластных; тщетно достойная его мать, королева Бланка, сама освобождала из парижских тюрем жителей Шатенэ, которых церковники заковали в цепи, как церковных холопов. Напрасно Людовик Дитя в 1141 году, Людовик X в 1315 году и, наконец Генрих II в 1553 году торжественными указами

истребили, как им казалось, это преступное оскорбление величества и — конечно — оскорбление человечества. Еще и сейчас в ваших владениях монахи богаче рабами, чем вы — национальными войсками.

В вашем совете, государь, уже несколько лет идет тяжба между главами двенадцати тысяч семейств из некоего почти неизвестного франшконтейского кантона и двадцатью секуляризованными монахами. Двенадцать тысяч человек утверждают, что они принадлежат только вашему величеству, что только вашему величеству обязаны они отдавать и труд свой и кровь. Двадцать монахов утверждают, что Божьим именем они — полновластные господа этих двенадцати тысяч человек — и их самих, и их имущества, и их детей.

Заклинаю вас, государь, рассудите природу с церковью: верните государству его граждан и своей короне — ее подданных. Покойный сардинский король*, чьи дочери украшают ваш двор и служат всем примером, разрешил это же самое дело незадолго до смерти. Разумнейшими указами уничтожил он крепостное право в своих владениях. Но ведь у вас на небесах еще более высокий пример — святой Людовик, чья кровь течет в ваших жилах и чьи добродетели обитают в душе вашей. Министры, которые помогут вам в этом предприятии, будут, как и вы, дороги потомству.





из
истории
российской
империи
и. при
петре
великом





—

ИЗ «ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ»

(Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand)

ВВЕДЕНИЕ

...Когда в начале нынешнего века царь Петр основывал Петербург, или, вернее, свою империю, никто не предвидел его успехов. Если бы кто-нибудь вообразил тогда, что русский государь пошлет в Дарданеллы победоносный флот, покорит Крым, изгонит турок из четырех больших областей, утвердится на Черном море, учредит самый блестящий в Европе двор и добьется во время войны расцвета всех искусств, — если бы кто-нибудь сказал это тогда, его бы сочли безумцем.

Но куда безумнее писатель, который в каком-то там «Общественном (или противообщественном) договоре» предсказывает в 1762 году, будто Российской империи грозит гибель. Вот собственные его слова: «Татары, ее подданные и соседи, станут ее и нашими хозяевами: это, на мой взгляд, неизбежно».

Так наш шутник свысока разговаривает с государями, вещает из бочки, которую он выдает за бочку Диогена, предрекая неизбежное в близком будущем падение империи. Странное сумасбродство! Изумительные успехи императрицы Екатерины II и русского народа служат

достаточно веским доказательством того, что Петр Великий строил на твердом и прочном основании.

Мало того, из всех законодателей после Магомета Петр — единственный, чей народ проявил себя впоследствии столь блистательно. Ромулам и Тезеям далеко до него.

Россия всем обязана Петру Великому, и это прекрасно подтверждается тем, что произошло во время благодарственного молебствия, отслуженного, по установившемуся обычаю, в Петербургском соборе* по случаю победы графа Орлова, который сжег в 1770 году весь оттоманский флот.

Проповедник, именуемый Платоном*, и вполне достойный этого имени, сошел, говоря свою речь, с амвона, приблизился к гробнице Петра Великого и, обнимая изваяние зиждителя, воскликнул: «Ты одержал эту победу, ты построил нам первый корабль, ты ...» и т. д., и т. д. Эти слова, уже приведенные мною в другом месте, будут пленять самое отдаленное потомство; мы видим в них, — так же как и в поведении некоторых русских офицеров, — пример высокого благородства.

Граф Шувалов, камергер императрицы Елизаветы, человек, может быть, самый образованный в империи, доставил историку Петра в 1759 году потребные ему подлинные документы, и только на основании их мы и писали.

Мы старались сделать нашу «Историю Петра Великого» как можно более краткой и как можно более полной. Существуют истории мелких областей, маленьких городов, даже монастырей, выпущенные во многих томах *in folio*; воспоминания некоего аббата*, укрывавшегося несколько лет в Испании и почти ничего там не сделавшего, состоят из восьми томов, — одного тома хватило для жизнеописания Александра.

Возможно, что водятся еще наивные люди, которым басни об Озирисах, Вакхах, Геркулесах и Тезеях, посвященные древности, милее, чем подлинная история современного государства, — то ли потому, что древние имена, Озирис и Геркулес, больше ласкают им слух, чем имя Петр, то ли оттого, что поверженные исполины и львы милее их слабому воображению, чем полезные предприятия и законы. А между тем надо же признаться, что поражение Эпидаврского великана* или грабителя Синиса и бой с Кроммионской свиньей не стоят подвигов того, кто стал

победителем Карла XII, основателем Петербурга и законодателем грозной империи.

Древние научили нас мыслить, — это верно; но странно было бы предпочитать скифа Анахарсиса, только потому, что он — древний, современному скифу, просветившему столько народов.

Настоящая история содержит описание деятельности царя, которая была полезна государству, а не частной его жизни, относительно которой мы располагаем всего несколькими анекдотами, к тому же достаточно известными. Тайны его кабинета, его спальни и его трапез не могут, да и не должны быть разоблачаемы иностранцем. Такие записки мог бы издать разве только какой-нибудь князь Меншиков или генерал Шереметев, долгое время наблюдавшие его в домашнем быту; они этого не сделали, а все, что может быть написано в наши дни на основе одних только слухов, не заслуживает никакого доверия. Людям благоразумным приятно знакомиться с тем, как великий человек трудился двадцать пять лет ради счастья обширной империи, а не довольствоваться весьма ненадежными сведениями о том, что, мол, такие-то черты роднили этого великого человека с тем, что было низкого в его стране. Светоний повествует о самых тайных деяниях первых римских императоров, однако неясно — довелось ли ему жить бок о бок с двенадцатью цезарями?

Если речь идет только о стиле, только о критике, только о мелких писательских интересах, — пускай ничтожные сочинители брошюрок лают сколько им угодно; мы не хотим уподобляться этим смешным людям и тратить время на возражения или просто даже на чтение их писаний. Но если речь идет о важных событиях, истине иногда приходится спускаться с высей и опровергать ложь, даже когда ложь исходит от людей презренных; их бесчестность не должна служить препятствием к выяснению истины, точно так же как низость преступника, вышедшего из подонков общества, не препятствует правосудию принимать против него нужные меры; вот по этим-то двум причинам нам и пришлось зажать рот злонамеренному невежде*, который извратил нашу историю века Людовика XIV нелепыми и клеветническими примечаниями, наносившими грубые оскорбления одной из ветвей французского царствующего дома, всей австрийской династии и сотне знатных европейских домов, чьи при-

хожие были ему так же неизвестны, как и те события, которые он осмелился передавать в искаженном виде.

Чрезвычайно вредной стороной прекрасного искусства книгопечатания является та пагубная легкость, с какою публикуется любая выдумка и клевета.

Ораторьянский священник Ле Бассор* и иезуит Ла Мотт*, один — английский нищий, другой — голландский нищий, чтобы заработать себе на хлеб, занялись писанием истории: один избрал предметом своих издевок французского короля Людовика XIII; другой взялся за Людовика XIV. Писания этих расстриг едва ли способны снискать общественное доверие, а между тем посмотрите, с какой восхитительной самонадеянностью заявляют они оба, что именно им поручено блюсти истину. Они непрерывно повторяют изречение, которое гласит, что надо, мол, иметь смелость говорить всю правду; не мешало бы добавить, что следует для начала узнать правду.

В их устах это изречение служит обвинительным приговором им самим; однако оно достойно рассмотрения, ибо оно сделалось оправданием многих.

Всякая правда, общественно важная и полезная, должна быть высказана; но если существует анекдот, порочащий государя, который в своей частной жизни, как и многие люди, предавался каким-либо человеческим слабостям, и если об этом было известно только двум-трем приближенным, — то кто же уполномочил вас открывать широкой публике то, что эти лица не должны были открывать никому? Пусть вы проникли в эту тайну, но зачем же раздирать завесу, за которой всякий человек имеет право укрыть тайну своего домашнего очага? И для чего нужно его порочить? Чтобы пощекотать людское любопытство, — ответите вы, — чтобы угодить человеческой злобе, чтобы дать ход книге, которую иначе не стали бы читать. В таком случае вы не более как пасквильант-сатирик, торгующий злословием, а не историк.

Если эта слабость государственного деятеля, этот тайный его порок, которому вы стараетесь дать огласку, повлияли на государственные дела, если из-за них проиграно сражение, расстроились финансы, если пострадали граждане, — вы обязаны говорить об этом: ваш долг обнажить скрытую пружину этих важных событий; во всех же других случаях вам следует молчать...

«Да не укроется никакая истина» — это правило, из

которого возможны исключения. Но вот другое, которое не допускает их вовсе: «Сообщайте потомству только то, что достойно потомства».

Есть важная статья, способная задеть достоинство венценосцев. Олеарий, сопровождавший голштинское посольство, которое было отправлено в 1634 году в Россию и в Персию, рассказывает в третьей книге своей истории, будто царь Иван Васильевич сослал в Сибирь императорского посла; никто из других историков, мне известных, не упоминает нигде об этом событии; не верится, что император мог снести столь необычайное и столь оскорбительное нарушение прав человеческих.

Тот же Олеарий говорит в другом месте: «Мы выехали 13 февраля совместно с неким французским послом, которого звали Карлом де Талейраном*, принцем де Шале и проч. Людовик отправил его и Жака Русселя послами в Турцию и в Московию; но его товарищ, войдя в тайные сношения с патриархом, так очернил в его глазах Талейрана, что великий князь сослал последнего в Сибирь».

В книге третьей он говорит, будто этот посол, принц де Шалэ, и вышеназванный его товарищ, купец Руссель, были отправлены Генрихом IV. Есть достаточно оснований предполагать, что Генрих IV, умерший в 1610 году, не снаряжал в 1634 году никаких посольств в Московию. Если бы Людовик XIII отправил в качестве посла человека такого знатного рода, как Талейран, то он не дал бы ему в товарищи купца; Европа была бы осведомлена об этом посольстве, и странное оскорбление, нанесенное французскому королю, наделало бы много шума.

Видя, что басне Олеария придают некоторое значение, я решил оспорить этот неправдоподобный рассказ и навел справки в архиве французского министерства иностранных дел. Обстоятельства, давшие повод Олеарию впасть в ошибку, заключаются в следующем.

Существовал в самом деле человек из рода Талейранов, который, страстно любя путешествовать, добрался до Турции, не сообщив о том своей семье и не испросив у короля разрешения. Ему повстречался некий голландский купец Руссель, представитель какой-то торговой фирмы, у которого были кое-какие связи с французским правительством. Маркиз де Талейран сговорился отправиться вместе с ним в Персию, но по дороге поссорился со своим спутником, и Руссель оклеветал его перед москов-

ским патриархом; его действительно сослали в Сибирь; он нашел способ оповестить о том свое семейство, и три года спустя статс-секретарь г-н Денуайе добился распоряжения московского двора об его освобождении.

Итак, подлинное событие установлено: оно достойно войти в историю, ибо предостерегает нас против несметного множества подобных же небылиц, рассказанных путешественниками.

В истории встречаются ошибки; в истории встречается и ложь. Рассказ Олеария — это всего только ошибка; но когда говорят, будто к голове какого-то посла некий царь* велел приколотить шляпу гвоздями, — то это ложь. Пусть неверны будут сведения о числе и вооружении кораблей какой-нибудь морской армады, пусть преувеличены или преуменьшены будут размеры какой-либо страны, — это всего только ошибка, и притом весьма простительная ошибка.

Тех, кто повторяет басни, которыми полна история возникновения всех народов, можно упрекнуть в слабости, присущей многим древним повествователям: это не значит лгать, это значит, собственно, переписывать сказки.

Много промахов мы делаем по неосмотрительности, — их также нельзя назвать ложью. Если в новой географии Гюбнера* мы читаем, что границы Европы проходят там, где река Обь впадает в Черное море, и что в Европе тридцать миллионов жителей, то эти оплошности заметит любой образованный читатель. Та же география зачастую изображает под видом больших, сильно укрепленных и многолюдных городов такие селения, которые давно обратились в небольшие, почти безлюдные деревушки; легко понять в этих случаях, что время внесло перемены во все: автор руководился сведениями древних, а то, что было верно в их пору, стало неверно в наши дни.

В иных случаях делают ошибочные умозаключения. Петр Великий упразднил патриаршество. Гюбнер присовокупляет, будто Петр объявил себя патриархом. Досужие рассказы, исходящие якобы из России, идут еще дальше и утверждают, будто он совершал архиерейское богослужение. Так, достоверное обстоятельство создает почву для ошибочных выводов — явление более чем обычное.

Еще обычнее то, что я назвал исторической ложью; это выдумки, порожденные лезтью, злоречием или неразумным пристрастием к вымыслу. Историк, который, из желания угодить могущественному роду, хвалит изверга, —

это подлец, а тот, кто порочит память доброго государя, — изверг; романист же, выдающий свои выдумки за истину, достоин презрения. Мало ли басен, которые служили когда-то предметом поклонения у целых народов и которых теперь не стал бы читать ни один порядочный человек.

Еще более лживы иные критики, извращающие смысл текстов или вовсе их не понимающие; подстрекаемые завистью, они выступают с безграмотными возражениями против полезных книг: это змеи, гложущие напильник; пускай себе гложут*.

.....

В первые годы нашего века необразованным людям был известен из северных героев один только Карл XII. Личная его доблесть, скорее солдатская, чем королевская, блеск его побед и даже его несчастий бросались в глаза тем, кто видит без труда большие события, но кому недоступно зрелище долгих и полезных трудов. Иностранцы сомневались даже, долговечны ли творения царя Петра I; между тем они держались и совершенствовались при императрицах Анне и Елизавете, в особенности же при Екатерине II, в чье царствование слава России вознеслась так высоко. Эта империя считается ныне одним из самых цветущих государств, а Петр приобщен к числу величайших законодателей. Если предприятия Петра, на взгляд мудреца, и не нуждались в восхищении зрителей, то это восхищение утвердило навек его славу. В наши дни признают, что Карл XII был достоин стать первым солдатом Петра Великого. Один оставил после себя лишь развалины, другой был во всех родах деятельности строителем. То же примерно суждение я дерзнул высказать еще тридцать лет назад*, когда писал историю Карла. Сведения о России, предоставленные мне ныне, дают мне возможность познакомить читателей с этой империей, где народы столь древни, а законы, нравы и искусства насаждены вновь. История Карла XII была занимательна, история Петра I — поучительна.

.....

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА

...Здесь и поджидал его Петр: своих воинов он расположил так, что они легко могли соединиться и перейти в общее наступление на осаждающих; он посетил перед тем

все области, прилегающие к Украине: княжество Северское, где протекает прославленная его победой Десна и где эта река уже глубоководна; Болховской край, где берет начало Ока, пустыни и горы, что ведут к Меотийскому болоту*; он побывал, наконец, под Азовом и заставил расчистить там гавань, настроить судов и укрепить Таганрогскую цитадель, употребив, таким образом, с пользой для своего государства промежуток времени от сражения на Десне до битвы под Полтавой.

Узнав, что город осажден, он сосредоточивает свои войска. Конница, драгуны, пехота, казаки, калмыки стекаются со всех концов; в его армии нет недостатка ни в чем — ни в тяжелых орудиях, ни в полевых пушках, ни в снаряжении всякого рода, ни в продовольствии, ни в медикаментах; он и в этом обеспечил себе превосходство над соперником.

15 июня 1709 года он подступает к Полтаве с армией в шестьдесят тысяч, примерно, бойцов; между ним и Карлом река Ворскла: осаждающие располагаются на северо-западе, русские — на юго-востоке.

Петр поднимается вверх по реке, наводит выше города мосты, переправляет армию¹ и сооружает длинную траншею, которую начинают рыть на глазах у неприятельской армии и заканчивают в одну ночь. Тут Карлу следовало бы, наконец, понять, что тот, кем он пренебрегал и кого думал свергнуть с престола в Москве, знает толк в военном искусстве. Расположив таким образом свои силы, Петр послал конников на дорогу, окаймленную лесом, и прикрыл их несколькими редутами, снабженными артиллерией. Приняв все эти меры, он производит разведку лагеря осаждающих², чтобы решить, как повести на него наступление.

От этой битвы зависела участь России, Польши, Швеции и двух монархов, на которых устремлены были глаза Европы. В большинстве стран, внимательно следивших за этой великой распрей, никто не знал, где находятся эти два государя и в каком они положении; однако после того как Карл XII победителем вышел из Саксонии во главе огромнейшей армии, после того как он всюду преследовал противника, многие не сомневались в его удаче,

¹ 3 июля. (Прим. Вольтера.)

² 6 июля. (Прим. Вольтера.)

в том, что, преподав свои законы Дании, Польше и Германии, Карл продикует в Московском Кремле условия мира и посадит там своего царя, как посадил короля в Польше. Я читал донесения многих посланников: сообщая своим дворам это общее мнение, они подтверждали его правильность.

Оба соперника рисковали, но в неодинаковой степени. Если бы Карл лишился жизни, которою дорожил, одним героем стало бы меньше, и только. Прекратилось бы опустошение украинских областей и рубежей литовских и русских; в Польше водворилось бы спокойствие, а с ним и законный король, уже примирившийся с царем, своим благодетелем. Наконец и Швеция, истощившая свои людские и денежные запасы, могла бы найти поводы утешиться. Но если бы погиб царь, с ним были бы погребены громадные труды, полезные всему человеческому роду, и обширнейшая на земле империя впала бы опять в хаотическое состояние, из которого так недавно вышла.

Отдельные отряды шведов и русских уже не раз схватывались в рукопашную на городских стенах. В одной из этих стычек Карл был ранен выстрелом из карабина, разможжившим ему кости стопы. Он перенес болезненную операцию, которую выдержал с обычным своим мужеством, и пролежал несколько дней в постели. Находясь в этом состоянии, узнал он, что Петр намерен на него напасть. Его понятия о славе не позволяли ему дожидаться неприятеля за прикрытием; он распорядился, чтобы его вынесли на носилках. Шведское войско — как это признано и в журнале Петра Великого — атаковало артиллерийские редуты, прикрывавшие русскую конницу, с таким яростным упорством, что два из них пали, оказав сопротивление и ведя непрерывный огонь. Писали, будто шведская пехота, захватив два редута, сочла, что сражение выиграно, — раздался крик: «Победа!» Капеллан Нордберг, находившийся далеко от поля битвы, в обозе (где ему и надлежало быть), утверждает, что это клевета; но кричали шведы о победе или нет, несомненно одно, что досталась она не им. Огонь других редутов не ослабел, и русские сопротивлялись всюду со стойкостью, равносильной тому рвению, с каким нападали на них. Они не совершили ни одного неверного маневра. Царь быстро и с соблюдением должного порядка вывел свою армию из окопов и выстроил развернутым фронтом.

Завязалось генеральное сражение. Петр у себя в армии исполнял обязанности генерал-майора; генерал Бауер командовал правым крылом, Меншиков — левым, Шереметев — центром. Бой длился два часа. Карл, с пистолетом в руке, несомый драбантами, передвигался по рядам свои войск. Пушечным выстрелом были разметаны носилки и убит один из несших его телохранителей. Карл приказал нести его дальше на пиках; ибо, — что бы ни говорил Нордберг, — а в пылу такого жаркого сражения трудно было найти другие, готовые носилки. Одежда Петра и его шляпа были в нескольких местах пробиты пулями; во все время боя оба государя находились непрерывно под огнем. Наконец после двухчасовой битвы шведы были всюду разгромлены; ряды их смешались, и Карлу пришлось убегать от того, к кому стносился так пренебрежительно. Во время боя шведский герой не мог сесть на коня, но теперь, при бегстве, он вынужден был ехать верхом, — нужда придала ему немного сил; он мчался, терпя величайшие боли, тем более жгучие, что к ним присоединялось сознание непоправимого поражения. Русские насчитали на поле битвы 9224 мертвых шведа; во время боя они взяли в плен две-три тысячи человек, большей частью конных.

Карл поспешно бежал, имея при себе около четырнадцати тысяч бойцов и лишь очень немного полевой артиллерии, продовольствия, боевых припасов и пороха. Он двигался на юг, к Днепру, между реками Ворсклой и Пселом, по Запорожской земле. По ту сторону Днепра начинаются в этих местах обширные степи, которые ведут к турецким рубежам. Нордберг уверяет, будто победители не решились преследовать Карла, однако сам же признается, что во время переправы короля через Днепр на высотах показался князь Меншиков с десятью тысячами конницы и с большим артиллерийским обозом.

Четырнадцать тысяч шведов сдались в плен этим десяти тысячам русских. Левенгаупт подписал эту роковую капитуляцию. Среди пленников, взятых в бою и по капитуляции, главными были: первый министр граф Пипер и с ним два статс-секретаря и два кабинет-секретаря, фельдмаршал Реншильд, генералы Левенгаупт, Шлипенбах, Розен, Штакельберг, Крейц, Гамильтон, три генерал-адъютанта, генерал-аудитор шведской армии, пятьдесят девять офицеров генерального штаба,

пять полковников и в их числе принц Виртембергский, 16 942 солдата и унтер-офицера; в конечном итоге, считая королевскую прислугу и других лиц, сопровождавших армию, под власть победителя попало 18 746 человек, а если добавить 9224 убитых в бою да около 2000 человек, переправившихся вслед за королем через Днепр, то выйдет, что в этот достопамятный день под его командой было действительно 27 000 солдат¹.

Он вышел из Саксонии с сорока пятью тысячами солдат; Левенгаупт привел более шестнадцать тысяч из Ливонии, — от этой цветущей армии не осталось ничего; из всей многочисленной артиллерии, растерянной на походе, погребенной в болотах, уцелело только восемнадцать чугунных пушек, две гаубицы и двенадцать мортир. С таким-то слабым вооружением осадил он Полтаву и напал на армию, снабженную огромной артиллерией: недаром его обвиняют в том, что со времени выступления из Германии он проявил больше доблести, чем осторожности. Русские потеряли убитыми только 52 офицера и 1293 солдата; значит, диспозиция у них была лучше, чем у Карла, и силою огня они также превосходили противника.

Один посланник, состоявший при дворе царя, сообщает в своих воспоминаниях, будто Петр, узнав о намерении Карла XII искать убежища у турок, послал ему письмо, где заклинал его не принимать этого отчаянного решения и отдаться лучше в его руки, чем в руки исконного врага всех христианских государей. Он ручался своим честным словом, что не будет держать его в плену и положит конец их разногласиям, заключив с ним благоразумный мир. Письмо было отправлено с гонцом на реку Буг, которая отделяет украинские степи от владений турецкого султана. Когда гонец прибыл туда, Карл был уже в Турции, и письмо было возвращено государю. Посланник добавляет, что слышал об этом от самого гонца. Этот рассказ не лишен правдоподобия, но его нет ни в журнале Петра Вели-

¹ В 1730 году в Амстердаме были напечатаны «Воспоминания о Петре Великом», приписанные какому-то мнимому боярину Ивану Нестесуранову. В этих воспоминаниях сказано, будто шведский король, перед тем как переправиться через Днепр, послал царю генерала с мирными предложениями. Все четыре тома этих воспоминаний представляют собой сплетение подобных вымыслов и нелепостей и изобилуют выдержками из газет. (Прим. Вольтера.)

кого, ни в других предоставленных мне документах. Сражение это отличается от всех других, когда-либо заливавших землю кровью, тем, что оно принесло роду человеческому не разрушения, а счастье, ибо дало царю возможность просветить значительную часть мира.

С начала столетия до того дня, когда я пишу эти строки, в Европе произошло более двухсот регулярных сражений. Самые громкие и самые кровопролитные победы не имели никаких иных последствий, кроме покорения нескольких мелких областей, возвращенных затем по мирным договорам и вновь завоеванных ценою новых битв. Сражались зачастую стотысячные армии, но итогом самых бурных усилий бывал только слабый и скоропреходящий успех: великие средства пускались в ход для совершения малых дел. В истории современных народов не было случая, когда бы война возместила какими-нибудь благами содеянное ею зло; а следствием Полтавской победы явилось благоденствие величайшей в мире империи.

.

НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТРА

Тем временем царь задумал совершить вторичное путешествие по Европе. В первый раз он путешествовал как человек, желавший обучиться ремеслам; теперь он ехал как государь, стремящийся проникнуть в тайны всех дворов. Он побывал с женой в Копенгагене, Любеке, Шверине, Нейштадте; в маленьком городишке Гавельсберге он повидался с прусским королем; оттуда они проехали в Гамбург, в город Альтона, который был сожжен в свое время шведами и сейчас отстраивался. Спускаясь по Эльбе до Штадена, они останавливались в Бремене, где магистрат¹ устроил фейерверк и иллюминацию; в сотне разных мест начертаны были огненные слова: «К нам прибыл наш освободитель». Посетил он, наконец, и Амстердам и ту саардамскую лачугу, где изучал когда-то, около восемнадцати лет назад, кораблестроительное искусство; эту лачугу успели превратить в изящный и уютный дом, существующий и поныне и называемый «государевым домом».

¹ 17 декабря 1716 года. (Прим. Вольтера.)

В жизни, в путешествиях и в деяниях как Петра Великого, так и Карла XII все непохоже, повидимому, на наши, быть может, слишком измененные нравы, и потому-то история этих двух знаменитых людей вызывает в нас такое любопытство.

Супруга царя, беременная на последних месяцах, осталась по болезни в Шверине; однако же, как только состояние здоровья позволило ей продолжать путь, она последовала за царем в Голландию; боли захватили ее в Везеле, где она родила царевича, прожившего только один день. У нас не принято, чтобы женщина сразу после родов пускалась в дорогу; а у них через десять дней царица была в Амстердаме; ей хотелось увидеть саардамскую хижину, где царь когда-то своими руками пилил и вколачивал гвозди. Оба без всякой пышности, без свиты, в сопровождении только двух слуг, отправились на обед к некоему богатому саардамцу Кальфу, корабельному плотнику, который одним из первых завел в свое время торговлю в Петербурге. Его сын только что вернулся из Франции, куда направлялся и царь. И он и царица с удовольствием выслушали рассказ молодого человека об его похождениях...

.....

ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕТРА ВО ФРАНЦИИ

.....

Петр Великий был принят во Франции с подобающими ему почестями. Навстречу был выслан маршал де Тессе в сопровождении множества вельмож, эскадрона гвардии и нескольких королевских карет. Петр, по обыновению, ехал с такою поспешностью, что был уже в Гурнэ, когда встречный поезд прибыл в Эльбеф. По дороге в его честь были устроены все празднества, на каких только соглашался он присутствовать. Поначалу Петр поселился в Лувре, где было приготовлено большое помещение для него самого и отдельные помещения для всей его свиты: для князей Куракина и Долгорукого, для вице-канцлера барона Шафирова, для посла Толстого, того самого, который претерпел в Турции столько противозаконных посягательств на свою особу. Весь этот двор предполагалось окружить всевозможным велико-

лепием; но так как задача Петра заключалась в приобретении полезных сведений, а не в том, чтобы участвовать в пустых церемониях, претивших его простым вкусам и поглощавших драгоценное время, то он в тот же вечер перебрался на другой конец города, в принадлежавший маршалу де Вильруа дворец, или особняк Ледигьер, где за ним ухаживали, как в Лувре. На следующий день¹ в этот особняк явился с приветствием регент Франции; еще через день привезли туда же ребенка-короля, в сопровождении воспитателя маршала де Вильруа, отец которого был некогда воспитателем Людовика XIV. Царя очень искусно избавили от стеснительной необходимости нанести королю тотчас же после этого ответный визит; проишел двухдневный перерыв; он принял представителей городского управления, свидетельствовавших ему свое почтение, а вечером отправился к королю; королевский двор подготовился к встрече: малолетнего государя подвели к карете царя. Петр, удивленный и обеспокоенный толпою людей, теснившихся вокруг младенца-монарха, взял его на руки и понес.

Иностранные послы в своих глубокомысленных, но не слишком разумных донесениях писали, будто маршал де Вильруа хотел устроить так, чтобы французский король оказался на первом месте и шел впереди, русский же император придумал уловку, при помощи которой нарушил этот церемониал под видом чувствительности и ласки; это совершенно ошибочная догадка; французская учтивость и заслуги Петра Великого не допускали, чтобы почести, которые воздавались высокому гостю, были омрачены его недовольством. Церемониал преследовал цель: обойтись с великим монархом и великим человеком так, как он счел бы это для себя желательным, если бы вообще уделял внимание подобным мелочам. Путешествия во Францию, предпринятые некогда императорами Карлом IV, Сигизмундом и Карлом V, оставили по себе далеко не такую славную память, как пребывание там Петра Великого; эти императоры приезжали только по своим политическим надобностям, а искусства не достигали тогда того совершенства, которое делает поездку в нашу страну памятным событием; когда же Петр Великий обедал у герцога д'Антена

¹ 8 мая 1717 года. (Прим. Вольтера.)

в его дворце Петибур, в трех лье от Парижа, и когда в конце трапезы в столовой вдруг выставили его портрет, только что законченный художником, — он понял, что французы лучше, чем какой-либо другой народ, умеют принимать высоких гостей.

В большой Луврской галлерее, где размещены королевские мастера, царь был почтен еще более: наблюдая, как выбивают медали, Петр торопливо подобрал с пола только что сделанную медаль, случайно оброненную, и увидел на ней свое изображение, — на обороте богиню славы, наступившую ногой на земной шар, внизу — столь подходящую к случаю цитату из Вергилия «*Vires acquirit eundo*»¹, — намек и тонкий и благородный, одинаково уместный и в отношении его путешествий и в отношении его славы; такие золотые медали были поднесены ему и всем, кто его сопровождал. Стоило ему навестить каких-либо мастеров, как те сразу же повергали к его ногам все лучшие свои изделия и умоляли принять их в дар; осматривал ли он ткацкие рейки гобеленовской мануфактуры, ковровую фабрику Савонери, мастерские ваятелей и живописцев, королевских ювелиров или строителей математических приборов, — все, что представлялось достойным его одобрения, предлагалось ему в подарок от имени короля.

Петр был механик, ремесленник, математик. Он посетил Академию Наук, которая в его честь выставила напоказ все, что было у нее самого редкого; однако же величайшей, ни с чем несравнимой редкостью был он сам: своей рукою исправил он несколько географических ошибок на имевшихся там картах его государства, в частности на карте Каспийского моря. Напоследок он соблаговолил принять звание члена этой Академии и с тех пор вел непрерывную переписку об опытах и открытиях с теми, в чьи ряды он пожелал вступить на равных с ними правах. Со времени Пифагоров и Анахарсисов не было подобных ему путешественников, да и те разве покидали управление империей ради того, чтобы пополнить свои знания?

Наконец, уже перед отъездом, он выразил желание повидать прославленную г-жу де Ментенон, которая, как он знал, была вдовою Людовика XIV и доживала

¹ «Шествуя, умножил свои силы».

последние дни. Некоторое сходство между браком Людовика XIV и его собственным подстрекало его любопытство; но между ним и французским королем была та разница, что Петр гласно обвенчался с героиней, тогда как Людовик XIV состоял в тайном браке с женщиной, которая была всего только мила. Царица не сопутствовала ему на этот раз: Петр желал избежать обременительных придворных обрядов и любопытства двора, мало способного оценить достоинства женщины, которая всюду — от берегов Прута до финских шхер, на воде и на суше, — следовала бок о бок за мужем и не раз смотрела смерти в глаза.

.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕТРА НА РОДИНУ. ЕГО ПОЛИТИКА, ЕГО ЗАНЯТИЯ

Особого упоминания заслуживает выступление ученых Сорбонны, состоявшееся при осмотре Петром мавзолея кардинала де Ришелье.

Некоторым ученым мужам Сорбонны вздумалось прославить себя соединением церквей греческой и латинской. Людям, знакомым с древностью, достаточно хорошо известно, что христианство занесено на Запад азиатскими греками, что зародилось оно на Востоке, что первые шаги церкви, первые соборы, первые литургии, первые обряды — все это восточное, что и в числе иерархических и богослужебных терминов нет ни одного не греческого, ни одного такого, который не обличал бы источника, откуда все пришло к нам. С разделением Римской империи не могли не образоваться — рано или поздно — две религии, наподобие двух империй, и между западными и восточными христианами с неизбежностью произошел такой же раскол, как между османлисами и персами.

И вот несколько ученых решили покончить с этим расколом, для чего подали Петру Великому записку от Парижского университета. В свое время ни папе Льву IX, ни его преемникам так и не удалось справиться с этой задачей, — не помогли ни легаты, ни соборы, ни даже деньги. Университетским мужам следовало бы понять, что Петр Великий, сам управлявший своей церковью, не такой человек, чтобы признавать папу; на-

напрасно толковали они в своей записке о вольностях галликанской церкви, до которых царю не было никакого дела; напрасно говорили они, что папы должны быть подчинены соборам, что решение папы не является догматом веры: своими писаниями они только раздражали римскую курию, не расположив при этом в свою пользу ни русского императора, ни русскую церковь.

В проекте соединения церквей затрагивались предметы политические, университетским ученым незнакомые вовсе, и вопросы вероисповедных разногласий, которые, по их словам, были им знакомы. Однако каждая из сторон разъясняла их по-своему. Речь шла о Святом Духе, который, по мнению латинян, исходит от Отца и от Сына, а по мнению греков, исходит в наше время от Отца через Сына, в прошлом же исходил долгое время только от Отца: они ссылались на святого Епифания, который говорит, что «Святой Дух — не брат Сына и не внук Отца».

Но у царя при отъезде из Парижа были дела поважнее, чем проверка текстов святого Епифания. Записку от ученых он принял благосклонно. Они написали также кое-кому из русских епископов, и те вежливо им ответили, однако подавляющее большинство русского духовенства было возмущено их предложением...

Путешествие царя во Францию было гораздо более полезно тем, что сблизило его с торговым государством, населенным оборотистыми людьми, чем мнимым соединением двух соперничающих церквей, из которых одна никогда, конечно, не отступится от своей древней независимости, а другая — от своего нового верховенства.

Петр вывез из Франции, — как в свое время из Англии, — много мастеров, ибо все народы, попадавшие к нему на пути, почитали за честь помочь Петру, желавшему дать всем искусствам новую родину и принять участие в сотворении ее.

Тогда же он подготовил торговый договор с Францией и по возвращении в Россию отправил его со своим уполномоченным в Голландию. Французский посол Шатонеф подписал его в Гааге лишь 15 августа 1717 года. В договоре шла речь не только о торговле: он касался и умиротворения Севера. Французский король и Бранденбургский курфюрст согласились облечься в звание посредников, дарованное им Петром. Тем самым он достаточно ясно дал понять английскому королю, что

недоволен им, и окрылил надеждами Гёрца*, который после этого пустил в ход все, чтобы помирить Петра с Карлом, чтобы натравить на Георга новых врагов и чтобы через всю Европу протянуть руку кардиналу Альберони*. В то же время в Гааге состоялось открытое свидание барона Герца с царскими посланниками: он заявил им, что уполномочен Швецией на заключение мира.

Царь позволял Герцу беспрепятственно производить все эти маневры, будучи готов как к миру с шведским королем, так и к продолжению войны и сохраняя попрежнему дружественное отношение с Данией, с Польшей, с Пруссией и даже, по внешности, с ганноверским курфюрстом.

У него, по всем видимостям, не было никаких твердых решений, кроме одного — воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Главным предметом его забот было усовершенствование новых его учреждений. Он знал, что дипломатические переговоры, притязания государей, их союзы, их дружба, их подозрения, их неприязнь подвержены почти ежегодным изменениям и что от самых мощных политических усилий зачастую не остается ровно никакого следа. Одна хорошо оборудованная фабрика приносит государству иной раз больше пользы, чем двадцать договоров.

Петр, съехавшись с женой, которая поджидала его в Голландии, продолжал свое путешествие уже с нею. Они проехали по Вестфалии и без всякой торжественности прибыли в Берлин. Новый прусский король* был таким же противником суетной чопорности и великолепия, как и русский монарх. Для венских и испанских блюстителей приличия, для поборников итальянского *puntiglio*¹ и для любителей роскоши, к которой так привержены во Франции, весьма назидательное зрелище являл государь, не признававший никаких других сидалищ, кроме деревянного кресла, никакой другой одежды, кроме простой солдатской, и отказавшийся раз навсегда от утонченных блюд и от всяких житейских удобств.

Образ жизни царя и царицы был так же прост и суров, и если бы оказался в их обществе еще Карл XII, то перед нами предстали бы четыре венценосца, которые, все вкуче, окружены были меньшей пышностью, чем

¹ *Puntiglio* — придирчивая пунктуальность в соблюдении правил приличия.

какой-нибудь один немецкий епископ или римский кардинал. Такого благородного примера не подавал еще никто из тех, кто объявил войну изнеженности и роскоши.

Если бы кто-либо из наших сограждан предпринял раз в жизни из любопытства путешествие, в пять раз меньшее, чем путешествия, какие совершал Петр ради блага своей страны, то и такой путешественник снискал бы наше уважение и считался бы человеком необыкновенным. Из Берлина царь едет с женой в Данциг; в Митаве он вступается за овдовевшую курляндскую герцогиню, свою племянницу, объезжает все завоеванные им земли, в Петербурге издает ряд новых постановлений, отправляется в Москву, распоряжается там перестройкой частных домов, пришедших в ветхость; мчится оттуда на Волгу, в Царицын, чтобы пресечь набеги кубанских татар, создает между Волгой и Доном оборонительную линию и воздвигает здесь на определенном друг от друга расстоянии ряд фортов. В то же самое время печатается составленный им военный устав; для надзора за действиями министров и для приведения в порядок финансов учреждается судебная палата; кое-кого из провинившихся он милует, других карает; сам князь Меншиков оказался в числе тех, кто нуждался в помиловании; но более грозный приговор омрачил его славную жизнь, — тот, который он счел долгом вынести собственному сыну.

ОСУЖДЕНИЕ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

Можно, повидимому, заключить, что в Петре государь был сильнее отца, что созидатель и творец законов пожертвовал родным сыном ради своих предначертаний и ради нужд народа, который впал бы опять в то состояние, из коего Петр его вывел, если бы царь не проявил в этом случае взволновавшей мир суровости. Вполне очевидно, что он предал царевича на заклятие не из-за его мачехи и не из-за родившегося у нее младенца мужеского пола, ибо он много раз грозил Алексею, как Екатерина подарила ему сына, убогого ребенка, обреченного на раннюю смерть и действительно вскоре после того скончавшегося. Если бы этот поступок, поднявший столько шума, Петр совершил только в угоду жене, он выказал бы тем самым

слабость, безрассудство и низость, чего в нем, разумеется, не было. Он предвидел будущее своих творений и своего народа, которое наступит, если только его преемники останутся верны его предначертаниям. Все его замыслы оказались осуществлены сообразно его предсказаниям; его народ стал знаменит и чтим Европой, от которой ранее был отлучен; а если бы Алексей стал царем, все было бы разрушено. Словом, раздумывая над этим страшным событием, чувствительные умы трепещут, а суровые одобряют Петра.

Итак, мы видим, какой прискорбно дорогой ценою купил Петр Великий то благоденствие, которое даровал своим народам; сколько явных и тайных препятствий пришлось преодолеть ему в разгаре долгой и трудной войны; против него были и внешние враги, и внутренние мятежники, и добрая половина его семьи, и большинство священников, упрямо заявлявших себя врагами его начинаний, и почти вся нация, раздраженно восстававшая против своего же благополучия, тогда еще не осязаемого; надо было побороть засевшие в головах предрассудки и укротить недовольство, гнездившееся в сердцах. Только новое поколение людей, взращенное его заботами, восприняло, наконец, понятия о счастье и славе, недоступные отцам.

ТРУДЫ И НОВОВВЕДЕНИЯ 1718 И СЛЕДУЮЩИХ ГОДОВ

Эти бедственные и страшные события показали, что Петр прежде всего отец своего отечества, что только народ свой почитает он своей семьей. Будучи вынужден карать тех из своих соотечественников, которые мешали и препятствовали счастью остальных, — Петр приносил жертву ради общего блага и в силу горестной необходимости.

В том самом 1718 году, когда был отстранен от престолонаследия и умер старший его сын, — Петр Великий доставил своим подданным больше всего благ: он учредил общую полицию, никогда ранее не существовавшую, открыл и улучшил мануфактуры и фабрики всех родов, создал новые отрасли торговли, начинавшей достигать

расцвета, и прорыл каналы, соединив реки, моря и народы, разделенные до тех пор природою. Пусть публика ищет в книгах ошеломляющих драм, пусть людское злорадование тешится придворными интригами и лишь великие потрясения возбуждают праздное человеческое любопытство, — глаз философа любитесь начинаниями, которые несут подлинное благо человеческому обществу.

Итак, назначен был генерал-полицеймейстер, который, пребывая в Петербурге, распространял свою деятельность на всю империю и возглавлял судилище, надзиравшее за поддержанием порядка на всем протяжении России. Роскошные наряды и азартные игры, еще более опасные, чем роскошь, были строго воспрещены. Во всех городах империи открыты школы арифметики, указ об учреждении которых был издан еще в 1716 году. Ранее заложенные приюты для сирот и найденнейшей были достроены, снабжены необходимыми средствами и заселены питомцами.

Упомянем тут же о всех тех полезных мероприятиях, которые намечены были ранее и доведены до конца несколько лет спустя. Все крупные города были очищены от неприглядного скопления нищих, которые, не желая заниматься никаким делом, только досаждают людям деловым и влечат на чужой счет жалкое и постыдное существование — разврат, к которому в других странах относятся с излишней терпимостью.

Богатых людей заставили строить в Петербурге подobaющие их состоянию дома установленного образца. Превосходною мерою оказалось распоряжение о бесплатном провозе в Петербург всякого рода материалов на судах и подводках, возвращавшихся из окрестных областей порожняком.

Установлены были единицы меры и веса, общие — как и законы — для всей страны. Это единообразие, которого тщетно домогаются в странах, давно уже просвещенных, было введено в России без труда и не вызвало ропота; у нас это спасительное нововведение было бы, думается нам, неосуществимо. Были определены твердые цены на предметы продовольствия; уличные фонари, введенные в Париже Людовиком XIV, а в Риме до сих пор еще не существующие, стали освещать по ночам город Петербург; пожарные насосы, шлагбаумы на улицах, прочно вымощенных камнем, меры по охране безопасности, чистоты и порядка, льготы для внутренней тор-

говли, особые преимущества, предоставленные иностранцам, и правила, не допускавшие злоупотребления этими преимуществами, — все это в совокупности придало Петербургу и Москве новый облик.

Он отпустил тридцать тысяч рублей, то есть сто пятьдесят тысяч французских ливров, и дал все нужные материалы и оборудование лицам, принявшим выделку сукон и других шерстяных тканей. Эта разумная щедрость дала ему возможность одеть свои войска в сукно отечественного производства; до тех пор сукна вывозились из Берлина и других заграничных городов.

В Москве научились ткать полотно такого же прекрасного качества, как в Голландии, и ко времени кончины Петра в Москве и Ярославле было уже четырнадцать фабрик, выпускавших льняные и пеньковые ткани.

В былые времена, когда шелк продавался в Европе на вес золота, никто и подумать не мог бы, что настанет день, когда за Ладожским озером, в морозном климате, посреди неведомых болот возникнет богатый и великолепный город, где персидские шелка будут выделяться так же искусно, как и в Исфагане. Петр взялся это сделать, и сделал. Железная руда добывалась в количествах, невиданных ранее; открыты были в нескольких местах залежи золота и серебра, и был учрежден горный совет, который должен был определять, оправдает ли разработка месторождений сопряженные с нею расходы.

Чтобы добиться процветания всех этих производств, разнообразных ремесл и предприятий, нельзя было ограничиваться подписанием патентов и назначением наблюдателей; надо было поначалу увидеть все своими глазами и поработать своими руками, подобно тому как некогда он сам строил, оснащал и водил корабли. Когда по топким и почти непроходимым местам прокладывались каналы, он, случалось, принимался сам заодно с рабочими рыть и перетаскивать землю.

В этом же 1718 году он наметил прокладку и шлюзование Ладожского канала. Речь шла о соединении Невы с другой судоходной рекой, чтобы можно было без труда доставлять товары в Петербург, не совершая дальнего обхода через Ладожское озеро, подверженное бурям и часто недоступное для барок; он сам пронивелировал почву; до сих пор сохраняются орудия, при помощи которых он копал и перевозил землю; его примеру после-

довал весь народ, что ускорило работы, считавшиеся ранее невозможными. Они были окончены уже после его смерти, ибо ни один его замысел, если только он мог быть осуществлен, не был заброшен.

Работы по устройству большого кронштадтского дока, который может быть легко обезвожен и где ремонтируются военные суда, были начаты также во время суда над его сыном.

В том же году он построил город Новую Ладогу. Вскоре затем он прорыл канал, соединяющий Каспийское море с Финским заливом и с Океаном; барки, поднявшись по Волге, проходят сперва водный путь, образованный двумя реками, между которыми он установил связь; отсюда по другому каналу проникают в озеро Ильмень, затем входят в Ладожский канал, откуда товары могут быть переброшены открытым морем в любую часть света.

Занятый работами, которые производились на его глазах, он попутно простирали свои попечения даже на Камчатку, расположенную на самом восточном конце его государства, и приказал построить два форта в этом краю, который так долго оставался неизвестен остальному миру. Тем временем геодезисты морской академии, учрежденной в 1715 году, странствовали по всей империи, вычерчивая точные карты, чтобы дать каждому наглядное представление об обширных пространствах, просвещенных и обогащенных Петром.

.....

СМЕРТЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

.....

Петра Великого оплакивали в России те, кого он воспитал, а поколение, пришедшее на смену сторонникам прежних нравов, признало в нем своего отца. Когда иностранцы убедились в прочности его установлений, он стал для них навсегда предметом восхищения, и они нашли, что он действовал прежде всего по внушению необыкновенной мудрости, а не из желания вызвать удивление своей деятельностью. Европа признала, что он был славолюбив, но обратил славолюбие на творение блага, что его недостатки никогда не ослабляли его высо-

ких достоинств, что как человек он обладал пороками, но как монарх — всегда пребывал велик. Он поборол природу везде: в своих подданных, в себе самом, на суше и на водах, — однако поборол ее с тем, чтобы ее украсить. Искусства, насажденные им в стране, где в то время имелись еще дикие области, принесли плоды, явились свидетельством его гения и увековечили его память: ныне они представляются нам родным детищем тех мест, куда он их занес. Законы, внутреннее управление, внешняя политика, военная дисциплина, флот, торговля, заводы, науки, изящные искусства — все усовершенствовалось сообразно его видам; и по беспримерно странному стечению обстоятельств все им предпринятое и завершенное сохранили и усовершенствовали четыре женщины, последовательно восходившие после него на престол.

После его смерти случались перевороты во дворце, — государство же не испытало ни одного. Величие империи возросло при Екатерине I; Россия одержала победы над турками и шведами при Анне Иоанновне*; при Елизавете она покорила Пруссию и часть Померании; она наслаждалась на первых порах миром и познала расцвет искусств при Екатерине II. Дело русских историков рассмотреть во всех подробностях установления, законы, войны и мирные предприятия Петра Великого; они поощряют деятельность своих соотечественников, прославляя всех, кто помогал монарху в его боевых и державных трудах. Иноземец же, бескорыстно почитающий доблесть, может удовольствоваться попыткой показать, каков был великий человек, который победил Карла XII, воспользовавшись его же уроками; который дважды выезжал за пределы своего государства, чтобы улучшить управление им; который подал пример народу, работая своими руками почти на всех ремесленных поприщах, и который был основателем и отцом своей империи.

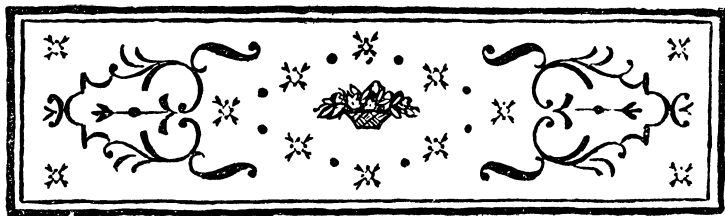
Владыки государств, давно достигших просвещения, скажут себе: «Если в морозной мгле древней Скифии человек, движимый одной лишь силой своего гения, совершил столь великие деяния, то что же должны совершать мы в государствах, где соединенными усилиями многих столетий облегчено нам все?»





ПИСЬМА
в
РОССИЮ

54



❧

ВОЛЬТЕР — ЕКАТЕРИНЕ

Ферней, 27 февраля (1765 г.)

Вольтер — Екатерине II

Пчела полезной быть согласна,
Она мила, она опасна.
Она от века — друг людей:
Дарит и медом их, и светом.
Искусство нравиться при этом
Отнюдь не повредило б ей.

Минерва, землю просвещая,
Смягчила грубый род людской,
Повержен Марс ее рукой
И взращена олива рая.
Меж тем, вдобавок, нежный приз
И красота ей присудила:
То не был с яблочком Парис,
Но — сердце верное Ахилла.

Простите, ваше императорское величество, эти дурные стихи: признательность не всегда красноречива. Если вы избрали своим девизом пчелу*, то улей ваш необычаен — это величайший улей в мире; вся земля полнится славой вашего имени и ваших благодеяний. Мне всего дороже медали, вас изображающие. Черты вашего величества напоминают мне черты принцессы, вашей матушки.

Я счастлив еще тем, что все, кого ваше величество удостоили своих милостей, являются моими друзьями; я почитаю себя обязанным за все, что ваше величество сделали для Дидро, Даламбера и Каласа*. Все литераторы Европы должны склониться к вашим ногам.

Вы, сударыня, творите чудеса. Вы сделали Авраама Шоме* веротерпимым, а если он приблизится к вашему величеству, то приобретет и ум; что до капуцинов, то, как вы убедились, не в вашей власти обратить в людей тех, кого святой Франциск уже обратил в скотов.

По счастью, ваша Академия создаст людей, которым не придется иметь дело со святым Франциском.

Я, сударыня, старше, чем город, в котором вы царствуете и который украшаете собой. Осмелюсь прибавить даже, я старше вашей империи, если считать ее основание со времен создателя, Петра Великого, чье творение вы совершенствуете. Все же я чувствую, что охотно отправился бы на поклон к дивной пчеле, правящей этим обширным ульем, когда бы тяжкие болезни позволили мне, бедному шмелю, покинуть свою ячейку.

Представить меня я попросил бы графа Шувалова* и его супругу, которых я имел честь принимать в течение нескольких дней в своей пустыни. Ваше императорское величество были предметом наших бесед, и никогда так не огорчала меня невозможность путешествовать.

Осмелюсь ли сказать, сударыня, но я немного раздосадован тем, что вас зовут Екатериной. Героини былых времен не избирали имена святых. Гомеру или Вергилию было бы немало труда с подобными именами; вы созданы не для календаря.

Но Юнона ли вы, Минерва, Венера или Церера, что лучше согласуется с поэзией, в любой стране, я склоняюсь к ногам вашего величества с признательностью и глубочайшим уважением.

Ферней, 15 ноября 1768 г.

Я имел честь отправить вашему императорскому величеству 15 марта сего года, в адрес господина Б. Леметра в Гамбурге, изрядной величины пакет с пометкой Y. D. R. № 1.

У вашего величества есть дела, поважнее этого пакета. С одной стороны, вы заставляете поляков быть терпимыми* и счастливыми, вопреки папскому нунцию*, с другой — вы вступаете в сношения с мусульманами помимо Магомета. Если они объявят вам войну, сударыня, с ними легко может случиться то, что некогда задумал Петр Великий, — Константинополь превратится в столицу Русской империи. Эти варвары заслужили наказание от героини за то, что до сих пор так мало внимания оказывали дамам. Ясно, что люди, пренебрегающие искусством и запирающие женщин, достойны уничтожения. Я жду всего от вашего гения и вашей судьбы. Мустафа* не устоит против Екатерины. Говорят, Мустафа не умен, не любит стихов, никогда не был в театре, не понимает по-французски; даю слово — он будет побит. Прошу у вашего императорского величества позволения склониться к вашим стопам и провести несколько дней при вашем дворе, как только он обоснуется в Константинополе, ибо я вполне серьезно думаю, что если суждено туркам быть изгнанными из Европы, то совершат это именно русские. Желанье понравиться вам делает непобедимым.

Благоволите, ваше величество, принять пожелания и глубокое уважение вашего почитателя, вашего усердного и ревностного слуги.

Ферней, 30 октября 1769 г.

Ваше императорское величество, вы возвращаете мне жизнь, убивая турок. Получив письмо от 22 сентября, которым вы меня почтили, я поднялся со своего одра, воскликнув: «Алла, Катарина!» Итак, я был прав, я был пророком бóльшим, чем Магомет; Бог и ваши победоносные войска вняли моим молениям, когда я пел: *Te Catharinam laudamus, te dominam confitemur*¹. Архангел Гавриил известил меня о полном поражении оттоманской армии, о взятии Хотина и перстом указал мне дорогу на Яссы.

Поистине, сударыня, я вне себя от радости: я восхищен, я благодарю вас и, в довершение моего счастья, всей этой славой вы обязаны господину нунцию. Если

¹ «Тебя, Екатерина, хвалим, тебя, госпожа, исповедуем» (лат.).

бы он не спустил с цепи Диван против вашего величества, вы не отомстили бы за Европу.

Итак, моя законодательница полностью победила! Не знаю, пытались ли в Париже и Константинополе запретить ваш «Наказ к составлению свода законов России», но знаю, что от французов надо бы его спрятать, — слишком постыдный упрек нашей смешной и варварской древней юриспруденции, почти целиком построенной на декретах папы и церковной юриспруденции.

Я не посвящен в ваши тайны, но отплытие вашего флота меня приводит в восторг. Если не обманул меня архангел Гавриил, это прекраснейший замысел со времен Ганнибалы.

Разрешите послать вашему величеству копию моего письма к королю прусскому, так как в нем идет речь о вас, я счел себя обязанным подвергнуть его вашему суждению.

Дал бы мне Бог здоровья, и будущим летом я непременно отправлюсь провести у ваших ног несколько дней или даже, на худой конец, несколько часов.

Простите, ваше императорское величество, бессвязность моей радости и примите глубокое уважение сердца, полного вами.

Фернейский отшельник.

Ферней, 22 декабря 1770 г.

Сударыня, моя страсть становится несчастной. Я не получаю больше вестей ни о вашем императорском величестве, ни о моем враге Мустафе. Все, что я могу на этот раз сделать, это навести на вас скуку маленьким своим посланием к вашему соседу, китайскому императору.

Я представил себе, что декабрьские дожди, опасения чумы и голода могли прервать ход ваших побед и что вы, ваше величество, быть может, найдете время развлечься своего рода краткой Энциклопедией, недавно вышедшей близ Юрских гор. Там упоминается ваша восхитительная особа на странице 17 первого тома по поводу алфавита. Должно быть, автор совершенно полон вами, раз говорит о вас всюду, где возможно.

Не знаю, кто этот автор, но, несомненно, он испытал вашу доброту и должен говорить о вас в статье «Признательность».

Есть, говорят, во Франции люди, которые находят это дурным, но весь мир должен бы считать это хорошим, и, будь я хоть немного вашей жертвой, я бы этим немало гордился.

Вышли из печати только три тома. Они посланы с почтовой каретой вашему главному надзирателю почт, в адрес вашего императорского величества.

Позволю себе сообщить вам о часовой фабрике, открытой в Фернее, и предложить вам ее услуги на случай, если вы, ваше величество, заключив мир с Мустафой, милостиво пожелаете послать ему часы со своим портретом. Его охватит трепет, или, — что также возможно, — он будет растроган. Одним словом, моя часовая фабрика к вашим услугам; если бы я был молод, я сам бы перевез ее в Саратов.

Король прусский утверждает, что Али-бей* не стал королем Египта, — еще один довод за мир с этой проклятой оттоманской державой, которую поддерживает столько людей. Я, наверное, умру от горя, если не увижу вас на константинопольском троне. Я отлично знаю, что горе убивает только в романах: но раз уж вы внушили мне слегка романическую страсть, то мой роман с такой императрицей, как вы, должен закончиться благородно. Я унесу с собой утешение, что видел вас владычицей побережий Черного и Эгейского морей.

Благоволите, невзирая на все мои заявления, принять глубочайшее уважение

Фернейского отшельника.

Ферней, 6 мая 1771 г.

Итак, ваше величество, я попрошу отнести свои носилки в Таганрог, ежели климат там столь приятен, но я полагаю, что воздух вашего двора для меня гораздо здоровее. Я с радостью не стану умирать ни по-гречески, ни по-римски. Вы, ваше императорское величество, позволяете каждому отплывать в мир иной сообразно собственной прихоти. Мне не понадобится свидетельства в совершении исповеди.

Но я не поеду в Нипшу: там не встретишь китайцев из хорошего общества, — все они заняты в Пекине тем, что переписывают стихи китайского императора тридцатью двумя иероглифами.

Подозреваю, что ваши восточные соседи мало образованы, очень суетны и немного плутоваты; но другие ваши соседи — турки — еще более невежественны и суетны. Говорят, они не так плутоваты, оттого что богаче.

Думаю, ваши войска еще легче разобьют последователей Конфуция, чем сынов Магомета.

Слагаю к вашим стопам четвертый и пятый тома вопросов по поводу Энциклопедии: не могу утерпеть, чтобы не поговорить там время от времени о моем жирном Мустафе. И пока ваши доблестные войска берут города и гонят янычар, я осмеливаюсь дать несколько щелчков по носу их господину, укрывшись под вашей эгидой.

Я уверен, что великий поэт Цянь-Лун не нарушил бы прав человека в лице вашего посла*. Говорят, великий султан обращается с ним, как с пленником, словно он захватил его на войне. Надеюсь, в первом же сражении он будет освобожден.

Меня попрежнему поражает, что государи и республики, принадлежащие к христианской религии, спокойно сносят оскорбления, которым подвергаются в Оттоманской Порте их послы, а ведь они всегда так щепетильны в том, что называется вопросами чести.

Я попрежнему стою за Али-бея: но я знаю о Египте не больше, чем иудеи, которые рассказывают о нем столько чудес.

Когда я собирался паковать «Вопросы невежды по поводу Энциклопедии», мои фернейские колонисты, которые считают себя принадлежащими вашему императорскому величеству, явились с двумя ящиками часов; мне они показались столь громоздкими, что я не решился послать оба сразу. Я вложил «Энциклопедические вопросы» в тот ящик, что отправится завтра с почтовой каретой.

Я отправил их через швейцарскую почтовую контору с простым адресом.

«Ее императорскому величеству
императрице России».

При этом имени все отнесутся к ящику с уважением, и ни один польский конфедерат не посмеет его коснуться.

Ваше величество, вы слишком добры, слишком снисходительны и, поистине, слишком щедры, ибо милостиво тратитесь на пустяки из чистой благотворительности,

в то время как несете столь ужасные расходы на пушки, суда и победы.

Мне сдается, что если бы ваши татаро-китайцы из Нипшу обладали здравым смыслом, они покупали бы обычные часы и с прибылью перепродавали их во всей своей империи. У женевцев есть контора в Кантоне, и там хорошо зарабатывают. Нельзя ли учредить подобную контору на вашей границе? Моя колония поставляла бы серебряные часы по цене в двенадцать — тринадцать рублей, золотые не дороже тридцати — сорока рублей и обязалась бы поставлять на двести тысяч рублей в год, если понадобится.

Но, кажется, китайцы слишком склонны подозревать других и слишком подозрительны сами, чтобы заводить с ними большую торговлю, требующую честности и благородства.

Как бы там ни было, я лишь посредник, через которого идут все эти посылки и предложения.

Я столь же восхищаюсь величию вашей души, сколь радуюсь вашим успехам и завоеваниям.

Склоняюсь к ногам вашего императорского величества с глубочайшим уважением и неизменной признательностью.

P. S. Я вскрыл свое письмо, чтобы сообщить вашему императорскому величеству, что получил сейчас из Парижа книгу in 4°, озаглавленную «Манифест Польской конфедеративной республики, 15 ноября, 1769 года». Дата издания 1770 год.

По красоте шрифта можно подумать, что она печаталась в королевской типографии в Париже, однако эта работа недостойна быть принятой в Лувре. Вот что написано на странице 5: «Высокая Порта, наш добрый сосед и верный союзник, поощряемая договорами, которыми она связана с республикой, а также собственными интересами в сохранении наших прав, взялась за оружие в нашу пользу; все призывают нас объединить наши силы, дабы воспротивиться падению нашей святой религии».

Не правда ли забавный вывод? Нам, видите ли, удалось с помощью интриг добиться, чтобы турки дерзко начали самую несправедливую войну; поэтому мы должны предотвратить падение святой католической церкви, которую все высмеивают, но никто не собирается разрушать, по крайней мере в настоящее время.

Я думаю, эту прекрасную апологию написал церковный сторож какого-нибудь парижского прихода. Вашему величеству она, несомненно, известна. Она произвела большое впечатление на французское министерство.

Вашим войскам приписываются в этом сочинении (страницы 240 и 241) жестокости, которые, будь это верно, способны были бы возмутить все умы.

Этот манифест распространяется по всей Европе. Вы, ваше величество, ответите на него победами и великодушием, которое сделает победу еще почетнее.

Ферней, 15 мая 1771 г.

Прежде всего должен сообщить вам, ваше величество, что я имел честь принять в своей пустыни княгиню Дашкову*. Едва вошла она в гостиную, как узнала вытканый по шелку ваш портрет в меццо-тинто, украшенный гирляндой цветов. Ваше величество должны были получить его от господина Лассалья; это шедевр того искусства, которым занимаются в Лионе и которое вскоре введут в Петербурге, Адрианополе или Стамбуле, если дела пойдут попрежнему.

Должно быть, в вашем образе есть какая-то тайная сила, ибо глаза княгини Дашковой увлажнились при виде этой ткани. Она рассказывала мне четыре часа кряду о вашем императорском величестве, но мне показалось, что прошло лишь четыре минуты.

Я узнал от нее о проповеди архиепископа Тверского Платона, произнесенной на могиле Петра Великого наутро после известия, полученного вашим императорским величеством, о полном уничтожении вашим флотом турецкого флота. Эта речь, обращенная к создателю Петербурга и вашего флота, на мой взгляд, один из прекраснейших памятников в мире. Не знаю, была ли когда-либо хоть у одного оратора такая благодарная тема. У греческого Платона не было подобной. Этот торжественный обряд, мне кажется, ознаменовал прекраснейший день вашей жизни: я говорю о прошедшей вашей жизни, ибо я уверен, что будут у вас еще более прекрасные дни.

Раз уж у вас есть Платон в Петербурге,—надеюсь, что графы Орловы* заменят Мильтиадов и Фемистоклов в Греции.

Имею честь послать вашему императорскому величеству перевод литовской проповеди, взамен вашей платоновской: это скромный ответ на довольно грубую и смешную ложь, напечатанную польскими конфедератами в Париже.

Большое счастье иметь врагов, не способных лгать с умом. Эти жалкие люди говорят, что ваши войска не могут взглянуть туркам в лицо. Они правы, — до сих пор войскам вашим приходилось видеть лишь турецкие спины.

Не знаю, что будут проповедывать австрийцы в Венгрии. Возможно — мир, возможно — крестовый поход. Рассказывают, султан Али-бей запнулся в одной из своих проповедей в Сирии и почти потерял дар речи. Не верю этому: вы сделаете его более красноречивым, чем когда-либо. Мустафе будут читать проповеди справа и слева, и в конце концов он исповедуется епископу Платону и признается, что он просто жирная свинья, не вовремя хрюкнувшая на мою августейшую героиню.

Я попрежнему имею честь ненавидеть его полумесяц и питать преданность, уважение и признательность к сияющей северной звезде.

Старый фернейский отшельник.

Ферней, 10 июля 1771 г.

Вы, ваше императорское величество, найдете, что горный старец пишет слишком уж часто, но сердце мое слишком полно, и я должен излить свои чувства на бумаге.

Я прочел в довольно острой критической статье о большом сочинении аббата Шаппа*, что в некоей западной земле, называемой страной галлов, правительство запретило лучшую и достойнейшую из наших книг; одним словом, таможня мысли не пропустила возвышенный и мудрый Наказ, подписанный Екатериной, я не мог этому поверить. Эта варварская выходка показалась мне слишком нелепой. Я написал одному торговцу бумагой и узнал, что это истинная правда. Вот как было дело! Некий голландский издатель напечатал этот Наказ, который должен бы стать наказом всех королей и всех судов мира; издатель отправил в Париж две тысячи

экземпляров. Книгу дали на просмотр какому-то школяру, книжному цензору, словно это была обычная книга, словно этот парижский шут может судить о предписаниях повелительницы, и какой повелительницы! Этот безмозглый мошенник счел положения Наказа дерзновенными, еретическими и оскорбительными для валлийского слуха: он объявил в государственной канцелярии, что это книга опасная, книга философская; ее отослали в Голландию без дальнейшего изучения.

И я все еще среди варваров! Я дышу их воздухом! Я должен говорить на их языке! Нет, в империи Мустафы не совершили бы такой бессмысленной наглости. И я уверен, что Цянь-Лун сделал бы мандарином первого разряда того мудреца, кто хорошо перевел бы ваш Наказ на китайский.

Ваше величество, правда, я нахожусь в одной миле от границы варваров, но я не хочу умереть среди них. Этот последний удар приведет меня в умеренный климат Таганрога.

Прежде чем отправить письмо, я перечел Наказ:

«Правительство должно быть таким, чтобы ни один гражданин не боялся другого гражданина, но чтобы все боялись закона.

Законы должны запрещать лишь то, что может повредить каждому в отдельности и обществу в целом...» и т. д.

И эти божественные истины варвары не захотели допустить к себе. Они заслужили... они заслужили... они заслужили... все, что они имеют.

Прошу прощения у вашего величества, я слишком раздражен; старики не должны быть так запальчивы. Если я буду сердиться одновременно на турок и на галлов, то гнев, чего доброго, задушит бедного чудака, который с кашлем склоняется к ногам вашего императорского величества.

Ферней, 31 августа 1771 г.

Осмелюсь сказать, что вы, ваше императорское величество, были мне должны письмо, которым вы меня почтили от 16 июля. Я нуждался в этом сладостном утешении

после двух гнусных газетных сплетен, одна за другой утверждавших, что войска непобедимого султана Мустафы повсюду полностью восторжествовали. Не понимаю, какая корысть распространять столь бесстыдную ложь, которая может обмануть народы лишь на пять-шесть дней. Если уж дурачить людей, то нужно дурачить их долго, как это делали в Риме. Но в отношении воинских подвигов это невозможно.

Вы шествуете от победы к победе: меня уверяют, что ваши поистине победоносные войска перешли Дунай и сто ваших судов стоят в морях Архипелага.

Благословляю Бога за то, что он сделал меня свидетелем этих великих событий. Когда Петр Великий был в свое время в Саардаме, никто не думал, что однажды вы, ваше императорское величество, будете господствовать на Черном море, на Архипелаге, на Дунае.

Меня уверяют, что мой любезный Али-бей взял Дамаск и осадил Алеппо, дабы испытать, насколько сильна у непобедимого Мустафы добродетель покорности судьбе. Если это верно, — чего я желаю от всего сердца, — никогда терпение султана не подвергалось столь жестокому испытанию. Но этот непобедимый герой, должно быть, очень упорный человек, если еще не просит вас на коленях о мире.

Был у нас король, по имени Людовик XI, который говорил: «Когда впереди идет гордость, позади идет убыток». Мустафа забыл об этой истине: он приказал вам очистить Подолию; вы не очень его послушались. Смею надеяться, наконец, что вы прикажете ему очистить Константинополь, и он послушается.

Если только среди всей этой сумятицы вы удостоите урвать несколько минут для чтения моих бредней, то четвертый и пятый томы «Вопросов по поводу Энциклопедии» должны быть в ваших руках. Вот, пока что, один лист из седьмого тома, еще не вышедшего в свет. Автор позволил себе сказать несколько слов о вашем величестве на странице 356.

Склоняюсь к вашим ногам и целую их гораздо почтительнее, чем ноги папы: он считает себя первой особой в мире, Мустафа полагал то же о себе, но я-то давно знаю, кому принадлежит это имя по праву.

Примите, моя повелительница, глубокое уважение
своего старого ученика.

Ферней, 18 ноября 1771 г.

Ваше величество, из письма от 6/17 октября, которым вы меня удостоили, я вижу, что вы созданы не только для того, чтобы править людьми, но равным образом и для того, чтобы просвещать их.

Просветить чернь не легко; однако для всех тех, которые получают сколько-нибудь сносное воспитание, со временем будет все более и более доступно распространяемое вами просвещение. Печально, что архиепископ московский стал мучеником во имя пресвятой девы*; его убийцы, тупоумные варвары, пьяные и суеверные, несомненно, заслуживают такой кары, которая произвела бы сильное впечатление на эти бараньи головы. Я уверен, что со дня смерти Сына Святой Девы не было дня, чтобы кого-нибудь не убивали из-за него; что же касается до убийств на поле битвы, для коих мать и сын послужили предлогом, их очень много, и они слишком известны. Убийство архиепископа должно быть наказано; я нахожу еще более отвратительным убийство шеваляе де ла Барра*, потому что его совершили хладнокровно такие люди, которые должны были бы обладать здравым смыслом и человечностью.

Воссылаю благодарение природе за то, что заразительная болезнь в Москве не чума. Это слово пугает нас, жителей юга. Все кругом распускают зловещие слухи. По выдумкам газетных лжецов относительно вашей империи можно судить, как писали историю в прежние времена. Если у фараона египетского издыхало десять лошадей, пускали слух, будто бы ангел-истребитель поразил смертью всех четвероногих в стране.

Генерал-аншеф Орлов есть ангел-утешитель*, он совершил геройский подвиг. Я понимаю, что это взволновало ваше сердце, потрясенное страхом и восхищением, но вас этот подвиг должен удивить меньше, чем всякую другую: великие дела по вашей части.

Благодарю ваше императорское величество за все то, что вы изволили мне сообщить о Южной Сибири; в десяти строках вами сказано больше, нежели аббат Шапп сказал в целом фолианте. Если вы позволите, все это войдет в дополнения к «Вопросам», которые подготавливаются сейчас у горы Крапак. Признаться, меня очень удивило, что на севере Сибири найдены скелеты слонов. Я с трудом верю в ископаемую слоновую кость, не легко было пове-

речь и в слоновьи клыки, погребенные под тридцатью футами льда, но я верю в то, что природа на все способна, и очень возможно, что Адам евреев, известный во время оно им одним, относится к очень недавней дате: шесть тысяч лет в сущности совсем немного времени.

Ваше величество, оказав мне уже столько знаков внимания, желаете послать мне некоторые произведения Сибири. Осмелюсь просить у вашего величества семена прекрасных сибирских кедров, которые без труда превзойдут кедров ливанские, так как в Ливане их почти не осталось. Я посажу их в моем убежище, где иногда бывает почти так же холодно, как в Сибири. Я отлично знаю, что не увижу, как они вырастут, зато их увидит потомство и скажет: «Вот благодеяния той, которая воздвигала храм памяти».

Фернейские мастера получили те деньги, которые вы по своей доброте изволили послать им, ваше величество. Они у ваших ног, как и я. Не помню, чтобы я говорил с вами о стенных часах, но если вам угодно, вы будете их получать постоянно: вашему величеству остается только назначить цену; ручаюсь, что вашему величеству изготовят все, что нужно, и возьмут недорого. Сейчас, быть может, не время говорить о торговле стенными и карманными часами с Китаем; но ваш всеобъемлющий ум делает все разом. В этом, по-моему, и заключается истинное величие, истинное могущество.

Женефцы уже завели небольшую торговлю часами в Кантоне; ваше величество могли бы открыть такую же в тех местах, где русские торгуют с китайцами. С доверенным человеком можно было бы посылать из Петербурга в Ферней заказы, с которыми здесь сообразовались бы — однако я очень опасаясь, что этот план несколько напоминает предложение применить военные колесницы Кира*. Вы отлично побили турок и без помощи этих новомодных военных колесниц.

Льщу себя надеждой, что граф Алексей Орлов уже взял у них Негропонт без всяких колесниц: теперь вам надобны одни только триумфальные колесницы. Я издали следую за ними и кричу *io tricifno*¹ весьма слабым и весьма скрипучим голосом, который, однако, идет от сердца, проникнутого всеми чувствами, какие ваше императорское величество сумели внушить отшельнику, и т. д.

¹ торжествую (*итал.*)

Ферней, 12 марта 1772 г.

Письмо вашего императорского величества, датированное, верно или неверно, 30 января /10 февраля, видимо, оживило меня, так же как ваши письма к генералам вашей армии, видимо, заставляют Мустафу умирать от страха.

Воспитание ваших пятисот девиц меня интересует* чрезвычайно. В нашем Сен-Сире* не наберется и двухсот пятидесяти. Не знаю, может быть, вы их заставляете играть трагедии, у меня же они только декламируют иногда трагические, иногда комические стихи; декламация кажется мне превосходным воспитательным средством, она придает изящество уму и телу, формирует голос, осанку и вкус, в памяти сохраняются сотни строк, которые потом цитируются кстати; это доставляет развлечение в обществе, это во всех отношениях полезно.

Правда, все наши пьесы вертятся вокруг любви, — это страсть, к которой я питаю глубочайшее уважение, но думаю, как и ваше величество, что не следует давать ей развиваться слишком рано. Можно было бы, кажется мне, вычеркнуть из некоторых избранных комедий наиболее опасные для юных сердец места, не повредив занимательности пьес; в «Мизантропе» пришлось бы переделать строк двадцать, а в «Скупом» таких строк не наберется и сорока.

Если ваши девицы исполняют трагедии, то один молодой человек, мой знакомый, написал недавно трагедию, в которой любовь не играет почти никакой роли*. Там у него какие-то татары, которые относятся друг к другу скорее как супруги, чем как любовники. Я ее пришлю вашему императорскому величеству, как только она будет напечатана. Если вы решите, что можно составить репертуар из наших лучших авторов, я вам буду посылать из Парижа трагедии и комедии в рукописи; я их отдам переплести с белыми страницами, на которые будут внесены поправки, сделанные из уважения к добродетели ваших девиц. Эта маленькая работа будет для меня развлечением и не повредит моему здоровью, как оно ни плохо. Кроме того, я с удовольствием буду делать нечто такое, что может вам понравиться, и это подержит мои силы.

Полагаю, что ваш батальон из пятисот девиц есть батальон амазонок; думаю, однако, что они не совсем изгнали мужчин; играя пьесы на театре, надобно, чтобы по крайней мере половина этих молодых героинь изображала героев; но как будут они играть стариков в комедии? Словом, относительно всего этого я жду инструкций и приказаний вашего величества.

Сомневаюсь, чтобы Мустафа давал такое же прекрасное воспитание обитательницам своего сераля. Думаю, кроме того, что в комедии он очень плохой шутник, а в трагедии отнюдь не Ахиллес.

Я восхищен, ваше величество, тем, что вас хватает на все, у вас самый любезный двор во всей Европе и в то же время — самая грозная армия. Это соединение величия с любезностью, побед с праздниками кажется мне очаровательным. Я скорблю единственно о том, что мой возраст не позволяет мне быть очевидцем ваших триумфов всякого рода и вынуждает узнавать о них только с голоса Европы.

У меня есть другое горе, — это то, что мои соотечественники находятся в Кракове, вместо того чтобы быть в Париже. Я бы не желал, чтобы они были вам представлены вашими офицерами вместе с великим визирем: это не подобает нам; говорят, что надо быть хорошими гражданами. Я жду развязки этого дела и развязки той комедии, которую сейчас разыгрывают в Дании*.

Больной старик повергается к стопам вашего императорского величества с глубоким уважением и привязанностью, которые он сохранит до последней минуты своей жизни.

Сентябрь 1772 г.

Ваше величество, ваш носорог меня ничуть не удивляет; очень возможно, что какой-нибудь индеец привел когда-то носорога в Сибирь; привозят же их во Францию и Голландию. Если Ганнибал перевел слонов через снежные вершины Альп, то ваша Сибирь, быть может, видела во время оно подобные же попытки, и кости этих животных сохранились в песках. Я не думаю, чтобы переместился экватор, думаю только, что мир очень стар.

Гораздо более удивляет меня ваш неизвестный, сочиняющий комедии, достойные Мольера и к тому же удостоенные смеха вашего императорского величества, ведь венценосцы смеются редко, хотя смеяться им необходимо. Если такой гениальный ум, как ваш, находит эти комедии приятными, то нет сомнения, что они именно таковы. Я уже просил у вашего величества сибирских кедров, осмелюсь попросить теперь петербургскую комедию. Было бы нетрудно перевести ее. Я слишком стар, и мне поздно учиться языку вашей империи. Если бы греки были достойны того, что вы для них сделали, греческий язык стал бы языком всего мира; зато теперь русский язык может занять его место. Я знаю, что существует много шуток, соль которых соответствует времени и месту; но существуют и другие, понятные всем странам, и они, бесспорно, лучшие. Я уверен, что таких шуток очень много в той комедии, которая вам понравилась более других; перевод этой комедии я и осмеливаюсь просить у вас. Весьма похвально, кажется мне, заказывать перевод пьесы для театра, играя такую великую роль на театре вселенной. Последнее действие вашей великой трагедии представляется мне прекрасным: театр не обагрится кровью, и развязкой будет слава.

20 апреля 1773 г.

Ваше величество, теперь, более чем когда-либо, вы стали моей героиней и поднялись гораздо выше императорского величия. Как! Среди переговоров с Мустафой, среди новых приготовлений к тому, чтобы побить его как следует, когда ваш гений должен устремляться то к Польше, то к Бухаресту, в вас остается еще гений, который делает более, нежели все члены вашей Академии Наук, и удостоивает давать моему инженеру наставления, которых он ожидал от членов Академии! Сколько же в вас гениальных дарований? Сблаговолите доверить мне эту тайну. Я не прошу рассказывать, собираетесь ли вы осаждать Адрианополь, который очень легко взять, в то время как австрийские войска возьмут Сербию и Боснию. Эти секреты так же не по моей части, как и отсылка во-свояси наших странствующих рыцарей. Я только смеюсь, когда читаю в одном из ваших писем, что вы хотите оста-

вить их на некоторое время в ваших землях, чтобы они поучились хорошим манерам у ваших провинциалов.

Сводчатые ворота, возведенные на льду и остающиеся на нем в течение четырех лет*, мне представляются одним из чудес вашего царствования, но это, помимо того, еще и чудо вашего климата. Очень сомневаюсь, чтобы можно было воздвигнуть такое сооружение в наших кантонах; что же касается бомбы, наполненной водою, думаю, что она лопнет в сильный мороз, так же как в Петербурге.

Говорят, будто спиртовой термометр показывал в этом году пятьдесят градусов холода в вашей резиденции: мы, швейцарцы, замерзли бы насмерть, ежели бы термометр опустился у нас хотя бы до 20; самые сильные холода у нас пятнадцать—шестнадцать градусов, а в этом году не доходило и до десяти.

Надеюсь, что отныне ядра русских пушек будут разрываться над головами турок и что граф Орлов построит триумфальные арки не на льду, а на Атмейдане в Стамбуле. Вот тогда-то вы воспитаете в Греции не только Мильтиадов, но и Фидиев.

Думаю, что Альгаротти* ошибается, когда говорит, что греки изобрели искусства. Они только усовершенствовали некоторые из них, и то довольно поздно.

Кроме того, давно вошло в пословицу, что халдеи просветили Египет, а египтяне обучили Грецию.

Греки цивилизовались так поздно, что им пришлось учиться тирскому алфавиту, когда финикийцы явились торговать с ними и строить у них города. До тех пор греки пользовались символическим письмом египтян.

Другое доказательство малой изобретательности греков то, что их первые философы ездили учиться в Индию, и даже Пифагор учился там геометрии.

Вот таким же образом, сударыня, и философы-иностранцы приезжают теперь учиться в Петербург. Великий человек, по пути которого вы идете и который был вашим предшественником, говорил весьма резонно, что искусства обходят кругом весь мир и циркулируют, как кровь в наших венах. Ваше императорское величество, кажется, вынуждены теперь поощрять искусство войны, но вы не пренебрегаете и другими.

Месяц назад я не думал, что еще буду обитать на земном шаре, который вы повергаете в изумление. Воз-

даю благодарность природе, — быть может, она хотела, чтобы я прожил еще несколько месяцев, то есть до того времени, когда вы воцаритесь на родине Орфэя и Марса; однако не заставляйте меня ждать долее. Я решительно должен отойти в небытие. Я умру, попрежнему преклоняясь перед вашим императорским величеством. Да примет бессмертная Екатерина мое глубокое уважение и да будет она все так же милостива к больному старику из Фернея, который позволяет себе боготворить ее, несмотря на все свое уважение к ней.

15 марта 1774 г.

Письмо от 19 января, которым ваше императорское величество меня почтили, мысленно перенесло меня в Оренбург и познакомило с господином Пугачевым; очевидно, кавалер де Тотт* подстроил этот фарс, но мы живем не во времена Лжедмитриев; и театральная пьеса, которая могла бы иметь успех двести лет назад, сегодня будет освистана. Ежели бы какой-нибудь самозванный инк явился в Перу и объявил себя сыном или внуком солнца, сомневаюсь, чтобы его признали, даже если бы иезуиты предвозвестили бы его прибытие и толковали все пророчества в его пользу.

Ваше величество, мне кажется, не слишком обеспокоены эскападой г-на Пугачева. Я полагал, что Оренбургская губерния одна из самых приятных в вашей империи, что там только и делают, что веселятся; а оказывается, что это варварский край, переполненный бродягами и злодеями. Лучи света, исходящие от вас, не могут проникнуть одновременно всюду; империя, простирающаяся на две тысячи миль по долготе, цивилизуется не так скоро. Это подтверждает мою идею о древности мира. Прошу прощения у книги Бытия, но я всегда думал, что прошло не менее пяти-шести тысяч лет, прежде чем еврейская орда научилась читать и писать; подозреваю, что Геркулеса и Тезея вряд ли приняли бы в вашу Петербургскую Академию. Настанет день, когда Оренбург будет населен гуще Пекина и когда на театре там будут давать комические оперы.

В ожидании этого, надеюсь, что вы позаботитесь, побеждая нового султана*, продиктовать ему такие условия мира, какие древние римляне диктовали древним

сирийцам. Тем временем, обремененная огромной тяжестью войны против обширной империи и управлением своей, еще более обширной империей, следя за всем и делая все своими руками, вы находите еще время беседовать с философом Дидро, как если бы вы ничем не были заняты.

Мне не выпало на долю утешение видеть этого замечательного человека: это второй из обитателей мира сего, с которым мне хотелось бы побеседовать. Он рассказал бы мне о вашем величестве. Величество! Я не то хотел сказать, я говорю о вашем превосходстве над всеми мыслящими существами, ибо не считаю всех прочих ничтожеством. И потому прошу вас, сударыня, замолвить за меня слово: не может ли он сделать крюк верст в пятьдесят, для того чтобы продлить мне жизнь рассказами о том, что он видел и слышал в Петербурге?

Если он не приедет на берега Женевского озера, я сам поеду на берега Ладожского озера, чтобы меня там похоронили; мне надо видеть ваше новое творение, все остальное мне уже наскучило.

Припадаю к вашим стопам, поклоняясь вам как единому божеству.

Ферней, 6 октября 1774 г.

Ваше величество,

«Любовь давала клятвы, любовь нарушила их».

Прощаю вашему императорскому величеству и вновь надеваю на себя ваши цепи.

Ни Великий турок, ни я ничего не выиграем, сердясь на вас; но я бы поставил одно условие, если бы только смел, прощая так благодушно ваше величество; я желал бы знать, что такое маркиз Пугачев — самостоятельное лицо или орудие? Я не имею дерзости спрашивать у вас его тайну, но не верю, чтобы маркиз был орудием Ахмета IV, который так плохо выбирает своих наемников и которому, должно быть, не из чего выбирать. Пугачев не служил папе Ганганелли*, который отправился к св. Петру с пропуском от св. Игнатия. Он не состоял на жалованьи ни у императора китайского ни у шаха персидского, ни у Великого Могола. Я допросил бы постороже этого Пугачева: «Сударь, слуга вы или хозяин? Действуете ли вы за свой счет, или за счет кого-либо другого? Не спра-

шиваю, кто вас нанял, но только — не наняты ли вы? Как бы то ни было, господин маркиз, полагаю, что вы кончите виселицей. Так вам и следует, ибо вы не только провинились перед моей августейшей императрицей, которая вас, быть может, помиловала бы, но и перед всей империей, которая вам не простит. Позвольте же мне теперь вернуться к беседе с вашей повелительницей».

Как, ваше величество! В то время как вы заняты султаном, великим визирем, его разбитой армией, вашими триумфами, славным и плодотворным миром, вашими великими учреждениями, и даже Пугачевым, — ваши взоры не пропустили и лифляндца Розе! Вы угадали, что это плут и мошенник.

Ваше величество прозорливы и угадали верно, а я был дурак, когда пленился его жирной физиономией.

Не могу в этом году увеличить собою толпу европейцев и азиатов, приезжающих созерцать восхитительную самодержицу, победительницу, миротворицу, законодательницу. Осень идет к концу, однако прошу у вашего величества позволения быть у ее ног в будущем году или года через два, а то и через десять. Почему я не могу доставить себе это удовольствие — велеть похоронить себя в каком-нибудь уголке Петербурга, откуда я мог бы видеть, как вы проезжаете под триумфальными арками, увенчанная ветвями лавров и олив?

В ожидании этого припадаю к вашим стопам из своего фернейского угла, глядя на ваш портрет вечно удивленными глазами, с сердцем, полным восторга.

Больной старик.

Ферней, 16 декабря 1774 г.

Ваше величество, так, значит, этот маркиз Пугачев не человек, а дьявол? Диван, верно, глуп, если не послал ему денег. Так, значит, он не умеет писать, подобно Чингизхану и Тамерлану?

Бывали, впрочем, люди, которые даже основывали религии, не умея подписать собственного имени. Все это не служит к чести человеческой породы; но ваше великодушие делает ей честь. Ваше императорское величество, вы подаете великий пример, которому уже следует ваш

царственный сын. Он только что назначил пенсию одному из моих молодых друзей, которого зовут г. Лагарп* и которого он знает только по его заслугам, слишком мало известным во Франции. Тот, кто расточает достойным такие благодеяния, заставляет говорить о себе, и слава о нем доходит до потомства.

Думаю, что вы, ваше величество, возвратитесь к высоким трудам законодательства, хотя при вас более нет бедного Солона, именуемого Ларивьером* и приехавшего наставлять вас, а также безработного адвоката, по фамилии Дюмениль, который приезжал в Петербург насаждать парижские обычаи.

Вам придется создавать кодекс без помощи этих двух важных лиц, но заклиная вас, сударыня, ввести закон, позволяющий целовать руки у священников только их любовницам. Правда, Иисус Христос позволял Магдалине целовать свои ноги, но ведь ни у ваших, ни у наших священников нет ничего общего с Иисусом Христом.

Правда, в Италии и в Испании дамы целуют руки якобитским и францисканским монахам, а эти господа позволяют себе большие вольности с нашими дамами. Мне хотелось бы, чтобы петербургские дамы выказали больше гордости. Если бы я был петербургской дамой, молодой и красивой, я целовал бы руки только у ваших храбрых офицеров, обративших турок в бегство на суше и на море, а они пусть бы меня целовали, куда хотят. Никогда бы меня не заставили целовать руку монахам, зачастую весьма неопрятным.

Позвольте мне облобызать подножье статуи Петра Великого и край платья великой Екатерины. Я знаю, что у нее рука гораздо красивее, чем у всех священников ее империи, но смею лобызать только ноги, которые белы, как снега ее страны.

Умоляю сохранить хоть немного благосклонности к старому альпийскому болтуну.

Ферней, 5 декабря 1777 г.

Ваше величество, я получил вчера немецкий перевод свода ваших законов, этого залога вашей вечной славы, которым соизволило меня осчастливить ваше императорское величество. Сегодня утром я начал его переводить на язык варваров-французов; это будет евангелие мира и

останется таковым и на китайском языке и на всех других. Я был прав тридцать лет назад, говоря, что все к нам придет от Северной Звезды.

Две недели назад я имел смелость послать вашему величеству с немецкой почтовой каретой грамоту «За справедливость и человечность». Это слабый удар колокола, возвещающий о ваших благодеяниях роду человеческому. Мы вдвоем с другим членом Бернского общества внесли каждый по пятидесяти луидоров в пользу того, кто составит уголовный кодекс, наиболее близкий к вашим законам и наиболее пригодный для той страны, где мы живем.

Я желал бы, чтоб предложили награду тому, кто найдет самый быстрый и верный способ прогнать турок туда, откуда они пришли; думаю, однако, что этот секрет известен только первой особе из всего рода человеческого, которую зовут Екатерина II. Падаю к ее ногам и восклицаю в предсмертной муке: «Алла, алла Екатерина рассуль, алла!»¹

¹ Слова мусульманской молитвы; Вольтер заменяет здесь имя мусульманского пророка именем Екатерины.





ВОЛЬТЕР—ГРАФУ И. И. ШУВАЛОВУ

Писано в Делис, близ Женевы 7 августа 1757 г.

Не получив еще записей, коими вы, ваше сиятельство, изволили обнадежить меня, я хочу убедить вас хотя бы своим усердием, что стараюсь не остаться недостойным вашего внимания. Имею честь послать вам восемь глав «Истории Петра I», что является беглым наброском, сделанным мною по рукописным воспоминаниям генерала Лефорта, по «Дипломатическим сношениям Китая», по сочинениям Страленберга* и Перри*. Я не воспользовался «Жизнью Петра Великого», ошибочно приписанной мнимому боярину Нестесуранову и компилированной неким Руссе* в Голландии. Это просто собрание сплетен и плохо выправленных ошибок; впрочем, проходимец, пишущий под вымышленным именем, не заслуживает никакого доверия. Я хотел бы знать прежде всего, одобрите ли вы мой замысел и заметите ли мои старания сочетать историческую точность с чувством меры.

Я не считаю, сударь, что надобно всегда расиространяться подробно о войнах, если подробности не служат для характеристики чего-либо великого и полезного.

Анекдоты из личной жизни, думается мне, заслуживают внимания лишь постольку, поскольку они знакомят нас с нравами общества. Позволительно затронуть некоторые слабости великого человека, тем паче, если он избавился от них. Например, несдержанность царя по отношению к генералу Лефорту может быть упомянута, ибо раскаяние его должно явиться назидательным примером; однако если вы сочтете, что анекдот этот лучше изъять, то я легко им пожертвую. Знайте, сударь, что моя основная задача — рассказать о благе, содеянном Петром I для своей родины, и описать его славные начинания, которым следует его августейшая наследница.

Лыщу себя надеждой, что вы соблаговолите известить ее величество о моем усердии и о том, что я продолжу свой труд с ее соизволения. Я отлично знаю, что пройдет некоторое время, пока я получу от вас записи, любезно предназначенные для меня. Чем нетерпеливее я буду ждать, тем будет приятнее получить их. Будьте уверсны, сударь, что я ничем не пренебрегу, дабы воздать должное вашей империи. Я буду руководствоваться одновременно приверженностью к истории и желанием быть угодным вам. Вы могли бы избрать лучшего историка, но не могли бы довериться более усердному. Ежели этот памятник окажется достойным потомков, то он будет всецело обязан вашей славе и, осмелюсь сказать, славе ее императорского величества, будучи составлен по ее предначертаниям. Имею честь и т. д.

Р. С. Г-н Венцлов* сказал мне, что вы, ваше сиятельство, намеревались отправить четырех русских юношей учиться в Швейцарию. Жизнь в Лозанне значительно дешевле, чем в Женеве, но я возьмусь устроить их в Женеве со всем усердием и со всем вниманием, которых заслуживают ваши распоряжения.

Nota. Мне кажется существенным не озаглавливать этот труд «Жизнь» либо «История Петра I», — такое название принуждает историка ничего не обходить, обязывает его высказывать отвратительные истины, а ежели он их скроет, это не принесет чести ни ему, ни тем, кто поручил ему исторический труд. Итак, лучше всего остановиться на следующем заглавии и содержании: «Россия при Петре I». Указав на этот замысел, мы можем устранить все рассказы о личной жизни царя, могущие уменьшить его славу, и допустим лишь то, что связано с вели-

кими деяниями, которые он начал и которые продолжили после него. Слабости либо вспыльчивость его характера не имеют ничего общего с высоким предметом нашего труда, который будет равно содействовать славе Петра Великого, славе императрицы, его наследницы, и славе нации. Таков замысел работы, которая будет написана с одобрения ее величества.

Писано в Делис, близ Женевы 20 апреля 1758 г.

Сударь, утешаю себя надеждой, что указания, которые вы, ваша светлость, изъявили желание прислать мне, от промедления только станут обширнее и подробнее. Деяния Петра Великого становятся день ото дня все более достойными внимания потомков. Все, что было создано им, совершенствуется под владычеством его августейшей наследницы, императрицы, желаю ей жизни более долгой, чем была жизнь ее великого предка. Я уповаю, что те, кому поручено вашей светлостью составление мемуаров, не забудут славных кампаний против турок, против шведов и тех кампаний, которые ваша достославная нация ведет ныне. Чем больше будут знать о вашей державе, тем больше будут ее почитать. В мире нет другой нации, которая стала бы столь выдающейся во всех областях в столь краткий срок. Вам понадобилось каких-нибудь полвека, чтобы объять все полезные и приятные науки. Именно это удивительное чудо я и хотел бы описать. Я буду просто вашим секретарем в этом великом и благородном начинании. Не сомневаюсь, что ваша приверженность к императрице и к вашей отчизне заставила вас собрать все, что только может способствовать славе как той, так и другой. Земледелие, мануфактуры, мореходство, всевозможные открытия, государственное устройство, военные уставы, законы, нравы, науки, искусства — все входит в ваш замысел. Ни один цветок не должен выпасть из этого венка. Я посвящаю остаток моих дней ревностной работе над этим бесценным памятником. Преисполнен уверенности, что документы, которые вы соблаговолите предоставить мне, будут достойны приславшего их и отразят величие и всеобъемлющую широту его патриотических взглядов.

Сударь, по дороге в Страсбург я получил с курьером из Вены пакет, которым вы почтили меня. Я прочел все ваши замечания и указания и утвердился во мнении, что вы, более чем кто-либо в мире, способны написать историю великого Петра. Я всего лишь секретарь ваш, к чему я и стремился.

Трудность нашей работы заключается в том, чтобы сделать ее интересной для всех наций. Все зачитываются историей Александра, но почему история Чингизхана, великого завоевателя, находит столь мало читателей?

Я всегда считал, что история требует такого же мастерства, как трагедия: требует экспозиции, завязки, развязки; необходимо так расположить все фигуры на историческом полотне, чтобы они оттеняли главное действующее лицо, но отнюдь не выказывать нарочитого стремления выдвинуть его. Основываясь на этом правиле, я и буду писать, а вас прошу диктовать мне.

Ежели бы не мое слабое здоровье и не нынешние обстоятельства, я бы предпринял путешествие в Петербург, я бы работал у вас на глазах и сделал бы в три месяца то, что вряд ли осилю за год вдали от вас; но труды, которые вы пожелали взять на себя, заменят мне путешествие.

Я имел честь отправить вам лишь первый и беглый набросок к той огромной картине, композицию которой вы мне подскажите.

Вижу по вашим записям, что барон Страленберг, который дал нам более полное представление о России, чем другие чужеземцы, тем не менее ошибся во многом. Вы обнаружили также ряд промахов, допущенных самим генералом Лефортом, от семейства которого я получил рукописные мемуары. Особенно же вы ставите под сомнение чрезвычайно ценную рукопись, которой я располагаю уже много лет, — она принадлежит перу посланника, долго состоявшего при дворе Петра Великого.

Многое, о чем он рассказывает, я вынужден опустить, ибо все это не способствует славе монарха, да, к счастью,

и не нужно для великой цели, которую мы ставим перед собой.

Цель эта — запечатлеть то, что создано было в науках, нравах, законах, военных уставах, торговле, промыслах, во всем государственном устройстве и тому подобное, а не разглашать проявления слабости либо жестокосердия, даже если они и вполне достоверны. Было бы малодушием от них отречься, но разумнее умолчать о них, ибо долг мой, как мне представляется, подражать Титу Ливию, который рассуждает о великих делах, а не Светонию, который только и знает, что рассказывает о личной жизни.

Прибавлю, что существуют установившиеся мнения, с которыми трудно бороться. Например, Карл XII действительно обладал личными достоинствами, редкими у государей. Но эти качества, которые заслуживали бы изумления в гренадере, были, возможно, недостатком у короля.

Маршал Шверен и другие генералы, служившие при Карле XII, рассказывали мне, что он, подготовив в общих чертах план сражения, предоставлял им развивать все детали, говоря: «Действуйте, да поскорее. Довольно заниматься пустяками». И он отправлялся в бой первым, во главе своих телохранителей, упиваясь резней и смертоубийством, а после сражения появлялся как ни в чем не бывало, словно встал из-за трапезы.

Вот, сударь, кого люди всех времен и всех стран называют героями; чернь всех времен и всех стран воплощает в этом наименовании жажду бойни. Король-солдат называется героем, но человек истинно великий — это монарх, достоинства которого более добропорядочны, чем ослепительны, — монарх-законодатель, созидатель и воин; а великий человек возносится над героем. Я полагаю, что вы будете довольны, увидев, как я устанавливаю это различие. Теперь позвольте мне представить вашему просвещенному суждению замечания более важные. Олеарий *, а после него граф Карлейль* — посланник в Москве — считали Россию страной, где почти все еще должно быть создано вновь. Свидетельства их основательны, и ежели бы им возразили, что Россия с той поры приобрела новые жизненные блага, этим несколько не умалили бы славы Петра I, которому Россия обязана появлением почти всех наук и искусств, — иначе ему нечего было бы и создавать.

Быть может, несколько вельмож во времена графа Карлейля и жили в великолепии, но речь идет о всей нации, а не об избранных боярах. Надобно, чтобы изобилие было всеобщим и чтобы жизненные удобства были достоянием всех сословий, — без этого нация не может развиваться, а общество не дойдет до высшей ступени совершенства.

Не столь важно, носили или нет поверх сутаны епанчу; однако из чистого любопытства я все же хотел бы знать, почему у Олеария на всех эстампах парадным одеянием является одетая поверх сутаны широкая епанча, скрепленная на груди аграфом. Эта старинная одежда кажется мне весьма благородной.

Что касается слова «царь», то я хотел бы знать, в каком году была написана славянская библия, где говорится о царе Давиде, и о царе Соломоне. Я склонен думать, что tsar или thsar происходит от zha, а не от «цезарь», но все это не столь существенно.

Важнейшая цель — создать точное и внушительное представление о всех учреждениях, основанных Петром I, и о тех препятствиях, которые он преодолел, — ибо никогда не бывает больших дел без больших трудностей.

Признаюсь, что я не вижу в войне Петра I с Карлом XII иных побудительных причин, кроме удобного расположения театра военных действий, и я не постигаю, почему он пожелал атаковать Швецию у Балтийского моря, ведь его первоначальным намерением было укрепиться на Черном море. В истории часто встречаются трудно разрешимые загадки.

Буду ждать, сударь, новых указаний, коими вы соблагovolите почтить меня, о кампаниях Петра Великого, о мире со Швецией, о суде над его сыном, о смерти царя, о мерах, направленных на поддержание его великих начинаний, и обо всем том, что может способствовать славе вашей империи. Правление царствующей императрицы кажется мне наиболее достохвальным, ибо это самое гуманное из всех правительств.

Огромным преимуществом в истории России является то, что в ней мы не встречаем распрей с папами. Эти злочастные дрязги, которые унизили Запад, были неизвестны русским.

Писано в замке Турней 18 сентября 1759 г.

Я получил панегирик Петру Великому *, который вы, ваше сиятельство, были столь добры прислать мне. Вполне справедливо, что член вашей Академии расточает похвалы своему императору. По той же причине люди восхваляют Господа, ибо надлежит восхвалять того, кто создал нас. Конечно, в панегирике этом немало от красноречия. Я предвижу, что ваша нация скоро будет отличаться в литературе так же, как она отличается на полях сражений, и именно вам, ваше сиятельство, она будет обязана этим. Я же вам обязан получением записей куда более поучительных, нежели панегирик, который может служить разве только для того, чтобы оттенить замысел автора. Само заглавие призывает читателя быть настороже: ведь только историческим истинам можно верить и восхищаться ими. Самым прекрасным панегириком Петру I являются его дневники, — по ним мы видим, как он взращивал мирные науки в разгаре войны; он объезжал свои провинции как законодатель, защищая их как герой от Карла XII. Я все время жду от вас новых данных; усердие мое, которое вы поддерживаете, не ослабевает, и я надеюсь, что для описания событий, следовавших за Полтавской битвой, я буду располагать сведениями, не менее ценными, чем те, которыми я воспользовался в предшествующих главах. Величайшим моим утешением является мысль, что я завершу этим трудом мой жизненный путь. Старость и немощность напоминают мне, что времени у меня осталось немного, но не это главная причина моей поспешности, — я горю желанием, сударь, оправдать по мере сил доверие, которое вы соблаговолили оказать мне, и быть полезным вам, следуя вашим наставлениям.

Итак, настал славный час для вашей августейшей императрицы и для всей России.

Писано в Фернее 25 октября 1760 г.

Честь имею уведомить, что я получил через посредство г. Кайзерлинга письмо ваше от 11 сентября (нового стиля) и заметки о торговле и военных кампаниях в

Персии. Впервые слышу о господине Пушкине и о пакете, который он должен был доставить мне от вашего сиятельства. Я думаю, что он задержался в Вене на бракосочетании эрцгерцога*. Вы дали роскошный праздник в честь принца. Ваши войска в Берлине произвели более сильное впечатление, нежели все оперы Метастазии*. Сударь, я безутешен, что не мог оказать должного внимания вашему племяннику: посудите сами, с каким восторгом я бы принял человека, носящего вашу фамилию и достойного этой фамилии. Я часто вижу с господином Салтыковым*. Уверяю вас, что он все более и более заслуживает вашего благоволения.

Трудно работать вдали от вас. Я так и не знаю, дошла ли до вашего сиятельства посылка, отправленная год тому назад по адресу г. Кайзерлинга в Вену. Я не знаю, получили ли вы и другую посылку, отправленную через Гамбург. Последняя не так терзает мое сердце, в ней была всего лишь лекарственная водка, наподобие барбадосской водки, которую я имел смелость презентовать вам.

Вы чувствуете, сударь, что я не могу возвести второе крыло здания, не располагая нужными материалами: вы начали, вы и завершайте. Первый том нашел всеобщее признание, книжная лавка сбыла уже пять тысяч экземпляров; Петру Великому и вам, видно, предназначено творить добро: вы обогатите книгопродавцев; но могу ли я продолжать свой труд, ежели у меня нет ни точных данных о дипломатических переговорах этого великого мужа, ни продолжения его дневника. Добавлю, что я нуждаюсь в некоторых разъяснениях относительно царевича... Я в вашем распоряжении и ручаюсь, что не заставлю вас ждать себя, но помогите мне. Не вынуждайте меня следовать пресловутому Нестесуранову и ему подобным недобросовестным историкам. Оставлять столь благородное начинание не в вашем характере; я убежден, что оно будет угодным достойной наследницы Петра Великого. Располагайте вашим секретарем, вашим верным и горячим последователем, тем, кто всю жизнь свою останется почитателем вашим и т. д.

У меня хватило самонадеянности отправить г-ну Салтыкову портрет упомянутого секретаря вашего.

7 ноября 1760 г.

Сударь, за два месяца вышли три издания первого тома «Истории». Враги вашей империи не очень-то довольны. Они досадуют, что им показали ваше величие и, особенно, ваши достоинства. Однакож и друзья и недруги настоятельно требуют второго тома, и мне остается лишь повторить, что у меня нет материалов, дабы воздвигнуть второе крыло вашего здания. Невозможно продолжать работу, не имея точных сведений ни о том, что Петр Великий сделал в своем государстве, ни о его сношениях с другими государствами — переговорах с Герцог* и кардиналом Альберони*, с Польшей, с Оттоманской Портой и т. д. Было бы также совершенно необходимо получить некоторые разъяснения о гибели царевича. Скажу мимоходом, что действительно существует женщина, которую в иных провинциях Европы почитают за вдову царевича; ее историю я уже имел честь описать вам. Повидимому, она недостойна стать в один ряд с Лжедмитрием.

Возвращаюсь, сударь, к двум причинам моего огорчения. Вот они: я не знаю, получили ли вы мои посылки, и сам не получаю от вас никаких указаний.

Повторяю, я ничего не слышал о дворянине, живущем в Вене, через которого вы благоволили передать несколько пакетов. Не могу закончить письмо, не сказав вам, сколь много чести принесла вашей нации капитуляция Берлина. Говорят, вы показали пример строжайшей дисциплины, и не было ни грабежей, ни убийств. Некогда народ Петра Великого нуждался в образцах, теперь он служит образцом другим народам.

Прощайте же, сударь, располагайте своим секретарем и примите искреннее душевное уважение.

В. [ольтер]

ГОСПОДИНУ ШУВАЛОВУ¹

Образованные народы давно считали трагедию одним из прекраснейших искусств. Грекам ранней поры нужны

¹ Данное письмо является посвящением Ив. Ив. Шувалову трагедии Вольтера «Олимпия» и датировано второй половиной 1761 года. Перепечатывается из сборника «Литературное наследство», № 29—30, 1937 г.

были игры — как бег, борьба, метание диска, — то были времена, когда люди выше всего ставили телесную силу. Вместе с духовным развитием явилась потребность и в искусствах порядка духовного.

Это можно было наблюдать у всех народов; ныне это в удивительной степени проявлено вашим народом. Не было другой нации, которая так скоро научилась бы совмещать просвещение с суровым и тяжким ремеслом войны.

Не прошло и шестидесяти лет с той поры, как положено было начало столице вашей империи — Петербургу, а у вас уже давно существуют там научные учреждения и великолепные театры, а наряду с этим воины ваши снискивают себе славу на берегах Одера и Эльбы.

Упомянуть ли в числе этих неожиданностей и чудес о вашем умении говорить на нашем языке так же правильно, как говорим мы в Париже, и судить о написанном нами с не меньшим, чем мы, вкусом, но с большим беспристрастием?

В этом убеждаете меня вы, милостивый государь, за те два года, что я имею честь переписываться с вами. Вы не ограничились тем, что, пребывая при дворе, развивали свой вкус и обогащали ум лучшими познаниями: вы озаботились распространением любви к науке, и созданное вами в Москве ученое учреждение обязано вам не только как основателю своему, но и как насадителю просвещения.

Изданию творений нашего великого Корнеля впервые было оказано покровительство вашей августейшей императрицей. В эпоху Корнеля на его долю не могло выпасть такой чести. Этой честью потомство его обязано вам: под шестидесятым градусом широты нашли себе ныне покровителей «Сид» и «Цинна». Как бы ни нарушали покой постоянные войны, литературная Европа все же остается обширной академией, члены которой — от далекого Финского залива до того города, где расцвело творчество Цицеронов, Горациев и Вергилиев, — поддерживают между собою общение.

Желая укрепить своим примером благое дело этого общения, а также засвидетельствовать вам чувства уважения и дружбы, я имею честь посвятить вам прилагаемую здесь новую трагедию, одновременно делясь с вами некоторыми соображениями об этом роде искусства, теперь столь распространенном, но предъявляющем и столь большие требования.

Пока язык еще не выработан, пока окончания слов еще не приведены к благозвучию и приятное чередование сочетаний гласных и согласных звуков, а также кратких и долгих слогов не смягчило грубости речи, все попытки создать литературу, во всех ее родах, долго оказываются и трудными и тщетными.

Первые свои опыты на этом поприще мы стали делать больше двухсот лет тому назад. Но лишь около ста тридцати лет назад образовался у нас язык, достойный той чести, которую вы ему оказываете, так хорошо им владея. Начали мы с театра. В этом искусстве мы преуспели больше, нежели во всех остальных.

Начали мы при наших королях Франциске I и Генрихе II, в XIV веке, с подражания грекам. Мы им подражали очень плохо, а так как наши нравы совершенно не походили на их нравы, то и театр наш вскоре оказался нисколько не похожим на греческий.

Трагедия должна в совершенстве передавать великие события, страсти и их последствия. Изображаемые в трагедии люди должны говорить так, как люди говорят в действительности, а поэтический язык, возвышая душу и пленяя слух, ни в коем случае не должен приводить к ущербу естественности и правдивости. Из этого закона вытекают все остальные. Умение волновать мыслящие и тонкие умы — вот, несомненно, наиболее трудно выполнимое из правил трагедийного искусства.

Самый посредственный талант сумеет соблюсти закон трех единств, который безусловно необходим, без которого всякая пьеса остается неправильно построенной. Гораздо труднее никогда не оставлять сцену пустой и осмысленно выпускать на нее или уводить действующие лица. Но овладеть этим приемом, как он ни обязателен, еще не значит добиться полного успеха у зрителя: этим приемом в пьесе только устраняется известная часть ее недостатков. Только варвару позволительно не знать только что указанных правил. Тот же, кто, зная их, пренебрегает ими, — как бы заявляет своим соотечественникам: «Я не считаю вас достойными правильно созданной пьесы; довольствуйтесь сапожниками и башмачниками — рядом с Юлием Цезарем и Брутом, или могильщиками — рядом с Гамлетом!» Лопе де Вега говорил: «Когда я собираюсь писать для своего народа, я прячу под замок Аристотеля, Софокла и Теренция...»

Мы долго блуждали по этим диким пустыням. А когда решились вернуться в Афины, все же оказались лишь в Париже.

При всех наших недостатках, — а они весьма значительны, — мы тем не менее единственный народ, чьи драматические произведения до сих пор переводятся и исполняются; а объясняется это тем, что в каждой удачной нашей пьесе можно найти несколько вполне естественных сцен, что естественность вообще всюду в них чувствуется. Главная же причина, — что они написаны с умом, с благородным изяществом и т. д. Лишь такие произведения переводятся на все языки, доказательством чему может служить «Поселянин» Аддисона, хорошо написанный от первой до последней строки, и т. п.

Среди четырех-пяти тысяч наших трагедий едва ли найдется восемь, самое большее — десять таких, где действующие лица всегда говорят — и хорошо говорят — то самое, что сказать нужно. Вот такие-то пьесы, да те, что хотя бы отдаленно приближаются к ним, и создали французскому театру его славу. Уже мнилось, что театр наш успел достигнуть полного совершенства и далеко позади оставил театры Рима и Афин, когда обратили на себя внимание два неизменно присущих ему крупных порока, которым в конце концов суждено было сделать его томи-тельно скучным.

Первый из этих пороков — отсутствие действия. Все сводилось к длинным разговорам, без сильно действующих театральных эффектов, без соответствующей обстановки, без тех порывов чувства, которые так потрясают душу, без величавых сцен, пленяющих и очи и ум. Источником этого порока были остатки варварства. Театр у нас отнюдь не являлся основной заботой высшей власти, как то было в Афинах и в Риме: он был предоставлен в распоряжение актеров, которым приходилось длинный и узкий зал, предназначенный для игры в мяч, превращать в театр для Александров, Цезарей и Августов. Играли на пространстве десяти квадратных футов, и когда Цезарь, в шляпе и четырехугольном парике, появлялся среди толпы в 200 человек французов (тоже в париках), им трудно было немного потесниться, чтобы дать ему дорогу.

Второй порок, отчасти вызванный первым, состоит в том расхолаживании, к которому приводит заполнение целых пяти актов одними разговорами, при отсутствии обстановки... В этом есть, пожалуй, своего рода утончен-

ность, но однообразная, не пробуждающая внимания и лишенная теплоты: это трогало сердца, но не волновало их, не восторгало, не раздирало. Трагедия вызывала ощущение прекрасного, но не потрясала.

Сент-Эвремон* первый сказал, что Цезарь, заявляющий о себе у Шекспира, будто он подобен полярной звезде, которая одна неподвижна среди бегущих вокруг нее звезд — это образец смешного; что римские башмачники рядом с Брутом — это низкое; убийство Цезаря на сцене — варварство. Но вот скучного во всем этом нет. А хуже всего этого бывает что-нибудь? Бывает: длительные разговоры, холодные и томительные.

Но это более чем верное соображение Сент-Эвремона не вызвало достаточного к себе внимания. Так отнеслись бы во времена Люлли к тому, кто отважился бы назвать его музыку монотонной и слабой.

Медленно совершенствуются умы. Почти целый век прошел, пока заметили существование той скрытой язвы, которую сумел разглядеть Сент-Эвремон. И лишь тогда, когда Париж дождался до театрального зала, уже не такого жалкого и старомодного, как тот, в котором играли в течение столь долгих лет; когда сцена освободилась от обезображивавшей ее толпы зрителей, — тогда только, сами тому дивясь, мы, наконец, поняли, чего нам не доставало. Мы долго созерцали отцов, которые спокойно, не проронив ни единого слова, выслушивали повествования о смерти сына; мы внимали длительным беседам о политике. Но в конце концов все же сообразили, что у нас были прекрасные отрывки трагедий, а настоящих трагедий почти не было.

Мне вспоминается одна сцена из некогда виденной мною в Лондоне пьесы, почти совсем неправильной по своему построению, почти во всех отношениях дикой. Сцена происходила между Брутом и Кассием. Они ссорились, и — я готов это признать — довольно непристойно; они говорили друг другу такие вещи, которых у нас порядочным и хорошо воспитанным людям выслушивать не приходится. Но все это было так полно естественности, правды и силы, что очень меня растрогало. Никогда не тронут нас так те холодные политические диспуты, которыми наш театр некогда приводил зрителей в восторг. Читателю они еще могут доставить удовольствие, но зрителя оставляют совершенно равнодушным.

Трагедия — это движущаяся живопись, это одушев-

ленная картина, и изображаемые в ней люди должны действовать. Сердце человеческое жаждет волнений: хочется видеть, как мать, с распущенными волосами, со смертельным ужасом во взоре, готовая разрыдаться, устремляется к настигнутому бедой сыну; притягивает к себе проявление силы, занесенные над кем-либо кинжалы, ошеломляющие перемены, роковые страсти, преступления и угрызения совести, за ними следующие, смена отчаяния — радостью, высоких взлетов — стремительным падением.

Такова истинная трагедия, и ее образцом может служить пятый акт «Родогюны»*. Будем надеяться, что недалекое будущее даст нам гения, который, осуществляя эти идеи, сумеет облечь их всей прелестью истинной поэзии, нисколько не нарушая при этом ни законов языка, ни законов сцены. Даже если бы этот род искусства не оказался высшим его родом, — все же надо признать его необходимость. То, в чем нет ничего, кроме изящества или политики, порождает скуку. Возвышенное сверкает, подобно молнии среди ночного мрака, и поражает нашу душу, не вызывая тягостного настроения.

Этот новый вид драмы создаст и настоящих актеров, тогда как до сих пор мы имели только декламаторов. Нужны не безжизненные фигуры, а микельанджеловские, одаренные при этом голосом и способностью двигаться. Часто голос должен греметь, глаза — метать молнии; в иных случаях нужно, чтобы глаза источали слезы, а голос замирал, прерываясь от рыданий... Отдельные черты набрасываемой здесь общей картины мне приходилось наблюдать. Но вообще говоря, актеры в своем искусстве еще дальше от совершенства, нежели авторы трагедий.

Пусть даже окажется, что этого рода трагедия не привлекательнее других и не наиболее потрясающая. К ней все же следует обратиться, ибо искусство, как и наслаждение, всегда требует разнообразия.

Если бы трагедии ставились лишь в дни тех или иных торжеств, у нас оказалось бы их достаточно; но в таком городе, как Париж, приходится их ставить ежедневно, и здесь поражать умы можно лишь новшествами. Возможно, что именно эти новшества приведут когда-нибудь к порче как театра, так и литературы: необычайности и чрезмерности вытеснят в них простоту, декоратор заслонит автора; а взамен трагедий нам будут поставлять достопримечательности и диковинки.

Не каждый народ наделен вкусом. Как никогда не были свойственны народам Азии живопись и многоголосная музыка, красота в скульптуре и правильность в архитектуре, так всегда были им чужды и красноречие и поэзия; у них есть басни Локмара и Эзопа, но нет ни Зевкиса, ни Демосфена, ни Софокла...

Существуют и такие нации, у которых бывали великие философы, но никогда не было ни Мольеров, ни Расинов. Им дана была сила, но в изяществе и вкусе было отказано. И нет у них и сейчас ни таких живописцев, ни трагиков и комиков, которые пользовались бы признанием цивилизованных наций.

Причина этого лежит в самом народе, в некоторой грубоватости, всегда ему свойственной в странах с северным климатом, где, обладая достаточной зажиточностью и досугом, чтобы искать зрелищ, народ слишком мало наделен чуткостью, чтобы в них разбираться.

Вот почему люди с развитым вкусом, принадлежащие к такой нации, покупают итальянские картины, прибегают к итальянской музыке и читают наших авторов.

Только с течением времени изменяются вкусы народа. Вы не знакомы с французской сценой; да и у нас самих едва начинают с ней считаться. Долгое время у нас ограничивались тем, что декламировали стихи, произнося длинные диалоги и не менее длинные монологи. Вначале стихи декламировали напыщенно, потом стали читать их так, как читают повести.

Но настало время, когда чувства научились передавать словом, жестом, всеми движениями тела и даже—просто молчанием. А это и значит настоящим образом исполнять трагедию. Каждый акт должен давать картину, трогательную или потрясающую; актерам нужно принимать такие позы, чтобы ничья кисть не могла с ними соперничать...¹

¹ В оригинале на полях против последних строк: «Лишь у одного Расина находим мы сценические эффекты, единственным источником которых является чувство, и он пользуется ими с тем мастерством, к которому никто не сумел даже приблизиться. «Родогюна», акт пятый, и четыре последние... единственные истинно драматические представления. И еще «Аталия», если бы это чудо с исчезновением армии и т. д.»



ПРИМЕЧАНИЯ





КАНДИД

К а н д и д — от французского слова *candide*, что значит «простодушный», «чистый сердцем».

П а н г л о с с, или «всезнающий», — имя, образованное из греческих слов: «пан» — все и «глосса» — слово.

Б о л г а р с к и м к о р о л е м Вольтер называет здесь прусского короля Фридриха II (1712—1786), а «болгарами» — пруссаков.

А в а р ы — кочевое племя, вторгшееся в Европу из Азии в VI веке. Здесь Вольтер аvaraми называет французов, выступавших против Пруссии во время Семилетней войны (1757—1763); т. е. в тот период, когда создавался «Кандид».

Этот оратор — т. е. протестантский священник, проповедующий против римской церкви.

...Получил ее по прямой линии от одного из сотоварищей Христофора Колумба. — Появление сифилиса в Европе связывали с открытием Америки Колумбом.

...Земля дрожит у них под ногами. — Здесь дано описание знаменитого лиссабонского землетрясения, происшедшего 1 ноября 1755 года.

Б а т а в и я — древнее название Голландии.

...Я четыре раза топтал распятие в четырех японских деревнях. — Голландские моряки и

купцы, проникавшие в Японию, куда был закрыт доступ европейцам до середины XIX в., бывали вынуждены публично отречься от христианства.

Санбенито и митра — плащ и головной убор, которые надевались на осужденных инквизицией.

Служители святой Германдады — испанская жандармерия, охранявшая дороги от разбоя.

Отцы-иезуиты в Парагвае. — В XVII в. на территории Парагвая (бывшего тогда колонией Испании) иезуиты основали свое государство, состоявшее из ряда небольших областей, подчиненных высшему представителю иезуитского ордена — отцу-провинциалу. Государство иезуитов, жестоко эксплуатировавшее местное индейское население, просуществовало до середины XVIII в.

Папа Урбан десятый. — Папы с таким именем не существовало. Папа Урбан VIII и последний умер в 1644 г.

Масса-Каррара — итальянское герцогство, существовавшее в XVIII в.

Мулей-Измаил — султан в Марокко, правивший с 1672 по 1727 г.

Иные из них даже государствами правят... — Имеется в виду кастрированный итальянский невец Фаринелли (1705—1782), бывший фаворитом испанских королей Филиппа V и Филиппа VI.

Азов — турецкая крепость и порт; был завоеван русскими при Петре I в 1696 г., а потом возвращен туркам в 1711 г. Окончательное завоевание Азова Россией произошло при Екатерине II.

О Робекке — шведе, покончившем самоубийством в 1739 г., пишет Руссо в «Новой Элоизе».

«Вестник Треву» — орган французских иезуитов.

Рэлей (1552—1618) — английский мореплаватель и политический деятель. В 1595 г. во главе экспедиции отправился на розыски Эльдорадо и сообщил затем королеве Елизавете о якобы виденных им чудесах.

Социнианство — секта, возникшая в XVI в., названная так по имени ее вождя, итальянца Социни.

Манихеи — последователи религии, возникшей в Персии в III в. христианской эры, основанной на утверждении, что в мире борются два резко противоположные начала — добро и зло.

Конвульсионеры — см. ниже прим. к слову «янсенисты».

Большая книга — т. е. библия.

Действие происходит в Аравии. — Речь идет о трагедии Вольтера «Магомет».

Этот человек не верит во врожденные идеи — т. е. Вольтер, который был последователем Локка, отрицавшего существование у человека врожденных идей и указывавшего, что знание проистекает из опыта.

...Играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии — «Графе Эссексе» Тома Корнеля, посредственного французского драматурга, брата великого Пьера Корнеля (1606—1684).

Когда они умирают, их везут на свалку... Католическая церковь еще в XVIII в. отказывала в погребении по христианскому обряду актерам, если они не успевали перед смертью покаяться в своем «нечестивом» ремесле.

Г - ж а М о н и м — имеется в виду знаменитая французская трагическая актриса, друг Вольтера, Адриенна Лекуврер, которую после ее смерти парижское духовенство запретило хоронить.

Ф р е р о н — критик и публицист, враг Вольтера, постоянно преследовавший его своими нападками.

Г - ж а К л е р о н — псевдоним знаменитой трагической актрисы Лери де ля Тюд, с успехом выступавшей в трагедиях Вольтера.

Г - н Г о ш а — писатель-клерикал, пытавшийся полемизировать с энциклопедистами.

Я н с е н и с т ы — последователи распространившегося во Франции в XVII в. учения голландского богослова Янсения. Янсенизм представлял собой религиозно-моралистическое движение, направленное против иезуитов и связанной с ними придворной знати. Янсенизм был одной из форм складывавшейся буржуазной оппозиции дворянству. В 1705 и 1713 гг. папские буллы осудили янсенистов как еретиков, а центр янсенизма — монастырь Пор-Рояль — был разрушен.

В период преследования янсенистов возникла кликушеская секта конвульсионеров, члены которой впадали в религиозный экстаз, сопровождавшийся конвульсиями, и якобы творили чудеса.

М о л и н и с т ы — последователи испанского иезуита Молина, враждебные янсенистам.

Какой-то негодяй из Атребазии, наслушавшись глупостей, совершил отцеубийство. — Речь идет о покушении на Людовика XV в 1757 г., совершенное неким Дамьеном из области Артуа (Лат. Атребазия). Он ранил короля и за это был четвертован. Два другие покушения, о которых упоминает Вольтер, были произведены на короля Генриха IV

религиозным фанатиком Жаном Шателем (1594 г.) и Равальяком (1610 г.), чей удар, нанесенный королю, оказался смертельным.

Две нации ведут войну из-за куска земли под снегом в Канаде. В XVII и XVIII вв. Канада была предметом постоянных столкновений англичан и французских поселенцев. После Семилетней войны Канада в 1763 г. перешла к англичанам.

Адмирал — имеется в виду английский адмирал Бинг. Несмотря на участие Вольтера, пытавшегося спасти его, Бинг был расстрелян английскими властями в 1757 г. за то, что он проиграл сражение в битве с французами у острова Минорки.

Театинцы — нищенствующий монашеский орден, основанный в XVI в. и прокламировавший борьбу с испорченными нравами духовенства.

Пококуранте (*итал.*) — тот, кто не знает забот.

...Меня мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, мужицкая ссора неведомого Рупилия. — Речь идет о сатирах Горация (5 и 7-я сатиры I книги).

...Он защищал в суде Рабирия и Клуенция. — Речь Цицерона в защиту Клуенция считалась образцом судебного красноречия.

..Этот варвар пишет длинный комментарий к первой главе Бытия в десяти книгах тяжелых стихов. — Имеются в виду знаменитые поэмы Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

Ахмет III — турецкий султан, свергнутый с престола в 1730 г.

Иван — Иван VI Антонович, внучатный племянник русской императрицы Анны Иоанновны, возведенный на престол в младенчестве, через год, в 1740 г. был заточен в Шлиссельбургскую крепость, где в 1764 г. был заколот стражей при попытке поручика Мировича освободить его.

Карл-Эдуард — внук последнего короля из династии Стюартов, Иакова II. Попытка Карла-Эдуарда вернуть изгнанным из Англии Стюартам трон в 1746 г. кончилась неудачей.

...Я король польский — Август II, изгнанный из Польши в 1756 г.

...Я тоже король польский — Станислав I, Лещинский, свергнутый с трона Августом II в 1709 г.

...Провидение дало мне иное государство. — Удалившись во Францию, Станислав Лещинский, который был тестем короля Людовика XV, стал управлять Логарингией.

...Я Теодор — немецкий авантюрист, барон фон Нейгоф, в 1736 г. стал, под именем Теодора I, королем Корсики, откуда был скоро изгнан.

Пропонтида — древнегреческое название Мраморного моря.

Эглон, царь Моавитский и т. д. — имена царей библейских, античных, средневековых и современных.

ПРОСТОДУШНЫЙ

Отец Кенель — знаменитый янсенистский теолог, которому Вольтер из предосторожности приписывает свою повесть, автор «Моральных размышлений о Новом Завете» (1671), запрещенных папской буллой. Об янсенизме см. прим. к «Кандиду».

Св. Дунстан — архиепископ Кентерберийский (924—988), причисленный после смерти к лику святых.

Лорд Болингброк (1678—1751) — английский государственный деятель, с которым Вольтер находился в дружеских отношениях.

...По прибытии в Плимут, я встретил там одного из ваших изгнанников, которых вы.. называете «гугенотами». — С 1681 г., после частичной отмены Нантского эдикта, началась массовая эмиграция французских протестантов в Англию, и поэтому Простодушный имел возможность встретиться там с гугенотом.

Преподобный отец Сагар Теода — французский миссионер XVII в., обративший гурунов в христианство и оставивший ряд интересных наблюдений об их нравах в своем сочинении «Далекое путешествие в страну гурунов» (1632).

Царица Кандакия — династическое имя эфиопских цариц. Одна из них ввела христианство в Эфиопии. Она была крещена своим казначеем, евнухом Иудой, который был в свою очередь окрещен в ручье апостолом Филиппом.

Эврит, царь Эхалийский (*греч.*) — обещал свою дочь Иолу в жены тому, кто превзойдет его в состязании в стрельбе из лука. Геракл выполнил это требование, но Иолу ему Эврит все-таки не отдал. Впавший в бешенство, близкое к умопомешательству, Геракл разорил Эхалию, убил Эврита и увел с собой Иолу.

Мы покидаем наши милые поля, мы бежим из отечества... — цитата из Вергилия (Эклоги, I, стр. 3).

Ныне царствующий папа... — Иннокентий XI, враждовавший с Людовиком XIV.

Отец дела Шез — духовник Людовика XIV, был одним из ярых приверженцев отмены Нантского эдикта.

Луваа (1641—1691) — военный министр Людовика XIV.

Замок, построенный королем Карлом V, — французская политическая тюрьма Бастилия.

Пор-Рояль — монастырь, центр французских яansenистов, разрушенный в 1713 г. (подробнее см. прим. к «Кандиду»).

Арно и Николь — знаменитые яansenистские богословы, написавшие совместно труд «Логика Пор-Рояля».

«Поиски истины» — произведение французского философа Мальбранша, последователя Декарта.

Фезансак, Фесансаг и Астарак — смехотворные по своим крошечным размерам области в феодальной Южной Франции. Так, графство Фезансак имело семь миль в длину и пять миль в ширину.

Римляне говорили, что происходят от какого-то фригийца... — т. е. от Энея.

...против величайшего полководца того века. — Речь идет о знаменитом византийском полководце Велизарии, завоевавшем Рим. Велизарий впал в немилость и, заподозренный в государственной измене, был ослеплен по приказанию императора Юстиниана.

«Истина сияет своим собственным светом...» — Цитата из романа «Велизарий» французского писателя Мармонтеля, участника Энциклопедии и единомышленника Вольтера. Ученые богословы парижской Сорбонны обвинили Мармонтеля в ереси.

Лино столы — носящие одежду из льняной материи. Здесь имеются в виду сорбоннисты.

«Два голубя» — басня Лафонтена (1621—1659).

Архиепископ Арлэ (1670—1795) — обязанный своей печальной славой тому, что отказал Мольеру в погребении после смерти; был известен своими многочисленными любовными похождениями.

Тут-а-тус (от французского tout à tous) — буквально значит: всё для всех.

«Христианский педагог» — произведение иезуита Утремана. «Это великолепная книга для дураков», — писал Вольтер в «Философском словаре» (статья «Ад»).

Цитата из «Генриады» Вольтера, песнь VI, ст. 456—457.

Гордон рассказал вкратце историю яansenизма и молинизма. — См. прим. к «Кандиду».

Маршал де Марильяк — был казнен в 1632 г., при Людовике XIII, по проискам первого министра, кардинала Ришелье.

...На которые Катон ответил ударом кинжала. — Катон Младший (95—46 гг. до н. э.), римский народный трибун, глава республиканской партии, восставшей против Цезаря; покончил с собой после победы последнего.

МИКРОМЕГАС

Микромегас — имя, образованное из греческих слов «микро» — малый и «мегас» — великий.

...он постиг более пятидесяти теорем Эвклида. — Следовательно, восемнадцатью больше, чем Блез Паскаль... — Сестра знаменитого французского философа, физика и математика Блез Паскаля (1623—1662), написавшая его биографию, сообщает, что в двенадцать лет без посторонней помощи он постиг основные положения геометрии Эвклида.

Викарий Дергем — английский богослов XVIII в., автор «Теологической астрономии», в которой он пытался доказать существование бога путем описания чудес на земле.

...Завязал дружбу с секретарем сатурнской академии. — Вольтер иронизирует над секретарем Французской академии, писателем Фонтенелем (1657—1757), автором «Рассуждения о множественности миров», в котором астрономическая система Декарта излагается в форме светского разговора ученого и маркизы.

Отец Кастель (1688—1757) — французский математик и физик.

...Целый выводок философов возвращался из-за Полярного круга — имеется в виду экспедиция французских астрономов Клеро, Камюса, Лемонье, с геометром Мопертюи во главе, измерявших в 1736 г. земной меридиан в Лапландии.

Левенгук (1632—1723) — голландский естествоиспытатель, открывший существа микроскопически малой величины, делал наблюдения над жизнью сперматозоида в семенной жидкости.

Гартсекер (1656—1725) — голландский физик и биолог.

Он рассказал о пчелах... — IV книга поэмы Вергилия «Георгики» (или «О земледелии») посвящена пчеловодству.

С в а м м е р д а м (1637—1680) — голландский натуралист и выдающийся микроскопист, исследовавший анатомию насекомых.

Р е о м ю р (1683—1757) — французский физик, изобретатель термометра, носящего его имя, и энтомолог.

Ф и л о с о ф ы з а г о в о р и л и в с е н а п е р е б о й... — В последующем разговоре Микромегаса с философами Вольтер дает волю своей излюбленной манере опрощать и вышучивать философские теории, сводя их к одной хлесткой фразе, которой он придает вид цитаты. Здесь им охарактеризованы таким образом: учение Аристотеля о душе как о «первой энтелихии» организма; гипотеза Декарта о врожденных идеях; теория Мальбранша о «видении предметов в боге»; рассуждения Лейбница о предустановленной гармонии, классификация субстанций, предложенная Локком, и его мысль о происхождении познания из опыта.

З А И Р А

Б у й о н — Готфрид Бульонский (ок. 1060—1110) — один из руководителей первого крестового похода, основатель Иерусалимского королевства.

С а л а д и н (1137—1193) — султан Египта и Сирии, боровшийся с крестоносцами и отвоевавший у них Иерусалим (1187 г.).

К о г д а Ф и л и п п с м и р и л п о б е д у н а д Б у в и н о м. — Французский король Филипп II Август (1180—1223) в борьбе с Англией одержал решающую победу при Бувине (1214), разбив объединенную англо-германско-нидерландскую армию.

Л ю д о в и к — имеется в виду французский король Людовик IX Святой (1187—1226).

М е л е д е н — египетский султан XIII в.

М А Г О М Е Т

Святой руководитель Измаила — т. е. арабов. **Обманщик в Мекке, он пророк в Медине.** — Согласно некоторым не вполне достоверным сведениям, Магомет (вернее Махаммед или Мухаммед) — основатель религии ислама родился в Мекке, крупнейшем языческом центре арабов. Восстав против идолопоклонства, он вынужден был бежать в Медину. Собрав своих единомышленников, он пошел войной на Мекку и, покорив ее в 630 г., обратил ее жителей в ислам.

Перед тобой простой вожак верблюдов. — В детстве Магомет был пастухом, а в юности служил приказчиком у богатой вдовы, отправлявшей из Мекки караваны верблюдов с грузом.

С Фатьмой своей влачась по притонам. — Фатьма — дочь Магомета.

М Е М У А Р Ы

Г - ж а Д а с ь е (1651—1720) — жена французского филолога Андре Дасье, прекрасно сама владевшая древними языками.

К ё н и г (1712—1757) — немецкий математик.

М о п е р т ю и (1698—1759) — французский физик и геодезист (см. «Микромегас»); был одно время президентом Берлинской академии наук.

Б е р н у л л и (1667 — 1748) — профессор математики в Базеле.

Я н д е В и т т (1625—1672) — нидерландский политический деятель, глава республиканской партии, борющийся со сторонниками Оранского дома. Происками последних был убит.

В о л ь ф (1679—1745) — немецкий философ, последователь Лейбница.

...Как писали Башомон и де Шапель. — Башомон французский поэт, известный своими эпиграммами; Шапель — посредственный французский поэт-дилетант (XVII в.). Оба составили шутивное описание своего совместного путешествия по югу Франции, вызвавшее ряд подражаний.

Д е ф о н т е н , П ь е р - Ф р а н с у а Г ю й о (1685—1745) — журналист, критик и переводчик, автор направленных против Вольтера анонимных пасквилей; последний возбудил против Дефонтена уголовное преследование.

К а р д и н а л д е Ф л ё р и (1653—1743) — воспитатель Людовика XV, с 1726 г. первый министр Франции.

К е н е л ь — см. прим. к «Простодушному».

Л ю д о в и к Х II не мстил за обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому... — Людовик XII (1462—1515), сын герцога Орлеанского, до своего вступления на трон провел три года в заключении.

В ы б о р п а л н а д е в и ц у П у а с с о н... — Речь идет о маркизе де Помпадур (1721—1764), фаворитке Людовика XV.

К о р о л ь С т а н и с л а в ж и л т о г д а с о с в о и м м а л ь н ы м д в о р о м в Л ю н е в и л е . — См. прим. к «Кандиду».

Исповедные росписи. — Парижский архиепископ Бомон издал распоряжение, согласно которому умирающих разрешалось причащать только при условии, что будет предъявлена письменная справка о посещении ими исповеди.

Астольф и Альцина — персонажи поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». Волшебница Альцина, очаровав рыцаря Астольфа, превратила его в мирф.

...и зречение, достойное Дионисия Сиракузского. — По преданию, Дионисий Старший, тиран города Сиракуз (IV в. до н. э.), продал в рабство философа Платона, которого он перед этим пригласил к своему двору.

«Математическая глупость». — Предметом спора между Кёнигом и Мопертюи была открытая последним «теория наименьшего действия». Кёниг ее оспаривал и отрицал ее новизну. Фридрих II по просьбе Мопертюи взял с Вольтера обещание прекратить литературные нападки на президента Берлинской академии, ронявшие его научный авторитет. Вольтер отступил от этого обещания, напечатав новую сатиру на Мопертюи под заглавием «Диатриба доктора Акакия». По приказу Фридриха эта брошюра была сожжена рукой палача перед окнами дома, где жил Вольтер, что крайне встревожило последнего, так как подобные сожжения сопровождались зачастую заключением автора книги под стражу.

«Не подражай пустой болтливости Берниса». — Фридрих заимствовал этот стих из поэмы Буало «Поэтическое искусство», заменив именем Берниса безличное упоминание о поэтах, страдающих многословием.

Ветеравия — по-немецки Веттерац, один из районов Нижне-Рейнского округа бывшей Германской империи.

Пример герцога Кумберландского. — Английский главнокомандующий герцог Вильгельм-Август Кумберландский капитулировал в 1759 г. перед французами.

Плохонькая книжонка — анонимная книга под заглавием «Литературная война, или избранные произведения г-на де В.».

Гриффе, Анри (1698—1771) — иезуит, богослов и историк, видный участник борьбы иезуитов с парламентской магистратурой, высланный впоследствии из Франции. Вольтер ценил его как историка.

Теофиль — Теофиль де Вио (1590—1626), даровитый французский поэт, гугенот; по настоянию иезуитов, которые мстили ему за направленные против них стихи, был приговорен к смерти за вольнодумство, но спасен от казни друзьями.

Убогий доктор Сорбонны — аббат Клод-Ивон (1714—1791), богослов и философ, о котором Вольтер в других случаях отзывался положительно.

Бридуа — комический персонаж из романа Рабле, судья, считавший, что судебные дела лучше всего решать, кидая игральные кости.

Гарасс, Франсуа (1585—1631) — иезуит, видный литературный деятель начала XVII в.; по определению Вольтера — «самый опасный из всех иезуитов-фанатиков».

Указы о запрещении рвотных средств — такие указы были изданы парижским парламентом при Людовике XIII.

Португальский король. — Иосиф-Эммануил I (1715—1777). 4 сентября 1758 года несколько представителей высшей португальской знати совершили покушение на его жизнь. Вдохновителями заговора считали иезуитов, что повело к изгнанию их из Португалии.

Ода против Фридриха. — Автором ее был известный французский поэт Шарль Палиссо де Монтенуа (1730—1814), который жаловался впоследствии, что Вольтер передал его текст в искаженном виде.

Басня о горшке молока — известная басня Лафонтена.

Картуш, Луи-Доминик Бургиньон — атаман воровской шайки, колесованный в Париже в 1721 г.

ОБЕД У ГРАФА ДЕ БУЛЭНВИЛЬЕ

Лица, упоминаемые здесь, — реально существовавшие люди, но умершие задолго до написания Вольтером этого произведения.

Граф де Булэнвилье (1658—1722) — историк средневековой Франции.

Аббат Куэ — викарий парижского кардинала Ноайля в начале XVIII в.

Фрере (1688—1749) — известный ученый, историк, филолог, бывший с 1743 г. непременным секретарем Академии надписей.

Ракá (библейск.) — пустой человек, бездельник.

Арий — священник из Александрии (IV в.), положивший начало учению, отрицающему божественное происхождение Христа.

Генрих VIII (1491—1547) — женился на вдове своего старшего брата Артура, Екатерине Аррагонской, при содействии императора Карла V.

С в. Х р и с т о ф о р. — Речь идет о каменной статуе св. Христофора перед Собором Парижской богематери.

С и м о н Б а р - И о н а — другое имя апостола Петра.

К о р о л ь Д а г о б е р — франкский король, последний из династии Меровингов, правивший с 629 по 639 гг.

П р о р о к и С е в е н н — в 1702 г. в Севеннских горах французские протестанты восстали против правительства. Восстание было жестоко подавлено.

Н и к е й с к и й с о б о р — был созван в 325 г. в Никее римским императором Константином. На этом соборе было осуждено еретическое учение Ария и выработаны основы христианской ортодоксии.

Г а с с а н — сын Али и Фатмы, дочери Магомета, был калифом с 660 по 669 гг.

С е м ь С о е д и н е н н ы х П р о в и н ц и й — Голландия.

Г о с п о ж а Б р е н в и л ь е — казнена в 1676 г. за отравление отца, двух братьев и двух сестер.

МЫСЛИ О Б ОБЩЕСТВЕ

Вольтер дает комбинированную цитату из евангелия, заимствованную у трех евангелистов: Марка, X, 31; Иоанна, XVIII, 36; Матфея, XX, 28, причем текст Марка цитирует неточно. В подлиннике он таков: — «Многие же будут первые последними, а последние первыми».

«Мысли об обществе» были опубликованы Вольтером анонимно: за подписью «женевский гражданин». Таким образом, когда он в настоящем параграфе и в ряде других говорит: «мы», «у себя в городе», «наша республика», «наш епископ» и т. д., следует понимать: «женевские граждане», «в Женеве», «Женевская республика», «женевский епископ» и т. д.

Н а ш е п и с к о п — католический епископ Пьер де ла Бом, изгнанный из Женевы кальвинистами в 1534 г. Он же упоминается в параграфах IX и XLVIII.

М о н а х Г и л ь д е б р а н д — папа Григорий VII, известный своей борьбой с германским императором Генрихом IV (1013—1085). Он же упоминается в параграфе LI.

Католикам было запрещено селиться в Женеве, в связи с чем Вольтеру пришлось преодолеть некоторые затруднения, когда он покупал дом на берегу Женевского озера. (Подробности см. в его «Воспоминаниях».)

С м у т а м и Вольтер называет бурный конфликт, разыграв-

шийся в 1765—1766 гг. между женевским «блистательным советом», где представлена была одна только местная аристократия, и демократическими слоями женевского населения.

По вопросу о мельнице, завоеванной республикой Сан-Марино, Вольтер говорит в другом месте, что республика добровольно отказалась от этой мельницы, «из опасения, как бы не постигла ее участь Римской республики, и с тех пор живет спокойно и счастливо. Она достойна того, чтобы за ней была сохранена свобода. Великий урок дала она всем государствам». (Примечания к поэме «Гражданская война в Женеве».)

Вольтер имеет в виду следующие, не совсем верно пересказанные им слова Руссо: «Английский народ думает, что он свободен; он сильно ошибается: он свободен только, пока выбирает членов парламента; как только они выбраны, он — раб, он — ничто».

Цитируя Руссо, Вольтер приводит здесь только самый конец очень длинного периода, смысл которого остается в силу этого неясным.

Книга Руссо «Общественный договор» была сожжена в Женеве по постановлению Женевского совета от 19 июня 1762 г.

Под «посредниками» и «третейскими судьями» Вольтер разумеет французского дипломата де Бюиссон де Ботевиля, который в 1766 г. был послан французским правительством в Женеву, чтобы уладить возникший там конфликт, принимавший характер гражданской войны.

Папские декреталии — послания первых пап по общим богословским вопросам; в VIII—X вв. появился ряд апокрифических декреталий, стремившихся повысить значение папской власти, духовной и светской.

Рыбачий перстень — носили папы, считавшие себя преемниками апостола Петра, галилейского рыбака.

Королевская скамья — высший суд в Англии, которому подведомственны были гражданские дела, связанные с интересами казны.

Казначейство — высший суд, действовавший в средние века в Нормандии.

РАБСТВО

Протонотариий — сановник римской курии, ведающий записью актов папской власти.

Лузиньянский барон — Гвидо, король Иерусалимский, а затем Кипрский, взятый в плен в 1187 г. египетским и сирийским султаном Саладином в битве при Тивериаде, после чего Иерусалимское королевство прекратило свое существование.

Мертворучники — крепостные крестьяне в дореволюционной Франции, не имевшие права отчуждать ни недвижимое, ни движимое свое имущество. Если такой крестьянин умирал, не уплатив оброка, у трупа отсекали руку и приносили ее сеньору; отсюда и термин «мертворучники». В данном случае Вольтер говорит о жителях округа Же, закрепощенных монастырем св. Клавдия. В этом округе было расположено имение Вольтера, Ферне, и он многократно, но безуспешно выступал в защиту своих соседей-крестьян, ходатайствовавших об освобождении их от крепостной зависимости.

А к т у а р и й — слово, имеющее по-французски два значения: 1) хранитель монастырского архива и 2) составитель подложных актов. Чтобы придать игре слов еще более острый характер, Вольтер обращает имя нарицательное в имя собственное. Акты, которыми оперировали упоминаемые Вольтером монахи, были подписаны якобы Карлом Великим, Лотарем, Фридрихом Барбароссой и провансальским королем Людовиком Слепым.

П о к о й н ы й с а р д и н с к и й к о р о л ь — Карл-Эмануил III (1701—1773), раскрепостивший в 1762 г. савойских крестьян. Две его внучки вышли замуж за двух братьев Людовика XVI, будущих французских королей Людовика XVIII и Карла X.

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

«История Российской империи при Петре Великом», написанная Вольтером по заказу императрицы Елизаветы Петровны через посредство Ив. Ив. Шувалова (см. примечания к переписке с Шуваловым), состояла из двух томов. Первый том появился в 1759 г., в царствование Екатерины II. Помещаем отрывки из нескольких глав.

П е т е р б у р г с к и й с о б о р — Петропавловский собор в Петербурге, на территории Петропавловской крепости.

П р о п о в е д н и к, именуемый **П л а т о н о м** — Платон Левшин, в упоминаемое Вольтером время архиепископ Тверской, а затем митрополит Московский, автор многочисленных богословских сочинений (1737—1812). Его проповедь, произнесенную 15 сентября 1770 г. в Петропавловском соборе, над гробницей Петра, в присутствии Екатерины II, Вольтер цитирует не совсем точно. Платон не говорит, что Чесменская победа одержана Петром, — основной тезис его проповеди формулирован им так: «Петр Великий воскрес: воскрес в великой своей преемнице Екатерине II».

Воспоминания некоего аббата — воспоминания аббата Монгона; о них см. в «Воспоминаниях» Вольтера и в примечаниях к ним.

Эпидаврский великан (Перифет), Синис и Кроммионская свинья связаны с мифом о Тезее, который положил предел их злодействам.

Злонамеренный невежда — Лоран Англивельде ла Бомель, французский писатель (1726—1773), один из самых деятельных литературных врагов Вольтера, выпустивший его «Век Людовика XIV» со своими критическими замечаниями.

Ле Бассор, Мишель (1648—1718) — бывший монах-ораторьянец, эмигрировавший в Англию и перешедший там в англиканство; автор многотомной «Истории Людовика XIII». Вольтер называет его в другом месте «грубым компилятором» и говорит, что его сочинение является «надругательством над истиной, над французским языком и над здравым смыслом». Другие критики, в частности Сисмонди, дают Ле Бассору и его труду положительную оценку.

Ла Мотт — бывший иезуит, эмигрировавший в Голландию, где скрывался под чужим именем; автор «Истории жизни и царствования Людовика XIV». Вольтер говорит в другом месте, что это сочинение «кишит ошибками».

Талейран — ездил в Москву не в качестве французского посла, как ошибочно утверждает Олеарий, и не по собственному почину, как, тоже ошибочно, утверждает Вольтер, а по поручению трансильванского князя Бетлен-Габора: это подтверждается письмом Людовика XIII от 3 марта 1635 года к царю Михаилу Федоровичу, опубликованным, правда, уже после смерти Вольтера. Талейран обвинялся в шпионаже, чем и объясняется ссылка его в Сибирь; это произошло после смерти Бетлен-Габоры, когда Талейран уже не мог претендовать на дипломатические привилегии. Вольтер читал Олеария во французском переводе де Викфора, издания 1727 г., где слова подлинника: «покойный французский король» были произвольно заменены словами: «Генрих IV».

Некий царь — Иван Грозный. Источником легенды о шляпе, приколотой к голове посла, послужил рассказ, слышанный в 1614 г. русским гонцом Иваном Фоминым от «цесарского пристава» Якова Баура.

Гюбнер, Иоганн (1668—1731) — немецкий педагог и писатель. Его «Краткие вопросы по старой и новой географии» вышли в свет в 1693 г., выдержали затем 36 изданий и в 1756 г. появились во французском переводе.

Змеи, гложущие напильник — см. басню Лафонтена «Змея и пила» Полн. собр. басен Лафонтена. Спб. 1901.

То же примерно суждение я дерзнул высказать еще тридцать лет назад... — В послесловии к первому изданию «Истории Карла XII», вышедшему в 1731 г., Вольтер, сравнивая Карла с Петром, называет Петра «гораздо более великим человеком».

М е о т и й с к о е б о л о т о — древнегреческое название Азовского моря.

Г ё р ц, Георг-Генрих (1668—1719) — барон, шведский министр иностранных дел. После смерти Карла XII был казнен по приговору шведского сената.

А л ь б е р о н и, Юлий — кардинал, глава испанского министерства при Филиппе V, деятельный участник дипломатических интриг Гёльца, впоследствии высланный из Испании (1664—1752).

Н о в ы й п р у с с к и й к о р о л ь — Фридрих-Вильгельм I (1688—1740). Подробную его характеристику см. в «Воспоминаниях» Вольтера.

А н н а И о а н н о в н а — во французском тексте — Анна Петровна. Это, повидимому, не опечатка и не описка, а ошибка Вольтера, который смешал русскую императрицу, дочь Ивана V, с ее двоюродной сестрой, голштинской герцогиней, дочерью Петра I и матерью Петра III. Та же ошибка допущена и в именном указателе к «Истории», приложенном к первому ее изданию.

ВОЛЬТЕР — ЕКАТЕРИНЕ

Переписка Вольтера с Екатериной II является одним из важных свидетельств огромного интереса прогрессивных кругов Западной Европы XVIII в. к России. Вольтер, как и другой выдающийся представитель французского просвещения — Дидро, высоко оценивал перспективы развития России в результате преобразовательской деятельности Петра Великого.

Характерно восхищение Вольтера успехами России в войне с Турцией. Он видел в славе русского оружия прежде всего победу более прогрессивных сил над варварской восточной деспотией. Характерно, что Вольтер, так же как и Дидро, неоднократно отмечает способность русских одновременно вести трудную войну и продолжать мирную работу внутри страны.

Известно стремление Екатерины использовать этот интерес к России не только для повышения авторитета Российского государства, но и для того, чтобы расположить французских философов к себе как «продолжательнице» дела Петра и «свободомыслящей» государыне.

Переписка Екатерины с Вольтером, завязавшаяся в 1763 году, не прерывалась вплоть до его смерти. Екатерина посылает Вольтеру для ознакомления свой «Наказ к составлению свода законов», делится с ним своими соображениями по ряду вопросов внешней и внутренней политики, не забывая повторять, что она считает себя его «ученицей».

Восторженный тон писем Вольтера в ряде случаев несомненно превышал требования этикета и переходил в более или менее прикрытую лесть. Это не должно заслонять от нас того факта, что Вольтер действительно видел в Екатерине прогрессивную государственную деятельницу, переоценивая чисто декларативные заявления и жесты «казанской помещицы»

В некоторых письмах Вольтера проявилась также и ограниченность его политического радикализма. Достаточно указать на отношение Вольтера к движению Пугачева. Конечно, обсуждение вопроса о Пугачеве в переписке с русской императрицей представляло для Вольтера немалые трудности. Однако, даже учитывая это, нельзя не видеть, что Вольтер и здесь, как обычно, отрицал самостоятельное движение, идущее из недр народных масс.

В настоящее издание вошла примерно одна треть писем Вольтера к Екатерине.

ПИСЬМО 1765 г.

Если вы избрали своим девизом пчелу. — См. письмо Екатерины II Вольтеру от 29 VII 1765 г.: «Мой девиз представляет та пчелка, которая, перелетая с цветка на цветок, собирает мед, чтобы снести его к себе в улей, а надпись над моим девизом — *utile* (полезный)».

Я почитаю себя обязанным за все, что ваше величество сделали для Дидро, Д'Аламбера и Каласа — ... Екатерина приобрела у Дидро его личную библиотеку, оставив ее ему в пожизненное пользование. Она назначила Дидро жалованье за хранение библиотеки, уплатив за 50 лет вперед. Екатерина приглашала д'Аламбера приехать в Россию в качестве воспитателя наследника престола Павла. Семье Каласа Екатерина оказала денежную помощь.

Авраам Шоме (1730—1790)—французский публицист, резко выступивший против энциклопедистов в сочинении «Законные предубеждения против Энциклопедии» (1758 г.). Жил в Москве, где служил в качестве школьного учителя.

Представить меня я попросил бы графа Шувалова — Андрея Петровича, камергера Екатерины II.

ПИСЬМО от 15/XI 1768 г.

Вы заставляете поляков быть терпимыми... — В 1767 г. Екатерина через своего посла в Варшаве Репнина добилась у польского сейма уравнивания в правах «диссидентов» (т. е. не католического населения Польши, в данном случае православного и протестантского) с католиками.

Вопреки папскому нунцию. — См. письмо Екатерины от 14/VII 1769 г. «Весь комизм крестовых походов не мог образумить духовенство Подолии: подстрекаемое папским нунцием, оно начало проповедывать против меня крестовый поход, и полоумные, сиречь, называемые конфедератами, взяв в одну руку крест, другою соединились с турками... чтоб лишить, таким образом, четверть своей нации пользоваться правами граждан».

Польские Конфедераты, заручившись помощью Франции и Турции, вступили в 1768 г. в военные действия против России.

Мустафа — турецкий султан Мустафа III, царствовавший с 1757 г. по 1774 г.

ПИСЬМО от 22/XII 1770 г.

Али-Бей (1728—1773) — вождь египетских мамелюков. Воспользовавшись войной России с Турцией, добился независимости Египта от последней и объявил себя египетским султаном.

ПИСЬМО от 6/V 1771 г.

Я уверен, что великий поэт Цянь-Лун не нарушил бы прав человека в лице вашего посла. — Речь идет об Обрезкове, русском после в Турции, арестованном и заключенном турками в замок Семи башен в 1768 г. за отказ подчиниться ультиматуму, предъявленному Турцией России.

Цянь-Лун (1736—1796) — китайский император, современник Екатерины II.

ПИСЬМО от 15/V 1771 г.

Княгиня Дашкова Екатерина Романовна (1743—1810) — президент Академии наук и Российской академии. Путешествуя за границей, познакомилась с Вольтером, Адамом Смитом и другими выдающимися учеными и писателями.

Графы Орловы — братья Орловы: Григорий Григорьевич (1734—1783) — генерал-аншеф, фаворит Екатерины, участник русско-турецкой войны; Алексей Григорьевич (1737—1808) — генерал-аншеф, в 1770 г. назначенный главнокомандующим флота, посланного против турок.

ПИСЬМО от 10/VII 1771 г.

А б б а т Ш а п п (1722—1769), несмотря на свое духовное звание, занимался исключительно астрономией. В 1760 г. совершил поездку в Тобольск для наблюдений над планетой Венерой. Опубликовал книгу «Путешествие в Сибирь», в которой изображал тяжелое положение крепостного крестьянства, чем навлек на себя неудовольствие Екатерины.

ПИСЬМО от 18/XI 1771 г.

А р х и е п и с к о п м о с к о в с к и й с т а л м у ч е н и к о м в о и м я п р е с в я т о й Д е в ы... — Амвросий, митрополит московский, был растерзан в октябре 1771 г. толпой за то, что якобы намеревался снять образ богоматери, к которому стекались массы народа во время эпидемии чумы.

У б и й с т в о д е л а Б а р р а. — В 1765 г. в Аббевилле после страшных пыток был публично сожжен девятнадцатилетний юноша де ла Барр, обвиненный иезуитами в богохульстве.

Г е н е р а л - а н ш е ф О р л о в е с т ь а н г е л у т е ш и т е л ь ... — Григорий Григорьевич Орлов своими энергичными распоряжениями способствовал уничтожению эпидемии чумы в Москве.

В о е н н ы е к о л е с н и ц ы К и р а. — В одном из писем к Екатерине Вольтер прислал проект одного французского офицера, предлагавшего ввести в употребление в русско-турецкой войне военные колесницы времен греко-персидских войн.

ПИСЬМО от 12/III 1772 г.

В о с п и т а н и е в а ш и х п я т и с о т д е в и ц м е н я и н т е р е с у е т... — Речь идет о возникшем при Екатерине II Смольном институте, в котором воспитывались дочери русских дворян.

С е н - С и р — закрытое учебное заведение для дочерей французских дворян, был основан в 1686 г. второй женой Людовика XIV, маркизой Ментенон.

О д и н м о л о д о й ч е л о в е к , м о й з н а к о м ы й , н а п и с а л н е д а в н о т р а г е д и ю , в к о т о р о й л ю б о в ь н е и г р а е т п о ч т и н и к а к о й р о л и. — Трагедия Вольтера «Законы Миноса».

Я ж д у... р а з в я з к и т о й к о м е д и и , к о т о р у ю с е й ч а с р а з ы г р ы в а ю т в Д а н и и. — Речь идет о нашумевшем процессе первого министра короля Христиана VII, графа Струнзее, обвиненного в прелюбодеянии с королевой Матильдой и казненного в 1772 г.

ПИСЬМО от 20/IV 1773 г.

С в о д ч а т ы е в о р о т а , в о з в е д е н н ы е н а л ь д у , и о с т а ю щ и е с я н а н е м в т е ч е н и е ч е т ы р е х

лет... — См. письмо Екатерины от 20 февраля 1773 г.: «Князь Орлов, любитель экспериментальной физики и одаренный от природы особливой прозорливостью ко всем относящимся к сей науке предметам, учинил перед всеми прочими, может быть, наилюбопытнейший над льдом опыт, а именно: он велел осенью вырыть рвы под фундаментом для построения ворот, а зимою, во время жесточайших морозов, приказал оные водой наполнить, так, чтобы вся вода в лед превратилась. Когда рвы надлежащим образом льдом наполнились, тогда их с рачением укрыли от солнечных лучей; весной же выстроили тут прочные каменные со сводами ворота. Оные ворота четыре года уже существуют, и простоят, думаю я, до тех пор, покуда их не сломают... Опыт над бомбою, водою наполненною и на морозе выставленною, при моем присутствии был сделан; она менее нежели через час с великим треском лопнула».

А л ь г а р о т т и (1712—1764) — камергер и друг Фридриха II, автор «Путешествия в Россию» («Voyage en Russie»), «Опыта о живописи» («Essai sur la peinture») и др., состоял в переписке с Вольтером.

ПИСЬМО от 15/III 1774 г.

К а в а л е р д е Т о т т (1733 — 1797) — французский дипломат, советник Мустафы III.

...**Нового султана** — Абдул-Ахмета, брата Мустафы III, умершего в 1774 г.

ПИСЬМО от 6/X 1774 г.

Папа Ганганелли — папа Климент XIV.

ПИСЬМО от 16/XII 1774 г.

Л а г а р п (1754—1838) — швейцарский политический деятель, был приглашен Екатериной II воспитывать ее внука, будущего императора Александра I.

Л а р и в ь е р — автор «Основного и естественного порядка общества» (L'ordre essentiel et naturel des sociétés politiques) — приехал по просьбе Екатерины в Петербург для обсуждения с ней Наказа. Беседа эта не состоялась.

ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К И. И. ШУВАЛОВУ

В 1757 г. генерал-адъютант императрицы Елизаветы Петровны, русский вельможа и меценат, первый куратор Московского университета Иван Иванович Шувалов, послал Вольтеру приглашение в Россию

и предложение написать историю Петра I. Вольтер еще раньше интересовался петровской Россией: он писал о ней в «Истории Карла XII», вышедшей в 1731 г., а в 1748 г. выпустил книгу «Анекдоты о Петре Великом». Неудивительно, что Вольтер сразу откликнулся на предложение Шувалова и немедленно принялся за работу над книгой, хотя от поездки в Россию и отказался, ссылаясь на преклонный возраст и слабое здоровье. Через полгода Вольтер прислал Шувалову для просмотра первые восемь глав своего труда, получившего название «История Российской империи при Петре Великом». Шувалов взялся снабжать Вольтера нужными сведениями и материалами, и между ними завязалась длительная переписка. Это было время Семилетней войны (1756—1763). Россия вступила с 1757 г. в военные действия с Пруссией и приковала к себе внимание Западной Европы. По мысли Шувалова, книга Вольтера должна была способствовать возвышению России в общественном мнении Запада и опровергнуть тем самым те вздорные и лживые слухи, которые распространялись о ней в многочисленных памфлетах, при деятельном участии прусского короля Фридриха II.

В 1773 г. Шувалов имел возможность познакомиться с Вольтером лично, побывав у него в Фернее, где он прожил около двух недель.

ПИСЬМО от 7/VIII 1757 г.

Страленберг (1676—1747) — шведский офицер, павший в русский плен в битве под Полтавою и написавший о России в книге «Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии» (1730).

Перри (Джон) — английский капитан и строитель кораблей, приглашенный при Петре I в Россию в 1698 г. и написавший книгу «Положение России при нынешнем царе» («The State of Russia under the present czar»).

Руссе (1686—1762) — французский писатель, опубликовавший «Записки о Петре Великом» («Memoires sur la vie de Pierre le Grand»).

Венцлов — видимо, Веселовский, который передал Вольтеру письмо от Шувалова с предложением писать историю Петра I.

ПИСЬМО от 17/VII 1758 г.

Олери (ок. 1599—1671) — автор «Путешествия в Москву и в Персию».

Граф Карлейль (1629—1685) — английский посол в России при Петре I.

ПИСЬМО от 18/IX—1759 г.

Я получил панегирик Петру Великому, — т. е. несконченную поэму Ломоносова «Петр Великий», напечатанную в 1760—1761 г.

ПИСЬМО от 25/X 1760 г.

...Он задержался в Вене на бракосочетании эрцгерцога, Иосифа II, императора австрийского (с 1765 г.).

Ваши войска в Берлине произвели бо́лее сильное впечатление, нежели все оперы Метастазियो. — В ночь с 8 на 9 октября 1760 г. русские войска штурмом взяли Берлин.

Господин Салтыков, Борис Михайлович — воспитанник Московского университета, один из четырех русских юношей, посланных за границу для продолжения образования, о которых идет речь в письме Вольтера к Шувалову от 7/VIII 1757 г.

ПИСЬМО от 7/XI/1760 г.

Гё р ц — см. прим. к «Истории Российской империи при Петре Великом».

А л ь б е р о н и — см. прим. к «Истории Российской империи при Петре Великом».

ПИСЬМО от 1761 г.

С е н т - Э в р е м о н — (1613—1703) — французский критик, комедиограф и поэт. Большой известностью пользовались его «Размышления о трагедиях» (*Reflexions sur les tragédies*).

Р о д о г ю н а — трагедия Корнеля.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Академик В. П. Волгин «Историческое значение Вольтера». . . 3

I. Философские повести

К а н д и д — перевод Ф. Сологуба 41
П р о с т о д у ш н ы й — перевод Г. Блока 130
М и к р о м е г а с — перевод Е. Евниной 199

II. Театр

З а и р а — перевод Г. Шенгели 221
М а г о м е т — перевод С. Боброва 283

III

С т и х о т в о р е н и я — перевод А. Кочеткова 343

IV

М е м у а р ы — перевод Г. Блока (стихотворные цитаты
переведены А. Кочетковым) 391

V

Философские диалоги и фрагменты

Р а з г о в о р ы м е ж д у А. В. и С. — перевод
А. Гуровича 457

Обед у графа де Булэнвилье — перевод А. Гуровича	500
Мысли об обществе — перевод Г. Блока.	532
Мысли о государственном управлении— перевод Г. Блока	546
Рабство — перевод Г. Блока	549

VI

Из «Истории Российской империи при Петре Великом» — перевод Г. Блока.	554
--	-----

VII

Письма в Россию

Пер. под ред. Н. Немчиновой

Вольтер — Екатерине II	581
Вольтер — графу И. И. Шувалову.	603
Примечания М. Черневич и Г. Блока.	621

Художник С: *Пожарский*

Редактор А. Миронова

Технический редактор В. Быкова

Сдано в набор 18/X 1946 г. Подписано к печати 14/V 1947 г.
 А02055. Формат бумаги 82×108¹/₃₂. Печ. листов 40 ¹/₄. Уч.-авт. 30,7.
 Тираж 25.000. Заказ № 6919.

1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете
 Министров СССР. Москва, Валовая, 28.
